БУНИН

Александр Бабореко

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Жизнь и творчество Ивана Алексеевича Бунина, продолжателя классической пушкинской традиции в русской литературе, лауреата Нобелевской премии, человека, вместе с Россией пережившего «окаянные дни» октябрьского переворота, а затем полжизни прожившего на чужбине и похороненного в Сен-Женевьев-де-Буа, где упокоились многие наши достойные соотечественники, продолжают волновать умы и сердца читателей. Произведениями Бунина зачитываются люди всех возрастов и национальностей, его творчество стало эталонным для многих современных писателей, а характер и личная жизнь и в наши дни остаются темой многочисленных спекуляций.

Александр Кузьмич Бабореко — известный исследователь жизни и творчества Ивана Алексеевича Бунина. За несколько десятков лет плодотворной работы он собрал огромный свод малоизвестных и архивных документов, писем, дневников и воспоминаний, которые, несомненно, помогут читателям лучше понять этого великого писателя и человека.

- Бабореко Александр. Бунин. Жизнеописание
  - ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  - ИЛЛЮСТРАЦИИ
  - СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
  - ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА И. А. БУНИНА
  - КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13

- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57

- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101

- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145

- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189

- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233

- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277

- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321

- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365

- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409

- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453

- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497

- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541

- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565
- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570
- ○ 571
- ○ 572
- ○ 573
- ○ 574
- ○ 575
- ○ 576
- ○ 577
- ○ 578
- ○ 579
- ○ 580
- ○ 581
- ○ 582
- ○ 583
- ○ 584
- ○ 585

- ○ 586
- ○ 587
- ○ 588
- ○ 589
- ○ 590
- ○ 591
- ○ 592
- ○ 593
- ○ 594
- ○ 595
- ○ 596
- ○ 597
- ○ 598
- ○ 599
- ○ 600
- ○ 601
- ○ 602
- ○ 603
- ○ 604
- ○ 605
- ○ 606
- ○ 607
- ○ 608
- ○ 609
- ○ 610
- ○ 611
- ○ 612
- ○ 613
- ○ 614
- ○ 615
- ○ 616
- ○ 617
- ○ 618
- ○ 619
- ○ 620
- ○ 621
- ○ 622
- ○ 623
- ○ 624
- ○ 625
- ○ 626
- ○ 627
- ○ 628
- ○ 629

- ○ 630
- ○ 631
- ○ 632
- ○ 633
- ○ 634
- ○ 635
- ○ 636
- ○ 637
- ○ 638
- ○ 639
- ○ 640
- ○ 641
- ○ 642
- ○ 643
- ○ 644
- ○ 645
- ○ 646
- ○ 647
- ○ 648
- ○ 649
- ○ 650
- ○ 651
- ○ 652
- ○ 653
- ○ 654
- ○ 655
- ○ 656
- ○ 657
- ○ 658
- ○ 659
- ○ 660
- ○ 661
- ○ 662
- ○ 663
- ○ 664
- ○ 665
- ○ 666
- ○ 667
- ○ 668
- ○ 669
- ○ 670
- ○ 671
- ○ 672
- ○ 673

- ○ 674
- ○ 675
- ○ 676
- ○ 677
- ○ 678
- ○ 679
- ○ 680
- ○ 681
- ○ 682
- ○ 683
- ○ 684
- ○ 685
- ○ 686
- ○ 687
- ○ 688
- ○ 689
- ○ 690
- ○ 691
- ○ 692
- ○ 693
- ○ 694
- ○ 695
- ○ 696
- ○ 697
- ○ 698
- ○ 699
- ○ 700
- ○ 701
- ○ 702
- ○ 703
- ○ 704
- ○ 705
- ○ 706
- ○ 707
- ○ 708
- ○ 709
- ○ 710
- ○ 711
- ○ 712
- ○ 713
- ○ 714
- ○ 715
- ○ 716
- ○ 717

- ○ 718
- ○ 719
- ○ 720
- ○ 721
- ○ 722
- ○ 723
- ○ 724
- ○ 725
- ○ 726
- ○ 727
- ○ 728
- ○ 729
- ○ 730
- ○ 731
- ○ 732
- ○ 733
- ○ 734
- ○ 735
- ○ 736
- ○ 737
- ○ 738
- ○ 739
- ○ 740
- ○ 741
- ○ 742
- ○ 743
- ○ 744
- ○ 745
- ○ 746
- ○ 747
- ○ 748
- ○ 749
- ○ 750
- ○ 751
- ○ 752
- ○ 753
- ○ 754
- ○ 755
- ○ 756
- ○ 757
- ○ 758
- ○ 759
- ○ 760
- ○ 761

- ○ 762
- ○ 763
- ○ 764
- ○ 765
- ○ 766
- ○ 767
- ○ 768
- ○ 769
- ○ 770
- ○ 771
- ○ 772
- ○ 773
- ○ 774
- ○ 775
- ○ 776
- ○ 777
- ○ 778
- ○ 779
- ○ 780
- ○ 781
- ○ 782
- ○ 783
- ○ 784
- ○ 785
- ○ 786
- ○ 787
- ○ 788
- ○ 789
- ○ 790
- ○ 791
- ○ 792
- ○ 793
- ○ 794
- ○ 795
- ○ 796
- ○ 797
- ○ 798
- ○ 799
- ○ 800
- ○ 801
- ○ 802
- ○ 803
- ○ 804
- ○ 805

- ○ 806
- ○ 807
- ○ 808
- ○ 809
- ○ 810
- ○ 811
- ○ 812
- ○ 813
- ○ 814
- ○ 815
- ○ 816
- ○ 817
- ○ 818
- ○ 819
- ○ 820
- ○ 821
- ○ 822
- ○ 823
- ○ 824
- ○ 825
- ○ 826
- ○ 827
- ○ 828
- ○ 829
- ○ 830
- ○ 831
- ○ 832
- ○ 833
- ○ 834
- ○ 835
- ○ 836
- ○ 837
- ○ 838
- ○ 839
- ○ 840
- ○ 841
- ○ 842
- ○ 843
- ○ 844
- ○ 845
- ○ 846
- ○ 847
- ○ 848
- ○ 849

- ○ 850
- ○ 851
- ○ 852
- ○ 853
- ○ 854
- ○ 855
- ○ 856
- ○ 857
- ○ 858
- ○ 859
- ○ 860
- ○ 861
- ○ 862
- ○ 863
- ○ 864
- ○ 865
- ○ 866
- ○ 867
- ○ 868
- ○ 869
- ○ 870
- ○ 871
- ○ 872
- ○ 873
- ○ 874
- ○ 875
- ○ 876
- ○ 877
- ○ 878
- ○ 879
- ○ 880
- ○ 881
- ○ 882
- ○ 883
- ○ 884
- ○ 885
- ○ 886
- ○ 887
- ○ 888
- ○ 889
- ○ 890
- ○ 891
- ○ 892
- ○ 893

- ○ 894
- ○ 895
- ○ 896
- ○ 897
- ○ 898
- ○ 899
- ○ 900
- ○ 901
- ○ 902
- ○ 903
- ○ 904
- ○ 905
- ○ 906
- ○ 907
- ○ 908
- ○ 909
- ○ 910
- ○ 911
- ○ 912
- ○ 913
- ○ 914
- ○ 915
- ○ 916
- ○ 917
- ○ 918
- ○ 919
- ○ 920
- ○ 921
- ○ 922
- ○ 923
- ○ 924
- ○ 925
- ○ 926
- ○ 927
- ○ 928
- ○ 929
- ○ 930
- ○ 931
- ○ 932
- ○ 933
- ○ 934
- ○ 935
- ○ 936
- ○ 937

- ○ 938
- ○ 939
- ○ 940
- ○ 941
- ○ 942
- ○ 943
- ○ 944
- ○ 945
- ○ 946
- ○ 947
- ○ 948
- ○ 949
- ○ 950
- ○ 951
- ○ 952
- ○ 953
- ○ 954
- ○ 955
- ○ 956
- ○ 957
- ○ 958
- ○ 959
- ○ 960
- ○ 961
- ○ 962
- ○ 963
- ○ 964
- ○ 965
- ○ 966
- ○ 967
- ○ 968
- ○ 969
- ○ 970
- ○ 971
- ○ 972
- ○ 973
- ○ 974
- ○ 975
- ○ 976
- ○ 977
- ○ 978
- ○ 979
- ○ 980
- ○ 981

- ○ 982
- ○ 983
- ○ 984
- ○ 985
- ○ 986
- ○ 987
- ○ 988
- ○ 989
- ○ 990
- ○ 991
- ○ 992
- ○ 993
- ○ 994
- ○ 995
- ○ 996
- ○ 997
- ○ 998
- ○ 999
- ○ 1000
- ○ 1001
- ○ 1002
- ○ 1003
- ○ 1004
- ○ 1005
- ○ 1006
- ○ 1007
- ○ 1008
- ○ 1009
- ○ 1010
- ○ 1011
- ○ 1012
- ○ 1013
- ○ 1014
- ○ 1015
- ○ 1016
- ○ 1017
- ○ 1018
- ○ 1019
- ○ 1020
- ○ 1021
- ○ 1022
- ○ 1023
- ○ 1024
- ○ 1025

- ○ 1026
- ○ 1027
- ○ 1028
- ○ 1029
- ○ 1030
- ○ 1031
- ○ 1032
- ○ 1033
- ○ 1034
- ○ 1035
- ○ 1036
- ○ 1037
- ○ 1038
- ○ 1039
- ○ 1040
- ○ 1041
- ○ 1042
- ○ 1043
- ○ 1044
- ○ 1045
- ○ 1046
- ○ 1047
- ○ 1048
- ○ 1049
- ○ 1050
- ○ 1051
- ○ 1052
- ○ 1053
- ○ 1054
- ○ 1055
- ○ 1056
- ○ 1057
- ○ 1058
- ○ 1059
- ○ 1060
- ○ 1061
- ○ 1062
- ○ 1063
- ○ 1064
- ○ 1065
- ○ 1066
- ○ 1067
- ○ 1068
- ○ 1069

- ○ 1070
- ○ 1071
- ○ 1072
- ○ 1073
- ○ 1074
- ○ 1075
- ○ 1076
- ○ 1077
- ○ 1078
- ○ 1079
- ○ 1080
- ○ 1081
- ○ 1082
- ○ 1083
- ○ 1084
- ○ 1085
- ○ 1086
- ○ 1087
- ○ 1088
- ○ 1089
- ○ 1090
- ○ 1091
- ○ 1092
- ○ 1093
- ○ 1094
- ○ 1095
- ○ 1096
- ○ 1097
- ○ 1098
- ○ 1099
- ○ 1100
- ○ 1101
- ○ 1102
- ○ 1103
- ○ 1104
- ○ 1105
- ○ 1106
- ○ 1107
- ○ 1108
- ○ 1109
- ○ 1110
- ○ 1111
- ○ 1112
- ○ 1113

- ○ 1114
- ○ 1115
- ○ 1116
- ○ 1117
- ○ 1118
- ○ 1119
- ○ 1120
- ○ 1121
- ○ 1122
- ○ 1123
- ○ 1124
- ○ 1125
- ○ 1126

Бабореко Александр. Бунин. Жизнеописание

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Эта книга — итог многолетних изысканий крупнейшего отечественного буниноведа Александра Кузьмича Бабореко, который посвятил своему герою в буквальном смысле слова всю жизнь. Благодаря подвижнической деятельности Александра Кузьмича ему удалось собрать уникальный и максимально подробный материал о жизни и творчестве классика русской литературы, лауреата Нобелевской премии, нашего соотечественника, полжизни прожившего по нансеновскому паспорту на чужбине.

Среди самых значительных работ А. К. Бабореко, вышедших при его жизни, — книга «Материалы для биографии И. А. Бунина» и собрание сочинений Бунина, составленное и прокомментированное исследователем. Настоящая работа, названная автором «Жизнеописание Бунина», должна была стать завершающим томом собрания сочинений, приуроченным к 130-летней годовщине со дня рождения писателя. Однако ни автору, ни издательству не было суждено увидеть эту книгу вышедшей в свет.

В 2000 году издательство «Молодая гвардия» отметило 130-летие Ивана Алексеевича Бунина книгой Михаила Рощина, которая пользовалась заслуженным успехом у наших читателей. Это была не просто биография и даже не биография в строгом смысле слова, но объяснение в любви, которую испытывает один писатель к другому писателю, своему великому предшественнику. Теперь мы представляем вниманию читателей исследование А. К. Бабореко, которое представляет собой скрупулезное собрание документов, непубликовавшихся писем, дневников, воспоминаний и свидетельств современников. Здесь собраны письма Бунина к писателям М. Л. Алданову и Н. А. Тэффи, с которыми он был особенно дружен. Александр Кузьмич получил их копии из архива Колумбийского университета; письма Веры Николаевны Муромцевой-Буниной к Марии Самойловне Цетлин были предоставлены ему дочерью М. С. Цетлин — А. Н. Прегель.

А. К. Бабореко стремился дать в своей работе как можно больше малоизвестных фактов и сведений о жизни Бунина, представляющих интерес как для широкого круга читателей, так и для специалистов-литературоведов, углубленно изучающих жизнь и творчество писателя. Все эти разнородные материалы собраны и смонтированы так умело и талантливо, что составляют цельную картину, содержат незабываемый колорит эпохи и прекрасно передают особенности характера и жизненного уклада

великого писателя.

Книга состоит из двух частей. Первая описывает годы, прожитые Буниным в России. Она включает «Материалы для биографии», которые в 1983 году были выпущены в свет издательством «Московский рабочий». В нашей книге этот текст впервые публикуется в своем целостном виде, без цензурных искажений. Вторая часть знакомит читателя с жизнью Бунина в эмиграции, она написана заново, с использованием самых последних архивных разысканий.

Издательство не сомневается, что книга А. К. Бабореко, выпускаемая в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей», станет событием в нашей литературной жизни.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ СЛОВА

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет — Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным Коленам припав.

14. VII. 18 И. А. Бунин

И. А. Бунин. Москва,1902 г.

Род Буниных ведет свое начало от Симеона Бунковского, который в XV веке выехал из Польши, по другим данным самого Бунина — из Литвы (бывшей в то время в унии с Польшей)[1] — к московскому великому князю Василию Темному. Будучи «мужем знатным», как говорится в «Гербовнике дворянских родов», Симеон Бунковский вместе со своей дружиной поступил к нему на «ратную службу».

Правнук Симеона Бунковского — Александр Лаврентьев сын Бунин — в войне против татар был убит под Казанью. Другой предок И. А. Бунина — стольник Козма Леонтьев Бунин, — как писал он 18 ноября 1895 года поэту А. А. Коринфскому, ссылаясь на «Словарь» Брокгауза, — «в 1676 году пожалован от царей Иоанна и Петра Алексеевичей „за службу и храбрость“ на поместья грамотою» [2].

В Дворянской родословной книге, хранящейся в Орловском областном архиве, записана «Родословная и доказательства о дворянстве рода Буниных». В этой записи указывается, что предку Буниных Якову «по грамоте царя Петра Алексеевича 1706 года велено отказать поместье в разных деревнях и пустошах, он же, Яков Бунин, по указу Правительствующего сената 1722 года внесен в список московских дворян».

Среди предков Бунина было немало людей даровитых — «видных деятелей, как на поприще государственном, так и в области искусства» [3].

В старину из рода Буниных вышли два знаменитых гравера. На последнем листе букваря, по которому учился сын Петра I царевич Алексей и где выгравированы сорок три листа, указано: «Сій Букварь счини иеромонах Карионъ, а знаменил и резал Леонтей Буninъ. 7202 (1694)». Леонтий Бунин печатал гравюры, заимствуя для этого иностранные образцы, главным образом голландские. Знаменит был гравер по меди Петр Бунин, сын Леонтия, учившийся искусству у голландского мастера, для чего, по указу Петра Первого, получал государственное содержание.

Предками автора «Деревни» являются поэтесса А. П. Бунина и В. А. Жуковский — сын тульского помещика Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальхи.

Анну Петровну Бунину (1774–1829) современники называли русской Сапфо, Десятой Музой и Северной Коринной (по имени героини романа г-жи Сталь «Коринна, или Италия», 1807, — поэтессы и артистки). Ее стихи имели большой успех у публики, охотно раскупались и восторженно оценивались в критике. Их хвалили Г. Р. Державин, писавший в ее честь стихи, И. И. Дмитриев, К. Н. Батюшков, В. К. Кюхельбекер, В. Г. Белинский в своих критических обзорах. «Баснословную повесть» в трех песнях «Падение Фаэтона», написанную на сюжет «Метаморфоз» Овидия (Кн. 2. С. 1–339), публично читал И. А. Крылов на торжественном собрании «Беседы». Н. М. Карамзин сказал: «Ни одна женщина не писала у нас так сильно». Императорская Российская Академия издала в 1819–1821 годах «Собрание стихотворений Анны Буниной» в трех томах; и хотя она «не принадлежала к числу академических

Почетных Членов, но отличные ее в стихотворстве дарования дали и ее портрету место между прочими (1838)» в зале собраний Академии, украшенном портретами Карамзина, Гнедича, Пушкина и других, — сообщается в «Трудах Императорской Российской Академии» (Ч. 1. СПб., 1840. С. 88).

Превосходный портрет А. П. Буниной написал художник А. Г. Варнек (хранится в Эрмитаже).

Среди предков И. А. Бунина — внук сестры А. П. Буниной, географ и знаменитый путешественник Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (1827–1914).

В родстве с Буниными были Киреевские. Мать философа, публициста и литературного критика И. В. Киреевского и его брата, фольклориста П. В. Киреевского, — Авдотья Петровна Юшкова (в замужестве Елагина), внучка А. Бунина, отца В. А. Жуковского. Она была женщиной во многих отношениях замечательной. Ее салон в 1840-е годы называли «Республикой у Красных ворот». К. Д. Кавелин писал: «Все, что было в Москве интеллигентного, просвещенного и талантливого, съезжалось сюда по воскресеньям. Приезжавшие в Москву знаменитости, русские и иностранцы, являлись в салон Елагиных» [4]. Здесь бывали Пушкин, Мицкевич, Языков, Баратынский, Чаадаев, Хомяков, Грановский, Тютчев, Аксаковы, Герцен, Огарев, Шевченко, Тургенев, Гоголь.

Бунины были, по словам Ивана Алексеевича, в родстве с Гротами, Воейковыми, Булгаковыми, Соймоновыми.

Род И. А. Бунина перекрещивался с родом Пушкина. Супруга сына А. С. Пушкина, Александра Александровича, — из Буниных [5].

Ближайшие предки И. А. Бунина также были люди незаурядные.

У деда И. А. Бунина, Николая Дмитриевича, было трое детей: Николай, Алексей и Варвара. Некоторые черты деда писатель придал Петру Кириллычу («Суходол») и помещику Хвощинскому («Грамматика любви»).

Вот что рассказывал о них И. А. Бунин В. Н. Муромцевой-Буниной по семейным преданиям:

«Отец любил повествовать и о более близких предках, о своем деде, который был человек богатый, имел поместья в Воронежской и Тамбовской губерниях и только под старость поселился в своей родовой вотчине Орловской губ., Елецкого уезда, в Каменке…

— При моем отце, Николае Дмитриевиче, — рассказывал Алексей Николаевич, — был здесь уже полустепной простор, засеянные поля. Но сад еще был замечательный: аллея в

семьдесят развесистых берез, а фруктовый сад какой! а вишенник, малинник, сколько крыжовнику, а дальше целая роща тополей, а вот дом оставался под соломенной крышей и горел несколько раз, потом опять отстраивался, икона безглавого Меркурия тоже несколько пожаров выдержала, даже один раз раскололась!

Рассказывал, что мать его (рожденная Уварова) была красавицей: „Она рано умерла, и отец так тосковал, что даже тронулся, впрочем, говорят, что во время Севастопольской кампании, когда мы были на войне, он как-то лег спать после обеда под яблоней, поднялся вихрь, и крупные яблоки посыпались на голову… После чего он и стал не вполне нормальным“.

Мать тоже иногда вмешивалась в разговор и сообщала детям, что ее предки были помещиками Костромской, Московской, Орловской и Тамбовской губерний и что в их семье жила легенда: некогда Чубаровы были князьями. Петр Великий казнил одного князя Чубарова, стрельца, сторонника царевны Софьи и лишил весь род княжеского титула…»[6] [7]

Варвара Николаевна, родная тетка Ивана Бунина, жила в своем именье Каменка, описанном Буниным под названием Суходола. Изображена она как в повести «Суходол», так и в раннем рассказе Бунина «Фантазер» и в очерке «„Шаман“ и Мотька».

Алексей Николаевич, отец поэта, помещик Орловской и Тульской губерний, родился 11 марта 1827 года. Он был участником Крымской войны, куда отправился добровольцем вместе с братом Николаем, со своим ополчением, был на передовой позиции (уволен из ополчения 5 декабря 1856 года). Там встретился с Л. Н. Толстым.

Бунин писал:

«Отец, человек необыкновенно сильный и здоровый физически, был до самого конца своей долгой жизни и духом почти столь же здоров и бодр. Уныние овладевало им в самых тяжелых положениях на минуту, гнев — он был очень вспыльчив — и того меньше» [8].

Это был, как писал Бунин в «Жизни Арсеньева», человек удивительный «талантливостью всей своей натуры, живого сердца и быстрого ума, все понимавших, все схватывавших с одного намека, соединявший в себе редкую душевную прямоту и душевную сокровенность, наружную простоту характера и внутреннюю сложность его, трезвую зоркость глаза и певучую романтичность сердца» [9].

Учился он в Орловской гимназии, вместе с Н. С. Лесковым, но очень недолго: бросил занятия с первого класса. В старости

много читал.

Из девяти его детей пять умерли в раннем возрасте. Сам он скончался 6 декабря 1906 года в имении сына Евгения Алексеевича, в Огневке.

Мать Бунина (урожденная Чубарова) родилась, по-видимому, в 1835 году «в имении матери, в Озерках, — писала мне В. Н. Муромцева-Бунина 15 мая 1957 года. — В ней тоже текла бунинская кровь, — дед ее по матери Бунин Иван Петрович». Умерла она в 1910 году.

В «Родословной рода гг. Чубаровых» [10] указывается, что отца Людмилы Александровны звали Александр Федорович Чубаров, мать — Анна Ивановна (урожденная Бунина). У них были еще дети: Иван (1833–1861) и Мария (?— 1867) — по первому мужу Бунина, а по второму Резвая. По свидетельству В. Н. Муромцевой-Буниной, смерть И. А. Чубарова перенесена в «Суходол» — смерть Петра Петровича, — «лошадь, шедшая сзади розвальней, убила его копытом» [11]. Иван Алексеевич Бунин назван в честь своего дяди И. А. Чубарова.

Людмила Александровна «имела характер меланхолический. Она подолгу молилась перед своими темными большими иконами, ночью простаивала часами на коленях, часто плакала, грустила. Все это отражалось на впечатлительном мальчике» [12] — будущем поэте.

О своем детстве Бунин писал А. А. Коринфскому 18 ноября 1895 года:

«Родился я 10 октября 1870 года в Воронеже, куда мои родители переселились на время из деревни для воспитания моих старших братьев; но детство (с четырехлетнего возраста) мне пришлось провести в глуши, в одном из небольших родовых поместий (хутор Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии).

Как я выучился читать, право, не помню, но правильно учиться я начал только тогда, когда ко мне пригласили гувернера, студента Московского университета, некоего Н. О. Ромашкова, человека странного, вспыльчивого, неуживчивого, но очень талантливого — и в живописи, и в музыке, и в литературе. Он владел многими языками — английским, французским, немецким и знал даже восточные, так как воспитывался в Лазаревском институте, много видел на своем веку, и, вероятно, его увлекательные рассказы в зимние вечера, когда метели буквально до верхушек заносили вишенник нашего сада на горе, и то, что первыми моими книгами для чтения были „Английские поэты“ (изд. Гер-беля) и „Одиссея“ Гомера, пробудили во мне страсть к стихотворству, плодом чего явилось несколько младенческих виршей… Десяти лет меня отдали в

Елецкую гимназию, где курса я, к счастью, не докончил по болезни…» [13]

Бунин с раннего детства был человеком впечатлительным, с необычайно живым воображением. «Все, помню, действовало на меня, — писал он, — новое лицо, какое-нибудь событие, песня в поле, рассказ странника, таинственные лощины за хутором, легенда о каком-то беглом солдате, едва живом от страха и голода и скрывавшемся в наших хлебах, ворон, все прилетавший к нам на ограду и поразивший мое воображение особенно тем, что жил он, как сказала мне мать, еще, может, при Иване Грозном, предвечернее солнце в тех комнатах, что глядели за вишневый сад, на запад» [14].

В заявлении директору гимназии отец писал:

«Желая дать образование сыну моему Ивану Бунину во вверенном вам учебном заведении, имею честь покорнейше просить распоряжения вашего о том, чтобы он был подвергнут надлежащему испытанию и медицинскому освидетельствованию и помещен в том классе, в который он, по своим познаниям и возрасту, может поступить, причем имею честь сообщить, что он приготовлялся к поступлению в первый класс и до сего времени обучался у меня дома. Желаю, чтобы сын мой, в случае принятия его в заведение, обучался в назначенных для того классах новым иностранным языкам, буде окажет достаточные успехи в обязательных для всех предметах, в противном же случае одному немецкому. При этом прилагаются свидетельства о возрасте, звании (и привитии оспы). К сему прошению Елецкий землевладелец коллежский регистратор Алексей Николаев Бунин.

Елец, 1881 года, августа 7 дня» [15].

Экзамен Бунин выдержал в начале августа.

Его зачислили в 1 «Б» класс.

В «Автобиографическом конспекте» за 1881 год Бунин записал:

«С конца августа жизнь с Егорчиком Захаровым (незаконным сыном мелкого помещика Валентина Николаевича Рышкова, нашего родственника и соседа по деревне Озерки) у мещанина Бякина на Торговой улице в Ельце. Мы тут „нахлебники“ за 15 руб. с каждого на всем готовом» [16].

Затем Бунин жил у «ваятеля всего того, что требуется для кладбищенских памятников, — и целую зиму, каждую свободную минуту мял глину, лепил из нее то лик Христа, то череп Адама и достиг таких успехов, что хозяин иногда пользовался, — пишет он в „Автобиографических заметках“ 1927 года, — моими черепами, и они попадали на чугунные кресты в изножья распятий, где, верно, и теперь еще пребывают, — где-то там, на

монастырском кладбище в Ельце!» [17]

Он обитал еще у двоюродной сестры Веры Аркадьевны Петиной, в замужестве — Орловой, после развода с мужем и продажи имения поселившейся в Ельце. Здесь было людно, шумно. Актеры, бывавшие в доме Веры Аркадьевны, снабжали Бунина контрамарками на спектакли, и он часто бывал в театре.

В списке учеников, живущих не у родителей или близких родственников, составленном на 1 сентября 1884 года, значится, что Бунин, ученик 3 «Б» класса, жил у мещанки А. О. Ростовцевой — Рождественская ул., д. Высотского, № 74; поступил на квартиру 16 августа 1883 года [18].

По записям в школьных журналах, Бунин год от года учился все хуже. В первом классе у него годовой балл по латыни и математике — «три», по остальным предметам «четыре» и «пять». В конце 1883/84 учебного года средний балл успеваемости 2 $^{7}/_{8}$, прилежание — «два», внимание — «три», манкировок — четырнадцать, в третьем классе учился два года.

Особенно страшила его математика, успехи в которой были наименее заметны. К тому же пропуски занятий, видимо, по болезни, — он стал очень нервным, — трудно было восполнить домашними уроками. Отец сообщал старшему сыну Юлию Алексеевичу 9 мая 1885 года об успехах его младшего брата на экзаменах по латыни, греческому и русскому языкам; не предвиделось затруднений и с французским; «но математика жестоко его пугает, — пишет Алексей Николаевич, — собственно потому, что он был целый великий пост в деревне, времени много ушло почти без занятий, а Николай Иосифович (Ромашков. — А. Б.) сам не из лучших математиков; до окончания экзамена к математике остается две недели. Я и стремлюсь нанять репетитора, чтобы дело поправить» [19].

Сам И. А. Бунин в письме к Юлию Алексеевичу от 21 мая 1885 года называет «самым страшным» [20] экзамен по математике, который он, однако, выдержал и перешел в следующий класс «с наградой второй степени» [21].

Три четверти того, чему учили в гимназии, по словам Бунина, ни на что не было нужно и преподавалось тупо и казенно. Учителя в большинстве были люди серые и незначительные, а то и просто чудаки, вызывавшие насмешки своих воспитанников.

Бунин несколько отличал преподавателя русского языка С. П. Федюшина, о котором тепло вспоминал потом, встречался с ним в Москве.

В праздничные дни Бунин любил бродить по Ельцу. Это древний русский город, сведения о котором имеются в летописях с XI века. Он расположен амфитеатром на гористых берегах рек

Сосны и Ельчика. Сохранились легенды о набегах кочевников, о нашествии Тамерлана.

Елец, с его слободами, улицами, соборами, базарами, отображен Буниным в повести «Деревня», в романе «Жизнь Арсеньева», в рассказах «Над городом» и «Поздний час».

В гимназические годы Бунин писал стихи (автографы хранятся в Государственном музее И. С. Тургенева в Орле) — детски беспомощные, нередко фотографически точно изображая то, что его окружало, иногда подражал известным поэтам. Четырнадцатилетним гимназистом он напечатал без подписи «довольно лирическую корреспонденцию о двух бродягах, замерзших под нашей деревней в сильную вьюгу» [22].

В «Автобиографическом конспекте» 1883–1884 годов Бунин записал:

«В начале осени мой товарищ по гимназии, сын друга моего отца Цветков, познакомил меня в городском саду с гимназисткой Юшковой. Я испытал что-то вроде влюбленности в нее и, кажется, из-за нее так запустил занятия, что остался на второй год в третьем классе. Цветков был малый уже опытный в любовных делах, бодрый нахал».

Весной 1883 года Бунины продали в Бутырках землю крестьянам и переехали в Озерки (в «Жизни Арсеньева» — Батурино), старосветскую усадьбу, доставшуюся матери по наследству от бабушки Чубаровой, умершей в 1881 году. Здесь были еще две усадьбы — Цвиленевых и Рышковых. Вблизи пролегала большая дорога. Лето этого года Ваня Бунин жил в Озерках. Его поразила девочка лет пятнадцати, Саша Резвая, гостившая у своей тетушки Рышковой. О Саше он написал тогда стихотворение под заглавием «А. В. Р.», а в 1916 году, получив известие о ее смерти, — стихотворение «Псалтирь». Она является прототипом Лизы Бибиковой в «Жизни Арсеньева».

Запись Бунина о 1885 годе:

«Перешел в 4 класс.

Начало июня сватовство Евгения, поездки к его невесте, в семью винокура Отто Карловича Туббе, в Васильевское. Ее сестра Дуня. Прогулка в Колонтаевку (это Шаховское в „Митиной любви“. — В. М.[23]), по вечерам я под руку с Дуней, в которую будто был влюблен. Как-то ночью возвращение из Озерок в Васильевское. Евгений и Настя. Мы с Дуней. Рассвет, гуси через дорогу (уже в Васильевском), не помня себя, осмелился — поцеловал едва-едва Дуню в щеку. Неизъяснимое чувство, уже никогда больше в жизни не повторившееся, — ужас блаженства [24].

Свадьба Евгения [25] — кажется, на Ильин день, в Знаменском

(приходе Озерок). Пир в Озерках, всю ночь. На рассвете Дуня в постели, в гостиной. Поцелуи, больше ничего не смел. Петр Николаевич (двоюродный брат Бунина. — В. М.) с черной бородой. Иван Вуколыч (незаконный сын старика Пушешникова. — В. М.) хромой.

Вскоре неожиданный приезд Юлия из Харькова, из тюрьмы.

Настя (жена Евгения) ходит хозяйкой в кружевном капоте.

В зале в солнечный вечер шутя подняла меня, — „вот я какая сильная“, — и я почувствовал через капот ее…

Осенью рано утром Евгений повез меня в гимназию. Серое утро, ворота монастыря при въезде в Елец. Дуня гостила в Озерках, со слезами простился с ней, полусонный.

На Рождество приехал домой через Васильевское, Эмилия Васильевна Фехнер, гувернантка у Туббе. Тотчас влюбился.

В гимназию больше не вернулся».

Вера Николаевна Муромцева-Бунина приводит в своей книге старые дневниковые записи И. А. Бунина:

«Переписано с истлевших и неполных клочков моих заметок того времени.

Конец декабря 1885 года…

Еще осенью я словно ждал чего-то, кровь бродила во мне, сердце ныло так сладко, и даже по временам я плакал, сам не зная отчего; но и сквозь слезы и грусть, навеянную красотою природы или стихами, во мне закипало радостное светлое чувство молодости, как молодая травка весенней порой. Непременно я полюблю, думал я…

29 декабря 1885 г.

Сегодня вечер у тетки. На нем, наверно, будут из Васильевского, и в том числе гувернантка, в которую я влюблен не на шутку.

…Сердце у меня чуть не выскочило из груди! Она моя! Она меня любит! О! с каким сладостным чувством я взял ее ручку и прижал к своим губам! Она положила мне головку на плечо, обвила мою шею своими ручками, и я запечатлел на ее губках первый горячий поцелуй!..

Да! Пиша эти строки, я дрожу от упоенья! от горячей первой любви!.. Может быть, некоторым, случайно заглянувшим в мое сердце, смешным покажется такое излияние нежных чувств! „Еще молокосос, а ведь влюбляется, скажут они!“ Так! Человеку, занятому всеми дрязгами этой жизни и не признающему всего святого, что есть на земле, правда, свойства первобытного состояния души, то есть когда душа менее загрязнилась и эти

свойства более подходят к тому состоянию, когда она была чиста и, так сказать, даже божественна, правда слишком (следующее слово нельзя разобрать. — И. Б.[26]). Но, может быть, именно более всего святое свойство души Любовь тесно связана с поэзией, а поэзия есть Бог в святых мечтах земли, как сказал Жуковский… Мне скажут, что я подражаю всем поэтам, которые восхваляют святые чувства и, презирая грязь жизни, часто говорят, что у них душа больная; я слыхал, как говорят некоторые: поэты все плачут! Да! и на самом деле так должно быть: поэт плачет о первобытном чистом состоянии души, и смеяться над этим даже грешно! Что же касается до того, что я „молокосос“, то из этого только следует то, что эти чувства более доступны „молокососу“, так как моя душа еще молода и, следовательно, более чиста. Да и к тому же я пишу совсем не для суда других, совсем не хочу открывать эти чувства другим, а для того, чтобы удержать в душе напевы:

Пронесутся года. Заблестит
Седина на моих волосах,
Но об этих блаженных часах
Память сердце мое сохранит…

…Остальное время вечера я был как в тумане. Сладкое, пылкое чувство было в душе моей. Ее милые глазки смотрели на меня теперь нежно, открыто. В этих очах можно было читать любовь. Я гулял с ней по коридору и прижимал ее ручки к своим губам и сливался с нею в горячих поцелуях. Наконец пришло время расставаться. Я увидал, как она с намерением пошла в кабинет Пети. Я вошел туда же, и она упала ко мне на грудь. „Милый, — шептала она, — милый, прощай! Ты ведь приедешь на Новый год?“ Крепко поцеловал я ее, и мы расстались…

Наконец я лег спать, но долго не мог заснуть. В голове носились образы, звуки… пробовал стихи писать, — звуки путались, и ничего не выходило… передать все я не мог, сил не хватало, да и вообще всегда, когда сердце переполнено, стихи не клеятся. Кажется, что написал бы Бог знает что, а возьмешь перо и становишься в тупик…Согласившись наконец с Лермонтовым, что всех чувств значения „стихом размеренным и словом ледяным не передашь“, я погасил свечу и лег» [27].

«*Продолжение дневника 27 января 1886 года*.

Юлий живет в Озерках — под надзором полиции, обязан три года не выезжать никуда.

Зимой пишу стихи. В памяти морозные солнечные дни,

лунные ночи, прогулки и разговоры с Юлием» [28].

Юлий Алексеевич Бунин (1857–1921), видный журналист и литературно-общественный деятель, был народовольцем, участвовал в революционном студенческом кружке в Москве [29]. В 1884 году был арестован. В тюрьме пробыл около года, затем был выслан на три года под надзор полиции в Озерки и прожил там до осени 1886 года.

В 1886 году Евгений Алексеевич отделился — снял в аренду усадьбу у Цвиленева и открыл лавку, а в 1891 году купил имение десятин двести вблизи сельца Огнёвка.

В Ельце Иван Бунин учился около четырех с половиною лет — до середины зимы 1886 года.

Педагогический совет 4 марта 1886 года за то, что ученик «четвертого класса *Бунин* Иван до сих пор не явился из рождественского отпуска и не взносил установленной платы за учение» [30], исключил его из гимназии. «Теперь детство, — писал Бунин в 1900 году в рассказе „Над городом“, — кажется мне далеким сном, но до сих пор мне приятно думать, что хоть иногда поднимались мы над мещанским захолустьем, которое угнетало нас длинными днями и вечерами, хождением в училище, где гибло наше детство, полное мечтами о путешествиях, о героизме, о самоотверженной дружбе, о птицах, растениях и животных, о заветных книгах!»

Теперь он снова жил в деревне, в Озерках.

Жизнь Бунина в Озерках мало чем отличалась, по-видимому, от его жизни в Бутырках, где он, по рассказу В. Н. Муромцевой-Буниной, дружил с крестьянскими ребятами, бывал с ними в ночном, рассказывал им сказки [31]. Позже, в «Автобиографических заметках», он вспоминал: «От дворовых и матери я в ту пору много наслушался песен, сказок, преданий, слышал, между прочим, „Аленький цветочек“, „О трех старцах“, — то, что потом читал у Аксакова, у Толстого. Им же я обязан и первыми познаниями в народном и старинном языке» [32].

«По вечерам он уходил на часок в очередную избу „на посиделки“, — пишет В. Н. Муромцева-Бунина, — куда вносил оживление своими шутками, а иногда и рассказами.

Ходил и „на улицу“, где „страдали“, плясали, и он сам иногда придумывал „страдательные“ или плясовые, которые вызывали смех и одобрение» [33].

С удовольствием слушал молодой поэт старинные песни, исполнявшиеся на посиделках. Несколько отрывков он записал [34]:

— Матушка, с горы мёды текут,

Сударыня моя, мёды сладкие…

— Один-один мил — сердечный друг,
Да и тот со мной не в любви живет!

— Что запил, загулял, друг Ванюшечка,
Что забыл да забыл про меня!

— Воротися, веселье мое,
Я тебе ли да радость скажу!

— Уснул, уснул, мой желанный,
У девушки на руке,
На кисейном рукаве.

«Но что бы я ни делал, с кем бы ни разговаривал, — признавался он мне перед смертью, — вспоминает Вера Николаевна, — всегда меня точила одна мысль: мне уже восемнадцать лет! пора, пора!» [35]

В Озерках под руководством Юлия Алексеевича, кандидата университета, Бунин готовился на аттестат зрелости.

Вера Николаевна Муромцева-Бунина вспоминает:

«Юлий Алексеевич рассказывал мне: „Когда я приехал из тюрьмы, я застал Ваню еще совсем неразвитым мальчиком, но я сразу увидел его одаренность, похожую на одаренность отца. Не прошло и года, как он так умственно вырос, что я уже мог с ним почти как с равным вести беседы на многие темы. Знаний у него еще было мало, и мы продолжали пополнять их, занимаясь гуманитарными науками, но уже суждения его были оригинальны, подчас интересны и всегда самостоятельны.

Мы выписали журнал „Неделя“ и „Книжки Недели“, редактором которых был Гайдебуров, и Ваня самостоятельно оценивал ту или другую статью, то или иное произведение литературы. Я старался не подавлять его авторитетом, заставляя его развивать мысль для доказательства правоты своих суждений и вкуса“» [36].

Осенью 1886 года, шестнадцатилетним юношей, Бунин начал писать роман, озаглавленный «Увлечение», который закончил 26 марта 1887 года [37]. Роман напечатан не был. Только включенные в него строки из стихотворения И. С. Тургенева «Призвание» («О, приди же. Над водами // Машут лебеди крылами. // Колыхается волна…» и т. д.) вошли потом в «Митину любовь». Писал он и стихи. Некоторые из написанных в этом году стихотворений он

включил в собрание сочинений 1915 года.

Впоследствии Бунин писал:

«Печататься я начал в конце восьмидесятых годов. Современниками моими были тогда люди очень разнообразные: Григорович, Толстой, Щедрин, Лесков, Глеб Успенский, Эртель, Гаршин, Чехов, Короленко, Вл. Соловьев, Фет, Майков, Полонский, Надсон, Фофанов, Мережковский… Декаденты и символисты, появившиеся через несколько лет после того, утверждали, что в восьмидесятые годы русская литература „зашла в тупик“, стала чахнуть, сереть, ничего не знала, кроме реализма, протокольного описания действительности… Отчасти эти утверждения простительны: тут декаденты и символисты были верны давним нравам русской жизни, каждое десятилетие которой всегда имело своих собственных героев, в свой срок неизменно притязавших на исключительное право быть „солью земли“, эру начинавших только с самих себя. Но правильны ли эти утверждения? Давно ли перед тем появились, например, „Братья Карамазовы“, „Клара Милич“, „Песнь торжествующей любви“? Так ли уж реалистичны были печатавшиеся тогда „Вечерние огни“ Фета, стихи Вл. Соловьева? Можно ли назвать серыми появлявшиеся в ту пору лучшие вещи Лескова, не говоря уже о Толстом, о „Смерти Ивана Ильича“, „Крейцеровой сонате“? И так ли уж были не новы — и по духу и по форме — как раз в те дни выступившие Гаршин, Чехов?» [38]

В «Автобиографическом конспекте» за 1887 год Бунин записал:

«Смерть Надсона. Посылки в „Родину“ стихов. Появление стихотворения „Нищий“ в мае.

Тотчас отправился пешком в Озерки, рвал по лесам росистые ландыши и поминутно перечитывал свои стихи, это утро никогда не забудешь».

Смерть Надсона произвела большое впечатление на Бунина. 22 февраля 1887 года он напечатал в «Родине» стихи «Над могилой С. Я. Надсона».

Двадцать седьмого февраля 1887 года он начал писать большую поэму в трех песнях «Петр Рогачев» — подражание «Евгению Онегину» [39]. Написал только первую часть, которая была завершена им 5 марта 1887 года.

В августе 1888 года Юлий Алексеевич уехал в Харьков, позднее он должен был выписать к себе и младшего брата.

Бунин по-прежнему посылал стихи в столичные журналы, написал статью «Поэзия и отвлеченное мышление» [40] и намеревался отправить ее в «Неделю», обещал «Родине» присылать каждый месяц журнальные обозрения.

Двадцатого ноября Бунин сообщил брату, что редактор «Недели» Гайдебуров прислал ему письмо, в котором пишет, что у него «есть несомненные задатки поэтического творчества» [41].

Однообразие деревенских впечатлений, необходимость постоянно видеть вокруг себя одни и те же лица приводили Бунина в уныние. 26 декабря 1888 года он писал Юлию Алексеевичу из Глотова:

«Прежде всего скажу тебе, что пишу письмо едва не со слезами. Тоска такая, что грудь даже ломит. Правда, я все время старался исполнять твой совет и все время не раскисал почти ни капли. Но вчера и нонче, — как дьявол на мне поехал. И понимаешь, дорогой мой Юричка, ничего не могу с собой сделать: вчера целый вечер едва сидел. Просто видеть никого не могу из этих скотов. Нонче то же самое.

Одинокий, потерянный,
Как в пустыне стою…

Милый, голубчик, ей-богу, не ломаюсь! Даже ночью снится что-то необычайно темное и грустное, сердце щемит во сне даже. Евгений говорит, что это — желчь, но хотя я и чувствую себя в самом деле нездоровым, не соглашаюсь с ним: лицо совершенно не желтое. Похудел я, правда, здорово и бесцветен, как рыба… Ужасно жаль, что ты не приехал к Рождеству. Полежали бы опять в детской на кровати, поговорили бы и почитали… У нас, разумеется, все идет поразительно похоже на прошлый год» [42].

Двадцатого января 1889 года Бунин получил приглашение сотрудничать в «Орловском вестнике», газете «общественной жизни, литературы, политики и торговли». Он сообщает об этом Юлию Алексеевичу: «Вчера я отправился к Назарову (поэту-самоучке, проживавшему в то время в Ельце. — А. Б.) вечером и не застал его. Жена его говорит, что я ему *страшно* нужен. Я в Биржу. Там он мне сообщил следующее: „У меня, говорит, три раза была Семенова (издательница „Орловского вестника“) и убедительно просила передать вам, что она просит вас быть при „Орловском вестнике“ *помощником редактора*. Редактор (неофициальный) там некто Борис Петрович Шелихов. Он тоже был у меня и говорил то же самое. Потом писал об этом“. Я спросил у Назарова, что, может быть, Шелихов думает, что я был где-нибудь в университете, или не знает, что мне восемнадцать лет; Назаров говорит, что Шелихов и Семенова знают отлично, что я нигде почти не был, знают, что я так молод, но думают, что я для них вполне годен. Шелихов слишком занят и типографией, и корректурой, и корреспонденциями и т. п., так что ему некогда

перерабатывать даже различные сведения из жизни Орла. Поэтому он думает, что я ему буду хорошим помощником, буду писать фельетоны, журнальные заметки и т. п. Семенова читала в „Родине“ мое журнальное обозрение и восхищается моим уменьем владеть пером… При редакции прекрасная библиотека, получаются буквально все журналы. Подумай, какая прелесть! К тому же навсегда там меня не привяжут. Семенова, говорит Назаров, прекрасная, простая дама или барышня, что ли (она живет вполне официально с Шелиховым: молоденькая еще!), отвечай же, Юричка, поскорее, ехать мне или нет» [43].

Прежде чем принять предложение Семеновой, Бунин отправился к брату в Харьков.

Он надеялся, что Юлий Алексеевич найдет ему хоть «пустяковую работу» при редакциях газет «Южный край» или «Харьковские губернские ведомости». Прожил он здесь, однако, недолго, месяц или два, — погостил у брата, который сам обосновался в этом городе лишь на время, не имел определенных занятий и искал поддержки друзей.

Вера Николаевна Муромцева-Бунина пишет:

«Он прожил в каморке Юлия месяца два, его полюбили, но он был юноша непокладистый, не скрывал своего отрицательного отношения к тому, что ему не нравилось, бросался в споры со всеми, несмотря на возраст и уважение, которое окружало того или другого человека. С некоторыми он подружился, в том числе с Босяцкими, присяжным поверенным и его женой Верой, с которой скоро перешел на „ты“, так как они подходили друг к другу по возрасту. Много позднее мы с Иваном Алексеевичем один раз были у них в Москве; действительно, милые, умные и приятные люди. Сошелся с семьей Воронец. Подружился он с одним поляком-пианистом, богатым человеком…

Характер у него был вспыльчивый, независимый, порой дерзкий, мнения свои он отстаивал яростно, спорил со всяким, какого бы ранга он ни был. Ему почти все прощали его выходки, насмешки и восхищались его уменьем изображать кого-нибудь из отсутствующих» [44].

«Как-то его друг, — продолжает Вера Николаевна, — пианист, после игры рассказал, что был в Зальцбурге в музее Моцарта, где находятся его старинные клавикорды, а в витрине — его череп.

Иван Алексеевич позднее, когда мы с ним были в Зальцбурге и первым долгом зашли в дом Моцарта, поведал мне, как он чуть с ума не сошел, услыхав рассказ от харьковского пианиста, что он здесь был, и как Ивану Алексеевичу тогда страстно захотелось прославиться, написать какую-нибудь замечательную вещь, тогда даже он чуть не ушел от ужина, — такое у него явилось желание

сразу попасть в Зальцбург и увидеть все своими глазами. И он долго стоял и смотрел то на череп, то на клавикорды» [45].

Из Харькова Бунин уехал в Крым. 13 апреля 1889 года он прибыл в Севастополь и в тот же день писал родным:

«Я приехал в Севастополь только сегодня…

Севастополь мне не особенно понравился. Ты, папа, наверное не узнал бы его: теперь он совершенно отстроился, но плох тем, что почти совершенно лишен зелени. Красоту его составляет, разумеется, море. Часа в три дня я нанял парусную лодку, ездил (конечно, не один, а с рыбаками) к Константиновской крепости, потом в открытое море. День сегодня был — прелестный; волны прозрачные, совершенно изумрудные. Даль видна верст на сорок. Вечером гулял на бульваре, слушал музыку, смотрел на закат солнца, — выбрал на самом берегу на возвышенности скамеечку и одиноко сидел, глядел в даль, до тех пор, пока совсем не стемнело. Потом воротился в свой номер и, вспомнив, что я теперь отдален от вас целою тысячею верст, загрустил немного.

До свидания, мои дорогие; завтра отправлюсь к Байдарским воротам, а потом в Ялту.

14 и 15 апреля.

Сегодня я отправился к Байдарским воротам. Ехать пришлось на перекладных (до Байдарских ворот две станции) по шоссе, в бричке. Бричка совершенно в таком же роде, как обыкновенные солдатские телеги, крашенные зеленою краскою; лошадей впрягается пара, в дышло. Ехать во всяком случае не очень-то удобно, да и дорога сначала, от Севастополя, неинтересная: голая, песчаная и каменистая. Однако, начиная от Балаклавы, идут уже горы и местность меняется; чем дальше — горы все неприступнее и выше, леса по ним гуще и живописнее, становится дико и глухо, изредка где-нибудь у подошвы горы белеет одинокая татарская хатка; самая большая деревенька — это Байдары, в Байдарской долине. Там уж настоящая красота. Долина вся кругом в горах, вся в садах; не знаю почему, только горы постоянно в какой-то голубой дымке, — словом, роскошь. Около самых Байдарских ворот — станция. Байдарскими воротами называется широкий проход между двумя самыми высокими горами — вот так: (тут в письме рисунок. — А. Б.). В этом проходе, как видно на рисунке, построены искусственные ворота. Я слез на станции и спокойно пошел к воротам. Но едва я вышел из ворот, как отскочил назад и замер от невольного ужаса: море поразило меня опять. Под самыми воротами — страшный обрыв (если спускаться по этому обрыву по извилистой дороге — до моря считается версты три), а под ним и впереди и направо и

налево верст на пятьдесят вдаль — открытое море. Поглядишь вниз — холод по коже подирает; но все-таки красиво. Справа и слева ворот — уходят в небо скалы, шумят деревья; высоко, высоко кружатся орлы и горные коршуны. С моря плывет свежий, прохладный ветер; воздух резкий.

Ночевал я на станции и утром отправился обратно пешком (до Севастополя — сорок верст). Сначала шел прекрасно; в Байдарах есть трактир, зашел, ел яйца, пил крымское вино. На улицах — сидят на земле татары, пробуют лошадей и т. д. Около деревни встретил пастуха, загорелую круглую морду под огромной мохнатой шапкой. Сел, разговор начали:

— Сабанхайрос, — говорит пастух.

— Сиги-манан, — отвечаю я ему дружески.

Пастух осклабился; потом развернул какие-то вонючие шкуры, достал куски черного, как уголь, сухого хлеба — отмек куш*а*ешь? — спрашивает и подает мне. Я взял, спрятал и пошел дальше.

Полдень застал меня в горах, жара — дышать невозможно; кое-как добрался до станции, потом нанял обратного ямщика и за тридцать копеек доехал до Севастополя. Ямщик оказался славный малый, солдат, настоящий тип. Низенький, коренастый; ватный картуз набок, на левом виске ухарски взбиты волосы…

Скоро мое путешествие кончилось» [46].

Путешествие, о котором рассказывается в этом письме, отразилось в «Жизни Арсеньева» (кн. 4, гл. 15).

Лето Бунин провел в деревне у родных, бывал и в Орле, и у Бибиковых на Воргле.

Только осенью 1889 года он переехал в Орел, где начал работать в редакции «Орловского вестника».

Жил он некоторое время у издательницы газеты Надежды Алексеевны Семеновой на Зиновьевской улице, дом 2, где помещались редакция и типография [47]. Публичная библиотека «Орловского вестника», кабинет для чтения находились, как говорится в приложении к № 90 газеты от 9 июля 1888 года, на Волховской улице, дом 36 (бывший Красовского).

Надежда Алексеевна Семенова только номинально состояла редактором «Орловского вестника», фактически делами его занимался ее муж — Борис Петрович Шелихов, который не мог выступать владельцем и редактором газеты, так как был политически неблагонадежен и состоял под надзором полиции.

Семенова является прототипом Авиловой в «Жизни Арсеньева». Б. П. Шелихов — прототип героя рассказа Бунина «Гость», Адама Адамыча.

В «Орловском вестнике» Бунин печатал свои рассказы, стихи,

литературно-критические статьи и заметки в постоянном разделе «Литература и печать». Он был нередко фактическим редактором газеты. Вспоминая это время, Бунин говорил Н. А. Пушешникову в 1911 году: «Восемнадцатилетним мальчиком я был уже фактическим редактором „Орловского вестника“, где я писал передовицы о постановлениях Святейшего Синода, о вдовьих домах и быках-производителях, а мне надо было учиться и учиться по целым дням!» [48]

О своей работе в газете Бунин писал Юлию Алексеевичу 27 июля 1890 года:

«Милый и дорогой Юринька! Я до сих пор еще в Орле. Занимаюсь в редакции (я, — знаешь ведь, — по-мальчишески люблю эту обстановку), хожу в летний сад и даже… как ты думаешь, на что решился? — Драму пишу!.. Попытка не пытка… Ты сам часто это говоришь. Может, выйдет и жалкая штука, — да если мне хочется писать?.. Кончу, должно быть, в середине августа и пришлю тебе, если ты уж будешь настолько груб, что сам не вырвешься в Озерки. Ты писал в прошлом письме, что желал бы видеть все мои фельетоны в „Орловском вестнике“. Думаю, что все тебе будет неинтересно. Так, например, в конце июня было три моих фельетона, — перевод еврейской повести „Кляча“ (то есть переводил, разумеется, не я, а… резчик печатей, а я переписал его перевод своими словами). Предисловие к этой „Кляче“, впрочем, посылаю… Или, например, тоже недавно был мой фельетон „Театр графа Каменского в Орле“ — опять-таки статья, составленная на основании каких-то мемуаров Шестакова в „Деле“ за 73 год. Главным же образом строчу „Литературу и печать“, — заметки г… и маленькие, а за месяц все-таки набирается денег до 15, а иногда с фельетонами 20 рублей. Две копейки за строку. Впрочем, за последнее время стал писать меньше: надоело, опошлишься. Да и ты вряд ли рад, как ты пишешь, что я строчу все это. Я, брат, помню твой совет не поддаваться „писательскому зуду“…» [49]

Писал Бунин в это время и рассказы. Несколько позже, по-видимому, в январе 1891 года, он обратился к Чехову с просьбой прочитать несколько его рассказов и высказать о них свое мнение. Он писал Чехову:

«…Вы самый любимый мной из современных писателей, и так как я слыхал от некоторых моих знакомых (харьковских), знающих вас, что вы простой и хороший человек, — то „выбор“ мой „пал“ на вас. К вам я решился обратиться с следующей просьбой: если у вас есть свободное время для того, чтобы хоть раз обратить внимание на произведения такого господина, как я, — обратите, пожалуйста. *Ответьте мне, ради Бога, могу ли*

когда-нибудь прислать вам два или три моих (печатных) рассказа и прочтете ли вы их когда-нибудь от нечего делать, чтобы сообщить мне несколько ваших заключений» [50].

У газеты «Орловский вестник» было четыре цензора, в том числе — вице-губернатор, навязывавший ей свои личные взгляды и вкусы. По воспоминаниям журналиста и активного участника народнического движения И. П. Белоконского, сотрудничавшего в ней в те годы, когда входил в ее редакцию Бунин, каждое утро, приступая к делу, наводили справки: «Кто сегодня цензор?» [51] Материал для газеты, запрещенный одним цензором, давали другому, пользуясь тем, что цензоры ссорились между собою.

В редакции и в Литературно-художественном кружке Бунин встречался с видными деятелями народничества и с поднадзорными. Некоторые из них не один год провели в тюрьме и в ссылке. В их числе, кроме Белоконского, были М. А. Натансон, служащий Орловско-Грязской железной дороги; А. В. Пешехонов, статистик орловского земства, впоследствии — видный публицист; активный член партии «Народное право» И. Н. Львов, кандидат математических наук, недолгое время заведовавший статистическим бюро. Несомненно, что общение с такими людьми, как Пешехонов или Львов, не могло не сказаться на пробуждении общественных интересов Бунина.

В 1890 году Бунин путешествовал по Днепру, больше всего ему хотелось побывать на могиле Т. Г. Шевченко вблизи города Канева. Шевченко Бунин называл «гениальным поэтом», с восхищением писал о его песнях и думах, «полных самой простой, высокой поэзии и красоты»; некоторые из них он перевел на русский язык. Имя Шевченко, по его мнению, «навсегда останется украшением русской литературы» [52].

В. Н. Муромцева-Бунина пишет: «…По Днепру плыл на барже с дровами, устроившись за гроши. Он говорил мне, что это первое странствие по Малороссии было для него самым ярким, вот тогда-то он окончательно влюбился в нее, в ее дивчат в живописных расшитых костюмах, здоровых и недоступных, в парубков, в кобзарей, в белоснежные хаты, утонувшие в зелени садов, и восхищался, как всю эту несказанную красоту своей родины воплотил в своей поэзии простой крестьянин Тарас Шевченко!.. Он признавался, что ни одна могила великих людей его так не трогала, как могила Шевченко…» [53]

В редакции «Орловского вестника» некоторое время работала корректором В. В. Пащенко. Бунин писал о Варваре Владимировне 28 августа 1890 года Юлию Алексеевичу:

«Я познакомился с нею года полтора тому назад (кажется, в

июне прошлого года), в редакции „Орловского вестника“. Вышла к чаю утром девица высокая, с очень красивыми чертами лица, в пенсне. Я даже сначала покосился на нее: от пенсне она мне показалась как будто гордою и фатоватою. Начал даже „придираться“. Она кое-что мне „отпела“ довольно здорово. Потом я придираться перестал. Она мне показалась довольно умною и развитою. (Она кончила курс в Елецкой гимназии.) Потом мы встретились в ноябре (как я к тебе ехал). Тут я прожил в редакции неделю и уже подружился с нею, даже откровенничал, то есть немного изливал разные мои чувства. Она сидела в своей комнате с отворенною дверью, а я, по обыкновению, на перилах лестницы, около двери. (На втором этаже.) Не помню, говорил ли я тебе все это. Если и не говорил, то только потому, что не придавал этому никакого значения, и ради Христа, не думай, что хоть каплю выдумываю: ну из-за чего мне?

Потом мы встретились в самом начале мая у Бибиковых (в их имении в селе Воргол. — А. Б.) очень радостно, друзьями. Проговорили часов пять, без перерыву, гуляя по садочку. Сперва она играла на рояле в беседке все из Чайковского, потом бродили по дорожкам. Говорили о многом; она, честное слово, здорово понимает в стихах, в музыке. И не думай, пожалуйста, что был какой-нибудь жалкий шаблонный разговор. Уходя и ложась спать, я думал: „Вот милая, чуткая девица“. Но кроме хорошего, доброго и, так сказать, чувства удовлетворения потребности поговорить с кем-нибудь, ничего не было…

Потом мы вместе поехали в Орел, — через несколько дней — слушать Росси. Опять пробыли в Орле вместе с неделю. Иногда, среди какого-нибудь душевного разговора, я позволял себе целовать ее руку — до того мне она нравилась. Но чувства ровно никакого не было. В это время я как-то особенно недоверчиво стал относиться к влюблению. „Все, мол… пойдут неприятности и т. д.“.

Можешь поверить мне, что за это время я часто думал и оценивал ее, и, разумеется, беспристрастно. Но симпатичных качеств за нею, несмотря на мое недоверие, все-таки было больше, чем мелких недостатков. Не знаю, впрочем, может быть, ошибаюсь.

С июня я начал часто бывать у них в доме. С конца июля я вдруг почувствовал, что мне смертельно жалко и грустно, например, уезжать от них. Все больше и больше она стала казаться мне милою и хорошею; я это начал уже чувствовать, а не умом только понимать. Но не называл это началом влюбления и, помнишь, пиша тебе из Орла о ней, говорил правду. Сильное впечатление (в смысле красоты и т. п.) произвела она на меня

накануне моего отъезда, со сцены: она играла в „Перекати-поле“ (Гнедича) любительницей, играла вполне недурно, главное, — очень естественно[54]. Ночью, вспомнив, что я завтра уезжаю, я чуть не заплакал. Утром я написал ей, напрягая всю свою искренность, стихотворение.

Написал и сейчас же злобно зашагал вниз. Простились мы очень холодно, по крайней мере и она и я с серьезным видом. Это было в самом конце июля.

В начале августа я опять был у них. Когда я начал бормотать, что, мол, не вздумайте еще посмеяться над стихами, она сказала: „Если вы меня считаете способной на это, зачем писали? И зачем подозреваете, когда знаете, как я отношусь к вам. Вы мне всегда казались милым и хорошим, как никто“. Уехал я опять с грустно-поэтичным чувством. Дома я долго размышлял над этим. Чувство не проходило. И хорошее это было чувство. Я еще никогда так разумно и благородно не любил. Все мое чувство состоит из поэзии… Милый Юринька, ты не поверишь, каким перерожденным я чувствовал и чувствую себя!..

Восьмого августа я опять приехал к ним в Елец и вместе с ее братом и с нею поехал к Анне Николаевне Бибиковой[55] в имение их верст за десять от Ельца на Воргле. У Бибиковой есть еще брат Арсений (лет 18), приехала еще некая Ильинская, барышня, занимавшаяся прежде в „Орловском вестнике“. Стариков — только один Бибиков, но он к нам почти не показывался. Было очень весело и хорошо. Мы провели там трое суток. И вот 12-го ночью мы все сидели на балконе. Ночь была темная, теплая. Мы встали и пошли гулять с Пащенко по темной акациевой аллее. Заговорили. Между прочим, держа ее под руку, я тихонько поцеловал ее руку.

— Да вы уж серьезно не влюблены ли? — спросила она.

— Да что об этом толковать, — сказал я, — впрочем, если на откровенность, то есть, кажется, да. — Помолчали.

— А знаете, — говорит, — я тоже, кажется… могу полюбить вас.

У меня сердце дрогнуло.

— Почему думаете?

— Потому что иногда… я вас ужасно люблю… и не так, как друга; только я еще сама не знаю. Словно весы колебаются. Например, я начинаю ревновать вас… А вы — серьезно это порешили, продумали?

Я не помню, что ответил. У меня сердце замерло. А она вдруг порывисто обняла меня и… уж обычное… я даже не сразу опомнился! Господи! что это за ночь была!

— Я тебя страшно люблю сейчас, — говорила она, —

страшно… Но я еще не уверена. Ты правду говоришь, что часто на то, что говоришь вечером, как-то иначе смотришь утром. Но сейчас… Может быть, ввиду этого мне не следовало так поступать, но все равно… Зачем скрываться?.. Ведь сейчас, когда я тебе говорю про свою любовь, когда целую тебя, я делаю все это страшно искренне…

На другой день она действительно попросила меня „забыть эту ночь“. Вечером у нас произошел разговор. Я просил ее объяснить мне, почему у нее такие противоречия. Говорит, что сама не знает; что сама не рада. Расплакалась даже. Я ушел, как бешеный. На заре она опять пришла на балкон (все сидели в доме, а я один на нем), опять обняла, опять начала целовать и говорить, что она страшно бы желала, чтобы у нее было всегда ровное чувство ко мне.

Кажется, 14-го мы уехали с Воргла. Я верхом провожал ее до Ельца. На прощанье она попросила меня возвратить ее карточку.

— Хорошо, — сказал я и заскакал, как бешеный. Я приехал в орловскую гостиницу совсем не помня себя. Нервы, что ли, только я рыдал в номере, как собака, и настрочил ей предикое письмо: я, ей-Богу, почти не помню его. Помню только, что умолял хоть минутами любить, а месяцами ненавидеть. Письмо сейчас же отослал и прилег на диван. Закрою глаза — слышу громкие голоса, шорох платья около меня… Даже вскочу… Голова горит, мысли путаются, руки холодные — просто смерть. Вдруг стук — письмо! Впоследствии я от ее брата узнал, что она плакала и не знала, что делать. Наконец, настрочила мне: „Да пойми же, что весы не остановились, ведь я же тебе сказала. Я не хочу, я пока, видимо, не люблю тебя так, как тебе бы хотелось, но, может быть, со временем я и полюблю тебя. Я не говорю, что это невозможно, но у меня нет желания солгать тебе. Для этого я тебя слишком уважаю. Поверь и не сумасшествуй. Этим сделаешь только хуже. Со временем, может быть, и я сумею оценить тебя вполне. Надейся. Пока же я тебя очень люблю, но не так, как тебе нужно и как бы я хотела. Будь покойнее“.

До сих пор еще не определилось ничего…» [56]

Пащенко была одних лет с Буниным, родилась она в 1870 году [57]. В 1888 году Пащенко закончила гимназию. В ее «Аттестате» сказано, что «ученица 7 класса Елецкой женской гимназии Варвара Владимировна Пащенко, как видно из документов, дочь врача, православного вероисповедания, имеющая от роду 17 лет, поступила, по свидетельству Царицынской прогимназии, в 3-й класс Елецкой женской гимназии 1882 года октября 5 дня…» [58].

По окончании седьмого класса Пащенко поступила в восьмой

— дополнительный класс «для специального изучения русского языка», как она писала в заявлении начальнице Елецкой женской гимназии 26 августа 1887 года [59]. В гимназические годы Варя училась музыке. Она мечтала о консерватории и о карьере драматической актрисы.

Бунин писал ей 9 апреля 1891 года:

«Драгоценная моя, деточка моя, голубеночек! Вся душа переполнена безграничною нежностью к тебе, весь живу тобою. Варенька! как томишься в такие минуты! Можно разве написать? Нет, я хочу сейчас стать перед тобою на колени, чтобы ты сама видела все, — чтобы даже в глазах светилась вся моя нежность и преданность тебе… Неужели тебе покажутся эти слова скучным повторением? Ради Христа, люби меня, я хочу, чтобы в тебе даже от моей заочной ласки проснулось сердце. Господи! ну да не могу я сказать всего. Право, кажется, что много хорошего есть у меня в сердце, и все твое, — все оживляется только от тебя. О, Варюшечка, не хвастовство это! К чему сейчас скверное мелкое самолюбие?..

Вот, например, за последнее время я ужасно чувствую себя „поэтом“. Без шуток, даже удивляюсь. Все — и веселое и грустное — отдается у меня в душе музыкой каких-то неопределенных хороших стихов, чувствую какую-то творческую силу создать что-то настоящее. Ты, конечно, не знаешь, не испытывала такое состояние внутренней музыкальности слов и потому, может быть, скажешь, что я чепуху несу. Ей-Богу, нет. Ведь я же все-таки родился с частичкой этого. О, деточка, если бы ты знала все эти мечты о будущем, о славе, о счастии творчества. Ты должна знать это: все, что есть у меня в сердце, ты должна знать, дорогой мой друг. Нет, ей-Богу, буду, должно быть, человеком. Только кажется мне, что для этого надо не „место“, а сохранять, как весталке, чистоту и силу души. А ты называешь это мальчишеством. Голубчик, ты забываешь, что я ведь готовил себя с малолетства для другой, более идеалистической жизни» [60].

В то время Бунин сильно нуждался. 29 мая 1891 года он писал Юлию Алексеевичу:

«Если бы ты знал, как мне тяжко!.. Я больше всего думаю сейчас о деньгах. У меня нет ни копейки, заработать, написать что-нибудь — не могу, не хочу… Штаны у меня старые, штиблеты истрепаны. Ты скажешь — пустяки. Да я считал бы это пустяками прежде, но теперь это мне доказывает, до чего я вообще беден, как дьявол, до чего мне придется гнуться, *поневоле* расстраивать все свои лучшие думы, ощущения заботами (например, сегодня я съел бутылку молока и супу даже без „мягкого“ хлеба и целый день не курил, — не на что).

И этакая дура хочет жениться, скажешь ты. Да, хочу! *Сознаю* многие скверности, препятствующие этому, и потому вдвойне — беда!.. Кстати о ней: я ее люблю (знаю это потому, что чувствовал не раз ее другом своим, видел нежною со мною, готовой на все для меня); это раз; во-вторых, если она и не вполне со мной единомышленник, то все-таки — девушка, многое понимающая… Ну, да, впрочем, куда мне к черту делать сейчас характеристики!..

Я тебя, кроме твоих советов, которые, Богом клянусь, ценю глубоко, дорогой мой, милый Юринька, хотел просить еще места в Полтаве, рублей на сорок, на тридцать пять, да еще буду кое-что зарабатывать литературой — проживем с нею; а главное, с тобою, в одном городе!

Пишу несвязно, по-мальчишески — понимаю. Лучше не могу. Прощай и не называй меня дураком: мне тяжко, как собаке, — смерть моя!

Может быть, приеду к тебе, когда — не знаю.

Читаю Шпильгагена „Загадочные натуры“» [61].

Нередко он обращался к Юлию Алексеевичу с просьбой выслать пять — десять рублей или хоть два рубля немедленно. 15 августа 1891 года он писал брату: «Нужда положительно приперла меня к стене, убивает все надежды и думы своею *неумолимою безвыходностью*… Поверь, Юричка, не раз уже я доходил из-за денег чуть не до петли, — но такого положения не было!» [62]

В мае — октябре 1891 года он писал тому же адресату:

«Скажи, пожалуйста — неужели ты думал, что я на самом деле такая скотина, что не понимаю, насколько страшно я запутался? А я, брат, запутался. Прежде всего я понял, что мое образование кончено. Теперь я уже никуда не приготовлюсь и в ноябре буду солдатом. Сознаю, что это гадость, слабость — но ведь я сам — эта слабость — и, следовательно, я мучился и мучаюсь *вдвойне*. Вдумайся. Затем кое-что помельче: где мне жить? Дома? Бедность, грязь, холод, *страшное одиночество* — раз. Глядеть в глаза семье, перед которой я глубоко виноват, — тяжело, страшно тяжело — два… Следовательно, как я поеду туда? Да я и так там не был с декабря. В редакции — работа проклятая, сволочи они оказались при близком сожительстве — страшные. Я сам думал, что не буду работать, буду лениться иногда. Вышло иначе: я работал, как никогда в жизни… Ты удивишься, не поверишь, — я и сам не верил. Но поборол себя. И в награду за это придирки, кричат как на сапожника, устраивают скандалы из того даже, если я пойду вечером в гости… Да что — не расскажешь. Я говорил Лизе.

Затем — перед тобой свинство, затем эта любовная история.

Вдумывался, образумливал себя, говорил себе, что мне, уж видно, не до любовных историй — нет, не могу забить себя. А разве я могу жениться? Мне даже приходится не видать ее черт знает по скольку.

В конце января я был в Ельце. Там, желая проехать домой и не смея, не имея даже возможности вследствие безденежья, я дошел черт знает до чего. Когда я поехал в Орел, я был совсем больной; я плакал навзрыд в вагоне и наконец около самых Казаков выскочил из вагона, с платформы. Убился не особенно и был приведен стрелочником в вокзал. Тут расспросы жандарма, скотина начальник станции. До вечера один-одинешенек я проревел в дамской комнате. Даже соображенье совсем ослабло. Вечером меня препроводили в Елец. Там я пролежал у Пащенко дня четыре; желчь разлилась ужасная. Воротился в Орел — скандал, ежедневные упреки в том, что я целую неделю был в отсутствии. Я опять разболелся. И надо было через силу работать. Плохо, смутно прошел февраль. В конце февраля мы, то есть я, Варя и ее мать, поехали в Елец. В вагоне ночью у меня болели зубы. Я лег, и Варя стала укрывать меня пледом и целовать меня, ласкать. В это время подошла ее мать! Мы, разумеется, не стали отрицать. Разумеется, на другой день вышел скандал… Главным образом она возмутилась, что мы не сказали ей всего сперва, сначала… Но это все ты, пожалуй, сочтешь пустяками… Денег у меня теперь нету. Рублей 40 будет только к Святой. Хорошо все? Комментировать подробнее все сказанное — не могу даже. Прощай пока. Я теперь, брат, чувствую себя настолько несчастным, настолько погибшим, что не могу ныть: все это слишком серьезно. Только скажу одно: я страдал за два последних месяца так, как, может быть, не буду во всю жизнь. Хочешь поверить — верь, хочешь пожалеть хоть немного — пожалей, брат. Ну да будет…

С редакцией разошелся, когда уже было написано это письмо… Вышла громадная ссора из-за моих заметок о „Московских ведомостях“. Они страшно боятся цензуры. Борис Петрович (Шелихов. — А. Б.) в конце концов сказал, что он даст мне в „рыло“. Он бешеный, прямо-таки больной, но я не мог снесть — уехал. Еду домой!» [63]

О своем душевном состоянии Бунин писал Юлию Алексеевичу из Орла 10 августа 1891 года:

«Я сейчас в Орле, милый братка, вместе с Варварой Владимировной. Она приехала узнать окончательно, получит ли она место в Управлении Орловско-Витебской дороги. Кажется, я уже писал тебе, что ей предлагает Надежда Алексеевна еще и другое место — корректора в „Орловском вестнике“, но

последнее представляет вот какое затруднение: зная, что служу в редакции, ее не будут пускать родители служить со мной в одном доме… Впрочем, если в Витебском Управлении дело не выгорит, она все-таки будет корректировать, для чего, конечно, ей придется совсем перессориться дома. Но оба мы будем служить только тогда, когда уедет Борис Петрович, ибо при нем служить нельзя, нельзя будет с ним не перессориться вследствие его нервности. Уедет он, должно быть, совсем числа 20-го. Этот отъезд решился тяжело: позавчера он до того разволновался, что, когда пошел спать, хватился об пол в обмороке. Жалко его ужасно, но дело уже решено.

Состояние мое — крайне тревожное. Меня неотступно томит мысль о солдатчине. За последние же [дни] к этому прибавились еще думы о житье-бытье на свете, так сказать, „философского“ характера. Для чего я только рождался! Я, например, знаю, что давай я себе волю думать в этом направлении — с ума сойду! Помнишь, — у меня было такое состояние в Озерках: явилась какая-то mania grandiosa, — все кажется мелко, пустяково… Ну, словом, я глуп, чтобы выразить все это, но ощущения, ей-Богу, тяжелые.

Конечно, с Варей мне сравнительно легко. Мне даже кажется, не женись я — дело будет плохо… А женюсь?.. Не знаю!» [64]

С августа 1891 года В. В. Пащенко работала в управлении Орловско-Витебской железной дороги.

В ноябре Бунин проходил военный призыв. 17 ноября он телеграфировал в Орел Пащенко: «Свободен», — по жребию его не взяли, и через два дня он был зачислен в ополчение по второму разряду. Практически это означало, что ему придется служить только в случае войны. Об этом он рассказал в письме к В. В. Пащенко из Ельца от 17 ноября 1891 года:

«Сегодня ты, вероятно, получила мою телеграмму… С тех минут, когда определилось ее содержание, я никак не могу прийти в нормальное состояние. Каково, зверочек? Свободен! И свободен не до будущего года, а *навсегда*! Глупый случай перевернул все. Ведь за последние дни я не только не надеялся оказаться не годным или получить дальний жребий, но даже не рассчитывал на отсрочку до будущего года. И вдруг произошло то, чего я даже представить себе не мог! Без всякой надежды запустил я вчера руку в ящик с роковыми билетами, и в руке у меня оказалось — 471! А скверно было на душе, и еще больше скверного ждал я в будущем. Когда вчера утром я попал в эту шумную, пьяную, плачущую, неистово пляшущую и сквернословящую толпу, у меня сжалось сердце. Все это, думал я, мои будущие сожители, с которыми, в тесноте, в холоде и

махорочном дыму вагона, среди криков пьяных, мне придется ехать одинокому, потерянному в какую-нибудь Каменец-Подольскую губернию, в темный, скучный уездный городишко, в казармы, где придется в *каждом шаге* подчиниться какому-нибудь рыжему унтеру, спать на нарах, есть тухлые (прости за гадкое слово) „консервы“, каждый день с холодного раннего утра производить артикулы, стоять по ночам, на мятели и вьюге, на часах, где-нибудь за городом, около „запасных магазинов“, и *только думать* иногда ночью о далеком от меня, дорогом, ненаглядном „друге“! Плохо, ей-Богу, плохо, Варечка! Да и помимо личных соображений, все тяжелые, скорбные картины около приема камнем ложились на душу… Прождать очереди взять жребий пришлось до половины 8-го вечера. Наконец-то раздалось: „Бунин, Иван Алексеевич!“ Машинально я шагнул к роковому ящику и опустил руку. Какой-то билет мне попался под пальцы. Но — решительно не знаю почему — я толкнул его пальцем и взял лежащий с ним рядом. Сердце, — правда, билось страшно — не от ожидания чего-либо — я, повторяю, мало придавал значения жребию, думал, что возьму, например, 65, 72, 20 и т. д. — а от какого-то непонятного волнения, так что встрепенулся только тогда, когда исправник, своим поповским голосом, выкликнул — 471-й! „Ну, брат, слава Богу, шанс есть“, — в один голос сказали Евгений и Арсик (А. Н. Бибиков. — А. Б.), когда я воротился в толпу. Всю дорогу из присутствия мы горячо толковали о том, могу ли я остаться за флагом, наберут ли до моего номера комплект 151 человек из 517 призываемых или нет. Надо было принять во внимание, что из этих 517 человек 200 было льготных, а из остальных будет много не годных. Но все-таки надежда затеплилась. Первым делом я думал отправиться на телеграф и известить тебя. Но потом сообразил — о чем? Ведь легко могут взять.

Ночь мы провели с Арсением. Евгений спал, а мы почти нет. Сегодня отправились в 10 часов в прием. Ощущалось, что идешь на Страшный суд, что сегодня будет серьезный перелом в моей судьбе. Сели и ждем, а нервы все более и более взвинчиваются. Целые вереницы Адамов прошли перед нами, и каждый невзятый уменьшал у меня один шанс на то, что до меня не дойдет очередь… Прошел час, другой, третий. Папа твой (В. Е. Пащенко был врачом в приемной комиссии. — А. Б.) неустанно мерял и слушал, мерял и слушал и хладнокровно решал судьбы… Господи! Хоть бы поскорее *что бы ни было*… Наконец — 5-й час. Набрали уже более 140 человек, остается 10–11 человек набрать, а всего призываемых стоит человек 20–18. Ну, думаю, непременно погиб. Теперь и думать нечего, что до меня не дойдет очередь и

не выкрикнут № 471-й… Вот наконец остается два человека, один… Вдруг все стихает… „Набор кончен, те из призываемых, которые остались, зачисляются в ополченцы и будут осматриваться завтра!“. Я поднялся как в чаду и очнулся от слов папы: „Поздравляю, Иван Алексеевич, завтра мы вас осмотрим и запятим во 2-й разряд ополченцев!“ Он подошел ко мне и сказал это так радостно и искренно, как я никогда не надеялся услышать от него. Да, действительно, он милый и благородный человек!..

Понимаешь, Варечка, все эти призывные термины? Завтра меня осмотрят уже не для того, чтобы взять в службу, а только для определения разряда: если окажусь ополченцем 1-го разряда — служить все равно не буду, буду только являться раза два в десять лет на 2–3 недели на временные сборы, если 2-го разряда — не буду совсем никогда являться, ибо ополченцы всех разрядов призываются в солдаты только в исключительных случаях — во время отечественных войн.

Вот тебе 471! Мог ли я ожидать, что эти цифры спасут меня и оставят свободным гражданином? Сейчас уже 10 часов. Спать хочу страшно, утомлен и духом и телом до последних пределов. В первый раз я засну сегодня спокойно!..

Может быть, это письмо не ласково. Но прошу тебя — верь, что оно писано при самой теплой и нежной любви к тебе, моя дорогая, милая, сладкая деточка! Я получил твое письмо, я еще сильнее убедился, что ты меня искренно любишь и простишь все мои подлые подозрения. Не думай, что я упоминаю о нем вскользь. Оно слишком дорого, значительно для меня. Никогда я еще не получал от тебя такого ласкового, доброго, искреннего. Клянусь же тебе Богом, что я ценю его, милая, хорошая моя!» [65]

Из-за материальной необеспеченности Бунина родители Вари не разрешали ей выйти за него замуж, и им приходилось скрывать свои отношения. Родные Бунина не могли им помочь, так как сами сильно нуждались. По словам сестры Маши (письмо Юлию Алексеевичу, по-видимому, за 1891 год), она, мать и отец дошли до того, что по целым дням сидят «*совершенно* (подчеркнуто в автографе. — А. Б.) без хлеба»; в стенах детской — щели, так что «везде светится» [66].

Земля в Озерках была продана в 1890 году, без усадьбы, Цвиленеву.

Лишившись и усадьбы, которая в 1893 году перешла к Евгению Алексеевичу, отец переселился к своей сестре Варваре Николаевне, мать и Маша — в Васильевское к С. Н. Пушешниковой, которой платили за свое содержание.

О неустроенности своего положения Бунин писал брату 25 ноября 1891 года: «Меня сильно занимает мысль — куда мне

пристроиться. При благоприятных условиях — я *убежден*, что смогу приготовиться в какое-нибудь высшее учебное заведение. Это *необходимо* уже потому, что иначе — то есть без дела — я совсем погибну от сознания идиотского существования. Как это устроить, когда нет никаких средств (я писал уже тебе, что окончательно разошелся с „Орловским вестником“ — нелепая ревность заставила Бориса Петровича (Шелихова. — А. Б.) сказать мне „мерзавца“)? Как же жить? Куда поступать лучше?.. Подробно хотелось бы поговорить с тобою об этом, да не в письмах — не умею, — а лично. Пиши, ради Бога, скорее — и, в частности, о том, приедешь ли ты домой и когда?

Теперь я поселился в Орле, нашел квартиру (Воскресенский переулок, д. Пономарева, кварт, г-жи Шиффер) за 20 рублей со столом и зажил тихо и спокойно… пока… Хожу в библиотеку, доканчиваю „афоризмы Щедрина“, читаю с Варею по вечерам… (Представить себе ты не можешь, как я заразил ее разными идеями! (серьезно!), статьями Цебриковой по женскому и моральным вопросам, Скабичевским, Кавелиным, Шелгуновым и т. д.)» [67].

Позднее Бунин писал:

«Я все же немало читал тогда — то, что попадалось под руку. Иногда пытался читать то, что в то время полагалось читать „для самообразования“, записал, что „надо прочесть“, и так и не прочел: Блос — „Французская революция“, Шильдер — „Александр Первый“, Трачевский — „Русская история“, Мейер — „Мироздание и жизнь природы“, Ранке — „Человек“, Кареев — „Беседы о выработке миросозерцания“, что было уже глупее всего… В старых журналах нахождение любимых стихов, давно знакомых по сборникам, но тут напечатанных впервые, давали великую радость: тут эти строки имели особенную прелесть, казались гораздо пленительнее, поэтичнее по их большей близости к жизни их писавшего, по представлениям о том времени, когда он только что передал в них только что пережитое, по мнимому очарованию тех годов, когда жили, были молоды или в расцвете сил Герцен, Боткин, Тургенев, Тютчев, Полонский… и вот это время воскресало, — я вдруг встречал как бы в самую пору создания это знакомое, любимое…» [68]

В конце 1891 года вышел первый сборник стихов Бунина — приложением к газете «Орловский вестник» [69]. Стихотворение «Не пугай меня грозою» из этого сборника включалось Буниным во многие последующие издания.

В марте 1892 года Бунин, как видно из его писем В. В. Пащенко [70], временно работал в Полтаве у брата, заведовавшего статистическим бюро земской управы. Он

собирался также отправиться работать в Москву. 13 апреля 1892 года он сообщил В. В. Пащенко:

«Сегодня, Варюшечка, я получил место в Москве, в ветеринарном статистическом бюро. Работа будет временная, жалованье — один рубль в день. Решил туда ехать двадцатого. Но сегодня же пришлось перерешить, — ехать сегодня и ехать черт знает каким окольным путем — через Минск; у супругов Женжуристов (друзей Буниных в Полтаве. — А. Б.) произошла развязка — они разошлись. Лидия Александровна (Л. А. Женжурист, дочь политического ссыльного Макова. — А. Б.) уезжает навсегда из Полтавы, к родным, в Минск, и вот я везу ее, потому что она еле жива» [71].

Но планы Бунина изменились, и он вернулся в Орел, где была Пащенко. 19 мая 1892 года он писал брату Юлию:

«…С Варей мы расходимся *окончательно*. Мое настроение таково, что у меня лицо как у мертвеца, полежавшего с полмесяца. Помоги же мне ради Бога. Вот слушай. Я писал тебе, что мы ездили с ней к отцу; она осталась, была с ним, разговаривала и после меня и вернулась совсем больная и расстроенная с предложением, чтобы мы разъехались на год. Отец этого требует, хочет, чтобы мы сошлись только тогда, когда у меня будет определенное положение. Он плакал, просил ее об этом, она дала ему слово и стоит на этом предложении. Она говорит, чтобы я уезжал, нашел место, постарался найти и ей и через год мы съедемся. Я принять этого ни за что не могу. Я довольно ждал, я уже второй год слышу колебания, такое предложение оскорбительно мне донельзя, я не могу вследствие такого предложения верить, что она меня любит. Расстаться с любимым человеком еще на год, когда уже дело тянулось два года — это не любовь!

Она, — я думаю, я убежден, — сама боится, что я не буду работать, что у нас будет нужда… Но я этого не могу — я уже несколько раз сказал, что мы расстанемся, но только навсегда. Богом клянусь, это уж лучше!

Я наконец даже уступал, предлагал, что я согласен ждать совместной жизни, но буду жить в Орле, буду работать сперва в редакции, а потом в Управлении Орловско-Грязской дороги (которое переходит в Орел и в котором обещают мне место), и будем жить так, как до сих пор жили — то есть она будет ходить ко мне. Но она и на это не согласна! Она говорит, что, исполняя желание отца, она не может сделать это… а если и согласится, то этакая жизнь будет ей тяжела. Этакое хождение друг к другу в гости нам уже давало себя знать — это, действительно, тяжело, не удовлетворяет… Так вот она говорит, что ей будет и теперь также

тяжело. Теперь я решительно не знаю, что делать, не знаю, чем уговорить ее, и… единственно что могу предложить — расход! Да, непременный!.. Она тоже проплакала вчера целый день. Что делать? Скажи? На такой компромисс я не пойду, ни за что! Чего она боится? Что изменится, если мы поселимся под одной кровлей? Ведь детей у нас не будет!» [72]

Насколько тяжело было Бунину, видно из письма Варвары Владимировны Ю. А. Бунину от 8 июля 1892 года:

«Дорогой Юлий Алексеевич!

Когда вы были здесь, у меня не раз являлось желание поговорить с вами серьезно, но все как-то не удавалось, да и во мне самой теплилась надежда, что все переменится, пойдет лучше, глаже, теперь же, все взвесив, я собралась с духом и пишу вам.

За последнее время особенно часты и резки стали наши ссоры с Ваней; сначала я и сама придерживалась пословицы: „милые бранятся“, и каждая наша ссора кончалась хорошим миром, теперь же эти ссоры участились, и мы, буквально, миримся для того, чтобы вновь поссориться. Вам покажется странным, что я не поговорила об этом с вами лично, это потому, что перед самым вашим приездом сюда Иван мне *поклялся*, что он будет верить мне, перестанет изыскивать предлоги для ссор… Я всему этому еще раз поверила, но, конечно, напрасно: на другой же день мы поссорились, и поссорились серьезно. Так длилось больше месяца; теперь я уже не верю ни его обещаниям, ни клятвам…

Поверьте мне, что я его очень люблю и ценю как умного и хорошего человека, но жизни семейной, мирной у нас не будет никогда. Лучше, как мне ни тяжело, теперь нам разойтись, чем через год или полгода. Это, согласитесь, будет и труднее и тяжелее. Сама я не могу этого ему сказать, потому что достаточно мне принять серьезный тон, чтобы у него явилось озлобление, он начинает кричать на меня, и дело кончается истерикой, как, например, вчера, когда он бросился на пол в каменных сенях и плакал, как в номерах „Тула“, где он в порыве раздражения хотел броситься из окна. Все это невыразимо угнетает меня, у меня пропадает и энергия, и силы…

Я вам уже говорила, что он не верит мне, а теперь прибавлю, что он и не уважает меня, а если и утверждает, то только на словах. Он мне толкует о моей неразвитости, — я знаю это сама, — но к чему же принимать такой холодный, обидный, саркастический тон?! Он говорит беспрестанно, что я принадлежу к пошлой среде, что у меня укоренились и дурные вкусы, и привычки, — и это все правда, но опять странно требовать, чтобы я Их отбросила, как старые перчатки… Если бы вы знали, как мне

это все тяжело! Верьте мне, что я вовсе не хотела водить его за нос, по его выражению, я все время, решив окончательно жить с ним, старалась примениться к нему, к его характеру, но теперь вижу, что сделать этого не могу. Пока еще мы можем мириться и любовно относиться друг к другу, но и это стали только минуты, а будет мало-помалу остывать наша любовь, все это выплывет ярче и резче. Пусть он поживет хоть год без меня; может быть, у него сгладятся все эти шероховатости и он будет терпимее, и тогда я с удовольствием пойду с ним, — но теперь, теперь не могу… Пишу я вам, голубчик, потому что сама я этого не скажу Ивану: он меня пугает самоубийством, поэтому я бы очень хотела, чтобы вы сами сказали ему это: вы не допустите его ни до какого сумасбродства, если только это отчаяние искренно в нем, в чем он заставил меня сомневаться. Скажите ему, что вы за последний приезд убедились, что я не гожусь ему в жены, что ему нужно жену и более образованную, и развитую, говорите, что хотите, но только повлияйте на него. Если же он вернется ко мне, то я опять уступлю ему, мы, пожалуй, и сойдемся, но только я не жду добра ни для себя, ни для него. Я и ранее видела эту разницу между нами, но, повторяю, я думала, что это все стушуется при нашей любви. Все мои надежды рухнули, и теперь я прошу помощи от вас. *Вызовите его телеграммой под предлогом, что ему готово место*, по вашему письму он не поедет, а надо, чтобы он ехал сразу, пока у меня хватит сил не остановить его. Там, в Полтаве, вы ему все объясните, разубедите его, или же я пришлю туда лаконическое письмо, в котором я ему пока напишу, чтобы он поступал на место, успокоился бы, и тогда я приеду, а там будет видно дело. Сразу же разорвать с ним — это будет тяжело для него. Впрочем, обдумайте, напишите, я поступлю по вашему совету. Только вызовите его туда, он здесь ведь без места и терзается сам, и мучает меня.

Только не пускайте его сюда из Полтавы ни под каким видом, иначе я не поручусь ни за него, ни за себя. Телеграфируйте же скорее, настойчиво и убедительно.

Пишите мне, как он все это примет, как он будет чувствовать себя. Не считайте меня взбалмошной девушкой, ей-богу, минутами так страшно делается и за свою, и за Ивана жизнь, что выразить вам не могу. Жду вашей немедленной резолюции; только по приезде его к вам и после разговора с ним напишите все мне.

Ваша В. Пащенко.

Если найдете нужным, то разорвите это письмо» [73].

На следующий день она снова писала Юлию Алексеевичу:

«Сегодня, Юлий Алексеевич, явились новые осложнения, а именно: Иван получил окончательно место в Управлении и завтра уже пойдет на работу. Значит, вызывать в Полтаву, мне кажется, его нельзя, а поэтому, ради Христа, приезжайте сюда, голубчик, дня хотя на три. Мне так тяжело теперь вести с ним какую-то игру, а сказать прямо — боюсь, — понаделает глупостей, бросит место и вообще выйдет ужасная вещь. Поэтому напишите, когда приедете, до тех пор я буду ждать; только на вас я надеюсь в смысле его образумления, иначе же не знаю, что делать, как поступить. Простите, что я беспокою вас, но это будет в последний раз. Жду от вас ответа немедленного на Контроль Сборов О. В. ж-д.

Если же не можете приехать, то не пеняйте на меня тогда, голубчик; я не надеюсь на счастье с Ваней. Когда приедете, то прежде повидайтесь со мной; напишите, я выеду вас встретить одна и поговорю с вами ранее, чем вы увидите Ивана. Ради Христа, приезжайте; жду немедленного ответа.

Ваша В. Пащенко.

P. S. Не браните меня, ради Бога. При вас я только и решусь говорить с ним, и он будет покойнее, поэтому приезжайте. Откладываю разговор до вас. Получили ли мое письмо от 8-го июля? Ответьте скорее» [74].

В эти дни Бунин писал родным:

«Как видите, я поступил уже на службу, жив и здоров и уже с неделю хожу на службу. Окунулся с головой в канцелярщину. Начальник — старая ж… чуть-чуть не с гусиным пером, формалист и т. д. Но мы с ним ладим. Сперва я переписывал бумаги, почерк ему мой нравится, давали даже подшивать бумаги (вот когда я тебя вспомнил, милый Женичка!), теперь возведен в новую должность: веду входящий журнал… Чувствую себя и работаю хорошо. Прихожу, сию минуту же сажусь за работу, отзвоню себе и пойду. Веду себя со всеми отдаленно — тут ведь не редакция. Жалованья мне назначили 30 руб.» [75].

К этому времени относится письмо В. В. Пащенко к И. А. Бунину (без даты), в котором она говорит о своем отъезде из Орла:

«Уезжаю, Ваня! Чтобы хотя сколько-нибудь привести в норму наши, как и сам знаешь, ненормальные отношения, нужно вдали взглянуть на все наиболее объективно; последнее возможно именно, когда мы с тобой в разлуке. Надо сообразить, что собственно не дает мне покою, чего я хочу и на что способна. Да ты, голубчик, сам знаешь, что у меня в душе. А так, как жили, не приведя все душевные смуты в порядок, нельзя продолжать жить. Ты без меня будешь свободнее, бросишь, наверное, службу. И этот

мотив сильно звучит в душе. Результат всех моих размышлений напишу из дому. Будь мне другом, верь, что я столько выстрадала за это последнее время, что, если бы дольше осталась — сошла бы с ума. Не фраза это, если ты хотя капельку знаешь меня, ты бы это понял.

Будь же другом дорогим — пиши мне. Дома я и полечусь, и успокоюсь, и вернусь бодрая, готовая и трудиться, и жить хорошо со всеми людьми. Сколько раз ты говорил, что я тебя измучила, но ведь и сама я мучалась не меньше, если не больше. Каждая ссора оставляла след, все накопилось, не могу так жить, тяжело, не вижу смысла в этой жизни. Прости, родимый! И пойми, что это не каприз, это необходимо для дальнейшей жизни. Лучшего не придумаю. Пиши, голубчик.

Твоя Варя.

Не придумаю и не могу думать. Страшно тяжело, помоги разобраться. Не забудь меня. Не езди за мной — все напишу, и лучше, если что-либо выясним.

Голубчик, родимый, не забудь меня, ведь я все равно приеду, дай отдохнуть мне. Отдохни сам, успокойся, одумайся» [76].

Юлию Алексеевичу, который приезжал в Орел, удалось на этот раз уладить отношения Варвары Владимировны и Ивана Алексеевича.

В конце августа 1892 года Бунин и Пащенко переехали в Полтаву. Юлий Алексеевич взял к себе в Управу младшего брата, однако первое время у Бунина не было определенных занятий и он даже собирался уехать в Лубны. Только в январе 1893 года для него была придумана должность библиотекаря, — работа легкая, оставлявшая достаточно времени для чтения, поездок по губернии со статистиками или путешествий. Он писал матери из Полтавы 26 января 1893 года:

«Мои дела неопределенны. Может быть, поеду вскоре в Лубны, но вернее всего останусь библиотекарем в Управе. Не знаю еще, сколько буду получать, но, вероятно, никак не менее 40–45 р. Варя служит теперь в уездной управе и получает всего 15 рублей, но мы надеемся, что она получит место в сельскохозяйственном обществе на 40 рублей. Тогда у нас будет 80–85 рублей и я буду иметь полную возможность заниматься и развиваться и писать…» [77]

В Полтавском земстве группировалась интеллигенция, причастная к движению 70-х и 80-х годов. Многие привлекались по политическим делам, побывали в тюрьме и ссылке: известный общественный деятель Н. Г. Хлябко-Корец кий, некоторое время заведовавший статистическим бюро, И. Н. Присецкий, братья В.

И. и С. И. Мельниковы, В. П. Нечволодов, С. П. Балабуха и другие. Были здесь и некоторые из товарищей Ю. А. Бунина по московским народническим кружкам — например, известный агроном М. П. Дубровский. Часто собирались по субботам у Веры Васильевны Терешкевич, также служившей в статистическом бюро. Собирались периодически и в других домах, «мечтали о возрождении радикального движения, строили даже планы этого возрождения, читали идейные книги и журналы, — пишет Ю. А. Бунин в своих воспоминаниях… — Мы глубоко верили, что скоро вновь начнется освободительное движение, когда пригодятся и наши силы. Эта вера обусловливалась тем, что глухое в общественно-политическом смысле время близилось к концу, — кое в чем проявлялись признаки пробуждения…» [78]

В эту среду и попал И. А. Бунин.

Влияние прогрессивной интеллигенции распространилось и на газету «Полтавские губернские ведомости», в которой И. А. Бунин помещал свои художественные произведения и статьи. Братья Бунины входили в редакцию газеты.

Работу в библиотеке Бунин сменил вскоре на занятия статистикой.

В это время он много писал. Его имя стало чаще появляться в «толстых» журналах, а напечатанные произведения привлекали внимание корифеев литературной критики. Бунин в «Автобиографических заметках» приводит слова Михайловского, что из него выйдет «большой писатель» [79]. По словам Бунина, «редкое участие» принял в нем поэт А. М. Жемчужников, который содействовал напечатанию его стихов в «Вестнике Европы» [80]. Жемчужников писал Бунину 28 апреля 1893 года:

«Из вас может выработаться изящный и самобытный поэт, — если вы не будете давать себе поблажки. Пишите не как-нибудь, а очень хорошо. Это для вас вполне возможно. Я в этом убежден» [81].

В конце мая 1893 года Бунин приезжал в Огневку. Через некоторое время приехала и Варя.

В 1893–1894 годах Бунин, «от влюбленности в Толстого как художника» [82], был толстовцем. Он жил тогда в Полтаве, «прилаживался к бондарному ремеслу» [83], посещал толстовские колонии.

Брат Бунина Юлий Алексеевич говорит в своих воспоминаниях, что И. А. Бунин «ездил в Сумской уезд Харьковской губернии к сектантам села Павловки для ознакомления и собеседований с ними. Сектанты эти по своим взглядам близко примыкали, как известно, к толстовскому

учению» [84]. Это были «малёванцы». Они отказывались от военной службы, к православной церкви относились крайне враждебно (сжигали иконы). 16 сентября 1901 года «малёванцы» произвели в Павл*о*вках бунт — разгромили церковь, которая была одновременно и школой. За это их отправили в тюрьму в город Сумы.

В самом конце 1893 года Бунин уехал из Полтавы в Харьковскую губернию к толстовцам хутора Хилк*о*во, принадлежавшего известному толстовцу князю Д. А. Хилкову, — от Павловок в четырех-пяти километрах. Прожил здесь дня три-четыре. Оттуда он отправился в Москву к Толстому, о встрече с которым давно мечтал.

Бунин посетил Толстого в один из дней между 4 и 8 января 1894 года. Он писал В. В. Пащенко 4 января: «У Льва Николаевича еще не был. Сегодня — или к нему, или в итальянскую оперу… В Москве пробуду числа до 8-го» [85].

Эта встреча, по словам Бунина, произвела на него «потрясающее впечатление» [86]. Толстовец Б. Н. Леонтьев писал Толстому из Полтавы 30 января 1894 года: «Бунин приехал очень огорченный, что так мало провел времени с вами, — вы были главная цель его поездки, — он вас очень любит и давно жаждал знакомства с вами. Он не может спокойно, без волнения говорить о вас» [87].

Скоро увлечение Бунина толстовством кончилось, сам Толстой, писал он впоследствии, «и отклонил меня опрощаться до конца» [88].

В 1895 году Бунин написал рассказ «Сутки на даче» (позднее озаглавленный «На даче»), в котором довольно иронически обрисовал толстовца и неприменимость его взглядов к реальной жизни, а впоследствии, в «Освобождении Толстого», он посвятил толстовцам несколько едких страниц.

Но перед Толстым-художником Бунин преклонялся всю жизнь. Он говорил, что как только он «услышит имя Толстого, так у него загорается душа, ему хочется писать и является вера в литературу» [89].

О Толстом он «рассказывал с каким-то трепетом, чуть ли не со страхом», — писал Г. В. Адамович автору этой работы 22 мая 1965 года. «Толстой неизменно живет с нами в наших беседах, в нашей обычной жизни» [90], — сообщает в дневнике поэтесса и писательница Г. Н. Кузнецова, много лет прожившая в доме Бунина.

Уточняя приведенные мною сведения в заметке «Последние годы Бунина» [91], Г. В. Адамович писал:

«Накануне смерти был у Бунина Ал. Ва. Бахрах (парижский

литератор. — А. Б.), живший (вернее, скрывавшийся, как еврей) у него в Грассе во время войны. Бахрах мне сам об этом посещении рассказывал.

„Разговор зашел о Толстом, но не об „Анне Карениной“, а о „Воскресении“, и Бунин, болезненно морщась, вспомнил главу о православной обедне и сказал:

— Ах, зачем, зачем он это написал!

У вас упоминается „Анна Каренина“, и в такой форме, которая совпадает с моим разговором с Буниным, — но не накануне смерти, а за два-три месяца до нее. Я действительно спросил:

— Иван Алексеевич, помните вы ту главу, где ночью, на станции, в снегу, Вронский неожиданно подходит к Анне и впервые говорит о своей любви? (часть I, гл. 30. — А. Б.).

Бунин приподнялся на кровати и сердито взглянул на меня:

— Помню ли я? Да что вы в самом деле! За кого вы меня принимаете? Кто же может это забыть? Да я умирать буду, и то повторю вам всю главу слово в слово. А вы спрашиваете, помню ли я!“

Где-то (не помню, где) я этот разговор привел, по-русски. Кроме того, привел его во французском сборнике, посвященном Бунину, в серии книг, посвященных Нобелевским лауреатам, изданной Шведской Академией» [92].

Бунин говорил Бахраху: «Я недавно кончил перечитывать „Войну и мир“, должно быть в пятидесятый раз. Читаю лежа, но от восхищения постоянно приходится вскакивать. Боже, до чего хорошо… А в „Иване Ильиче“ взят какой-то ошибочный упор. Вот лежит Иван Ильич и думает: того-то не успел сделать, то-то позабыл, как гадко жизнь свою прожил. А главное ведь не это (и сразу с нескрываемым содроганием) — главное это ужас самой смерти, ужас небытия, ухода от жизни… Чем полнее прожита жизнь, тем страшнее приближение конца…

— Вы знаете, насколько выпукло написаны персонажи Толстого. Возьмите любой текст: каждому портрету уделяется лишь несколько слов, а создается впечатление, что описана каждая веснушка. И вы никогда ни с кем не спутаете Наташу, Соню, Анну. Только один Иван Ильич написан обще. Но это ведь сделано умышленно» [93].

Бахрах вспоминает свое посещение Бунина в последний день его жизни — 7 ноября 1953 года:

«Когда я пришел, он лежал полузакрыв глаза, еще более отощавший за ту неделю, что я его не видал, еще более подавленный и измученный, и красивое лицо его, сильно заросшее щетиной, было почти пепельного цвета… На его

постели лежал томик Толстого, и когда я спросил его, что он теперь читает, он, как мне показалось, слегка приободрился и ответил, что еще раз хочет перечитать „Воскресение“, но сказал при этом, что читать ему уже трудно, трудно сосредоточиться, особенно трудно держать книгу в руках. А потом добавил и, что меня удивило, с какими-то почти гневными интонациями:

— Ах, какой замечательный был во всех отношениях человек, какой писатель… Но только до сих пор не могу понять, для чего понадобилось ему включить в „Воскресение“ такие ненужные, такие нехудожественные страницы…

Он имел в виду те, в которых описывается служба в тюремной церкви… (Не лишено возможности, что до этого дня ему и не попадался экземпляр „Воскресения“ с востановленными купюрами, сделанными в свое время цензурой.)» [94].

Бунин писал о Толстом М. В. Карамзиной 20 июля 1938 года: «Перечитайте кое-что, что я выписал из его дневников (в книге „Освобождение Толстого“, гл. XI. — А Б.), — например, как он шел на закате из Овсянникова, — „лес, рожь, радостно“, — как ехал вечерней зарей через лес Тургенева: „и соловьи, и жуки, и кукушка…“ Более прекрасных, несравненных слов о бессмертии ни у кого нет во всей мировой литературе» [95].

В 1899 году Бунин подарил Толстому только что вышедшую «Песнь о Гайавате» с надписью «Льву Николаевичу Толстому с чувством искренней любви и глубокого уважения».

Прожив зиму 1893/94 года в Полтаве, весной Бунин «отправился опять один странствовать то в поезде, то пешком, то на пароходе „Аркадий“, на котором он тогда поднялся вверх по Днепру» [96].

В июле он приезжал в Огневку Орловской губернии, в имение брата Евгения Алексеевича. Там встретил мать и сестру, которых Евгений вызвал телеграммой, — он сильно болел. Бунин уехал из Огневки 24 июля, 27-го был в Харькове, где встретил его Юлий Алексеевич. Оттуда братья отправились в Полтаву.

Летом он снова путешествовал по хуторам и деревням Украины, по старинным селам Поднепровья. В одну из таких поездок он видел на переселенческом пункте целую «орду» крестьян, гонимых нищетой и голодом с родных мест за десять тысяч верст в Уссурийский край. О переселенцах он скоро написал рассказ «На край света».

Девятнадцатого мая 1894 года Бунин записал в дневнике, что он был в одном из дачных мест под Полтавой, Павленки; отправился туда и 15 августа художник Мясоедов писал с него портрет «в аллее тополей на скамейке [97].

Двадцатого октября 1894 года в Ливадии умер Александр III, и это обстоятельство имело для Бунина большое значение. Дело в том, что за незаконную торговлю толстовской литературой — распространение изданий „Посредника“ — Бунин был приговорен к трехмесячному заключению в тюрьме. Теперь, по манифесту Николая II, он был амнистирован.

Четвертого ноября 1894 года, в день присяги новому императору, В. В. Пащенко, воспользовавшись тем, что „все мужчины отправились в собор и в приходские храмы“ [98], уехала, оставив Бунину записку: „Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом“… Эта фраза, — пишет В. Н. Муромцева-Бунина, — так часто цитировалась в течение нашей жизни и при Юлии Алексеевиче, что я не сомневаюсь в ее подлинности» [99].

Разрыв с Варей Бунин тяжело переживал. Родные опасались за его жизнь. По просьбе Юлия Алексеевича из Огневки приехал Евгений, чтобы увезти брата с собой. Но Евгений Алексеевич не решился один ехать с ним. Отправились все втроем. По настоянию И. А. Бунина остановились в Ельце. Встретиться с Варей или узнать, где она, оказалось невозможно. Ее отец при появлении Бунина в его доме обошелся с ним очень грубо: об этом пишет из Полтавы Юлий Алексеевич матери Варвары Владимировны.

В Огневке Бунин пробыл недолго. Скоро он опять отправился в Елец, где узнал, что В. В. Пащенко вышла замуж за его друга А. Н. Бибикова. Это известие настолько ошеломило Бунина, что, по словам сестры Марии Алексеевны, с ним «сделалось дурно, его водой брызгали». Он поехал к Пащенко, не застал их дома и поездом отправился домой. «Ему хочется уехать к тебе, — пишет далее Мария Алексеевна Ю. А. Бунину. — Но мы боимся его одного пускать. Да он и сам мне говорил, что я один не поеду, я за себя не ручаюсь»[100].

Сам Бунин говорит в письме (без даты) к Юлию, что, услыхав о замужестве Вари, «насилу выбрался на улицу, потому что совсем зашумело в ушах и голова похолодела, и почти бегом бегал часа три по Ельцу, около дома Бибикова, расспрашивал про Бибикова, где он, женился ли. „Да, говорят, на Пащенке…“ Я хотел ехать сейчас на Воргол, идти к Пащенко и т. д. и т. д., однако собрал все силы ума и на вокзал, потому что быть одному мне было прямо страшно. На вокзале у меня лила кровь из носу и я страшно ослабел. А потом ночью пер со станции в Огневку, и, брат, никогда не забуду я этой ночи! Ах, ну к черту их — тут, очевидно, роль сыграли 200 десятин земельки»[101].

О той поре своей жизни Бунин вспоминал: «Так же *внутренно* одиноко, обособленно и невзросло, вне всякого общества, жил я и

в пору моей жизни с ней. Я по-прежнему чувствовал, что я чужой всем званиям и состояниям (равно как и всем женщинам: ведь это даже как бы и не люди, а какие-то совсем особые существа, живущие рядом с людьми, еще никогда никем точно не определенные, непонятные, хотя от начала веков люди только и делают, что думают о них). Я жил, на всех и на все смотря со стороны, до конца ни с кем не соединяясь, — даже с нею и с братом. И по-прежнему дома не сиделось…» [102]

Отношения Бунина и В. В. Пащенко отразились в «Жизни Арсеньева», хотя этот роман нельзя рассматривать как его автобиографию. Сам Бунин не раз протестовал против такого представления о его произведении.

Он писал:

«Недавно критик „Дней“, в своей заметке о последней книге „Современных записок“, где напечатана вторая часть (а вовсе не „отрывок“) „Жизни Арсеньева“, назвал „Жизнь Арсеньева“ произведением „автобиографическим“.

Позвольте решительно протестовать против этого, как в целях охранения добрых литературных нравов, так и в целях самоохраны. Это может подать нехороший пример и некоторым другим критикам, а я вовсе не хочу, чтобы мое произведение (которое, дурно ли оно или хорошо, претендует быть, по своему замыслу и тону, произведением все-таки художественным) не только искажалось, то есть называлось неподобающим ему именем автобиографии, но и связывалось с моей жизнью, то есть обсуждалось не как „Жизнь Арсеньева“, а как жизнь Бунина. Может быть, в „Жизни Арсеньева“ и впрямь есть много автобиографического. Но говорить об этом никак не есть дело *критики художественной*» [103].

Бунин говорил:

«Вот думают, что история Арсеньева — это моя собственная жизнь. А ведь это не так. Не могу я правды писать. Выдумал я и мою героиню. И до того вошел в ее жизнь, что, поверив в то, что она существовала, и влюбился в нее… Беру перо в руки и плачу. Потом начал видеть ее во сне. Она являлась ко мне такая же, какой я ее выдумал… Проснулся однажды и думаю: Господи, да ведь это, быть может, главная моя любовь за всю жизнь. А, оказывается, ее не было»[104].

В 1933 году в беседе с корреспондентом белградской газеты «Время» Милорадом Дивьяком Бунин говорил: «Можно при желании считать этот роман и автобиографией, так как для меня всякий искренний роман — автобиография. И в этом случае можно было бы сказать, что я всегда автобиографичен. В любом произведении находят отражение мои чувства. Это, во-первых,

оживляет работу, а во-вторых, напоминает мне молодость, юность и жизнь в ту пору.

„Жизнь Арсеньева“ можно было бы вполне назвать „Жизнью Дипона“ или „Жизнью Дирана“. Я хотел показать жизнь одного человека в узком кругу вокруг него. Человек приходит в мир и ищет себе в нем место, как и миллионы ему подобных: он работает, страдает, мучается, проливает кровь, борется за свое счастье и в конце концов или добивается его, или, разбитый, падает на колени перед жизнью. Это все!.. Арсеньев, Дипон, Диран, можете назвать героя как угодно, суть дела от этого нисколько не изменится»[105].

Вера Николаевна также неоднократно подчеркивала, что «Жизнь Арсеньева» нельзя назвать автобиографией и что в образе Лики лишь частично отразились черты В. В. Пащенко.

«Лика-Пащенко, — пишет она, — только в самом начале, при первом знакомстве, но и то автор сделал ее выше ростом. В Лике собраны черты разных женщин, которых любил он. Скорее чувства Алеши Арсеньева совпадают с его чувствами к Пащенко. Иван Алексеевич написал, что „Лика вся выдумана“. Кроме того, он был так влюблен в Пащенко, что не мог даже мысленно изменять ей, как изменял Алеша Арсеньев. Не мог он в ту пору вести таких разговоров, какие велись между ними в „Жизни Арсеньева“, они более позднего времени. Кроме того, много сцен взято из времени его женитьбы на Цакни, когда он жил в Одессе, и внешность Лики более похожа на внешность Цакни, чем на внешность Пащенко. Я обеих знала»[106].

О Лике-Пащенко В. Н. Муромцева-Бунина также писала: «Не Лика „списана“ с Пащенко, Бунин воскресил свои чувства к ней… Пащенко не была некрасивой, у нее были мелкие, но правильные черты лица, хотя шея у нее была короткой, носила очки, стригла на манер 80-х годов волосы, тогда как Анна Николаевна (Цакни. — А. Б.) была красавицей восточного типа. И сцена ревности Алеши была пережита [не] в Орле, она (А. Н. Цакни. — А. Б.) танцевала с каким-то красавцем на балу в Одессе в нарядном туалете. У меня главная цель [107] доказать, что „Жизнь Арсеньева“ не жизнь Бунина, что это не автобиография, а роман, написанный на биографическом материале, но, конечно, многое изменено. Например, он описывает, как он с подругой Лики ходил к усадьбе, взятой в „Дворянском гнезде“ Тургеневым. Это он ходил со мной, а во время своей орловской жизни не удосужился ее посмотреть… Но вы понимаете, что для романа это был козырь, тут он и высказывает свои мысли о Тургеневе. Но критики некоторые упорно называют это произведение автобиографией…»[108]

«Также из Одессы перенесена в Елец сцена беготни брата героини с собакой, — это бегал брат Анны Николаевны… Бунин даже у Гали (Г. Н. Кузнецовой. — А. Б.) взял, как она под большим шелковым платком лежала на диване». Варвара Владимировна «была другим человеком: бойцом по натуре»[109].

Бунин писал в дневнике 1 февраля 1941 года о В. В. Пащенко: «Вспомнилось почему-то время моей любви, несчастной, обманутой — и все-таки *в ту пору* правильной: все-таки в ту пору были *в ней*, тогдашней, удивительная прелесть, очарование, трогательность, чистота, горячность»[110].

В письме М. В. Карамзиной 10 апреля 1939 года Бунин говорит, что в Лике воплощено «общеженское молодое, в его переменчивости, порождаемой изменением ее чувства к „герою“, кончившимся преданностью ему навеки. Я только *это* и хотел написать, — не резко реальный образ, — резкость уменьшила бы его тайную прелесть и трогательность… Вся моя книга сплошь выдумана (на основании только *некоторой сути* пережитого мною в молодости — и в моей первой сильной любви — к девушке, как земля от неба отличной от Лики и умершей, кстати сказать, только в 1917 году (правильно — в 1918-м. — А. Б.), весной, бывшей больше двадцати лет замужем за другим и имевшей дочку, лет пятнадцати умершую от чахотки, на пути из Швейцарии в Россию через Швецию — во второй год войны)… Правду писать я бы не мог — было бы бесстыдно быть таким интимным…»[111].

В январе 1895 года Бунин оставил службу в Полтаве и уехал в Петербург. Остановился на Невском (д. 106, кв. 13). Он встретился с редакторами журнала «Новое слово» С. Н. Кривенко и А. М. Скабичевским, с Н. К. Михайловским; по-видимому, в этот приезд он познакомился с писателем А. М. Федоровым, с которым впоследствии подружился.

Познакомился он и с К. Д. Бальмонтом. Поэт М. М. Гербановский писал Бунину 11 февраля 1895 года из Петербурга: «С Бальмонтом вижусь часто, и всякий раз вспоминаем мы о тебе»[112]. По поводу этого письма Бунин записал в дневниковых заметках 20 марта 1915 года: «Перечитал письма Гербановского-Лялечкина. Наша дружба с Бальмонтом»[113].

Между 6 и 8 февраля 1895 года Бунин приехал в Москву, поселился в меблированных комнатах Боргеста у Никитских ворот.

Об этих днях Бунин писал впоследствии:

«„Старая, огромная, людная Москва“ и т. д. Так встретила меня Москва когда-то впервые и осталась в моей памяти сложной,

пестрой, громоздкой картиной — как нечто похожее на сновидение. Через два года после того я опять приехал в Москву — тоже ранней весной и тоже в блеске солнца и оттепели, — но уже не на один день, а на многие, которые были началом новой моей жизни, целых десятилетий ее, связанных с Москвой. И отсюда идут уже совсем другие воспоминания мои о Москве, в очень короткий срок ставшей для меня, после моего второго приезда в нее, привычной, будничной, той вообще, которую я знал потом около четверти века.

Это *начало* моей новой жизни было самой темной душевной порой, внутренно самым мертвым временем всей моей молодости, хотя внешне я жил тогда очень разнообразно, общительно, на людях, чтобы не оставаться наедине с самим собой. Пространно говорить о последующей моей жизни нет возможности. Нет и необходимости: многое уже сказано, и прямо, и косвенно, в моих прежних писаниях»[114].

Бунин прожил в Москве до середины марта или до начала апреля. С начала апреля он уже в Огневке. 3 апреля пишет оттуда Юлию Алексеевичу: «Ужасно однообразно проходит время. Целый день что-то хочется делать, а делается все вяло и лениво. О будущем просто и подумать боюсь. В Москву осенью? Да я-то зачем? Гадко вспомнить о нашем номере в доме Боргеста! Да и это ведь временно! Впрочем, ей-Богу, до низости плохо выражаю свои ощущения, а настроение вовсе не минутное… В Петербург? Зачем? Будь они прокляты, эти большие города! Эх, кабы опять в Полтаву! На тихую жизнь, на тихую работу! Только уж, конечно, теперь она мне не нужна одному, даже с тобой, мне там делать нечего. Прежде была под ногами почва… Если бы были средства, все бы ничего, а то совсем пропадать буду!

Учусь по-английски, читаю Липперта, да все это ни к чему — противные отрывочные клочки знаний ни к черту не нужны!»[115]

Жалобы на недостаточность, отрывочность знаний, приобретенных в юности, Бунин высказывал не раз. Об этих годах он вспоминал:

«Всякий в юности к чему-нибудь готовится и в известный срок вступает в ту или иную житейскую деятельность, в соучастие с общей людской деятельностью. А к чему готовился я?.. Я рос без сверстников, в юности их тоже не имел да и не мог иметь: прохождения обычных путей юности — гимназия, университет — мне было не дано. Все в эту пору чему-нибудь где-нибудь учатся, и там, каждый в своей среде, встречаются, сходятся; а я нигде не учился, никакой среды не знал»[116].

В 1911 году, в Нюрнберге, Бунин, любуясь старинной архитектурой средневекового города, говорил

Н. А. Пушешникову, «что всегда, когда он видит прекрасное, у него является ужасное сожаление, что он так убого и плохо прожил столько лет, что у него совершенно пропали самые лучшие, самые нежные годы, когда все так живо воспринимается и остается потом на всю жизнь. А я тратил силы и молодость — на что? Страшно вспомнить теперь, сколько времени пропало зря, даром! Разве я так писал бы, если бы я в юности жил иначе, если бы я больше учился, больше работал над собой, если бы я родился не в Бутырках, а здесь, если бы у меня в молодости не было такой нужды»[117].

«…Если бы я тогда не терял времени и вовремя учился, работал — чего бы мог наделать!»[118] — говорил Бунин много позже Г. Н. Кузнецовой. Он говорил также, «что жаль ему, что он не положил всю свою жизнь „на костер труда“, а отдал ее дьяволу жизненного соблазна. Если бы я сделал так — я был бы одним из тех, имя которых помнят»[119]. А службы, которая могла бы поглотить все его силы, работы ради благополучия он боялся до ужаса: «Я с истинным страхом смотрел всегда на всякое благополучие, приобретение которого и обладание которым поглощало человека, а излишество и обычная низость этого благополучия вызывали во мне ненависть — даже всякая средняя гостиная с неизбежной лампой на высокой подставке под громадным рогатым абажуром из красного шелка выводили меня из себя»[120].

В те годы напряженных раздумий над своими путями в жизни в нем сильна была «любовь к тому, что озаряет человеческую жизнь! — как говорит Бунин в письме к И. А. Белоусову 14 октября 1895 года. — Пусть мы маленькие люди, пусть мы только немного приобщены к искусству — все равно! Во всякой идее, во всяком идейном деле дорого прежде всего даже не выполнение его, а искание этой идеи, любовь к ней! Грустно станет порой, как посмотришь, что вот уж почти вся юность, вся молодость, все то, что порой раскрывает всю душу великим дуновением счастья, радости высокой и светлой, радости жизни, ее биения, искусства, красоты и правды, — что все это пока только „не что иное, как тетрадь с давно известными стихами“, не выразившими даже тысячной доли того, что чувствовалось!»[121] Много позже Бунин напишет в своих воспоминаниях:

«Начало моей новой жизни совпало с началом нового царствования. Плохие писатели писали тогда романы и повести, пошлые заглавия которых верно выражали сущность происходившего: „На переломе“, „На повороте“, „На распутье“, „Смены“… Все и впрямь было на переломе, все сменялось: Толстой, Щедрин, Глеб Успенский, Златовратский — Чеховым,

Горьким, Скабичевский — Уклонским, Майков, Фет — Бальмонтом, Брюсовым, Репин, Суриков — Левитаном, Нестеровым, Малый театр — Художественным… Михайловский и В. В. — Туган-Барановским и Струве, „Власть земли“ — „Котлом капитализма“, „Устои“ Златовратского — „Мужиками“ Чехова и „Челкашем“ Горького.

Первое время в том разнообразном, но все же довольно однородном обществе, в котором я бывал и черты которого мне были известны еще с Харькова, над всеми чувствами и мыслями преобладало одно — сознание того перелома, который совершился со смертью Александра III: все сходились на том, что совершилось нечто огромное — отошла в прошлое долгая пора тяжкого гнета, которого не было в русском обществе и политической жизни России со времен Николая I, и настала какая-то новая…

„Россия — сфинкс“. Религия Герцена — религия земли. „Община, артель — только на них, на этих великих началах, на этих святых устоях может развиваться Россия. И это — свет во тьме *мещанского* запада“.

„И вот почему, среди скорби и негодования, мы далеки от отчаяния и протягиваем вам, друзья, нашу руку на общий труд. Перед нами светло и дорога пряма“ (Герцен).

Вера в народную жизнь. Народничество влияло на все — на литературу, науку, жизнь. Народничество жило верой, что Россия войдет в светлое царство социализма. Народничество было проникнуто истинным религиозным пафосом.

Россия — страна особая, у России свой особенный путь развития. России предстоит великое слово — она скажет миру свое новое слово: вот положения, выражающие душу общественного и духовного движения за последние сто лет истории русского самопознания в девятнадцатом веке, вот история русского освободительного движения. Чаять будущего века — чаять светлого будущего.

Герцена спасала вера в социализм, в идеал.

Да, назначение русского человека — это, бесспорно, всеевропейское и всемирное. Достоевский.

Пропагандисты, герои, борцы, мученики.

„Да, веры в будущее у нас было много! Мы чувствовали силы необычайные — нам давала их вера в народ“. Мокриевич.

„О, если бы я мог утонуть, распасться в этой серой грубой массе народа, утонуть… но сохранить тот же светоч истины и идеала, какой мне удалось добыть на счет того же народа!“ Михайловский…»[122]

В деревне Бунин прожил весну 1895 года, изучал английский язык, писал стихи, переводил «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, «летом ездил по Днепру»[123] — побывал в Каменец-Подольске у Гербановского, к которому должен был приехать и Бальмонт, вероятно, снова посетил старинный город Канев, близ которого, над Днепром, находится могила Шевченко, человека «великого сердца»[124], как писал о нем Бунин.

В июне Бунин навестил брата в Полтаве, прожил у него не меньше месяца и затем месяца на два вернулся в Огневку, где продолжал много писать. Осенью он решил предпринять новую поездку в столицы с тем, чтобы найти «издателей… на книгу стихов и рассказов»[125].

В конце октября 1895 года Бунин уехал в Петербург. По пути задержался ненадолго в Москве, — встретился здесь со своим другом И. А. Белоусовым и с писателем и поэтом Л. М. Медведевым, вел переговоры с редакцией «Русской мысли» о печатании рассказа «На даче».

В эти дни он познакомился с А. И. Эртелем [126]. 29–30 октября Бунин уехал из Москвы в Петербург, чтобы принять участие в вечере, устроенном обществом по оказанию помощи переселенцам (остановился на Малой Итальянской, дом 3).

С. Н. Кривенко просил его выступить с чтением рассказа «На край света». Вечер состоялся 21 ноября 1895 года в зале Кредитного общества, и выступление Бунина вызвало бурю оваций [127].

С 10 декабря 1895 года до 12 января 1896 года он жил в Москве, — снова встретился с Бальмонтом, познакомился с поэтессой Миррой Лохвицкой.

Двенадцатого ноября состоялось знакомство с Чеховым [128]. Через два дня Бунин подарил Антону Павловичу оттиск рассказа «На хуторе».

В середине декабря (после 16-го) Бунин познакомился с В. Я. Брюсовым. Брюсов записал в дневнике 16 декабря 1895 года: «В среду заходил ко мне с Бальмонтом Бунин, но не застал меня…»[129] Через день-два после этого они снова посетили Брюсова.

Бунин вспоминал: «Брюсова я узнал еще в студенческой тужурке. Поехал к нему в первый раз с Бальмонтом. Он жил на Цветном бульваре, в доме своего отца, торговца пробками. Дом был небольшой, двухэтажный, толстостенный, — настоящий уездный, третьей гильдии купеческий, с высокими и всегда запертыми на замок воротами, с калиткой, с собакой на цепи во дворе. Мы Брюсова в тот день не застали. Но на другой день Бальмонт получил от него записку: „Очень буду рад видеть вас и

Бунина, — он настоящий поэт, хотя и не символист“. Поехали снова — и я увидел молодого человека…» Говорил он «высокопарно… и все время сентенциями, тоном поучительным, не допускающим возражений. Все было в его словах крайне революционно (в смысле искусства), — да здравствует только новое и долой все старое!»[130]

В январе 1896 года Бунин уехал в Полтаву, где прожил февраль и март. 10 марта на музыкально-вокальном вечере, устроенном полтавским музыкально-драматическим кружком, он читал «На край света». 21 марта Бунин писал Л. Н. Толстому из Полтавы (опубликовавший это письмо В. Г. Лидин считает, что оно не было отправлено):

«…Я теперь вполне бродяга: с тех пор, как уехала жена, я ведь не прожил ни на одном месте больше двух месяцев. И когда этому будет конец, и где я задержусь и зачем, — не знаю. Главное — зачем? Может быть, я эгоист большой, но, право, часто убеждаюсь, что хорошо бы освободиться от этой тяготы. Прежде всего — удивительно отрывочно все в моей жизни! Знания самые отрывочные, и меня это мучит иногда до психотизма: так много всего, так много надо узнать, и вместо этого жалкие кусочки собираемых. А ведь до боли хочется что-то узнать с самого начала, с самой сути! Впрочем, может быть, это детские рассуждения. Потом в отношениях к людям: опять отрывочные, раздробленные симпатии, почти фальсификация дружбы, минуты любви и т. д. А уж на схождение с кем-нибудь я и не надеюсь. И прежнего нельзя забыть, и в будущем, вероятно, никого, с кем бы хорошо было: опять будет все раздробленное, неполное, а ведь хочется хорошей дружбы, молодости, понимания всего, светлых и тихих дней… Да и какое право, думаешь часто, имеешь на это? И при всем этом ничтожном, при жажде жизни и мучениях от нее, еще знать, что и конец вот-вот: ведь в лучшем случае могу прожить двадцать пять лет еще, а из них десять на сон пойдет. Смешной и злобный вывод! Много раз я убеждал себя, что смерти нет, да нет, должно быть, есть, по крайней мере, я не то буду, чем так хочу быть. И не пройдет ста лет, как на земле ведь не останется ни одного живого существа, которое так же, как и я, хочет жить и *живет* — ни одной собаки, ни одного зверька и ни одного человека — все новое! А во что я верю? И ни в то, что от меня ничего не останется, как от сгоревшей свечи, и ни в то, что я буду блуждать где-то бесконечные века — радоваться или печалиться. А о Боге? Что же я могу сообразить, когда достаточно спросить себя: где я? Где эта наша земля маленькая, даже весь мир с бесчисленными мирами? — Положим, он вот такой, ну хоть в виде шара, а вокруг шара что? Ничего? Что же это такое

„ничего“, и где этому „ничего“ конец, и что, что там, за этим „ничего“, и когда все началось, что было до начала — достаточно это подумать, чтобы не заикаться ни о каких выводах! Да и можно, наконец, примириться со всем, опустить покорно голову и идти только к тому, к чему влекут хорошие влечения сердца, и утешаясь этим, но как тяжело это — опустить голову в грустном сознании, со слезами своего бессилия и покорности! Да и в этом пути — быть вечно непонятым даже тем, кого любишь так искренне, как можно, как говорит Амиель!

Утешает меня часто литература, но и литература — ведь, Боже мой, кажется иногда, что нет в мире настроений прекраснее, радостнее или грустнее сладостно и что все в этом чудном настроении, но ненадолго это, уже по одному тому, что из всего того, что я уже лет десять так оплакивал или обдумывал с радостью, с бьющимся всей молодостью сердцем, и что казалось сутью души моей и делом жизни — из всего этого вышло несколько ничтожных, маленьких, ничего не выражающих рассказиков!..

Так я вот живу, и если письмо мое детское, отрывочное и не говорящее того, что я хотел сказать, когда сел писать, то и жизнь моя как письмо это. Не удивляйтесь ему, дорогой Лев Николаевич, и не спрашивайте — зачем написано. Ведь вы один из тех людей, слова которых возвышают душу и делают слезы даже высокими и у которых хочется в минуту горя заплакать и горячо поцеловать руку, как у родного отца!»[131]

В конце марта Бунин приехал в Огневку, где напряженно работал: переводил «Гайавату».

Летом он путешествовал. 29 мая приехал в Кременчуг.

Вот дневниковая запись Бунина:

«Днепровские пороги, по которым я прошел на плоту с лоцманами летом 1896 года.

Тридцать первого мая Екатеринослав. Потемкинский сад, где провел с час, потом за город, где под Екатеринославом на пологом берегу Днепра, Лоцманская Каменка. В верстах в пяти ниже — курганы: Близнецы, Сторожевой и Галагана — этот насыпан, по преданию, разбойником Галаганом, убившим богатого пана, зарывшим его казну и затем всю жизнь насыпавшим над ней курган. Дальше Хортица, а за Хортицей — пороги: первый самый опасный — Неяситец или Ненасытец; потом тоже опасные: Дед и Волнич; за Вол-ничем, в четырех верстах, последний опасный — Будило, за Будило — Лишний; через пять верст — Вильный и наконец Явленный»[132].

Через Александровск Бунин уехал 1 июня в Бахчисарай, оттуда, верхом на лошади — в Чуфут-Кале. Под Бахчисараем

осмотрел монастырь, в горах — «пещерный город». Опять, как и в первое свое путешествие по Крыму, проехал через Севастополь на Байдары. На этот раз, переночевав в Кикинеизе, отправился далее по южному побережью Крыма — в Ялту и Гурзуф.

Много позднее Бунин записал:

«Дальнейшие годы уже туманятся, сливаются в памяти — многие годы моих дальнейших скитаний, — постепенно ставших для меня обычным существованием, определявшиеся неопределенностью его. И всего смутнее начало этих годов — самая темная душевная пора всей моей жизни. Внешне эта пора была одна, внутренне другая: тогдашние портреты мои, выражение их глаз неопровержимо свидетельствуют, что был я одержим тайным безумием.

Летом я уехал в Крым. Ни одной знакомой души там не было. Помню, поздним вечером прибыл я в Гурзуф, долго сидел на балконе гостиницы: темнело, воздух был непривычно тепел и нежен, пряно пахло дымом татарских очагов, тлеющего кизяка; горы мягкими стенами, просверленными у подножий красноватыми огнями, как будто ближе обступили тесную долину Гурзуфа с его садами и дачами. На другой день я ушел на Аю-Даг. Без конца шел по его лесистым склонам все вверх, достиг почти до его вершины и среди колючих кустов лег в корявом низкорослом лесу на обрыве над морем. Было предвечернее время; спокойное, задумчивое море сиреневой равниной лежало внизу, с трех сторон обнимая горизонт, муаром струясь в отвесной бездне подо мною, возле бирюзовых скал Аю-Дага. Кругом, в тишине, в вечном молчании горной лесной пустыни беззаботными переливами, мирно грустными, сладкими, чуждыми всему нашему, человеческому миру, пели черные дрозды, — в божественном молчании южного предвечернего часа, среди медового запаха цветущего желтого дрока и девственной свежести морского воздуха. Я лежал, опершись на локоть, слушая дроздов, и цепенел в неразрешающемся чувстве той несказанной загадочности прелести мира и жизни, о которой немолчно говорило в тишине пение дроздов»[133].

Из Гурзуфа Бунин снова отправился в Ялту, где он познакомился со Станюковичем, потом (9 июня) в Одессу, где три дня прожил у Федорова, 14 июня уехал в Каховку, а затем — по Днепру до Никополя. В эту поездку в 1896 году он записал у молодого нищего Родиона Кучеренко «псальму про сироту» — древний южнорусский сказ. В рассказе об этом страннике-певце «Лирник Родион» Бунин вспоминает: «Я в те годы был влюблен в Малороссию, в ее села и степи, жадно искал сближения с ее народом, жадно слушал песни, душу его».

Шестнадцатого июня Бунин «сидел в Александровске», рассчитывая дня через три прибыть в Полтаву. Погостив у брата в Полтаве, по крайней мере до конца июня, он уехал в Огневку, где прожил примерно до середины октября. За это время он побывал также в Одессе. В сентябре записал в дневнике: «*Вечером 16. Одесса*, на извозчике к Федорову в Люстдорф. Ночью ходил к морю. Темно, ветер. Позднее луна, поле лунного света по морю — тусклое, свинцовое…

26 сентября. Уехал на Николаев». Теперь предстояло отправиться в Петербург — и не просто ради удовольствия, а для переговоров об издании книги рассказов, от исхода которых многое зависело в материальном положении Бунина и его литературных делах.

Пятнадцатого октября 1896 года он сообщал брату в Полтаву, что «дня через три» уедет в столицы. 25 октября Бунин приехал в Москву. На следующий день он писал Юлию Алексеевичу:

«Милый, дорогой друг мой Юринька! Не могу выразить тебе, до чего тяжело у меня на душе! Это не минутное настроение. С самого отъезда из Полтавы я не перестаю думать о том, для чего мне жить на свете. Я невыносимо устал от скитальческой жизни, а впереди опять то же самое, но без всякой уже цели. Главное — без цели. Кроме того, никогда у меня не выходит из головы положение нашей семьи. Я всех горячо люблю, и все мы разбросаны…

Ты поймешь, что я теперь чувствую среди этих дьявольских шестиэтажных домов, один, всем чужой и с 50 руб. в кармане. Евгений раньше взял у меня десять рублей, и теперь мне было невозможно брать у него их: пойдут за мое житие у него. А мне так хотелось еще побыть в деревне! Ведь еще 19-го я привез все вещи на Бабарыкино, но меня охватил такой страх и тоска, что я вернулся в Огневку, и вернулся на свою голову! В Москву я приехал вчера, остановился у Фальц-Фейна. Вечером попер к Белоусову…»[134]

Тридцатого октября Бунин уже был в Петербурге. Он писал Юлию Алексеевичу: «Михеев (приятель Бунина. — А. Б.) недавно ездил к Короленко и говорил ему про меня, что я желал бы с ним познакомиться. Короленко сказал: „Я знаю Бунина, очень интересуюсь его талантом и рад познакомиться“. На той неделе поедем к нему»[135].

Бунин встретился с Короленко 7 декабря, на юбилее Станюковича [136].

Материальные дела Бунина в это время были плохи. «Живу нищим»[137], — писал он брату и выражал надежду, что изданием «Гайаваты» поправит положение.

Для Бунина имело большое значение то, что он теперь сблизился с редакцией «Мира Божьего». В будущем он напечатает в этом журнале многие свои произведения. В эти дни он познакомился также с приемной дочерью издательницы журнала Давыдовой — Марией Карловной [138], ставшей впоследствии женой Куприна.

Десятого января 1897 года Бунин познакомился на вечере в редакции «Нового слова» с писательницей Екатериной Михайловной Лопатиной [139], сестрой философа Льва Лопатина, с которой его потом связывала большая дружба.

Приехав в январе 1897 года в Москву, он прожил там почти до конца месяца и в последних числах января уехал в деревню.

Тридцатого января 1897 года он писал из Огневки И. А. Белоусову: «Зажил я серенько, но тихо и начинаю работать… Вышли мне, пожалуйста, книжку: Н. А. *Борисов*, „*Калевала*“, издание Клюкина…»[140] 28 февраля он извещал Белоусова: «Все время провожу за чтением… Посылаю тебе свою книжечку. Ей пока везет. Федоров прислал недавно вырезку из газеты „Сибирь“, где говорится, что редкое явление эти рассказы. Каково?! Рад этому, а потому и хвалюсь тебе так бессовестно»[141].

Одиннадцатого марта Бунин уехал в Полтаву. 15-го писал Белоусову: «Когда я получил твое письмо — я лежал на одре: было что-то вроде инфлуэнцы, которая меня так угостила, что однажды, поднявшись с этого одра, я упал без памяти. Как видишь — плохо дело… Теперь… я в Полтаве, куда только что прибыл — поспешил по некоторым делам. Пробуду тут, вероятно, до 8–10 апреля… Писать я пока ничего не пишу, — все еще плохо себя чувствую. А сегодня — особенно: „Новое время“ гнусно отозвалось обо мне: пишут, что я… как ты думаешь? в чем повинен? — в пристрастии к изображению грязи и мути жизни!! Ну, не подлецы? Это я-то, когда кругом так и сыплются грязные и развратные книги, а я воспеваю деревенские идиллии и слагаю деревенские элегии. И ведь гнусней всего то, что это — среди похвал моему „искреннему“ (?) дарованию и в таком тоне, словно я заведомый фотограф грязных сцен. Конечно, я и знал, что „Новое время“ меня обдаст, но лгать-то зачем же?..

Читал похвалы мне в „Русском богатстве“ и „Мире Божьем“. Впрочем, я опять съехал на рецензии… Даже стыдно стало… Поэтому умолкаю пока…»[142]

В марте Бунин напечатал в «Новом слове» (1897, кн. 6) статью (без подписи) о поэте А. А. Коринфском. Принадлежность рецензии Бунину указана А. М. Федоровым в письме к нему от 26 марта 1897 года: «А здорово вы отделали Коринфе кого-то в мартовской книжке»[143].

Заехав из Полтавы ненадолго в Огневку, Бунин 30 апреля отправился путешествовать — в Шишаки, потом в Миргород. Он нигде не задерживался долго.

В письме (без даты), относящемся к этому времени, он писал Белоусову: «Я, брат, опять почти ничего не пишу. Все учусь, — по книгам и по жизни: шатаюсь по деревням, по ярмаркам, — уже на трех был, — завел знакомства с слепыми, дурачками и нищими, слушаю их песнопения и т. д. Сегодня поправляю предисловие к „Песне о Гайавате“»[144].

В дневнике Бунин записал:

«Перелет птиц вызывается действием внутренней секреции: осенью недостатком гормона, весной избытком его… Возбуждение в птицах можно сравнить с периодами половой зрелости и „сезонными толчками крови“ у людей…

Совсем как птица был я всю жизнь!»[145]

Другая запись от 30 апреля 1897 года:

«Овчарки Кочубея. Рожь качается, ястреба, зной. Яновщина, корчма. Шишаки. Яковенко не застал, поехал за ним к нему на хутор. Вечер, гроза. Его тетка, набеленная и нарумяненная, старая, хрипит и кокетничает. Докторша „хочет невозможного“.

Миргород, там ночевал»[146].

Бунин и эта докторша «сидели на обрыве», под которым неслась очень «быстрая речка, и слушали пение, в унисон, на селе, — говорил он, — необыкновенно прекрасное…».

В Миргороде Бунин был 6 мая 1897 года. В этот день он писал Белоусову: «Я уже, как видишь, пустился в передвижения, „многих людей города посетил и обычаи видел“, то есть говоря не гомеровским языком, уже много пропер по степям, по шляхам, местечкам и хуторам, а теперь приветствую тебя из великого Миргорода! Любопытный город, если только могут называться городами болота, по которым шуршит камыш, кричат кулики, а по берегам стоят избушки, крытые очеретом. Много написал бы тебе, да боюсь, что письмо это попадет к городничему. В Полтаве я буду снова дней через 6–7, куда и прошу тебя убедительно писать. Я, верно, еще отправлюсь по Полтавщине…»[147]

В Полтаве Бунин прожил около двух недель: 24 мая — опять в путь: побывал в Кременчуге, Николаеве, далее морем прибыл в Одессу, к А. М. Федорову.

Записи Бунина об этом путешествии приводит В. Н. Муромцева-Бунина:

«Кременчуг, мост, солнце, желто-мутный Днепр.

За Кременчугом среди пустых гор, покрытых хлебами, думал о Святополке Окаянном.

Ночью равнины, мокрые после дождя пшеницы, черная грязь

дороги.

Николаев, Буг. Ветрено и прохладно. Низкие глиняные берега, Буг пустынен. Устье, синяя туча, громадой поднявшаяся над синей сталью моря. Из-под боков парохода развалы воды… бегут сквозь решетку палубы…

Впереди море, строй парусов.

Выход из устья реки в море: речная мутная, жидкая вода сменяется чистой, зеленой, тяжелой и упругой морской… Другой ветер, другой воздух, радость этого ветра, простора, воздуха, счастье жизни, молодости… Яркая зелень волн, белизна чаек, запахи пароходной кухни… Уже слегка подымает и опускает, — это было тоже всегда радостью, — и от этого особенно крепко и ловко шагаешь по выпуклой, недавно вымытой гладкой палубе и глядишь с мужской жадностью, как на баке кто-то стоит, придерживает одной рукой шляпку с развевающейся от ветра дымчатой вуалью, а другой обвивающие ее по ногам полы легкого пальто.

Пароходный лакей, похожий на Нитше, густо усатый, рыжий.

Штиль. Пароход мерно гонит раскаты волн и шипящую пену.

Там внизу, где работают стальные пароходные машины, все шипит, все в горячем масле, на котором свертываются крупные капли пара. Пахнет им и горячим металлом.

Неподвижные, крупные, металлические белые электрические, высоко висящие огни поздней ночью, в пустом и тихом порту. Тени пакгаузов. Крысы.

Мачты барок в порту качались мерно, дремотно, будто сожалея о чем-то!»[148]

Двадцать девятого мая Бунин прибыл в Люстдорф (дачная местность под Одессой), «сидел на скалах возле прибоя», а вечером «ходил в степь, в хлеба. Оттуда смотрел на синюю пустынность моря»[149].

В Люстдорфе в 1897 году Бунин познакомился с А. И. Куприным [150].

Куприн тогда жил у соседей Бунина по даче, Каришевых. Бунин с ним подружился, помог ему, тогда еще молодому писателю, напечатать рассказы в «Мире Божьем» и в «Одесских новостях».

«В это чудесное лето, — пишет Бунин в воспоминаниях о Куприне, — в южные теплые звездные ночи мы с ним без конца скитались и сидели на обрывах над бледным летаргическим морем, и я все приставал к нему, чтобы он что-нибудь написал, хотя бы просто для заработка»[151].

Побывав в Одессе, наведавшись снова в Полтаву, Бунин, по его выражению, «ломал поход» в деревню. «Теперь, — пишет он Белоусову 15 июня 1897 года, — тут засяду надолго, может быть, даже до октября, и буду упорно работать. В октябре в Москву. Писал ли я тебе, что в половине августа брат переезжает в Москву на службу — редактором „Вестника воспитания“? Из этого следует, что я теперь буду в Москве по зимам почти безвыездно»[152].

Двадцать шестого августа Бунин сообщил брату, что он с сестрой и матерью (которую надо было лечить) скоро приедут в Москву. В деревне, по его словам, «кругом брань и все больные, так что писать строчки нельзя. Просто беда!»[153].

В этот раз в Москве Бунин познакомился с Николаем Дмитриевичем Телешовым, ставшим его другом.

Встретился он, по-видимому, и с Короленко. Во всяком случае, Федоров, недавно вернувшийся из Петербурга в Одессу, писал 5 октября 1897 года Бунину: «О том, что вы в Москве, мне передавал В. Г. Короленко, у которого я был и который также не отказался от сотрудничества у нас. Он хотел писать вам о вашем переводе и, между прочим, очень хвалил вас»[154].

В Москве, однако, Бунин долго не засиделся — 15 октября был уже в Петербурге (Пушкинская улица, дом 1, меблированные комнаты Пименова) и прожил там немногим менее месяца. Он вел переговоры об издании «Гайаваты», пытался устроить в «Русском богатстве» рассказ Телешова «Сухая беда», а в «Неделе» — «Гайдамаков» Шевченко в переводе Белоусова.

Десятого ноября 1897 года Бунин возвратился в Москву, 16 ноября он принимал участие в праздновании тридцатилетнего юбилея литературной деятельности Н. Н. Златовратского.

Бунин охотно бывал на литературных собраниях, у приятелей, на семейных вечерах.

У Телешова составился дружеский кружок писателей «Парнас», где читались и обсуждались новые произведения. С

конца 1890-х годов из членов «Парнаса» составился кружок «Среда».

И. А. Белоусов писал:

«…„Среды“ явились продолжением того кружка, который гораздо раньше собирался у Н. Д. Телешова, когда он жил в доме своего отца на Валовой улице… Кружок тогда назывался „Парнас“; участвовавших в нем было очень немного: Сергей Дмитриевич Махалов, теперь известный драматург С. Разумовский… Владимир Семенович Лысак, выпустивший книжечку миниатюр под названием „Подорожник“, сам Н. Д. Телешов, его брат — Сергей Дмитриевич, я, да еще кое-кто из молодых музыкантов…

Интимный кружок „Парнас“ просуществовал несколько лет, широкого развития он не получил, но значение его заключается в том, что он явился основоположником „Сред“, имевших большое значение в русской литературе за известный период…»[155]

Об очередном собрании кружка Телешов извещал Белоусова 29 января 1898 года: «Дорогой Иван Алексеевич… к субботе кончу рассказ („Домой“. — А. Б.), и у меня будут Бунины и вы, а в воскресенье днем я привезу рассказ в редакцию („Детского чтения“. — А. Б.). Приезжайте в субботу ко мне… Будут только Бунины, Махалов, Лысак, вы и я»[156].

Тринадцатого января 1898 года Бунин послал из Апраксина (по-иному — Лукьяново-Апраксино Ефремовского уезда Тульской губернии) П. А. Ефремову стихотворение «В степи» для сборника «Памяти В. Г. Белинского» (М., 1899), составленного из трудов русских литераторов.

После 30 января Бунин уехал из Москвы в Огневку, потом — в Петербург. Здесь он снова встретился с Е. М. Лопатиной. Она записала в дневнике:

Двадцать второго февраля 1898, Петербург. «Возвращаюсь однажды к дяде Вл. Л. и нахожу телеграмму Бунина с извещением о том, что он едет. Утром он пришел к дяде, и весь день мы почти не расставались… То провожал меня в „Сын отечества“, то отвозил еще куда-нибудь, поправлял оттиски моего романа, и раз я была у него в номере на Пушкинской. Понемногу все стали замечать, намекать на его любовь… Вечером он ждал меня в Союзе писателей. Я никогда этого вечера не забуду. Никогда, кажется, я его таким не видала. Так был бледен, грустен, мил. Так мы тихо, грустно и хорошо говорили… Он поправлял мой второй оттиск, хвалил эту часть. Мне было страшно грустно, и казалось, что у него на глазах слезы… Из Союза он пошел за мной, провожать меня. Как я помню эту ночь. Шел снег, что-то вроде метели… Наконец, уже на Садовой, мы заговорили, и все было

сказано. Мне вдруг стало легко говорить с ним. Мы пешком дошли до Морской, и было так грустно. Я сказала ему, что боюсь его увлечения, его измученного лица и странного поведения, иначе не стала бы говорить; что я не могу пойти за ним теперь, не чувствую силы, не люблю его настолько. Он говорил о том, как никогда и не ждал этого, как во мне он видит весь свет своей несчастной жизни; он не боялся этого, потому что ему нечего терять, ему уже давно дышать нечем; без меня у него тоска невыносимая, но это не какая-нибудь обыкновенная влюбленность, которую легко остановить, а трезвое, настоящее чувство, очень сложное, и расстаться со мною ему невыносимо уже теперь…

Вечером он пришел на вокзал, бледный, даже желтый, и сказал мне, что, вероятно, уедет в понедельник в Нормандию. И тут же говорил, что поправит и пришлет мне с поправками весь мой роман… Сегодня я послала ему письмо. Я говорила ему, что мне грустно, что я хочу его видеть и хочу, чтобы он знал это, но не зову его… Послала вечером с посыльным на вокзал…»[157]

В ответ на это письмо Бунин писал: «Ох, если бы знали, каким счастьем захватило мне душу это внезапное прикосновение вашей близости, ваши незабвенные и изумительные по выражению чувства слова: „Мне грустно; я хочу вас видеть и *хочу, чтобы вы знали это*…“ Не забуду я этого до гробовой доски, не прощу себе до могилы, что не умел я взять этого, и не могу не простить вам за них всего, что только не превышает всех моих сил»[158].

В первых числах марта Бунин был в Москве.

Возвратилась в Москву и Лопатина. Она записала в дневнике 12 марта 1898 года: «Иван Алексеевич приехал дня через два после того, как я писала в последний раз, и в среду уже был у меня. Он у меня постоянно, мы вместе работаем… Мне теперь с ним легко, в наших отношениях есть много поэтичного, и, хотя часто меня пугает мысль, что с ним будет, думаю, что иначе поступить я не должна. „Постарайтесь взглянуть на это оригинальнее… Как-никак, а мы артисты, черт возьми, нужно же, чтоб мы выработали какие-нибудь иные формы“, — говорил он мне»[159].

Бунин вспоминал о Лопатиной:

«Она была худая, болезненная, истерическая девушка, некрасивая, с типическим для истерички звуком проглатывания — м-гу! — звуком, которого я не мог слышать. Правда, в ней было что-то чрезвычайно милое, кроме того, она занималась литературой и любила ее страстно. Чрезвычайно глупо думать, что она могла быть развитей меня оттого, что у них в доме бывал

Вл. Соловьев. В сущности, знала она очень мало, „умные“ разговоры еле долетали до ее ушей, а занята она была исключительно собой. Следовало бы как-нибудь серьезно на досуге подумать о том, как это могло случиться, что я мог влюбиться в нее. Обычно при влюбленности, даже при маленькой, что-нибудь нравится: приятен бывает локоть, нога. У меня же не было ни малейшего чувства к ней, как к женщине. Мне нравился переулок, дом, где они жили, приятно было бывать в доме. Но это было не то, что влюбляются в дом оттого, что в нем живет любимая девушка, как это часто бывает, а наоборот. Она мне нравилась потому, что нравился дом… Кто я был тогда? У меня ничего не было, кроме нескольких рассказов и стихов. Конечно, я должен был казаться ей мальчиком, но на самом деле вовсе им не был, хотя в некоторых отношениях был легкомыслен до того, и были во мне черты такие, что не будь я именно тем, что есть, то эти черты могли бы считаться идиотическими. С таким легкомыслием я и сказал ей однажды, когда она плакалась мне на свою любовь к Т[окарскому] (психиатру. — А. Б.): „Выходите за меня замуж…“ Она расхохоталась: „Да как же это выходить замуж… Да ведь это можно только тогда, если за человека голову на плаху можно положить…“ Эту фразу очень отчетливо помню. А роман ее с Т[окарским] был очень странный и болезненный. Он был похож на Достоевского, только красивей»[160].

Лопатина была старше Бунина лет на пять-шесть. Ее брат Владимир Михайлович был артистом Художественного театра. В их доме бывали артисты, ученые, философы, судебные деятели, иногда заходил Толстой. Уже в эмиграции Бунин рассказывал Вере Николаевне о своем «нелепейшем романе»:

«— …Она была менее развита, чем я.

— Но все же ее окружали люди, как брат, Соловьев, Юрьев, она от них многого набралась, а у тебя, кроме Юлия Алексеевича, кто же был?

— И это неверно. Я вращался если не среди таких блестящих людей, как Владимир Соловьев, то все же среди очень образованных, как, например, Кулябко-Корецкий, Русов и другие. Кроме того, вся наша среда только и делала, что разбирала вопросы политические, литературные, общественные, и я принимал в этом горячее участие, тогда как она жила другим, в стороне от интересов братьев, своим… Нет, она не была взрослей, развитей меня… Да и доказательства есть, — это я сократил ее роман („В чужом гнезде“. — А. Б.), там было пятьсот страниц и очень много наивного, детского, и хотя я почти ничего еще не написал, а все же понимал больше, что нужно и чего не нужно».

В книге «Освобождение Толстого» Бунин многое написал о

Толстых со слов Лопатиной, она их хорошо знала.

До середины июня 1898 года Бунин прожил, по-видимому, в Москве и в Царицыне, «поселился в „стойлах“, как мы называли комнаты с балконом в саду Дипмана…»[161]. Затем уехал на юг. 18 июня он писал Юлию Алексеевичу из Нежина: «Еду в Одессу, к Федорову»[162]. 24 июня он сообщал брату: «Я живу в Люстдорфе у Федорова. Пробуду здесь, должно быть, числа до десятого июля. Потом — не знаю куда. Вероятно, уже будет пора ехать на эту несчастную Мусинькину свадьбу, которой я до сих пор не верю как-то и все надеюсь, что она образумится. Так и скажи Машеньке, и еще скажи, что горячо целую ее и не думаю сердиться на нее, хотя мне так мучительно жаль ее[163]. Денежные дела мои плохи… Тут живет теперь еще Куприн, очень милый и талантливый человек. Мы купаемся, совершаем прогулки и без конца говорим. Чувствую себя все-таки плохо и физически и нравственно»[164].

В этом же письме Бунин сообщал брату, что на днях выйдет книга его стихов («Под открытым небом» — цензурное разрешение 27 июля 1898 года). В 1898 году вышло первое столичное издание «Песни о Гайавате» Лонгфелло, опубликованной в газете «Орловский вестник» в 1896 году.

Поселившись в Одессе, Бунин подружился с писателями и художниками, членами «Товарищества южно-русских художников». У них существовал обычай собираться по четвергам у художника Буковецкого.

Вера Николаевна Муромцева-Бунина пишет: «„Четвергом“ называлось еженедельное собрание „Южно-русских“ художников, писателей, артистов, даже некоторых профессоров, вообще людей, любящих искусство, веселое времяпрепровождение, товарищеские пирушки. После обеда художники вынимали свои альбомы, писатели, поэты читали свои произведения, певцы пели, кто умел, играл на рояли. Женщины на эти собрания допускались редко. Возникли они так: художник Буковецкий, человек состоятельный и с большим вкусом, приглашал к себе друзей по четвергам: друзья были избранные, не каждый мог попасть в его дом. Когда он женился, то счел неудобным устраивать у себя подобные „мальчишники“, и они были перенесены в ресторан Доди, где состав собиравшихся сильно расширился»[165].

Буковецкий был, по словам В. Н. Муромцевой-Буниной, «изысканный человек, умный, с большим вкусом, старался быть во всем изящным. Он писал портреты. Одна его вещь была приобретена Третьяковской галереей.

С первых же месяцев знакомства с этой средой Иван

Алексеевич выделил Владимира Павловича Куровского, редкого человека и по душевным восприятиям, и по особому пониманию жизни. Настоящего художника из него не вышло… С 1899 года он стал хранителем Одесского музея… Иван Алексеевич очень ценил Куровского и „несколько лет был просто влюблен в него“. После его самоубийства, во время Первой мировой войны, он посвятил ему свое стихотворение „Памяти друга“…

Подружился он и с Петром Александровичем Нилусом, дружба длилась многие годы и перешла почти в братские отношения. Он, кроме душевных качеств, ценил в Нилусе его тонкий талант художника не только как поэта красок в живописи, но и как знатока природы, людей, особенно женщин, — и все уговаривал его начать писать художественную прозу. Ценил он в нем и музыкальность. Петр Александрович мог насвистывать целые симфонии.

Сошелся и с Буковецким, ему нравился его ум, оригинальность суждений, меткость слов. С остальными вошел в приятельские отношения, со всеми был на „ты“, некоторых любил, например Заузе, очень музыкального человека (написавшего романс на его слова „Отошли закаты на далекий север“), Дворникова, которого ценил и как художника, маленького трогательного Эгиза, необыкновенно гостеприимного караима. Забавлял его и Лепетич. Познакомился и со старшими художниками: Кузнецовым, Костанди»[166].

На «четвергах» Бунин читал свои и чужие произведения, пишет П. А. Нилус в статье «Бунин и его творчество», читал прекрасно, хотя манера его чтения не вызывала особого восторга, «читал просто, а тогдашняя публика привыкла к актерскому чтению, к ложному пафосу, к „слезе“ в голосе, к вульгарным эффектам. Кроме чужих произведений, он читал и свои стихи, но и они были встречены холодно — в стиле Бунина не было пустозвона, шаблонных рифм, и особенно потому, что в них не было гражданской скорби; они были наивны и благородны — качества, доступные не всем»[167].

«Бунин, — пишет П. А. Нилус, — отдавал друзьям весь свой смех, всю свою молодую радость…» На «четвергах», по его словам, «царил дух скептицизма, веселой шутки, незлобивой насмешки, дух правды»[168].

Бывал Бунин и в «Литературно-артистическом клубе»[169], где тоже читал.

Он сотрудничал в одесской газете «Южное обозрение»[170], печатал здесь свои стихи, рассказы, литературно-критические заметки. Издатель газеты Н. П. Цакн***и*** предлагал Бунину принять участие в издании газеты. В июле — сентябре 1898 года Бунин

писал Юлию: «Я чуть не каждый день езжу на дачу Цакни, издателя и редактора „Южного обозрения“, хорошего человека с хорошей женой и красавицей дочерью. Они греки. Цакни человек с состоянием — ежели ликвидировать его дела, то, за вычетом долгов, у него останется тысяч сто (у него два имения, одно под Одессой, другое в Балаклаве — виноградники), но сейчас совсем без денег, купил газету за три тысячи у Новосельского, без подписчиков и, конечно, теперь в сильном убытке, говорит, истратил на газету уже тысяч десять и, говорит, не выдержку, брошу до осени, ибо сейчас денег нет. Расходится „Южное обозрение“ в три тысячи экземпляров (с розницей). Вот и толкуем мы с ним, как бы устроить дела на компанейских началах. Ведь помнишь, мы всю зиму толковали и пили за свою газету. Теперь это можно устроить. Цакни нужна или материальная помощь, или сотрудническая. „Своей компании, говорит он, я с удовольствием отдам газету“ (направление „Южного обозрения“ хорошее), могу отдать или совсем с тем, чтобы года три ничего не требовать за газету, а потом получать деньги в рассрочку, или так, чтобы компания хороших сотрудников работала бесплатно и получала барыши, ежели будут, причем и редактирование будет компанейское, или так, чтобы был представитель-редактор от компании, а он будет только сотрудником, или чтобы сотрудники при тех же условиях вступили пайщиками в газету, чтобы можно было, наконец, создать хорошую литературную газету в Одессе. Прошу тебя, Юлий, подумай об этом серьезно. Нельзя ли, чтобы Михайлов (Н. Ф. Михайлов — издатель журнала „Вестник воспитания“. — А. Б.) вошел главным пайщиком? Или устроим компанию? Только погоди с кем бы то ни было переписываться — газета должна быть прежде всего в наших с тобой руках. Цакни просит меня переехать в Одессу, если это дело устроится. Хорошо бы устроить! Тем более что все шансы за то, что я женюсь на его дочери. Да, брат, это удивит тебя, но выходит так. Я хотел написать тебе давно — посоветоваться, но что же ты можешь сказать? Я же сам очень серьезно и здраво думаю и приглядываюсь. Она красавица, но девушка изумительно чистая и простая, спокойная и добрая. Это говорят все, давно знающие ее. Ей 19-й год. Про средства тоже не могу сказать, но 100 тысяч у Цакни, вероятно, есть, включая сюда 50 тысяч, которые ему должен брат, у которого есть имение, где открылись копи. Брат этот теперь продает имение и просит миллион, а ему дают только около 800 тысяч. Страшно только то, что он может не отдать долга. У Цакни есть еще и сын. Люди они милые и простые. Он был в Сибири, затем эмигрировал, 9 лет жил в Париже, жена его — женщина-врач. Тон в семье хороший. Не знаю, как Цакни

отнесется к моему предложению. С Анной Николаевной, — которая мне очень мила, я говорил только с ней, но еще не очень определенно. Она, очевидно, любит меня, и когда я вчера спросил ее, улучив минуту, согласна ли она, — она вспыхнула и прошептала „да“. Должно быть, дело решенное, но еще не знаю. Пугает меня материальное положение — я знаю, что за ней дадут, во всяком случае, не меньше 15–20 тысяч, но, вероятно, не сейчас, так что боюсь за первое время. Думаю, что все-таки лучше, если даже придется первое время здорово трудиться — по крайней мере, я буду на месте и начну работать, а то я истреплюсь. Понимать меня она навряд будет, хотя от природы она умна. Страшно все-таки. *В тот же день пиши мне как можно подробнее* — посоветуй. А то думаю числа 26-го все кончить. 26-го литературный вечер, в котором и я [участвую], а еще Бальмонт. Он тут. Решив дело, поеду в Огневку не позднее 28–29–30. Жду письма с нетерпением»[171].

В своей книге «Жизнь Бунина» В. Н. Муромцева-Бунина приводит запись Ивана Алексеевича, относящуюся к тому времени: «Русский грек Николай Петрович Цакни, революционер, женатый на красавице еврейке (в девичестве Львовой), был сослан на крайний север и бежал оттуда на каком-то иностранном пароходе и жил нищим эмигрантом в Париже, занимаясь черным трудом, а его жена, родив ему дочь Аню, умерла от чахотки. Аня только двенадцати лет вернулась в Россию, в Одессу с отцом, женившимся на богатой гречанке Ираклиди, учившейся пению и недоучившейся оперному искусству у знаменитой Виардо…»[172]

Свадьба Бунина и А. Н. Цакни состоялась 23 сентября 1898 года. 25 сентября Бунин сообщал Юлию Алексеевичу: «Позавчера я повенчался…»[173] Иван Алексеевич и Анна Николаевна «жили на Херсонской улице во дворе», — записал в дневнике Бунин, — на втором этаже двухэтажного дома 40, квартира 17 (ныне — улица Пастера, 44).

Он говорил Вере Николаевне: «Если к Лопатиной мое чувство было романтическое, то Цакни была моим языческим увлечением»[174].

Галина Николаевна Кузнецова записала в дневнике 9 марта 1932 года: «…Я стала спрашивать его о его первой жене Анне Николаевне Цакни. Он сказал, что она была еще совсем девочка, весной кончившая гимназию, а осенью вышедшая за него замуж. Он говорил, что не знает, как это вышло, что он женился. Он был знаком несколько дней и неожиданно сделал предложение, которое и было принято. Ему было 27 лет».

«Когда я теперь вспоминаю это время — это было в сентябре

в Одессе, — мне оно представляется очень приятным. И вот нельзя собственно никому сказать этого — из чего состояло это приятное? Прежде всего из того, что стояла прекрасная сухая погода, и мы с Аней и ее братом Бебой и с очень милым песиком, которого она нашла в тот день, когда я сделал ей предложение, ездили на Ланжерон. Надо сказать, что в Ане была в то время смесь девочки и девушки, и „дамское“ выражалось в ней тем, что она носила дамскую шляпу с вуалью в мушках, как тогда было модно. И вот через эту вуаль ее глаза — а они у нее были великолепные, большие и черные — были особенно прелестны. Ну, как сказать, из чего состояло мое приятное состояние в это время? Особенной любви никакой у меня к ней не было, хотя она и была очень милая. Но вот эта приятность состояла из этого Ланжерона, больших волн на берегу и еще того, что каждый день к обеду была превосходная кефаль с белым вином, после чего мы часто ездили с ней в оперу. Большое очарование ко всему этому прибавлял мой роман с портом в это время — я был буквально влюблен в порт, в каждую округлую корму…»[175]

Бунин ездил с Анной Николаевной в Крым и в имение Цакни под Одессой — Краснополье (или Затишье). Затишье — станция Юго-Западной ж. д., по пути из Одессы на Раздольное. Возвращаясь в Одессу на пароходе «Пушкин», он писал брату 1 октября 1898 года: «Видишь, я — в море и ужасно доволен этим. Возвращаемся с Анной Николаевной из Крыма, уехали в субботу на прошлой неделе, были в Ялте, Гурзуфе и т. д., потом в Севастополе и Балаклаве. Тут я перезнакомился с моими новыми родственниками. В Балаклаве — хорошо, земли тут у Цакни 48 десятин, и, как рассказывает его племянник, живущий в Балаклаве, все это стоит, а будет стоить еще более дорого… Он, то есть Николай Петрович, предлагал мне переселиться в Крым и заняться хозяйством»[176].

Бунин писал брату 15 октября 1898 года, что живет он «хорошо, совсем по-господски, Анна Николаевна — замечательно добрый, ровный и прекрасный человек, да и вся семья… Сейчас едем в именье — я, Аня и Беба, — будем охотиться. Но буду, конечно, и работать и там. Там все есть, лошади верховые и т. д. — словом, тоже все по-барски, даже кухарку с нами шлют… Пробуду там с *неделю*, не больше — корректура… Машенька не радует меня, такие грустные письма пишет…»[177]

Девятнадцатого октября 1898 года он писал ему же: «А в Краснополье (или Затишье) очень хорошо. Местность тут совсем голая, но гористая, усадьба стоит на склоне горы, а перед ней громадная долина, красиво замкнутая горами… Дом привел меня в восторг — огромный, массивный, уютный, старинный. Земли

тут 800 десятин»[178].

В конце ноября Бунин вместе с Анной Николаевной побывал в Петербурге, а затем в Москве, 17 декабря присутствовали на премьере «Чайки» в Художественном театре [179]. Анна Николаевна числа 23-го уехала в Одессу.

Новый, 1899 год Бунин встречал с Юлием Алексеевичем в Москве, чувствовал себя одиноко. «Хотел бы я любить людей, и есть во мне любовь к *человеку*, но в отдельности, ты знаешь, — писал он жене 31 декабря 1898 года, — я мало кого люблю»[180].

Двадцать первого января 1899 года Бунин приехал в Одессу, побывав перед этим в Калуге у Марии Алексеевны.

Художник П. А. Нилус говорил в 1913 году, что в то время Бунин «увлекался Лот***и***, Роденбахом, читал По, восхищался Одессой»[181].

Не позднее февраля 1899 года Бунин получил письмо от Горького с отзывом о его книге «Под открытым небом». Горький писал, что в его стихах «огромное чутье природы»[182].

Шестого апреля 1899 года Бунин отправился из Одессы в Ялту. В этот день он писал брату: «Я, как видишь, плыву, упиваюсь положительно морем, пароходом, лунной ночью. Еду в Ялту, проветриться дней на пять, увидаться с Миролюбовым, Чеховым и Горьким, которые в Крыму»[183]. Весной 1899 года Бунин познакомился с Горьким. «Приезжаю в Ялту, — писал он в „Автобиографических заметках“ 1927 года, — иду как-то по набережной и вижу: навстречу идет с кем-то Чехов, закрывается газетой, не то от солнца, не то от этого кого-то, идущего рядом с ним, что-то басом гудящего и все время высоко взмахивающего руками из своей крылатки. Здороваюсь с Чеховым, он говорит: „Познакомьтесь, Горький“… Говорил он громко, с жаром, и все образами, и все с героическими, грубоватыми восклицаниями. Это был рассказ о каких-то волжских богачах из купцов и мужиков, которые все были совершенно былинные исполины»[184].

По словам Бунина, «чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружеского сближения…»[185]. Позднее, пишет Бунин, «мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму, — были и дела у нас с ним: я сперва сотрудничал в его журнале „Новая жизнь“, потом стал издавать свои первые книги в его издательстве „Знание“, участвовал в „Сборниках Знания“»[186].

Возвратился Бунин в Одессу 14 апреля и писал брату: «В Крыму видел Чехова, Горького (с Горьким сошелся довольно близко, — во многих отношениях замечательный и славный человек), Миролюбова, Ермолову, Давыдову с дочерью, с Марьей Карловной… Елпатьевского, художника Ярцева, Средина»[187].

Издатель «Журнала для всех» В. С. Миролюбов просил Бунина

написать стихи о Пушкине к 100-летию со дня рождения поэта. 26 апреля Бунин писал ему:

«Сознание, что я во что бы то ни стало должен написать *хорошее*, да еще юбилейное стихотворение, умерщвляло во мне всякое чувство. А потом я уж истомился, и Пушкин стал представляться мне врагом». Стихи, по его словам, получились «жалкие»[188].

Творчество Пушкина, как и Лермонтова, всю жизнь было для Бунина высочайшим образцом настоящего искусства. Он не раз повторял, что «проза Лермонтова и Пушкина остались непревзойдены»[189].

По словам Бунина, он не знает «примеров такого такта и такого ума»[190], как у Пушкина.

«Мы почти ничего не знаем про жизнь Пушкина… А сам он ничего о себе не говорил. А если бы он совершенно просто, не думая ни о какой литературе, записывал то, что видел и что делал, какая это была бы книга! Это, может, было бы самое ценное из того, что он написал. Записал бы, где гулял, что видел, читал…»[191]

В дневниковых записях Г. Н. Кузнецовой приводится несколько высказываний Бунина о Пушкине. 22 декабря 1928 года, в связи с разговором о том, что хорошо было бы написать художественные биографии некоторых писателей, она записывает слова Бунина:

«Это я должен был бы написать „роман“ о Пушкине! Разве кто-нибудь другой может так почувствовать? Вот это, наше, мое, родное, вот это, когда Александр Сергеевич, рыжеватый, быстрый, соскакивает с коня, на котором ездил к Смирновым или к Вульфу, входит в сени, где спит на ларе какой-нибудь Сенька и где такая вонь, что вздохнуть трудно, проходит в свою комнату, распахивает окно, за которым золотистая луна среди облаков, и сразу переходит в какое-нибудь испанское настроение… Да, сразу для него ночь лимоном и лавром пахнет… Но ведь этим надо жить, родиться в этом!»[192]

Двадцать восьмого февраля 1932 года Г. Н. Кузнецова вновь записала в дневнике:

«Вечером Иван Алексеевич читал мне стихи Пушкина. Читает он их так, как, пожалуй, сам Пушкин должен был читать: то важно, то совсем просто, то уныло… Но лучше всего у него вышло: „О, если правда, что в ночи…“, которое он прочел глухим, таинственным, однообразным тоном, нигде не повышая его. Я напомнила, что Метнер в музыке кончает вскриком, как бы уже зовом в присутствии призрака: „Сюда! сюда!“ Он покачал головой: „Неправда. Этот зов в сущности беспомощен“»[193].

В годы его молодости, о которых Бунин вспоминал в «Жизни Арсеньева», Пушкин был для него «вовсе не чтением, а подлинной частью» его жизни. По его словам, у Пушкина «был совершенно непогрешимый инстинкт, какое-то чудовищное, небывалое чутье». Он также говорил: «Его проза суховата, но как необыкновенно прекрасна. Пушкина надо читать всю жизнь. Закрыть книжку на последней странице и начинать снова с первой».

В другой раз, возвращаясь домой по горам в окрестностях Грасса, мимо шумного потока, вдруг он декламирует:

Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,
И ропщет бор…

И сказал: «Это черт знает, как хорошо. Точнее и лучше сказать невозможно. Каждый раз, как я вспоминаю какие-нибудь пушкинские строчки, на меня точно столбняк находит. Я немею от восторга, от удивления. В мировой литературе не было ничего отдаленно похожего»[194].

Двадцать первого июня 1949 года Бунин в Париже произнес речь о Пушкине[195].

Двадцать пятого мая 1899 года Бунин писал Брюсову: «Страшно одинока и непонятна жизнь… Еду в деревню… Буду думать думы на степных могилах»[196].

С 17 июня Бунин жил в Краснополье, наслаждаясь, по его словам, отдыхом и «ездою верхом… Успел уже порядочно загонять двух верховых лошадей…»[197].

Но семейная жизнь разладилась, и ему пришлось пережить немало тяжелого, что видно из писем к брату.

Четырнадцатого декабря 1899 года он пишет об обстановке в доме Н. П. Цакни и постоянных посетителях — участниках любительских спектаклей в «народной аудитории», в которых выступала в качестве певицы и Анна Николаевна:

«С конца июля я нахожусь, ты знаешь, в каком состоянии, и это продолжается до сей минуты. Я скверно, стыдно и пришибленно себя чувствую. И уже одно это положительно разрушает мое здоровье. Вымышленно или нет мое горе — все равно я его чувствую, а это не проходит даром, и мне жаль себя. Нет сил подняться выше этой дрянной истории, очевидно, в этом виноваты мои больные нервы — но все равно, я многое гублю и убиваю в себе. И до такой степени не понимать этого, то есть моего состояния, и не относиться ко мне помягче, до такой

степени внутренно не уважать моей натуры, не ставить меня ни в грош, как это делает Анна Николаевна, — это одно непоправимо, а ведь мне жить с ней век. Сказать, что она круглая дура, нельзя, но ее натура детски-тупа и самоуверенна — это плод моих долгих и самых беспристрастных наблюдений. Сказать, что она… тоже нельзя, но она опять-таки детски-эгоистична и… не чувствует чужого сердца — это тоже факт. Ты говоришь — ее невнимание и ее образ жизни — временно, но ведь беда в том, что она меня ни в грош не ценит. Мне самому трогательно вспомнить, сколько раз и как чертовски хорошо я раскрывал ей душу, полную самой хорошей нежности, — ничего не чувствует — это осиновый кол какой-то. При свидании приведу тебе сотни фактов. *Ни одного моего слова, ни одного моего* мнения *ни о чем* — она не ставит даже в трынку. Она глуповата и неразвита, как щенок, повторяю тебе. И нет поэтому никаких надежд, что я могу развить ее бедную голову хоть сколько-нибудь, никаких надежд на другие интересы. Жизнь нашу я тебе описывал. В 8 ч. утра — звонок — Качеповская. Затем — каждые пять минут звонок. Приходят Барбашев — который абсолютно… не делает с Бебой — затем… Лев Львович, старик аршин ростом с отвислой губой, битый дурак омерзительного вида, заведующий аудиторией, затем три-четыре… переписчика нот, выгнанный из какой-то гнусной труппы хохол Царенко… Затем студент Аблин, типичнейший фельдшеришка-плебей, которого моя дура называет рыцарем печального образа (!!), затем — вылитый И. Адамов — мальчишка-гречонок, певчий из церкви — Марфеси, 18 лет, затем еще два-три студента, и все это пишет ноты, гамит, ест и уходит только на репетиции вместе с Бебой, Аней и Элеонорой Павловной (мачеха А. Н. Цакни. — А. Б.). Так продолжалось буквально каждый день до прошлого воскресения. Николай Петрович, наконец, не выдержал, заговорил со мной. Он со слезами рассказал мне, что эта жизнь ему, наконец, невтерпеж. „Я, говорит, пробовал несколько раз говорить с Элеонорой Павловной — сердцебиение, умирает. Что мне делать? Я едва, говорит, сдерживаюсь“. Не стану тебе передавать всю нашу беседу и все его беседы с Элеонорой Павловной, вот одна из них — типичная. Недели полторы тому назад, поздно ночью вернулись с репетиции. Я ушел в свою комнату, Николай Петрович, который думал, что я уже сплю, пошел отворять дверь. Там он сказал Ане: „Здравствуй, профессиональная актриса“. Затем произошел скандал. Он со слезами кричал, что он выгонит всю эту ораву идиотов и пошляков, что Элеонора Павловна развращает его детей, что из Бебы выйдет — идиот, что Аня ведет настолько пустую и пошлую жизнь, что ему до слез больно, что она без

голоса примазалась к этой идиотской жизни и т. д. К великому моему изумлению, это не произвело на Аню особенного впечатления. Словом, жизнь потекла снова так же. Николай Петрович не имеет злого вида, но иногда прорывается, а между тем почти перестал обедать, завтракать и бывать дома. Он и говорил: „Хорошо, я сбегу“, и действительно, нет часа, чтобы у нас кого-нибудь да не было. Элеонора Павловна плакала, обещала все это прекратить, но не прекратила. Я с ней говорил о жизни Ани — она говорит, что папа ее не понимает, объясняет все ее суетными дурными наклонностями, а между тем „девочка увлечена делом, как она думает“. Отчасти Элеонора, конечно, врет, ибо сама не может расстаться с „Жизнью за царя“… Мне Цакни сказал, что это он терпит только до поры до времени. Если будет другая опера и Аня будет участвовать — *он предложит ей оставить его дом*. Но куда ему… привести это в исполнение! Поставили в прошлое воскресенье (6-го дек.) оперу, ноты у нас кончились, но жизнь мало изменилась. Буквально все [дни] снова проходят в разговорах, ни на секунду — клянусь тебе — не умолкаемых, и все об одном и том же. Все знакомые, все родные — клянусь тебе — глаза таращат, говорят, что они с ума сошли. И действительно это не поддается описанию!..

Но главное — *она беременна*, уже месяц»[198]. (Сын Бунина Николай родился в Одессе 30 августа 1900 года.)

Анна Николаевна сказала, пишет Бунин в другом письме: «„Чувства нет, без чувства нельзя жить“. Вечером я расплакался до безумия… Я связывал ее… Она насиловала себя, подделываясь под мою жизнь и под мою серьезность… Чувствую ясно, что не любит меня почти ни капельки и… не понимает моей натуры и вообще гораздо пустее ее натура, чем я думал. Так что история проста, обыкновенна донельзя и грустна чрезвычайно для моей судьбы»[199].

«Ты не поверишь: если бы не слабая надежда на что-то, рука бы не дрогнула убить себя. И знаю почти наверно, что этим не здесь, так в Москве кончится. Описывать свои страдания отказываюсь, да и ни к чему. Но я погиб — это факт совершившийся… Давеча я лежал часа три в степи и рыдал и кричал, ибо большей муки, большего отчаяния, оскорбления и внезапно потерянной любви, надежды, всего, может быть, не переживал ни один человек… Подумай обо мне и помни, что умираю, что я гибну — неотразимо… Как я люблю ее, тебе не представить… Дороже у меня нет никого»[200].

Из Затишья он уехал в Огневку, вернулся к жене осенью.

Январь 1900 года (по-видимому, весь месяц) Бунин прожил в Москве у брата.

Брюсов записал в дневнике в конце января — начале февраля 1900 года: «В Москве Бунин и Перцов [П. П.]. С Буниным виделся раза три. Он гораздо глубже, чем кажется. Иные размышления его о человечестве, о древних египтянах, о пошлости всего современного и позоре нашей науки — даже сильны, производят впечатление. В жизни он, кажется, очень несчастен»[201].

Из Москвы Бунин отправился в Одессу.

Двадцать шестого февраля 1900 года он писал брату:

«Мое положение трагическое. Относительно поездки в Константинополь и т. д. думаю, что это было бы для меня спасением, но что же сделать? Ведь я сейчас только понял, что я мечтаю как ребенок… где денег взять? *Ради Христа, подумай, — не придумаешь ли что-нибудь*? Ведь пойми — я пропадаю. По целым ночам реву от горя и оскорбления, а днем бегаю и стискиваю себя, чтобы быть спокойным. И ни копейки денег! Серьезно, надоедать стала мне эта штука, называемая жизнью. И впереди то же»[202].

Вера Николаевна писала 5 января 1959 года об отношениях Бунина к Анне Николаевне: «Прочла все письма периода Цакни сразу. Расстроилась: представляла иначе — считала более виноватым Ивана Алексеевича. А, судя по письмам, не только жизнь была не для творческой работы, а у самой Анны Николаевны не было настоящего чувства, и ей хотелось разрыва… Это понятно, конечно, они были и по натуре, и по среде, и по душе очень разные люди. И как с годами Иван Алексеевич, я не скажу, простил, а просто забыл все, что она причинила ему. Я менее злопамятного человека не знаю, чем он. Когда проходит известный срок того или другого отношения к нему человека, он забывал почти все».

В 1900 году Бунин записал: «В начале марта полный разрыв. Уехал в Москву»[203].

В Москве Бунин пробыл до начала апреля. 11 марта В. Брюсов записал: «В Москве опять был Бунин. Заходил ко мне. Потом я был у него в каких-то странных допотопных меблированных комнатах с допотопными услужающими. Бунин только что вернулся с Михеевым от Васнецова. Восторгались оба безумно его новой картиной „Баян“»[204].

Двенадцатого апреля Бунин приехал в Ялту. Поселился в гостинице «Крым».

Четырнадцатого апреля туда приехал Художественный театр, который ставил в Севастополе и Ялте спектакли «Чайка», «Дядя Ваня», «Одинокие» Гауптмана и «Гедда Габлер» Ибсена. Бунин познакомился с Вишневским, Станиславским и Книппер. Встретился с Чеховым, Горьким, бывал у Срединых, у

Е. М. Лопатиной, встречался с Маминым-Сибиряком, Елпатьевским, Телешовым [205]. Познакомился с С. В. Рахманиновым [206].

В Ялту приехал Юлий Алексеевич, и, должно быть, в начале мая братья отправились в Одессу, надеясь вместе совершить заграничное путешествие. Но ехать в Константинополь раздумали, опасаясь чумы. К тому же Бунин захворал.

В середине мая Бунин уехал в Огневку, по пути заглянул в Ефремов к сестре Маше, где в то время находились его отец и Н. А. Пушешников.

Бунин писал Юлию Алексеевичу 16 мая 1900 года из Ефремова:

«Выбраться в Огневку нет средств. Положение, брат, ужасное! У Евгения, говорят, лопать решительно нечего. Надеюсь все-таки удрать и пешком дойти до Огневки»[207].

В деревне Бунин засел за работу; «…много пишу, читаю, — говорит он в письме к Федорову, — словом, живу порядочной жизнью, а это… кажется, только и можно делать, что в Огневке. Кроме того, сильно тянет меня к себе Горький, — он в Полтавской губ., а Полтавскую губ. я чрезвычайно люблю. Живет недалеко от Кременчуга. Там славные места!»[208]

В это время Бунин писал «Листопад». Н. А. Пушешников отметил в дневнике:

«В 1900 году, когда Иван Алексеевич писал поэму „Листопад“, он жил в Огневке… Писал он на маленьком столике из некрашеных тесин, стоящем у окна. На столе, помню, всегда (в этот период) лежали ободранные, без обложек, книги стихов Фета, Майкова и др., в Огневке Иван Алексеевич постоянно гулял по одной и той же дороге (вечером) — на запад, к железной дороге. Он говорил, что очень любит ходить к железной дороге, потому что это вызывает у него воспоминания о путешествиях, юге, что он любит больше всего в жизни»[209].

В августе Бунин отправился в Москву, где пробыл до 6 сентября. Здесь он отдал «Листопад» для октябрьской книги «Жизни» и передал В. Я. Брюсову в издательство «Скорпион» сборник стихов (вышедший в 1901 году под заглавием «Листопад»). Поэма «Листопад» здесь напечатана с посвящением М. Горькому — «по его — Горького просьбе»[210].

Пятого сентября, довольный успехом переговоров с издателями, он уехал на две недели в Петербург. Остановился у А. М. Федорова.

Двадцать первого сентября Бунин сообщал Телешову, что возвращается в Москву — очень ненадолго. В этот приезд он бывал у О. Л. Книппер, присутствовал в Художественном театре

на первом представлении «Снегурочки». Ольга Леонардовна писала Чехову 30 сентября, что после премьеры «Снегурочки» актеры ужинали в «Континентале», «были Горькие и Бунин, кутили до 5-го часу утра. Бунин был и у нас, принес мне свою книгу»[211].

В начале октября он уехал в Одессу — остановился не у Цакни, а у В. П. Куровского (Софиевская, 5).

Одиннадцатого октября 1900 года Бунин отправился вместе с Куровским в заграничное путешествие. 10-го он писал Юлию Алексеевичу: «Еще в Одессе, задержал Куровский. Уезжаем *завтра*… едем на Берлин прямо в Париж, откуда через Вену»[212].

Вечером 29 октября (10 ноября н. ст.)[213] они приехали в Швейцарию [214].

Восемнадцатого ноября нового стиля Бунин писал Брюсову из Rigi-Kulm: «Был в Альпах Бернских, в Гриндельвальде и Мюррене, на большой высоте, в снегах и зимней горной глуши, совсем перед вечным лицом Финстерааргорна и Юнгфрау. Теперь провожу вечер на высоте более 2000 метров, совсем в снегу, на Риги-Кульм. Взошел без проводников, один, по дикой дороге. — Хорошо!»[215]

25/12 ноября он писал брату из Мюнхена:

«Мюнхен прелесть, картины Бёклина замечательны. Еду сейчас в Вену, вечером буду там, — там день, затем в Дрезден — тоже день, и домой!»[216]

Семнадцатого ноября 1900 года Бунин сообщал брату: «Сегодня, 17 ноября, возвратился в Петербург… Выеду отсюда или послезавтра, то есть в воскресенье, или в понедельник 20-го, то есть 21-го буду в Москве»[217].

В середине декабря Бунин был в Огневке, немного хворал [218].

После 20 декабря — опять в Москве, 21-го он заходил к О. Л. Книппер-Чеховой.

Ольга Леонардовна писала об этом посещении 23 декабря 1900 года М. П. Чеховой: «Был у меня Бунин, узнал из газет, что я больна, пришел. Сердится и негодует на тебя, что ты его не известила, ему так хотелось ехать с тобой (в Ялту. — А. Б.). Какой-то он растерянный, глаза болезненные, не знает, куда себя деть. Говорит, что поедет или в Ялту, или в Ниццу. Я его сильно уговаривала ехать в Ялту»[219].

По-видимому, именно в этот свой приезд в Москву Бунин в последний раз встретился с Толстым. В декабре 1902 года он говорил К. И. Чуковскому, бывшему в то время корреспондентом газеты «Одесские новости»: «Как-то в прошлом году прохожу я по Арбату, смотрю — в темноте Толстой. — Здравствуйте, Иван Алексеевич. Почему вас не видать? Я растерялся как школьник.

Просто не знаю, куда шапку свою девать»[220].

Однако зимой 1901/02 года, как следует из этих слов Бунина, встреча произойти не могла. Толстой жил в Крыму и в Москву не приезжал. Позднее декабря 1900 года она также не могла произойти, так как Бунин 28 декабря был уже в Ялте и пробыл там январь и почти весь февраль, а в своих воспоминаниях он свидетельствует, что встретились они зимой, «в страшно морозный вечер»[221].

Позже Бунин так рассказал об этой встрече:

Лев Николаевич спросил, пишет ли он что-нибудь. Бунин ответил:

«— Нет, Лев Николаевич, почти не пишу. И все, что прежде писал, кажется теперь таким, что лучше и не вспоминать.

Он оживился:

— Ах, да, да, прекрасно знаю это!

— Да и нечего писать, — прибавил я.

Он посмотрел на меня как-то нерешительно, потом точно вспомнил что-то.

— Как же так нечего? — спросил он. — Если нечего, напишите тогда, что вам нечего писать и почему нечего. Подумайте, почему именно нечего, и напишите. Да, да, попробуйте сделать так, — сказал он твердо.

Так видел я его последний раз»[222].

Двадцать восьмого декабря Мария Павловна сообщила из Ялты А. П. Чехову: «Бунин приехал и остановился у нас внизу»[223].

Бунин вспоминал об этих днях:

«…Мария Павловна пригласила меня жить у них „до возвращения Антоши“. Я согласился, некоторое время мы жили втроем, а потом я остался вдвоем с Евгенией Яковлевной (матерью А. П. Чехова. — А. Б.).

Теперь я из письма Чехова к матери узнал, что Антон Павлович был доволен, что я гощу у них.

Жить в Аутской даче мне было приятно. Пробовал писать, делал заметки о нашем с Куровским путешествии. Много читал. Подолгу вел разговоры с матерью Чехова…

Ездили мы с Марьей Павловной на водопад Учан-Су, в Гурзуф»[224].

А. И. Куприн писал Бунину: «Я вижу, что в доме Чеховых тебя все очень любят»[225].

В семье Чехова Бунин стал, по его выражению, «своим человеком». С Марией Павловной был в «отношениях почти братских»[226].

«У Чеховых я как родной»[227], — писал он Ю. А. Бунину в это время. Впоследствии вспоминал: «У меня ни с кем из писателей

не было таких отношений, как с Чеховым. За все время ни разу ни малейшей неприязни. Он был неизменно со мной сдержанно нежен, приветлив, заботился как старший»[228].

Никто из писателей не умел так смешить Чехова, как Бунин. «Когда истощался личный запас юмора, Бунин читал Чехову его собственные юмористические рассказы, и Антон Павлович смеялся так, как будто это были чужие произведения»[229], — вспоминал А. М. Федоров.

В эти дни Бунин писал из Ялты Ю. А. Бунину (5 января 1901 года): «*Христа ради, немедленно вышли* (десять рублей. — А. Б.). У меня *две копейки* и не на что даже письма никуда послать… Начал писать много. *Тут дивно*, но я просто в отчаянии»[230];

И. А. Белоусову (12 января): «Одиноко, но дивно. Если бы ты знал, какие дни и какой вид у меня из окон! Пишу стихи и рассказы, читаю»[231]. Он написал «Сосны», «Туман на море» и «бился» над «Белой смертью» (позднее, окончательное название — «Белая лошадь»). «Дни мои протекают, — писал он А. М. Федорову, — в каком-то поэтическом опьянении… Много пишу стихов, много-много начинаю рассказов…»[232];

Н. Д. Телешову (24 января): «Дорогой и милый друг! Прости, что не пишу, много работаю, да и много дней проходит в странном состоянии каком-то. Боже мой, ты не можешь себе представить, что за дни стоят! По 25 градусов тепла на солнце. Сейчас я на балконе гостиницы „Россия“ — в одном пиджаке, и то жарко. Море, небо полно невыразимой радости, а я один, дьявольски один, то есть не в смысле знакомых, конечно… Пропадает моя молодость ни за что! — Я все еще у Чехова»[233].

Бунин провел с Чеховым, приехавшим из Италии, «неделю изумительно»[234]; с его приездом он переселился в гостиницу «Россия». 22 февраля отправился в Одессу и опять остановился у Куровского.

Примерно с 1 по 15 апреля Бунин снова жил в Ялте — приехал вместе с Куприным по приглашению Чехова. «Куприн жил возле Чехова в Аутке», — писал Бунин.

Двадцать четвертого апреля он сообщал брату: «Еду в Огневку, настроение дьявольски скверное. Ведь я был опять в Одессе и тоскую об Ане страшно. Видел ее два раза на улице. А сынка, конечно, так и не видал, — проходя, видел его только издали, он был на балконе третьего этажа»[235].

Позднее Бунин рассказывал Г. Н. Кузнецовой, что «виделся он с сыном „раз пять в году“, причем „в это время весь дом затворялся у себя и дышал на меня злобой“. Мальчик выбегал, бросался к нему на шею и звонко кричал: „Папа, покатай меня на трамвае!“ Это казалось ему верхом счастья»[236].

В Огневке Бунин писал стихи, задумал написать статью о Жуковском, 8 мая он писал Ю. А. Бунину: «Поклонись Николаю Федоровичу (Михайлову, издателю „Вестника воспитания“. — А. Б.) и спроси его, не возьмет ли он у меня осенью статью о Жуковском. Ты знаешь, как я его люблю»[237].

Двадцать восьмого мая 1901 года из Ефремова он пишет тому же адресату:

«Я как в тумане от работы и сиденья, хотя благодаря жаре, крику Жени (сын М. А. Буниной. — А. Б.) и пыли дело плохо идет и потому пишу тебе мертво. Положение дел таково: мать все время в Ефремове, и глядеть на нее тяжело, так много она, бедная, трудится (прислуги сейчас нет) и не спит при этом ночи из-за Жени… Тружусь упорно… в Ефремове страшная нищета» [238].

Побывав в июне в Москве, Бунин 18 июня отправился опять в Огневку, в начале августа он уехал в Одессу [239], поселился на даче Гернета — снял комнату у самого моря.

Третьего сентября, по просьбе Чехова, Бунин приехал в Ялту [240], оттуда в сентябре отправился в Москву, в середине октября ездил из Москвы в Нижний Новгород. Горький сообщал К. П. Пятницкому (письмом между 13 и 17 октября 1901 года), что у него «был Бунин Иван, был Андреев Леонид, Алексеевский Аркадий, и я два дня не видел себя… Иван Бунин предлагает издать его рассказы у „Знания“… Я — за издание Бунина „Знанием“»[241].

Семнадцатого ноября в «Литературном кружке» Бунин прочел лекцию об искусстве швейцарского живописца и поэта Арнольда Бёклина, популярного в то время в России.

О. Л. Книппер-Чехова писала Антону Павловичу 16 ноября: «В субботу Букишон читает о Бёклине в кружке. Маша пойдет, а я занята»[242].

Четырнадцатого декабря 1901 года Бунин присутствовал в театре Корша на премьере «Детей Ванюшина» С. А. Найденова. 15-го, побывав у О. Л. Книппер-Чеховой, уехал в Васильевское к Софье Николаевне Пушешниковой, там провел рождественские праздники.

В январе 1902 года возвратился в Москву. С этого года началось его сотрудничество в «Знании» Горького. В этом издательстве Бунин опубликовал многие свои произведения. В 1902–1909 годах в «Знании» вышли пять томов его сочинений.

Не позднее 11 января он поселился в Одессе, у Куровского.

В письме от 15 января 1902 года Чехов писал Бунину о его рассказе «Сосны», опубликованном в 1901 году в журнале «Мир Божий»: «Писал ли я вам насчет „Сосен“? Во-первых, большое

спасибо за присланный оттиск, во-вторых, „Сосны“ — это очень ново, очень свежо и очень хорошо, только слишком компактно, вроде сгущенного бульона»[243].

В феврале в «Журнале для всех» появился отзыв А. И. Куприна о сборнике стихов «Листопад»: «Стих г. Бунина изящен и музыкален, фраза стройна, смысл ясен, а изысканно-тонкие эпитеты верны и художественны». По его словам, Бунин «с редкой художественной тонкостью умеет своеобразными, ему одному свойственными приемами передать свое настроение»[244].

В конце марта Бунин отправился вместе с Нилусом в Ялту, часто бывал у Чехова. Нилус писал портрет Антона Павловича (хранится в Музее Чехова в Москве); на сеансах, по настоянию Антона Павловича, присутствовал Бунин, вносивший оживление своими шутками и остротами. Чехов в это время волновался по поводу того, что не было утверждено избрание Горького в академики. Об этом пишет и В. Н. Муромцева-Бунина в своей книге [245]. Много говорили о болезни Толстого, которого навещал в Гаспре доктор С. Я. Елпатьевский, частый гость Чехова, все с тревогой следили за тем, как Лев Николаевич поправлялся.

Май Бунин прожил в Огневке, июнь — в Москве.

В. Н. Муромцева-Бунина пишет:

«В Москве, Петербурге, Одессе, даже в Крыму Иван Алексеевич часто бывал в ресторанах, много пил, вкусно ел, проводил зачастую бессонные ночи. В деревне он преображался… Разложив вещи по своим местам в угловой, очень приятной комнате, он несколько дней, самое большое неделю, предавался чтению — журналов, книг, Библии, Корана. А затем, незаметно для себя, начинал писать. За все время пребывания в деревне, как бы долго он там ни оставался, он жил трезвой, правильной жизнью… Он сразу облекался в просторную одежду, никаких крахмальных воротничков, даже в праздники, не надевал. Почти никуда не ездил, кроме того, что катался по окрестностям. Знакомства ни с кем из помещиков не заводил»[246].

Двадцать седьмого июня Бунин сообщил Горькому, что едет в Одессу «покупаться». В конспекте событий из своей жизни за 1902 год он записал: «Июль. Я под Одессой, на даче Гернета», — 13-я станция трамвая от Одессы на Большой Фонтан. 6 июля: «Моя беленькая каморка в мазанке под дачей. В окошечко видно небо, море, порою веет прохладный ветер; каменистый берег идет вниз прямо под окошечком, ветер качает на нем кустарник, море весь день шумит… С юга идут и идут, качаются волны».

Вера Николаевна пишет: «У него шел роман с Верой Климович, дочерью богатого дачевладельца»[247].

В этом году вышла книга Бунина «Новые стихотворения»,

изданная Карзинкиным. В октябре — декабре он снова жил в Москве. 5 ноября присутствовал в Художественном театре на первом представлении «Власти тьмы».

В ноябре — встречи с литераторами, как отметил в дневнике Брюсов: «Юргис Балтрушайтис был в понедельник у Андреева. Там были все великие: Скиталец, Горький, Шаляпин, Бунин etc… Видел их всех, кроме Горького, на первом представлении „Власти тьмы“»[248].

Восемнадцатого декабря 1902 года он присутствовал на премьере пьесы Горького «На дне» в Художественном театре и на ужине, устроенном по этому поводу в ресторане «Эрмитажа»[249].

Двадцать седьмого он дал интервью корреспонденту газеты «Новости дня», в котором говорил о Некрасове:

«Я очень люблю Некрасова и часто перечитываю его с большим удовольствием. Это большой и яркий талант: возьмите хотя бы некрасовский „Мороз, Красный нос“ — какое это ослепительное великолепие! Как хороши в нем картины русской природы, как пленительны образы русской женщины. Я положительно удивляюсь, как Толстой, этот великий художник, почти со сладострастьем изображающий картины пластического мира — вспомните, например, его описание царскосельских скачек, — не оценил поэтического дарования Некрасова. После Пушкина и Лермонтова Некрасов не пошел за ними, а создал свою собственную поэзию, свои ритмы, свои созвучия, свой тон — между тем как и Ал. Толстой, и Майков, и Полонский творили под влиянием Пушкина. По моему мнению, Некрасов далеко еще не отжил своего времени; и не скоро еще потеряет интерес, так как это был искренний и настоящий художник»[250].

Вера Николаевна, вспоминая о встречах Бунина с писателями, пишет: «Иван Алексеевич посещал вечера Рыбаковых (Любовь Ивановна Рыбакова — жена поэта Георгия Чулкова. — А. Б.), где собирались „декаденты“ и „декадентки“ с Бальмонтом во главе. Последние так облепляли его, что сидели у его ног, на ручках его кресел и чуть ли не у него на коленях… Молодая хозяйка, художница, воодушевляла всех своей легкостью, непосредственностью. Она красива, настоящая флорентийка, сложена как мальчик… На щеки спадают черные локоны, огромные глаза сверкают радостью»[251].

В конце декабря Бунин уехал вместе с С. А. Найденовым в Одессу.

Чехов писал жене 1 января 1903 года: «Бунин и Найденов теперь герои в Одессе. Их там на руках носят»[252]. Остановились они в гостинице «Крымская».

В. Н. Муромцева-Бунина рассказывает:

«…„Бунин и Бабурин“, как шутя прозвал Чехов Ивана Алексеевича и Найденова… время проводили по-одесски: ездили к Федоровым в „Отраду“, самую близкую дачную местность, где Федоровы на зиму снимали… большой дом в саду, который на зимние месяцы сдавался дешево… Комнаты высокие, просторные, что давало Федоровым возможность приглашать к себе на обеды приезжих писателей и художников. Такие обеды проходили оживленно и весело. Чествовали приезжих в Артистическом кружке сотрудники местных газет совместно с любителями литературы: „Дети Ванюшина“ уже гремели по всей России. Веселились они у Доди на „Четвергах“, а свободные вечера просиживали в пивной Брунса за кружкой пива с сосисками — хозяин был австриец. Туда же к 11 часам приходили художники, и все сидели до полуночи»[253].

К. И. Чуковский в эти дни поместил в «Одесских новостях»[254] статью о Бунине, в которой писал, что стихи его выражают «здоровье духа» в нынешние «путаные» времена.

Девятого апреля Бунин отправился в Турцию. «Он в первый раз целиком прочел Коран, который очаровал его, и ему хотелось непременно побывать в городе, завоеванном магометанами, полном исторических воспоминаний, сыгравшем такую роль в православной России, особенно в Московском царстве»[255].

Двенадцатого вечером Бунин писал брату Юлию из Константинополя:

«Выехал из Одессы 9 апреля, в 4 ч. дня, на пароходе „Нахимов“, идущем Македонским рейсом, то есть через Афон. В Одессу мы приехали с Федоровым 9-го же утром… на пароход меня никто не провожал. Приехал я туда за два часа до отхода и не нашел никого из пассажиров первого класса. Сидел долго один, и было на душе не то что скучно, но тихо, одиноко. Волнения никакого не ощущал, но что-то все-таки было новое… в первый раз куда-то плыву в неизвестные края… Часа в три приехал ксендз в сопровождении какого-то полячка, лет пятидесяти, кругленького буржуа-полячка, суетливого, чуть гоноровитого и т. д. Затем приехал большой плотный грек лет тридцати, красивый, европейски одетый, наконец, уже перед самым отходом, жена русского консула в Витолии (близ Салоник), худая, угловатая, лет тридцати пяти, корчащая из себя даму высшего света. Я с ней тотчас же завел разговор и не заметил, как вышли в море. „Нахимов“ — старый, низкий пароход, но зыби не было, и шли мы сперва очень мирно, верст по восемь в час. Капитан, огромный, добродушный зверь, кажется, албанец, откровенно сказал, что мы так и будем идти все время, чтобы не жечь даром уголь; зато не будем ночевать возле

Босфора, а будем идти все время, всю ночь. Поместились мы все, пассажиры, в верхних каютах, каждый в отдельной. За обедом завязался общий разговор, причем жена консула говорила с ксендзом то по-русски, то по-итальянски, то по-французски и все время кривляясь а-ля высший свет невыносимо. И все шло хорошо… медленно терялись из виду берега Одессы, лило вечерний свет солнце на немного меланхолическое море… Потом стемнело, зажгли лампы… Я выходил на рубку, смотрел на еле видный закат, на вечернюю звезду, но недолго: наверху было ветрено и продувало прохладой сильно. Часов в десять ксендз ушел с полячком спать, грек тоже, а я до двенадцати беседовал с дамой — о литературе, о политике, о том о сем… В двенадцать я лег спать, а утром солнечным, но свежим пошел на корму… поглядел на открытое море, на зеленоватые тяжелые волны, которые, раскатываясь все шире, уже порядочно покачивают пароход. Добрался до каюты. Затем заснул и проснулся в одиннадцать часов… Балансируя, пошел завтракать, съел кильку, выпил рюмку коньяку, съел паюсной икры немного — и снова поплелся в каюту; завтракали только капитан и полячок. Остальные лежали по каютам, и так продолжалось до самого входа в Босфор. Пустая кают-компания, утомительный скрип переборок, медленные раскачивания с дрожью и опусканиями — качка все время была боковая, — пустой полусон, пустынное море, скверная серая погода… Проснусь, — ежеминутно засыпал, спал в общем часов двадцать, — выберусь, продрогну, почувствую себя снова хуже — и опять в каюту, и опять сон, а временами отчаяние: как выдержать это еще почти сутки? Нет, думаю, в жизни никогда больше не поеду. К вечеру мне стало лучше, полное отсутствие аппетита, отвращение к табаку и тупая сонливость продолжалась все время. К тому же солнце село в тучи, качка усилилась — и чувство одиночества, пустынности и отдаленности от всех близких еще более возросло. Заснул часов в семь, снова выпил коньяку, — за обедом я съел только крохотный кусок барашка, — изредка просыпался, кутался в пальто и плед, ибо в окна сильно дуло холодом, и снова засыпал… В два часа встал и оделся, падая в разные стороны; в четыре часа, по словам капитана, мы должны были войти в Босфор. Выбрался из кают-компании к борту — ночь и качка — и только. Сонный лакей говорит, что до Босфора еще часа четыре ходу. Каково! В отчаянии опять в каюту и опять спать. Вышел часа в четыре — холодный рассвет, но ни признака земли, только вдали раскиданы рыбачьи фелюги под парусами… кругом серое холодное море, волны, а внизу — скрип, качка и холод… Снова заснул… Открыл глаза — взглянул в окно — и вздрогнул от

радости: налево, очень близко гористые берега. Качка стала стихать. Выпил чаю с коньяком — и в рубку. Сюда скоро пришли и остальные, за исключением дамы; солнце стало пригревать, и мы медленно стали входить в Босфор…

13 апреля (воскресенье) 1903 г.

Вход в Босфор показался мне диковатым, но красивым. Гористые пустынные берега, зеленоватые, сухого тона, довольно резких очертаний. Во всем что-то новое глазу. Кое-где почти у воды маленькие крепости, с минаретами. Затем пошли селения, дачи. Когда пароход, следуя изгибам пролива, раза два повернул, было похоже на то, что мы плывем по озерам. Похоже на Швейцарию… Подробно все расскажу при свидании, а пока буду краток. Босфор поразил меня красотой, Константинополь. Часов в десять мы стали на якорь, и я отправился с монахом и греком Герасимом в Андреевское Подворье. В таможне два турка долго вертели в руках мои книги, не хотели пропустить. Дал 20 к. — пропустили. В Подворье занял большую комнату. Полежав, отправился на Галатскую башню»[256].

Проводник Герасим «очень хорошо показал ему Константинополь, — пишет Вера Николаевна, — когда через четыре года я попала туда вместе с Иваном Алексеевичем, то была поражена его знанием этого сказочного города.

Кроме обычных мест, посещаемых туристами, Герасим водил его в частные дома, к гречанкам необыкновенной толщины, похожим на родственниц Цакни, любезно угощавшим его вареньем со студеной водой, где-нибудь на Золотом Роге.

Византия мало тронула в те дни Бунина, он не почувствовал ее, зато Ислам вошел глубоко в его душу…

Я считаю, что пребывание в Константинополе в течение месяца было одним из самых важных, благотворных и поэтических событий в его духовной жизни.

После женитьбы, после разрыва с женой, после беспорядочной жизни в столицах, Одессе и даже Ялте он, наконец, обрел душевный покой, мог, не отвлекаясь повседневными заботами, развлечениями, встречами, даже творческой работой, подумать о себе. Отдать себе отчет в том, как ему следует жить.

Он взял с собой книгу персидского поэта Саади „Тезкират“, он всегда, когда отправлялся на Восток, возил ее с собой. Он высоко ценил этого поэта, мудреца и путешественника, „усладительного из писателей“…

Бунину было в эту весну всего 32 года…»[257]

Путешествие длилось немногим более двух недель. Оно дало

материал для рассказа «Тень Птицы».

Бунин много путешествовал по Востоку. Он писал впоследствии: «Я тринадцать раз был в Константинополе…»

О поездке в Константинополь Бунин писал Найденову 3 июня 1903 года:

«Я чрезвычайно доволен, что попал туда, жалею только, что пробыл там очень мало времени, и даю себе слово непременно побывать в Турции еще раз. Что же касается деревни, то я смотрю на нее не как на место удовольствия, а как на „келью творчества“. Впрочем, я из этой кельи уже удрал раз: был, как вы знаете, в Москве и в Нижнем Новгороде.

В Звенигород к вам непременно приеду. Случится это, по моим расчетам, числа 20-го июня»[258].

Лето Бунин прожил в Огневке у Евгения и у Полушниковых в Глотов, в сентябре отправился в Москву (жил в меблированных комнатах в доме Густа — Хрущевский переулок, дом 5).

Он не пропускал собраний «Среды», был желанным гостем на вечерах у Телешова и не менее желанным у Чеховых.

Двадцатого сентября в Петербурге он присутствовал на двадцатипятилетием юбилее литературной деятельности Короленко. Были на юбилее также Куприн, Горький, Н. К. Михайловский.

Впоследствии Бунин рассказывал о своих встречах с Короленко корреспонденту газеты «Южная мысль»:

«Жил он в Петербурге возле греческой церкви в деревянном 2-х этажном доме с мезонином, доме глубоко провинциальном (к провинциальному В. Г., кажется, вообще питает большую склонность).

В длинные петербургские вечера я и забирался к В. Г., с которым мы долго и много беседовали на литературные темы.

Однажды, помню, мы целый вечер говорили о Толстом.

В. Г. говорил о Толстом с благоговением.

Слушая его, я упивался и тонким анализом учения Толстого, и образностью речи В. Г.

Помню, в этот вечер Короленко подарил мне свою книгу, на которой сделал надпись: „Вечер. Пески. Долгие разговоры“.

Затем с В. Г. я встречался в Москве.

Что я могу сказать о В. Г. Короленко?

Радуешься тому, что он живет и здравствует среди нас, как какой-то титан, которого не могут коснуться все те отрицательные явления, которыми так богаты наша нынешняя литература и жизнь»[259].

В октябре 1903 года Бунин приезжал в Нижний Новгород. 10–11 октября Горький сообщал оттуда: «На днях здесь будет Бунин,

обещал привезти свой рассказ»[260] — для сборников «Знание».

Пятнадцатого октября в Нижнем Новгороде Бунин выступал на литературно-музыкальном вечере с чтением своих произведений.

Пробыл он там примерно неделю, а затем вернулся в Москву.

Девятнадцатого октября 1903 года Академия наук присудила Бунину Пушкинскую премию за «Листопад» и «Гайавату»[261].

В Москве Бунин узнал от Ольги Леонардовны о новой пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад», рукопись которой она только что получила.

Двадцать третьего октября у О. Л. Книппер-Чеховой, где был и Найденов, «Бунин читал свой перевод „Манфреда“, а я, — писала она Антону Павловичу, — подчитывала остальные роли…»[262].

Литератор и художник, режиссер Художественного театра Л. А. Сулержицкий писал Чехову 25 ноября 1903 года:

«Видел у Ольги Леонардовны Бунина. Сидел мрачный и ругал Россию „Азией“. Он пришел с несостоявшегося собрания любителей русской словесности»[263].

В декабре 1903 года Бунин встретился с приехавшим в Москву Чеховым. Он вспоминал впоследствии:

«Ежедневно по вечерам я заходил к Чехову, оставался иногда у него до трех-четырех часов утра, то есть до возвращения Ольги Леонардовны домой… И эти бдения мне особенно дороги»[264].

Бунин старался развлечь Чехова, рассказывал о себе, — говорили и о брате Чехова Александре — образованном и, по словам Антона Павловича, необыкновенно талантливом человеке.

Чехов высоко ценил Бунина как писателя. Он писал А. В. Амфитеатрову 13 апреля 1904 года о рассказах Бунина «Сны» и «Золотое дно», напечатанных в сборниках «Знание»

1903 года под общим заглавием «Чернозем»: «Есть места просто на удивление»[265].

Перед своим отъездом за границу он говорил Н. Д. Телешову:

«А Бунину передайте, чтобы писал и писал. Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему это от меня. Не забудьте»[266].

Двадцать четвертого декабря 1903 года Бунин отправился с Найденовым путешествовать по Франции и Италии [267]. С ними ехала до Варшавы журналистка и романистка Макс-Ли; некоторые ее черты он воспроизвел в рассказе «Генрих».

Они побывали во Флоренции и Венеции, приезжали в Болье, где встретились с историком М. М. Ковалевским, 25 января (8 февраля) 1904 года были в Монте-Карло, встречались здесь с П. Д. Боборыкиным и доктором В. Г. Вальтером.

Прожив больше месяца за границей, Бунин и Найденов в

начале февраля возвратились в Москву.

Одиннадцатого февраля Бунин впервые после возвращения присутствовал на «Среде» у Телешова, где были Горький, Андреев, Вересаев, Белоусов, М. П. Чехова, приехал на эту «Среду» и Чехов. 15 февраля Антон Павлович вернулся в Ялту. После этого больше встречаться им не пришлось.

Двадцать седьмого февраля Бунин вместе с Марией Павловной смотрел в Художественном театре «Вишневый сад», но постановка ему не понравилась.

Лето 1904 года Бунин прожил в деревне — сперва в Огневке, откуда уезжал на Кавказ, потом у Пушешниковых в Глотове.

На Кавказе он побывал в июне; письмо Бунина Н. Д. Телешову, написанное в пути, — «качаясь на волнах Каспийского моря»[268], — имеет дату (на почтовом штемпеле): «Петровск. Дагестанская область, 14 июня 1904». М. П. Чеховой Бунин сообщал 5 июля 1904 года из Огневки, что «был в деревне, потом восемнадцать дней шатался по Кавказу, измучился от жары и поспешил снова в деревню»[269].

В Огневке он прочитал в газетах о кончине Чехова, последовавшей в ночь на 2 июля 1904 года в германском городе Баденвейлере.

«Смерть Чехова потрясла меня необыкновенно…»[270] — писал он А. М. Федорову. Чехов для Бунина был одним из наиболее замечательных русских писателей, человеком, жившим «небывало напряженной внутренней жизнью»[271].

Двадцать пятого — двадцать шестого июля Горький писал Бунину: «Очень прошу, напишите вы об Антоне Павловиче — право же, это необходимо, как противовес той пошлости, которой заслонили глаза и уши публики господа газетчики и надмогильные языкоблудья»[272].

В августе он начал работать над воспоминаниями о Чехове для «Сборника товарищества „Знание“ за 1904 год» (кн. 3. СПб., 1905).

В октябре Бунин закончил эту работу. В 1914 году дополнительно к этим воспоминаниям он опубликовал в «Русском слове» заметки «О Чехове. Из записной книжки»[273]. В эмиграции, в последние годы жизни, он писал книгу о Чехове, в которой выразил свое восхищение его замечательным талантом. Приняться за книгу о Чехове убеждал его С. В. Рахманинов [274].

Для Бунина Чехов большой поэт, а не «хмурый» писатель и певец «сумеречных настроений»[275], как о нем нередко писали. Бунин говорил, что «такого, как Чехов, писателя еще никогда не было! Поездка на Сахалин, книга о нем, работа во время голода и во время холеры, врачебная практика, постройка школ,

устройство таганрогской библиотеки, заботы о постановке памятника Петру в родном городе — и все это в течение семи лет при развивающейся смертельной болезни! А его упрекали в беспринципности!»[276]

С сентября 1904 года Бунин жил в Москве, в гостинице «Лоскутная». Он часто заходил к Чеховым, которые всегда были ему рады. Заглядывал он и в Художественный театр, где тоже многое было связано с Чеховым и напоминало о нем.

В середине ноября Бунин отправился в Одессу — очень хотелось повидать сына, из Одессы — в Глотово и после Нового года — в Огневку, навестить отца.

В январе 1905 года он получил письмо от родственницы А. Н. Цакни — Инны Ираклиди, о болезни сына Коли:

«Через полтора месяца после скарлатины Коля заболел корью. Как и скарлатина, корь была довольно легкая, но затем осложнилась воспалением сердца (эндокардит). Теперь его состояние тяжелое, о чем я считаю долгом вас известить. Его лечат доктора: Хмелевский, Крыжановский, Бурда и проф. Яновский. Все они находит Колино состояние не безнадежным, но две инфекционные болезни и затем такое осложнение не могут не быть угрожающими для четырехлетнего ребенка»[277].

Шестнадцатого января 1905 года сын Бунина скончался.

Об этом сообщила Бунину в Васильевское Элеонора Павловна в письме от 18 января [278]: «Вчера вернулась с похорон нашей радости, нашей птички, нашего ясного солнышка, нашей рыбки и хотела сейчас же писать вам, но не было сил держать перо в руках: посылаю вам все, что от моей детки осталось, цветочек, лежавший около его щечки.

Как мы будем жить без этой радости, которая была цветом нашей жизни, не знаю.

Все, что возможно было сделать, чтобы спасти его, — было сделано. Если бы была нужна моя жизнь, то я бы отдала ее, но, оказывается, что бесконечная любовь, культ обожания не нужны, я, старая, не нужная, должна была похоронить это дитя! Какое это было дитя, четыре года четыре месяца я его лелеяла и дед его тоже. Да разве только мы! Все обожали его. Одно осталось утешением нам, что ничто не омрачило его короткой жизни, все желания его угадывались заранее и все были исполнены, и эта любовь не испортила этого чудного создания, в нем билось теплое нежное сердечко; как только я начинала плакать, он сейчас грозил пальчиком и говорил: баба, не плачь, нельзя, и его личико омрачалось; конечно, баба смеялась и далеко прятала свое горе; а теперь что мы все будем делать!»

На телеграфный запрос Бунина о сыне Федоров отвечал 22

января: «Все, что можно было сделать для его спасения, было сделано — и доктора, и профессора, и все прочее. Тут несчастье, ужасное несчастье, в котором никто из близких не виноват. Это что-то роковое. Знаю, что тебе от этого не легче. Знаю, что ты должен страдать ужасно. Страдают и они. Говорят, Аня до такой степени потрясена, что на себя стала не похожа. Также и Элеонора Павловна и родные. Я боялся идти туда, во-первых, потому, что страшно в такие минуты быть лишним, страшно оскорбить своим присутствием, словами людей, горе которых выше всего условного, сколько бы искренности и сочувствия ни вносилось в это. Да и измучен я последними событиями ужасно»[279].

Речь идет о событиях 9 января и последовавших за этим волнениях. Бунин уехал в Москву.

«Иван Алексеевич не мог усидеть в Москве, кинулся в Петербург, — писала В. Н. Муромцева-Бунина, — Юлий Алексеевич, зная натуру брата, настаивал в свою очередь, чтобы тот поехал и узнал все на месте из первых рук… В Петербурге… он повидался с друзьями: с Куприным, Елпатьевскими, Ростовцевыми, Котляревскими, заглянул во все редакции, с которыми был связан, в „Знание“, отправился и на заседание „Вольноэкономического общества“, где произносились смелые речи.

Северная столица отвлекла его, но рана не заживала, да и зажила ли она когда-нибудь? В последние месяцы его жизни, когда он почти не вставал с постели, у него на пледе всегда лежал последний портрет живого сына… В чем-то Иван Алексеевич был скрытен. Жаловался на Цакни, что у них „двери на петлях не держались“ и скарлатину занес кто-нибудь из гостей» [280].

В марте Бунин возвратился из Петербурга в Москву. В начале апреля он уехал в Ялту; 7 или 8 апреля 1905 года Горький писал К. П. Пятницкому из Ялты: «Приехал сюда Бунин» [281].

Он бывал у Чеховых, встречался с Горьким. Писал Федорову 25 апреля 1905 года: «Вижусь с Горьким теперь каждый день, и проводим время очень приятно. Я за эти дни заразил его стихоманией, предварительно убив его „Сапсаном“» [282].

В мае Бунин приехал в деревню — жил сперва в Глотове, а потом в Огневке.

Вера Николаевна Муромцева-Бунина пишет: «Всех он нашел в большой тревоге: мать на холодной заре вымылась в сенцах и схватила, по-видимому, воспаление легких, температура высокая. Младший сын чуть с ума не сошел, — ведь со дня смерти маленькой сестры он был в вечном страхе за жизнь матери, — тут она жила в глуши, без хорошего врача, с ее астмой и ненадежным

сердцем… Решили пригласить земского елецкого врача Виганда, замечательного диагноста и целителя…

Стояла рабочая пора. Евгений Алексеевич лошади не дал. Пришлось за дорогую цену Ивану Алексеевичу нанять лошадь в деревне у Якова, мужика скупого и хозяйственного. „Выехали ранним утром, когда особенно хорошо в погожие июльские дни бывает только в средней полосе России, в подстепье. Ехать нужно было двадцать пять верст. Яков все время соскакивал с облучка телеги и шел рядом. Я не знал, что делать, боялся не застать Виганда дома…“ — вспоминал об этой поездке Иван Алексеевич незадолго до своей кончины…

К счастью, он застал доктора дома, и тот согласился приехать. К общей радости, Людмила Александровна, с помощью редкого врача и благодаря своему сильному организму, начала поправляться» [283].

В июле 1905 года Бунин поехал в Финляндию к Горькому. Вернувшись в Огневку, он 17 июля писал Федорову:

«Был в Москве, в Финляндии. Горький вызывал меня на совещание о новом журнале типа Симплициссиумуса. Выйдет ли это дело — не знаю, но совещание было любопытное. Было очень много художников, и между ними знаменитые финляндцы — Галлец, Эрнефельд, Саарин, а из русских — Серов, Билибин, Грабарь и т. д. Видел Елпатьевского, Скитальца, Андреева. Купришка удрал на Кавказ. Видел ли ты его, и какое он произвел на тебя впечатление? Говорят — бодр, весел и задумал драму.

Я строчил стихи. А ты? Пожалуйста, пришли что-нибудь почитать» [284].

Бунин печатал многие свои произведения в сборниках «Знания», в дешевой библиотеке «Знания». В новом журнале Горького «Жупел», о котором и шла речь в письме к Федорову, Бунин напечатал стихотворение «Ормузд». В 1905–1906 годах вышло три номера этого журнала, после чего он был закрыт.

На сентябрь Бунин уехал из деревни в Москву, а оттуда — в Крым, по приглашению М. П. Чеховой, которая писала Бунину 12 августа: «Приезжайте на осень в Ялту. Отдохнете хорошенько, не будете тормошиться, поживете спокойно и поправитесь здоровьем. Потом, хотя бы перед рождественскими праздниками и на праздники, если у вас будет охота, проедемтесь за границу, где потеплее, или уже оставим до весны» [285].

С конца сентября и до 18 октября 1905 года Бунин жил в ялтинском доме Чехова. 29 сентября он писал Н. А. Пушешникову из Ялты: «Пишу на балконе, утро, на солнце — жара невыносимая, светло, радостно. Вдали море — тихо, голубая

воздушная бездна»[286].

Позже Бунин вспоминал: «В 1905 году, с конца сентября и до 18 октября, я в последний раз гостил в опустевшем, бесконечно грустном ялтинском доме Чехова, жил с Марьей Павловной и „мамашей“, Евгенией Яковлевной. Дни стояли серенькие, сонные, жизнь наша шла ровно, однообразно — и очень нелегко для меня; все вокруг, — и в саду, и в доме, и в его кабинете, — было как при нем, а его уже не было! Но нелегко было и решиться уехать, прервать эту жизнь. Слишком жаль было оставлять в полном одиночестве этих двух женщин, несчастных сугубо в силу чеховской выдержки, душевной скрытности; часто я видел их слезы, но безмолвно, тотчас преодолеваемые; единственное, что они позволяли себе, были просьбы ко мне побыть с ними подольше: „Помните, как Антоша любил, когда вы бывали или гостили у нас!“ Да и мне самому было трудно покинуть этот уже ставший чуть ли не родным для меня дом, — а я уже чувствовал, что больше никогда не вернусь в него, — этот кабинет, где особенно все осталось, как было при нем: его письменный стол со множеством всяких безделушек, купленных им по пути с Сахалина, в Коломбо, безделушек милых, изящных, но всегда дививших меня, — я бы строки не мог написать среди них, — его узенькая, белая, опрятная, как у девушки, спальня, в которую всегда отворена была дверь из кабинета. А в кабинете, в нише с диваном (сзади кресла перед письменным столом), в которой он любил сидеть, когда что-нибудь читал, лежало „Воскресение“ Толстого, и я все вспоминал, как он ездил к Толстому, когда Толстой лежал больной в Крыму, на даче Паниной»[287].

В доме Чехова по телефону Бунин услыхал от С. П. Бонье, что в России революция. На следующий день он записал в дневнике:

«„Ксения“, 18 октября 1905 года.

Жил в Ялте, в Аутке, в чеховском опустевшем доме, теперь всегда тихом и грустном, гостил у Марьи Павловны. Дни все время стояли серенькие, осенние, жизнь наша с Марьей Павловной и мамашей (Евгенией Яковлевной) текла так ровно, однообразно, что это много способствовало тому неожиданному резкому впечатлению, которое поразило нас всех вчера перед вечером, вдруг зазвонил из кабинета Антона Павловича телефон, и, когда я вошел туда и взял трубку, Софья Павловна стала кричать мне в нее, что в России революция, всеобщая забастовка, остановились железные дороги, не действуют телеграф и почта, государь уже в Германии — Вильгельм прислал за ним броненосец. Тотчас пошел в город — какие-то жуткие сумерки и везде волнения, кучки народа, быстрые и таинственные разговоры — все говорят почти то же самое, что Софья Павловна. Вчера

стало известно, уже точно, что действительно в России всеобщая забастовка, поезда не ходят… Не получили ни газет, ни писем, почта и телеграф закрыты. Меня охватил просто ужас застрять в Ялте, быть ото всего отрезанным. Ходил на пристань — слава Богу, завтра идет пароход в Одессу, решил ехать туда.

Нынче от волнения проснулся в пять часов, в восемь уехал на пристань. Идет „Ксения“. На душе тяжесть, тревога. Погода серая, неприятная. Возле Ай-Тодора выглянуло солнце, озарило всю гряду гор от Ай-Петри до Байдарских Ворот. Цвет изумительный, серый с розово-сизым оттенком. После завтрака задремал, на душе стало легче и веселее. В Севастополе сейчас сбежал с парохода и побежал в город. Купил „Крымский вестник“, с жадностью стал просматривать возле памятника Нахимову» [288].

Одесса встретила Бунина беспорядками, еврейскими погромами. 19 сентября, в день приезда, он записал в дневнике:

«В тесноте, в толпе, в ожидании сходен узнаю от носильщиков… что на Дальницкой убили несколько человек евреев, — убили будто бы переодетые полицейские, за то, что евреи будто бы топтали царский портрет. Очень скверное чувство, но не придал особого значения этому слуху, может и ложному…

Приехал в Петербургскую гостиницу, увидел во дворе солдат… Поспешно напился кофию и вышел… Там и сям толпится народ. Очень волнуясь, пошел в редакцию „Южного обозрения“. Тесное помещение редакции набито евреями с грустными серьезными лицами… С Нилусом пошел к Куровским. Куровский (который служит в городской управе) говорит, что было собрание гласных думы вместе с публикой и единогласно решили поднять на думе красный флаг…

20 октября

…Возле дома городского музея, где живет Куровский, — он хранитель этого музея, — в конце Софиевской улицы поставили пулемет и весь день стучали из него вниз по скату, то отрывисто, то без перерыва. Страшно было выходить. Вечером ружейная пальба и стучащая работа пулеметов усилилась так, что казалось, что в городе настоящая битва. К ночи наступила гробовая тишина, пустота…

21 октября

Отвратительный номер „Ведомостей одесского градоначальства“…

22 октября

…По Троицкой только что прошла толпа с портретом царя и национальными флагами. Остановились на углу, „ура“, затем стали громить магазины. Вскоре приехали казаки — и проехали мимо, с улыбками»[289].

Числа 27 октября Бунин приехал в Москву. Он писал Н. А. Пушешникову 2 ноября 1905 года:

«Милый, родной, я вернулся с юга уже дней пять тому назад. Сперва жил в „Национальной“. Сегодня переехал к Гунст, № 12. Очень был удивлен, что вы все удрали, но потом подумал, подумал… черт его знает, может быть, и лучше. Идет такая каша (и идет всюду), что совершенно нельзя ручаться ни за что. Вот и относительно деревни: сегодня получили письмо от Маши, что она с детьми и с мамой (точно ли с мамой — не разберешь) уехала в Ефремов — частью от нестерпимого холода, частью же от страха перед мужиками. Квартиру Маша, вероятно, сняла г… — сырую, холодную, и поэтому мне приходит в голову поехать в Ефремов — устроить их. Но поеду ли — еще неизвестно. Вероятнее всего, что нет. Опять ехать, опять вагоны… Не хочется.

Здесь в Москве тоже было жутко несколько ночей. Приходила мысль о Глотове. Но и в Глотово я сейчас не поеду. Если будете в деревне — приеду в начале декабря, числа 1-го…

В Одессе я видел дьявольские вещи. Расскажу после»[290].

В Москве, по словам Веры Николаевны, Бунин пережил «вооруженное восстание», как тогда называли декабрьские дни в Москве, когда Москва покрывалась баррикадами… когда грохотали пушки и стучали пулеметы, когда зарево озаряло Пресненский район…

Иван Алексеевич заходил иногда к Горькому, который… занимал квартиру на Воздвиженке. Квартира была забаррикадирована…

Иван Алексеевич купил тогда, — это делали почти все мужчины, — револьвер «на всякий случай»… [291].

Уехал он из Москвы 21 декабря — в Глотово.

Мария Павловна Чехова писала 14 января 1906 года:

«Милый Букишончик, я уже давно в Москве. Приехали в самый разгар революции — 9 декабря ночью, едва переехали Тверскую под выстрелами, потом были в засаде больше недели. Я не знала, что вы уехали 21 декабря, а то я все-таки дала бы вам знать.

Двадцать пятого сего месяца уезжаю в Берлин с Ольгой Леонардовной, позднее приедет вся труппа. Было бы весьма недурно, если бы вы приехали в Берлин, и оттуда мы поехали бы ненадолго в Италию, только в Италию. Правда, вы согласитесь? Я буду вас ждать. А то валяйте сейчас в Москву, сговоримся. Сколько мне вам нужно рассказать! Вы меня не узнаете теперь!..

И чего вы сидите в деревне? В Москве совершенно тихо.

Целую вас и жду ответа» [292].

В конце января 1906 года — не позднее 25-го — Бунин

приехал в Москву, примерно на месяц. Был и в Петербурге.

7 апреля писал Марии Павловне — одновременно в Ялту и в Москву.

Письмо в Ялту: «Весна, вы, Париж — это все дьявольски заманчиво, но я почти до сентября буду беден — и посему с болью ставлю крест на поездке на теплые воды. Ограничусь пока Одессой, куда думаю направиться числа 20-го апреля. Если бы знал наверняка, что вы еще будете в этих числах в Ялте, — проехал бы, может быть, через Крым, — Бог свидетель, с наслаждением поцеловал бы ваши ручки, и наговорились бы до упаду…» [293]

Письмо в Москву: «…пишу, чтобы сказать вам, что я очень вас люблю, очень был бы рад получить от вас, наконец, весточку, и очень сокрушаюсь, что, по причине бедности, не могу отправиться с вами вояжировать, а еду всего-навсего в Одессу…» [294].

С конца апреля и до 12 мая Бунин жил в Одессе, затем через Москву отправился в Глотово: уехать в Крым, как рассчитывал, невозможно было из-за забастовки. Об этом он говорит в письме к Марии Павловне от 13 мая 1906 года из Киева:

«Дорогой друг, я чуть не плачу от досады! Черт меня дернул остаться в Одессе до пятницы! Еду в пятницу на пароход и узнаю, что сообщение с Крымом кончено — забастовали. А кто знает, когда кончится забастовка? Дождешься еще и железнодорожной забастовки! А старики в деревне умоляют приехать. И вот я на пути в Москву» [295].

19 мая он ей писал:

«Дорогой друг, так хотелось вас видеть, что чуть не уехал из Москвы в Крым. Но — время тревожное, пароходы не ходят, в Севастополе, по газетам судя, что-то затевается… И вот еду в деревню. Чудесная, чисто русская, прохладная, с соловьями, лягушками и свежестью ночь, стоим на станции Ока. Думаю побыть в деревне с месяц, а затем… вероятно, в Крым»[296].

Мария Павловна ответила 28 мая: «Приезжайте скорее, не бойтесь революции, все равно от нее никуда не уйдешь»[297].

И действительно, отправившись в деревню, Бунин «не ушел» от революции. Он был свидетелем крестьянских волнений в Орловской и Тульской губерниях. Он сообщал М. П. Чеховой 7 июня 1906 года:

«…Был в именье сестры (Васильевском. — А. Б.), а потом случился у нас пожар — сожгли-таки! Пока дело ограничилось погоревшими лошадьми, свиньями, птицей, сараем, людскими избами и скотным двором, но, вероятно, запалят еще разок, ибо волнуются у нас мужики сильно и серьезно, в один голос говорят, что ни единому человеку из помещиков не дадут убрать ни клока

хлеба. Приходится, значит, решать, как быть, куда удирать всей семьей — с детьми и стариками… Говорят, например, что 10-го снимут от помещиков всех служащих — тогда поневоле удерешь скорым маршем…»[298]

То же было и в Огневке, у Е. А. Бунина. Ю. А. Бунин писал своей близкой знакомой Елизавете Евграфовне 14 июня 1906 года:

«Еще до моего приезда у брата произошел пожар. Сгорели две кухни, скотный двор, три лошади (самые лучшие и дорогие), свиньи, птица и проч…Крестьяне нашей деревни составили приговор и объявили его брату. В приговоре сказано, что отныне у брата никто не может жить в работниках, кроме крестьян нашей деревни, а потому все посторонние должны быть немедленно удалены, — иначе их снимут силой. Затем устанавливаются новые цены… (за работу. — А. Б.) Мать, Маша да и все были крайне перепуганы, и волей-неволей пришлось немедленно уезжать в Ефремов, чтобы снять там квартиру. Брат поехал сделать заявление исправнику и у него встретил целую массу помещиков с совершенно такими же заявлениями. Исправник сказал им, что положение создается очень затруднительное, так как войск мало… Здесь снимаем квартиру для всей семьи. Веши, кроме самых необходимых, увезти не успели… В деревне осталась Настя (жена Е. А. Бунина. — А. Б.) и отец, но и их ждем сюда завтра-послезавтра; Ваня, мать, Маша и дети здесь. Евгений поехал к становому и пока еще не возвращался… Волнения как в нашем, так и в соседских уездах разрастаются»[299].

Об этом же И. А. Бунин 3 июля 1906 года сообщал М. П. Чеховой:

«…Было много хлопот и неприятностей: мужики еще наскандалили — и так, что пришлось перебираться в город, хлопотать о квартире, сидеть там — и все это среди неимоверной жары. Теперь я на время приехал к сестре, где пока еще тихо»[300].

В письмах к И. А. и Ю. А. Буниным (без дат) Мария Алексеевна тоже сообщает о пожаре в имении брата.

В одном из писем она говорит: «Ведь вы знаете, как мужики ненавидят Евгения». В другом письме она рассказывает: Евгений Алексеевич «должен судиться с мужиком, который перед праздником пробил ему голову камнем. Это его удружил свой работник; они поссорились с ним за полевую работу, ну тот и подкараулил Евгения». Рана, по ее словам, легкая. «Да если б не собаки, — продолжает она, — то, пожалуй, работник убил бы Евгения: они схватились в сенях (уж после того, когда работник пустил в голову камнем). Евгений схватил его и держит, а он в карман лезет за ножом, а собаки, целая стая, рвут его за ноги.

Евгений говорит, кабы не они, он бы убил его»[301].

Евгений Алексеевич сдал все имение крестьянам в аренду, а потом продал его и усадьбу и переселился в Ефремов, где купил себе дом (Тургеневская улица, дом 47). Здесь прожил до конца своей жизни.

Мария Алексеевна с мужем и матерью переехала в город Грязи Воронежской губернии. Юлий Алексеевич 16 августа вернулся в Москву. Иван Алексеевич в первых числах сентября отправился в Петербург, задержавшись по пути ненадолго в Москве. Ю. А. Бунин писал Елизавете Евграфовне 17 сентября 1906 года: «Ваня сейчас в Петербурге, где издается второй том его стихов»[302].

В октябре Иван Алексеевич возвратился в Москву, откуда снова уехал в Петербург; жил там, по словам В. Н. Муромцевой, «безобразно» — «проводил бессонные ночи, перекочевывал из гостей в рестораны»[303].

В Москве остановился в номерах Гунст. Тогда он и встретился с Верой Николаевной Муромцевой, дочерью Николая Андреевича Муромцева, члена Московской городской управы, и племянницей Сергея Андреевича Муромцева, председателя Государственной думы.

«Четвертого ноября 1906 г., — вспоминает Вера Николаевна, — я познакомилась по-настоящему с Иваном Алексеевичем Буниным в доме молодого писателя Бориса Константиновича Зайцева, с женой которого, Верой Алексеевной, я дружила уже лет одиннадцать, как и со всей ее семьей. У Зайцевых был литературный вечер с „настоящими писателями: Вересаевым и Буниным“, как сказала мне Вера Алексеевна, приглашая меня»[304].

Бунину было тридцать шесть лет. Говорили, продолжает Вера Николаевна, что «до женитьбы Иван Алексеевич считался очень скромным человеком, а после разрыва с женой у него было много романов, но с кем — я не знала: имен не называли»[305].

Вера Николаевна родилась 1 октября 1881 года. Это была женщина умная, с самостоятельными взглядами на литературу, на жизнь.

Вера Николаевна окончила естественный факультет Высших женских курсов в Москве, была широко образованным человеком: знала французский, английский, итальянский языки; переводила рассказы Мопассана, Флобера («Воспитание чувств», изд. «Шиповник». СПб., 1915; перевод драмы «Искушение святого Антония» не был ею закончен; эту ее рукопись правил Бунин)[306].

Уже после смерти Бунина, в своих, оставшихся

неоконченными, воспоминаниях «Беседы с памятью» Вера Николаевна подробно рассказала о их знакомстве и встречах. В ноябре, вспоминает она, «мы уже начали с Иваном Алексеевичем видаться ежедневно: то вместе завтракали, то ходили по выставкам, где удивляло меня, что он издали называл художника, бывали и на концертах, иногда я забегала к нему днем прямо из лаборатории, оставив реторту на несколько часов под вытяжным шкапом. Ему нравилось, что мои пальцы обожжены кислотами»[307].

В декабре умер отец Бунина, и он тяжело переживал это.

Через некоторое время Бунин уехал в Васильевское. С пути, из Ельца, он прислал Вере Николаевне письмо, «это был целый рассказ о купцах, пивших чай и закусывавших его навагой, которую они держали за хвост. Из Васильевского он писал часто, присылал только что написанные стихи: „Дядька“, „Геймдаль“, „Змея“, „Тезей“, „С обезьянкой“, „Пугало“, „Слепой“, „Наследство“; прислал раз одну строку нот романса…

Из деревни Иван Алексеевич ездил на одни сутки в Воронеж. Его пригласили участвовать на вечере в пользу воронежского землячества. У него была близкая знакомая, дочь тамошнего городского головы Клочкова, и, вероятно, она и устроила, что Бунин согласился приехать в город, где он родился, и участвовать в вечере…

Этот вечер, вернее, вся его обстановка дана в его рассказе „Натали“.

В конце января, как это было условлено, он приехал в Москву…

В феврале Иван Алексеевич опять поехал в Петербург…

Я решила его называть Яном: во-первых, потому что ни одна женщина его так не называла, а во-вторых, он очень гордился, что его род происходит от литовца, приехавшего в Россию, ему это наименование нравилось.

Вернувшись из Петербурга, он рассказал, что при нем, когда он сидел в гостях у Куприна, который угощал его вином, Марья Карловна вернулась с Батюшковым с пьесы Андреева „Жизнь человека“. Она похвалила пьесу, Александр Иванович схватил спичечную коробку и поджег ее платье из легкой материи. Слава Богу, удалось затушить»[308].

Бунин сказал Вере Николаевне: «Нужно заняться переводами, тогда будет приятно вместе жить и путешествовать, — у каждого свое дело, и нам не будет скучно, не будем мешать друг другу…»[309]

С конца 1906 года Бунин и Вера Николаевна встречались почти ежедневно. Брак с первой женой не был расторгнут, и

повенчаться они не могли (венчались они в 1922 году в Париже [310]).

В письме к своему брату Дмитрию Николаевичу Муромцеву 22 января 1935 года Вера Николаевна говорит о Бунине (она называла его всегда Яном): «Для Яна нет ближе человека, чем я, и ни один человек меня ему никогда не заменит. Это он говорит всегда и мне, и нашим друзьям без меня. Кроме того, то нетленное в наших чувствах, что и есть самое важное, остается при нас. В моей же любви никто не сомневается… Ведь главная тяжесть у меня потому, что он приносит самому себе вред своим… характером и тем, что он не считается ни с кем. Пожалуй, больше всего он считается все-таки со мной. Умирая, его мать послала мне через Софью Николаевну (Пушешникову. — А. Б.) завещание и просьбу: „Никогда не покидать его“. И он это знает и очень держится за это. Если бы я ушла, это, как он говорит, была бы катастрофа, тогда как разлука с другими „только неприятность“»[311].

Г. В. Адамович, много лет хорошо знавший Буниных во Франции, писал, что Иван Алексеевич нашел в Вере Николаевне «друга не только любящего, но и всем существом своим преданного, готового собой пожертвовать, во всем уступить, оставшись при этом живым человеком, не превратившись в безгласную тень. Теперь еще не время вспоминать в печати то, что Бунин о своей жене говорил. Могу все же засвидетельствовать, что за ее бесконечную верность он был ей бесконечно благодарен и ценил ее свыше всякой меры. Покойный Иван Алексеевич в повседневном общении не был человеком легким и сам это, конечно, сознавал. Но тем глубже он чувствовал все, чем жене своей обязан. Думаю, что, если бы в его присутствии кто-нибудь Веру Николаевну задел или обидел, он, при великой своей страстности, этого человека убил бы — не только как своего врага, но и как клеветника, как нравственного урода, неспособного отличить добро от зла, свет от тьмы… То, о чем я сейчас говорю, должно бы войти во все рассказы о жизни Бунина»[312]. Он говорил жене, что «без нее пропал бы».

Во второй половине февраля он отправился в Васильевское, в марте — в Москву, а затем в Петербург.

Десятого апреля 1907 года Бунин и Вера Николаевна выехали из Москвы — отправились за границу. Деньги на эту поездку — «семь тысяч золотых рублей», по свидетельству Л. Ф. Зурова, — дал Бунину Н. Д. Телешов. С этой поездки началась их совместная жизнь [313], скитальческая, с бесконечными переездами с места на место. Они прожили вместе сорок шесть с половиной лет. Скончалась Вера Николаевна 3 апреля 1961 года, на семь с

половиной лет пережив Бунина.

В 1907 году вместе с Верой Николаевной Бунин совершил свое четвертое заграничное путешествие — во Святую землю. Древние страны Востока — Египет, Сирию, Палестину, а не Италию или Испанию, как советовали Бунину одесские друзья, — выбрала для поездки и настояла на своем предложении Вера Николаевна.

Галина Николаевна Кузнецова пишет о своей беседе с Буниным в ноябре 1932 года: «Как странно, что, путешествуя, вы выбрали все места дикие, окраины мира, — сказала я.

— Да, вот дикие! Заметь, что меня влекли все Некрополи, кладбища мира! Это надо заметить и распутать!»[314]

Это путешествие дало материал для целого цикла рассказов о Востоке, позже объединенных в сборник «Тень Птицы» (Париж, 1931).

Путь из Москвы лежал через Киев, — где осматривали древний Софийский собор, — и, конечно, через Одессу, откуда начинались и где заканчивались все их путешествия.

Двенадцатого апреля приехали в Одессу, на вокзале их встретил Нилус. Виделись с Куровским, с друзьями на «четвергах», ездили к Федорову на дачу «Отрада». Глядя на море, Бунин говорил: «Боже, как хорошо! И никогда-то, никогда, даже в самые счастливые минуты, не можем мы, несчастные писаки, бескорыстно наслаждаться! Вечно нужно запоминать то или другое, чувствовать, что надо извлечь из него какую-то пользу».

На пароходе «Ян вынимает несколько книг, между ними Саади. Он рассказывает мне об этом „усладительнейшем из писателей и лучшем из последующих, шейхе Саади Ширазском“. Жизнь его восхищает Яна». Готовясь к поездке, Бунин изучал Библию и Коран, читал книги: профессора А. Олесницкого «Святая земля» (Киев, том I, 1875; том II, 1878), книгу К. Тишендорфа «Terre-Sainte par Constantin Tischendorf», Paris, 1808 (ее переводила Вера Николаевна), книгу «History of Baalbek by Michel M. Alouf» (1905) и какую-то книгу французского ученого Масперо, — возможно, это была «Древняя история народов Востока».

Пятнадцатого апреля прибыли в Константинополь. Вера Николаевна вспоминает:

«Пошли турецкие сады с темными кипарисами, белые минареты, облезлые черепицы крыш… Ян называет мне дворцы, мимо которых мы проходим, сады, посольство, кладбище… Он знает Константинополь не хуже Москвы».

Остановились на Афонском подворье.

«Мы долго бродим вокруг мечетей по темным уличкам, мимо

деревянных домов с выступами и решетчатыми окнами… Потом попадаем на ухабистую площадь с тремя памятниками: это знаменитый Византийский ипподром. Белеет сквозь сумрак султанская мечеть Ахмедиэ со своими минаретами. Вокруг ветхость и запустение, что необыкновенно идет к Стамбулу»[315]. В Константинополе пробыли два дня.

Затем отправились Мраморным морем к берегам Греции. 17 апреля 1907 года Вера Николаевна писала Д. Н. Муромцеву в Москву:

«Дорогой Митя, через полчаса снимаемся. Идем в Афины. Ты не можешь себе представить, как хорош Константинополь»[316].

Бунин сообщал своему племяннику Д. А. Пушешникову: «17 апреля, 9 часов вечера. Сейчас прошли Дарданеллы. Уже темно, видели только разноцветные огни на берегах. Весь день прохладно, приятно и штиль. Пока путешествие дивное»[317].

Бунин, вспоминает Вера Николаевна, «говорил об „алтарях“ солнца, то, что он потом развил в своей книге „Храм Солнца“, высказывал пожелание уехать на несколько лет из России, совершить кругосветное путешествие, побывать в Африке, южной Америке, на островах Таити…

— Я на все махнул бы рукой и уехал, если бы не мать. Ведь у нее — одна радость — мы, дети. Она всю жизнь отдавала нам, я такой самоотверженной женщины никогда не встречал. И вечно всех она жалеет, всех оплакивает».

Восемнадцатого апреля Бунин и Вера Николаевна были в Афинах. Пароход остановился в Пирее, а оттуда поехали в Афины поездом. Осмотрели Акрополь, развалины Парфенона и тем же пароходом отправились дальше, к берегам Африки.

Двадцатого апреля 1907 года остановились в Александрии. В этот день Бунин писал из Александрии М. П. Чеховой: «Кланяюсь вам, дорогой друг, из Африки!»[318]

На третий день после того, как высадились в Александрии, они снова были в пути, направлялись через Порт-Саид в Яффу — в Иудею.

Двадцать второго апреля они сошли с парохода в Яффе.

Из Яффы поездом прибыли в Иерусалим, откуда наведались в Хеврон и небольшой городишко Вифлеем.

Вера Николаевна пишет: «Бунин вынул записную книжечку и что-то записал в ней.

— Ты много записываешь? — спросила я.

— Нет, очень мало. В ранней молодости пробовал, старался, по совету Гоголя, все запомнить, записать, но ничего не выходило. У меня аппарат быстрый, что запомню, то крепко, а если сразу не войдет в меня, то, значит, душа моя этого не

принимает и не примет, что бы я ни делал».

Бунин вел краткий дневник своего путешествия, которым он воспользовался в работе над рассказами «Тень Птицы» и для стихов. 23 апреля 1907 года он записал: «На пути из Хеврона, в темноте, вдали огни Иерусалима. Часовня Рахили при дороге. Внутри висят фонарь, лампа и люстра с лампадками… Большая гробница, беленная мелом…» Об этом — стихи Бунина «Гробница Рахили».

Из Иерусалима через Яффу, морем, отправились на север: в Ливан и Сирию, в города Бейрут, Баальбек, Дамаск.

Четвертого мая Бунин сообщал Телешову:

«Дорогой друг, совершаем отличное путешествие. Были в Царьграде, в Афинах, Александрии, Яффе, Иерусалиме, Иерихоне, Хевроне, у Мертвого моря! Теперь пишу тебе из Сирии, — из Бейрута. Завтра — в Дамаск, потом в Назарет, Тивериаду, Порт-Саид, Каир и, посмотревши пирамиды, — домой, снова через Афины»[319].

5/18 мая он писал М. П. Чеховой из Баальбека: «Поклон из Сирии, с пути в Дамаск, из Баальбека, от руин Храма Солнца!»[320]

Бунин писал (по-видимому, Н. А. Пушешникову) 6/19 мая:

«Мы в Сирии, в Баальбеке, где находятся „циклопически грандиозные руины Храма Солнца“ — древнеримского. Были, как ты уже знаешь, в Иерусалиме, Хевроне, Иерихоне, у Мертвого моря, в Бейруте и из Бейрута едем по железной дороге в Дамаск. По пути свернули в Баальбек. Впечатления от дороги среди гор Ливана и Анти-Ливана, а также в Баальбеке не поддаются, как говорится, никакому описанию. Из Дамаска поедем в Тивериаду, „на места юности Христа“, откуда — в Кайфу возле Яффы, а из Кайфы в Египет, к пирамидам. От пирамид через Афины — домой»[321].

Бунин прочел Вере Николаевне стихи, «которые он написал по дороге из Дамаска о Баальбеке, и сонет „Гермон“, написанный уже здесь (в Табхе. — А. Б.). Я, — пишет она, — выразила радость, что он пишет, что он так хорошо передает эту страну, но он торопливо перебил меня:

— Это написано случайно, а вообще еще неизвестно, буду ли я писать…

И перевел разговор на другое. Я тогда не обратила на это его замечание никакого внимания, но оно оказалось очень характерным для него». Бунин писал в дневнике:

6 мая 1907 года: «В час дня от станции Raijak. Подъем». Далее — долиной, кругом горы. Станция Aiu Fijeh. «Поразительная гора над нею. Сады…

Тронулись. Теперь кругом горы даже страшные. Шумит

зелено-мутная река. Мы едем — а она быстро бежит за нами.

Пошли сады, говорят — сейчас Дамаск.

Четыре часа. Дамаск.

Огромная долина среди гор, море садов и в них — весь желто (нрзб. одно сл.) город, бедный, пыльный, перерезанный серой, быстро бегущей мутно-зеленоватой Барадой, скрывающейся возле вокзала под землю. Остановились в Hotel Orient. После чая на извозчике за город. Удивительный вид на Дамаск. Я довольно высоко поднимался на один из холмов, видел низкое солнце и Гермон, а на юге, по пути к Иерусалиму, три сопки (две рядом, третья — дальше) синих, синих. Возвращались вдоль реки — ее шум, свежесть, сады.

7 мая, 9 ч. утра. На минарете. Вся грандиозная долина и желто-кремовый город под нами. Вдали Гермон в снегу (на юго-западе). И опять стрижи — кружат, сверлят воздух. Город даже как бы светит этой мягкой глинистой желтизной, весь в плоских крышах, почти весь слитный. Безобразные длинные серые крыши галерей базара.

Потом ходили по этому базару. Дивный фон. Встретили похороны. Шор записал мотив погребальной песни, с которой шли за гробом…

В три часа поехали за город. Пустыни, глиняное кладбище.

Большая мечеть — смесь прекрасного и безобразного, нового. Лучше всего, как всюду, дворы мечети. Зашли в гости к гиду.

Вечером на крыше отеля. Фиолетовое на Гермоне. Синева неба на востоке, мягкая, нежная. Лунная ночь там же. Полумесяц над самой головой».

8 мая: «Выехали в шесть. Путь поразительно скучный — голые горы и бесконечная глинистая долина, камень на камне. Ни кустика, ни травки, ни единого признака жизни.

9 ч. 30. Пустыня, усеянная темно-серыми камнями». 6 стихах писал:

> По жестким склонам каменные плиты
> Стоят раскрытой Книгой Бытия.

(«Долина Иосафата»)

В двух строчках ощущение древности края передано изумительно.

«Десять часов. Строящаяся станция. Пока это только несколько белых шатров. Очень дико. Три солдата-араба в синем, два бедуина, зверски-черных, в полосатых (белое и коричневое) накидках, в синих бешметах, в белых покрывалах, на голове схваченных черными жгутами, босые. Потом опять глинистая

пашня, усыпанная камнями. Порой тощий посев. Пашут на волах. И все время вдали серебро с чернью — цепь гор в снегу с Гермоном над ними. Нигде ни капли воды.

Два часа. Туннель. Потом все время спуск в ущелье, среди серо-желто-зеленоватых гор и меловых обрывов, вдоль какой-то вьющейся речки, по берегам которой розовые цветы дикого олеандра (д***а***фля по-арабски) и еще какие-то дикие, голубые. Поезд несется шибко. Жарко, весело, речка то и дело загорается серебром.

Шесть часов, Самак. Пустынно, дико, голо, просто. Нашли лодку с четырьмя гребцами (за десять франков). Пройдя по совершенно дикарской и кажущейся необитаемой глиняной деревушке, вышли к озеру. Скромный, маленький исток Иордана. Озеро бутылочного цвета, кругом меланхолические, коричневые в желтых пятнах горы. Шли сперва на веслах, потом подняли парус. Стало страшно — ветер в сумерках стал так силен, что каждую минуту нас могло перевернуть.

В Тивериаде отель Гросмана, оказалось, весь занят. Пошли ночевать в латинский монастырь. После ужина — на террасе. Лунно, полумесяц над головой, внизу в тончайшей дымке озеро. Ночью в келье-номере было жарко. Где-то кричал козленок.

9 мая. Утром на лодке в Капернаум. Когда подходили к нему (в десятом часу), стало штилеть, желто-серо-зеленые прибрежные холмы начали отражаться в зеркалах под ними зеленоватым золотом. Вода под лодкой зеленая, в ней от весел извиваются зеленые толстые змеи с серебряными поблескивающими брюхами.

Капернаум. Жарко, сухо, очаровательно. У берега олеандры. Развалины синагоги. Раскопки. Монах-итальянец.

Из Капернаума в Табху, на лодке же. Из гребцов один молодой красавец, другой похож на Петра Ал[ександровича] (Нилуса. — А. Б.) в валяной ермолке. Тишина, солнце, пустынно. Холмы между Капернаумом и Табхой сожженные, желтоватые, кое-где уже созревший ячмень. Возле Табхи что-то вроде водяной мельницы, домишко в ячмене, на самом берегу эвкалипты и два кипариса, молодых, совсем черных. Озеро млеет, тонет в сияющем свете.

В странноприимном немецком доме. Полный штиль. У берегов на востоке четкая, смело и изящно-сильно пущенная полоса, ярко-зеленая, сквозящая. Ближе — водные зеркала, от отраженных гор фиолетово-коричневые. Несказанная красота!..

Три часа, сильный теплый западный ветер, зеленое озеро, мягко клонятся в саду мимозы в цвету, пальмочка.

На террасу вышел работник в черной накидке на голове и

черных жгутах по ней (на макушке), в одной синей рубахе, которую завернул ветер на голых ногах почти до пояса.

Сейчас около шести вечера, сидим на крыше. Ветер стал прохладней, ласковей. Воркуют голуби. Все кругом пустынно, задумчиво, озеро бутылочное, в ряби, которую, сгущая, натемняя, ветер гонит к холмам восточного побережья, из-за которых встало округлыми купами и отсвечивает в озере кремовое облако… Возле нас на жестких буграх пасутся козы, какой-то табор, совсем дикий, проехал на великолепной белой кобылице бедуин.

10 мая. Утром в шесть часов купался. Бродяга с обезьяной. Приехал Шор. В девять выехали из Табхи. Издали видел Магдалу. Дорога из Магдалы в Тивериаду идет вдоль берега. По ней часто ходил Христос в Назарет. Черные козы.

В Тивериаде очень жарко.

После завтрака выехали в Назарет. Гер Антон, милый Ибрагим. Подъем, с которого видно все озеро и Тивериада. На восток синева туч слилась с синевой гор, и в ней едва видными серебряными ручьями означается Гермон. Перевал и снова подъем. Фавор слева, круглый, весь покрытый лесом. Длинная долина, посевы.

Кана. Кактусы, фанаты в цвету, фиговые деревья, женщины в кубовых платьях. Кана в котловине и вся в садах. Подъем, снова долина, снова подъем, огромный вид на долину назад. Потом котловина Назарета. Отель Германия.

Мальчик проводник в колпачке на макушке. Церковь и дом Богородицы. Потом лунная ночь».

Двое суток Бунин и Вера Николаевна провели на Тивериадском озере и через порт Кайфа пустились в обратный путь — в Египет, чтобы посмотреть Каир, Нил, пирамиды.

Бунин пишет в дневнике об отъезде из Назарета:

«11 мая. Утром из Назарета. Необъятная долина и горы Самарии. Потом подъем, ехали дубовым лесом. Снова долина и вдалеке уже полоса моря.

Удивительный цвет залива в Кайфе сквозь пальмы. В четыре на Кармель. Вид с крыши монастыря Ильи, виден Гермон. Лунный вечер, — это уже возвратясь в Кайфу, — ходил за вином».

Иван Алексеевич говорил Вере Николаевне, что он через вина «познает душу страны». В дальнейших его записях говорится: «12 мая. Рано утром на пароходе. Жарко, тяжелое солнце. До Порт-Саида сто франков. В три часа снова Яффа. Опять Хаим и кривой. Закат во время обеда.

13 мая. Порт-Саид. Купил костюм. В час из Порт-Саида, в экспрессе на Александрию. Озеро Мензалех. Вдали все розовое, плоский розовый мираж. В шестом часу Каир — пыльно-песчаный, каменистый, у подножия пустынного кряжа Мокатама.

Вечером на мосту. Сухой огненный закат, пальма, на мосту огни зеленоватые, по мосту течет река экипажей.

Ночью почти не спал. Жажда, жара, москиты. В час ночи ходил пить в бар. Проснулся в пять. К пирамидам. Туман над Нилом. Аллея к пирамидам — они вдали, как риги, цвета старой соломы. Блохи в могильниках за пирамидами. На возвратном пути Зоологический.

Вечером в цитадели. Новая, но прелестная мечеть. Вид на Каир, мутный и пыльный, ничтожный закат за великой Пирамидой».

В Каире, в зоопарке, «довольно долго стоим, — пишет Вера Николаевна, — около террариума с маленькими очень ядовитыми африканскими змейками. Лицо Яна искажается, — у него мистический ужас перед змеями, но его всегда к ним тянет, и он долго не может оторваться от них, следя с какой-то мукой в глазах за их извилистыми движениями».

Из Каира в Александрию выехали 15 мая утром.

«16 мая, — пишет Бунин, — утром, в Средиземном море.

Опять эта поразительная сине-лиловая, густая, как масло, вода, страшно яркая у бортов… Четыре часа. Слева волнистые линии Крита, в дымке. У подножия — светлый туман».

На обратном пути, в море, Бунин говорил: «Всякое путешествие очень меняет человека».

О паломниках, плывших тем же пароходом: «А как они равнодушны к морю… Я многих расспрашивал, говорят все одно

и то же: когда плыли туда, дюже качало, намучились, а теперь хорошо, как на реке».

Потом говорил:

«Как нужно все видеть самому, чтобы правильно все представить себе, а уж если читать, то никак не поэтов, которые все искажают. Редко кто умеет передать душу страны, дать правильное представление о ней. Вот за что я люблю и ценю, например, Лоти. Он это умеет и всегда все делает по-своему. Я удивлен, как он верно передал, например, пустыню, Иерусалим»[322].

Бунин в пути «то читал Саади и все восхищался им, то спускался к паломникам, с некоторыми он подружился. И я иногда слышала, — пишет Вера Николаевна, — какой взрыв смеха вызывали его шутки…».

«Когда мы опять были в Галате, Ян неожиданно сказал:

— А мое дело пропало, — писать я больше, верно, не буду…

Я посмотрела на него с удивлением.

— Ну да, — продолжал он, — поэт не должен быть счастливым, должен жить один, и чем лучше ему, тем хуже для писания. Чем лучше ты будешь, тем хуже…

— Я, в таком случае, постараюсь быть как можно хуже, — сказала я, смеясь, а у самой сердце сжалось от боли».

Двадцатого мая 1907 года Бунин и Вера Николаевна сошли в Одессе с парохода, закончилось, как она сама сказала, их «сказочное путешествие». В те «благословенные дни, — писал много лет спустя Бунин, — когда на полудне стояло солнце моей жизни, когда, в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому Бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю…»[323].

Среди одесских друзей два дня прошли незаметно. Взаимные расспросы, обильные обеды из любимых Буниным восточных блюд, «оживление, веселость, дружеские споры, подшучивание друг над другом» — все это сразу перенесло в иной мир и сделало конец путешествия особенно приятным и радостным.

Бунин и Вера Николаевна возвратились через Киев — где осматривали Владимирский собор [324] — 26 мая в Москву. В этот же день Бунин уехал в Грязи, чтобы повидаться с больной матерью, жившей у Ласкаржевских.

Проведав мать, он отправился в Васильевское, где они с Верой Николаевной собирались провести лето, ведь после смерти отца Огневка была продана.

Тридцать первого мая Вера Николаевна сообщила Бунину, что в Васильевском будет 6 июня. 6-го Бунин извещал Телешова:

«Я уже давно в деревне — выехал сюда тотчас же по приезде в Москву, а Вера Николаевна приезжает ко мне только сегодня»[325].

Это было первое ее знакомство с Васильевским и с родными Бунина. Встречать жену на станцию Измалково Бунин приехал на тройке вместе со своим племянником Н. А. Пушешниковым.

В своих воспоминаниях «Первые впечатления от Васильевского», «Будни в Васильевском» и «Глотово»[326] Вера Николаевна рассказывает о Глотове и о жизни Бунина у Пушешниковых.

«Глотово, — пишет Вера Николаевна, — деревня довольно зажиточная, с кирпичными избами под железными крышами»[327]. В селе были три помещичьи усадьбы, «две лавки, церковь, школа, винокуренный завод»[328]. Ежегодно происходили ярмарки.

«…Дом Глотовых, потонувший в густом старом саду за каменной оградой. Спускаемся к узкой речонке, Семеньку; налево за мостом богатая усадьба Бахтеяровых с безвкусным домом в саду, спускающимся по горе, и с безобразным зданием винокуренного завода у реки, а направо, на пригорке, за темными елями, серый одноэтажный дом, смотрящий восьмью окнами»[329], — Пушешниковых.

«…Фруктовый сад, находившийся в двух шагах от дома, прорезывался липовой аллеей, которая вела в поле, к заброшенному погосту с каменными плитами, на которых уже почти все буквы стерлись. Кроме того, были в саду запущенные дорожки с прогнившими скамейками, окруженные кустами акации и шиповника, была заброшенная аллея, ведущая к клену, видневшемуся из комнаты Яна»[330].

Комната Бунина — «угловая, с огромными старинными темными образами в серебряных ризах, очень светлая и от белых обоев, и от того, что третье окно выходит на юг, на фруктовый сад, над которым вдали возвышается раскидистый клен. Мебель простая, но удобная: очень широкая деревянная кровать, большой письменный стол, покрытый толстыми белыми листами промокательной бумаги, на котором, кроме пузатой лампы с белым колпаком, большого пузыря с чернилами, нескольких ручек с перьями и карандашей разной толщины, ничего не было; над столом полка с книгами, в простенке между окнами шифоньерка красного дерева, набитая книгами, у южного окна удобный диван, обитый репсом, цвет бордо.

Другая одностворчатая дверь вела в полутемную комнату, в которой стоял кованый сундук Яна, тоже с книгами, и умывальник»[331].

«Одной из наших частых прогулок, — вспоминает Вера Николаевна, — была прогулка к так называемым Крестам, то есть

к перекрестку дорог по направлению к синеющему вдали лесу, мимо ветряной мельницы, где жил очень странный лохматый мельник со своей любовницей, некогда богатый, а теперь все бедневший и бедневший, все ниже и ниже падавший человек, отчасти послуживший прототипом к Шаше („Я все молчу“). Но, пожалуй, самой любимой прогулкой была прогулка в Колонтаевку, в очень запущенное имение Бахтеяровых, некогда принадлежавшее Буниным, с чудесными березовыми и еловыми аллеями, с заросшими дорожками, с усеянными желтыми иголочками скатами („Желтыми иголками устлан косогор“… — Есть стихи Ивана Алексеевича, так начинающиеся…)»[332].

Церковь «стояла в двух шагах от нашего дома, рядом с нашим фруктовым садом. Перед ней был большой выгон, а вокруг нее шла каменная ограда. В ограде находились могилы помещиков, сзади церкви — часовня, где образа писались с покойных Глотовых»[333].

«В церковной ограде стояли два ряда нищих, кончалась обедня, и они все приняли надлежащие позы в ожидании подаяний. Такого количества уродов, калек мы не видели и на Востоке! Описывать их я не стану. Они даны в рассказе у Ивана Алексеевича „Я все молчу“… Ян, пока слепые пели, внимательно всматривался в каждого…» Одного из калек Бунин заставил «рассказывать свою биографию, иногда шутил с бабами, девками, давал пятаки мальчишкам, чтобы они погарцевали на деревянных конях»[334].

На ярмарке «уже много пьяных, мне показывают высокого солдата в щегольских блестящих сапогах, ежегодно в этот день бьющего смертным боем лохматого мельника, который отбил у него жену. Солдат уже выпивши, хорохорится, готовясь к драке»[335].

Вера Николаевна познакомилась в этот свой приезд в Васильевское с семьей Буниных, бывшей, по случаю праздника, в сборе. «Ян не бросал писать, несмотря ни на что»[336], — писала она. Ездили они и в Ефремов — к матери Ивана Алексеевича. «Семья Буниных, — пишет она, — очень ярка, самодовлеюща, с резко выраженными чертами характеров, страстей и дарований»; хотя они иногда и ссорились, но «были сильно привязаны друг к другу, легко прощая недостатки каждого»[337].

В Глотове Бунин упорно работал. В это время он писал рассказ «Белая лошадь» (первоначально напечатанный под названием «Астма») и стихи. Он сообщал Телешову 18 июня 1907 года:

«Что до меня, то я провожу дни с утра до ночи за письменным столом, несмотря на гнетущую тоску и тревогу за мать, которая

все слаба. Вера тоже все время за работой: готовится к государственному экзамену в сентябре.

Погода ужасная, — залили дожди, — газеты еще хуже дождей»[338].

В июне в журнале «Золотое руно» появилась рецензия А. А. Блока на недавно вышедший том «Стихотворений 1903–1906 годов» И. А. Бунина. Блок писал:

«…Поэзия Бунина возмужала и окрепла… Цельность и простота стихов и мировоззрения Бунина настолько ценны и единственны в своем роде, что мы должны с его первой книги и первого стихотворения „Листопад“ признать его право на одно из главных мест среди современной русской поэзии»[339].

В июле и в августе он так же много работал. В письме Белоусову от 25 июля 1907 года Бунин говорит: «Вера готовится к выпускным экзаменам, я строчу стихи и прозу. Да погода мешает — ужасное лето, холод собачий, дожди чуть не каждый день. — Когда ты в Москву? Я буду в конце августа, в начале сентября»[340].

Вера Николаевна пишет, что Иван Алексеевич после ее прибытия «все только читал (он всегда перед писанием много читал). Я внутренно очень волновалась: будет ли он писать? Особенно стихи? Его сомнения и опасения не на шутку тревожили меня»[341].

Он написал — и читал Вере Николаевне — стихотворение «Роза», переименованное позднее в «Воскресение». «После этого, — пишет она, — он довольно долго писал стихи. А затем на прогулках читал их, иногда вызывая длинные разговоры, иногда споры»[342]. По ее словам, «Ян был весел, много и споро работал»[343].

Часто говорили о Толстом и Флобере, «Ян указывал на уменье Льва Николаевича даже о переписи писать интересно и самую мелкую черту превращать в незабываемый образ»[344].

Вера Николаевна 24 августа уехала на экзамены, Бунин пока оставался и рассчитывал проездом в Петербург быть в Москве между 1 и 10 сентября.

В начале сентября 1907 года Бунин приехал в Москву [345]. Затем он ездил в Петербург — хлопотать об издании четвертого тома своих сочинений (стихи и перевод «Каина» Байрона).

«Недели три, — пишет Вера Николаевна, — мы тихо прожили… В середине сентября он отправился в Петербург [346], надо было распродать написанное летом. Нужно было повидаться с Пятницким в „Знании“. Вернувшись, с огорчением рассказал, что Пятницкий все еще за границей, ждут его к 30 сентября. Чаще всего Ян проводил вечера у Марьи Карловны Куприной, с которой с давних пор дружил и чье общество ценил, восхищаясь ее умом и

остроумием.

Побывал он в издательстве „Шиповник“, издателями которого были Копельман и Гржебин. Они решили выпускать альманахи. Для первого альманаха „Шиповник“ приобрел у Бунина „Астму“…

В Москве появился некий Блюменберг, основавший издательство „Земля“ и пожелавший выпускать сборники под тем же названием. Он предложил Ивану Алексеевичу стать редактором этих сборников. Шли переговоры за долгими завтраками. Ян был оживлен, но не сразу дал согласие. Сошлись на том, что редактор будет получать 3000 рублей в год, условия хорошие. Ян принялся за дело с большим рвением.

Тридцатого сентября Ян снова поехал в Петербург, но Пятницкий еще не вернулся — застрял на Капри…

Ян то и дело отлучался в Петербург, ему необходимо было повидаться с Пятницким, узнать, как идут дела „Знания“. „Шиповник“ переманивал его к себе, как переманил Андреева и некоторых других писателей. Но Ян уклонялся от окончательного ответа, хотя условия „Шиповник“ предлагал заманчивые»[347].

Бунин писал П. А. Нилусу 14 октября 1907 года: «Только что вернулся из Петербурга, где уже с месяц танцую кадриль с „Шиповником“. Пятницкий все еще за границей, и „Шиповник“, пользуясь этим, хочет оплести меня — перевести к себе, издавать мои книги и осыпать золотом. А я все боюсь и жду Пятницкого. Говорят, приедет через неделю — и, кто знает, может быть, опять я буду в Птб — уже четвертый раз! Просто замучился»[348].

Сборники «Земля» являлись изданием литературного кружка «Среда», редактировать их Бунин был приглашен по предложению Л. Н. Андреева. 21 октября 1907 года Бунин согласился, как он сообщал Н. А. Пушешникову, взять на себя редакторские обязанности. К участию в сборниках «Земля» Бунин хотел привлечь и Куприна.

Он писал Федорову 29 ноября 1907 года:

«Я сбился с ног — не рад, что впутался. Один Куприн чего стоит! Отбил я у „Шиповника“ его „Суламифь“, но конца все еще нет, а „Шиповник“ вот уже полмесяца каждый день вытягивает из него душу — выкинут нам аванс и возвратят ему рукопись»[349].

«Суламифь» была напечатана в первом сборнике «Земля», который вышел в «Московском книгоиздательстве» в 1908 году.

Бунин «побывал у Блока и приобрел у него стихи, заплатив по два рубля за строку…»[350].

Встречались Бунин и Вера Николаевна в этот приезд в Петербург с С. В. Рахманиновым, художником Л. С. Бакстом, поэтессой Наталией Крандиевской, которая еще подростком приходила к Бунину со своими стихами.

В конце ноября Иван Алексеевич и Вера Николаевна возвратились в Москву.

«В Москве, — пишет Вера Николаевна, — шли разговоры о предстоящей премьере „Жизни человека“ Андреева. Ян стал поговаривать, что следует хоть на месяц поехать в деревню. Материал для сборника „Земля“ он уже передал Блюменбергу, сам дал „Тень Птицы“ и теперь свободен на некоторое время, а писать ему хочется. Я ничего не имела против того, чтобы пожить зимой в Васильевском, такой глубокой зимы я еще в деревне не переживала. И мы решили после первого представления „Жизни человека“ уехать из Москвы.

Тут обнаружилась черта Яна — всегда откладывать свой отъезд.

Вскоре мы услышали, что Андреев в Москве. В Москву приехала и М. К. Куприна, которая нас как-то вечером по телефону пригласила в „Лоскутную“.

У нее в номере мы встретили Леткову-Султанову в черном шелковом платье и Андреева…»[351]

Леткова-Султанова восхищалась последней вещью Андреева в «Шиповнике» — рассказом «Тьма».

«Я недоволен ею. Не вышло, что задумал, — отвечал Андреев. — Твоя, Ванюша, „Астма“ гораздо удачнее, это лучшая вещь в альманахе, и знаешь, у меня ведь тоже астма, как прочел, так и почувствовал, что задыхаюсь.

— Бог с тобой, какой ты астматик! — смеялся Ян.

— А мне между тем все кажется, что я задыхаюсь, — настаивал Андреев.

Он был в дурном настроении»[352].

Андреев говорил: «Я честолюбив, Ванюша, а ты самолюбив…

— Пожалуй, ты прав, — ответил с улыбкой Ян, — я действительно очень самолюбив.

— А я нет. А честолюбие у меня большое…

На первом представлении „Жизни человека“ мы не были. Нас пригласили, к моему удовольствию, на генеральную репетицию…

Наконец после долгих откладываний мы накануне Рождества уехали в деревню…»[353].

Пробыв в Москве вторую половину октября и ноябрь, Бунины 20 декабря уехали в Глотово. Ехали сюда с приключениями, говорит Бунин в письме Федорову 21 декабря 1907 года. «Выехали вчера со станции (Измалково. — А. Б.) ночью, в метель, — заблудились, свалились в овраг, тройка изорвала сбрую, изломала все… Ужасная была ночь! Спаслись прямо чудом — звезды проглянули, и, справившись, стали держать на Большую Медведицу. Едва не замерзли»[354].

Вера Николаевна вспоминает:

«Ян в деревне опять стал иным, чем в городе. Все было иное, начиная с костюма и кончая распорядком дня. Точно это был другой человек. В деревне он вел строгий образ жизни: рано вставал, непоздно ложился, ел вовремя, не пил вина, даже в праздники, много читал сначала, а потом стал писать. Был в ровном настроении.

К праздникам относился равнодушно. Не выходил к гостям Пушешниковых. Сделал исключение для моих родственников, которые у нас обедали. За весь месяц Ян только раз нарушил расписание своего дня.

Мы иногда катались. Как-то поехали вдвоем на бегунках в Колонтаевку. День был солнечный, с синим небом, и все было покрыто инеем. Мы пришли в такое восхищение, что Ян подарил мне в память этого дня свою книгу, надписав одно слово: „Иней“.

По вечерам Ян не писал. После ужина мы выходили на вечернюю прогулку, если бывало тихо, то шли по липовой аллее в поле. Любовались звездами. Коля (Н. А. Пушешников. — А. Б.) знал превосходно все созвездия. Когда, по болезни, он зимы проводил с бабушкой в Каменке, то с увлечением читал астрономические книги, изучая небо. Они с Яном отличались острым зрением и видели все, что можно видеть невооруженным глазом, не то что я со своей близорукостью и редким астигматизмом, на который никто, да и я, не обращали внимания. В лунные вечера мы любовались искристым снегом и иногда одиноким Юпитером. Вернувшись домой, сидели в кабинете Яна, он чаще всего читал вслух новый рассказ или критику из полученной новой книги, журнала, а иногда что-нибудь из любимых авторов. Он писал „Иудею“, просматривал „Море богов“, „Зодиакальный свет“. Писал стихи. Начал переводить „Землю и небо“ Байрона, а под самый конец написал „Старую песнь“. Обсуждались и новые произведения, только что прослушанные. Коля заводил свое любимое: „Кто выше, Флобер или Толстой?“ Ян неожиданно брал книгу одного из этих авторов и читал нам смерть мадам Бовари, „Юлиана Милостивого“, „Поликушку“ или то место из „Анны Карениной“, где у Анны в темноте светились глаза, и она это видит»[355].

Около 20 января 1908 года [356] Бунин с женой уехали в Москву. Пробыл он здесь до весны, отлучаясь дважды (в конце февраля и в марте) в Петербург.

Он участвовал в торжествах по случаю двадцатипятилетия «службы» в Малом театре артиста и драматурга А. И. Южина (Сумбатова), 25 января присутствовал на банкете в Художественном кружке.

В феврале Художественный театр вел переговоры с Буниным о постановке «Каина» Байрона в его переводе.

Но возникли цензурные затруднения, и пьеса была поставлена (в бунинском переводе) только в 1920 году. В. А. Нелидов сообщал Бунину 12 февраля: «В вопросе о „Каине“ я говорил с В. И. Немировичем-Данченко, и он рекомендовал мне воздержаться от поездки в цензуру, считая, что это может скорее принести вред»[357].

Тяжело болела сестра Бунина Мария Алексеевна, ее положение казалось безнадежным, что совершенно выбило Бунина из колеи, и он не мог спокойно работать. В письме к П. А. Нилусу от 20 февраля 1908 года Бунин рассказывает об этих днях:

«Недели две тому назад я писал тебе, что привезли в Москву мою больную сестру и что у нас началась невыносимая жизнь — страхи, беготня по докторам, бешеные расходы и т. д. В позапрошлое воскресенье знаменитый хирург, предполагавший у сестры гнойник в кишках, сделал ей операцию, во время которой она едва не умерла от хлороформа, — и не нашел никакого гнойника, но сказал нам еще более убийственное слово: саркома, то есть долгая и мучительная смерть! А у нас, кроме того, есть старуха мать, которая умрет с горя, если умрет сестра, а у сестры двое маленьких детей, и т. д. и т. д.

После операции мы созвали консилиум, который немного утешил нас: сказал, что есть слабая надежда, что не саркома, что надо сестру перевести в терапевтическую лечебницу и начать лечить рентгеновскими лучами, мышьяком и т. п. И мы немного отдохнули. Но что будет дальше? И как жить, не имея возможности работать — до стихов ли мне теперь! — и тратя пятьсот целковых в месяц?

А тут еще полиция: в ночь после консультации ни с того ни с сего обыск! Я чуть не задохнулся от злобы.

…Мучительно хочется на юг, на солнце, отдохнуть хоть немного. Но выехать сейчас нельзя. Одна надежда на ошибку хирурга: теперь сестре лучше» [358].

Вера Николаевна пишет:

«Да, это были тяжелые дни. Братья были в панике. Слово операция их донельзя пугало. Марья Алексеевна тоже к этому известию отнеслась как к казни. Кто только ее не уговаривал согласиться. Мой брат Павлик, студент-медик второго курса, часами просиживал у ее постели и даже проводил ее в операционный зал.

Когда Марья Алексеевна оправилась, ее перевезли в Остроумовскую клинику…

Привожу выдержку из письма Яна к Нилусу от 9 марта:

„Дорогой милый Петр, вчера у меня была большая радость — появилась надежда, что положение сестры не так уж опасно: проф. Голубинин, который осматривал сестру почти месяц тому назад, твердо заявил, что у нее не саркома… а что именно, покажет недалекое будущее“.

Когда Ян навещал сестру, то он всегда смешил ее, представляя или пьяного, или какие-нибудь сценки из их жизни, старался никогда не говорить о ее состоянии. Он очень томился и решил хоть на короткое время уехать в деревню и там что-нибудь написать, так как болезнь стоила очень дорого. Они с Юлием Алексеевичем видели, что на заграничную поездку нужно махнуть рукой.

Немного успокоившись, Ян уехал в Васильевское, а я осталась в Москве…»[359]

Пятнадцатого марта Бунин писал П. А. Нилусу:

«…Я уже с неделю в деревне. Немного пишу. Встречаю весну средней России, от которой я уже много лет уезжал на юг. Грязно, мокро, ветер… Потягивает на юг»[360].

Из деревни он ездил в Киев для участия в литературном вечере и в Одессу, чтобы немного отдохнуть у художников, — и снова в Москву. Одессу оставил «с большой грустью, что мало виделись, — писал он Нилусу 8 апреля 1908 года из-под Конотопа, — много истратили времени на кабаки, будь они прокляты, и не поговорили как следует…»[361].

Марии Алексеевне стало хуже. Она «принадлежала к трудным больным и от своего недоверчивого, вспыльчивого характера, и от мнительности, и отсутствия терпения.

Братья опять пали духом. Решили, что после Пасхи нужно ее перевезти в Ефремов. За ней должна приехать Настасья Карловна, энергичная, бодрая, сильная женщина. Мы решили, пожив недолго в Ефремове для матери, ехать в Васильевское. С нами на праздники отправился туда и Юлий Алексеевич»[362].

Десятого апреля Бунин сообщал Н. А. Пушешникову:

«Завтра выезжаем в Ефремов. Побыть там намереваемся дня три-четыре, то есть выехать в Глотово четырнадцатого или пятнадцатого»[363].

Шестнадцатого мая 1908 года он писал И. А. Белоусову:

«…Сестра тает не по дням, а по часам, и каждое письмо вышибает из колеи на несколько дней. Кроме того, спешу писать — сижу иногда с утра до ночи… На сестру идет — без всякого преувеличения! — рублей по 500 в месяц. А тут ее дети, перевозка ее из Москвы и т. д.»[364].

Вера Николаевна вспоминает:

«Когда мы приехали в Васильевское, нас встретила изумительная весна, — все было в цвету… Сад… буйно цвел. И мы наслаждались, по вечерам слушая соловьев, особенно в лунные ночи; по утрам и днем работали под кленом, тоже под трели соловьев. Ян писал стихи. Написал „Бог полдня“ и прочел их нам, сидя под белоснежной яблоней в солнечный день. Редактировал переводы Азбелева, рассказы Киплинга для издательства „Земля“. Писал „Иудею“.

Я начала по его совету переводить с английского „Энох Арден“.

Машу перевезли в Ефремов. Мы навестили ее. Она была до жути худа… Решили пригласить к ней земского врача Виганда, который лечил ее и Людмилу Александровну… который сделал то, чего не могли сделать столичные знаменитости, — Маша стала поправляться…

За лето мы подружились с караульщиками; записывали сказки, поговорки, особенно отличался один, Яков Ефимович, его Иван Алексеевич взял в герои „Божьего древа“, удивительный был склад его речи, почти вся она была рифмована»[365].

Бунин жаловался (в письме к А. М. Федорову от 6 августа 1908 г.), что «ослабел… очень устал от всяких передряг. Отдохнуть же нельзя. 1-го сентября надо быть уже в Москве»[366].

Уехал в Москву в конце августа.

В восьмидесятилетний юбилей Толстого, 28 августа 1908 года, Бунин послал ему приветственную телеграмму: «Бесконечно любимый Лев Николаевич, приветствую вас всей душой моей. Иван Бунин»[367].

В сентябре и октябре Бунин жил в Москве, откуда ездил в Петербург. Он гостил у Телешова в Малаховке, присутствовал на «Среде». В конце сентября простудился и заболел.

Предстояло много работы по «Московскому книгоиздательству», для сборников которого — «Земля» — необходимо было собирать материалы. «Знание» выпускало его книги новым изданием. Выходили второй, третий и четвертый тома. В октябре Бунин заключил соглашение с К. П. Пятницким на издание пятого тома. Составлявшие том рассказы следовало представить к 1 ноября, с тем чтобы книга вышла в январе 1909 года.

В издательстве И. А. Белоусова «Утро» в ноябре печаталась книга «Избранных стихотворений» Бунина.

В Петербурге «были на обеде у Котляревских вместе с Ростовцевыми и еще с кем-то. Нестор Александрович Котляревский, спокойный и очень располагающий к себе человек, слушая, как Иван Алексеевич изображает кого-нибудь из

деревенских обитателей или общих знакомых, все повторял:

— У вас необыкновенный юмористический талант. Вам необходимо написать комедию вроде „Сна в летнюю ночь“, почему вы не попробуете?..

Вернувшись в Москву, Ян стал говорить, что надо уехать в деревню»[368].

Петр Александрович Нилус восхищался стихами Бунина («Последние слезы» и другие): «Общее впечатление стихов — золото в слитках, не везде оконченное чеканкой»[369], «очень понравилась „Рахиль“, очень! И ловко воспользовался библейской фразой, и есть какое-то настоящее благоговение перед святыней»[370].

С ноября Бунин жил в Глотове. Он, по словам Веры Николаевны, «перед писанием читал стихи Случевского. Пересматривал еще не напечатанное. Сказал, что хочет составить книгу нашего первого странствия. 6 декабря Софья Николаевна (Пушешникова. — А. Б.) дала нам бегунки, и мы поехали в Колонтаевку. День был прелестный, все в инее, и мы опять наслаждались, катаясь по этой заброшенной усадьбе»[371]. 20 ноября сообщал Нилусу: «Приехал в деревню с обязательством хоть умереть, а написать рассказ к началу декабря»[372]. Рассказ — «Иудея»; был опубликован в сборнике «Друкарь» (М., 1910).

В декабре ненадолго Бунин уезжал в Москву. «10-го утром или вечером… надеюсь быть в Москве я, — писал Бунин Н. Д. Телешову. — Хорошо бы 10-го собраться в Кружке на „Среду“!

Я еле жив от усталости. Спешу кончать рассказ»[373] («Старая песня», названная позднее «Маленький роман»).

С конца 1908 года Бунин, как писал Юлий Алексеевич Телешову 17 декабря, «взялся быть редактором беллетристического отдела»[374] журнала «Северное сияние», принадлежавшего издательнице В. Н. Бобринской. 22 декабря 1908 года секретарь Бобринской Н. А. Скворцов просил Бунина известить ее о своем согласии принять участие в журнале.

Бунин в письме к Д. Я. Айзману (без даты) говорит, что этот журнал «совершенно меняет физиономию модерн на реалистическую, будет направляться нашим кружком московским „Среда“… и по беллетристике будет редактироваться мною»[375].

Журнал выходил с ноября 1908 года — в этом номере напечатан рассказ Бунина «Море богов» — и прекратился на восьмом номере в 1909 году из-за денежных затруднений.

Современники отмечали возросший интерес публики к стихам Бунина. «В последнее время чувствуется, — писал один из журналов, — какой-то поворот общественного вкуса к поэзии

Бунина… Поистине обаятельно богатство образов при экономии слов»[376].

В это время Бунин задумал крупнейшее свое произведение — повесть «Деревня». В. Н. Муромцева-Бунина писала мне 9 июля 1959 года: Иван Алексеевич «задумал писать „Деревню“, по-новому изобразил мужиков, и задумал он еще в 1908 году».

В Васильевском Бунин встречал и Новый год. 2 января 1909 года он писал Марии Карловне Куприной: «Сидим в деревне, учимся, пишем, переписываем — и хвораем. Кажется, всюду и все больны, — встал с постели, на коей провел дня три, и я. Это меня весьма выбило из седла, а мне нужно много писать — для вас в первую голову»[377].

Прожил он здесь весь январь. «Поправившись, — пишет Вера Николаевна, — Ян принялся за писание и до нашего отъезда кончил „Беден бес“, „Иудею“ и отрывки перевода из „Золотой легенды“»[378], переводил «Небо и землю» Байрона.

Мистерия Байрона была напечатана во втором сборнике «Земля», который вышел в 1909 году. С третьего сборника Бунин не редактировал их больше и ничего в них не печатал, так как издатели Г. Г. Блюменберг и Д. М. Ребрик, на деньги которых эти сборники издавались, превратили их в коммерческое мероприятие, не заботясь о литературной ценности издания.

Пятнадцатого января Бунин писал Куприну, сообщая, что в начале февраля он собирается быть в Москве. Но планы изменились, и Бунин 27 января известил Нилуса: «В Москву мы выезжаем ранее — 31 января» [379].

Вера Николаевна пишет:

«В Москве то и дело Ян простуживался, хотя и легко. Он стремился скорее уехать за границу, в Италию. Я тогда не знала, что ему в молодости грозил туберкулез.

Перед самым нашим отъездом Андреев привез в Москву новую пьесу „Анатэма“. У Телешовых в то время не было большого помещения, и „Среда“ была устроена на Сивцевом Вражке…

Как всегда, на чтении Андреева было много людей, не причастных к литературе…

Мы были на отлете. Уже взяли билеты в Одессу, а потому мы раньше других уехали домой.

На извозчике Ян сказал: „Как жаль, что Леонид пишет такие пьесы, — все это от лукавого, а талант у него настоящий, но ему хочется „ученость свою показать“, и как он не понимает при своем уме, что этого делать нельзя? Я думаю, это оттого, что в нем нет настоящей культуры“»[380].

Из Москвы Бунин с женой отправились через Киев в Одессу.

«Остановились в Петербургской гостинице, — вспоминает Вера Николаевна. — Ян известил Нилуса, и через полчаса он с Федоровым и Куровским, который уже оправился от припадка, явились к нам… В Одессе мы должны были пробыть с неделю…

Некоторые друзья Яна приглашали нас к себе. Были мы запросто у Федоровых… Пригласили нас чуть ли не на следующий день Куровские. Вера Павловна приготовила любимые блюда Яна…

На обеде у Куровских были Федоровы, Нилус, Заузе и Дворников. После обеда все развеселились. Заузе сел за пианино, началось пение. Нилус с Куровским исполнили дуэт „Не искушай меня без нужды“, — все трое были на редкость музыкальны: Лидия Карловна Федорова пустилась в пляс вместе с Яном…

Была я и на „четверге“ в ресторане Доди. Художники делали исключение для приезжих дам. Я была почти счастлива, что попаду на этот „мальчишник“, где Ян будет проявлять свои таланты, а в то время мне хотелось понять его до конца, видеть его в той обстановке, где он особенно легко и свободно чувствовал себя…

Во втором этаже стоял во всю длину отдельного кабинета стол, на нем лежали альбомы, карандаши, уголь. Художники, которых было много, стали рисовать друг друга. Кто-то сделал рисунок и с меня. Все были оживлены, веселы, шутили друг над другом. Из писателей был, конечно, сильно опоздавший Федоров и Ян, из журналистов Дерибас, потомок создателя Одессы, и Филиппов… Был еще небольшого роста, с поднятым плечом художник Скроцкий, едкий человек, которого я отметила.

Когда кабинет был почти полон, стали заказывать ужин, каждый для себя, платили тоже каждый за себя. Некоторые требовали водки, но большинство пило вино, белое или красное, удельное, бессарабское, немногие ограничивались пивом. После того как утолили голод и хорошо выпили, Заузе сел за пианино, стоявшее у двери, и опять, как у Куровских, началось пение: дуэты Нилуса с Павлычем (Куровским. — А. Б.), который почти ничего не пил и перестал курить. Заузе сказал, что написал романс на стихи Бунина „Отошли закаты на далекий север“, и исполнил его. Ян подбежал к нему, поцеловал в лоб и еще больше оживился. Заузе заиграл плясовую, и я в первый раз увидела, как Ян пляшет один, легко, что-то импровизируя, помогая себе щедрой мимикой.

Дня через два Ян неожиданно сказал, что мы должны уехать 28 февраля…

— …Достаточно всяких праздников, я устал, не могу больше, надо ехать…

В день нашего отъезда мы были у Куровских. Ян подарил Оле (Куровской, в день рождения. — А. Б.) коробку конфет с шутливой надписью. Вся семья была огорчена нашим отъездом. Мы оставили у них все теплое, вообразив, что за границей, особенно в Италии, весна чуть ли не жаркая. Кроме того, Ян боялся лишнего чемодана. Он никогда не хотел сдавать ничего в багаж, не хотел и отправлять вещей вперед, может быть, и потому, что, несмотря на долгие разговоры, куда мы едем, точного плана у него не было. И я не знала, какие города и даже страны мы посетим. Намечалась Италия, но в общих чертах.

Поезд уходил, кажется, часов в семь. Нас провожали художники и Федоров, на этот раз не опоздавший.

Ян был доволен, спокоен, он действительно устал и от Москвы, и от Одессы. Нам обоим хотелось чего-то нового. Я ехала на запад в первый раз и была полна интереса к тому, о чем давно мечтала»[381].

«Через Волочиск, — говорит Вера Николаевна, — мы приехали в Вену, где шел дождь и было холодно в наших легких одеждах, и мы пробыли там всего дня два. Заглянули в собор Святого Стефана… Послушали мы в нем и великолепный орган. Впечатление незабываемое.

Побегали по городу, были в Пратере… Из Вены мы направились в Инсбрук, где уже было совсем холодно… Но живительный воздух совершенно опьянял нас, и холод был приятен. Мы часто вспоминали этот уютный тирольский городок, залитый солнцем, окруженный горами, где так весело раздавались звонкие шаги.

В Италию мы спустились по Бреннен-Пассу, в солнечно ослепительный день. Ян мечтал пожить в какой-нибудь тирольской деревушке с каменными хижинами, куда по вечерам возвращаются овечьи стада с подвешенными колокольцами. И воскликнул: „Как было бы это хорошо!..“ Начал говорить, что ему так надоели любители Италии, которые стали бредить треченто, кватроченто, что „я вот-вот возненавижу Фра-Анджелико, Джотто и даже и самое Беатриче вместе с Данте…“» [382].

5/18 марта 1909 года Бунин сообщал А. Е. Грузинскому: «Были мы в Вене — слякоть, были в Инсбруке — очаровательно: солнце, чисто, свежо, горы, как серебро, но можно ходить в летнем пальто. Теперь пишу вам из Боцена, со знаменитого Brennen-Pass. День сегодня был редкостный. Вечером надеемся быть в Вероне» [383].

Из Вероны Бунин и Вера Николаевна поехали в Венецию. Бегло осмотрев город, уехали в Рим, затем — в Неаполь. «Остановились мы, — пишет Вера Николаевна, — на набережной,

в гостинице „Виктория“. И пробыли в ней трое суток… Наутро мы поднялись на Вомеро, откуда открывается один из широчайших видов мира (Ян всегда в новом городе прежде всего искал самое высокое место). А на второе утро мы отправились в сторону Позилиппо, шли долго апельсиновыми и лимонными садами…

О Капри ничего не было говорено, мы только смотрели на него с нашего балкона, и я, восхищаясь его тонкими очертаниями, спросила: поедем ли мы туда? Ян ответил неопределенно. О Горьком мы тоже не говорили, слишком в те дни было много нового, необычайного… На третий день нашего пребывания в этом городе песен и мандолин… утром мы съездили в Сорренто и чуть не сняли комнаты. Вернувшись, пошли завтракать в „Шато д’Ово“ (Яичный замок), ели фрутги ди маре, лангусту, запивая все холодным белым вином.

За завтраком я спросила о Горьком, увидимся ли мы с ним. Ян опять ответил неопределенно…

После обильного итальянского завтрака мы вернулись в отель, легли отдохнуть и проспали почти до обеда.

Войдя в столовую, мы увидели, что за столиком, где мы эти дни обедали, сидели англичане. Ян рассердился и заявил, что обедать не будет и завтра же покидает отель. Метрдотель очень извинялся, предлагал другой стол, начал называть его „принчипэ“, но Ян остался неумолим.

Мы отправились к Воронцам, друзьям Буниных по харьковской жизни, которые поселились на Вомеро. И мы опять полюбовались широким видом, но уже при вечернем освещении.

Воронцы были эмигранты после 1905 года, осели в Неаполе из-за климата, вели тихую, скромную жизнь. Они обрадовались Яну, ласково приняли и меня. Весь вечер прошел в оживленных воспоминаниях о прошлой, почти нищенской жизни, когда приходилось, по словам хозяйки, делить „каждую фасоль пополам“, но все же тогда было необыкновенно весело, безмятежно. С Горьким они не были знакомы, но говорили, что его дом поставлен на широкую ногу.

На следующее утро в 9 часов мы отправились на Капри. Пароходик был крохотный. Погода тихая, и мы шли, как по озеру, наслаждаясь всем, что дает Неаполитанский залив людям, попавшим туда в первый раз. И действительно, не знали, куда глядеть: на Везувий ли, грозно царивший над беззаботными неаполитанцами, на поднимающийся ли амфитеатром город с его апельсиновыми и лимонными садами на окраине, на высокие манящие Аббруцкие горы, или на выступающий из воды остров Иския, с его очаровательными очертаниями, где некогда жил, страдал от любви опростившийся Ламартин; но вот и Капри, где

живет изгнанник, наш русский писатель, который с гимназических лет занимал мое воображение своими романтическими босяками…

Пароходик остановился, и нам пришлось до берега плыть в лодке. Увидев неприступность острова, мы поняли, почему Тиверий избрал его для своих уединенных дней» [384].

На Капри прибыли 12 марта 1909 года. В этот день Вера Николаевна писала Н. А. Муромцеву: «Дорогой папа, сегодня приехали на Капри… Устроились, кажется, в хорошем отеле по совету Горьких» [385].

Горький писал Е. П. Пешковой 16 (29) марта: «Прибыл Бунин… Очень радует меня серьезным своим отношением к литературе и слову» [386].

О пребывании на Капри Вера Николаевна рассказывает:

«Очутились мы на нем в одну из самых счастливых весен, во всяком случае, моих. Ян, как я уже писала, не любил предварительных планов; он намечал страну, останавливался там, где его что-либо привлекало, пропуская иной раз то, что все осматривают, и обращая внимание на то, что большинство не видит…

Отправились пешком в город. Дороги вились среди апельсиновых садов, открывая при каждом повороте все более и более широкий вид.

— Знаешь, зайдем к Горьким, — неожиданно предложил Ян, — они посоветуют, где нам устроиться, и мы можем некоторое время отдохнуть, мне здесь нравится.

Я с радостью согласилась» [387].

Их встретила дочь Марии Федоровны Андреевой — пятнадцатилетняя Катя Желябужская со своей компаньонкой. «От них мы узнали, — продолжает Вера Николаевна, — что Горькие через полчаса отправляются в Неаполь…

Ян позвонил… Вдруг я услышала грудной знакомый голос:

— Иван Алексеевич, какими судьбами?

На стеклянной веранде, выходившей в римский сад, в сером костюме и маленькой синей шляпке стояла мало изменившаяся Марья Федоровна, как всегда элегантная. Мы с ней познакомились. В этот момент из боковой двери вышел в черной широкополой шляпе Горький. Он радостно поздоровался с Яном и приветливо познакомился со мной.

Нас сразу они забросали вопросами, на которые мы не успевали отвечать… Марья Федоровна посоветовала отель „Пагано“. Затем нас стали уговаривать пожить на Капри подольше.

— Катя все устроит. Хозяева „Пагано“ — наши друзья. Мы

всего на три дня в Неаполь. Вернемся и тогда уговорим вас остаться здесь…

— А какие тут звездные ночи, черт возьми! Право, хорошо, что вы приехали, поедем рыбу ловить! — говорил Алексей Максимович, тряся руку Яна, а потом мою около фюникюлера…

Вернулись Горькие, но не одни, с ними прибыли Луначарские. Кроме того, у них гостила дочь проф. Боткина, которую они звали „Малей“…

Как раз подошли домашние праздники: 16 марта старого стиля день рождения Алексея Максимовича, а 17 марта его именины. И мы попраздновали. Впрочем, все наше пребывание, особенно первые недели, было сплошным праздником. Хотя мы платили в „Пагано“ за полный пансион, но редко там питались. Почти каждое утро получали записочку, что нас просят к завтраку, а затем придумывалась все новая и новая прогулка. На возвратном пути нас опять не отпускали, так как нужно было закончить спор, дослушать рассказ или обсудить „животрепещущий вопрос“.

Много говорили мы и о Мессинском землетрясении (1908 года. — А. Б.). Мария Сергеевна Боткина, сестра милосердия, побывала на месте бедствия. Восхищались самоотверженностью русских моряков.

На вилле Спинолла в ту весну царила на редкость приятная атмосфера бодрости и легкости, какой потом не было…

Больше времени мы проводили в салоне с гербами под самым потолком или в огромной столовой, где асти в те дни лилось рекой — то под пение с аккомпанементом мандолин и гитары местных любителей, то под изумительную тарантеллу знаменитой на весь мир красавицы Кармеллы, которая особенно талантливо танцевала для Массимо Горки со своим партнером, местным учителем в очках, то под бесконечные беседы, споры…

Алексей Максимович просил Яна почитать стихи. Ян долго отказывался, он не любил читать среди малознакомых людей, но Алексей Максимович настаивал:

— Прочтите „Ту звезду, что качалася в темной воде…“, я так люблю эти стихи.

Ян обычно переставал читать то, что вошло в книгу, он даже мне не позволял перечитывать в его присутствии своих произведений. Но Горький так просил, что Ян прочел это восьмистишие, написанное в 1891 году.

Ту звезду, что качалася в темной воде
Под кривою ракитой в заглохшем саду, —
Огонек, до рассвета мерцавший в пруде,

Я теперь в небесах никогда не найду.

В то селенье, где шли молодые года,
В старый дом, где я первые песни слагал,
Где я счастья и радости в юности ждал,
Я теперь не вернусь никогда, никогда.

Алексей Максимович плакал, а за ним и другие утирали глаза.

Но больше, как ни просили, Ян не стал читать» [388].

Прожив восемь дней на Капри, «почти не разлучаясь с милым домом Горького» (письмо Бунина А. Е. Грузинскому 21 марта (3 апреля) 1909 года [389]), Бунин с женой 19-го уехали в Сицилию, где находились с 20 по 28 марта. В указанном выше письме Грузинскому Бунин говорит о своем пребывании в Палермо: «Городом я все-таки доволен вполне. Весь он крыт старой черепицей, капелла Палатина выше похвал, а про горы и море и говорить нечего. Знаменательно, наконец, и то, что прибыл я сюда в тот же день, что и Гете в позапрошлом столетии». 6 апреля н. ст. Бунин послал М. П. Чеховой открытку: «Кланяюсь из Сиракуз, где жил Архимед и где растут папирусы!» [390]

Побывав в Мессине, осмотрев развалины, Бунин 15 апреля 1909 года написал стихотворение «После Мессинского землетрясения».

Двадцать шестого марта вернулись на Капри. 27 марта (9 апреля) Бунин писал Телешову, что прибыли сюда «вчера вечером» и надеются здесь «пробыть до конца апреля (думаю, — говорит он, — выехать отсюда 26 апреля или 3-го мая, по новому стилю)» [391].

С Капри Бунины ездили в различные города Италии. В начале апреля поехали в Рим. 5/18 апреля Иван Алексеевич писал Н. А. Пушешникову: «Мы в Риме третий день. Послезавтра поедем в Помпею и опять на Капри. Через неделю выедем на пароходе в Одессу… Рим мне очень нравится. Жара. Весело. Нынче слушали в соборе Петра грандиозное служение. Я был поражен. Сейчас сидим в кафе Греко, где бывали Байрон и Гете» [392].

В Помпее «поразили нас, — пишет В. Н. Муромцева-Бунина, — очень глубокие колеи при входе в этот мертвый город. В 1916 году 28 августа Бунин написал сонет „Помпея“:

Я помню только древние следы,
Протертые колесами в воротах.
Туман долин. Везувий и сады.

Была весна. Как мед в незримых сотах,
Я в сердце жадно, радостно копил
Избыток сил — и только жизнь любил.

После беглого осмотра Помпеи мы завтракали в ближайшем ресторане, и Ян стал говорить, что он хотел бы написать рассказ об актере, очень знаменитом, всем пресыщенном, съевшем за жизнь большое количество майонеза и под конец своих дней попавшем в Помпею, и как ему уже все безразлично, надоело. Рассказа он этого не написал, но в тот полдень он передал его мне живо, с тонкими подробностями» [393].

Девятого апреля (ст. ст.) Бунины вернулись на Капри, а 10/23 апреля уехали из Италии. В этот день Бунин сообщал Грузинскому: «Через час выходим из Неаполя на итальянском пароходе в Одессу (с заходом в Крит и Грецию). В Одессе будем 25-го (плыть целых полмесяца…)» [394].

На пароходе спутником Бунина оказался какой-то лицеист правых взглядов. Завязался спор о социальной несправедливости. Иван Алексеевич говорил:

«— Если разрезать пароход вертикально, то увидим: мы сидим, пьем вино, беседуем на разные темы, а машинисты в пекле, черные от угля, работают и т. д. Справедливо ли это? А главное, сидящие наверху и за людей не считают тех, кто на них работает. Как вы себе в этом не отдаете отчета?

Подружившись с моряками, мы везде побывали, куда обычно пассажиров не пускают.

Я считаю, — пишет Вера Николаевна, — что здесь зародился „Господин из Сан-Франциско“…

…На стоянках, после обеда, моряки приносили свои мандолины, гитару и вполголоса пели неаполитанские песни, а Ян имитировал тарантеллу и так удачно, что приводил всех в восторг» [395].

Девятнадцатого апреля (2 мая) «добрались до Сало-ник» [396], — писала В. Н. Муромцева-Бунина А. Е. Грузинскому в этот день. Одновременно Вера Николаевна сообщила брату Всеволоду Николаевичу в Москву: «Мы благополучно стоим в Салониках, где мало-помалу все приходит в норму… В Константинополе будем через два дня. В Одессе надеемся 25 апреля» [397]. Прибыли в Одессу, видимо, днем позже.

С отъездом из Одессы Бунин медлил. «То ему хотелось побывать у Буковецкого, то на „четверге“, то нужно было повидаться с редактором газеты, которого в данный момент не

было в Одессе. Но, конечно, он отлынивал. Я потом поняла, — пишет В. Н. Муромцева-Бунина, — ему не хотелось быть в эти торжественные дни в Москве (в 100-летний юбилей Н. В. Гоголя. — А. Б.). Могли его попросить выступить где-нибудь, а он терпеть не мог всяких публичных выступлений» [398].

По дороге из Одессы в Москву они остановились в Киеве, где были 4 мая. Бунин извещал Горького в этот день: «Только сегодня добрались мы до Киева, в Москве надеемся быть завтра» [399].

Из Москвы Бунин должен был вскоре отправиться в деревню, чтобы прожить там лето, но задержался. «…В Москве задержались потому, — писал он Куприну 22 мая 1909 года, — что шли у меня переговоры с одним богатейшим человеком, который втравливает меня в огромнейшее книгоиздание. Возьмусь ли, — еще не знаю: боюсь завязнуть в хлопотах, боюсь, что не сумею сочетать забот с поэзией. Подумаю. И, если не надумаю, основательно засяду за работу» [400].

Однако Бунин не решился принять предложение И. Д. Сытина «редактировать те новые издания, которыми он жаждал „освежить“ свою фирму» [401].

Пятнадцатого или шестнадцатого мая Бунин с Юлием Алексеевичем уехали в Ефремов — повидаться с матерью, которая была очень слаба: болела астмой. Вера Николаевна пока осталась в Москве.

Двадцать первого мая Бунин приехал в Глотово, в июне к нему присоединилась и Вера Николаевна. «Только вчера возвратился в деревню» [402], — писал И. А. Бунин Куприну в цитированном выше письме.

В Глотове он собирал материал для начатой ранее повести «Деревня», которую закончил только в следующем году. Некоторые его записи приводит В. Н. Муромцева-Бунина в «Беседах с памятью»:

«26 мая 1909.

Перед вечером пошли гулять. Евгений, Петя и дьяконов сын пошли через Казаковку ловить перепелов, мы с Колей в Колонтаевку. Лежали в сухом ельнике, где сильно пахло жасмином, потом прошли луг и речку, лежали на Казаковском бугре. Теплая, слегка душная заря, бледно-аспидная тучка на западе, в Колонтаевке цоканье соловьев. Говорили о том, как бедно было наше детство — ни музыки, ни знакомых, ни путешествий… Соединились с ловцами. Петя и дьяконов сын ушли дальше, Евгений остался с нами и чудесно рассказывал о Доньке Симановой и о ее муже. Худой, сильный, как обезьяна,

жестокий, спокойный. „Вы что говорите?“ И кнутом так перевьет, что она вся винтом изовьется. Спит на спине, лицо важное и мрачное».

В этих лицах нетрудно узнать персонажей повести «Деревня» — Молодую и ее мужа Родьку.

«Много было разговоров у Яна с родными, — пишет Вера Николаевна, — что ему хочется написать длинную вещь, все этому очень сочувствовали, и они с Евгением и братьями Пушешниковыми вспоминали мужиков, разные случаи из деревенской жизни. Особенно хорошо знал жизнь деревни Евгений Алексеевич, много рассказывал жутких историй. Он делился с Яном своими впечатлениями о жизни в Огневке, вспоминал мужиков, их жестокое обращение с женщинами. У Евгения Алексеевича был огромный запас всяких наблюдений. Рассказывал он образно, порой с юмором».

Николай Алексеевич Пушешников отметил в дневнике имена крестьян, которых Бунин, по его выражению, «изучал»: «Яков Никитич предмет изучения. В „Деревне“. Лысый, необычайно жадный, кривоносый, богатый мужик. Никогда не отвечал на вопросы прямо, все шутил. Любимая его фраза: „Как сказать?“ Он не мог ни о чем говорить и ни о чем не думал, кроме хозяйственных расчетов. Одет всегда был: в армяк-поддевку и белую, длинную, из мужицкого холста рубаху. На бледном лице кривой розовый нос. Николай Мурогий. Тоже в „Деревне“. Высокий, нескладный. Что-то забавно-детское поблескивало в лице. Сашка Копченка. Нежный овал лица, сероглазая» [403].

Яков Никитич — прототип Якова Микитича, богатого и жадного мужика из Дурновки. Двое других наряду с упомянутыми выше Донькой Симановой и ее мужем, — дали Бунину некоторые характерные черты для Родьки и Молодой.

Прототипом Кузьмы Красова послужил поэт-самоучка Е. И. Назаров. «Озерский кабатчик как-то сказал мне, — пишет Бунин в письме к С. А. Венгерову, — что в Ельце появился „автор“. И я тотчас же поехал в Елец и с восторгом познакомился в базарном трактире с этим Назаровым, самоучкой-стихотворцем из мещан (с которого списан отчасти Кузьма в моей „Деревне“)» [404].

Бунин о себе говорил: «Волка… ноги кормят, а меня лето» [405]. Деревенское уединение, хорошее лето — вот чего всегда хотелось Бунину для плодотворной работы. В унылые, непогодливые дни, при его обостренной впечатлительности и недомоганиях, он с трудом мог удержать себя за письменным столом. Весь июнь шли дожди. Продолжались они и в июле. И писал Бунин, по его признанию, «весьма мало. Пропадаем, —

сообщал он в письме Федорову 30 июня 1909 года, — буквально пропадаем от беспрерывных дождей, грязи и холода. Иногда проснешься ночью — и слышишь шум такого ливня, что вскочишь: шабаш, потоп!» [406].

Только в августе он, по собственному выражению, «кинулся» писать стихи и прозу, — когда наступили хорошие, солнечные дни, и он «хоть немного чувствовал себя сильнее» [407].

В августе Бунин написал «много стихов, проводя все время в маленькой белой комнате рядом с его кабинетом… — пишет Вера Николаевна в „Беседах с памятью“. — У меня записано в моем конспекте этого лета:

…4-го августа написаны стихи „Собака“ — эти стихи навеяны собакой Горького, сибирской породы…

8-го — „Морской ветер“.

13-го —„До солнца“ (позднейшее заглавие „Рассвет“, — А. Б.).

14-го — „Вечер“ и „Полдень“, который его очень веселил.

16-го —…„Сторож“, „Берег“, который мне больше всего нравился.

17-го — „Спор“.

Все это время Ян был в хорошем настроении. По вечерам в поле он читал нам с Колей стихи…» [408].

Не желая отрываться от захватившей его работы над повестью о деревне, Бунин отложил поездку на юг, в Крым, куда собирался 1 сентября.

В сентябре Бунины вернулись в Москву. В. Н. Муромцева-Бунина вспоминает:

«В Москву мы приехали в начале сентября, остановились у моих родителей. В три дня Ян написал начерно первую часть „Деревни“. Иногда прибегал к маме, говорил: „жуть, жуть“, — и опять возвращался к себе и писал» [409].

Написанные главы повести Бунин читал осенью 1909 года в кругу друзей. Вера Николаевна говорит в «Беседах с памятью»: «Ян позвонил к нам по телефону и сказал, чтобы я приезжала с Колей в Большой Московский и захватила рукопись, он там будет читать „Деревню“.

Когда мы вошли в отдельный кабинет, то увидали Карзинкина (брата жены Телешова, тонкий художественный вкус которого Бунин высоко ценил. — А. Б.), Телешова, Белоусова и еще кого-то…

На столе стояли бутылки, вина, закуска.

Ян приступил к чтению и прочел всю первую часть. Читал он хорошо, изображая людей в лицах. Впечатление было большое, сильное. Даже мало говорили» [410].

В Москве Бунин пробыл недолго. В конце сентября он

отправился в Одессу. 25 сентября он сообщал Горькому: «Уезжаю в Одессу. Собрался было дня три тому назад, да напугала Вера: закружилась голова, потемнело в глазах и т. д. Доктора говорят — острое малокровие, переутомилась летом — много училась» [411]. 29 сентября 1909 года Вера Николаевна написала мужу: «Сейчас получили твое третье письмо с дороги…» [412] Почти весь октябрь Бунин провел в Одессе.

Нравилось ему, что здесь по-южному тепло — «совсем лето» [413], как говорит он в письме к Телешову от 4 октября, — что он снова с друзьями, наслаждается их радушием и гостеприимством.

В Одессе был и Куприн. Бунин уговорил Куприна дать рассказ в сборник «Друкарь».

Двенадцатого октября Бунин сообщал Телешову, что «останется здесь, верно, еще с неделю» [414]. Вероятно, в двадцатых числах октября он уехал в Москву, откуда в середине ноября отлучался в Петербург и, по-видимому, 19-го возвратился в Москву. Жил он у Муромцевых, в Столовом переулке, дом 11, недалеко от Поварской.

Академия наук присудила Бунину еще одну Пушкинскую премию. (Две предыдущие он получил за «Гайавату», «Листопад» и другие произведения.)

О третьей было объявлено на заседании Академии 19 октября 1909 года. Академик А. А. Шахматов послал уведомление Бунину 20 октября:

«Имею честь уведомить вас, что представленные вами на 18-е соискание премии имени А. С. Пушкина „Стихотворения 1903–1906 гг.“, том третий (СПб., 1906) — том четвертый. „Стихотворения 1907 г.“, „Годива“, поэма Теннисона. Из „Золотой легенды“ Лонгфелло, „Каин“, мистерия Байрона 1908 г… удостоены императорской Академиею наук неполной премии имени поэта в пятьсот рублей» [415].

Премия была присуждена и Куприну за три тома его сочинений. Он писал Бунину (письмо без даты):

«Судьбе угодно было, чтобы я оттягал от тебя половину Пушкинской премии. Сегодня мне об этом писал Ф. Д. Батюшков…

Я на тебя не сержусь за то, что ты свистнул у меня полтысячи, которую я так же, как и другие, считал у себя в кармане, не зная, что ты вторично представляешь стихи на конкурс. А ты на меня?

Да, я ужасно рад, *что именно мы с тобой разделили* премию Пушкина» [416].

В другом письме он уверял Бунина: «Не будем говорить о размерах наших талантов — это нескромно и преждевременно — но только мы с тобою двое и остались верны дороге наших

великих предшественников, хотя и поем на другой голос, чем они. Уверяю тебя, если бы Академия соединила меня с кем бы то ни было другим, я бы торжественно mit grosse Scandal отказался от премии и обругал бы всех академиков. А теперь мне приятно и целую тебя» [417].

Двадцать седьмого октября 1909 года отмечалось двадцатипятилетие литературной деятельности Н. Д. Телешова. Бунин выступил с приветственным словом и преподнес Телешову альбом с фотографиями членов «Среды» [418]. На квартире Телешова собрались «представители литературы и искусства, периодической печати, книгоиздательств и некоторых благотворительных и общественных учреждений» [419]. Речи говорили: В. Брюсов, П. Боборыкин, И. Сытин, А. Грузинский, Ю. Бунин, И. Попов; В. Короленко прислал приветственную телеграмму.

В 1909 году Бунин был избран почетным академиком. Узнал он об этом из полученной 1 ноября телеграммы. Он рассказывал в письме Федорову 3 ноября 1909 года: «Вечером 1-го сидели у меня гости, и вдруг вбежал Сева (Всеволод Николаевич Муромцев. — А. Б.) с криком: „Телеграмма академику Бунину!“ И действительно, было адресовано: „академику“. Я опешил. Разорвал: „Сердечный привет от товарища по разряду. Котляревский“. Но, повторяю, опешил я и на другой день, когда стали являться ко мне из газет, чувствовал себя странно и неловко. Нынче есть в „Русском слове“… В питерских газетах еще ничего нет, но получил поздравительную телеграмму — от Сологуба!» [420]

Академик А. А. Шахматов официально извещал Бунина об избрании его академиком 4 ноября 1909 года [421].

Петр Александрович Нилус писал Бунину 3 ноября: «Радуюсь от души твоим успехам, радуюсь и тому, что Академия признала, что истинное художество не всегда там, где идет игра под большую публику» [422].

Через несколько дней Бунин и Вера Николаевна уехали в Петербург.

20 ноября Бунин вернулся в Москву, Вера Николаевна осталась в Сосновке, под Петербургом, где она часто гостила у профессора А. Г. Гусакова. «После, — как она писала, — слишком утомительной жизни в Петербурге, в связи с избранием Бунина в Академию» [423], им обоим надо было отдохнуть. 24 ноября Бунин писал Нилусу:

«Дорогой друг, немного беспутный образ жизни вел я последнее время — уж извини за молчание, на этот раз оно довольно простительно. Был, как ты знаешь, в Питере, трепетал

холеры, но — пил, гулял, чествовали меня и пр. Визиты делать товарищам по Академии, слава Богу, не требуется… Приехал сюда дня четыре тому назад — и опять немного загулял, тем более, что Вера осталась гостить под Петербургом… Устал я порядочно, да и смертельно надоело бездельничать, да и чувствую себя нездоровым. Посему очень подумываю об отлете в теплые края, но куда, еще не придумал… По-моему, необходимо мне в самом начале декабря исчезнуть из Москвы — через неделю вытребую сюда Веру и — за сборы. Но куда? куда? Сухое, сухое место надобно…

О Куприне читал вчера в газетах: он уже в Птб… Ни на какую охоту я с ним не поеду — он, конечно, зол на меня ужасно, хотя отлично знает, что я не виноват ни сном, ни духом, что не он оказался академиком» [424].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина писала 27 июля 1957 года:

«В Академии шел вопрос о Куприне. Его не выбрали только потому, что боялись его эксцессов. И Александр Иванович затаил злобу на Ивана Алексеевича, хотя тот не знал даже, что первого ноября выборы, для нас его избрание было совершенной неожиданностью». «А на место Куприна, — говорит в другом письме Вера Николаевна, — избрали тогда Златовратского… что очень огорчило Ивана Алексеевича. Ведь по таланту Златовратского нельзя было сравнивать с Куприным, хотя в какие-то годы он имел большой успех» [425].

Нилус спрашивал Бунина:

«Правда ли, что Куприн и Андреев не поздравили тебя?» [426]

Размолвки не мешали Куприну по-настоящему ценить редкий художественный дар Бунина. Он постоянно восхищался его стихами и прозой, видел в Бунине одного из лучших писателей своего времени. В письме (без даты) к Бунину, относящемся к 1908–1909 годам, он говорит:

«Милый мой, дорогой и прелестный Гаврюшка! Если я тебя чем обидел — прости великодушно. Ты знаешь: одного тебя из писателей люблю я крепко и нелицемерно, чту твой тонкий аристократический талант, как никто, и горжусь твоей дружбой до того, что ревную тебя» [427].

Куприн говорил, что Бунин принадлежит к художникам, «приобщенным к идеалу всей русской литературы». По словам автора «Поединка», «Бунин тонкий стилист, у него громадный багаж хороших, здоровых, метких, настояще-русских слов: он владеет тайной изображать, как никто, малейшие настроения и оттенки природы, звуки, запахи, цвета, лица; архитектура его фраз необычайно разнообразна и оригинальна; богатство

определений, уподоблений и эпитетов умеряется у него строгим выбором, подчиненным вкусу и логической необходимости; рассказ его строен, жив и *насыщен*; художественные трудности кажутся доступными непостижимо легко… И многое, многое другое» [428].

Писателем «большой талантливости» [429] для Бунина был Куприн. Лучшими его произведениями он считал «Конокрады», «Болото», «На покое», «Лесная глушь», «Река жизни», «Трус», «Штабс-капитан Рыбников», «Гамбринус», «чудесные рассказы о балаклавских рыбаках» и даже «Поединок» или начало «Ямы» [430]. Он вспоминал о Куприне:

«Я поставил на него ставку тотчас после его первого появления в „Русском богатстве“…

Странно вообще шла наша дружба в течение целых десятилетий: то бывал он со мной нежен, любовно называл Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся, даже трезвый: „Ненавижу, как ты пишешь, у меня от твоей изобразительности в глазах рябит. Одно ценю, ты пишешь отличным языком, а кроме того, отлично верхом ездишь. Помнишь, как мы закатывались в Крыму в горы?“ Про хмельного я уж и не говорю: во хмелю, в который он впадал, несмотря на все свое удивительное здоровье, от одной рюмки водки, он лез на ссоры чуть не со всяким, кто попадался ему под руку. Дикая горячность его натуры была вообще совершенно поразительна, равно как и переменчивость настроений…

Первые годы нашего знакомства чаще всего мы встречались в Одессе, и тут я видел, как он опускается все больше и больше, дни проводит то в порту, то в самых низких кабачках и пивных, ночует в самых страшных номерах, ничего не читает и никем не интересуется, кроме портовых рыбаков, цирковых борцов и клоунов…

Потом в жизни его вдруг выступил резкий перелом: он попал в Петербург, вошел в близость с литературной средой, неожиданно женился на дочери Давыдовой, в дом которой я ввел его, стал хозяином „Мира Божьего“… жить стал в достатке, с замашками барина, все больше делаясь своим человеком и в высших литературных кругах, главное же стал много писать и каждой своей новой вещью завоевывал себе все больший успех» [431].

Нравилось Бунину то безразличие к своей славе, с каким Куприн относился к ней даже в ту пору, когда мало уступал в ней Горькому, Андрееву, Шаляпину. «Казалось, — пишет Бунин, — что он не придает ей ни малейшего значения» [432].

Дружески встречались они и в эмиграции.

Александр Иванович подарил Бунину свою фотографию с надписью: «И. А. Бунину — А. Куприн с любовью» [433].

К 1908–1909 годам — ко времени сотрудничества Бунина в «Северном сиянии» — относится, по его свидетельству, знакомство с А. Н. Толстым. «Я редактировал тогда, — писал он, — беллетристику в журнале „Северное сияние“… И вот в редакцию этого журнала явился однажды рослый и довольно красивый молодой человек, церемонно представился мне („граф Алексей Толстой“) и предложил для напечатания свою рукопись под заглавием „Сорочьи сказки“, ряд коротеньких и очень ловко сделанных „в русском стиле“, бывшем тогда в моде, пустяков. Я, конечно, их принял, они были написаны не только ловко, но и с какой-то особой свободой, непринужденностью (которой всегда отличались все писания Толстого). Я с тех пор заинтересовался им…» [434]

«Сказки» в «Северном сиянии» напечатаны не были, — возможно, потому, что на восьмом номере издание журнала прекратилось.

«После нашего знакомства в „Северном сиянии“, — пишет Бунин, — я не встречался с Толстым года два или три: то путешествовал с моей второй женой по разным странам, вплоть до тропических, то жил в деревне, а в Москве и в Петербурге бывал мало и редко. Но вот однажды Толстой неожиданно нанес нам визит в той московской гостинице, где мы останавливались („Лоскутной“. — А. Б.), вместе с молодой черноглазой женщиной типа восточных красавиц, Соней Дымшиц, как называли ее все…» [435] Они потом встречались и в России, и во Франции, переписывались. Бунин отзывался о нем как о талантливом писателе.

О романе А. Н. Толстого «Петр Первый» Бунин говорил Г. Н. Кузнецовой, что эта книга нравится ему, хотя «Петра видит мало, зато прекрасен Меншиков и тонка и нежна прелестная Анна Монс». «Все-таки это остатки какой-то богатырской Руси, — говорил он о А. Н. Толстом. — Он ведь сам глубоко русский человек, в нем все это сидит. И, кроме того, большая способность ассимиляции с той средой, в которой он в данное время находится» [436]. «Петр» — «очень талантлив» (Дневн. 3. I. 41). Наиболее полно он очертил противоречивую личность автора «Петра Первого» в воспоминаниях «Третий Толстой»[437].

Бунин прожил в Москве конец 1909 года, январь и большую часть февраля 1910-го, отлучаясь в феврале в Ефремов к больной матери.

Двадцать четвертого декабря 1909 года, по приглашению Общества деятелей периодической печати, он участвовал в открытии комнаты Чехова в санатории Н. А. Вырубова и А. Г. Хрущева, близ станции Крюково Николаевской железной дороги. Здесь были Иван Павлович и Мария Павловна Чеховы, писатели и театральные деятели: С. С. Голоушев, Н. Е. Эфрос, А. И. Сумбатов, С. Н. Мамонтов, В. И. Немирович-Данченко, П. А. Сергиенко, О. Л. Книппер и другие.

Семнадцатого января 1910 года Художественный театр отмечал пятидесятилетие со дня рождения Чехова. В. И. Немирович-Данченко обратился к Бунину с просьбой прочесть его воспоминания о Чехове. «Художественный театр, — писал ему Немирович-Данченко 11 января 1910 года, — к вам с низкой просьбой: прочесть 17-го утром о Чехове. Немного. Минут 15–20» [438].

На чеховском празднике присутствовал цвет московского общества. В. И. Немирович-Данченко, открывавший торжества, произнес речь о роли Чехова в Художественном театре. Затем О. Л. Книппер, В. И. Качалов, К. С. Станиславский, И. М. Москвин и Л. М. Леонидов прочли первый акт пьесы Чехова «Иванов».

Во втором отделении выступил Бунин. Он вспоминал впоследствии: «Художественный театр отметил пятидесятилетие со дня рождения Антона Павловича литературным утренником, на котором выступал я со своими воспоминаниями. Это было 17 января 1910 года.

Театр был переполнен. В литерной ложе с правой стороны сидели родные Чехова: мать, сестра, Иван Павлович с семьей, вероятно, и другие братья, — не помню.

Мое выступление вызвало настоящий восторг, потому что я, читая наши разговоры с Антон Павловичем, его слова передавал его голосом, его интонациями, что произвело потрясающее впечатление на семью: мать и сестра плакали.

Через несколько дней ко мне приезжали Станиславский с Немировичем и предлагали поступить в их труппу» [439]. (Станиславский предлагал Бунину роль Гамлета в новой постановке трагедии Шекспира [440].)

Восемнадцатого января состоялось «чеховское утро» в университете; было много профессоров и представителей литературного мира; среди присутствующих находились И. П. Чехов и Н. Н. Златовратский. С чтением чеховских произведений выступали И. М. Москвин и В. И. Качалов. Бунин читал свои воспоминания, а также рассказ Чехова «В усадьбе» [441].

Чуть ли не на другой день после чеховского праздника в Художественном театре «мы, — пишет В. Н. Муромцева-

Бунина, — обедали у Ольги Леонардовны Книппер… Там я познакомилась и с Марьей Павловной Чеховой, она пригласила нас в следующее воскресенье к себе на обед.

У нее собрались все родственники, жившие в Москве. Среди молодого поколения был сын Александра Павловича, Миша, ученик Художественного театра, поразивший нас талантливостью жестов. Они с сыном Ивана Павловича, студентом Володей, прощаясь в передней, что-то изображали шляпами и так забавно, что мы, глядя на них издали из столовой, не могли удержаться от смеха…

Через несколько лет мы видели Мишу в „Первой студии Художественного театра“, в пьесе, переделанной из рассказа Диккенса „Сверчок на печи“. Игра его взволновала нас до слез. Иван Алексеевич пришел в полный восторг. А в 1915 году, 14 декабря, он смотрел его в „Потопе“ (шведского драматурга Бергера. — А. Б.) и с восхищением передавал его игру, предсказывая, что „из него выйдет большой артист“.

Мать Марьи Павловны, Евгения Яковлевна, по словам Яна, очень состарилась за эти годы. Они обрадовались друг другу, как родные. Она всегда любила его» [442].

В эти же дни Бунин присутствовал при чтении Л. Н. Андреевым пьесы «Дни нашей жизни». Читал Андреев на одной из «Сред» у Телешова. Пьеса всем понравилась. «Ян тоже, — пишет В. Н. Муромцева-Бунина, — хвалил пьесу, за что Андреев его не раз упрекал, говоря, что он хвалил ее потому, чтобы унизить его символические драмы… Но Ян был искренен, он находил в пьесе художественные достоинства».

Двадцать седьмого января Бунин вместе с братом присутствовал на «Среде» при чтении Андреевым пьесы — «Gaudeamus». Бунин довольно холодно относился к Андрееву как писателю. В 1910 году он говорил корреспонденту газеты «Одесский листок»: «Как знают читатели, я никогда не был в восторге от нынешних модных писателей, а в том числе и от г. Л. Андреева. Когда я писал о произведениях г. Л. Андреева, что они туманны и хаотичны, не художественны и бессодержательны, некоторые из господ читателей осыпали меня строгими нотациями… Заблуждение публики не может быть бесконечным. Публика скоро отрезвилась…» [443]

В этот период Бунин — противник всевозможных модернистских течений в искусстве — не раз отмечал, что публика постепенно перестает интересоваться так называемыми «новыми» течениями в литературе — модернистами, символистами, и предпочитает им писателей реалистического направления.

И действительно, спрос на книги писателей новейших течений в начале 1910-х годов был невелик. Как свидетельствовали «Известия книжных магазинов товарищества М. О. Вольф по литературе, наукам и библиографии», «сборники стихотворений новейших поэтов не находят совершенно покупателей. В библиотеках их не спрашивают, в то время как старые поэты не только в спросе, но этот спрос на „старых“ увеличивается из года в год» [444].

О понизившемся интересе публики к писателям-модернистам свидетельствовала и анкета «Вестника литературы» и «Известий книжных магазинов…». Объясняя это, журнал «Известия…» писал о читателях, отнесшихся отрицательно к «новейшей русской поэзии»:

«Мотив их один и тот же — оторванность поэзии от реальной жизни, декадентщина, испорченный русский язык, напыщенность содержания и уродливость, за редкими исключениями, формы» [445].

Шестого февраля 1910 года праздновался тридцатилетний юбилей «Русской мысли», чествовали основателя и издателя журнала В. М. Лаврова. «В Литературном Кружке, — пишет Вера Николаевна, — был банкет, на котором мы присутствовали», — Бунин много лет был сотрудником «Русской мысли». На банкете в большом зале собрались видные литераторы и деятели театра, речи говорили А. Е. Грузинский, В. И. Немирович-Данченко, артист Н. В. Давыдов и другие.

В начале 1910 года Бунин много и напряженно работал над корректурами шестого тома своих сочинений, выпускавшихся на этот раз не «Знанием», а издательским товариществом «Общественная польза» в Петербурге.

Много сил Бунин отдавал повести «Деревня», которую считал одним из значительнейших своих произведений.

Мария Карловна Куприна, желая получить «Деревню» для «Современного мира», послала Бунину в начале 1910 года телеграмму:

«Не отдавайте повести никому до переговоров с нами» [446].

Бунин писал Нилусу 2 февраля 1910 года из Москвы: «Был в Петербурге — продал повесть Марье Карловне за очень хорошую цену. Перебила у „Шиповника“ — и „Шиповник“ почти поссорился со мною. Продал книгоиздательству „Общественная польза“ свой шестой том… „Знание“ меня вывело из терпения своей медлительностью. „Просвещение“ ведет со мной переговоры — покупает навек мои сочинения. Прошу семьдесят тысяч за девять томов. До 10–15 февраля остаюсь в Москве» [447].

Первую часть Бунин отослал в «Современный мир» 10

февраля. Вскоре он уехал в Одессу. 20 февраля 1910 года он писал М. К. Куприной:

«Дорогой друг, вчера послал вам корректуру „Деревни“… Простите, что немного запоздал, — я был в Ефремове, в Тульской губ. — очень больна моя мать. Разбит я вдребезги и посему оставаться в Москве, во тьме и холоде, не могу — завтра выезжаем в Одессу, где я и засяду писать. (Взяли заграничные паспорта, но хочу предварительно посидеть в Одессе, с месяц, — боюсь, что за границей уж очень трудно будет за письменным столом.)» [448].

В Одессе остановились у Нилуса (Княжеская, 27), а затем переехали в «Бристоль».

Нилус, прочитав «Деревню» по корректуре, поместил о ней заметку в газете «Одесские новости» (1910, № 8064, 13/26 марта) «Новая повесть И. А. Бунина». Он написал, что на днях в «Современном мире» появится начало повести Ивана Бунина «Деревня», и кратко характеризовал это произведение.

Первая часть была напечатана в мартовской книге «Современного мира», следующие Бунин рассчитывал дать на апрель и май. Но продолжение в этих номерах журнала не появилось. Бунин просил Н. И. Иорданского, издававшего вместе с М. К. Куприной «Современный мир», отложить печатание «Деревни» до сентября. В четвертом номере редакция журнала сообщала читателям: «По желанию автора печатание повести И. А. Бунина „Деревня“ переносится на осень».

Вера Николаевна Муромцева-Бунина вспоминала об этом пребывании в Одессе: «Ранняя одесская весна. Мы, по пути в Алжир, гостим в этом чудесном городе, где ежегодно проводим несколько недель. В Одессе у Ивана Алексеевича много приятелей, среди них Юшкевич. Юшкевич в радостном настроении. Художественный театр принял к постановке его пьесу „Miserére“ — и ему очень захотелось познакомить близких ему людей со своей новинкой. „В награду за слушание“ он обещал угостить „настоящим еврейским обедом“… Пьеса всем понравилась» [449].

Без конца спорили об Игоре Северянине, которым некоторые тогда увлекались, он незадолго перед этим был в Одессе.

В двадцатых числах марта 1910 года Бунин и Вера Николаевна отправились за границу, 21-го прибыли в Вену — письмо Н. А. Пушешникову из Вены помечено 3 апреля (21 марта) 1910 года [450], оттуда — через Милан в Геную.

Двадцать девятого марта они были на юге Франции — в Ницце. Вера Николаевна вспоминает:

«На следующий день мы отправились на могилу Герцена. Она

находится как раз над нашим отелем, который и до сих пор, кажется, существует. Дорога к могиле приятная, идет не то парком, не то лесом. Я очень увлекалась в те годы Герценом, как и всеми его современниками. Ян тоже ценил его, а потому это походило на паломничество, и мы долго молча стояли над могилой…

Прожив в Ницце десять дней, мы уехали в Марсель, чтобы оттуда пойти в Оран.

Марсель поразил криком, сутолокой, движением. Пробыли мы там сутки: узнали, что на другой день уходит в Оран пароход, успели подняться на фуникулере к Санта Мадонне…» Отплыли 3/16 апреля.

В Алжире, в городе Оране, Бунин и Вера Николаевна находились 6/19 апреля (открытка Бунина Н. И. Иорданскому датирована: «Оран, 19 avr., 1910 г.» [451]), в течение одних суток. Алжир удивил их красотой. «Мы, — пишет Вера Николаевна, — знали его по Лоти, которого очень ценили и любили. Ян всегда повторял: „Как он умеет передать душу страны! Редкий писатель!“»

В Сахаре они остановились в оазисе Бискра, где пробыли семь дней. Отсюда 13/26 апреля Вера Николаевна писала брату Д. Н. Муромцеву: «Мы — в пустыне, дорогой Митя. Сегодня ездили к песчаным дюнам» [452]. То, что они были в Бискре, видно из письма Бунина, который в тот же день писал неизвестному лицу: «Поклон из Сахары! 26/13 апреля 1910 г. Бискра» [453].

В глубь пустыни Бунин и Вера Николаевна ездили на лошадях, верст за десять — пятнадцать.

Оставаться в Бискре было невозможно из-за жары и знойного ветра сирокко, боялись также заразиться местной болезнью, при которой тело покрывается нарывами.

Из Бискры они поехали в Константину. Бунина восхитил живописный вид этого арабского города, расположенного в горах.

В дальнейшем Бунины отправились на небольшом итальянском пароходе из Туниса в Сицилию, в город Маццаро. Море угрожающе бушевало. Жесточайший шторм бросал старое суденышко, как щепку, и оно вынуждено было отстаиваться на якоре у дикого берега в какой-то бухте. После двух суток плавания в открытом море — вместо двенадцати часов, необходимых для пути, — пароход с трудом нашел приют в очень древнем порту в Сицилии — Порто-Эмпедокло. Здесь внимание Бунина привлекли руины древнегреческого храма.

Из Сицилии они вскоре отбыли в Неаполь, а оттуда — на Капри, к Горькому, у которого «гостили две недели», начиная с 22 апреля (5 мая).

Распрощались с Горьким и с Капри 8/21 мая. 15/28 мая 1910 года Горький писал Е. П. Пешковой: «Бунин уехал 21-го» [454].

На обратном пути, от острова до Неаполя, их сопровождали Горький и М. Ф. Андреева, пробывшие в Неаполе вместе с ними два дня. В конце путешествия побывали в Афинах, Смирне (Измире) и Константинополе. 10/23 мая Бунин сообщал Н. И. Иорданскому с парохода «Senegal», находившегося в Ионическом море: «Возвращаемся в Россию, напишите, пожалуйста, в Москву (Столовый, дом Муромцева), что говорят о „Деревне“» [455]. В Одессу они прибыли 18 мая ст. ст.

Здесь задержались один день, два — в Москве и уехали в деревню, чтобы провести там все лето. По дороге заехали в Ефремов, к матери.

«После Москвы, — писал Бунин Горькому 15 июня 1910 года из Глотова, — жил на торчке в Ефремове, при матери, — ей все хуже, — потом искал дачу под Ефремовом, ездил под Елец, в Липецк, ибо сестра (С. Н. Пушешникова, двоюродная сестра. — А. Б.), у которой обычно провожу лето, тоже больна, — страхом смерти, — хотел снова ехать на юг, так как Вере прописано морское купание… Кончилось все это прежней обителью, но надолго ли? По всей России — холера, льют ледяные дожди» [456].

Бунин надеялся в Глотове закончить «Деревню», продолжения которой ждал «Современный мир». Он жалел, что запродал повесть, лучше было бы написать, говорил он, «несколько портретов мужиков»; с ним не соглашались.

В указанном выше письме Горькому он говорит, что работать «еще не начал, дни провожу пока за чтением». Читал Толстого, который захватил его необыкновенно; он писал Нилусу 10 июня о «Воскресении»: «Это одна из самых драгоценных книг на земле».

Долго в деревне он не засиделся: появилась холера, «было несколько смертей и заболеваний, — писал Ю. А. Бунин своей знакомой Елизавете Евграфовне 7 июля 1910 года… — Прибыл санитарный отряд. Оставаться оказалось, конечно, невозможным. Поэтому я, Ваня, Вера Николаевна и один из моих племянников уехали оттуда, и сейчас мы в Ефремове… Здесь в Ефремове положение крайне тяжелое: мать в совершенно безнадежном состоянии, она вся опухла, пульс то сорок, а через минуту более ста, она почти не может двигаться» [457].

К умирающей матери был вызван в начале июля Евгений Алексеевич из Петербурга, где он совершенствовался в живописи. Мария Алексеевна и жена Евгения Алексеевича Настасья Карловна ни днем ни ночью не отходили от больной.

В середине июля Людмила Александровна скончалась. Юлий Алексеевич писал Елизавете Евграфовне 19 июля 1910 года:

«Дорогая моя, вчера похоронили нашу мать. Она скончалась в ночь с 15-го на 16-е июля. Последние дни она почти все время была в бессознательном состоянии. На похоронах было много народа; сегодня поразъехались, — между прочим, уехала в Орел Маша с мужем и детьми… Я через несколько дней уеду в Москву» [458].

В день смерти матери И. А. Бунин в Ефремове не был. «Из всех нас, — писал Юлий Алексеевич Елизавете Евграфовне 1 августа 1910 года, — отсутствовал при кончине матери Ваня, уехавший в Москву, так как говорит, что совершенно не выносит таких событий. К тому же ему совершенно необходимо окончить повесть в августе, и он работает не вставая» [459]. Уехал Иван Алексеевич 10 июля.

Шестнадцатого июля Бунин писал Е. И. Буковецкому: «В Москве изнурили дожди и тревога за мать, и усилия — работать: ведь до зарезу нужно! Нынче рано утром получил от братьев телеграмму, что мать скончалась» [460].

Смерть матери, по словам Бунина, «весьма пристукнула» его [461] (письмо М. В. Аверьянову 28 июля 1910 года). Чувствовал он себя очень скверно, но продолжал работать. 20 августа он писал Горькому, отвечая на его письмо: «Вот уж по-истине не умею сказать, как тронуло нас ваше участие к нам!» [462] «Тронул» сочувственный отклик Горького в тяжелые для Бунина дни.

Месяц, прожитый в Москве, Бунин работал с исключительным напряжением, «писал часов по пятнадцати в сутки, боясь оторваться даже на минуту, боясь, что вдруг потухнет во мне, — говорит он в письме к Горькому, — электрическая лампочка и сразу возьмет надо мной полную силу тоска, которой я не давал ходу только работой. А потом это напряжение привело меня к смертельной усталости и сердечным припадкам до ледяного пота, почти до потери сознания.

…Повесть я кончил (считаю, что погубил, ибо сначала взял слишком тесные рамки, а последнее время было чересчур тяжко работать)…» [463].

Много значило для Бунина в это тяжелое время то, что рядом была Вера Николаевна. Вспоминая этот трудный для них год, Вера Николаевна писала Бунину 9 сентября 1912 года: «Никто, кроме меня, не умеет тебя успокоить. Ведь ты помнишь в годы, когда ты писал вторую часть „Деревни“, и холера в Москве была, и горе большое у тебя было, я сумела так тебя лелеять, что ты чувствовал себя, насколько при данных условиях было можно, хорошо…» [464]

Об этом периоде их жизни В. Н. Муромцева-Бунина писала 23 июля 1957 года: из Ефремова «мы с Иваном Алексеевичем уехали

в Москву: мать настаивала, чтобы он не присутствовал во время ее кончины, так как всякая смерть на него действовала ужасно, и она это знала, знала, что он с детства боялся потерять ее.

Вскоре после нашего приезда в Москву пришла роковая телеграмма. Мы жили вдвоем в нашем особнячке в Столовом переулке. Иван Алексеевич по 12 часов в день писал „Деревню“, вторую часть, никого не видел, только по вечерам мы ходили гулять по переулкам».

Мария Карловна Куприна и Н. И. Иорданский, боясь задержать ближайшие номера журнала, торопили Бунина. Возвратившись в августе из-за границы, Иорданский просил рукопись «Деревни» и писал: «Присылайте поскорее, и тогда мы сделаем усилие, чтобы вместить окончание в октябре. Видели мы Горького; он очень тепло говорил о вас и Вере Николаевне и очень хвалил „Деревню“» [465].

В конце августа Бунин уехал в Глотово.

Двадцать третьего августа он писал Е. И. Буковецкому:

«Измучился я в Москве. Приехав сюда (в Глотово. — А. Б.), надеялся немного отдохнуть, перечитать со свежей головой вторую часть своей злосчастной повести и отослать ее, а вместо того захворал гриппом. Теперь поправляюсь» [466]. В тот же день он писал Иорданскому, что «думал отдохнуть от работы, тоски, Москвы, дождя, колокольного звона, а вместо того захворал гриппом. Это задерживает высылку „Деревни“: надо ее перечитать в бодром, ясном настроении, а у меня шум и звон в голове» [467].

Второго сентября 1910 года рукопись была отправлена в «Современный мир». Потом, от усталости, Бунин «дня два был в полном изнеможении» [468].

10 сентября Бунин уехал из деревни в Петербург — «за получкой с „Современного мира“ и за продажей книги» [469]. По пути он остановился в Москве. На собрании «Среды» читал «Деревню».

«Наш журнал» сообщал 19 сентября (1910, № 3): «На днях Иван Алексеевич в кругу своих близких друзей прочел вторую часть „Деревни“. Повесть произвела на слушателей сильное впечатление. Несомненно, это новый богатый вклад в сокровищницу русской литературы».

По приезде Бунина в Петербург издательство «Просвещение» вступило с ним в переговоры об издании его собрания сочинений. Издатель Лев Цетлин предлагал сорок тысяч и по пятьсот рублей за лист будущих произведений, с тем чтобы все они печатались в этом издательстве, — условия, подобные кабальному договору Чехова с А. Ф. Марксом. Бунин, слишком много испытавший тягостных забот о завтрашнем дне, готов был согласиться. Но все

же из этих переговоров ничего не вышло: измученный «изнурительным негодяем Цетлиным», который, выторговывая выгодные для себя условия, по словам Бунина, тысячу раз «соглашался на то или другое — и на другой день отказывался от своего согласия» [470], Бунин отказался от этого предложения.

В последних числах октября Бунин с женой переехали в Сосновку — под Петербургом, гостили там у А. Г. Гусакова. Жили там и в ноябре.

Здесь Бунин услышал о смерти Л. Н. Толстого. 13 ноября 1910 года он писал Горькому: «Утром профессор Гусаков, у которого мы с Верой гостим, вошел и сказал (о Толстом): „Конец“. И несколько дней прошло для меня в болезненном сне. Беря в руки газету, ничего не видел от слез. Не могу и теперь думать обо всем этом спокойно…

Смерть Толстого как будто взволновала публику, молодежь, но не кажется мне это волнение живым. Равнодушие у всех ко всему — небывалое. А уж про литературу и говорить нечего. До толков о ней даже не унижаются» [471].

Через много лет после этого, будучи в эмиграции, Бунин вспоминал: «До сих пор помню тот день, тот час, когда ударил мне в глаза крупный шрифт газетной телеграммы:

— Астапово, 7 ноября. В 6 часов 5 минут утра Лев Николаевич Толстой тихо скончался.

Газетный лист был в траурной раме. Посредине его чернел всему миру известный портрет старого мужика в мешковатой блузе, с горестно-сумрачными глазами и большой косой бородой. Был одиннадцатый час мокрого и темного петербургского дня. Я смотрел на портрет, а видел светлый, жаркий кавказский день, лес над Тереком и шагающего в этом лесу худого загорелого юнкера…» [472] — Дмитрия Оленина («Казаки»).

В октябре Нилус писал Бунину о его «Деревне» как о большой творческой удаче: «Прочел с удовольствием, хотя продолжение чуть жиже начала, но это не важно, главное — дух земли, крепкий, настоящий. Только этим и живо художественное произведение. Только *количеством* наблюденного и оценивается работа художника. Я прочел залпом, не отрываясь, второй кусок повести; пока трудно судить в общем, в связи с началом, но отдельные места из странствий Кузьмы превосходны, особенно меня поразили соловьиная ночь в слякоть, тасканье по постоялым дворам, трактирам, грязь, мерзость, ночевки не раздеваясь, старчество Кузьмы, все эти чудесные штрихи. Когда будешь выпускать отдельным изданием, ты обязан все пересмотреть, вновь покрепче связать каркас, может быть, местами перестроить.

Очень нужна черта, объясняющая взгляд Кузьмы на мерзость запустения русской жизни. Пусть он разок побывает за границей, где-нибудь в Кенигсберге с зерном, лошадьми, или Черновице, хотя возможно недовольство и живя в России, но и прочее… Ведь и мы с тобой поняли нашу грязь только после резкой заграничной оплеухи» [473].

Седьмого ноября 1910 года Нилус снова писал Бунину: «Прочитал последний кусок „Деревни“. Опять много золота. Хорошо болеет Кузьма, хорошо умирает старик, празднуется свадьба» [474].

Высоко оценил повесть Горький.

«Это — произведение, — писал он М. К. Иорданской в 1910 году, — исторического характера, так о деревне у нас еще не писали» [475].

Самому Бунину Горький писал в декабре 1910 года: «Так глубоко, так *исторически* деревню никто не брал… Я не вижу, с чем можно сравнить вашу вещь, тронут ею — очень сильно. Дорог мне этот скромно скрытый, заглушенный стон о родной земле, дорога благородная скорбь, мучительный страх за нее — и все это — ново. Так еще не писали. Превосходна смерть нищего, у нас бледнеют и ревут, читая ее. Дивная черта — „тень язычника“! Вы, может быть, и сами не знаете, как это глубоко и верно сказано»[476].

В конце 1910 года Бунин с женой отправились в дальнее плавание: в Египет, на Цейлон, надеялись побывать в Японии.

Комитет Добровольного флота выдал Бунину 8 декабря 1910 года в Москве рекомендательные письма, адресованные его представителям в Гонконг, Сингапур, Шанхай и Нагасаки:

«Позволяем себе рекомендовать вашему вниманию предъявителя сего письма, господина почетного академика Ивана Алексеевича Бунина, отправляющегося с научной целью на одном из пароходов Добровольного флота на Дальний Восток.

Покорнейше просим оказать ему всякое с вашей стороны содействие и предоставить на пароходе возможное удобство в отношении помещения» [477].

Недолго задержались в Одессе. Корреспондент газеты «Одесские новости» спрашивал Бунина о Толстом, о «последних новостях и течениях в области литературы» и о предстоящей поездке. Бунин сказал:

«Настоящая зима в области литературы оказалась на редкость бесцветной. В прошлом году говорили, по крайней мере, много о порнографии, теперь же даже и о порнографии перестали говорить. Одно лишь с несомненной и чрезвычайной ясностью вырисовывается — это резкий поворот симпатий как

литературных, так и читательских кругов в сторону реализма. Вот вам маленький, но характерный фактец. Незлобии потребовал от Сологуба, чтобы тот вытравил из своего „Мелкого беса“ все места, отдающие мистицизмом… Вообще, публике надоела вся эта чертовщина, укрепившаяся было в нашей литературе. Лично я, конечно, приветствую этот поворот, как симптом оздоровления читательского настроения.

Что касается меня, то ныне я работаю над романом, размером „Деревни“, посвященным жизни интеллигентных кругов обеих столиц. Когда я закончу это произведение и где его напечатаю, еще сам не знаю…

Маршрут мой приблизительно таков: отсюда еду в Порт-Саид, оттуда в Египет, где пробуду больше месяца. К тому времени прибудет следующий пароход Добровольного флота, на котором поеду в Люксор, Ассуан. Быть может, заеду также в Нубию. Оттуда вернусь в Порт-Саид и направлюсь на остров Цейлон, где пробуду месяц. Затем в маршрут входят Индия, Сингапур и, как конечный пункт, Нагасаки. Из Японии вернусь обратно в Россию. В пути я буду делать заметки, и путевые впечатления, вероятно, послужат материалом для особого труда» [478].

Пятнадцатого декабря 1910 года Бунин получил билеты на пароход «Владимир» и вместе с Верой Николаевной в этот день отплыл из Одессы на Константинополь [479], куда они прибыли 17 декабря и оставались там до следующего дня.

Семнадцатого декабря Бунин писал Горькому:

«По просьбе Академии, дал мне Комитет Добровольного флота проезд до Владивостока и обратно с платой только за пропитание — и вот не устоял я, не смог устоять. Я прямо-таки мучился, истинно разорваться хотелось — и на Капри попасть, и заветнейшую свою мечту осуществить; решался даже отложить это плавание до осени, но, увы, и Индийский океан, и Китайские моря выносимы только зимою, да и слишком уж упорно уговаривал меня доктор побыть в жарких странах в рассуждении моих недугов. Все же только в Одессе, только 14-го, накануне отплытия, твердо сказал я себе, что отлагаю Капри до весны…

Плывем мы теперь на Бейрут, из Бейрута — в Порт-Саид. В Порт-Саиде простимся с „Владимиром“ и поедем в Каир, Люксор, Ассуан — аж до Хартума в Нубии. В Порт-Саид надеемся вернуться к самому концу января, к пароходу Добровольного флота, выходящему из Одессы 25 января, и двинемся на Цейлон, Японию» [480].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина сообщала неизвестному лицу (письмо начато 17-го, окончено 22 декабря 1910 года):

«Идем по Босфору… Народ все простой. Все

перезнакомились. Черное море, которого я боялась, мы прошли вполне благополучно… В Константинополе пробудем до завтрашнего дня. Отход назначен в 5 ч. вечера. Может, сойдем на берег и еще что-нибудь посмотрим, чего не видали… Совершенно для нас неожиданно мы заходим в Бейрут, там мы были в первое наше путешествие… Пишите в Каир — на имя Яна: Jean de Bounine, poste-restante.

Мы думаем в Египте провести месяц с лишком, но где обоснуемся, еще не решили, может, Гелуане, может, Луксоре, может, в Ассуане. Это будет зависеть, во-первых, от погоды, а во-вторых, от отелей. Сейчас сезон в самом разгаре в Египте, а поэтому, может, трудно будет подыскать по вкусу комнату, если не хочешь платить бешеных сумм. Возвратились из Константинополя на пароходе. День был редко прелестный. На солнце было даже жарко. Странно лишь, что солнце так рано садится! — сегодня пришли в Бейрут. Погода чудесная» [481].

О пребывании в Ливане писал также Бунин Юлию Алексеевичу 23 декабря из Бейрута, где, по его словам, «ни один самый лучший день нашего лета не сравнится с этими двумя днями, что мы в Бейруте… Нынче едем в Порт-Саид» [482].

В Порт-Саиде Бунин заболел; пришлось высадиться и отправиться в Гелуан. Из Гелуана он писал брату 30 декабря 1909 года (12 января 1910 года):

«Милый Юлий, в Черном море прошли очень спокойно, от Константинополя до Бейрута качало, но плавно, широко — и волна была хорошая, да и пароход огромный, сильно нагруженный. Из Бейрута я писал тебе — открытку. Чувствовал я себя недурно, но побаливала порою какая-то <точ>ка в животе… В Сочельник мы подходили к Порт-Саиду, я глядел на приближающиеся огни его и вдруг почувствовал в вышеуказанном месте боль нестерпимую. Ел я все предыдущие дни много, аппетит в море увеличился, еда была очень вкусная и тяжелая, и я подумал, что это от засорения желудка… Боль схватила такая (и в вышеуказанном месте и напротив — в почке), что я чуть не потерял сознания. Добрался до каюты и, обливаясь ледяным потом, стал орать… Был фельдшер пароходный, доктор из Порт-Саида (санитарный, ибо мы стали в карантин), был доктор-турок, плывший с нами (с солдатами из Сирии, которых мы везли в Джедду) — никто ни кляпа не понял, а боль была такая, что прерывался пульс. Стали делать припарки, делали почти всю ночь — и боль стихла. На другой день был слаб страшно. Вечером 25-го вышли в Суэц, пришли туда 26-го утром. 26-го вечером мы прибыли в Каир, на другой день переехали в Гелуан. 26-го вечером снова была боль, но уже далеко не такая, поставил

грелку, полежал в вагоне — прошло. Потом не болело дня два, нынче снова побаливает — почти весь день… Был здесь у доктора Рабиновича — говорит: сдвинута почка, предлагает ехать в Каир, в рентгеновский кабинет. Подумаю…

Живем на окраине этого маленького, чистенького плоскокрышего городка, на вилле, снимаемой одесской еврейкой под маленький санаториум. Больных тут всего трое, но они внизу, а мы наверху, совсем одни. Вид у нас на юг, запад и север, на всю долину Нила и на все пирамиды. Хлопочет угодить нам еврейка страшно — благодаря моей знаменитости. Платим ей очень дешево — шесть рублей в сутки за двоих. Дорого здесь везде ужасно. Два хороших отеля есть — там за двух надо платить двадцать рублей в сутки. Погода была сперва как у нас в июле, нынче серо, но можно ходить в летнем пальто» [483].

Бунин и Вера Николаевна пробыли в Египте «больше шести недель, побывав в Каире, хорошо с ним ознакомились, потом отправились по железной дороге в Луксор, после — в Фивы; жили некоторое время на Суэцком канале в ожидании парохода Добровольного флота, но не дождались (произошла какая-то авария) и отправились в Коломбо на „Французе“ — плавание на нем описано в его дневнике под названием „Воды многие“» [484].

На книге Бунина «Петлистые уши и другие рассказы» (Нью-Йорк, 1954), присланной мне из Парижа в 1958 году, Вера Николаевна написала:

«Стр. 332–361 — наше плавание по Индийскому океану 13.11, —1.III.1911 года». Отмеченные страницы — это «Воды многие» Бунина. В письме ко мне от 23 мая 1958 года Вера Николаевна говорит, что «Воды многие» — «это его дневник, когда мы шли на Цейлон в 1911 году. Я считаю, что это одно из самых значительных его произведений, ибо он там приоткрывается. Эта книга („Петлистые уши“. — А. Б.) была его последней, которую он проредактировал, — она вышла уже после его кончины. В ней собраны произведения двух родов: самые жестокие и самые благостные».

О Египте и о «скитаниях» в ожидании парохода Добровольного флота Бунин писал Юлию Алексеевичу 10/23 января:

«Вчера приехали в Люксор, завтра уезжаем в Ассуан. Погода — как наш июньский, прохладный и серовато-нежный день. Развалины храмов громадны, но производят впечатление глиняных. Много пальмовых рощ, среди них деревушки из ила. Африка форменная» [485]. 16/29 января он пишет: «Едем из Ассуана в Люксор. В Люксоре уже были — теперь опять остановился на день, — поедем в Фивы (на противоположном

берегу). В Ассуане пробыли пять суток, два раза ездили в Шелаль — на остров Филлэ. Были дни столь жаркие, что страшно было получить солнечный удар, но было и прохладно — бушевал ураган с севера. Ездил несколько раз в пустыню на осле. Довольны Ассуаном очень. Здоровье так себе. Жить везде очень дорого. Из Люксора едем в Каир» [486]. 24 января (6 февраля): «Ездили в Фивы и все осматривали — главное, колоссов Мемнона!» [487] «Мы недавно вернулись из-под самого тропика, из Ассуана, — пишет Бунин Белоусову из Гелуана 31 января (13 февраля) 1911 года. — Теперь, сбив все сапоги по пескам, могилам, пирамидам и развалинам храмов, ждем парохода на Коломбо, Сингапур, Японию» [488]. 13/26 февраля отправились из Порт-Саида по Суэцкому каналу в долгий путь — до Цейлона надо было плыть две недели. «Теперь плывем на французском пароходе на Цейлон…» [489] — писал Бунин Е. А. и Н. Д. Телешовым 13/26 февраля 1911 года. Попали они на пароход, о каком мечтали, — устаревший пассажирский, превращенный в грузовой: шел он не спеша, подолгу стоял на стоянках.

Бунин и Вера Николаевна заняли две каюты, остальные пустовали. «У меня, — пишет Бунин в своем путевом дневнике, — просторно и все прочно, на старинный лад. Есть даже настоящий письменный стол, тяжелый, прикрепленный к стене, и на нем электрическая лампа под зеленым колпаком. Как хорош этот мирный свет, как свеж и чист ночной воздух, проникающий в открытое окно сквозь решетчатую ставню, и как я счастлив этим чистым, скромным счастьем!» [490]

Когда снялись и пошли, день был облачный, мутный. «К полудню мы были уже далеко от Порт-Саида, в совершенно мертвом, от века необитаемом царстве. И долго провожала нас слева, маячила в мути пустыни и неба чуть видная, далекая вершина Синая»…

Четырнадцатого февраля были в Красном море. «Все море ходило долинами, холмами, верхушки этих холмов ярились пеной… „Юнан“ медленно кланялся солнечному морю, шедшему на него ухабистой и сияющей равниной».

К вечеру ветер утих, все пришло в совершенный покой и «радостное и сияющее однообразие», — 15 февраля пароход вступил в тропики.

Шестнадцатого прошли остров Джебель-Таир. Все было ново для глаз — остров, непривычно выделявшийся в море резкими очертаниями, новые, не виданные прежде южные звезды, придававшие ночному небу особенную торжественность, и «серебристая россыпь Ориона» на совсем еще светлом небе. «Орион днем! Как благодарить Бога за все, что дает он мне, за всю эту радость, новизну! И неужели в некий день все это, мне уже столь близкое, привычное, дорогое, будет сразу у меня отнято, — сразу и уже навсегда, навеки, сколько бы тысячелетий ни было еще на земле?»

Утром 17 февраля прошли Перим, направляясь вдоль африканского берега к Джибути во французское Сомали, к выходу в Индийский океан. 19 февраля (4 марта) 1911 года Бунин писал редактору газеты «Русское слово» Ф. И. Благову, что сейчас «гостит» у сомалиев и недели через две надеется быть на Цейлоне [491]. В Джибути он был и следующий день — 20 февраля (5 марта) сообщал об этом М. П. Чеховой [492].

Осматривали этот город, показавшийся маленьким, захолустным, с жалкими лачугами. На его окраине — «пески, полная пустыня, табор сомалиев, живущих уже совсем по-своему, с первобытной дикостью. Шатры, козы, голые черные дети…». Тяжелое чувство вызывало нищенское существование этого народа. «В этом грязном человеческом гнезде, среди этой первозданной пустыни, тысячелетиями длятся рождения и смерти, страсти, радости, страдания… Зачем? Без некоего смысла быть и длиться это не может.

Все же какая-то великая тоска, великая безнадежность царит над этим глухим и скудным человеческим жильем».

Вышли в океан, на его просторах «совсем особое чувство — безграничной свободы». 23 февраля прошли мимо мыса Гвардафуй — последний раз видели берег Африки, впереди за бесконечной равниной океана — Индия, Цейлон. 2 марта прибыли в Коломбо.

На Цейлоне Бунин сделал запись:

«9/22 марта 1911 г. В вагоне.

В 2 ч. 20 м. дня выехали из Анарадхапуры в Коломбо.

Длинный вагон третьего класса, два отделения. В одном:

1) старик, в профиль губастый, похожий на Шуфа, хотя с более крупными чертами, бронзовый лицом, бритый, как актер, с сережками в ушах; на голове платок чалмой, до пояса голый, грудь в волосах, до пояса закутан в белое;

2) не старик, хотя с сединой в стриженой голове, похожий на Победоносцева, на шее ожерелок из чего-то вроде сухого чернослива, в ушах сережки, очень худой, тоже до пояса весь голый, ниже окутан ярко-оранжевой тканью;

3) старуха, очень обыкновенная, — как баныцица;

4) малый лет двенадцати, голый до пояса;

5) миловидная молоденькая (лет четырнадцати) женщина.

В другом (где мы):

1) старый милет, весь бритый, в седой щетине, ноги и ж… закутаны белым, прочее все голое;

2) дикий малый, очень темный (тамил), чернозубый от бетеля, похожий на индейца, верхняя губа в черной щетине (давно не брита), половина головы синяя (бритая), половина — в черных конских волосах, голый, закутаны в простыню опять-таки только ноги; жевал бетель и дико глядел; потом, достаточно окровавив пеной бетеля рот, лег; возле — медный кувшин с водой, — как у многих, потому что пить из общей посуды нельзя, да нельзя даже и к собственному кувшину прикасаться губами — слюна считается нечистой;

3) старуха в серьгах, очень черная, похожа на еврейку, голая, но через одно плечо и на ногах — красная ткань;

4) „мужик“, лысоватый, черная борода, страшно волосатая грудь, вид рабочего, похож на Петра Апостола.

На станциях продавцы кокосовых орехов кричат „Курумба!“» [493].

Вера Николаевна писала родным с Цейлона [494] — матери и брату Д. Н. Муромцеву:

7/20 марта 1911 года: «Сейчас мы в Кэнди, в гористой местности Цейлона. Здесь очень красиво. Священное искусственное озеро. Очень интересный буддийский храм. Сегодня мы уезжаем отсюда в горы. Там уже прохладно. За дни, проведенные на этом необыкновенном острове, мы увидали столько нового, ни на что не похожего, столько прекрасного, что я еще не могу как следует освоиться, не могу разобраться во всех впечатлениях <…> По преданию, рай находился здесь. Есть на Цейлоне Адамов пик, есть и мост, по которому они бежали с Евой в Индию, изгнанные из рая. Да, здесь действительно рай. Поразило меня буддийское богослужение. Мы вошли в первый раз в храм их вечером. В полумраке грохот бубен, бой в барабан, игра на флейтах, много цветов с одуряющим запахом, и бонзы в

желтых мантиях <…> Мне очень нравится, что здесь приносятся в жертву цветы <…>

Мы думаем, если все будет так, как надо, сняться в Коломбо 15 марта. В Одессе быть через месяц, следовательно, в Москве в начале Фоминой».

8/21 марта. «Нурильо, где мы находимся, горное местечко, здесь прохладно, ночью даже холодно. Немного отдохнули от жары. Ян очень истомлен. Мне кажется, что ему вредно потеть при его худобе. Пища здесь ужасная, почти все с перцем. Но зато так хорошо, красиво, интересно, что редко бывает подобное сочетание: и древности, и чудесная растительность, здоровый климат. Много увидели нового, например, здешние туземцы мужчины не стригут волос, и делают прически, и все носят гребень, панталон, так же, как в Египте, нет, а все в юбках и босиком. Ездят здесь на людях, как в Японии. Легонький на резиновых шинах двухколесный экипаж везет на себе вместе с толстым англичанином худой черный голый сингалезец, сильно обливающийся потом под отвесными лучами солнца.

— Сегодня утром мы поднялись на одну из здешних вершин. Поднимались три часа, спускались полтора часа. Все время шли по хорошей искусственной дорожке, вьющейся среди леса. Растительность здесь какая-то необыкновенная: деревья покрыты мхом, какие-то гелиотроповые цветы. Сухо было поразительно, что-то по временам шуршало в сухих листьях, может быть и змеи. Когда мы взошли на вершины, то увидали целый океан гор, идущих кольцами, а на горизонте серебряная гирлянда облаков, — это было на 8300 футов над уровнем моря. Тянуло свежестью, может быть, с океана. Здесь горы конусообразные, только Адамов пик имеет иную форму».

8/21 марта 1911 года письмо брату Дмитрию Николаевичу и невестке: «Мы теперь в Англии, но не в той дождливой со сплином, в какой вы были в прошлом году, а в цветущей, экзотической, где чувствуется нега Азии, с удушающе-сладкими запахами и красной почвой <…> После восемнадцатидневного перехода по Красному морю и океану, где мы пережили совершенно новые ощущения, видели очаровательные закаты, необыкновенно красивые лунные ночи, обливались потом и практиковались во французском языке, мы, наконец, попали в Коломбо. И с первого же шага изумление и восхищение попеременно охватывают нас. Прежде всего меня поразила мостовая терракотового цвета, затем рикши — люди-лошади с их элегантными легкими колясочками, потом необычная растительность, тут все есть…

В Коломбо мы прожили два дня, жили за городом в

одноэтажном доме-бунгалове, в саду, комнаты без потолка, всю ночь электрический вентилятор производил ветер, — жара была неугасимая. Ездили мы на рикшах за несколько верст к отелю, стоящему на океане за городом. Возвращались при лунном свете, казалось, что едешь по какой-то волшебной стране. Из Коломбо мы поехали по железной дороге в Кэнди, путь очень интересный, идет среди гор мимо плантации чая… проходит через рощи кокосовых пальм, по временам поезд несется над пропастями… В Кэнди тоже были два дня. Ездили в лунную ночь в горы, видели летающие огоньки. Бездна, освещенная лунным светом, блестела. Несколько раз были в Буддийском храме. Видели танцы диавола: их танцуют с факелами в руках под бой бубен, грохот барабанов и пение туземцев. Зрелище интересное, но утомительное. Теперь мы поднялись еще выше, в местечко Nuwam Eliya, выговаривают ее Нурилья. — Едим здесь ананасы, бананы, но виски не пьем, хотя и видим, как пьют их спокойные англичане» [495].

«На Цейлоне мы пробыли с полмесяца, — пишет Вера Николаевна Муромцева-Бунина в цитированном выше письме от 15 мая 1957 года, — он там почти заболел. Не мог видеть рикш с окровавленными губами от бетеля. То, что чувствовал его англичанин в „Братьях“, автобиографично. Идти в Японию нам было уже нельзя из-за отсутствия средств, — много стоил Египет, кроме того, он уже не мог лишнего дня оставаться, а парохода в Японию нужно было ждать».

11/24 марта 1911 года Бунин писал Юлию Алексеевичу: «Были на севере острова — в Анарадхапуре, видели поистине чудеса, о которых — при свидании. Теперь сидим в Коломбо. Ждем парохода — он придет из Сингапура 31 марта (нового стиля) и, надеемся, доставит нас в Одессу не позднее 10–15 апреля (старого стиля). Очень изнурила жара» [496].

Анарадхапура — остатки древнего города на севере острова — произвела на Бунина очень сильное впечатление.

В Анарадхапуре провели сутки. Приехали туда с ближайшей станции на небольшой телеге, которую везли «волы с закрученными рогами, дорога шла лесом, было темно, но бесконечные светляки озаряли путь», было «поэтично и немного жутко» [497].

Об Анарадхапуре Бунин пишет в рассказе «Город Царя Царей» (1924): Анарадхапура — «величайшая святость буддийского мира, древнейшая столица Цейлона, Анарадхапура, ныне заросшая джунглями, превратившаяся в одно из самых глухих цейлонских селений и поражающая пилигрима только чудовищными останками былой славы, насчитывает более двух с половиной тысяч лет своего существования, из которых целых две тысячи она

процветала на диво всему древнему Востоку, по размерам почти равняясь современному нам Парижу, золотом и мрамором зданий не уступая Риму, а своими дагобами, воздвигнутыми для хранения священных буддийских реликвий, превосходя пирамиды Египта».

Путешествие на Цейлон длилось с середины декабря 1910 года до середины апреля 1911 года. 14 апреля Бунин писал Горькому, что только вернулся в Москву [498].

В беседе с корреспондентом газеты «Голос Москвы» Бунин говорил, что относительно странствий у него «сложилась… даже некоторая философия», что он «не знает ничего лучшего, чем путешествия» [499]. Свои путешествия он описывает, по словам Нилуса, «с невероятной роскошью живописных подробностей. Его Палестинские картины разворачиваются как чудесные восточные ковры» [500].

Бунин писал: подобно тому, как старым морякам снится по ночам море,

> …и мне в предсмертных снах моих
> Все будет сниться сеть канатов смоляных
> Над бездной голубой, над зыбью океана.

(«Зов»)

«Путешествия играли в моей жизни огромную роль» [501], — говорил он.

Четырехмесячное путешествие измотало Бунина. Лето он решил провести в деревне, а не под Одессой или в Крыму, как предполагал раньше: на юге он боялся холеры, да и не было бы там того спокойствия и уединения, какие всегда влекли его в Глотово, к родным.

Двадцатого апреля 1911 года он писал Горькому:

«Прочитали кое-что из того, что писалось о „Деревне“… И хвалы и хулы показались так бездарны и плоски, что хоть плачь. А то, что некоторые критики зачем-то о моих ботинках (будто бы „лакированных“) говорят, о моих поместьях, мигренях и страхах мужицких бунтов, показалось даже и обидно. Мигрени-то у меня, может быть, и будут, но поместья, земли, кучера — навряд. До сих пор, по крайней мере, ничего этого не было — за всю мою жизнь не владел я буквально ничем, кроме чемодана» [502].

По возвращении Бунина с Цейлона Мария Павловна Чехова просила его написать предисловие к письмам А. П. Чехова, которые она собиралась издать. Переговоры о предисловии закончились письмом Бунина от 25 сентября 1911 года из Москвы к Марии Павловне: «Письма Антона Павловича брал у Сытина и,

мгновенно перечитав, снова возвратил ему для набора. Письма восхитительны и могли бы дать материала на целую огромную статью. Но тем более берет меня сомнение: нужно ли мне писать вступление к ним?

Крепко подумавши, прихожу к заключению, что не нужно. Ибо что я могу сказать во вступлении? Похвалить их? Но они не нуждаются в этом. Они — драгоценный материал для биографии, для характеристики Антона Павловича, для создания портрета его. Но уж если создавать портрет, так надо использовать не один том их, а все, да многое почерпнуть и из других источников. А какой смысл во вступительной заметке?» [503]

Еще раньше Мария Павловна просила Бунина написать также биографию Чехова для его собрания сочинений, выходившего приложением к журналу «Нива». 27 апреля 1911 года она написала Бунину: «Зимою ездила по делам в Петербург, там П. В. Быков (из „Нивы“) просил меня указать, кто бы мог написать для издания Маркса биографию Чехова. Я указала на вас и отвергла предложенного им Айхенвальда. Если бы вы согласились и позволили написать Быкову?» Бунин ответил 3 мая, что «сообщением о Быкове очень заинтересован, — напишите ему, пожалуйста!». 3 августа Мария Павловна переслала Бунину письмо Быкова и спрашивала: «В чем должно заключаться мое посредничество между вами и Быковым?..» Однако биография Чехова Буниным не была написана. «Жаль, — писала Мария Павловна 1 октября 1911 года, — что вы не сошлись с m-me Маркс, конечно, насчет биографии. Очень жаль, я так мечтала, что вы напишете».

В начале мая Бунин с женой уехали в деревню [504], они прожили там три месяца. Иван Алексеевич жаловался на нездоровье. 4 июля он писал Е. И. Буковецкому: «Работать часто мешает мне сердце: что-то такое делается иногда ночью — и выбивает на сутки из седла» [505]. Юлий Алексеевич, побывавший у Пушешниковых после заграничных странствий, писал Елизавете Евграфовне 27 июля 1911 года, что Иван Алексеевич и Вера Николаевна, будучи в Глотове, «по целым дням занимались и теперь еще остались там» [506].

Погода не способствовала ни отдыху, ни работе.

«Нас дожди залили, грозы одолели. Хоть караул кричи! А поработать много надо, а в дождь мука для меня работа… Иногда в сад нельзя выйти» [507], — писал Бунин Белоусову 20 июля 1911 года.

Бунин работал в это, по его словам, люто-холодное лето все же много.

Двадцать шестого — двадцать восьмого июня он написал рассказ «Крик», 3–8 июля — «Древний человек» (первоначально озаглавленный «Сто восемь»). В начале июля была написана им часть повести «Веселый двор». В июле он работал над «Суходолом», который был закончен в декабре (эти даты Бунин указал в заметках для автобиографии) [508]. В этот период он написал также рассказ «Снежный бык» (в черновой рукописи датированный 29 июня — 2 июля 1911 года, озаглавлен «Бессонница»), В июле появился в «Русском слове» рассказ «Мертвое море» (позднее озаглавленный «Страна содомская»). Писал Бунин в эти дни и стихи.

Он говорил корреспонденту газеты «Московская весть», что «прекрасная старинная усадьба» как нельзя лучше располагает к «творческой работе. И действительно, все время я посвятил непрерывной и напряженной работе. Буквально три месяца не вставал из-за письменного стола.

Я привез с собой шесть небольших рассказов и повесть, — произведения, вполне законченные, посвященные описанию жизни современной деревни.

Кроме того, мною написана первая часть большой повести-романа под заглавием „Суходол“.

— В чем заключается содержание этого романа?

— Это произведение находится в прямой связи с моею предыдущей повестью „Деревня“.

Там в мои задачи входило изображение жизни мужиков и мещан, а здесь…

Я должен заметить, что меня интересуют не мужики сами по себе, а душа русских людей вообще.

Некоторые критики упрекали меня, будто я не знаю деревни, что я не касаюсь взаимоотношений мужика и барина и т. д.

В деревне прошла моя жизнь, следовательно, я имел возможность видеть ее своими глазами на месте, а не из окна экспресса…

Дело в том, что я не стремлюсь описывать деревню в ее пестрой и текущей повседневности.

Меня занимает, главным образом, душа русского человека в глубоком смысле, изображение черт психики славянина.

В моем новом произведении „Суходол“ рисуется картина жизни следующего (после мужиков и мещан „Деревни“) представителя русского народа — дворянства.

Книга о русском дворянстве, как это ни странно, далеко не дописана, работа исследования этой среды не вполне закончена.

Мы знаем дворян Тургенева, Толстого. По ним нельзя судить о русском дворянстве в массе, так как и Тургенев и Толстой

изображают верхний слой, редкие оазисы культуры.

Мне думается, что жизнь большинства дворян России была гораздо проще, и душа их была более типична для русского, чем ее описывают Толстой и Тургенев.

После произведений Толстого и Тургенева существует пробел в художественной литературе о дворянах; нельзя же считаться с книгою Атавы, которая рассматривает дворянство со стороны его экономического „оскуднения“, как с художественным произведением.

— Мне кажется, что быт и душа русских дворян те же, что и у мужика; все различие обусловливается лишь материальным превосходством дворянского сословия.

Нигде в иной стране жизнь дворян и мужиков так тесно, близко не связана, как у нас.

Душа у тех и других, я считаю, одинаково русская.

Выявить вот эти черты деревенской мужицкой жизни, как доминирующие в картине русского поместного сословия, я и ставлю своей задачей в своих произведениях.

На фоне романа я стремлюсь дать художественное изображение развития дворянства в связи с мужиком и при малом различии в их психике.

Эта работа, я предполагаю, составит содержание трех больших частей» [509].

По мнению Горького, дворяне изображены в «Суходоле» с горечью, даже с «гневом»… «презрением». По его словам, «это одна из самых жутких русских книг» [510].

Семейная хроника обитателей Суходола создавалась по преданиям, сохранившимся в семье Буниных.

Вера Николаевна Муромцева-Бунина писала 3 апреля 1958 года:

«Совершенно верно, что Суходол взят с Каменки, родового имения Буниных. От Глотова верст двенадцать, но от Озерок версты две, если я не ошибаюсь, их разделяет большая дорога, идущая в Елец. Думаю, что и брак Алексея Николаевича Бунина с Людмилой Александровной Чубаровой, которая жила в Озерках, имении своей матери, произошел потому, что они были соседями, очень близкими. Я была в Каменке, когда дом Пушешниковых был продан. И от имения ничего не осталось. Оно перешло к семье старшего брата Алексея Николаевича, Николая Николаевича, к Петру Николаевичу Бунину и Софье Николаевне Пушешниковой. Вы правы, что и „Суходол“ и „Жизнь Арсеньева“ не хроника, не автобиография и не биография, а художественные произведения, основанные на биографическом материале».

Сам Бунин говорил:

«Всякое произведение у любого писателя автобиографично в той или иной мере. Если писатель не вкладывает часть своей души, своих мыслей, своего сердца в свою работу, то он не творец, а ремесленник, хотя и в каждом, даже самом гениальном труде при желании можно найти и кое-что от ремесленничества.

— Мне кажется, чем писатель субъективнее, тем он интереснее, а чем субъективнее, тем больше он отдает себя, тем больше он, следовательно, автобиографичен.

— Правда, и автобиографичность-то надо понимать не как использование своего прошлого в качестве канвы произведения, а, именно, как использование своего, только мне присущего, видения мира и вызванных в связи с этим своих мыслей, раздумий и переживаний. Если без этого не мыслим писатель, то не мыслим он и без автобиографичности» [511].

«Суходол» Бунин называл романом, — в некоторой мере это автобиографический роман-хроника, предшествующий совершеннейшему образцу этого жанра — «Жизни Арсеньева». Г. Н. Кузнецова записала в дневнике:

«…Читала „Суходол“ и потом долго говорила о нем с Иваном Алексеевичем… Несомненно, вещь эта будет впоследствии одной из главноопределяющих и все творчество, и духовную структуру И. А. Он сам не знает, до какой степени раскрыл в „Суходоле“ „тайну Буниных“ (по Мориаку)» [512].

Речь идет не о влиянии на Бунина Франсуа Мориака, а о сходстве творческих установок обоих писателей.

Бунин проявлял большой интерес к Мориаку, в 1938 году он написал предисловие к русскому переводу его романа «Волчица», его привлекало умение французского писателя «писать столь обольстительно» греховность человеческой природы.

В Суходоле, писал Бунин, «жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна». Вероятно, именно в этом смысле следует понимать слова, что в повести он раскрыл «тайну Буниных» по Мориаку.

В «Суходоле» — истоки нового письма, элементы стиля той прозы, в которой на переднем плане не историческая Россия, с ее жизненным укладом, как в прозе начала 1910-х годов, в «Деревне» например, а душевная жизнь людей, — прозы лирической в лучшем значении этого слова [513]. «Суходол», как и рассказы тех лет, — подготовительный этап к ней.

Развитию этого рода прозы предшествовал опыт «прозаических поэм» странствий Бунина по Востоку — «Тень Птицы» (1907–1911) и дневников 1911 года о плавании по Индийскому океану, изданных почти без изменений в 1925–1926 годах под заглавием «Воды многие».

В дневнике Бунин записывает 25 февраля 1911 года: «…Ночь, вечная, неизменная, — все такая же, как и тысячелетия тому назад! — ночь, несказанно-прекрасная и неизвестно зачем сущая, сияет над океаном и ведет свои светила, играющие самоцветными огнями, а ветер, истинно Божие дыхание всего этого прелестного и непостижимого мира, веет во все наши окна и двери, во все наши души, так доверчиво открытые ей, этой ночи, и всей той неземной чистоте, которой полно это веяние» [514].

Это как бы отрывок из «Жизни Арсеньева» (1927–1929, 1933). Такое сходство с позднейшей прозой Бунина есть и в «Суходоле».

Как это часто у него, реальные персонажи становились прототипами его произведений. В «суходольской летописи» нашли отражение черты отца Бунина — Алексея Николаевича и других лиц из рода Буниных.

Из дневников Бунина известен также прототип «провиненного монаха» Юшки («Суходол», гл. IX).

Он записал 20 мая 1911 года, будучи в деревне Глотово: «Был довольно молодой мужик из Домовин. Говорит, был четырнадцать лет в Киеве, в Лавре, и хвастается: „выгнали <…> Я провиненный монах, значит“. Почему хвастается? Думаю, что отчасти затем, чтобы нам угодить, уверен, что это должно нам очень нравиться. Вообще усвоил себе (кому-то на потеху или еще почему-то?) манеру самой цинической откровенности. „Что ж, значит, ты теперь так и ходишь, не работаешь?“ — „Черт меня теперь заставит работать!“ — В подряснике, в разбитых рыжих сапогах, женский вид, — с длинными жидкими волосами, — моложавость от бритого подбородка (одни русые усы). Узкоплеч и что-то в груди — не то чахоточный, не то слегка горбатый. „Нет ли, господа, старенькой рубашечки, брючишек каких-нибудь?“ Я подарил ему синюю косоворотку. Преувеличенный восторг. „Ну, я теперь надолго житель!“» [515]

В Глотове внимание Бунина привлек стовосьмилетний крестьянин Таганок, которого он изобразил под этим же именем в рассказе «Древний человек». Когда Бунин в начале августа уехал в Одессу, а в деревне случился пожар, Вера Николаевна отправилась вместе с Н. А. Пушешниковыми проведать Таганка. Об этом она писала Бунину. В избе Таганка не оказалось. «Подошел сын и, узнав в чем дело, повел нас, — говорит Вера Николаевна, — на свое гумно, где был Таганок. Мельком я видела его „дом“. Не знаю, был ли ты на их гумне? Оно у них очень уютное. За скирдой на соломе сидел Таганок весь в белом и обувал ногу. Рубашка на нем очень грязная, штаны на левом колене продрались… Мы заговорили. Он довольно много говорил, но опять о старом, а о пожаре сказал лишь, что гораздо

лучше, если сгорит дом, чем солома и хоботье, ибо бедной скотине нечего больше есть. В этом поддержал его и сын. Затем он все говорил о прежних господах. Сравнивал прежнее житье с настоящим. По его словам, „прежнее лучше было“. Таганок поражал своим „сходством с Толстым“» [516].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина писала мне в цитированном письме: «„Таганок“ действительно глотовский крестьянин, и я несколько раз бывала у него и с Иваном Алексеевичем и одна. Заказала ему рубашку и портки, и он в них был похоронен, а так не надевал, — жалел. Очень был милый человек, кроткий, худой и смиренный. Ему было 108 лет».

Бунин писал в дневнике 3 июля 1911 года: «Только что вернулись от Таганка ставосьмилетнего старика. Весь его „корень“ — богачи, но грязь, гнусность, нищета кирпичных изб и вообще всего их быта ужасающие. Возвращаясь, заглянули в избу Донькиной старухи — настоящий ужас! И чего тут выдумывать рассказы — достаточно написать хоть одну нашу прогулку» [517].

«Таганок милый, трогательный, детски простой. За избой, перед коноплями, его блиндаж; там сани, на которых он спит, над изголовьем шкатулочка, где его старый картуз, кисет, когда пришел, с трудом стащил перед нами шапку с голой головы. Легкая белая борода. Трогательно худ, опущенные плечи. Глаза без выражения, один, левый, слегка разодран. Темный цвет лица и рук. В лаптях. Ничего общего не может рассказать, — только мелкие подробности. Живет в каком-то другом, не нашем мире. О французах слабо помнит — „так, — как зук находит“. Ему не дают есть, не дают чаю, — „ничтожности жалеют“, как сказал Григорий.

Говорит с паузами, отвечает не сразу.

— Что ж, хочется еще пожить?

— А Бог ё знает… Что ж делать-то? Насильно не умрешь.

— Ну а если бы тебе предложили прожить еще год или, скажем, пять лет? Что бы ты выбрал?

— Что ж мне ее приглашать, смерть-то? (И засмеялся и глаза осмыслились.) Она меня не угрызет. Пускай кого помоложе, а меня она не угрызет — вот и не идет.

— Так как же? Пять лет или год?

Думает. Потом нерешительно:

— Через пять-то годов вошь съест…» [518]

Жизнь в деревне дала Бунину наблюдения и для других его произведений. В «Ночном разговоре», — «преисполненном, — как писал французский писатель Анри де Ренье, — трагической и своеобразной красоты» [519], — рассказ Пашки об убийстве солдата — довольно точное повторение того, что Бунин записал в

дневнике 29 июля 1911 года о глотовском крестьянине Илюшке.

А вот дневниковая запись, относящаяся к персонажам другого рассказа:

15 июля. «Нынче Кирики, престольный праздник, ярмарка (в Глотове. — А. Б.). Выходил. Две ужасных шеренги нищих у церковных ворот. Особенно замечателен один калека. Оглобли и пара колес. Оглобли наполовину заплетены веревкой, на оси — деревянный щиток. Под концами оглобель укороченная, с отпиленными концами дуга, чтобы оглобли могли стоять на уровне оси. И на всем этом лежит в страшной рвани калека, по-женски повязанный платком, с молочно-голубыми, почти белыми, какими-то нечеловеческими глазами. Лежит весь изломанный, скрюченный, одна нога, тончайшая, фиолетовая, нарочно (для возбуждения жалости, внимания толпы) высунута. Вокруг него прочая нищая братия, и почти все тоже повязаны платками.

Еще: худой, весь изломанный, без задницы, один кострец высоко поднят, разлапые ноги в сгнивших лаптях. Невероятно мерзки и грязны рубаха и мешок, и то и другое в запекшейся крови. В мешке куски сального недоваренного мяса, куски хлеба, сырые бараньи ребра. Возле него худой мальчишка, остроухий, рябой, узкие глазки. Весело: „Подайте, папашечки!“ Еще: малый, лет двадцати пяти, тоже рябой и веселый. Сказал про одного нищего, сидевшего на земле, у которого ноги в известковых ранах, залепленных подорожником, и в лиловых пятнах: „Ето считается по старинному заведению проказа“. Потом все нищие деловито двинулись на ярмарку. Прокаженный поехал, заерзал задницей по земле…

Мужик на ярмарке, держа елозившего у него под мышкой в мешке поросенка, целый час пробовал губные гармонии и ни одной не купил. Веселый, ничуть не смутился, когда торгаш обругал его…

Для рассказа: бородатый, глаза блестящие, забитый курносый нос, говорит, говорит и налезает на человека» [520].

Нищие, калеки, прокаженный, мужик, перепробовавший все гармонии и ни одной не купивший, изображены в рассказе «Я все молчу».

29 июля 1911 года. «Ездили с Юлием на Бутырки. О, какое грустное было мое детство! Глушь, Николай Осипович, мать…»

«Лежали с Колей на соломе. О Петре Николаевиче — как интересна психика человека, прожившего такую изумительно однообразную и от всех внутренне сокровенную жизнь! Что должен чувствовать такой человек? Все одно и то же — дожди, мороз, метель, Иван Федоров… Потом о Таганке: какой редкий, ни на кого не похожий человек! И он — сколько этого

однообразия пережил и он! За его век все лицо земли изменилось, и как он одинок! Когда умерли его отец и мать? Что это были за люди? Все его сверстники и все дети их детей уже давно-давно в земле… Как он сидел вчера, когда мы проходили, как головой ворочал! Сапсан! Из жизни долголетнего человека можно написать настоящую трагедию. Чем больше жизнь, тем больше, страшней должна казаться смерть» [521].

Из Глотова Бунин уехал, по-видимому, 6 августа 1911 года. 5 августа он сообщал Юлию, что на следующий день собирается выехать в Одессу через Москву, из Москвы отправится 8-го вечером. А в письме к Белоусову от 31 августа Бунин говорит: «Уже три недели я под Одессой. Вера в деревне» [522]. Вера Николаевна осталась заканчивать свой перевод Флобера. 14 и 15 августа 1911 года В. Н. Муромцева-Бунина писала И. А. Бунину, что вместе с Н. А. Пушешниковым они «были в Каменке. Обошли все кругом, где текла мирная, а потом беспокойная жизнь Суходола. На том месте, где был знаменитый сад, теперь коричнево-фиолетовое просо да две-три яблони… Все постарели, многие уже умерли… Да, исчезла Каменка с лица земли, осталась только по ней память в „Суходоле“!» [523].

В Одессе Бунин остановился на Большом Фонтане, на даче у Нилуса и Буковецкого, «по соседству жил С. Юшкевич, наезжал иногда художник Пастернак» [524].

Здесь Бунин писал рассказ из крестьянской жизни «Сила» (датирован 16 августа).

Мария Павловна Чехова звала в Крым, но по нездоровью от поездки пришлось отказаться. 11 сентября он вернулся в Москву.

Зиму 1911/12 года Бунин предполагал провести в Италии, на Капри. По совету врачей ему было необходимо «жить зимой в теплых странах», — как писал он Н. С. Клестову 6/19 декабря 1911 года, это давало ему «возможность работать и кое-как быть здоровым» [525].

Вместе с Верой Николаевной и Н. А. Пушешниковым он выехал из Москвы вечером 19 октября 1911 года. Иван Алексеевич говорил Пушешникову, «что никогда не чувствует себя так хорошо, как в те минуты, когда ему предстоит большая дорога» [526].

На следующий день прибыли в Петербург, остановились в гостинице «Северная». Бунин побывал в издательствах «Шиповник» и «Жизнь и знание», в редакции «Русского богатства».

Он говорил, что «ни в одном журнале нет такой серой и скучной беллетристики, как в „Русском богатстве“ [527]. И этот

серый тон — результат того, что журналу придана „слишком определенная политическая народническая физиономия“» [528].

Двадцать первого октября уехали из Петербурга в Берлин. Здесь задержались только до следующего дня и отправились дальше, проезжали Виттенберг, Галле, Тюрингию. Осматривали Нюрнберг, где остановились тоже на один день. Бунина восхитила старинная архитектура этого города, особенно знаменитая Lorenzokirche, обошли ее кругом, разглядывали «портал ее, со слоистой аркой двери… с узорно кружевным фронтоном» [529], башню.

Он говорил, сидя в трактире XV века, где подавалось пиво в кружках и кубках, из которых когда-то пили знаменитые уроженцы Нюрнберга — Дюрер, Г. Сакс, В. Фогельвейде, — что ему хотелось бы провести здесь зиму, он мог бы хорошо писать. «Я так люблю эти готические соборы, с их порталами, цветными стеклами и органом! Мы бы ходили слушать мессы в Себальдускирхе, Баха, Палестрину… Какое это было бы наслаждение! Я потому и хотел перевести „Золотую легенду“ Лонгфелло, что там действие происходит в средние века…Когда я слышу только „Stabat Mater Dolorosa“, „Dies irae“[530] или арию Страделлы, то прихожу в содрогание. Я становлюсь фанатиком, изувером. Мне кажется, что я своими собственными руками мог бы жечь еретиков. Эх, пропала жизнь! А каких можно было бы корней наворочать!.. И сколько в мире чудесных вещей, о которых мы не имеем ни малейшего понятия, сколько изумительных созданий литературы и музыки, о которых мы никогда не слыхали и не услышим и не узнаем, будучи заняты чтением пошлейших рассказов и стишков! Мне хочется волосы рвать от отчаяния!» [531]

Им овладевал ужас: «Ничего не охватишь, ничего не узнаешь, а хочется жить бесконечно — так много интересного, поэтического!» [532]

Двадцать пятого октября 1911 года Бунин и Вера Николаевна прибыли в Швейцарию, в Люцерн, остановились в отеле дю Ляк. Осмотрели большой белый дом — отель, описанный Толстым в рассказе «Люцерн».

Бунин сообщал Юлию Алексеевичу из Люцерна 26 октября: «В Берлине пробыли день, в Нюрнберге вечер и ночь — очарованы! Сюда придрали вчера!» [533]

На следующий день ночью приехали в Гешенен; оттуда — в Италию. В Генуе ездили осматривать пароходы в порту, что очень любил Бунин.

Тридцатого октября (12 ноября) Бунин писал Юлию Алексеевичу:

«В Люцерне пробыли сутки. Затем ночевали в Гешенене, затем — прямо до Генуи: на озерах туман, ливень. В Генуе ночевали и во Флоренцию. Здесь почти двое суток. Сейчас едем на Капри» [534].

Первого ноября прибыли на Капри. Об этом Бунин писал Юлию Алексеевичу 2 ноября:

«Вчера приехали на Капри. Нынче дивная погода. Устроились в отеле» [535].

В отеле «Квисисана» — лучшем на Капри — заняли три комнаты, на третьем этаже, «выходящие окнами в сад и на море, с пестрыми, песочного цвета, коврами на каменных кафельных полах, хорошей мебелью и висячим маленьким балконом». Направо от отеля «Квисисана» шла дорога Via Tragara — к морю, к «трем скалам, возвышающимся в некотором отдалении от берега, в море» [536].

Шестого ноября Бунин писал брату с Капри: «Милый Юлий… На Капри мы уже шестой день, устроились сравнительно дешево и очень, очень уютно, приятно… С „Шиповника“, отсрочившего мне присылку „Суходола“ до 15 января, нечего и требовать до этого дня… А что до Красноперого (прозвище А. М. Горького. — А. Б.), то необходимость ходить к нему выбивает из интимной тихой жизни, при которой я только и могу работать, мучиться тем, что совершенно не о чем говорить, а говорить надо, имитировать дружбу, которой нету, — все это так тревожит меня, как я и не ожидал. Да и скверно мы встретились: чувствовало мое сердце, что энтузиазму этой „дружбы“ приходит конец, — так оно и оказалось, никогда еще не встречались мы с ним на Капри так сухо и фальшиво, как теперь!» [537]

Девятнадцатого ноября (2 декабря) Бунин писал Е. И. Буковецкому: «Живем мы отлично, отель в очень уютном теплом месте, комфорт хоть бы и не Италии впору. У нас подряд три комнаты, все сообщаются — целая квартира, и все окна на юг, и чуть не весь день двери на балконы открыты, слепит солнце, пахнет из сада цветами, гигантским треугольником синеет море… Изредка бываем у Горького — он все за работой, да и мы очень много сидим: Вера и племянник переводят, я правил прежние рассказы — то есть сокращал, выкидывал молодые пошлости и глупости — для нового, дополненного издания первого тома» [538].

На Капри Бунин много писал, по его выражению, жил в «адской работе» [539], «строчил все время, как черт — правил я свои рассказы для издания, Хлюп (прозвище Н. А. Пушешникова. — А. Б.) переводит, Вера тоже. Бываем изредка у Горького. Стало, — не сглазить, — легче» [540].

Горький писал Е. П. Пешковой 14/27 декабря: «Живет здесь

Бунин и превосходно пишет прозу» [541].

Вера Николаевна сообщала Ю. А. Бунину 12/25 декабря 1911 года: «Работаем, насколько хватает времени. — Стали брать у учителя уроки итальянского языка. Я делаю успехи…

Теперь Ян усиленно редактирует Диккенса» [542].

В заметках для автобиографии Бунин указал даты написанных на Капри рассказов: 28–30 ноября — «Сверчок», в конце ноября — «Хорошая жизнь», в середине декабря — «Смерть», в конце декабря закончил «Веселый двор», начатый в Глотове. Все это он читал у Горького. «Хорошая жизнь», по словам Веры Николаевны, у «Горького имела большой успех» [543].

«Веселый двор» Бунин читал, когда встречали «русский» Новый год — 31 декабря ст. ст. 1911 года, — по словам Горького, «превосходно написанный рассказ о матери и сыне… Долго спорили, — пишет он, — о русском народе и судьбах его…» [544]. На чтении присутствовали Коцюбинский, Черемнов и Золотарев.

Седьмого января 1912 года П. А. Нилус писал Бунину на Капри: «Спасибо за присланный рассказ „Смерть Моисея“ <„Смерть пророка“>, читали „Сверчка“ в „Ежемесячнике“. И воистину прочел с удовольствием. Ах, молодец, чудесно написано и до такой степени не похоже на наших любезных писателей, точно ты из другого теста слеплен. Ах, хорошо!» [545]

Двадцать шестого декабря (8 января) 1911 года в гостях у Горького Бунин познакомился с поэтом А. С. Черемновым, печатавшимся в «Знании». Черемнову было «лет тридцать, — пишет Пушешников, — он болен чахоткой и приехал сюда лечиться, кажется, по приглашению Горького. Это высокий сероглазый, несколько тошно-язвительный человек в пиджаке-блузе с широким поясом. Он помешан на В. Соловьеве, на его стихах, и читал их потом за ужином. Мы сидели рядом с ним, держался он свободнее и непринужденнее, чем все другие русские. У Ивана Алексеевича скоро завязался с ним спор. Иван Алексеевич отрицал значение стихотворного искусства В. Соловьева». Ужин прошел оживленно, произносились тосты. Бунину «Горький пожелал написать две тысячи повестей, вроде „Деревни“, и тысячу рассказов вроде „Хорошей жизни“» [546].

С Капри Бунин вел переписку с Н. С. Клестовым об организации «Книгоиздательства писателей в Москве» (формально собрание учредителей по организации издательства состоялось 22 марта 1912 года). Он писал Н. С. Клестову 6/19 декабря 1911 года: «Вы затеваете хорошее дело, ибо издатели, и правда, развратились до последнего, развращая и писателей, — меньших, слабейших, конечно, — да, и вообще, столь плохи стали дела в литературном мире, что давно, давно пора писателям

подумать хотя бы о некоторой объединенности, подтянутости и осмысленности своего существования, своей работы, своего быта. Не буду говорить о том, что толковали у вас на первом собрании писатели, о том, прошло ли время идеологии, — в одном мы сходимся — „на гвоздях“ нельзя идти, ради скандальезных успехов нельзя писать, выдумывание всяческих проблем и половых, и иных — надоело до чертиков, пора писателям о душе подумать — и говорить только то, что она велит вкупе со здравым смыслом и велениями порядочности, благородства, совести и т. д. — да пора и экономически объединяться. Но как это сделать? — вопрос чрезвычайной трудности. Мне из такой дали, будучи занятым по горло и не весьма здоровым, — об этом тоже не толковать. Одно могу сказать — желаю всяческих успехов, обещаю тесно примкнуть к делу, буде оно разовьется и разовьется в формах для меня приемлемых» [547].

Впоследствии он писал Юлию Алексеевичу, что издательству он «положил основание, всадив в него на первом же шагу его все свое имя и пять томов» [548].

Бунин торопился кончить задуманные произведения: он и Вера Николаевна собирались, пожив на Капри, отправиться в дальнее плавание — обогнуть Азию, добраться до Японии и, пожив там, через Сибирь возвратиться поездом в Москву, с тем чтобы лето прожить под Одессой или в Крыму.

В письме к Юлию Алексеевичу 4 января 1912 года Бунин говорит, что они «отлучались на двое суток с Капри — нужно было купить кое-что да и проветриться немного: ведь два месяца не вставали из-за письменных столов. Были в Неаполе, ездили в Поццуоли, — очень понравилось, вернулись через Помпею и Сорренто… Погода становится прохладнее, бродят мысли: не уехать ли куда потеплее? Да еще есть работа — надо за „Суходол“ садиться» [549]. «Суходол» был закончен в декабре 1911 года; по-видимому, в январе Бунин готовил его для отдельного издания.

Вера Николаевна писала Ю. А. Бунину в январе 1912 года: «Мы живем в работе, но как-то так время расположено, что делать успеваешь мало. Были раз в Неаполе двое суток… Один раз были в Сан-Карло, слушали два действия „Дон Паскаля“, голоса очень у всех хорошие. Были и в Поццуоли, но ни рыб, ни Воронца (Воронцы — давнишние друзья Бунина. — А. Б.) не видали, особенно мне жаль последнее, но Ян был очень уставшим и чувствовал себя плохо, а потому ему трудно было бы вести „дружескую беседу“. Для Коли ездили в Помпею, я очень рада, что увидала еще раз, кое-что уяснила, почувствовала прежнюю древнюю жизнь! Всех нас эта поездка очень утомила. — На днях был Алексей Александрович Стахович… (член дирекции

Художественного театра. — А. Б.). Он приезжал якобы просить у Алексея Максимовича пьесу для Художественного театра, был у нас с визитом, пригласил нас с Яном на обед. Говорлив, как все генералы. Много рассказывал о Толстом, Чайковском, Апухтине… У Горьких бываем, да не часто. Зато сошлись с Черемновыми, очень симпатичные люди — мать и сын. При более близком знакомстве видишь, что он не без таланта, только есть в нем налет Влад. Соловьева. Ян, кажется, начинает к нему относиться хорошо, — а это что-нибудь да значит. — Новый журнал затевается, Ян послал туда свою повесть „Веселый двор“ (про Егорку и Анисью, начало он читал нам летом), но кто хозяева и как будет журнал называться, пока не знает. О нем хлопотал Миролюбов и Чернов. Миролюбов прислал три телеграммы и письмо за последние дни, чтобы Ян не медлил» [550].

В феврале 1912 года Бунин закончил рассказ «Игнат». Продолжая письмо Бунина брату от 1/14 февраля, Вера Николаевна писала: «Это правда, что Ян занят по горло. Он увлечен своим рассказом и пишет его в запале. Рассказ — „с щекоткой!“… Мы все много работаем и живем скромно-интеллигентной жизнью. Друг с другом видимся лишь за едой и прогулками. С Горьким у нас отношения холодно-любезные и тяжко-дружеские… Вчера мы были на пиршестве у каприйских крестьян по случаю свадьбы. Женился садовник Горького» [551].

8/21 февраля 1912 года Бунин прочитал у Горького «Суходол»; по свидетельству Пушешникова, повесть очень понравилась и Горькому, и присутствовавшему при чтении М. М. Коцюбинскому [552].

Писатель А. А. Золотарев в воспоминаниях о своем пребывании на Капри в 1911 году передает слова Горького: «Выньте Бунина из русской литературы, и она потускнеет, лишится живого радужного блеска и звездного сияния его одинокой страннической души» [553].

Об отношении Горького к Бунину этого периода свидетельствует его письмо И. А. Белоусову, посланное в конце декабря 1911 года: «А лучший современный писатель — Иван Бунин, скоро это станет ясно для всех, кто искренно любит литературу и русский язык!» [554]

В дневнике Пушешникова приводятся записи, свидетельствующие о том, как требователен был Бунин к себе, как часто бывал он недоволен написанным.

«Я, вероятно, все-таки рожден стихотворцем, — приводит Пушешников слова Бунина. — Тургенев тоже был стихотворец прежде всего, и он погубил себя беллетристикой. Для него главное в рассказе был звук, а все остальное — это так. Для меня

главное — это найти звук. Как только я его нашел — все остальное делается само собой. Я уже знаю, что дело кончено. Но никогда не пишу того, что мне хочется, и так, как мне хочется. Не смею. Мне хочется писать без всякой формы, не согласуясь ни с какими литературными приемами. Но какая мука, какое невероятное страдание литературное искусство! Я начинаю писать, говорю самую простую фразу, но вдруг вспоминаю, что подобную этой фразе сказал не то Лермонтов, не то Тургенев. Перевертываю фразу на другой лад, получается пошлость, изменяю по-другому — чувствую, что опять не то, что так пишет Амфитеатров или Брешко-Брешковский. Многие слова — а их невероятно много — я никогда не употребляю, слова самые обыденные… Не могу. Иногда за все утро я в силах, и то с адскими муками, написать всего несколько строк. Я не знаю, как должен оплачиваться такой анафемский труд. А между тем я получаю по тысяче рублей за лист. И говорят, что это много. Я ехал на пароходе как-то с В. И. Немировичем-Данченко. Он сказал: „Ну что, разве вы, новые, литераторы?! Я пока доеду, здесь на пароходе напишу целый роман“. В сущности говоря, все литературные приемы надо послать к черту! Пусть критики едят за это сколько угодно. Иначе никогда ничего путного не напишешь. Может быть, к старости я что-нибудь путное напишу. В сущности говоря, со времени Пушкина и Лермонтова литературное мастерство не пошло вперед. Были внесены новые темы, новые чувства и проч., но самое литературное искусство не двинулось». Чехов в своих лучших вещах стал менять форму, «он страшно рос. Он был очень большой поэт. А разве кто-нибудь из критиков сказал хоть слово о форме его последних рассказов? Никто» [555].

И дальше:

«Я всю жизнь испытываю муки Тантала. Всю жизнь я страдаю от того, что не могу выразить того, что хочется. В сущности говоря, я занимаюсь невозможным занятием. Я изнемогаю от того, что на мир я смотрю только своими глазами и никак не могу взглянуть на него как-нибудь иначе» [556]. Вспоминал Пушешников слова, сказанные ему Буниным, когда они гуляли по лесной просеке вблизи Глотова: «Вот, например, как сейчас, — как сказать обо всей этой красоте, как передать эти краски, за этим желтым лесом дубы, их цвет, от которого изменяется окраска неба. Это истинное мучение! Я прихожу в отчаяние, что не могу этого запомнить. Я испытываю мутность мысли, тяжесть и слабость в теле. Пишу, а от усталости текут слезы. Какая мука наше писательское ремесло… В нашем ремесле ужасно то, что ум возвращается на старые дороги… А какая мука найти звук,

мелодию рассказа, — звук, который определяет все последующее! Пока я не найду этот звук, я не могу писать. А среди каких впечатлений мы живем! Среди какой мерзости и гнусности!» [557]

Такой же обостренный слух в отношении языка и стиля он находил у Флобера, у которого «не только каждое отдельное слово, но и каждый звук, каждая буква, — по словам Бунина, — имеют значение. Флобер был человек с болезненно обостренным слухом в отношении языка и стиля» [558].

В феврале на Капри к Горькому приезжал Шаляпин, и вечер 1/14 февраля Бунины провели у Горького, слушая пение и рассказы Шаляпина.

Он прибыл на яхте из Монте-Карло, где выступал в театре. С Буниным расцеловался, сказав: «Здравствуй, Ванечка!» — и весело, оживленно заговорил. Потом поднялись наверх, в кабинет Горького. Пришли еще люди, русские, жившие на Капри, и вскоре наполнилась вся комната, так что негде было поместиться. Шаляпин «был оживлен в высшей степени и говорил не переставая» [559], внимание присутствующих сосредоточилось на нем.

Семнадцатого февраля (первого марта) Бунины уехали с Капри. Трое суток пробыли в Неаполе, потом отправились в Бриндизи и далее — к острову Корфу, потом в Патрас, оттуда по железной дороге — в Афины. 23 февраля (7 марта) Бунин сообщал Юлию: «Мы в Афинах. Куда дальше — еще не решили» [560].

Бунин писал Телешову 25 февраля (9 марта) 1912 года: «Мы в Афинах. На пути из Италии я захворал. Теперь ничего. Но очень сбило это мои планы. Да и пропустил я хороший пароход Добровольного флота, ушедший в Японию. Ждать нового? Не знаю еще, стоит ли» [561].

В Афинах ездили к Акрополю и к могиле Сократа. Долго смотрели на колонны Акрополя, на его фронтоны. Затем отправились в Константинополь.

В Японию не поехали: боялись, что возвратятся в Россию поздно, когда трудно будет снять под Одессой дачу на лето.

В письме к Юлию Алексеевичу В. Н. Муромцева говорит: «Вы не можете себе представить, какая досада у нас на Миролюбова: из-за него мы пропустили „Ярославль“, на котором хотели плыть в Японию»; отправившись позднее, пишет она, «мы вернемся в Москву лишь или в конце апреля, или начале мая. А мы хотим лето провести под Одессой, снять дачу, а как это сделать за глаза. В мае же дач может и не оказаться» [562].

Двадцать девятого февраля Бунин с женой прибыли в Одессу, остановились в гостинице «Лондонская» [563].

На «четверге» Бунин читал рассказ «Захар Воробьев» и имел, как писали газеты, шумный успех. О том, что тогда «Иван Алексеевич читал с большим успехом „Захара Воробьева“», — писала автору этой работы и Вера Николаевна 10 мая 1960 года.

Бунин сообщал Юлию из Одессы 4 марта 1912 года:

«„Ночной разговор“ здесь имеет большой успех. Как в Москве? Ищем дачу… Я бы мог поехать с тобой весной в Палестину.

Страшно жалею, что не поехал в Японию. Не поехать ли? Пароход отходит 15 марта. Будем в Японии в начале мая. А ты сел бы на поезд и приехал во Владивосток, потом в Японию. Пожили бы в ней и вернулись вместе в Россию опять-таки поездом… Здоровье мое так себе. Почка побаливает» [564].

Бунин строил планы поездки в Испанию с Нилусом и Юлием Алексеевичем. Но от этого путешествия пришлось отказаться из-за войны [565].

Бунин был занят подготовкой к изданию своих книг. Вера Николаевна и Пушешников совместно переводили «Грациэлу» Ламартина. В. Н. Муромцева-Бунина сообщала Юлию Алексеевичу из Одессы 24 марта 1912 года: «По целым дням мы работаем с ним (Пушешниковым. — А. Б.) над „Грациэлой“ — коллективное творчество…» [566] 1 апреля Вера Николаевна и Пушешников выехали из Одессы в Москву. Бунин остался в Одессе еще на месяц.

В первой половине апреля Бунин приезжал в Киев, здесь было его выступление. На это указал мне К. И. Чуковский, читавший (9 апреля 1912 года) лекцию об Уайльде.

Одиннадцатого апреля В. Н. Муромцева-Бунина писала Ивану Алексеевичу: «Сейчас я получила вырезки из газет. Очень ругает тебя „Новое время“. Кончается так: „От писаний наших венчанных лаврами изящных словесников становится не по себе“. Это по поводу „Захара Воробьева“» [567]. Реакционная газета в этом рассказе Бунина увидела пасквиль на Россию.

В мае 1912 года Бунин был в Москве, 9-го он с братом Юлием ездил в Симонов монастырь; вечером, сидя в ресторане Тестова, «говорили о <Н. И.> Тимковском, — пишет Бунин в дневнике, — о его вечной молчаливой неприязни к жизни. Об этом стоит подумать для рассказа».

Семнадцатого мая Бунины приехали в деревню, вместе с Юлием Алексеевичем прожили здесь и июнь.

«19 мая <1912>. Глотово (Васильевское).

Приехали позавчера.

Пробыли по пути пять часов в Орле у Маши. Тяжело и грустно. Милая, старалась угостить нас. Для нас чистые

салфеточки, грубые, серые; дети в новых штаниках.

Орел поразил убожеством, заброшенностью. Везде засохшая грязь, теплый ветер несет ужасную пыль. Конка — нечто совершенно восточное. Скучная жара.

От Орла — новизна знакомых впечатлений, поля, деревни, все родное, какое-то особенное, орловское; мужики с замученными скукой лицами. Откуда эта мука скуки, недовольства всем? На всем земном шаре нигде нет этого.

В сумерках по Измалкову. У одной избы стоял мужик — огромный, с очень обвислыми плечами, с длинной шеей, в каком-то высоком шлыке. Точно пятнадцатое столетие. Глушь, тишина, земля.

Вчера перед вечером небольшой теплый дождь на сухую сизую землю, на фиолетовые дороги, на бледную, еще нежную, мягкую зелень сада. Ночью дождь обломный. Встал больным. Глотово превратилось в грязную, темную яму. После обеда пошли задами на кладбище. Возвращались по страшной грязи по деревне. Мужик покупал на улице у торгаша овечьи ножницы. Долго, долго пробовал, оглядывал, торгаш (конечно, потому, что надул в цене) очень советовал смазывать салом.

Мужик опять точно из древности, с густой круглой бородой и круглой, густой шапкой волос; верно, ходил еще в извоз, плел лапти, пристукивал их кочетыгом при лучине.

Перед вечером пошли на луг, на мельницу. Там Абакумов со своими ястребиными глазами (много есть мужиков, похожих на Удельных Великих Князей). Пришел странник (березовский мужик). Вошел, не глядя ни на кого, и прямо заорал (этот стих и следующий — „Три сестры жили…“ — приведены Буниным в рассказе „Я все молчу“. — А. Б.):

Придет время,
Потрясется земля и небо,
Все камушки распадутся,
Престолы Господни нарушатся,
Солнце с месяцем примеркнут,
И пропустит Господь огненную реку,
И поморит нас, тварь земную,
Михаил Архангял с небес сойдет,
И вострубит у трубы,
И возбудит всех мертвых из гроба,
И возглаголет:
Вот вы были-жили Вольной волей,
В ранней обедне не бывали,
Поздние обедни прожирали:

Вот вам рай готовый, —
Огни невгасимые!
Тады мы к матери сырой земле припадаем,
И слезно восплачем, возрыдаем.

(Я этот стих слыхал и раньше, немного иначе.)

Потом долго сидел с нами, разговаривал. Оказывается, идет „по обещанию“ в Белгород (ударение делает на „город“), к мощам, как ходил и в прошлом году, дал же обещание потому, что был тяжко болен. Правда, человек слабый, все кашляет, борода сквозная, весь абрис челюсти виден. Сперва говорил благочестиво, потом проще, закурил. Абакумов оговорил его. Иван (его зовут Иваном) в ответ на это рассказал, почему надо курить, жечь табак: шла Богородица от Креста и плакала, и все цветы от слез ея сохли, один табак остался: вот Бог и сказал — жгите его. (В рассказе „Худая трава“ эти слова говорит Аверкий. — А. Б.) Вообще, оказалось, любит поговорить. Во дворе у него хозяйствует брат, сам же он по слабости здоровья даже не женился. Был гармонистом, то есть делал и чинил гармонии. Сидел в садах, на огородах. Разговор начал певуче, благочестиво, тоном душеспасительных листков, о том, что „душа наша в волнах, в забыт*и*щах“.

Потом Иван зашел к нам и стал еще проще. Хвалился, что он так забавно может рассказывать и так много знает, что за ним, бывало, помещики лошадь присылали, и он по неделям живал в барских домах, все рассказывал. Прочитал, как слепые холстину просят:

Три сестры жили, три Марии Египетские были,
На три доли делили, то богаты были.
Одну долю отделили, незрящее тело прикрывали,
А другую долю отделили по тюрьмам-темницам,
Третью долю отделили по церквам-соборам.
Не сокращайте свое тело хорошим нарядом.
А сокрасьте свою душу усердным подаяньем.
Ето ваше подаяние будет на первом присутствии
Как свеча перед образом-Богом.
Не тогда подавать, когда соберемся помирать,
А подавать при своем здоровьи,
Для своей души спасенья,
Родителям поминовения.
На том не оставьте нашей просьбы!

Рассказывал, что если слепым не подают, они проклинают:

Дай тебе, Господи, два поля крапивы
Да третье лебеды
Да тридцать три беды!
Новая изба загорись,
Старая провались!

Вечером гуляли. Когда шли на Казаковку, за нами шла девочка покойного Алешки Барина, несла пшено. „На кашу, значит?“ — „Нет, одним цыплятам мать велит, а нам не дает“. Мать побирается, девочка все одна дома, за хозяйку, часто сама топит. „У нас трусы есть, два, цыплят целых двенадцать…“

20 мая 1912 г. Ходили в лес. Возвращались по деревне. Иван у старика, старик идет вместе с ним в Белгород.

День прелестный. Вечером были в Колонтаевке. (Изображена в „Митиной любви“ под названием Шаховское. — А. Б.) Соловьи.

21 мая. Еще лучше день, хотя есть ветерок. Ходили на кладбище. Назад через деревню. Как грязны камни у порогов! Солдат, бывший в Манджурии. Море ему не нравится. „Японки не завлекательны“ <…>

Перечитываю Куприна. Какая пошлая легкость рассказа, какой дешевый бойкий язык, какой дурной и совершенно не самостоятельный тон <…>

25 мая. Все зацвело в садах.

Вчера ездили через Скородное. Избушка на поляне, вполне звериное жилье, крохотное, в два окошечка, из которых каждое наполовину забито дощечками, остальное — кусочки стекол и ветошки. Внутри плачет ребенок Марфутки, дочери Федора Митрева, брошенной мужем. А лес кругом так дивно зелен. Соловьи, лягушки, солнце за чащей осинника и вся белоснежная большая яблоня „лесовка“ против избушки».

28 мая. «Коля говорил о босяках, которые перегоняют скотину, покупаемую мещанами на ярмарках. Я подумал: хорошо написать вечер, большую дорогу, одинокую мужицкую избу; босяк — знаменитый писатель (Н. Успенский или Левитов) <…> Потом о последнем дне нашего отца. Исповедуясь, он лежал. После исповеди встал, сел, спросил: „Ну, как по-вашему, батюшка, — вы это знаете — есть во мне она!“ Робко и виновато. А священник резко, грубо: „Да, да, пора, пора собираться“» [568]. Этот диалог Бунин привел почти дословно в рассказе «Худая трава» (гл. IX), говоря о смерти крестьянина Аверкия.

В один из дней, когда у него был жар, Бунин «был очень трогательный, — пишет Вера Николаевна. — Говорил все из

„Худой травы“, уверял, что он похож на Аверкия» [569].

О своей работе в эти дни Бунин писал 30 мая 1912 года из Глотова М. П. и А. С. Черемновым: «Мы… работаем не важно… еще ни единого гроша не заработал я, сидя здесь! Да, есть, впрочем, некоторое оправдание сему: перечитывал, правил книгу своих новых рассказов („Суходол“. — А. Б.), которую в конце августа выпускает в свет „Книгоиздательство писателей в Москве“…

Посылаю вам еще том моих словосочинений. С трепетом жду отзыва в „Заветах“. Поддержите хоть вы — запуган я критиками. Есть милостивые, но есть и свирепые: начинают за здравие: „дивно, красочно, сильно…“ и т. д. и т. д. А в конце: „а все-таки барин, погромами запуган“… Больше всех, кажется, Амфитеатров старается: на днях написал в „Одесских новостях“, что я „головой выше и Горького, и Андреева, и Куприна“, но… но совсем не имею любви. Вот и угоди тут! Буду развивать в себе помаленьку и любовь. Да боюсь, что поздно, — ведь слышали? — юбилей мой осенью 25-летний» [570].

В интервью, данном корреспонденту «Московской газеты», Бунин говорил: «Критики обвиняют меня в сгущении красок в моих изображениях деревни. По их мнению, пессимистический характер моих произведений о мужике вытекает из того, что я сам барин.

Я хотел бы раз навсегда рассеять подозрение, что никогда в жизни не владел землей и не занимался хозяйством. Равным образом, никогда не стремился к собственности.

Я люблю народ и с не меньшим сочувствием отношусь к борьбе за народные права, чем те, которые бросают мне в лицо „барина“.

А что касается моего отношения к дворянству, это можно увидеть хотя бы из моей повести „Суходол“, где помещичья среда изображается далеко не в розовых оптимистических красках.

Я протестую, — говорит автор „Деревни“, — против искажения критиками моего мировоззрения, моих подлинных взглядов, тем более что подобные наветы совершенно не соответствуют действительности» [571].

Об этом же он говорил и корреспонденту одной из одесских газет:

«По поводу моей последней повести „Деревня“ было очень много толков и кривотолков. Большинство критиков совершенно не поняли моей точки зрения. Меня обвиняли в том, что я будто озлоблен на русский народ, упрекали меня за мое дворянское отношение к народу и т. д. И все это за то, что я смотрю на положение русского народа довольно безрадостно. Но что же

делать, если современная русская деревня не дает повода к оптимизму, а, наоборот, ввергает в безнадежный пессимизм» [572].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина писала 23 мая 1958 года: «Конечно, „Деревня“ и другие рассказы не бытовые, быт там только фон, а главное душа человека, взятая в трагическом разрезе. Как и „Темные аллеи“, почти все, что в этой книге, — трагизм любви. Но трудно требовать от людей, которые никогда не бывали в деревне, чтобы они почувствовали то, что чувствовал автор, и то, что для него было самым важным. Боже, какую ерунду приходилось иногда выслушивать… всякий берет от произведения писателя только то, что он сам может воспринять».

В дневнике Бунин писал [573]:

7 июня 1912 года. «Читал биографию <И. В.> Киреевского. Его мать — <Авдотья Петровна> Юшкова, внучка Бунина, отца Жуковского».

16 июня. «За Малиновым — моря ржей, очаровательная дорога среди них. Лужки, вроде бутырских. Мелкие цветы, беленькие и желтые. Одинокий грач. Молодые грачи на косогоре, их крики. Пение мошкары, жаворонков — и тишина, тишина…

Потом большая дорога — и пение косцов в лесу: „На родимую сторонушку…“ (Описано в рассказе „Косцы“. — А. Б.) В лесу усадьба, полумужицкая. Запах елей, цветы, глушь. Огромные собаки во дворе. Говорят, как-то разорвали человека.

На большой дороге деревушка.

Шла отара, — шум от дыхания щиплющих траву овец.

Вечер, половина одиннадцатого. Гроза, ливень, буря. Слепит белой молнией, сполохом с зеленоватым оттенком, — в общем остается впечатление жести и лиловатого. Туча с запада. А за садом полный оранжевый месяц (очень низкий) за мотающимися ветвями сада. Небо возле него чисто. Выше красивые облака, точно из размазанных и засохших чернил.

Сейчас опять глядел в окно: месяц прозрачный и все-таки нежный, молния ослепляет белым, в последний миг оставляя в глазах лиловое.

17 июня <…> Всю ночь гроза. Просыпался в четыре. Был страшный удар.

После обеда сидел в шалаше. Что за прелестный человек Яков, как приятно слушать его. Всем доволен. „И дожжок хорошо! Все хорошо!“ Был женат, пять человек детей; с женой прожил двадцать один год, потом она умерла, и он был семь лет вдовцом. Жениться второй раз уговорили. Был у родных, пришла дурочка „хлебушка попросить“. — „А хочешь замуж?“ — „За хорошую голову пошла бы“. — „Ну, вот тебе и хорошая голова“, — сказал ей Яков про себя. Повенчались, а она „прожила с после Успенья

до Тихвинской — и ушла. Меня, говорит, прежние мужья жамками, канахфектами кормили, а ты кобель, у тебя ничего нету…“ Земли у него полторы десятины. „Да что ж, я не жадный, я добродушный“».

В «Божьем древе» все это рассказывает Яков Демидыч; даты в рассказе, написанном в форме дневника, вымышленные.

Бунин продолжает: «Вечером были на выезде из Глотова, в крохотной избушке, где молнией убило малого лет пятнадцати и девочке-ребенку голову опалило».

Эти впечатления отобразились в рассказе «Жертва».

Бунин также записал в этот день:

«Видел сына Таганка — страшный, седой, древний старик».

20 июня «<…> Страшно ярка зелень деревьев <…>

Перечитывал „Путешествие в Арзрум“, — так хорошо, что прочел вслух Вере и Юлию первую главу. Перечитывал Баратынского (прозу) „Перстень“ — старинка и пустяки. Как любили прежде рассказывать про чудаков, про разные „странности“!

21 июня. Много ветвей с зелеными листьями нарвало, накидало по аллее холодным ураганом.

Яков: „Ничего! Не первой козе хвост ломать! Мы этих бурей не боимся!“

Читаю „Былины Олонецкого края“ Барсова. Какое сходство в языке с языком Якова! Та же криволапая ладность, уменьшительные имена…

На деревне слух — будто мужиков могут в острог сажать за сказки, которые мы просим их рассказывать».

Бунин говорил в 1911 году: «Меня интересует воспроизведение подлинной народной речи, народного языка» [574]. Он изучал изданные незадолго перед этим «Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия», выпуск I (М., 1911), сделал огромное количество выписок из этого сборника и из сборника былин Е. В. Барсова «Памятники народного творчества Олонецкой губернии» (СПб., 1873), а также из «Песен, собранных П. Н. Рыбниковым» (2-е изд., т. I–III. М., 1909–1910) [575].

Фольклорные записи Бунин делал и сам. Он говорил: «Я когда-то усердно собирал частушки, народные поговорки, прибаутки. Это неоценимый клад, и сколько их ни записывать, все равно всего не запишешь. Был у меня паренек из деревенских, которого я обучил искусству записи. Мы условились, что я буду платить ему по копейке за каждую новую запись. Вероятно, этот самородок многое сам присочинял, но как он был талантлив <…>

А всяких частушек и народных прибауток собрал я около

одиннадцати тысяч. Не знаю, уцелели ли все эти материалы, они остались в Москве в моих архивах. Кое-что я стараюсь теперь восстановить по памяти, но память — вещь неверная» [576]. Фольклорные записи Бунина известны немногие [577].

Бунин следовал за Пушкиным, писавшим, что «изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств русского языка» [578].

В дневниковой записи 21 июня 1912 года Бунин сообщает о прототипах «Деревни» и рассказа «Божье древо»:

«Пришел Алексей (прообраз моего Митрофана из „Деревни“). Жалкий, мокрый, рваный, темный, глаза слабые, усталые. Все возмущается, про что-нибудь рассказывает и — „вот бы что в газетах-то пронесть!“. Жил зимой в Липецке, в рабочем доме, лежал больной, 41 градус жару. Ужасно!..

Яков в непрестанном восхищении перед своим хозяином, — в холопском умилении. Часто представляет его, — у того будто бы отрывистый говор, любовь к странным выходкам, к тому, чтобы озадачить человека чем-нибудь неожиданным.

— Придешь к нему, взлохматишь нарочно голову… „Ай ты с похмелья, Яков?“ — С похмелья, Александр Григорич… „Ну на, выпей сотку! Живо!“ — А то сидишь — удруг мальчишка бежит: „Скорей, хозяин кличет!“ Я со всех ног к нему: „Что такое, А. Г., что прикажете?“ — „Садись!“ — Сел. „Пей!“ — И ставит на стол бутылку и с торжеством: „А ведь сад-то я снял!“

Ив. Як. по садам уже восемнадцать лет. Мальчишкой был на свечном заводе, потом ездил торговать (семь подвод, четыре человека) облачением, кадилами, свечами. Уже десять лет вдов. Дочь отдал замуж, сын (семнадцати лет) в черной лавке. Живет одиноко, зимой „шибает“, — „кошадер“, — скупает дохлых кошек и шкурки „хахули“ (выхухоли), лошадей режет.

У Якова один сын в солдатах (его жена и правит домом летом), другой хромой, пьяница, сапожник, „отцу без пятака латки не положит“, а как нужда — к отцу: „Батя, помоги!“

23 июня. В шесть с половиной утра уехал Юлий. Скучно и жалко его. Стареет, слабеет.

Вчера северная холодная погода. Прошли в Остров, вернулись через деревню. Пьяный, довольно молодой мужик, красное лицо, губы спеклись, ругает своего соседа. Вид разбойника, того гляди убьет.

Рагулин рассказывал, как их бил Гришка Соловьев. Один из них схватил черпак и ударил Гришкину беременную мать по животу, хотя она-то была совсем ни при чем. Скинула.

Были с Колей на Казаковке, в той избе, куда ударило грозой. Никого нету — мать в поле навоз „бьет“, отец в Ливнах — пропал,

спился, — девка „на месте“; в избе два ребенка — одному мальчишке три года, другому лет десять. Этот трехлетний (идиот) сидит без порток, намочил их, „в чугун с помоями вляпался“. Изба крохотная, и мерзость в ней неописуемая — на лавке разбитые, гнилые лапти и заношенные до черноты, залубяневшие онучи, на полу мелкая гниющая солома, зола, на окне позеленевший самоварчик…»

24 июня. «После обеда прошли через кладбище на деревню. Изба Федора Богданова, выглядывает баба. Коля (Пушешников. — А. Б.) зашел раз в рабочую пору к ней, а она лежит среди избы на соломе — вся черная, глаза огненные — рожает. Четыре дня рожала — и ни души кругом! Вот это „рождение человека“!

Посидели с Яковом.

— Яков Ехимыч!

— Аюшки?

— Ты что любишь из кушаний?

— Моя душа кривая, все примая. И мед и тот прет. А я всего раз сытый был — когда на сальнях, на бойнях под Ельцом жил.

Потом разговор о старости, о смерти. Я рассказал ему о <И. И.> Мечникове (писавшем по проблеме старения. — А. Б.).

— Да, конечно, стараются, жалованье получают…»

26 июня. «Сидели опять с Яковом, он начал было рассказывать „Конька-Горбунка“ — чудесно путает чепуху — потом надоело, бросил».

Пробыв в конце июня — начале июля четыре дня в Москве, Бунин вместе с женой и племянником 4 июля приехал к Черемнову, жившему с приемной матерью Марией Павловной в имении Клеевка, в Нащокине Себежского уезда Витебской губернии.

В дневнике Бунин писал:

«7 июля 12 г. Клеевка. Себежский уезд.

Гостим у Черемнова.

В Глотовке замучил дождь. Выехали оттуда 29 июня в Москву. В Москве пробыли до утра 4-го. Здесь тоже дождь.

Перебирали с Юлием сумасшедших, вернее, „тронувшихся“, в нашем роду: дед Ник. Дм., Олимпиада Дмитриевна, Алексей Дм., Ольга Дм., Владимир Дм., Анна Вл. (Рышкова), Варвара Николаевна (сестра нашего отца), Анна Ивановна (Чубарова, урожденная Бунина). Впрочем, все они „трогались“ чаще всего только в старости.

Наше родословие: прадед — Дм. Семеныч, его дети — Ник. Дм., Олимпиада Дм., Алексей, Ольга, Владимир. У Дм. Сем. был брат Никифор Семен., его сын — Аполлон, а у Аполлона — Влад, и Федор. Дмитрий Сем. служил в гвардии в Петербурге…

Ходил перед отъездом к Рогулину, записывать его сказки…»

Вера Николаевна Муромцева писала Юлию Алексеевичу 9 июля 1912 года:

«Скоро неделя, как мы в Клеевке… Удивительно легкие и внимательные люди. Марья Павловна только и думает, как бы всякому сделать приятное. Про себя могу сказать, что я чувствую себя как дома, — нет, даже лучше, ибо здесь нет домашних неприятностей. Мы все занимаемся, и довольно много. Местность здесь тем хороша, что после какого угодно дождя можно гулять без страха увязнуть. Местность холмисто-лесистая, есть и озера. Имение очень благоустроенное, чувствуется, что хозяева культурные люди. Да и сами мужики чище, лица определеннее наших. Есть и особая поэзия этого края: в саду живет семейство аиста, коров сзывают рожком, чувствуется Германия даже в самых строениях, крышах, которые с первого взгляда похожи на черепичные, только из более мелких деревянных кусочков. Коля собирается покупать здесь пять десятин и строиться…

В Москве мы пробыли дня четыре… Ян успел повенчать Олю Шарвину-Муромцеву с Родионовым, они с Митюшкой (Дмитрием Пушешниковым. — А. Б.) были шаферами» [579]. Ольга Сергеевна Шарвина-Муромцева — двоюродная сестра Веры Николаевны. Николай Сергеевич Родионов — впоследствии известный исследователь творчества Толстого. О Родионове В. Н. Муромцева-Бунина писала 17 октября 1960 года, получив от меня известие о его смерти:

«До сих пор я не примирилась с уходом от нас Николая Сергеевича… Я очень ценила переписку с ним, всегда рада была получить от него весточку, — ведь с 11 года мы были в дружески родственных отношениях; и после такого срока разлуки оказались по-прежнему близки. Я особенно ценю это и до конца дней своих сохраню это в своем сердце».

В Клеевке Бунин работал над корректурой сборника «Суходол» для «Книгоиздательства писателей в Москве». Позднее, будучи в Москве, читала корректуру и Вера Николаевна. Бунин не сразу нашел название книги, спрашивал Нилуса: «Почти набран том моих новых рассказов. Как его озаглавить? В нем все только о Руси — о мужиках да „господах“. „Смерть“, „Крик“ оставил для другого тома, если Бог даст его. Как озаглавить? Придумай. „Русь“? „Наша душа“? Или просто — „Повести и рассказы“»? [580] 12 августа он сообщил Нилусу, что книгу назвал: «„Суходол“. Повести и рассказы 1911–1912 гг.». Она вышла в сентябре. За лето Бунин не написал ни одного рассказа, зато написал много стихотворений, почти все те, что вошли в книгу «Иоанн Рыдалец».

Клеевка очень понравилась Бунину — и ее типично

белорусский пейзаж, и население. «Население, — писал А. С. Черемнов И. С. Шмелеву 1 июля 1914 года, — типично русское, и И. А. Бунин нашел в нем даже древнекиевские черты (веселие пити, умыкание девиц, порчу снох и житие звериным обычаем)» [581].

Сам Бунин писал Горькому, объясняя, почему он «засиделся» в Клеевке: «Тишина… здесь изумительная — жаль расставаться с ней. И деревни не те, что у нас, и лица лучше: недавно встретил мужика в лесу — настоящий Олег! А ведь по Питерам ходят» [582].

«Жить здесь очень приятно, — писал Бунин Нилусу 13 июля 1912 года. — Край оригинальный — холмистый, лесистый, пустынный, редкие маленькие поселки среди лесов, хлебов мало» [583].

Для Бунина, большого мастера пейзажа, это было необыкновенно интересно, эти новые впечатления, — рос он в орловской деревне, по собственному признанию, «в чистом поле… Великий простор, без всяких преград и границ, окружал меня… Только поле да небо видел я» [584].

И люди здесь оказались не такими, как те, среди которых он вырос и жил, каких он изобразил в «Деревне» и во многих своих рассказах. В здешних крестьянах, в их быту он не нашел той темноты и дикости, на которые с избытком нагляделся на Орловщине.

Крестьян, как говорил Бунин — «совершеннейших аристократов», умных, талантливых, он наблюдал и в его родных местах — в орловских деревнях. В Осиновых Дворах он однажды восхищался мужиком с ласково-лучистым взором, который напоминал своим видом профессора; «другой поразил, — писал он, — XVI век, Борис Годунов». На Прилепах один крестьянин казался ему «великим удельным князем» — умный, с «чудесной доброй улыбкой. Вот кем Русь-то строилась», — пишет Бунин в дневнике [585].

Но все же в массе своей обитатели этих деревень производили на него впечатление менее выгодное, чем крестьяне Витебской губернии.

Бунин говорил корреспонденту «Московской газеты» (1912, № 217, 22 октября) о Витебской губернии:

«Огромный лесной край, чрезвычайно любопытный в бытовом отношении. Мне пришлось очень много ходить пешком, вступать в непосредственное соприкосновение с местными крестьянами, присматриваться к их нравам, изучать их язык. Причем я сделал ряд интересных наблюдений. У крестьян этой полосы, по моему мнению, в наиболее чистом виде сохранились неиспорченные черты славянской расы. В них видна порода. Да и живут они

хорошо, далеко не в тех ужасных некультурных условиях, как наш мужик в средней России».

Жизнь крестьян здешнего края не была столь неподвижной, отъединенной от всего мира, как в степных деревнях Центральной России.

И в прошлом народу, обитавшему на западной окраине Руси, — где не было татаро-монгольского ига, — на путях, по которым не однажды передвигались иноземные завоеватели, приходилось переживать немало всякого рода исторических потрясений и перемен — бороться за независимость, изгонять со своей земли врага — полчища Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, под власть которых Себеж в разное время подпадал.

Бунин быстро схватывал и уяснял особенности края и народные черты, то, что он определял словами — «душа народа». Русских, украинцев, по селам которых он много путешествовал, наблюдал еще в юные годы. Стремился он постигнуть душу и белорусского народа. Бывал в домах крестьян Себежского уезда, ездил по примечательным местам, восхищался природой. 12 августа 1912 года он отметил в дневнике:

«Девятого ходили перед вечером, после дождя, в лес. Бор от дождя стал лохматый, мох на соснах разбух, местами висит, как волосы, местами бледно-зеленый, местами коралловый. К верхушкам сосны краснеют стволами, — точно озаренные предвечерним солнцем (которого на самом деле нет). Молодые сосенки прелестного болотно-зеленого цвета, а самые маленькие — точно паникадила в кисее с блестками (капли дождя). Бронзовые, спаленные солнцем веточки на земле. Калина. Фиолетовый вереск. Черная ольха. Туманно-синие ягоды на можжевельнике.

Десятого уехали в дождь Вера и Юлий; Вера в Москву, Юлий в Орел.

Нынче поездка к Чертову Мосту. В избе Захара. Угощение — вяленые рыбки, огурцы, масло, хлеб, чай. Дождь в дороге.

С необыкновенной легкостью пишу все последнее время стихи. Иногда по несколько стихотворений в один день, почти без помарок» [586]. Обдумывал поэму с героем поэтом.

Впоследствии Бунин писал, что ему хотелось повторить «чудесные впечатления от Клеевки, песков, бора, теплых ночей», увидеть, говорил он в письме Черемнову 3 июля 1914 года, «вашу милую страну» [587], где так хорошо работалось. Собирался он в Клеевку не однажды, но год за годом поездку откладывал из-за войны и революционного брожения в стране, все усиливавшегося, когда дальние поездки стали затруднительны; в конце концов от

этих планов пришлось отказаться.

В Клеевке Бунин написал в числе других стихотворений истинно народные стихи «Два голоса», по мотивам русской народной песни «Ночь темна да немесячна…», и «Белый олень» — на сюжет русской народной песни «Не разливайся, мой тихий Дунай…».

Особенное значение имело для Бунина написанное здесь стихотворение «Псковский бор» (23.VII.1912), самым очевидным образом связанное с природой Витебской губернии. В нем повторяются почти дословно некоторые выражения дневниковой записи с описанием бора, которая приведена выше. Дата стихотворения, предшествующая дневниковой записи, очевидно, неточная. Она проставлена Буниным по памяти спустя много лет. До этой датировки в полном собрании сочинений 1915 года (изд. А. Ф. Маркса) указано несколько неопределенно: «VII. 12». А опубликовано стихотворение в феврале 1914 года в журнале «Северные записки». Вернее было бы считать, что сперва писался дневник, а потом — стихотворение.

В стихотворении упоминаются отмеченные в дневнике «краснеющие стволами» сосны, и калина, и «туманно-синие ягоды на можжевельнике» — то, что увидел поэт, бродя по бору:

Вдали темно и чаши строги.
Под красной мачтой, под сосной
Стою и медлю — на пороге
В мир позабытый, но родной.

Достойны ль мы своих наследий?
Мне будет слишком жутко там,
Где тропы рысей и медведей
Уводят к сказочным тропам,

Где зернь краснеет на калине,
Где гниль покрыта ржавым мхом
И ягоды туманно-сини
На можжевельнике сухом.

Псковский бор — это леса Себежа, который в древности относился к псковской земле, входил в Псковскую феодальную республику, существовавшую со второй половины XIII до начала XVI века; с 1957 года, после различных перемен в районировании, эти места опять относятся к Псковской области. Вспоминая в 1926 году свое пребывание в Клеевке, Бунин сказал, что это было «лето в псковских лесах».

«…Вот лето в псковских лесах, и соприсутствие Пушкина не оставляет меня ни днем, ни ночью, и я Пишу стихи с утра до ночи, с таким чувством, точно все написанное я смиренно слагаю к его стопам, в страхе своей недостойности и перед ним, и перед всем, что породило нас»:

Вдали темно и чащи строги… [588]

В первой публикации стихотворения о псковском боре были еще строки, позднее Буниным исключенные:

Кто будет в нем моей защитой?
Я вспоминаю, точно сон:
Клад, нашим пращуром зарытый,
По праву мой… Но древен он.

Клад пращура — это поэзия, достойная веков и тысячелетий.

Вера Николаевна уехала из Клеевки в Москву вместе с Юлием Алексеевичем, заезжавшим к Черемнову дней на пять после заграничного путешествия. 15 августа туда же отправились и Бунин с Пушешниковым. Через несколько дней он был уже в Крыму — в Суук-Су, под Гурзуфом, провел там около двух недель.

Тридцать первого августа сообщал Нилусу из. Гурзуфа: «Собираемся в Одессу» [589]. 23 сентября 1912 года он писал из Одессы Белоусову: «Нынче еду в Москву» [590].

В Москве Бунин поселился в гостинице «Лоскутная».

Двадцать седьмого октября торжественно отмечалось двадцатипятилетие литературной деятельности Бунина.

Чествование сперва происходило в зале университета: на заседании «Общества любителей российской словесности» с приветственной речью выступил А. Е. Грузинский; Бунин прочел «один из небольших неизданных рассказов, вызвав восторг своим мастерским чтением» [591]; Грузинский огласил постановление об избрании Бунина почетным членом «Общества». Он был и его «„временным“ председателем».

«Русское слово» писало 30 октября: «От старых членов кружка „Среды“ юбиляру был поднесен в роскошной папке альбом с портретами всех членов кружка. От друзей и почитателей — красивая серебряная парусная яхта с надписью „Вера“, от другого кружка почитателей — аккредитив на 20 000 франков. От Художественного театра юбиляру был передан брильянтовый жетон с изображением эмблемы театра — чайки. От А. А. Карзинкина юбиляру был передан художественно сделанный

слон на цветочном плато с изображением экзотического уголка из пальм, мимоз и орхидей. От г-жи Карзинкиной было прислано очень ценное старинное итальянское издание „Божественной комедии“ Данте. От старой „Среды“ юбиляру был поднесен портрет Пушкина, от молодой „Среды“ — картина-акварель В. В. Переплетчикова».

В Литературно-художественном кружке на парадном банкете председательствовал А. И. Южин.

В дни юбилея Бунин получил много приветственных телеграмм и писем. Были получены телеграмма от больного в то время Мамина-Сибиряка и письмо от Горького с Капри.

«И проза ваша и стихи, — писал Горький, — с одинаковою красотой и силой раздвигали пред русским человеком границы однообразного бытия, щедро одаряя его сокровищами мировой литературы, прекрасными картинами иных стран, связывая воедино русскую литературу с общечеловеческим на земле» [592].

Леонид Андреев писал Бунину: «Люблю и высоко ценю твой талант и с радостью присоединяюсь к приветствиям, в которых все русское общество и литература знаменует сегодняшний твой день. Работай на славу. Как твой земляк, орловец, радуюсь за нашу Орловскую губернию и от лица ее лесов и полей, тобою любимых, крепко целую тебя» [593].

От Куприна была получена телеграмма из Гельсингфорса: «Обнимаю дорогого друга, кланяюсь чудесному художнику» [594].

Пришли телеграммы и письма от Короленко и многих других писателей.

Дружески приветствовал Бунина Ф. И. Шаляпин: «Дорогой друг Иван Алексеевич, прими мое сердечное поздравление с торжественным праздником твоей славной деятельности, шлю тебе пожелания здоровья и счастья на многие годы и крепко тебя люблю».

Иван Михайлович Москвин, искусство которого высоко ценил Чехов, писал: «Того, кто правдив, глубок и прост, нельзя не любить, и я вас очень люблю, дорогой Иван Алексеевич» [595].

Василий Иванович Качалов послал Бунину 28 октября 1912 года восторженное письмо, в котором он называет себя «давнишним и большим поклонником» его таланта — «такого ясного, несомненного, убедительного и привлекающего… Ваш талант, — писал он, — всегда и неизменно будит во мне одно очень важное и дорогое для меня чувство — любовь к жизни. Вы любите жизнь и умеете заразить вашей любовью меня… Какой бы грустью ни наполнились ваши глаза, они все так же пристально и любовно глядят на жизнь» [596].

Радовало Бунина приветствие его давнишнего друга

С. В. Рахманинова: «Примите душевный привет от печального суходольного музыканта» [597].

В письме (без даты) Бунин сообщал Нилусу, по-видимому, о своем юбилее:

«Об успехах моих ты немного знаешь уже из „Одесского листка“ (переходу куда твоему весьма радуюсь); но скажу больше: встречали меня в Москве всюду прямо как знаменитого — я даже весьма удивлен был. Много и пишут о моих последних вещах. Есть и злобные, и редко-глупые отзывы, но есть и такие, что ахнешь. Толстой да и только! Радуюсь — и боюсь… и сглазить и всего прочего» [598].

О юбилее критик П. С. Коган говорил корреспонденту газеты «Одесские новости», что «подобного по грандиозности чествования мог удостоиться разве Толстой… Чествование носило бессознательно-демонстративный характер… Академия, университет, ученые и литературные общества, масса учреждений и публики чествовали в лице Бунина носителя идей, противоположных идеям модернизма, писателя, верного классическим традициям нашего реализма, — об этом красноречиво свидетельствовало отсутствие на чествовании представителей недавно господствовавшего направления. Брюсов, открывший своими стихами российское декадентство, счел даже нужным на юбилейные дни уехать из Москвы, — дабы избежать неловкости, — и ограничился холодной и краткой телеграммой. Все эти факты дают основание думать, что мы возвращаемся к общественно-реалистическому направлению в литературе, что период отчаяния и растерянности ищущих забвения в опьянении фантазии и всякого рода иррационального состояния души приходит к концу» [599].

В эти дни в прессе появились высказывания Бунина о художественном творчестве, об искусстве, в частности, о его отношении к театру.

Отвечая на вопрос сотрудника одного из журналов, почему в его творчестве не отразился театр, Бунин сказал:

«Проще сказать, я отвык от театра. — И это правда, что в своем писательстве я прошел мимо него. Ведь я редко заезжаю в Москву, редко хожу в театр. Бывали, конечно, минуты больших сценических впечатлений. Многое волновало, многое оставляло известное впечатление. Но беда в том, что я, — как бы вам сказать? — беда в том, что я знаю „закулисы“ театра. Я вижу и замечаю всякую фальшь, всякую неестественность, всю эту театральную условность, которая часто коробит меня. Вот, как в опере: хорошо слушать большого артиста… с закрытыми глазами.

— Но отчего это предубеждение?.. Вы, как чеховский Треплев,

против пьес, в которых говорится, как „люди носят свои пиджаки“?..

— Нет, не потому. Я думаю, что и с „пиджаками“ можно написать глубокую вещь, если, конечно, не останавливаться на мелочах и частностях, а брать лишь важное и основное в человеческой психике и жизни. И потом еще: я не люблю и не понимаю таких слов, как „новые формы“, „соборное действо“, „хоровод“ и прочее… И эта погоня за „стилизацией“ меня часто возмущает и не только в театре (я видел, например, стилизованный античный театр Рейнгардта, и это зрелище казалось мне грубым), но и вообще в искусстве. Стилизация в ее благородном смысле, конечно, законна, да и естественна во всяком подлинном произведении художества.

Не стилизована ли разве „Саламбо“ Флобера?.. А вся эта подделка под античность — она свидетельствует лишь о дряблости чувств моих современников; она говорит о том, что мы перестали чувствовать настоящую любовь и настоящую страсть; разучились ценить радость жизни, правда, короткой, но полной впечатлениями. Но, разумеется, для этого надо не сидеть на одном месте, а путешествовать, видеть новые страны, жить на море.

— А скажите, Иван Алексеевич, вы когда-нибудь думали о пьесе для театра?

— Да… Часто мне хотелось написать что-нибудь для сцены. Влекла меня и самая форма. Ведь в драме, в ее стремительном, сильном, сжатом диалоге — так многое можно сказать в немногих словах. Тут приходится как бы концентрировать мысль, сжимать ее в точные формы. А это ведь так увлекательно. Вот и сонет поэтому излюбленная моя форма. А как хорошо было бы написать трагедию…

— Вы любите этот род?

— Очень. Тут такой простор для широчайших обобщений, тут так много влекущего. Ведь тут можно дать картину мощных страстей; люди, история, философия, религия — все может быть взято в такой яркой форме… Сколько заманчивого, например, в мысли о трагедии из жизни Будды. Только вот одно останавливает: условности сцены, с которыми надо постоянно считаться…

Наша беседа о театре обрывается. Мы говорим о литературе, о писателях. С упоением цитирует Иван Алексеевич Толстого.

— Вы вспомните, как у него все просто, сильно и глубоко. А ведь он не боялся мелочей, которые могли бы показаться оскорбительными. Наташа вбегает в избу к раненому князю Андрею… Слышен чей-то храп… И вот чудится это гениальное

„пити-пити“, и все разрастается в целую симфонию человеческой любви и страданья. А ведь этот „храп“ за стеной нисколько не помешал… Да, надо быть широким и смелым в творчестве.

— Вы долго еще пробудете в Москве?

— Нет. Я не могу сидеть на одном месте. Жаль, что здоровье не позволяет, а то было совсем налажено кругосветное путешествие. Придется только в Испанию и в Италию поехать… А жаль. Уж очень хороший пароход выходит в ноябре…

И в этих словах чувствуется такая глубокая, страстная любовь Бунина к путешествиям, к морю. И уже кажется понятным, почему этот человек, с восторгом говорящий о 50 днях, проведенных в открытом океане, — почему он холоден и равнодушен к нашей городской суете, нашим театрам» [600].

Вскоре после юбилея Бунин с женой и племянником отправились через Варшаву и Вену на Капри. 11 ноября 1912 года он сообщал Нилусу: «Едем нынче за границу». 28 ноября (н. ст.) Иван Алексеевич писал брату: «Второй день в Венеции… Нынче вечером едем в Рим» [601].

На Капри прибыли 16/29 ноября 1912 года. Вера Николаевна писала Ю. А. Бунину 20 ноября (3 декабря) 1912 года: «Мы на Капри. И очень, очень рады. Ибо устроились более чем хорошо. Нами занято… четыре комнаты… У Горьких были, встретили нас, как всегда, радушно. Много хорошего он говорил об юбилее и, кажется, искренне всем доволен. — Устали мы за дорогу. Да как было и не устать, и Ян и Николай Алексеевич (Пушешников. — А. Б.) в Венеции чуть было не свалились, у обоих началось повышение температуры, были приняты экстренные меры: насадились коньяком и красным вином с горячим чаем, принимали соответствующие лекарства. Я очень переволновалась…

Из-за всего этого мы только осматривали дворец Дожей да темницы, а то почти все время просидели, вернее, пролежали в комнатах… Ян каждую минуту мерил температуру… На другой день мы решили ехать на Капри. „Домой, домой, в Вязьму, в Вязьму“. И приехав сюда, почувствовали великое успокоение, совсем как дома… Ян очень волнуется… (из-за болезни Пушешникова. — А. Б.) и тоже чувствует себя слабым, но это и понятно, — он ведь очень устал за последний месяц… Здесь много русских, начала кипеть жизнь, устраиваются рефераты о Дарвине и на литературные темы. Положено начало библиотеки, одним словом, и у нас есть Художественный кружок» [602].

На Капри первые дни, по нездоровью, Бунин и Вера Николаевна оставались дома, их навещали Горький и Е. П. Пешкова (М. Ф. Андреева уехала с Капри 29 октября/11

ноября). «Во время нашей болезни, — говорит В. Н. Муромцева-Бунина в письме к Ю. А. Бунину 29 ноября (12 декабря) 1912 года, — Горькие были очень внимательны, почти ежедневно бывали у нас, приносили цветов… Ян занимается пока все еще ответными письмами. Настроение, не сглазить, у него ровное… Вчера он купил мне Taine, „Voyage en Italie. Naples et Rome“. Я начала читать и восхитилась стилем. Вот простота! Я до сих пор никогда не читала этого автора» [603]. Этот отзыв о книге, видимо, является в какой-то мере выражением и мнения Бунина.

Николай Алексеевич Пушешников записал в дневнике об этих днях: как и в прошлый приезд сюда, «опять началась та же размеренная жизнь. Ежедневные свидания с Горьким, который на этот раз неизменно ласков и радушен» [604].

Горький занимал «два небольших одинаковых домика, на спуске к Пикколо-Марина, у подошвы горы Соляро, с замком пирата Барбароссы, выкрашенных в белую краску, с плоскими крышами. В одном из них весь верх занят его просторным кабинетом…

В другом домике — столовая и еще комнаты для жилья… В столовой посреди комнаты стоял большой овальный обеденный стол, в левом углу граммофон, а в правом пианино. Здесь по вечерам обыкновенно собирались гости, здесь же обедали и пили чай. На граммофоне часто ставились пластинки Шаляпина, Карузо, Титто Руффо и специально для Ивана Алексеевича — кантора Варшавской синагоги, знаменитого исполнителя древнееврейских религиозных напевов. На Бунина пение Сироты производило, как он сам говорил, „потрясающее“ впечатление… Слушая Сироту в концерте в Москве, Иван Алексеевич плакал» [605].

Бунин, как всегда на Капри, много писал, подчиняя работе весь распорядок жизни. По его образному выражению, «исписал ведро чернил» [606]. В декабре он «написал две вещи: очерк, который появится в „Русском слове“ 25 декабря, и еще рассказ про ястребов, — писала Вера Николаевна 17/30 декабря 1912 года Ю. А. Бунину. — Теперь он стал еще над чем-то работать, да над чем, не говорит. Он чувствует себя сносно, сравнительно настроение ровное…» [607].

Двадцать седьмого декабря Бунин закончил и послал в «Современник» рассказ «Преступление». В январе 1913 года им были посланы в «Вестник Европы» рассказы «Вера» (потом озаглавленный — «Последнее свидание») и «Князь во князьях». 30 января (12 февраля) 1913 года он послал в «Русское слово» рассказы «Будни» и «Личарда». 6/19 февраля — газете «Речь» рассказ «Последний день».

До марта были также отосланы: «Рана от копья» — в газету «Русская молва», «Иоанн Рыдалец» — в «Вестник Европы», «Илья Пророк» — в «Современный мир»; 1/14 марта отправил рассказ «Худая трава» в «Современник»; «Весна» была послана в «Речь».

В марте же Буниным был написан рассказ «При дороге».

Прочитав его немного позднее в сборнике «Слово», Шмелев писал Бунину 21 сентября 1913 года:

«…Прочел я рассказ ваш „При дороге“, не дотерпел. Чудесно, любовно, чисто, целомудренно»… Осквернили тело девушки, но она «чиста, как чист остается бегущий ключ, в который проходом сплюнул пьяный похабный солдат. И немая безвольность, и любовный восторг оскверняемой, не сознающей себя чистоты, небо, которое не заплюешь, и стихийное чувство сопротивления, и ужас полусознания… Чудесно. И мучительно, и славно. Радостно, что протест и протест бессознательный» [608].

В отзыве на рассказ «При дороге» В. Л. Львов-Рогачевский особо подчеркивал, что художник заставляет читателя любить жизнь, хотя повествуется в нем о событиях очень грустных, — «трепещущий поэзией очерк… — писал он, — написан со строгой сдержанностью, недосказанностью, его не читаешь, а жадно пьешь строка за строкой и, кончив, долго не можешь успокоиться, долго сидишь, как очарованный» [609].

Вера Николаевна записала в дневнике: «Новый год у Горького. Ян читал».

16/29 января 1913 года приехал с вечерним пароходом Л. Н. Андреев из Неаполя «и прямо же с пристани проехал к Горькому» [610], — писал в дневнике Пушешников. Бунин виделся с ним в тот же вечер у Горького и на следующий день у себя дома. Впечатление осталось тягостное. «Был четыре дня Леонид, — писал Бунин брату, — два из них пил, вломился ко мне пьяный, целовал руки и, как последний хам, говорил мне дерзости. Злоба, зависть — выше меры. Я не провожал его» [611].

Отношение Бунина к Андрееву очень сложно и мало выяснено. Всем запомнились прежде всего резкие суждения Бунина о нем, но мало кто знает, что многое в Андрееве его влекло, восхищало даже, — его на редкость острый ум, его удивительный талант. Позднее —21 марта 1916 года — Бунин записал в дневнике: «Говорили об Андрееве. Все-таки это единственный из современных писателей, к кому меня влечет, чью всякую новую вещь я тотчас же читаю. В жизни бывает порой очень приятен. Когда прост, не мудрит, шутит, в глазах светится острый природный ум. Все схватывает с полслова, ловит малейшую шутку — полная противоположность Горькому. Шарлатанит, ошарашивает публику, но талант… А пишет лучше

всего тогда, когда пишет о своей молодости, о том, что было пережито» [612]. Бунин писал 22 сентября 1938 года: «Вчера начал перечитывать Андреева; прочел пока три четверти „Моих записок“ и вот: не знаю, что дальше будет, но сейчас думаю, что напрасно мы так уж его развенчали, редко талантливый человек…» [613]

10/23 февраля 1913 года приехал на Капри Шаляпин, он пригласил Бунина к себе на обед. После обеда Шаляпин читал отрывки из пушкинского «Каменного гостя» и «Моцарта и Сальери». В свою очередь и Бунин устроил обед в честь Шаляпина. 17 февраля/2 марта он писал Нилусу: «Жил Шаляпин неделю. Я ему закатил обед — он пел после обеда часа два. Весь отель слушал, трепетал» [614]. В 1938 году он вспоминал:

«После обеда Шаляпин вызвался петь. И опять вышел совершенно удивительный вечер. В столовой и во всех салонах гостиницы столпились все жившие в ней и множество каприйцев, слушали с горящими глазами, затаив дыхание» [615].

Первого марта 1913 года Бунины переехали в новый отель, на Анакапри, который находится высоко над морем, на скале. «Быт отеля, — по словам Пушешникова, — отличается от быта в Капри. Когда спускаешься в городок Капри, то всегда испытываешь приятное ощущение — здесь веселее, жарче, легче, обратно подниматься уже не хочется.

Иван Алексеевич недоволен всем и раздражен. Читал своих два новых рассказа Горькому. Один ему, видимо, не понравился, но другой… довел его до слез. Во время чтения вставного четверостишия Горький заплакал, встал и стал ходить:

„Вот черт его дери! — и как бы стыдясь: — Вот и Тургенева не могу читать — реву“» [616].

Рассказ, восхитивший Горького, — «Лирник Родион», о народном певце, певшем «псальму про сироту». Рассказ был написан в марте. В автографе указана дата: «28 февраля (13 марта) 1913 г. Анакапри» [617]. 11/24 марта Бунин послал его редактору газеты «Русское слово» Благову, где он был опубликован. В марте Бунин писал также «Чашу жизни».

Вера Николаевна Муромцева-Бунина сообщала Юлию Алексеевичу 28 февраля (13 марта) 1913 года: «В Анакапри устроились прекрасно, у нас с Яном две хорошие комнаты с прекрасными видами. Из одних окон видна гора Монте-Соляро с замком Барбаросса, из другого — вид на залив, Везувий, гору Тиберия и т. д. Отель очень старинный, комфортабельный, хозяин его — сын адъютанта Гарибальди. Кухня лучше Quisisann’ ской. Комната Николая Алексеевича (Пушешникова. — А. Б.) этажом выше, тоже большая, смотрит на гору и замок… Ян еще рассказ

посылает в „Современник“, по-моему, очень хороший, о больном мужике. Как он умирает. Описана там и Анюта-дурочка („Худая трава“. — А. Б.). Написал он рассказ про святого „Иоанна Рыдальца“, Горький с Золотаревым обалдели от этого рассказа» [618].

О Бунине Горький писал, по-видимому в 1913 году, неизвестному лицу: «Я решительно протестую против вашей оценки трудов и значения И. А. Бунина, — извините меня, но я должен сказать, что эта оценка унижает вас, а многоточие, поставленное вами перед словом „писатель“, оскорбительно для меня, ибо я считаю И. А. Бунина именно писателем не менее талантливым, чем А. П. Чехов, и более культурным, чем последний.

Можете быть уверены, что в близком будущем это мнение станет общим мнением всех, кто умеет любить и ценить русскую литературу» [619].

В письме с Анакапри Ю. А. Бунину 19 марта (1 апреля), исправленном и дописанном Иваном Алексеевичем, Вера Николаевна говорит о Горьком и Е. П. Пешковой:

«Отношения с ними нежные. Предлагали поселиться у них, — вообще дружба! Мне очень нравится Екатерина Павловна. Интересный и благородный человек!.. В Испанию не едем, капитала не хватает. Ограничимся Италией, и если весна будет ранняя, то Швейцарией и Германией. Яну очень хочется возвращаться морем — манит Одесса, Греция… „Шиповники“ говорят, чтобы я рукопись (перевод из Флобера, сделанный В. Н. Муромцевой-Буниной. — А. Б.) посылала им, а Ян только прочел 70 стр. из 520, а главное, я вижу, что он не может быть редактором, ему некогда и не любит он этого дела…» [620]

Бунины побывали в Солерно — в городе, который стоит на берегу залива того же названия. Из Солерно поехали на извозчике до Амальфи, где в капуцинском монастыре когда-то жил Лонгфелло. Во время прогулки к морю Бунин, сидя у самой воды, читал стихи Лонгфелло. Он говорил:

«Вот мы видим море, скалы, оливки, мирт и лавры. При чем тут фавны, сатиры, пан… наяды, сильваны, таящиеся якобы в горах, как это будто бы чувствуют все поэты и чувствует будто бы Лонгфелло. Все это ложь и вздор. Никто из поэтов этого никогда не чувствовал и не чувствует. Как всегда — я это твержу постоянно — в искусстве не лгал только один Толстой» [621].

В этот приезд Бунин прожил на Капри с ноября 1912-го по апрель 1913 года; 11/24 марта он писал Юлию Алексеевичу: «Отсюда, верно, уедем через неделю» [622], а 4 апреля н. ст. (дата почтового штемпеля на письме) извещал А. Е. Грузинского:

«Завтра покидаем Капри» [623]. В письме 3/16 апреля он сообщал Юлию Алексеевичу, что «вчера приехали в Вену. Завтра, послезавтра думаем выехать отсюда — может быть, через Одессу. Хочется проехать по Дунаю — иду наводить справки» [624].

В начале апреля они возвратились в Россию.

Бунин поселился на весну и лето в Одессе, остановился в гостинице «Лондонская», жена отправилась в Москву к родителям. 14 апреля Вера Николаевна писала Бунину: «Вторая неделя пошла, что мы с тобой расстались» [625]. Для переговоров об издании своих сочинений Бунин отправился 29 апреля в Петербург, а оттуда — в Москву.

С 12 мая Бунин и Вера Николаевна жили под Одессой, на Большом Фонтане (дача Ковалевского); ждали сюда Юлия Алексеевича, который хотел провести с ними месяц-полтора. 14 мая 1913 года младший брат писал ему: «Мы третий день на даче — у нас поразительно хорошо. Наняли повара с женой — горничной. Приезжай поскорей» [626].

В тот же день он писал Горькому:

«В Москве огорчен был футуристами. Не страшно все это, но, Боже, до чего плоско, вульгарно — какой гнусный показатель нравов, пошлости и пустоты новой „литературной армии“! На „Среде“ я два раза сделал скандал — изругал последними словами Серафимовича, начавшего писать a la Ценский, что ли (слияние с космосом), какой-то мещанин, „торгующий козлятиной“… (часть природы) и несущий чепуху, и горы Кавказа, „стоящие непреложно“, изругал поэтессу Столицу, упражняющуюся в том же роде, что и Клюев… Чествования Бальмонта, слава Богу, не видал. Устроено это чествование было исключительно психопатками и пшютами-эстетами из Литературно-Художественного кружка, а он-то заливался»:

> Я пою мой стих заветный,
> Я не крыса, я не мышь! [627]

Бунин записал в дневнике:

«26 июля 1913 г., дача Ковалевского (под Одессой).

Нынче уезжает Юлий… Страшно жалко его.

Каждое лето — жестокая измена. Сколько надежд, планов! И не успел оглянуться — уже прошло! И сколько их мне осталось, этих лет? Содрогаешься, как мало. Как недавно было, например, то, что было семь лет тому назад! А там еще семь, ну, 14 — и конец! Но человек не может этому верить.

Кончил „Былое и думы“. Изумительно по уму, силе языка, простоте, изобразительности. И в языке — родной мне язык —

язык нашего отца и вообще всего нашего, теперь почти уже исчезнувшего племени».

В этот период Бунин, по-видимому, продолжал работать над рассказом «Чаша жизни». 26 мая 1913 года в газете «Русское слово» был напечатан отрывок из этого рассказа, озаглавленный «Отец Кир». Завершил рассказ 2 сентября этого года.

О работе над «Чашей жизни» он рассказывал много лет спустя Г. Н. Кузнецовой.

«— Ведь из чего иногда создается то блестящее, что так восхищает? — говорил он. — Из какого жалкого, пустяшного оно большей частью выходит!

— А из чего создалась у вас „Чаша жизни“? — спрашиваю я, вспоминая только что прочитанные вслед за „Студентом“ отрывки из нее.

— То, что у каждой девушки бывает счастливое лето — это, между прочим, вспомнилась сестра Машенька. Перед замужеством она все выходила в сад, повязывала ленточку, напевала лезгинку. А после замужества, когда на год оставила мужа, помощника машиниста, то тоже как-то повеселела, часто ездила на заводы в соседнее именье Колонтаевку, там была сосновая аллея, как-то особенно пахло жасмином в то лето… Эту аллею я взял потом в „Митину любовь“, и так все это было жалко и горестно! А мордовские костюмы носили барышни Туббе, и там же был аристон, и опять эта лезгинка… Отец Кир? Отец Кир… это от Леонида Андреева. Ведь он мог быть таким, синеволосый, темнозубый… А кое-что в Селихове — от брата Евгения. И он тоже купил себе граммофон, и в гостиной у него стояла какая-то пальма. А главное, отчего написалось все это, было впечатление от улицы в Ефремове. Представь песчаную широкую улицу на полугоре, мещанские дома, жара, томление и безнадежность. От одного этого ощущения, мне кажется, и вышла „Чаша жизни“. А юродивого я взял от Ивана Яковлевича Корейши.

— Кто это?

— Его вся Россия знала. Был такой в Москве. Лежал в больнице и дробил кирпичом стекло. И день и ночь, так что сторожа с ума сходили. И когда он спал, неизвестно! И вот валил туда валом народ, поклонницы заваливали его апельсинами, а он жевал их, выплевывал — и прямо в поклонницу, — в какую попадет, та считает себя особенно отмеченной и счастливой. Когда он умер, везли его через весь город, он долго стоял в кладбищенской церкви. Я себе очень хорошо представляю это: осень, листья в лужах, ледяная кладбищенская церковь, и он все стоит, и его не могут похоронить, потому что церковь осаждают пришедшие поклониться… Да, да, и было это всего семьдесят лет

назад. Да вообще у нас в России такие вещи бывали… И дурак я, что не написал жития этого „святого“. У меня и матерьялы все были.

— Да напишите, как рассказываете!

— Нет, это не то. Там стихи его были. Да и надоело мне это. Я в этом роде уже писал.

— А как разно сложилась жизнь ваша и Машина, — сказала я. — Вы объездили полмира, видели Египет, Италию, Палестину, Индию, стали знаменитым писателем, а она никогда никуда не выезжала из России, не была ни в одном большом городе, вышла замуж за помощника машиниста…

— Ужасно! Ужасно! И вот есть какое-то чувство виноватости перед ней. Жизнь страшна, непонятна. Вот я сажусь в кавказский экспресс, идущий на Баку, а он такой, каких, наверное, и у английского короля нет: стекла саженные, весь какой-то литой, блиндированный, в первом классе желтые кожаные сиденья… и вот станция Грязи. Я схожу, встречает меня муж сестры Маши, рвет из рук чемодан и, почтительно и родственно вместе с тем, улыбается, целуется… И вот идем мы через буфетный чертог, и все поглядывают… Все знают, что этот господин — шурин здешнему помощнику машиниста. И так идем через местечко, и все тоже смотрят, все знают… И так приходим в домик… А там Маша, нервная, худая, часто курящая, и двое детей, жалких, большеухих, как котята какие-то. И мамочка живет с ними… Ах, страшна жизнь!

А ночью чуть горит прикрученная лампочка, и из комнаты, где я сплю, слышно, как вдруг, сев со сна на постель, громко расплачется, зальется ребенок: „Бабушка!..“ — и сейчас же сонное шлепанье ее ног и шепот… А потом она закуривает над лампой, и фитиль вспыхивает, вскинется наверх…

— Ах, знаю, знаю эту жизнь! Видела в Смеле, в Здолбуново!

— Здолбуново, Смела — все это юг, там тополя, белые дома, а тут грязное пыльное уныние… Но не надо, однако, представлять себе эту жизнь чрезмерно ужасной. Днем Машенька, бывало, весела, напевает, а вечером я накуплю всякой всячины, вина, сыров, сардин великолепных, она выпьет, да возьмет гитару, да сядет в каком-нибудь мягком платке на плечах, да начнет что-нибудь по-отцовски… Она умница, талантливая… и вполне сумасшедшая, конечно. А то, бывало, пойду на вокзал, спрошу себе бутылку красного, сяду, лакей подает — и косится… Все знают, что этот отлично одетый господин приехал к помощнику машиниста. А иногда и Машенька придет со мной в бархатной шубке такого какого-то рытого бархата… Ах, как все это страшно и жалко…

Говорил он все это изумительно, медленно, как будто видя перед собой, и так, что у меня сердце сжималось от жалости…

— Все это непременно надо написать, — сказала я.

— Как это написать? Страшна, сложна моя жизнь. Ее не расскажешь, — грустно твердил он…» [628]

Прототипом Горизонтова отчасти послужил, по устному свидетельству писателя С. И. Малашкина, преподаватель духовного училища в городе Ефремове. Подобно герою рассказа, он обычно ходил с парусиновым зонтом и в калошах, купался летом и зимой в Красивой Мече и продал свой скелет для анатомических целей.

В одном из автографов, датированном «31 августа 1913» [629], имя этого персонажа не Горизонтов, а Высоцкий. Заглавие рассказа Бунин нашел не сразу. В этом автографе он озаглавлен «Дом», чем подчеркивалось значение эпизода, в котором раскрывается черствость души состарившегося Селихова, долго колебавшегося, перевести ли на Александру Васильевну дом, чтобы в случае своей смерти обеспечить спокойное существование жены. В позднейшей рукописи, датированной «2 сентября 1913» [630], Бунин назвал рассказ «В Стрелецке», но и это заглавие зачеркнул и написал «Чаша жизни».

Заглавие, давшее также название сборнику рассказов и стихов, Бунин взял у Лермонтова из стихотворения «Чаша жизни»:

1

Мы пьем из чаши бытия
С закрытыми очами,
Златые омочив края
Своими же слезами;

2

Когда же перед смертью с глаз
Завязка упадает,
И все, что обольщало нас,
С завязкой исчезает;

3

Тогда мы видим, что пуста
Была златая чаша,
Что в ней напиток был — мечта,
И что она — не наша!

У каждого из персонажей бунинского рассказа поначалу было что-то живое, восхитительное — была молодость, веселость, любовь, — и с годами все это гибло в эгоистических стремлениях. «Зачем живешь ты на свете?..» — это вопрос к ним ко всем четверым. Чаша жизни не стала для них чашей бытия, которое вознесло бы их над узкожитейскими стремлениями, она оказалась пуста.

В мае 1913 года Бунин заключил договор с «Нивой» на издание его Полного собрания сочинений в качестве приложения к журналу. Для этого издания он в Одессе просматривал и правил все им написанное. По договору он получил значительную сумму — 25 тысяч рублей.

Двадцать пятого мая приехал к И. А. Бунину в Одессу Юлий Алексеевич, 28 мая он писал Елизавете Евграфовне: решили на днях «поплавать по Черному морю или по Дунаю с заходом в разные места. Продолжится это недолго — всего недели две. Затем вернемся сюда и будем понемногу заниматься» [631]. Братья

побывали в Батуме, Трапезонде, Керасунде, Инеболи, Самсуне, Константинополе, Констанце, Бухаресте, Яссах и Кишиневе. Об этом плавании Бунин упоминал в заметках «Происхождение моих рассказов» [632].

Из знакомства с Бессарабией — в разное время — Бунин вынес впечатления, определившие содержание рассказа «Песнь о гоце», начатого в 1911 году, «в Индийском океане по пути на Цейлон» [633], и законченного в 1916-м. Он, видимо, слушал молдавских народных сказителей и, несомненно, изучал труд И. А. Яцимирского «Разбойники Бессарабии в рассказах о них» (журн. «Этнографическое обозрение», 1895, № 3). В рассказе дано правильное описание крестьянской одежды молдаван. Бунин видел и описал в «Песне о гоце» пещеру возле города Сороки [634].

По возвращении Бунин очень много работал, 29 июля 1913 года он писал из Одессы Белоусову:

«…Я работаю последние годы вдесятеро больше прежнего и — в отчаяние прихожу, как коротки дни и годы!.. Строчу и читаю я, — больше, конечно, чем строчу, и все далеко не пустяковое, не просто для времяпрепровождения, — буквально с утра до вечера, а отдыхаю и гуляю с обалделой головой» [635].

Летом 1913 года Бунин намерен был приняться за статью о Лермонтове, для Полного собрания сочинений в шести томах, издаваемого к столетию поэта. Об этом просил Бунина письмом от 18 июня 1913 года редактор сочинений Лермонтова В. В. Каллаш. О статье Бунина сообщалось в печати [636]. Однако она не появилась.

Позднее, в эмиграции, он хотел написать книгу о Лермонтове, но не осуществил и этого намерения. Л. Ф. Зуров писал мне 29 июля 1965 года:

«…Иван Алексеевич мечтал написать о Лермонтове, но это, к величайшему сожалению, так и осталось мечтою. Он читал собрание сочинений Лермонтова (берлинское издание) и два томика Вересаева (описка: не Вересаева, а П. Е. Щеголева „Книга о Лермонтове“. — А. Б.). Вера Николаевна начала делать (по указанию Ивана Алексеевича) из этих книг выписки, но из-за дурного состояния здоровья Ивана Алексеевича работа остановилась. В архиве находится небольшая тетрадка с сделанными Верой Николаевной выписками» [637].

Марк Александрович Алданов вспоминает о своей беседе с Буниным за три дня до кончины Ивана Алексеевича:

«Я всегда думал, что наш величайший поэт был Пушкин, — сказал Бунин, — нет, это Лермонтов! Просто представить себе нельзя, до какой высоты этот человек поднялся бы, если бы не

погиб двадцати семи лет». Иван Алексеевич вспоминал лермонтовские стихи, сопровождая их своей оценкой: «Как необыкновенно! Ни на Пушкина и ни на кого не похоже! Изумительно, другого слова нет» [638].

В сентябре Бунин написал рассказ «Я все молчу». Об этом В. Н. Муромцева-Бунина сообщала Е. А. Телешовой 19 сентября 1913 года: «Ян работает, написал два мрачных рассказа, один прочтете в „Русском слове“ на днях, а другой, вероятно, услышите в его исполнении, ибо печататься он будет в ноябре в „Вестнике Европы“» [639]. Рассказ был опубликован в этом журнале в декабре.

Бунин прожил под Одессой почти весь сентябрь. В последних числах сентября он был с женой в Москве, они остановились в гостинице «Лоскутная». М. Ф. Андреева писала Горькому 29 сентября из Москвы: «Видела вчера В. Н. Бунину… Иван Алексеевич звонил мне по телефону…» [640]

Шестого октября 1913 года отмечался юбилей газеты «Русские ведомости».

Выступавшие на юбилее в «Литературно-художественном кружке» ораторы говорили об усилении реакции и о «последних судорогах умирающего строя». Со страстной речью выступил Бунин [641]. Представитель полиции закрыл собрание и предложил разойтись с банкета. В общей толпе, окружившей пристава (Строева), у Бунина произошел с ним следующий диалог:

«— Позвольте мне допить бутылку вина.

— С кем имею честь говорить? — спрашивает пристав.

Бунин вынимает визитную карточку:

— Почетный академик императорской Академии наук Иван Алексеевич Бунин.

Представителю полиции в это время показалось, что Бунин дернул его за рукав, хотя при такой давке, которая была около Строева, трудно было не задеть его.

— Не угодно ли вам следовать за мной? — предложил Строев.

— Нет, вы следуйте за мной, — ответил Бунин.

Строев идет докладывать об инциденте по телефону градоначальнику и возвращается с двумя помощниками пристава и околоточным надзирателем.

Бунину предлагается отправиться в отдельный кабинет для составления протокола…» [642] Свидетель — академик Овсянико-Куликовский.

Бунин отказался подписать протокол, дело затянулось, и только в пятом часу утра он уехал домой. Протокол по «делу И. А. Бунина» был направлен в суд, который, однако, не

состоялся. В Государственной думе был сделан запрос о нарушении закона закрытием собрания на юбилее «Русских ведомостей».

В своей речи на юбилее Бунин говорил об упадке литературы и понижении литературных вкусов со времени расцвета в ней декадентских течений. «Исчезли, — сказал он, — драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота — и морем разлилась вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый. Испорчен русский язык…» «За последние годы, продолжает он, публика и писатели были свидетелями „невероятного количества школ, направлений, настроений, призывов, буйных слав и падений“, — пережили и декаданс, и символизм, и неонатурализм, и порнографию — называвшуюся разрешением „проблемы пола“, и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и „пролеты в вечность“, и садизм, и снобизм, и „приятие мира“, и неприятие мира, и лубочные подделки под русский стиль, и адамизм, и акмеизм… Это ли не Вальпургиева ночь!».

В «Одесском листке» отмечалось, что Бунин намекал на Л. Андреева, Мережковского, Гиппиус, «получил свой удар и Арцыбашев наравне с Вербицкой» [643].

Аудитория, как определил Бунин — «цвет русской интеллигенции, съехавшейся со всех концов России», прерывала его выступление бурными аплодисментами.

Речь вызвала многие полемические враждебные отклики в печати. С. А. Ауслендер назвал выступление Бунина «огульной хулой литературной современности» [644] и защищал писателей-модернистов. Обрушились на Бунина Бальмонт, Арцыбашев, Балтрушайтис. В ответ на их выступления Бунин в интервью корреспонденту газеты «Голос Москвы» опроверг и остроумно высмеял их доводы в защиту декадентства и их нападки на него [645].

Современники отмечали, что целым событием явилась речь Бунина, «с его страстным отрицанием дутого модернизма и саморекламирующейся бездарности. Слово, сказанное Буниным, надо было сказать давно. Но что именно теперь и так оно было сказано, — тоже чрезвычайно хорошо… В речи Бунина мы наконец встретились с накопившимся чувством…» [646]. Эта «реабилитация здравого смысла от наскоков преходящей моды была как нельзя более у места» [647].

О тех временах И. Соколов-Микитов пишет в своих воспоминаниях:

«Запоем читали Леонида Андреева, писавшего „страшные“ рассказы и пьесы. В ходу был арцыбашевский „Санин“, зачитывались писателями модными, нарасхват шли романы Вербицкой, Нагродской. Читали Ницше, других модных философов.

Времена были нездоровые, нередко стрелялась молодежь. Шумели декаденты и символисты. Литературный Петербург соперничал с Москвою. Студенты и курсистки сходили с ума, слушая Бальмонта, Белого, Брюсова. Уже появлялись одетые в желтые кофты футуристы и даже „ничевоки“. При переполненных залах пел свои стихи Игорь Северянин, нарядно одетый ломавшийся человек. Некоторые писатели открыто проповедовали содомский грех, бесцеремонно величали себя гениями, умело, впрочем, устраивая свои житейские дела и делишки. На художественных вернисажах выставлялись картины „кубистов“ и прочих „истов“, мало чем отличавшиеся от произведений современных „абстракционистов“».

В это печальное и больное время духовного распада, предшествовавшего трагедии Первой мировой войны, лишь отдельные писатели продолжали идти прямым пушкинским путем. Одним из этих писателей был Бунин.

В речи на юбилее газеты «Русские ведомости» он говорил о падении художественных вкусов, о торжествующей пошлости. «Все можно опошлить, даже само солнце!» — так сказал с горечью Бунин [648].

Для «новых поэтов», — как Бунин называл символистов, декадентов, акмеистов, футуристов и т. д., — он был чужим, как бы принадлежащим к отжившему времени, с его будто бы устарелыми традициями, — писателем, обращенным в прошлое.

Так оценивал книги его стихов вождь символистов Брюсов. В этом кругу поэтов, входивших в моду, считалось, что реализм предшествующей эпохи, к которой они относили Бунина, изжил себя и сводится к «протокольному описанию» [649] действительности.

«Бесцеремонно величал себя гением» Северянин, называл себя «новым Пушкиным и сверх-Пушкиным» [650]:

> Я — гений, Игорь Северянин,
> Своей победой упоен.

В тоне самоупоения и самовозвеличения писали Ф. К. Сологуб — автор стихов «Литургия Мне» и К. Д. Бальмонт, именовавший себя «сыном солнца», «чародеем стиха», а Пушкина

и всех прежних поэтов — своими «предтечами» [651].

Я — изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты — предтечи,
Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Перепевные, гневные, нежные звоны.

В кружках, где, как писал А. Белый, «едко издевались» [652] над Буниным, декларировалась приверженность той «литературной революции» (слова Бунина), которая началась в 1890-е годы с появлением символистов и декадентов, когда Брюсов — задолго еще до футуристов — провозгласил на своих журфиксах: «Долой все старое!»

Подобных же лозунгов придерживались и «Аргонавты» — поэты-символисты, уже самым наименованием своего кружка как бы указывавшие на то, что они — открыватели чего-то нового в литературе, необыкновенного, подобно героям древнегреческого мифа, отважно плававшим на корабле «Арго» в Колхиду за золотым руном, охранявшимся драконом.

А. Белый, главная — и единственно крупная — фигура среди «Аргонавтов», написавший стихи «Золотое руно», говорит, что это были «полуистерзанные бытом юноши, процарапывающиеся сквозь тяжелые арбатские камни и устраивающие мировые культурные революции с надеждой перестроить в три года Москву; а за ней — всю вселенную» [653].

В Петербурге прибежищем модернизма были «Бродячая собака» и «Привал комедиантов» — куда иногда заглядывал и Бунин, — но не для чтения стихов и не для споров, — его можно было видеть там держащимся отчужденно, демонстративно молчавшим.

Здесь он мог слышать «очень популярные» в петербургских кружках песенки поэта-символиста (а позднее — и акмеиста) М. А. Кузмина, которые, как пишет в своих воспоминаниях художник М. В. Добужинский, «с большим тогда, казалось, шармом исполняла в „Бродячей собаке“ маленькая Каза Роза. Самым любимым было „Дитя, не гонися весною за розой“. Поэзия Кузмина отвечала многим уклонам тогдашних настроений и была поэтому необыкновенно современной. Дразнил и тайный и явный ее эротизм. В этом был ее успех, впрочем довольно дешевый» [654].

Бунина возмущали писатели, которые не чужды были богеме — как он говорил, «не вылезали из „Медведей“ и „Бродячих собак“» или, по его выражению, из «гнуснейшего кабака» — «Музыкальной табакерки».

Двадцать седьмого октября 1913 года Бунин участвовал в чествовании И. Е. Репина, по случаю реставрации его знаменитой картины «Иван Грозный», которая была испорчена душевнобольным посетителем Третьяковской галереи. На собрании художников и литераторов в гостинице «Княжий двор» выступил Бунин [655]. Вечером следующего дня он присутствовал на банкете в «Праге», которым закончилось чествование Репина [656].

В первых числах ноября, чувствуя себя крайне усталым, Бунин отправился на юг, в Кисловодск, месяца на полтора. Но в Кисловодске он простудился и 15 ноября возвратился в Москву. В «Кружке» читал «Чашу жизни».

В начале декабря он побывал в Петербурге, 6-го приехал в Москву.

Двенадцатого декабря Бунин выступил с речью на вечере, посвященном сорокалетию литературной деятельности крестьянина-поэта С. Д. Дрожжина. Выступали также И. С. Шмелев, Вас. И. Немирович-Данченко, П. Н. Сакулин, А. Е. Грузинский, Н. Д. Телешов и другие.

В конце 1913 года вышел сборник, объединявший рассказы и стихи Бунина 1912–1913 годов, «Иоанн Рыдалец», который вызвал восторженные отзывы критики [657].

По словам критика В. П. Кранихфельда, книга «Иоанн Рыдалец» «так богата содержанием, так полна интереса, что просто теряешься, как и подойти к ней». Удивителен «мощный язык Бунина, достигший в последних его произведениях неподражаемой красоты и четкости… его чудодейственная способность поднимать в мир поэзии самые, так сказать, будничные явления жизни… Среди наших современных художников, оторвавшихся от жизни и населивших мир своей фантазии какими-то отвлеченными категориями и бесплотными призраками, Бунин представляет одно из редких и счастливейших исключений. Он цепко держится за корни жизни и, питаясь их целебными соками, продолжает неизменно расти в своем здоровом творчестве, сближающем его чеканные произведения с лучшим наследием наших классиков» [658].

Эта заметка тронула Бунина «дружелюбным и внимательным отношением к автору, которое чувствуется в ней и которое так редко теперь» [659], — писал он Кранихфельду 9 декабря 1913 года.

В письме к Бунину 5 июля 1913 года И. С. Шмелев говорит: «Пишу вам. Захотелось сказать, что тоскую по работам вашим. Нового хочется, еще и еще хочется. Читаешь — и черт возьми, — и навоз пьешь с наслаждением, да, да! Тоскуешь — болеешь, а пьешь иногда с жутким и горьким наслаждением. Дай же вам Бог

— есть он есть, ибо вы его носите, — так же крепко, и нежно, и больно творить! Знаете, иной раз заглянешь в нутрь глубокую, слеза набежит, и редко, редко что есть еще ценнейшее в жизни — наше искусство и наше родное крепкое, нежное и всеобъемлющее слово. И рад, что ему служите вы и что вы — есть» [660].

Горький писал Д. Н. Семеновскому о сборнике «Иоанн Рыдалец»: «Посмотрите, какая строгость, серьезность, какая экономия слова и любовь к нему» [661].

Горький, как сообщает А. А. Золотарев, говорил Бунину:

«„Иоанн Рыдалец“, как это просто, прекрасно, правдиво рассказано вами. Это вы, это я, это все мы, вся русская литература рыдает денно и нощно, оплакивая злодеяния своих Иванов грозных, не помнящих себя в гневе, не знающих удержу своей силе. Вот мне бы хоть один такой рассказец написать, чтобы всю Русь задеть за сердце. Какой счастливец стал бы я» [662].

Двадцатого декабря 1913 года Бунин с женой и Н. А. Пушешниковым отправились за границу. 30 декабря прибыли на Капри. Иван Алексеевич писал Нилусу 1/14 января: «Были <в> Берлине, Мюнхене, Меране и Вероне. Сейчас опять на Капри — приехали позавчера» [663].

И эту зиму прожили они в гостинице «Квисисана». Здесь уже были Черемновы и встретили своих друзей весьма радушно. Горький уехал 27 декабря в Россию.

Из литераторов, после отъезда Горького, в его доме остались жить И. Е. Вольнов и И. П. Ладыжников.

Зима 1913/14 года, проведенная в Италии, была для Бунина весьма плодотворной. В январе он написал рассказы «Святые» и «Весенний вечер» [664], в феврале закончил «Братья». 9 февраля начал рассказ «Пост» (черновой автограф, хранящийся в Музее Тургенева и озаглавленный «Великий пост», датирован: «Капри, 9.II. 1914. Глотово. 27.XII. 1915»), Пять стихотворений, написанных в разное время («Причастница», «При свече», «Купальщица», «Норд-ост» и «Отчаяние»), были напечатаны, вместе с упоминавшимся выше стихотворением «Псковский бор», в феврале в журнале «Современные записки».

Рассказ «Клаша» и стихи «Тора», «Новый завет», «Магомет и Сафия» помечены: «Рим. 24 марта, 1914». К марту относятся также стихи «Господь скорбящий», «Плач ночью» и «Иаков», опубликованные тогда же в газете «Русское слово».

Бунин записал в дневнике: «из наиболее „любимого, ценного“ для него — „Святые“ больше всего». Этот рассказ — во хвалу жизни и любви. Блудница Елена, претерпев жестокие гонения за свою любовь, которую в конце концов дано было ей познать, стала

святой. «…Великое, несметное множество грехов прикрывает любовь!»

Подобно Елене — повествуется в рассказе — Аглаида предавалась страстям, но слезами и суровой жизнью преобразилась; а ее стольник Вонифатий, плениший ее и пленившийся ею, — этот «беззаветный ботикур», стал великомучеником, оказавшись, по велению своей госпожи, среди святых страстотерпцев: при виде публичной казни христиан в городе Тарсе «возвеселился духом за имя Господне», кинулся в народ и подхватил слова старца, возгласившего перед казнью: «Да святится имя Господне, Христово, Пречистое!» — И он «принял мечное сечение» от язычников. Этот сюжет Бунин заимствовал из жития святых. Память блаженной Аглаиды отмечается церковью православных христиан 19 декабря ст. ст. (1 января н. ст.). Почитается церковью и имя Вонифатия, причтенного к лику святых.

Последние годы явились для Бунина как бы оправданием справедливости слов, выписанных им из Бодлера: «Чем больше работаешь, тем лучше работаешь и тем сильнее хочется работать. Чем больше творишь, тем становишься производительнее» [665].

Рассказ «Братья» написан на основе наблюдений, которые дала Бунину поездка на Цейлон. В раннем варианте рассказа «Третий класс», называвшемся «Записные книжки», он отметил высокомерно-презрительное отношение англичан к жителям колонии. В частности, он писал: «В Коломбо я глазам своим не верил, видя, как опасливо, все время начеку проходят англичане по улицам, — как они боятся осквернить себя нечаянным *прикосновением* к томилу, к сингалезу и вообще ко всякому „цветному“ человеку, ко всякому „презренному“ (по их любимому выражению) дикарю.

А какими скандалами сопровождались на Цейлоне все мои попытки проехать по железной дороге в третьем классе!» [666]

Бунин вспоминал также: «Когда я был в Коломбо, меня равно поразили свет солнца, совершенно непередаваемый и слепящий, и учение Будды, в котором много от этого слепящего очи и душу солнца… После, в Одессе, я вышел на берег как пьяный. Я жмурился, я не мог глядеть на землю, освещенную солнцем: мне все чудился огненный свет Коломбо. Я хотел передать этот свет в „Братьях“» [667].

Ромен Роллан писал Бунину 10 июня 1922 года: «Я вижу… вдохновенную красоту некоторых рассказов, обновление вашими усилиями того русского искусства, которое и так уже столь богато и которое вы сумели еще более обогатить и по форме, и по содержанию, ничто не захватило меня так сильно в вашей книге,

как эти два рассказа „Братья“ и „Соотечественник“» [668].

Одиннадцатого января 1914 года Бунин отметил в дневнике: «Начал „Человека“ (Цейлонский рассказ)». Эта запись не может относиться к «Братьям»: в декабре предыдущего года была уже напечатана одна из глав этого рассказа.

Двадцать третьего он отправился вместе с Н. А. Пушешниковым в Неаполь. Он пишет на следующий день:

«Вчера из Неаполя ездили в Салерно. Удивительный собор. Пегий — белый и черно-сизый мрамор — совсем Дамаск. Потом Амальфи.

Ночевали в древнем монастырском здании — там теперь гостиница. Чудесная лунная ночь…

25.1.14. Выехали из Амальфи на лошадях… Дивный день».

Бунин, Вера Николаевна и Н. А. Пушешников в последнюю неделю марта 1914 года уехали с Капри. 9/22 марта Бунин писал В. С. Миролюбову еще с Капри, а письмо Ф. И. Благову от 25 марта/7 апреля отправлено уже из Рима, куда Бунины прибыли по пути в Россию. В Риме побывали в храме Петра. 30 марта ст. ст. уехали в Загреб, Будапешт, потом — «вниз по Дунаю к Черному морю, — пишет Вера Николаевна в дневнике… — Астма (у Пушешникова. — А. Б.) заставляет нас пересесть в поезд… Бухарест. Провинция румынская». Возможно, что в эту поездку они побывали в Зальцбурге. Пушешников записал в дневнике 3 апреля:

«Наутро вышли на балкон и смотрели сверху на город. В горах еще белеет снег. Прямые белые улицы. Деревья чуть зазеленели. Воздух звонок и прозрачен. После утреннего завтрака осматривали город. Поднимались на фуникулере в замок XIV века Гогензальцбург. Залы. Двор. Орган, устроенный отцом Моцарта. Всюду в магазинах и на коробках портрет Моцарта. На кирке игра курантов. Звуки колоколов. Краски: нежно-сиреневая и белая, холодная. Пахнет от садов и дорог горным снегом. Скаты гор: виден каждый камень, каждая трещина, каждый куст. Тиролки в ярких платьях и в шляпах… Домик Моцарта. Нашли его не сразу. Домик маленький, серо-желтого цвета, убогий. Поднялись по лестнице, вошли: три маленьких комнатки. Маленький клавесин. Портреты и т. д. На этом клавесине написан Реквием» [669].

Пятого апреля приехали в Одессу, потом — Москва; Бунин читал на «Среде» «Братьев».

С мая он поселился под Одессой, на Большом Фонтане (даче Ковалевского).

Он много работал над подготовкой своих произведений для Полного собрания сочинений, которое по настоянию

издательского товарищества А. Ф. Маркса отодвигалось с 1914-го на следующий год.

Редакция журнала «Нива», приложением к которому это издание выходило, требовала включить в него все, написанное Буниным. Бунин, однако, на это не соглашался. Он писал сотруднику «Нивы» А. Е. Розинеру 15 мая 1914 года:

«Я несколько раз перечитал то небольшое количество прозы, которое или совсем еще ни разу не входило в отдельные издания моих сочинений, или входило в книжечки, издававшиеся для детей, для подростков, и которые я хотел было включить в ваше издание, — и пришел к заключению, что делать этого совсем не следует, эти рассказики, эти юношеские наброски необыкновенно слабы, мне весьма стыдно, что я когда-то тискал их. Мало и стихов хочу добавить я: какой смысл напоминать публике, что когда-то я очень плохо писал стихи!» [670]

Трудился он и над составлением сборников «Слово» в качестве редактора «Книгоиздательства писателей в Москве», по этому поводу обращался к писателям с просьбой присылать материалы. Однако из-за трений в редакции он в конце ноября 1914 года отказался от обязанностей редактора этого издательства и члена наблюдательного комитета.

Он сообщал об этом Горькому в письме от 1 декабря 1914 года. Писал он и о том, что даже доволен разрывом с издательством, так как редакторская работа отнимала очень много времени и сил, и он избавился теперь от «вечного сумбура заседаний» [671].

Получив письмо Бунина, Горький писал Е. П. Пешковой 5/18 декабря 1914 года, что он «рад за него» [672].

В середине июня 1914 года Бунин собирался на Белое море и Ледовитый океан, но, не чувствуя себя достаточно здоровым, не решился на эту поездку, а отправился по городам Волги от Саратова до Ярославля.

Здесь застало его известие об убийстве австрийского престолонаследника Франца Фердинанда, совершенное сербскими террористами в Сараеве, — событие, послужившее непосредственным поводом к началу Первой мировой войны.

Об этих днях Бунин записал:

19. VI. 1914. «Вечер, Жигули, запах березового леса после дождя…

20. VI. 1914. Половина девятого, вечер. Прошли Балахну, Городец. Волга впереди — красно-коричнево-опаловая, переливчатая. Вдали, над валом берега в нежной фиолетовой дымке, — золотое, чуть оранжевое солнце и в воде от него ослепительный стеклянно-золотой столп. На востоке половинка

совсем бледного месяца.

Одиннадцать. Все еще не стемнело как следует, все еще впереди дрожат в сумраке в речной ряби цветистые краски заката. Месяц справа, уже блещет, отражается в воде — как бы растянутым длинным китайским фонарем.

21. VI. 14. В поезде под Ростовом Великим.

Ясный, мирный вечер, со всей прелестью июньских вечеров, той поры, когда в лесах такое богатство трав, зелени, цветов, ягод. Бесконечный мачтовый бор, поезд идет быстро, за стволами летит, кружится, мелькает-сверкает серебряное лучистое солнце».

Позднее Бунин вспоминал:

«В начале июля (по новому стилю. — А. Б.) 1914 г. мы с братом Юлием плыли вверх по Волге от Саратова, 11 (одиннадцатого) июля долго стояли в Самаре, съездили в город, вернулись на пароход (уже перед вечером) и вдруг увидали несколько мальчишек, летевших по дамбе к пароходу с газетными клочками в руках и с неистовыми веселыми воплями:

— Екстренная телеграмма, убийство австрийского наследника Сараева в Сербии.

Юлий схватил у одного из них эту телеграмму, прочитал ее несколько раз и, долго помолчав, сказал мне:

— Ну, конец нам! Война России за Сербию, а затем революция в России… Конец всей нашей прежней жизни!

Через несколько дней мы вернулись с ним на дачу Ковалевского под Одессой, которую я снимал в то лето и на которой он гостил у меня, и вскоре начало сбываться его предсказание.

В августе мы уже должны были вернуться в Москву. Уже шла наша война с Австрией».

Третьего июля Бунин был уже под Одессой, на Большом Фонтане, и писал Черемнову, звавшему его к себе в Клеевку:

«…Полярные страны я, подумав, решил оставить пока в покое, не Бог весть как хорошо себя чувствую, а вот на Волге, в прибрежных ее городах и в Ростове Великом мы таки побывали и остались довольны весьма и весьма: опять всем нутром своим ощутил я эту самую Русь, за которую так распекают меня разные Дерманы, опять сильно чувствовал, как огромна, дика, пустынна, сложна, ужасна и хороша она. А уж про Ростов и говорить нечего! Нюрнбергу не уступит! Буду жив, еще десять раз побываю там, равно как и в Угличе, Пскове и т. д.» [673].

На Большом Фонтане Бунин провел месяца полтора. В июле здесь он написал «Святочный рассказ» (позднее озаглавленный «Архивное дело»).

Задумал он и другой рассказ, с трагическим исходом, —

набросал его план под порывы ветра и буйный шум сада.

«28. VII. 1914. Дача Ковалевского, под Одессой.

Половина двенадцатого, солнечный и ветреный день. Сильный, шелковистый, то затихающий, то буйно возрастающий шум сада вокруг дома, тень и блеск листвы в деревьях, волнение зелени, мотанье туда и сюда мягко гнущихся ветвей акаций, движущийся по подоконнику солнечный свет, то яркий, то смешанный с темными пятнами. Когда ветер усиливается, он раскрывает зелень, и от этого раскрывается и тень на меловом потолке комнаты — потолок, светлея, становится почти фиолетовый. Потом опять стихает, опять ветер уходит куда-то далеко, шум его замирает где-то в глубине сада, над морем…

Написать рассказ „Неизвестный“. „Неизвестный выехал из Киева 18 марта в 1 ч. 55 дня…“ Цилиндр, крашеные бакенбарды, грязный бумажный воротничок, расчищенные грубые ботинки. Остановился в Москве в „Столице“. На другой день совсем тепло, лето. В пять часов ушел на свадьбу своей дочери в маленькую церковь на Молчановке. (Ни она и никто в церкви не знал, что он ее отец и что он тут.) В номере у себя весь вечер плакал — лакей видел в замочную скважину. От слез облезла краска с бакенбард». Этот рассказ был озаглавлен потом «Казимир Станиславович» (1916).

Первого августа Германия объявила войну России. Встревоженный событиями, Бунин с женой в середине августа уехал в Москву. Поселились они в Долгом переулке (дом 14, квартира 12) и прожили здесь осень и всю зиму. С ними жил, по шутливому выражению Бунина, «глотовский барин» — Н. А. Пушешников.

Четырнадцатого сентября 1914 года Бунин, от имени писателей, артистов и художников, написал воззвание с протестом против жестокостей немцев.

«То, чему долго отказывались верить сердце и разум, — говорится в воззвании, — стало, к великому стыду за человека, непреложным: каждый новый день приносит новые страшные доказательства жестокостей и варварства, творимых германцами в той кровавой брани народов, свидетелями которой суждено нам быть, в том братоубийстве, что безумно вызвано самими же германцами ради несбыточной надежды владычествовать в мире насилием, возлагая на весы мирового правосудия только меч». Солдаты Германии, писал Бунин, «как бы взяли на себя низкую обязанность напомнить человечеству, что еще жив и силен древний зверь в человеке, что даже народы, идущие во главе цивилизующихся народов, легко могут, дав свободу злой воле, уподобиться своим пращурам, тем полунагим полчищам, что

пятнадцать веков тому назад раздавили своей тяжкой пятой античное наследие: как некогда, снова гибнут в пожарищах драгоценные создания искусства, храмы и книгохранилища, сметаются с лица земли целые города и селения, кровью текут реки, по грудам трупов шагают одичавшие люди — и те, из уст которых так тяжко вырывается клич в честь своего преступного повелителя, чинят, одолевая, несказанные мучительства и бесчестие над беззащитными, над стариками и женщинами, над пленными и ранеными…» [674]

Пятнадцатого октября Бунин писал Черемнову:

«Три месяца я с утра до вечера сидел — читал газеты и забыл за войной все на свете — без преувеличений говорю» [675].

Всю зиму 1914/15 года Бунин продолжал работать над собранием сочинений, по его выражению, «тонул» в корректуре, — кое-что дополнял, многое изменял и сокращал. 10 апреля 1915 года он писал Черемнову: «По-прежнему гибну в корректуре» [676]. За этой работой застала его весна, а потом — и лето. В 1915 году были изданы все шесть томов этого издания.

Об этих днях Бунин записал в дневнике:

«Москва, 1 января 1915.

Позавчера были с Колей (Н. А. Пушешниковым. — А. Б.) в Марфо-Мариинской обители на Ордынке… Церковь снаружи лучше, чем внутри. В Грибоедовском переулке дома Грибоедова никто не мог указать. Потом видели безобразно раскрашенную церковь Ивана Воина (на Якиманке. — А. Б.)… Вчера были на Ваганьковом кладбище… Потом Кремль, долго сидели в Благовещенском соборе. Изумительно хорошо. Слушали часть всенощной в Архангельском. Заехали в Зачатьевский монастырь. Опять восхитили меня стихиры. В Чудове, однако, лучше.

В 12 ночи поехали в Успенский собор. Черный бесконечный хвост народа… Нынче часа в четыре Ново-Девичий монастырь. Иней. К закату деревья на золотой эмали. Очень странны при дневном свете рассеянные над могилами красные точки огоньков, неугасимых лампад».

«3 января. В два часа поехали с Колей в Троице-Сергиеву лавру. Были в Троицком соборе у всенощной. Ездили в темноте, в метель, в Вифанию. Лавра внушительна, внутри тяжело и вульгарно.

4 января. Были в Скиту, у Черниговской Божьей Матери. Акафисты в подземной церковке. Поп выделывал голосом разные штучки. Вернулись в Москву вечером…

5 января. Провожал Федорова на Николаевский вокзал — поехал в Птб., а потом в Варшаву. Вечером у нас гости. Любочка.

Был на заседании. Князь Евг. Трубецкой».

«7 января. Читаю корректуру. Серый день. Все вспоминаются монастыри — сложное и неприятное, болезненное впечатление.

8 января. Завтракал у нас Горький. Все планы, нервничает. Читал свое воззвание о евреях.

9 января 15 г. Отдал в набор свою новую книгу (сборник рассказов и стихов „Чаша жизни“. М., 1915. — А. Б.). Кончил читать „Азбуку“ Толстого. Восхитительно».

«14 января. Телеграмма от Горького, зовет в Птб.».

Шестнадцатого января Бунин уехал в Петербург. Там присутствовал на заседании у Ф. К. Сологуба. «Как беспорядочно несли вздор! — пишет Бунин. — „Вырабатывали“ воззвание в защиту евреев».

«18 января. Поездка на панихиду по Надсону. Волково кладбище. Розовое солнце.

Был в Куоккале у Репина и Чуковского. Вечером обедал у Горького на квартире Тихонова».

Девятнадцатого января вечером Бунин уехал в Москву. 28 января было чествование Юлия Алексеевича Бунина.

29-го И. А. Бунин завтракал в «Праге» с Ильей Толстым, с которым у него была дружба.

Седьмого февраля 1915 года «вышла „Чаша жизни“».

Сергей Васильевич Рахманинов, получив книгу в подарок, послал автору 27 апреля 1915 года открытку:

«Дорогой Иван Алексеевич, и я вас неизменно люблю и вспоминаю часто наши давнишние с вами встречи. Грустно, что они теперь не повторяются…

Очень благодарю вас за присылку вашей последней книги. Был очень тронут…» [677]

Рецензент журнала «Современный мир» писал, что такие рассказы, как «Чаша жизни», «При дороге», «Братья», «Святые», — «это поэмы в изящной прозе» [678].

О книге «Чаша жизни» в конце января 1915 года писала Бунину Л. А. Авилова, поражаясь лаконичностью его языка, жанровым своеобразием его произведений. «Вот у вас: „брат! отдай!“, — говорит она о рассказе „Весенний вечер“, — и одним словом „брат“ выдвигается целый характер. И как только он крикнул: брат! — так можно было предчувствовать, что он и убьет, и деньги бросит. Очень сложно, а ясно» [679].

Бунин, по словам Авиловой, разрушил многие литературные условности, которые до него никто не замечал. «Анекдота, — писала она, — вы никогда не пускали к себе на порог. Но вы изгнали и фабулу, и определенную мелодию со всеми ее нежностями, теноровыми нотками и веяниями теплоты. Вместо

мелодии стало то, чего шарманки играть не могут. А вместо рассказа то, чего не расскажешь» [680].

Французский писатель, поэт и критик Рене Гиль писал Бунину в 1921 году:

«Высокочтимый собрат, я даже смущен, — так велика моя благодарность за вашу книгу „Le calice de la vie“ („Чаша жизни“. — А. Б.) о глубинах жизни с ее телесными основами и изначальными тайнами человеческого существа.

Вы говорите в предисловии к своему первому сборнику, что некоторые упрекают вас в пессимизме; нельзя себе представить ничего более ошибочного, чем этот упрек, ибо вы всюду даете действенное ощущение того, как глубоко охватываете вы жизнь — всю, во всей ее сложности, со всеми силами, связующими ее в те моменты, когда человек уже не находится или еще не находится под влиянием законов человеческой относительности, когда он действует и противодействует первобытно…

Как все сложно психологически! А вместе с тем, — в этом и есть ваш гений, — все рождается из простоты и из самого точного наблюдения действительности: создается атмосфера, где дышишь чем-то странным и тревожным, исходящим из самого акта жизни! Этого рода внушение, внушение того тайного, что окружает действие, мы знаем и у Достоевского; но у него оно исходит из ненормальности, неуравновешенности действующих лиц, из-за его нервной страстности, которая витает, как некая возбуждающая аура, вокруг некоторых случаев сумасшествия. У вас наоборот: все есть излучение жизни, полной сил, и тревожит именно своими силами, силами первобытными, где под видимым единством таится сложность, нечто неизбывное, нарушающее привычную нам ясную норму.

Скажу еще об одной характерной вашей черте, — о вашем даре построения, о гармонии построения, присущей каждому вашему рассказу. Ваш разнообразный и живописующий анализ не разбрасывает подробностей, а собирает их в центре действия — и с каким неуловимым и восхитительным искусством! Этот дар построения, ритма и синтеза как будто не присущ русскому гению: он, кажется, — позвольте мне это сказать, — присущ гению французскому, и когда он с такой ясностью выступает у вас, мне (эгоистически) хочется в ваших произведениях почтить французскую литературу. И, однако, вы ей ничем не обязаны. Это общий дар великих талантов.

Что до вашего широкого и тонкого чувства природы в ее нежности, в ее радостном и печальном великолепии, то я не говорю о нем: я выше пытался определить ваше страстное отношение к бытию, к жизни, и в этом анализе уже заключено то,

что я думаю о вашем чутком общении со всем вещественным» [681].

Восемнадцатого февраля Бунин присутствовал в университетской церкви на отпевании основателя (в 1882 году) и владельца драматического театра в Москве Ф. А. Корша. В этот день он также записал: «Вчера ночью в 12 ч. 52 м. кончил „Грамматику любви“».

В заметках «Происхождение моих рассказов» Бунин говорит о том, как он пришел к мысли написать этот рассказ:

«Мой племянник Коля Пушешников, большой любитель книг, редких особенно, приятель многих московских букинистов, добыл где-то и подарил мне маленькую старинную книжечку под заглавием „Грамматика любви“. Прочитав ее, я вспомнил что-то смутное, что слышал еще в ранней юности от моего отца о каком-то бедном помещике из числа наших соседей, помешавшемся на любви к одной из своих крепостных, и вскоре выдумал и написал рассказ с заглавием этой книжечки…» [682]

Книжица эта — «Code de l'amour» — французского автора Молери, писавшего под псевдонимом Жюля Демольера (Gules Demolier), была издана по-русски под названием «Грамматика любви, или Искусство любить и быть взаимно любимым. Перевод с французского С. Ш… Москва, 1831. Сочинение г. Мольера» [683].

П. А. Нилус писал Бунину 24 марта 1915 года о сборнике «Чаша жизни»:

«Общее впечатление… очень хорошее, к этой книге тянет — а в этом все… Не нравится мне заголовок „Ив. Бунин“ — автографом, да еще крайне искусственным — не солидно, а главное, прости, не обличает в заправилах книгоиздательства вкуса.

Если бы еще так размахнулся Будищев или Северцов-Полынов, но первому писателю… (по Горькому, ты первый, второй Вольный и третий, кажется, Сургучев — так передавал Юшкевич)…

Внизу Евгений (художник Е. И. Буковецкий. — А. Б.) разбирает Скрябина. Отстал я от музыки, никак не могу оценить этого нового гения, хотя и слыхал и его и его жену, которая играла только мужа… Замечательно, маленькие писатели, художники терпимы, даже иной раз бывают приятны, но маленькие музыканты немыслимы, нельзя их слушать без некой музыкальной тошноты.

Вернулся Митрофаныч (А. М. Федоров. — А. Б.)… Рассказал любопытную историю про рыбу кету. Весною (правильно — осенью. — А. Б.) тысячи самок направляются в тихие места метать икру, за ними идут самцы — и эта музыка тянется два месяца.

Самцы при этом ничего не едят, безобразно изменяются физически и, наконец, оплодотворив икру — умирают! Заметь себе это в уголку глаза, о поэт!» [684]

Бунин ответил 29 марта: книгу «похваливают». «Насчет автографа на обложке вполне согласен — не хорошо, не следует; больше не допущу этого…

Скрябин — да, тяжек и противен. А что до „музыкальной тошноты“, то, право, она вызывается всеми бездарными и претенциозными людьми. Но бездарен ли он? — Тут я в суждениях робок.

Слушал „Всенощное бдение“ Рахманинова. Кажется, мастерски обработал все чужое. Но меня тронули очень только два-три песнопения. Остальное показалось обычной церковной риторикой, каковая особенно не терпима в служениях Богу» [685].

Бунин неизменно ценил и чтил своего «высокого друга» — Рахманинова; его дружба с ним продолжалась с первой встречи в Ялте 25 апреля 1900 года и до его кончины. На стихи Бунина Рахманинов написал музыку — романсы «Я опять одинок» и «Ночь печальна».

Бунину близка была «Всенощная» «величавой и скорбной торжественностью, идущей от византийско-киевских распевов» [686], — справедливо говорит один из корреспондентов В. Н. Муромцевой-Буниной (автор письма не установлен).

Для Бунина «славное поприще» Рахманинова — «гордость русская и всемирная» [687].

Восхищался Бунин и П. И. Чайковским. Однажды он сказал; «Человек, который одной музыкальной фразой дал почувствовать целую эпоху, целый век, — должен быть очень большим».

Еще в 1892 году (17 марта) он писал В. В. Пащенко: «Поразительно сильное впечатление произвел на меня романс Рубинштейна на слова Гейне — „Азра!“ — „Полюбив, мы умираем…“» [688] Этим словам романса, — из стихотворения Гейне в переводе П. Чайковского, — он придавал некий роковой смысл. Он приводит их в «Митиной любви» (гл. V).

Двадцать девятого марта 1915 года Бунин писал для «Истории русской литературы» Венгерова автобиографию. «Это мука, — говорит он в письме Нилусу. — Кажется, опять ограничусь заметкой» [689].

Прожив зиму и почти всю весну в Москве, 9 мая 1915 года Бунин с женой уехали в Глотово, попутно заглянув на два дня в Орел. В деревню прибыли 12-го и оставались здесь до ноября, потом вернулись в Москву, куда Бунин приезжал ненадолго и в середине лета.

Семнадцатого мая 1915 года Бунин писал критику Д. Л. Тальникову:

«Перечитываю кое-что — между прочим, „Дворянское гнездо“, — которое, к сожалению, художественной радости мне не дает (за исключением немногих мест) и которое не совсем по праву названо „Дворянским гнездом“. (Едучи сюда, я был три дня в Орле, снова посетил ту усадьбу на окраине Орла, которая описана в „Дворянском гнезде“, — и вот причина, почему я перечитываю его)» [690].

Для Бунина Тургенев был одним из самых замечательных русских писателей. Но он говорил и о некоторой искусственности его рассказов. Многое ему не нравилось в романе «Дым», о котором он писал еще в 1890 году: «Прочел… „Дым“ Тургенева. Я уже давно читал его и теперь прочел его с новым интересом. Многое в нем мне не понравилось. Не понравился даже тон (местами) — грубо-шутливая и насмешливая и притом поверхностная характеристика „света“ — тон вовсе не тургеневский. Я знаю, что этот „свет“ — пошлость, и подлость, и глупость, но у него он малохудожественно обрисован. Но вообще роман произвел сильное впечатление: страшное, злобное волнение овладело мною. Только слава Богу, что теперь, кажется, уже нет таких Ирин. Разумеется, Литвинов в дураках — она его вовсе не любила. При сильной любви нельзя таких штук проделывать» [691].

Его восхищало изумительное мастерство Тургенева-новеллиста; «„Поездка в Полесье“, — записал он в дневнике много позднее, — почти вся по-настоящему прекрасна. Почти во всех рассказах, — да, кажется, даже во всех, редкое богатство совершенно своих, удивительных по меткости определений чувств и мыслей, лиц и предметов» [692]. Перечитав по изданию А. Ф. Маркса двенадцатый том Тургенева, где напечатаны «Литературные и житейские воспоминания», «критические речи и статьи», Бунин записал: «Совершенно замечательный человек и писатель. Особенно „Казнь Тропмана“, „Человек в серых очках“, несколько слов о наружности Пушкина, Лермонтова, Кольцова» [693].

В это время он писал в дневнике:

«4 июля. Нынче вечером сидели на скамейке в Колонтаевке. Тепло, мертвая тишина, запах сырой коры. Пятна неба за березами. Думал о любви.

2 августа 15 г. <…> Отправил корректуру „Суходола“. Во втором часу газеты. Дикое известие: Куровский застрелился. Не вяжется, не верю. Что-то ужасное <…> Как я любил его!» [694]

«7 августа. Пытаюсь сесть за писание. Сердце и голова тихи,

пусты, безжизненны. Порою полное отчаяние. Неужели конец мне как писателю? Только о Цейлоне хочется написать».

«21 августа. 14–19 писал рассказ „Господин из Сан-Франциско“. Плакал, пиша конец. Но вообще душа тупа. И не нравится. Не чувствую поэзии деревни, редко только. Вижу многое хорошо, но нет забвенности, все думы об уходящей жизни».

К работе над этим рассказом Бунин возвращался позднее, сокращал его. Завершил работу в конце октября.

Рассказ привлек внимание русской и зарубежной критики и вошел в антологии мировой литературы.

Война изменила деревню. Многих мужчин забрали в солдаты. «Годные гуляют, три-четыре мальчишки. Несчастные — идут на смерть и всего удовольствия — порычать на гармонии.

<…> Вчера снимали Тихона Ильича (возможно — прототип Тихона Ильича Красова в „Деревне“. — А. Б.). „Вот и Николаю Алексеевичу (Н. А. Пушешникову. — А. Б.), может, идти в солдаты… Да ему что ж, хоть и убьют, у него детей нету“. К смерти вообще совершенно тупое отношение. А ведь кто не ценит жизни — животное, грош тому цена».

Бунин все не мог сосредоточиться на работе — «писать не пишу, — говорит он в письме Нилусу 18 июля, — разве стишки изредка» [695]. А 15 сентября вновь писал ему из Глотова: «Не припомню такой тупости и подавленности душевной, в которой уже давно нахожусь. Вероятно, многое действует, иногда, может быть, даже помимо сознания. А смерть Павлыча прямо сбила меня с ног <…> Пятый месяц живу здесь изумительно однообразной жизнью. Все читаю, да хожу, да думаю. Деревни опустели так, что жутко порой. Война и томит, и мучит, и тревожит. Да и другое многое тоже. „Портфель“ мой пуст» [696].

Его возмущал Бальмонт, который говорит в стихах о войне в кокетливом тоне: «Вся мысль людская в дымах и пожарах, И лишь упрямец <…> Я ребенком говорю» («Упрямец»; выделено Буниным).

«Что за подлое кокетство, сюсюканье! — писал Бунин Д. Л. Тальникову 27 июня. — Ну что ж, там творится что-то ужасное, а я вот сюсюкаю, я — упрямец… Его надо ругать на всех перекрестках, ибо прав Леонардо да Винчи — „хвалить дурного значит порочить хорошего!“» [697]

В октябре 1915 года Горький предложил Бунину сотрудничать в журнале «Летопись», выходившем при его ближайшем участии.

С первых чисел ноября Бунин поселился в Москве, в

гостинице «Лондонская». 19 ноября приезжал в Петроград, там встречался с Горьким. Дня через три возвратился в Москву.

В декабре в «Летописи» уже было напечатано несколько стихотворений Бунина. Позже, 1 марта 1916 года, И. С. Шмелев писал о них автору: «Чудесно, глубоко, тонко. Лучше я и сказать не могу… Ведь в „Шестикрылом“ вся русская история, облик жизни. Это шедевры, дорогой, вы это знаете сами, но и я хочу, чтобы и вы знали, что и я чувствую это. И „Слово“ и „Поэту“. Это лучшее, что было последнее время для меня… Это должно быть высечено золотом по белому мрамору или хрусталем на черном граните… Да будут благословенны поля орловские, вскормившие вас, дорогой поэт». Я любил вас, продолжает Шмелев, «той любовью, которою любят светлый талант… И многое еще дадите. Только не бросайте русской жизни, — так она горько-прекрасна в вас. Так вы слышите и чувствуете ее» [698].

Восьмого декабря в Политехническом музее состоялся вечер, посвященный творчеству Бунина, который «прошел в сплошных аплодисментах и овациях… Публика как бы спешила воспользоваться публичным выступлением писателя, чтобы ярче, полнее и теплее выразить ему свою благодарность и свои симпатии…

Во втором отделении И. А. Бунин прочитал красивый, суровый, наполненный восточной мудростью рассказ „Смерть“ (позднейшее заглавие — „Смерть пророка“. — А. Б.). И когда строго и плавно звучал голос чтеца, неторопливо повествовавшего о страшной и сладостной смерти пророка Моисея, ясно чувствовалось, что не напрасно публика стремится услышать чтение писателей: только самому автору доступен внутренний ритм рассказа и тот единственно верный глубинный тон ею, который таинственной музыкой входит в душу читателя» [699].

Прожив ноябрь и почти весь декабрь в Москве, Бунины 21 декабря возвратились в деревню, где они провели всю зиму 1916 года. В дневниках Бунин писал:

«23 февраля 1916 года. Глотово. Милый, тихий, рассеян-но-задумчивый взгляд Веры, устремленный куда-то вперед. Даже что-то детское — так сидят счастливые дети, когда их везут. Ровная очаровательная матовость лица, цвет глаз, какой бывает только в этих снежных полях <…>

На возвратном пути я говорил о том, какую огромную роль в жизни деревни играют пленные. Еще о том, что дневник одна из самых прекрасных литературных форм. Думаю, что в недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие» [700]. Седьмого марта

1916 года Бунин писал Черемнову о войне: «…Поистине проклятое время наступило, даже и убежать некуда, а уж обо всем прочем и говорить нечего. Мрачен я стал адски, пишу мало, а что и пишу, то не с прежними чувствами» [701].

Беседуя с Пушешниковым о войне, Бунин говорил: «Я — писатель, а какое значение имеет мой голос? Совершенно никакого. Говорят все эти Брианы, Милюковы, а мы ровно ничего не значим. Миллионы народа они гонят на убой, а мы можем только возмущаться, не больше. Древнее рабство? Сейчас рабство такое, по сравнению с которым древнее рабство — сущий пустяк» [702].

Бунин писал в дневнике 21 марта 1916 года: «Чириков „верит в русский народ!“. В газетах та же ложь — восхваление доблестей русского народа, его способностей к организации. Все это очень взволновало. „Народ, народ!“ А сами понятия не имеют (да и не хотят иметь) о нем. И что они сделали для него, этого действительно несчастного народа?»

Эта запись была вызвана статьей писателя Е. Н. Чирикова «При свете здравого смысла» (Современный мир, 1916, № 2), направленной против статьи критика Д. Л. Тальникова «При свете культуры (Чехов, Бунин, С. Подъячев, Ив. Вольный)» в журнале «Летопись» (1916, № 1). Чириков обвинил Тальникова, благожелательно отозвавшегося о повести Бунина «Деревня», в искаженном освещении жизни русского народа и слепом подражании Горькому.

Бунин приводит в дневнике (22 марта) запись Н. А. Пушешникова: «Иван Алексеевич статьей Чирикова и газетами так взволнован, что до поздней ночи, уже сидя и ежеминутно куря в постели, говорил:

— Нет, с какой стати он так его оскорбляет? <…> Ах, эти русские интеллигенты, этот ненавистный мне тип! Все эти Короленки, Чириковы, Златовратские! Все эти защитники народа, о котором они понятия не имеют, о котором слова не дают сказать <…> Подлинный народ, мужики, „чистые, святые, богоносцы, труженики и молчальники“. Хвостов, Горемыкин, городовой это не народ. Почему? А все эти начальники станций, телеграфисты, купцы, которые сейчас так безбожно грабят и разбойничают, что же это — тоже не народ? Народ-то это одни мужики? Нет. <…> Ведь вот газеты! До какой степени они изолгались перед русским обществом. И все это делает русская интеллигенция. А попробуйте что-нибудь сказать о недостатках ее! Как? Интеллигенция, которая вынесла на своих плечах то-то и то-то и т. д. О каком же здесь можно думать исправлении недостатков, о какой правде писать, когда всюду ложь! Нет, вот

бы кому рты разорвать! Всем этим Михайловским, Златовратским, Короленкам, Чириковым!.. А то: „мирские устои“, „хоровое начало“, „как мир-батюшка скажет“, „Русь тем и крепка, что своими устоями“ и т. д. Все подлые фразы!» [703]

Бывал Бунин и на мужицких сходках. Беседовал с крестьянами в Глотове, в Казаковке, в Осиновых Дворах, вел споры о том, что было злободневно: о разделе помещичьей земли, о войне. У некоторых, пишет в дневнике Бунин, настоящий сумбур в голове.

В современной литературе возмущали его бесшабашное обращение со словом бездарных авторов и понижение читательского вкуса. 8 апреля 1916 года он записал в дневнике: «Никогда в русской литературе не было ничего подобного. Прежде за одну ошибку, за один неверный звук трепали по всем журналам. И никогда прежде русская публика не смотрела на литературу такими равнодушными глазами. Совершенно одинаково она восхищается и Фра Беато Анджелико (Фра Джованни да Фьезоле, прозванного Беато Анджелико. — А. Б.) и Барыбой Городецкого» [704].

Восьмого апреля Бунин уехал из Глотова в Москву, а числа десятого — в Петроград.

Тринадцатого апреля состоялся вечер, посвященный Бунину, в Александровском зале городской думы в Петрограде под председательством профессора Ф. Ф. Зелинского, со вступительным словом П. С. Когана. Бунин читал «Песнь о гоце» и «Братья». В этот день П. С. Коган писал: «Сегодня праздник для всех ценителей поэзии»; Бунин «принадлежит к числу тех редких писателей, каждое произведение которого представляет шаг вперед по сравнению с предшествующим» [705].

Из Петрограда Бунин вернулся в Москву, а затем отправился в Одессу, где был уже 25 апреля, и прожил здесь почти месяц.

Он писал 24 мая 1916 года Черемному: «Дня четыре тому назад я, после сорокадневного отсутствия, возвратился в Глотово» [706]. Юлий Алексеевич и Вера Николаевна вскоре также приехали в деревню. Бунин прожил здесь, правда, небезвыездно, до конца 1916 года: иногда охотился вместе с Н. А. Пушешниковым, ходил с ним в близлежащие деревни, с которыми многое у него было связано с самого детства.

Бунин любил бывать у крестьян, разговаривать с ними.

Однажды «зашли в избу к Пальчиковым, — пишет в дневнике Пушешников. — Воздух в избе теплый, вонючий. Две, уже больших, свиньи. У окна сидит девка в шерстяном платке. Старуха дала нам прочесть письмо своего сына, попавшего в плен

к немцам. Дорогой Иван Алексеевич говорил, что для потомства нужно было сохранить избу в том самом виде, как она есть, ибо через сто лет никто не будет в состоянии представить себе жилище, в котором жил русский крестьянин в двадцатом веке» [707].

В июле Бунин написал рассказ «Аглая».

В 1931 году он прочитал этот рассказ Г. Н. Кузнецовой и потом говорил ей: «Вот видят во мне только того, кто написал „Деревню“!.. А ведь и это я! И это во мне есть! Ведь я сам русский, и во мне есть и то и это. А как это написано! Сколько тут разнообразных, редко употребляемых слов и как соблюден пейзаж хотя бы северной (и иконописной) Руси: эти сосны, песок, ее желтый платок, длинность — я несколько раз упоминаю ее — сложения Аглаи, эта длиннорукость… Ее сестра — обычная, а сама она уже вот какая, синеглазая, белоликая, тихая, длиннорукая, — это уже вырождение. А перечисление русских святых! А этот, что бабам повстречался, — как выдуман! В котелке, и с завязанными глазами! Ведь бес! Слишком много видел! „Утешил, что истлеют у нее только уста!“ — ведь какое жестокое утешение, страшное! И вот никто этого не понял! Оттого, что „Деревня“ — роман, все завопили! А в Аглае прелести и не заметили! Как обидно умирать, когда все, что душа несла, выполняла — никем не понято, не оценено по-настоящему! И ведь сколько тут разнообразия, сколько разных ритмов, складов разных! Я ведь чуть где побывал, нюхнул — сейчас дух страны, народа почуял. Вот я взглянул на Бессарабию — вот и „Песня о гоце“. Вот и там все правильно, и слова, и тон, лад».

Тогда же, в 1916 году, он написал «Сны Чанга» — повествование о капитане, пережившем трагедию любви и мучительное одиночество, и о собаке Чанге, ставшей его другом.

Сохранилось два черновых автографа этого рассказа. Оба они озаглавлены: «Про одну собаку».

В черновой рукописи значительно полнее, чем в окончательной редакции рассказа, даны и авторские характеристики, и обличительные речи капитана. Например, приведенный ниже отрывок из черновика не вошел в окончательный текст рассказа:

«…Пойдут в кофейню, битком набитую людьми, вся жизнь которых, бессмысленная в своей тревожной деятельности, поглощена сиденьем по кофейням в непрестанном ожидании биржевых слухов и самой биржей, подлой и низкой игрой которой они, совместно с тысячами других таких же людей (зачеркнуто; негодяев), опутали весь мир и изменили самое лицо земли. А из кофейни отправятся обедать в ресторан, куда

стекаются жулики, проститутки, мелкие и крупные, но одинаково невежественные, недобросовестные к своему делу и ненавидящие его чиновники — словом, представители того высшего отребья человечества, из которого и состоит почти все человечество, если не считать миллионы тех вьючных животных, что от сотворения мира и, кажется, до скончания веков покорены этим человечеством.

И в греческом ресторане капитан, художник и Чанг просидят очень долго — до поздней ночи. Будут они напиваться все хмельнее, и скажет капитан много злых и горьких истин. Ха! — скажет он, — люди! Ты посмотри кругом и вспомни тех, что видели мы с тобой в пивной, в кофейне! Какие скотские лица, какая низость интересов и вкусов — какая свирепая бессердечность и друг к другу, и к тем несметным, — людям и животным, — что служат им, что устрояют их низкую жизнь! Рабство, войны, убийства, казни, чуть не доисторическая нищета угнетенных, забитых и бесправных, тех, что расстреливают тысячами за один крик о прибавке лишнего куска хлеба, грубая и бессмысленная роскошь, отвратные в своем даже внешнем безобразии и в своей тесноте города, стоящие на гигантских клоаках, в дыму и непрестанном грохоте… Друг мой, скажет капитан, я видел весь земной шар, и он везде таков! Но оставим это, — тут всего не перечислишь и не расскажешь» [708].

Бунин отлучался из Москвы в Петроград, вероятно, побывал в Одессе, 23 мая, по пути в деревню, был в Ельце, а 25 мая уже «приехал в Глотово» (письмо Нилусу).

Лето и осень он жил в деревне. В дневнике писал:

«Душевная и умственная тупость, слабость, литературное бесплодие все продолжается. Уж как давно я великий мученик, нечто вроде человека, сходящего с ума от импотенции. Смертельно устал, — опять-таки уж очень давно, — и все не сдаюсь. Должно быть, большую роль сыграла тут война, — какое великое душевное разочарование принесла она мне! — 24 уехала Вера…»

Хотя Бунин продолжал жаловаться на то, что «писать не о чем» (29 октября 1916 года[709]), все же в эту пору он написал некоторые прекрасные вещи. В ноябре — рассказ «Адам Соколович», озаглавленный потом «Петлистые уши»; Бунин при этом воспользовался репортажем газеты «Речь» (1912, 11, 12 и 13 марта) об одном уголовном деле [710]. 9 декабря 1916 года Н. А. Пушешников отметил в дневнике: «Иван Алексеевич пишет маленький рассказ про старуху» [711] (рассказ «Старуха», первоначально озаглавленный «Святки»), В это же время им были написаны рассказы «Пост» и «Третьи петухи». Под общим

заголовком «Три рассказа» они были напечатаны 25 декабря в газете «Русское слово».

Четырнадцатого декабря Бунин уехал в Москву. Январь и февраль 1917 года он прожил в Москве (Поварская, дом 26, квартира 2); «весь январь хворал» (письмо А. Б. Дерману от 11 февраля) [712].

Второго апреля он приехал в Петроград и вел здесь переговоры с Горьким и А. Н. Тихоновым об издании своих сочинений в горьковском издательстве «Парус» («Парус» выпустил только в 1918 году один том — произведения 1915–1916 годов).

В этот день Горький подарил Бунину свою книгу «Статьи 1905–1916 гг.» с надписью: «Любимому писателю и другу Ивану Алексеевичу Бунину. А. Пешков. 2 апреля 17 г…Петроград» [713].

«Остановился я, — писал Бунин Вере Николаевне 5 апреля 1917 года, — в „Медведе“, комната 12 рублей, но довольно комфортная, с ванной. Ах, как мало я испытал в жизни комфорта и как он приятен! В день приезда, то есть 2-го, был у Горького, прост, мил, спокоен. Вечер я провел дома, читал „При дворе Габсбургов“ графини Лариш. Очень меня интересует этот мир. Ах, если бы мне мир пошире был открыт! — На другой день был на открытии финляндской выставки. Много народу, музыка, речь Милюкова…» Это была выставка картин финских художников, на которую собрался, как говорил Бунин, «весь Петербург», присутствовали министры Временного правительства, французский посол, художники, писатели, артисты. Выступали с речами Вера Фигнер и Горький.

Все эти лица собрались на банкет «в честь финнов у До-нона, человек 200. Сидел на конце стола, где был Горький, Гржебин, Тихонов, некий Десницкий… Зданевич, Маяковский и Бурлюк»; «После банкета были в подвале „Бродячей собаки“ или „Привал комедиантов“. Были все вышеперечисленные. Дикий гам, жара, лютая наглость Зданевича… Читал стихи Кузмин с облезлой головой. Я рано ушел. Вчера был дома, вырабатывали условие на издание моих сочинений. Вечером обедал у Иорданских. Был Чириков… Плеханов остановился у Иорданских» [714].

Это была последняя встреча Бунина с Горьким. «В начале апреля 1917 года мы расстались с ним навсегда» [715], — писал Бунин. В конце того же года, вспоминал он далее, Горький «приехал в Москву, остановился у своей жены Екатерины Павловны, и она сказала мне по телефону: „Алексей Максимович хочет поговорить с вами“. Я ответил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда конченными» [716].

Шестого апреля 1917 года он сообщал Вере Николаевне, что

«взял билет… на 12 апреля» [717], — в этот день он выехал в Москву.

Восьмого мая он отправился в Глотово «(*в ужасную метель* — это в начале мая-то!), захворал, — простудился» (письмо Нилусу 27 мая 1917 года) [718]. Вера Николаевна на время оставалась у родителей, 8 июня и она приехала в деревню. Жили они здесь все лето и осень, почти до ноября.

Крестьяне вызывали чувства смешанные: с одной стороны — радостное удивление умом, одаренностью, душевным обаянием, с другой — разочарование и неприязнь.

На Прилепах восхитил хозяин маслобойки — «большой рост, великий удельный князь, холодно серьезен», умен, держится с достоинством. В разговоре — «вдруг чудесная добрая улыбка. Вот кем, — восклицает Бунин, — Русь-то строилась» (8 октября) [719].

Бунин часто говорил о талантливости русского народа. Однажды он сказал, что «беседа со стариками доставляет ему прямо эстетическое наслаждение».

Иван Алексеевич, пишет Пушешников 23 октября 1917 года, говорил также, что «среди мужиков есть совершеннейшие аристократы».

Одиннадцатого сентября 1917 года Пушешников записал:

«Иван Алексеевич все восхищается игрой на двухрядной гармонике Кузнецова сына. Иван Алексеевич ходил к нему слушать. Говорил, что как жаль, что никто не знает России и что никто, никто ее никогда по-настоящему не описывал <…>

Петька растянул гармонику и заиграл мягко, нежно, сладко.

— Какой талантливый человек! — сказал Иван Алексеевич <…>

— Нет, это совершенно исключительный талант! С какой легкостью его душа переливается в звуки. А ведь совсем первобытный человек <…> Разве эта музыка не есть что-то чудесное? Петька, который никогда ничего не видел, кроме этого бугорка, и никогда не слыхал ни одного произведения музыкального искусства…

— Может быть, прав Толстой, говоря, что Гете со всем его невероятным умственным развитием не может быть учителем в искусстве совершенно первобытно неразвитого Федьки».

Обстановка в деревне была напряженной.

«Жить в деревне и теперь уже противно, — писал Бунин. — Мужики вполне дети, и премерзкие. „Анархия“ у нас в уезде полная, своеволие, бестолочь и чисто идиотское непонимание не то что „лозунгов“, но и простых человеческих слов — изумительные. Ох, вспомнит еще наша интеллигенция, — это подлое племя, совершенно потерявшее чутье живой жизни и

изолгавшееся насчет совершенно неведомого ему народа, — вспомнит мою „Деревню“ и пр.!

Кроме того, и не безопасно жить теперь здесь. В ночь на 24-ое у нас сожгли гумно, две риги, молотилки, веялки и т. д. В ту же ночь горела пустая (не знаю, чья) изба за версту от нас, на лугу. Сожгли, должно быть, молодые ребята из нашей деревни, побывавшие на шахтах. Днем они ходили пьяные, ночью выломали окно у одной бабы-солдатки, требовали у нее водки, хотели ее зарезать. А в полдень 24-го загорелся скотный двор в усадьбе нашего ближайшего соседа (живет от нас в двух шагах), — зажег среди бела дня, как теперь оказывается, один мужик, имевший когда-то судебное дело с ним, а мужики арестовали самого же пострадавшего, — „сам зажег!“ — избили его и на дрогах повезли в волость. Я пробовал на пожаре урезонить, доказать, что жечь ему самого себя нет смысла, — он не помещик, а арендатор, — пьяные солдаты и некоторые мужики орали на меня, что я „за старый режим“, а одна баба все вопила, что нас (меня и Колю) (Н. А. Пушешникова. — А. Б.), сукиных детей, надо немедля швырнуть в огонь. И случись еще пожар, — а ведь он может быть, могут и дом зажечь, лишь бы поскорее выжить нашего брата отсюда, — могут и бросить, — нужды нет, что меня здесь хотят в Учредительное собрание выбирать, — „пусть Иван Алексеевич там в Петербурге за нас пролазывает“» [720].

«Иван Алексеевич, — пишет в дневнике Пушешников, — сидит в пальто в темноте в своем кресле и о чем-то думает <…> Ждем, что вот-вот придут мужики и зажгут дом. Лошади уже отобраны (у владелицы Васильевского Софьи Николаевны Пушешниковой. — А. Б.), работники сняты».

Одиннадцатого июня 1917 года Бунин записал в дневнике:

«Все последние дни чувство молодости, поэтическое томление о какой-то южной дали (как всегда в хорошую погоду), о какой-то встрече <…>

Шестого телеграмма от Веры. Седьмого говорил с ней по телефону в Елец. Условились, что я приеду за ней <…> В сенях вагона первого класса мешки, солдаты. По поезду идет солдатский контроль. Ко мне: сколько мне лет, не дезертир ли? Чувство страшного возмущения».

В письме А. Е. Грузинскому от 25 июля он говорит, что употребляет «чуть не половину <…> жизни» на газеты, «не написал я пока еще ни единой строки!» [721]. 31 августа в письме к А. Б. Дерману он снова повторяет: «Не написал я буквально ни строки, — все лето с утра до вечера читаю газеты» [722].

Все волновало Бунина: и война с Германией, и

революционное брожение внутри страны. В июле газеты сообщали о призыве в армию новой категории лиц. Правительство, теряя контроль над создавшимся положением в стране, переживало перманентный кризис и не однажды реорганизовывалось, заседало ночи напролет в Зимнем дворце.

Бунин говорил Н. А. Пушешникову еще в 1916 году:

«Народ воевать не хочет, ему война надоела, он не понимает, за что мы воюем, ему нет дела до войны. А в газетах продолжается все та же брехня. Разные ослы вроде <И.> Ильиных (сотрудник петроградской газеты эсеров „Земля и воля“. — А. Б.), Бердяевых и др. долбят свое, ничего не понимая, с необыкновенным остервенением и самомнением. Сейчас хотят чествовать Сытина за то, что он создал такую замечательную газету, как „Русское слово“! Такую лживую, блудливую газету! Российский „Таймс“?! Все несут свое, не считаясь с тем, что народ войны не хочет и свирепеет с каждым днем. И что это значит: вести войну до победного конца?»

Резко отрицательно отзывался Бунин о министрах Временного правительства. 2 июня 1917 года Пушешников записал:

«Читали перед обедом газеты. Иван Алексеевич сказал про Чернова <…> Считается знатоком земельного вопроса! Какая наглость. Ни уха, ни рыла не понимать в экономических вопросах и сельском хозяйстве и залезть на пост министра земледелия! Что он может знать! Двенадцать лет в Италии прожил. В деревне за всю свою жизнь ни разу не был. Я уверен, что он пшена от проса не отличит… Министр земледелия, марксист и вместе с тем ужасный декадент, поклонник Брюсова и Бальмонта, восторженный почитатель Ивана Вольнова. Все это в нем совмещается. Государственный муж, Ф. Ф. Кокошкин, становится среди комнаты, заложив назад руки, и распевает поэзы Игоря Северянина. Балаган!» [723]

Пятого июля 1917 года Пушешников записал: Иван Алексеевич говорил, что сейчас «полный хаос, анархия, правительство бессильно, слабо, не умеет ничего предпринять… Казалось бы, гордиться нечем! А между тем нестерпимо читать газеты от того наглого самохвальства, которым полны они все. Кругом разложение и хаос, в газетах же одна болтовня».

Одиннадцатого августа 1917 года Пушешников сделал следующую запись:

«Керенский избран премьером. Армия бросает оружие, сдает позиции, самовольно уходит с фронта… Говорили о политике до двух ночи».

За последние годы Бунин видел много тяжелого в жизни, но

он не изверился в людях — писал в дневнике: «Нет, в людях все-таки много прекрасного!» (Запись за октябрь.)

По словам Бунина, «война все изменила. Во мне что-то треснуло, переломилось, наступила, как говорят, переоценка всех ценностей. И как подумаешь, что жизнь прошла, что еще несколько лет — и будешь где-нибудь лежать на Ваганьковом <…> Литераторские мостки. И ничего не сделать! Это ужасно» [724].

Бунин проникся чувством сожаления об утрате прежней «беспечности, надежды на жизнь всего существа». Со страхом думал, что ему уже исполнилось сорок семь лет: в стихах говорил:

В мире круга земного,
Настоящего дня,
Молодого, былого
Нет давно и меня!

(«Свет незакатный». 24 сентября 1917 г.)

Он цитировал итальянскую песню эпохи Возрождения, любимую песню Лоренцо Медичи, правителя Флоренции, поэта и философа, покровителя гуманистов:

Quant'é bella giovenezza.
Ma si fugge tuttavia
Chi vuol esser lieto, sia:
Di doman non c'é certezza.

(Как ни прекрасна юность,
Все же она убегает;
Кто хочет радоваться, пусть радуется,
В завтрашнем дне нет уверенности.)

Как бы в напоминание себе он записал 1 ноября 1917 года:

«В Неаполе в монастыре Comaldoli над Вомеро каждую четверть часа дежурный монах стучал по кельям: „Bodate, e possato un qufrto d'ora della vostra vita“». («Внемлите, прошло еще четверть часа вашей жизни».)

Это лето и осень в деревне, как ни трудно было сосредоточиться для творческой работы, Бунин все же не оставлял литературных занятий. Он много читал — Толстого, Лескова, о котором сказал, что это «своеобразный, сильный человек!» (18 октября), Достоевского, стихи Фета, З. Н. Гиппиус,

Минского, «Стихи духовные» (со вступительной статьей Ляцкого) (23 августа).

Двадцать второго августа записал:

«Начал читать Н. Львову — ужасно. Жалкая и бездарная провинциальная девица. Начал перечитывать „Минеральные воды“ Эртеля — ужасно! Смесь Тургенева, Боборыкина, даже Немировича-Данченко и порою Чирикова. Вечная ирония над героями, язык пошленький. Перечитал „Жестокие рассказы“ Вилье де Лиль Адана <…> Плебей Брюсов восхищается. Рассказы — лубочная фантастика, изысканность, красивость, жестокость и т. д. — смесь Э. По и Уайльда, стыдно читать».

Надежда Григорьевна Львова (автор сборника стихов «Старая сказка», с предисловием В. Брюсова, который посвятил ей книгу «Стихи Нелли»), двадцати двух лет, в 1913 году, покончила самоубийством; о ней писал И. Эренбург. Ее личность в каком-то смысле заинтересовала Бунина. Он замечает в дневнике (23 августа): «Следовало бы написать о ней рассказ».

Искусственность описаний и характеристик, многословие, придуманную красивость Бунин никогда не мог выносить спокойно, раздражался и негодовал.

Происходили грозные события, вторгавшиеся в его повседневную жизнь, вот-вот могла решиться судьба России в условиях русско-немецкой войны и в ходе революционных потрясений; его собственное будущее было весьма неясно; тревога за близких ему людей лишала уравновешенности и покоя. 18 августа Бунин записывает:

«В час уехал Юлий — в Москву. Лето кончилось! Грусть, боль, жаль Юлия, жаль лета, чувство горькой вины, что не использовал лета лучше, что мало был с Юлием, мало сидел с ним, катался. Мы вообще, должно быть, очень виноваты все друг перед другом. Но только при разлуке чувствуешь это. Потом — сколько еще осталось нам этих лет вместе? Если и будут эти лета еще, то все равно остается их все меньше и меньше. А дальше? Разойдемся по могилам! Так больно, так обострены все чувства, так остры все мысли и воспоминания! А как тупы мы обычно! Как спокойны! И неужели нужна эта боль, чтобы мы ценили жизнь?»

В то же время и в дневниках и в стихах той поры — ощущение радости жизни от приобщения к красоте природы.

Дневник, 16 октября: «Вечер поразительный. Часов в шесть уже луна как зеркало сквозь голый сад… и еще заря на западе, розово-оранжевый след ее — длинный — от завода до Колонтаевки. Над Колонтаевкой золотистая слеза Венеры <…> Вспомнился Цейлон даже». «Краски чистейшие» (18 октября, в такую же погоду).

То же в стихах:

О, радость красок! Снова, снова
Лазурь сквозь яркий желтый сад
Горит так дивно и лилово,
Как будто ангелы глядят.

О, радость радостей! Нет, знаю,
Нет, верю, Господи, что ты
Вернешь к потерянному раю
Мои томленья и мечты!

(24 сентября 1917 г.)

С приезда в Глотово Бунин написал более двадцати стихотворений.

Н. А. Пушешников отметил в дневнике:

«Иван Алексеевич пишет стихи. Говорит, что если бы можно было еще пожить, то расписался бы совсем».

В октябре стало совсем неспокойно. Возвращались с фронта, с оружием, озлобленные солдаты. Мужики «жгут хлеб, разоряют усадьбы», — пишет в дневнике Пушешников. «Все это время, — продолжает он, — ничего не делаем от волнения. События идут быстро. Мы не совсем разбираемся, что происходит».

Бунин писал Юлию Алексеевичу (не позднее октября 1917 года):

«Дела общественные, политические совсем раздавили мою душу. У меня полная безнадежность» [725].

Решили уехать в Москву 23 октября.

Вера Николаевна записала в дневнике 1917 года:

«Октябрь 22. Первое известие о погромах за Предтечевым <…> Волнение среди местной интеллигенции. Сборы».

Об отъезде из деревни есть запись в дневнике Н. А. Пушешникова:

«В четыре <часа> напились чаю и попрощались и выехали еще в полном мраке, пахнущем изморозью. На деревне еще спали. Ничего и никого. Ни одного огня. Проехали аллею, выехали на гумно мимо заиндевевших бурьянов. Полынь в инее, солома. Дорога черная и масляная. За Озерками поехали по большой дороге. Стали попадаться солдаты, подозрительно на нас посматривали. Когда подъезжали к Становой, нам повстречались девки и бабы. Они шли, орали песни, толпой человек в двадцать. Когда мы поравнялись с ними, и закричали и зацикали на нас.

— А это кто? (на Ивана Алексеевича). Не то баба, не то мужик! — заговорили они, смеясь на Ивана Алексеевича, который

сидел в полушубке и шапке с наушниками. Они столпились у оглобель, так что стало невозможно ехать. Иван Алексеевич зверел. Лошади остановились.

— Господи! — сказала курносая баба. — На них бы солдатов.

— Отходи! — крикнул Иван Алексеевич и вынул браунинг. — Слышишь, что говорю. Перестреляю!..

Бабы и девки оторопели. Но курносая сказала:

— Орудием хочет. Машка, беги за мужиками. Вон в лознике. — Несколько девок побежало к лозникам, находившимся в полуверсте.

— Однако дело дрянь, — сказал мне Иван Алексеевич. Он намотал вожжи и взял арапник и изо всех сил вытянул коренную и потом пристяжку. Лошади как бы упали вниз и понесли. Бабы раздались и открыли дорогу. Остановились мы только в семи верстах от Ельца, когда у нас соскочило колесо. Пришлось заехать к кузнецу и прождать у него полтора часа, пока он сваривал шину. В Ельце остановились у Б<арченко>. Вечером К. играл нам „Лорелею“ и Кампанеллу Листа. Пробыли в Ельце два дня. Настроение здесь тревожное. Был слух, что Елец будут громить мужики. Говорили, что мужики из окрестных деревень окружали город. До Москвы ехали с Б. П. <Орловым>».

Вера Николаевна записала об этих днях 23 октября:

«Бегство на заре в тумане. Пленные. Последний раз Глотово, Озерки, Большая дорога…

Бабы: „Войну затеяли империалисты“. Бешеная езда. Рассыпалось колесо. Семь верст пешком в валенках и шубе. Елец. Ни единой комнаты ни в одной гостинице. Барченко. Гостеприимство их.

24 <октября> <…> Вечер с елецким обществом. Орлов и др.

25 <октября>. Отъезд в первом классе. Мы втроем и Орлов. Солдаты в проходах. Отношение не враждебное.

26 <октября>. Москва. Первые слухи о восстании. Телефон к Телешовым. Спасение 8000 р. Обед и вечер у них».

С 26 октября Бунин и Вера Николаевна поселились у ее родителей, Муромцевых, на Поварской, «мимо их окон, — писал А. Е. Грузинский 7 ноября 1917 года А. Б. Дерману, — вдоль Поварской гремело орудие»[726].

В Москве Бунин прожил зиму 1917/18 года. В вестибюле дома, где была квартира Муромцевых, в дни боев установили дежурство, двери были заперты, ворота заложены бревнами. Дежурил и Бунин.

Тридцать первого октября 1917 года он записал:

«За день было очень много орудийных ударов (вернее, все

время — разрывы гранат и, кажется, шрапнелей), все время щелканье выстрелов <…>

От трех до четырех был на дежурстве. Ударила бомба в угол дома Казакова возле самой панели. Подошел к дверям подъезда (стеклянным) — вдруг ужасающий взрыв — ударила бомба в стену дома Казакова на четвертом этаже. А перед этим ударило в пятый этаж возле черной лестницы (со двора) у нас <…> Хочется есть — кухарка не могла выйти за провизией (да и закрыто, верно), обед жалкий <…>

Опять убирался, откладывал самое необходимое — может быть пожар от снаряда <…>

Почти двенадцать часов ночи. Страшно ложиться спать. Загораживаю шкафом кровать <…>

1 ноября <…> Весь день не переставая орудия, град по крышам где-то близко и щелканье. Такого дня еще не было <…> Нынче в третьем часу, когда вышел в вестибюль, снова ужасающий удар где-то над нами. Пробегают не то юнкера, не то солдаты под окнами у нас <…>

Ходил в квартиру чью-то наверх, смотрел пожар (возле Никитских ворот, говорят) <…>

2 ноября. Заснул вчера поздно — орудийная стрельба. День нынче особенно темный (погода). Остальное все то же. Днем опять ударило в дом Казакова. Полная неизвестность, что в Москве, что в мире, что с Юлием! Два раза дежурил <…>

4 ноября. Вчера не мог писать, один из самых страшных дней всей моей жизни <…> Пришли Юлий, Коля (Н. А. Пушешникова. — А. Б.). Вломились молодые солдаты с винтовками в наш вестибюль — требовать оружие».

Отсиживание в квартире-крепости кончилось, Бунин «ходил по переулкам возле Арбата. Разбитые стекла и т. д.».

«21 ноября 12 часов ночи. Сижу один, слегка пьян. Вино возвращает мне смелость, муть сладкую сна жизни, чувственность — ощущение запахов и проч. — это не так просто, в этом какая-то суть земного существования».

Бунин включился в литературную жизнь, которая, при всей стремительности событий общественных, политических и военных, при разрухе, а потом и голоде, все же не прекращалась. Он бывал в «Книгоиздательстве писателей», участвовал в его работе (17 и 18 января, 18 февраля, 12 марта, 24 апреля, 19 мая 1918 года), в литературном кружке «Среда» (6, 14, 19 февраля) и в Художественном кружке (16 февраля).

При встречах с писателями — И. Шмелевым, В. С. Миролюбовым, А. Белым — велись возбужденные споры о русском народе и современной литературе.

Тринадцатого марта Бунин провел вечер у Екатерины Павловны Пешковой вместе со старым революционером Бахом, с А. Н. Тихоновым и В. С. Миролюбивым.

В 1917 году, в Петрограде, вышел сборник стихов и рассказов Бунина «Храм Солнца». В издательстве Горького «Парус», практическими делами которого занимались А. Н. Тихонов и Гиммер-Суханов, должно было выходить Собрание сочинений Бунина, за которое Горький заплатил ему 17 тысяч вперед. Но книги не печатались; в конце концов в 1918 году был издан один десятый том. Для альманаха, выходившего в издательстве «Парус», он дал стихи «Золотыми цветут остриями…», «Просыпаюсь в полумраке…», «Этот старый погост…», «Стали дымом, стали выше…», «Тает, сияет луна в облаках…», «Что впереди? Счастливый долгий путь…», «Мы рядом шли, но на меня…». В этом году были написаны рассказы «Исход» и «Зимний сон».

Девятнадцатого мая 1918 года Бунин посетил В. М. Фриче, который ведал иностранными делами в правительстве. В дневнике пишет: «…узнать о заграничных паспортах. Нет приема. Сказал, чтобы сказали мою фамилию — моментально принял. Сперва хотел держаться официально — смущение скрываемое. Я повел себя проще. Стал улыбаться, смелей говорить. Обещал всяческое содействие. Можно и в Японию, „можно скоро будет, думаю, через Финляндию, тоже и в Германию…“».

Об отъезде из Москвы В. Н. Муромцева-Бунина писала мне 13 марта 1958 года: «Сообщаю наши даты. Мы покинули Одессу в 1920 году 26 января по старому стилю. А из Москвы мы выехали 21 мая 1918 года. Жили в квартире моих родителей на Поварской, в доме Баскакова, номер 26, в нижнем этаже. От входа налево [727].

Провожали нас на Савеловский вокзал Юлий Алексеевич и Екатерина Павловна Пешкова. Разрешение устроил нам Фриче в благодарность за то, что Иван Алексеевич хлопотал за него у московского градоначальника, чтобы его не высылали из Москвы незадолго до революции. Мы ехали в санитарном вагоне до Минска. От Минска в поезде до Гомеля. Там сели на пароход до Киева».

С Савеловского вокзала Бунины переехали на Александровский (теперь — Белорусский) вокзал. Им предоставили «купе в санитарном вагоне, где находилась столовая для медицинского персонала и купе доктора», — вспоминала Вера Николаевна.

Переезжая границу в Орше, за которой «находились области

оккупированные», Бунин плакал, он «оставлял за собой, — по его собственному выражению, — и Россию и всю свою прежнюю жизнь».

В дневниковых записях Бунина и Веры Николаевны даны некоторые подробности этого, по выражению Ивана Алексеевича, «ужасного» путешествия — очень медленного переезда от города к городу, в сопровождении охраны, с длительными стоянками и с опасностью застрять в пути.

«В Вязьме были в три часа 24 мая и стояли там до вечера, — пишет Бунин в дневнике. — В Смоленск прибыли рано утром 25-го, откуда тронулись в пять утра. В Орше стоим уже три часа, не зная, когда поедем дальше.

26 мая. Двинулись в 11 часов 20 минут утра. В 12 часов без 10 минут мы на „немецкой“ Орше — за границей <…>

Едем на Жлобин.

27 мая (9 июня). Воскресенье.

Утром Минск. Серо, скучно. Узнали, что поезд пойдет на Барановичи». Из поезда пришлось тащить веши на другой, Александровский вокзал — больше версты. Помогли два больных солдата. Вера Николаевна здесь узнала, что надо переезжать на Виленский вокзал. Оказалось к тому же, что для получения билетов на дальнейший путь нужен пропуск. Получили пропуск с трудом, после больших волнений.

От Минска до Гомеля ехали в просторном купе, потом пересели на пароход и по рекам Сож и Днепр приплыли в Киев. Вера Николаевна писала в цитированном выше письме:

«В переполненном Киеве едва нашли пристанище. Сначала попали в притон. Затем редактор „Киевской мысли“ (М. И. Эйшискин. — А. Б.) предложил нам свою квартиру [728], и мы прожили у него меньше недели. Одолевали Ивана Алексеевича поэты и писатели, так что из-за них пришлось бежать в Одессу, а в Киеве была чудесная весна, начало лета, и уезжать не хотелось, семья редактора была на даче, и было очень удобно там провести еще некоторое время. Оттуда в Одессу».

В Одессу Бунин и Вера Николаевна прибыли в начале июня 1918 года — по-видимому, 3/16 июня. Вера Николаевна записала в 1919 году: «Год, как мы в Одессе…»

О приезде Бунина писал П. Нилус в статье «Впечатления. И. А. Бунин» (Жизнь. Одесса, 1918, № 7, июль).

Остановились в гостинице «Крымская» (у Сабанева моста, дом 1), жить пришлось в душном номере, Вера Николаевна это с трудом переносила, теряла силы. С 11 (ст. ст.) июня переехали на дачу Шушкиной под Одессой.

Вера Николаевна писала брату Всеволоду Николаевичу

Муромцеву 29 июня 1918 года (ст. ст.):

«Дача у нас хорошая, большая, стоит в фруктовом саду, а сад выходит в степь»; «несмотря на неважную погоду, мне кажется, — продолжает она в письме 1 августа (ст. ст.) 1918 года, — что я живу в раю…».

У Буниных бывали литераторы. Жил с ними на даче Нилус. 26 июня/9 июля 1918 года были в гостях у Буниных историк литературы. Д. Н. Овсянико-Куликовский, писатели Г. Д. Гребенщиков, А. М. Федоров, литературный критик Д. Л. Тальников, журналист В. О. Недзельский.

Приходил В. П. Катаев со своими первыми рассказами; молодой автор казался Бунину талантливым, и он всячески покровительствовал ему и помогал.

Первого августа 1918 года Вера Николаевна писала брату:

«Ян немного отдышался и повеселел, а то под конец зимы он совершенно перестал на себя походить, так угнетающе действовала на него московская жизнь. Сейчас пишет с него портрет масляными красками молодой художник Шатан, который в то же время рисует меня сангиной, это нечто вроде пастели…»

14/27 августа Вера Николаевна пишет: «Ян и Нилус в городе. В 11 часов утра назначено свидание с Брайкевичем насчет книгоиздательства, товарищества на паях в Одессе <…>

Деньги, взятые из Москвы, приходят к концу. Ян не работает. Проживать здесь нужно минимум две тысячи рублей в месяц».

В августе 1918 года приехал А. Н. Толстой.

Бунин писал:

«Осень, а затем зиму, очень тревожную, со сменой властей, а иногда и с уличными боями, мы и Толстые (Алексей Николаевич и Наталья Васильевна. — А. Б.) прожили в Одессе все-таки более или менее сносно, кое-что продавали разным то и дело возникавшим по югу России книгоиздательствам…»

О своей жизни Бунин писал 20 сентября 1918 года литературному критику А. Б. Дерману:

«Дорогой Абрам Борисович, очень рад, что вы нашлись <…>

Живется нам в общем плохо. Все растущая, душу угнетающая и рисующая мрачные перспективы дороговизна, непрестанная боль, ужас и ярость при чтении каждой газеты, вечная тревога за близких, — о которых за последнее время ныне уже никаких известий, меж тем как Юлий Алексеевич снова тяжело заболел <…> близость зимы, которая нам, буквально не имеющим ни клока теплого, несет лютый холод — и пр. и пр. <…>

А теперь о сборнике. Увы, у меня, кроме двух-трех стихотворений, ничего нет! Душой рад бы был исполнить вашу просьбу — и не могу! Я ничего не писал — все лето. Не узнаю

себя — такая все лето была душевная подавленность и телесная слабость — ведь вы знаете, какую зиму мы пережили…» [729]

1/14 сентября 1918 года Вера Николаевна записала, что сняли комнаты в особняке художника Е. И. Буковецкого. Переехали с дачи только 1 октября (ст. ст.), так как в конце сентября комнаты Буниных были реквизированы австрийцами; Одесса была оккупирована с марта по ноябрь 1918 года австро-германскими войсками, а с ноября 1918-го по 6 апреля 1919-го — англо-французскими. Иван Алексеевич должен был хлопотать — ходил к некоему Горностаеву, который принял его «очень почтительно и сказал, — писала Вера Николаевна 4/17 октября родителям в Москву, — что визитная карточка Яна будет для него реликвией. Вспомнили они свою первую встречу в Москве».

Вера Николаевна писала родным: «Квартира очень красивая, со вкусом убранная, много старинных вещей <…> Кроме платы за комнаты, все расходы по ведению дома и столу будем делить пополам. Деньги, взятые из Москвы и полученные в Киеве, приходят к концу. Ян делает заем в банке, тысяч на десять…» «В такой обстановке не приходилось жить, — говорит Вера Николаевна в другом письме родным. — У нас две комнаты, большие, высокие, светлые, с большим вкусом меблированные, но лишних вещей нет. Удобств очень много. Даже около моего письменного стола стоит вращающаяся полка с большим энциклопедическим словарем, — это то, о чем я всегда мечтала». «Живу я с комфортом, как не жила и в мирное время» (письмо родным 21 ноября / 4 декабря 1918 года).

Бунин мечтал о Крыме. О том, что «Бунин собирается в Крым», писал И. С. Шмелев Марии Павловне Чеховой 18/31 августа 1918 года из Алушты [730]. Но в Крым он не поехал.

Ради заработка Бунин отправился с чтением своих произведений в поездку по Украине, «уехал через Киев в Екатеринослав»; об этом пишет в дневнике Вера Николаевна 15/28 октября 1918 года.

В Одессе в то время оказались некоторые известные писатели. «Почти вся редакция „Русского слова“ с <Ф. И.> Благовым во главе <…> Москвичи начинают объединяться и общаться. В воскресенье, — пишет Вера Николаевна родным 2/15 января 1919 года, — было собрание под председательством князя Евг. Трубецкого. Правление — временно инициативная группа — кн. Трубецкой… Бурышкин, Луи и др.».

Здесь были, кроме названных уже литераторов, С. С. Юшкевич, И. С. Соколов-Микитов, С. Я. Елпатьевский, Н. А. Тэффи, В. М. Инбер, И. Ф. Наживин, М. А. Алданов, Т. Л. Щепкина-Куперник, литературный критик П. М. Пильский,

поэт М. О. Цетлин с женой Марией Самойловной, поэт-юморист А. П. Шполянский (Дон Аминадо), писательница Зинаида Тулуб, литературовед Л. П. Гроссман, художник и поэт А. А. Койранский, литературный критик А. А. Кипен, журналисты Б. Л. Варшавский, А. А. Яблоновский.

В Одессе была также группа молодых поэтов и писателей; кроме Катаева, о котором речь шла выше, — Э. Багрицкий, Ю. Олеша, З. Шишова, А. Фиолетов.

Литературная жизнь даже в это трудное время не замирала. Бунин общался с писателями, участвовал в спорах, встречался в редакциях, в литературно-художественных кружках и в артистическом обществе, в театральном кружке; встречался и с артистами Художественного театра О. Л. Книппер-Чеховой и Вл. Аф. Подгорным, с артисткой театра Ф. А. Корша, женой журналиста Лоло (Л. Г. Мунштейна) В. Н. Ильнарской, с популярной артисткой, игравшей в театре В. Ф. Комиссаржевской в Петербурге и в труппе Н. Н. Синельникова в Харькове и Киеве, Е. А. Полевицкой (по мужу Шмидт); были встречи и с художником Г. Ф. Ярцевым.

Были в это время в Одессе салоны, кружки, собрания в клубах, публичные лекции. Одно такое собрание прошло очень бурно.

29 марта/11 апреля 1919 года в Художественном кружке состоялось «заседание профессионального союза беллетристической группы»; просили председательствовать Бунина, он отказался. Молодые писатели Катаев, Олеша, Багрицкий, пишет в дневнике В. Н. Бунина, «кричали, что они готовы умереть за советскую платформу, что нужно профильтровать собрание, заткнуть рты буржуазным, обветшалым писателям <…> Сделав скандал, ушли. Волошин побежал за ними и долго объяснялся с ними»; об этом собрании пишет также Бунин в очерке «Волошин».

В Одессе оказались многие видные политики, генералы и министры белого правительства: А. Ф. Керенский; один из лидеров партии октябристов и бывший председатель Государственной думы М. В. Родзянко; монархист, основатель «Союза русского народа» (1905 год), депутат 2–4-й Государственной думы, участник убийства Распутина В. М. Пуришкевич; А. И. Деникин; начальник штаба белой армии генерал Чернявин; бывший товарищ министра С. В. Лурье; один из организаторов кадетской партии, экономист и статистик А. А. Кауфман; эсеры В. В. Руднев и И. И. Фондаминский-Бунаков — в будущем сотрудники парижского журнала «Современные записки»; социалист В. А. Мякотин; Туган-Барановские.

Первого ноября (ст. ст.) 1918 года В. Н. Бунина пишет в дневнике:

«Вчера были у Цетлиных. Кроме нас, были Толстые, Керенский и Инбер, потом — уже очень поздно — пришли Фондаминский-Бунаков и Руднев».

13/26 ноября 1918 года «в порт пришел английский миноносец, ждут, — пишет Вера Николаевна, — броненосца. <…> На улицах большие толпы».

На Украине действовал Петлюра, возглавлявший националистическое движение.

В 1919 году петлюровцы были разгромлены Красной Армией.

29 ноября/12 декабря «петлюровские войска, — по словам Веры Николаевны, — вошли беспрепятственно в город».

«Опять началась жизнь московская, — пишет Вера Николаевна 30 ноября/13 декабря. — Сидим дома, так как на улицах стреляют, раздевают. Кажется, вводится осадное положение, выходить из дому можно до девяти часов вечера. Вчера выпустили восемьсот уголовных. Ждем гостей. Ожидание паршивое».

Бунин подавлен. Он говорил, что «прошлую ночь три часа сидел на постели, охватив руками колени, и не мог заснуть.

— Что я за эти часы передумал. И какое у меня презрение ко всему!»

5/18 декабря Вера Николаевна записывает: «С утра идет сражение, трескотня ружей, пулемет, изредка орудийные выстрелы. Ян разбудил меня. Петлюровцы с польскими войсками и добровольцами. У нас на углу Ольгиевской стоят петлюровцы».

6/19 декабря. «Вчера весь день шел бой. Наша улица попала в зону сражения. До шести часов пулеметы, ружья, иногда орудийные выстрелы. На час была сделана передышка, затем опять. Но скоро все прекратилось <…>

Ян почти целый день был на ногах, в пальто, ежеминутно выходил во двор, где говорил с жителями нашего дома. Демократия настроена злобно».

9/22 октября 1918 года Д. Л. Тальников сообщал в «Одесских новостях», что Бунин читал 20 октября на вечере в зале консерватории неизвестный одесситам рассказ «Сны Чанга», опубликованный немного раньше в Москве.

16/29 декабря 1918 года Вера Николаевна пишет:

«Ян читает сегодня в „Урании“. Он читал „Моисея“ (рассказ „Смерть пророка“, первоначально названный „Смерть Моисея“. — А. Б.), и я слушала его с необыкновенным интересом, а ведь это, вероятно, в сотый раз! Ян прочел и ушел, а публика сидела и ждала продолжения».

Читал он 12/25 января 1919 года в клубе. Н. Ф. Кошиц — оперная певица, которую ценил Рахманинов, аккомпанировал ей в концертах и посвятил ей одно из своих сочинений, — пела, «Волошин прочел два исторических своих стихотворения».

В эти дни Бунин, по свидетельству жены, «много читал по-русски, по-французски». Как всегда, был захвачен Толстым. Вера Николаевна записала 13/26 февраля 1919 года:

«Ян недавно перечитал „Семейное счастье“ и опять в восторге. Он говорит, что мы даже и представить себе не можем, какой переворот в литературе сделал Лев Николаевич. Ян перечитывает старые журналы, а потому ему очень ярко бросается в глаза разница между Толстым и его современниками.

— По дороге неслись телеги, и дрожали ноги, — прочел он; ведь это модерн для того времени, а между тем как это хорошо! Ясно вижу картину».

17 февраля/2 марта пришел к Буниным А. А. Кипен, все вместе потом отправились к Цетлиным. Там был Волошин.

Овсянико-Куликовский предложил Бунину сотрудничать во французской газете. Бунин отказался.

Вскоре Бунин начал сотрудничать в газете «Наше слово», 8/21 марта был на заседании редакции, где присутствовали Ал. Ал. Яблоновский, Б. Л. Варшавский, А. А. Койранский, Ф. И. Благов. Заседание 10/23 марта было также с участием Бунина.

«Ян стал работать, настроение ровное. Он нежен и заботлив», — записывает в дневнике Вера Николаевна 12/25 марта.

О том, что «Ян стал ровнее», Вера Николаевна пишет 19 марта/1 апреля; «он вышел из мрачно-уединенного образа жизни. Все-таки — редакция, постоянное общение с людьми дает известный колорит дню.

Как-то он говорил, — продолжает она, — о трагичности своей судьбы. Принадлежа по рождению к одному классу, он, в силу бедности и судьбы, воспитался в другой среде, с которой не мог как следует слиться, так как многое, даже в ранней молодости, его отталкивало. Поэтому ему очень трудно писать так, как хотелось бы». А для него искусство — «это Голгофа», которому он отдавал всего себя, и никогда оно не было занятием для удовольствия.

Назревали новые события, изменившие судьбы многих. Вера Николаевна пишет в дневнике 21 марта/3 апреля: «Радио: Клемансо пал. В 24 часа отзываются (французские. — А. Б.) войска. Через три дня большевики в Одессе!» Теперь говорят, что «дни Деникина и Колчака сочтены». «На улицах оживление

необычайное, почти паническое. Люди бегут с испуганными лицами. Кучками толпятся на тротуарах, громко разговаривают, размахивая руками. Волнуются и те, кто уезжает, и те, кто остается. Банки осаждаются <…>

Вернулся Ян очень утомленный. Новых известий не было. Я позвонила Цетлиным. Они уезжают, звали и нас. Мы пошли проститься. У них полный разгром. Им назначили грузиться на пароход через два часа. Фондаминский хорош с французским командованием, он устраивает им паспорта. Кроме Цетлиной, мы застаем там Волошина, который остается после них на квартире, и жену Руднева <…>

Цетлина опять уговаривает нас ехать. Сообщает, что Толстые эвакуируются. Предлагает денег, паспорта устроит Фондаминский. От денег Ян не отказывается, а ехать не решаемся. Она дает нам десять тысяч рублей <…>

Волошин весь так и сияет. Не чувствуется, чтобы он волновался, негодовал или боялся, в нем какая-то легкость.

Оттуда мы пошли на Пушкинскую, где как раз происходила стрельба. По слухам, убит налетчик. В военно-промышленном комитете сборный пункт для отъезжающих политических и общественных деятелей. Народу много в вестибюле и в небольших комнатах комитета. Толпятся эсеры, кадеты, литераторы. Вот Руднев, Цетлин, Шрейдер, Штерн, Толстые и другие. У всех озабоченный вид <…> Прощаемся с Толстыми, которые в два часа решили бежать отсюда, где им так и не удалось хорошо устроиться. Они будут пробираться в Париж <…>

Оттуда пошли в „Новое слово“. На улице суета, масса автомобилей, грузовиков, людей, двуколок, солдат, извозчиков с седоками, чемоданами да навьюченные ослы, французы, греки, добровольцы — словом, вся интернациональная Одесса встала на ноги и засуетилась».

В начале апреля 1919 года, при отступлении французских и греческих войск из Одессы, Толстые отправились морем в Константинополь, потом уехали в Париж. Бунин и Вера Николаевна, по выражению Ивана Алексеевича, «не успели бежать вместе с ними».

Бунин говорил, что уезжать, начинать новую жизнь нелегко. «Вот m-me Цетлин предлагала, да мы не решились… предлагали и на Дон, но там тиф, да вот и Вера свалилась, да и приятелей неловко оставлять… все это внезапно…

— Да кроме того, совсем бы и с Москвой разделились, а теперь мы можем переписываться», — добавила Вера Николаевна.

24 марта/6 апреля Вера Николаевна пишет:

«Вошли первые большевистские войска под предводительством атамана Григорьева <…> Суда еще на рейде».

Шестого апреля (н. ст.) 1919 года в Одессе была восстановлена советская власть. Н. А. Григорьев, штабс-капитан царской армии, украинский националист, петлюровский атаман, присоединился со своим отрядом к Красной Армии и участвовал в боях за Одессу; 7–9 мая он поднял антисоветский мятеж, который был подавлен. Григорьев убит махновцами 27 июля 1919 года.

25 марта/7 апреля Вера Николаевна отметила:

«Вчера весь день гости. Вечером был Волошин, читал нам свои стихи, которые нам понравились. Он производит очень приятное впечатление, хотя отношение к жизни у него не живое <…>

Сегодня в одиннадцать часов утра прилетел к нам журналист <П. М.> Пильский. Высокий, очень веселый человек, все время острящий <…> Немного страшно за Яна, ведь нужно же было начать издавать газету за три дня до ухода союзников! Точно нарочно все высказались. Уехали, кажется, только Яблоновские, большинство из редакции и сотрудников остались».

26 марта/8 апреля вечером снова пришел к Буниным Волошин. Он сказал:

«— Давайте читать стихи. Я никогда не слышал чтения стихов Ивана Алексеевича.

— Прекрасно, — подхватывает Ян, — вот вы нам почитайте, а я сегодня не могу.

— Хорошо, — соглашается Волошин, — я буду читать портреты.

Он читает хорошо. Читает долго и много. Этот жанр ему удается. Но портрет он пишет так, как пишут художники, когда выдумывают сами и отыскивают те черты, которых никто, кроме них, не видит».

В мемуарном очерке «Волошин» Бунин приводит запись тех дней:

«Волошин часто сидит у нас по вечерам. По-прежнему мил, оживлен, весел. „Бог с ней, с политикой, давайте читать друг другу стихи!“ Читает, между прочим, свои „Портреты“ (цикл стихов „Облики“. — А. Б.)».

5/18 апреля «вечером Волошин читал, — пишет Вера Николаевна, — нам своего Аввакума (поэму „Протопоп Аввакум“, напечатанную в сборнике стихов Волошина „Демоны глухонемые“ (Харьков, 1919) — А Б.). Справился он с ним хорошо, фигура написана выпукло. Техника стиха превосходна <…>

У него хорошо — на все примиряющая теория. Вероятно, он один из самых счастливых людей на свете <…>

Ян жадно читает газеты, почти весь день живет злободневностью и только по вечерам, когда уже нельзя выходить, он способен читать какой-нибудь французский роман <…>

Многие озабочены и заняты главным образом съедобными делами — где бы что достать, где бы что купить? Наш дом этим не страдает. Мы уже начинаем быть на грани недоедания».

Одесса похожа на «восточный город, главная торговля происходит на улицах. Носки, апельсины, нитки, свечи; торговцы сидят вдоль стен; нищие, убогие — кто поет, кто играет, кто просит, а некоторые просто стоят с надписями на груди» (запись В. Н. Буниной 10/23 апреля 1919 года).

Волошин придумал устроить в особняке Буковецкого школу рисования. Он хлопотал о разрешении этой «Художественной неореалистической школы» и нарисовал для нее вывеску. «Ученики, — пишет В. Бунина родным 23 мая/5 июня 1919 года, — от десяти лет. Преподают Нилус, Буковецкий, а лекции по истории искусств читает <проф.> Лазурский. Я состою заведующей». Учились дети приятелей и знакомых. Было несколько человек способных.

Волошин, пишет Вера Николаевна 27 апреля/10 мая, «устроил себе выезд через комиссара красного флота <…>

Последний вечер Волошин проводит у нас со своей спутницей Татидой (Татьяной Давыдовной Цемах; поэтесса и биолог, работала на Карадагской биостанции. — А. Б.). Сидим при светильниках в полумраке. Грустно. На столе жалкое угощение. За последнее время мы привыкли к Максимилиану Александровичу <…> Он прощает людям не только недостатки, но даже и пороки. Может быть, это проистекает от большого равнодушия к миру — тогда это не достоинство. Но такое спокойствие приятно среди всеобщего возбуждения, раздражения, озлобления.

Волошин одет по-морскому: в куртке с большим вырезом и в берете. Он снабжен всякими документами: на тот случай, если попадется в руки французов, у него одни документы <…>, а если будет обыск при отходе, — то он имеет какие-то мандаты. Но все же исход путешествия их сильно волнует». Уезжают «завтра в 5 ч. утра».

Бунин еще не решил окончательно, куда уехать из Одессы, — колебался, обдумывая возможность возвращения в Москву. 23 мая/5 июня 1919 года Вера Николаевна писала Юлию Алексеевичу Бунину:

«Это даже странно, целый год я не была в Москве и никого из вас не видала! Соскучилась сильно. Ян — тоже. Мы часто теперь говорим с ним о поездке в Москву, но как это осуществить, еще ясно не представляем. Разрешение на въезд в нее мы имеем, но этого мало, нужно еще разрешение на выезд из Одессы, — это, кажется, довольно трудно сделать, — нужно хлопотать. Впрочем, это формальная сторона. А существенная заключается в том, чтобы жить в Москве, нам нужно, вероятно, тысяч десять, — иначе медленная смерть, во всяком случае для меня, так как все доктора, которые меня пользовали даже в Одессе, когда я была сравнительно в хорошем состоянии, говорили: есть и есть и никаких почти лекарств… Жить и здесь становится с каждым днем все труднее, — цены растут, а поступлений ждать неоткуда. Мне предлагают место рублей на 1200–1500 в месяц, но Ян все еще не соглашается, чтобы я служила».

Творческая работа Бунина продолжалась в Одессе в нелегких условиях Гражданской войны. Он вместе с искусствоведом академиком Н. П. Кондаковым редактировал с 8/21 октября 1919 года газету «Южное слово»; писал и публиковал в местной прессе многие стихи, некоторые рассказы и статьи. В «Южном слове» были напечатаны циклы стихотворений (в которые входили в измененной редакции ранее написанные стихи): «Восток», «Молодость», «Ночь», «Русь», «Летние стихи», «Путевая книга»; появлялись бунинские стихи и в газетах «Одесские новости», «Одесский листок», в журнале «Жизнь». Стихотворения из цикла «Русь» Бунин также публиковал в литературно-художественном еженедельнике «Огоньки» (1918, № 28; 1919, № 1–34). А цикл стихотворений «Путевая книга» (по составу не повторяющих публикацию того же цикла в газете «Южное слово») он напечатал в Симферополе, в сборнике «Отчизна» (1919). Два стихотворения появились в журнале «Родная земля» в Киеве (1918).

В Одессе написан Буниным и опубликован в «Южном слове» (1920, № 114, 4 января) рассказ «Готами». Здесь же перепечатаны рассказы 1916 года «Отто Штейн», «Петлистые уши», «Соотечественник», «Сны Чанга» (альманах «Объединение», 1919; впервые опубликован в сборнике «Творчество». Кн. II. М., 1918) и «Заметки» (1919, № 66, 7/20 ноября — о Толстом; № 67, 8/21 ноября — о писателе Ив. Ф. Наживине), публицистические заметки (1919, № 76, 82, 88). В «Родном слове» напечатаны ранее написанные «Маленькие рассказы» (1920, № 3, 16 января и № 5, 18 января) и публицистические заметки (1920, № 4). Рассказ 1916 года «Третьи петухи» напечатан в «Прибавлении к № 10 808 газеты „Одесские новости“» (1918, 21 сентября).

Кое-что из написанного Бунин уничтожил. В 1919 году он

записал: «Ночь на 15 мая. Пересмотрел свой „портфель“, изорвал порядочно стихов, несколько начатых рассказов и теперь жалею».

Бунин вел переговоры об издании своих книг: 1/14 августа 1919 года встречался по этому поводу в Театральном кружке с неким Зелеником, который «за гроши» хотел взять рассказы сборника «Господин из Сан-Франциско» (М., 1916). Некоторые рассказы должны были выйти в переводе на украинский язык, за это предполагаемое издание Бунин, по договоренности с А. П. Марковским, взял 3/16 августа в «Днепросоюзе» восемь тысяч авансом.

20 июня/3 июля Бунины были у Т. Л. Щепкиной-Куперник. Она сообщила:

«Можете спать спокойно. Из Москвы пришло приказание — „писателей не трогать“».

«Мы, — пишет Вера Николаевна, — вздохнули спокойно, ведь вот уже три недели, как ежедневно мы совещаемся с Яном, ночевать ли ему дома. Многие друзья предлагали свой кров, но мы решили до самой последней минуты не переходить Яну на нелегальное положение. Он и так нервен. Сон для него очень важен, а спать в непривычной обстановке ему всегда беспокойно. Надеялись, что в случае опасности его предупредят. Но все же всякий вечер бывало жутковато» (запись в дневнике 20 июня/3 июля 1919 года).

Этим летом Бунины встречались с Юшкевичем, Тальниковым, Шполянским (Дон Аминадо), А. Койранским, Туган-Барановским.

11/24 августа в Одессу пришли войска Деникина, власть которого продержалась здесь до 7 февраля (н. ст.) 1920 года.

«Мы решили уехать из Одессы, при первой возможности, но куда — еще не знаем <…> Жутко пускаться теперь куда-либо…» — пишет Вера Николаевна 12/25 августа.

17/30 августа: «Мы часто заводим речь о будущем. И не можем решить, отправляться ли нам в Крым или за границу или оставаться здесь. Здесь очень приелось, а удастся ли устроиться в Крыму?»

«Надежда попасть этой осенью в Москву у меня пропала», — записывает она 18/31 августа.

Бунин, пишет Вера Николаевна, последние дни «очень волновался из-за газеты, которую основывает Добровольческая армия. Три дня сряду были заседания. Наконец сговорились. Редактором будет Дм. Ник. Овсянико-Куликовский <…> Почти каждый стал заведующим тем или иным отделом». Издавалось «Южное слово», редактором беллетристического отдела стал Бунин.

Бунин выступал с лекциями о русской литературе и русском

народе. О его выступлении сообщала газета «Одесский листок» 12 и 25 сентября.

Вера Николаевна пишет 8/21 сентября: «Ян совсем охрип после лекции. Он не сообразил, что читать ее дважды ему будет трудно. Кроме того, он так увлекся, что забыл сделать перерыв, и так овладел вниманием публики, что три часа его слушали и ни один слушатель не покинул зала <…> Когда он кончил, то все встали и долго, стоя, хлопали ему. Все были очень взволнованы. Много народу подходило ко мне и поздравляло».

Эту лекцию Бунин повторил 20 сентября/3 октября. «Публики было еще больше. Не все желающие попали. Слушали опять очень хорошо. Ян читал лучше, чем в прошлый раз, с большим подъемом».

Газетная работа оживила Бунина. «Все эти дни, — пишет Вера Николаевна 7/20 октября, — Ян оживлен, возбужден и деятелен. То бездействие, в котором он пребывал летом при большевиках, было, несомненно, очень вредно и для его нервов и для его души. Ведь минутами я боялась за его психическое состояние».

В редакцию газеты вошел академик, искусствовед Никодим Павлович Кондаков, «согласились участвовать Кипен, Шмелев, Тренев, Ценский…».

В «Южном слове» В. Н. Бунина опубликовала 1/14 ноября свои переводы Андре Шенье.

В конце ноября (ст. ст.) опять «вступили в полосу больших событий. На фронте положение очень серьезное» — белый фронт рушился.

7/20 декабря Бунины решили окончательно, что в Крым не поедут, в этот день они получили визы «на Варну и Константинополь».

Двадцать четвертого декабря ст. ст. уехали в Болгарию Нилус и Федоров. Жена Федорова, Лидия Карловна, осталась в Одессе; в 1937 году была арестована, умерла в тюрьме или была расстреляна; сын Виктор, театральный художник, был депортирован из Бухареста в Советский Союз после освобождения столицы Румынии и отправлен в лагерь для заключенных, где и погиб. Ему ставили в вину то, что он приезжал в оккупированную Одессу и работал в театре по художественному оформлению спектаклей.

Вера Николаевна писала в дневнике 11/24 декабря:

«Ян был во многих местах. Общее впечатление: паника! <… > Ян встретил Кондакова, и они отправились к французам хлопотать насчет парохода».

«13/26 декабря. Были в сербском консульстве <…> Ян долго беседовал с консулом. По его словам, в Белграде очень тесно, но

нам все же, вероятно, удастся устроиться…

Фронта почти уже не существует: это не отступление, а бегство». Бунин говорил, «что в настоящую минуту, накануне эмиграции, он чувствует минувшую жизнь так остро, что трудно передать». «Боже, как тяжело! Мы отправляемся в изгнание и кто знает, вернемся ли?»

«29 декабря 1919/11 января 1920 года. Вчера из Киева пешком пришел Шульгин (В. В.?)…»

22 января/4 февраля Вера Николаевна записала:

«Яну и Кондакову выдали билеты на пароход „Дмитрий“, в третьем классе… Завтра в 11 часов нужно идти в Деба, где мы получим пропуск. Порт охраняется английскими солдатами <…>

Город пуст, только патрули. Совершенная тишина…»

«23 января/5 февраля. Проснулись рано. Окончательное решение: завтра мы грузимся. Последний день мы здесь на Княжеской, где, несмотря на все несчастья, мы сравнительно счастливо прожили почти полтора года <…>

Ян целый день носился по городу».

Иван Сергеевич Соколов-Микитов вспоминает о своих встречах с Буниным в Одессе в ту пору:

«В Одессу я приехал из голодавшего и голого Крыма на переполненном растерянными людьми пароходе <…>

В редакции газеты, литературным отделом которой заведовал Иван Алексеевич Бунин, я оставил небольшой рассказ. На другой день мне сказали, что Бунин просит меня к нему зайти…

Из редакции мы выходили вместе. Спускаясь по узкой каменной, плохо освещенной лестнице, он горько говорил о своей крайней усталости, об утрате веры в людей, о желании уехать из России.

Дня через два <…> мы шли по городской улице, мокрой от таявшего снега. На каракулевый воротник его зимнего пальто, на высокую барашковую шапку садились и таяли снежинки. Я близко видел его лицо, слушал его голос. И опять он говорил о своей тяжкой усталости, мрачно расценивал происходившие события, корни которых видел в несчастной истории народа» [731].

В гибели Великодержавной России повинны, по словам Л. Н. Андреева, все пораженцы в войну 1914–1917 годов и почти все социалисты. В их числе — пораженец Горький.

«Горький и его „Новая жизнь“ невыносимы и отвратительны именно тем, что полны несправедливости, дышат ею, как пьяный спиртом» (запись в дневнике 31 мая 1918 года)[732].

Бунин цитировал в одном из писем из этой дневниковой записи Л. Н. Андреева созвучные «Окаянным дням» слова:

«Но неужели Горький так и уйдет не наказанным, не узнанным, не разоблаченным, „уважаемым“? <…> Если этого (осуждения Горького. — А. Б.) не случится (а возможно, что и не случится, и Горький сух вылезет из воды) — можно будет плюнуть в харю жизни»[733]. Горький, писал Л. Н. Андреев, был с «человекоподобными» — с большевиками, восхвалял Ленина, умоподобного, «как есть человекоподобные обезьяны», этот циник «где-то в исподе своей души — грязное животное»[734]. «Зачатый во лжи, рожденный в атмосфере измены и уголовной каторги, отбросивший все человеческое и нравственное, как ненужный балласт, он явился магнитом, притягивающим к себе все порочное, тупое и зверски ничтожное. Новый „собиратель Руси“, он собрал всю каторжную, всю черную и слепую Русь и стал единственным в истории повелителем царства нищих духом»[735].

Об отъезде Вера Николаевна записала: «24 января/6 февраля (пятница) 1920 года. В четыре часа дня мы тронулись в путь. Простившись с хозяином нашим, Евг. Ос. Буковецким, с которым мы прожили полтора года, и с его домоправительницей, мы вышли через парадные двери, давно не отпиравшиеся, и навалили чемоданы на маленькую тележку, которую вез очень старенький, пьяненький человек <…>

Отыскали наш пароход, „Спарту“ (Бунин называет этот пароход в рассказе „Конец“ и в книге „Воспоминания“ (Париж, 1950. С. 225) — „Патрас“. — А. Б.), маленький, не внушивший доверия <…> На пароход еще не пускают. Простояли и мы еще целый час на воздухе, ноги замерзли.

Наконец мы на борту. Наши провожатые втаскивают чемоданы. Ян в ужасе вспоминает, что забыл деньги, запрятанные в газеты. К счастью, газеты он захватил с собой, и в них правда лежало несколько тысяч думскими.

Кондаков и Ян получили крохотную каюту. Нам же, дамам, сказали, что оставили места в одной из дамских кают, но когда мы осмотрелись, оказалось, что места везде уже заняты. Незаметно прошел час. Провожающие должны уходить <…>

Ян попросил разрешения у Кондакова спать мне с ним на верхней койке, Никодим Павлович разрешил. Будет, конечно, очень неудобно, но Ян боится, что в общей зале я еще заражусь <…> Устроившись в каюте, я поднялась в рубку. Там сидят недовольные французы, они возмущаются, что на французском пароходе получили каюты русские.

Когда совсем стемнело, раздалась канонада. К ружейной стрельбе мы привыкли, но ведь это пушка? Поднялась на палубу. „Знатоки“ определили, что стреляют с Николаевской дороги. Неужели это большевики? <….>

25 января/7 февраля.

Пережили самое тяжелое утро в жизни. Из города доносилась все время стрельба. Прибегали люди без вещей с испуганными лицами и вскакивали на пароход, у некоторых были куплены места, у других не было ничего, они даже и не думали „бежать“, но поддались панике, которая царит в городе со вчерашнего вечера…

Прибывшие рассказывают, что стрельба на Софийском спуске уже, что с Херсонской уже нельзя добраться. Хороши бы мы были, если бы нас французы не погрузили вчера. Вероятно, многие останутся из тех, кто должен садиться на пароход сегодня и завтра <…>

Полдень, уже жутко оставаться в гавани, но мы не отчаливаем, все ждем французского консула Вотье. А снаряды уже рвутся вокруг. Стрельба в городе все усиливается и усиливается. Публику уже выгнали с палубы. Все лихорадочно ждут консула, а его все нет и нет. Наконец, в час дня он приезжает на пароход. Сообщает, что английский консул бежал по Ришельевской лестнице в порт. И вот мы отшвартовываемся. Народу такая масса, что повернуться невозможно. Рассказов без конца. Многие бросили увязанные сундуки, только чтобы спасти свою жизнь. Многие по дороге растерялись с родными. Есть совершенно неизвестно зачем прибежавшие на пароход, неизвестно от чего спасавшиеся девицы — только заняли лишние места. У одной девицы тетка не знает, что она на пароходе. Воображаю, что она теперь испытывает, вероятно, думает, что ее подстрелили где-ни-будь на улице <…> Она прибежала в капоте и котиковой шубе <…>

26 января/8 февраля (воскресенье).

Третий день на пароходе <…>

Мы стоим на внешнем рейде. Теперь уже большевики не достанут нас, даже если бы захотели. Но беспокоишься, донельзя, за близких, оставшихся в Одессе. Что ждет их — холод, голод, смерть?»

Днем отъезда Бунин называл «26 января 1920 года». Из дневника Веры Николаевны видно, что, после того как снялись с места и погрузились на пароход, отплыли не сразу, а стояли на рейде. Она пишет:

«27 января/9 февраля (понедельник).

Четвертый день на пароходе. Последний раз увидела русский берег. Заплакала. Тяжелое чувство охватило меня.

Слегка качает. Народу так много, что ночью нельзя пройти в уборную. Спят везде — на столах, под столами, в проходах, на палубе, в автомобилях, словом, везде тела, тела.

Вечером мы выходили на палубу.

Мы в открытом море. Как это путешествие не похоже на прежние <…>

А у нас в кают-компании веселье. Вся молодежь хорошо знакома друг с другом, почти все музыканты, два дня дают представление, поют оперы. Все друг друга называют по имени и отчеству. Здесь певец Федя Рабинович, семья доктора М. с сыновьями <…> Спят все вповалку, некоторые у самых наших дверей.

28 января/10 февраля (вторник).

Пятый день на пароходе.

Качает ужасно. Лежим на одной койке почти сутки. Мучаем друг друга своими ногами. Нас уже четверо. Никодим Павлович попросил Ек. Ник. (Яценко, молодую женщину, его секретаря. — А. Б.) быть при нем, — значит, сердце его стало беспокоить. Она, бедная, — примостилась на коротеньком диванчике. Она удивительно предана ему.

Должны войти в Босфор, но почему-то не входим <….>

За нашей дверью хохот, разговоры — молодежь веселится <…>

29 января/11 февраля (среда).

Шестой день на пароходе.

В Босфор еще не попали. Оказывается, мы сбились с пути. Значит, двадцать четыре часа плаваем по минному полю. Качает очень сильно. Мы уже с Яном ничего не говорим, по глазам понимаем, что дело нешуточное.

30 января/12 февраля (четверг).

Седьмой день на пароходе.

Мы в Босфоре. И все понемногу воскресают. Тридцать шесть часов большинство не вставало с места. А что делалось в трюме, трудно даже вообразить.

Вошли в Босфор только потому, что оказался на пароходе русский капитан <…> И вошли мы первые из четырех пароходов. Наш капитан был все время пьян, вход в Босфор знал плохо. Его напоили, и, когда он заснул, командовать стал наш русский. Мне это приятно.

Понемногу все выползают из кают. Поднимаются на палубу. Умываются. Очередь у нужника. Очередь за красным вином, которым даром угощают французы так же, как и хлебом <…>

31 января/13 февраля (пятница) <…>

Потащили нас по Босфору. В первый раз вижу Стамбул с его минаретами в снегу. Тащимся в Тузлы, где грозят нас купать <….> На Константинополь смотрю безучастно. Ян в каюте, он даже не захотел взглянуть на столь любимый им город.

Выходим в Мраморное море. Покачивает. Тузлы <…>

1/14 февраля.

Все еще на пароходе. В Тузлах нас не спустили. Потащили обратно в город <…>

На пароходе волнение. Многие уже боятся. Пеговы [736], которые оставили все в Одессе, чувствуют себя плохо, боятся доносов — ведь у них жил Северный (из одесской ЧК).

Бунин писал:

«А в Константинополь мы пришли в ледяные сумерки с пронзительным ветром и снегом, пристали под Стамбулом и тут должны были идти под душ в каменный сарай — для „дезинфекции“. Константинополь был тогда оккупирован союзниками, и мы должны были идти в этот сарай по приказу французского доктора, но я так закричал, что мы с Кондаковым Immortels — „Бессмертные“ (ибо мы с Кондаковым были членами Российской Императорской Академии), что доктор, вместо того чтобы сказать нам: „Но тем лучше, вы, значит, не умрете от этого душа“, сдался и освободил нас от него. Зато нас вместе с нашим жалким беженским имуществом покидали по чьему-то приказанию на громадный, грохочущий камион и помчали за Стамбул, туда, где начинаются так называемые Поля Мертвых, и оставили ночевать в какой-то совершенно пустой руине тоже огромного турецкого дома, и мы спали там на полу в полной тьме, при разбитых окнах, а утром узнали, что руина эта еще недавно была убежищем прокаженных, охраняемая теперь великаном негром, и только к вечеру перебрались в Галату, в помещение уже упраздненного русского консульства, где до отъезда в Софию спали тоже на полу».

События тех дней из жизни Бунина отчасти отразились в рассказе «Конец» [737].

Из Турции Иван Алексеевич и Вера Николаевна уехали в Болгарию и Сербию.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
В ИЗГНАНИИ

Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову.

Мф. 8, 20

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо,
Как бьется сердце, горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом
С своей уж ветхою котомкой!

И. А. Бунин 25. VI. 1922

Из Турции Иван Алексеевич и Вера Николаевна уехали в Болгарию. В Софии, куда они прибыли около 1 марта 1920 года, А. М. Федоров и П. А. Нилус познакомили их с болгарскими литераторами: с профессором Баяном Пеневым, который превосходно знал русскую литературу, и с его женой Дорой Габбе — известной поэтессой, восхищавшейся талантом Бунина, а также с Александром Дмитриевичем Дзивговым. Бунина с женой поселили, как сообщает болгарский писатель С. Чилингиров в статье «Иван Алексеевич Бунин в Болгарии»[738], «как большинство русских эмигрантов, в гостиницу „Континенталь“, на углу улиц Леге и Ютементина. Эта гостиница была превращена болгарскими властями в чисто русский дом, с чисто

русским управлением, в котором беженцы едва ли не пользовались правами экстерриториальности <…> Смешение возрастов, сословий, служебных и общественных положений не раз приводили к столкновениям, еще больше увеличивавшим хаос в гостинице, похожей на растревоженный улей <…> В такую среду попал Бунин тотчас после приезда в Софию. В силу того пиетета к писательской личности, который был присущ русским интеллигентам, ему были отведены две комнаты, одна против другой, с очевидным желанием создать для него приемлемую, более домашнюю обстановку».

В Болгарии для Бунина жизнь началась с приключений: он был начисто обворован и остался без средств к жизни. При этом похищены были три золотые медали, полученные им от Академии наук вместе с Пушкинской премией. В то же время судьба, писал Бунин, оказалась «удивительно великодушна: взяла с меня большую взятку, но зато спасла меня от верной смерти». В театр «Одеон», куда он был приглашен — в первые ряды — на лекцию известного тогда журналиста И. Я. Риса, во время которой произошел взрыв под сценой театра, он опоздал.

Бунин был приглашен также «на вечернюю пирушку» к С. Чилингарову, где был и военный министр. Чилингаров прочел Бунину «по-болгарски несколько его стихотворений. Переводы понравились ему <…> Завязался разговор о влиянии русской литературы в Болгарии. Оно показалось Бунину исключительным и совершенно неожиданным. Каждый новый факт трогал и волновал его до слез.

Федоров и Нилус <…> показали ему на мои книжные полки.

— Убедитесь сами!

Бунин встал и начал всматриваться в ряды книг: Толстой, Чехов, Пушкин, Лермонтов… Как, и первое издание „Записок охотника“?

— Да, и первое издание стихотворений Тютчева, — победоносно отвечал я, показывая ему русский экземпляр.

Бунин взял его в руки, раскрыл и стал читать вслух. Потом, захлопнув переплет, воскликнул:

— Александр Митрофанович, да ведь мы дома!

Бунина просили читать лекции по новой русской литературе в Софии, его приняли в Совет университета „академиком“ и „профессором“». Тогда он еще не знал — не решил окончательно, — останется ли в Болгарии.

В середине марта, прожив восемнадцать дней в Софии, он уехал в Белград. Газета «Заря» сообщала 19 марта, что Бунин «выехал на несколько дней в Белград». Болгарское правительство

предложило бесплатный вагон и немного денег. Путь был долгий, тяжелый, вагон «поежечасно и весьма грубо осаждали русские беженцы», — писал Бунин Баяну Пеневу 30 апреля 1920 года [739]. В Белграде жить пришлось «в этом вагоне, возле вокзала на запасных путях, — так был переполнен в ту пору Белград»[740].

Неожиданно пришла из Парижа телеграмма Бунину от М. С. Цетлин, адресованная на русское посольство: «Виза в Париж и тысяча французских франков»[741].

Лекции читать в университете он не приехал.

В Париж Бунины прибыли 28 марта 1920 года. Начались долгие годы эмиграции — в Париже и на юге Франции, в Грассе, вблизи Канн.

Иван Алексеевич и Вера Николаевна жили в Париже «два первых месяца» в доме 118 на rue de la Faisanderie — в огромной квартире Марии Самойловны и Михаила Осиповича Цетлиных, с которыми они встречались еще в Москве в 1917–1918 годах. В конце мая или в начале июня 1920 года поселились на улице Жака Оффенбаха, сняли здесь квартиру в доме номер один (на третьем этаже, откуда в следующем году, 7/20 декабря 1921 года, перебрались на пятый, в квартиру напротив комнат П. А. Нилуса).

Летом 1920 года Бунин познакомился с П. Б. Струве. Петр Бернгардович приехал из Крыма в Париж для переговоров с Францией о признании правительства Юга России, которое возглавлял А. В. Кривошеин, главнокомандующим армией был генерал П. Н. Врангель. Струве состоял управляющим внешними сношениями (министром иностранных дел); переговоры были успешны.

Пятнадцатого июня П. Б. Струве пригласил Ивана Алексеевича и Веру Николаевну в Café Voltaire. В этом доме, пишет Вера Николаевна, жил Камилл де Мулен (о нем Бунин написал рассказ), а в этом ресторане часто бывал историк М. М. Ковалевский. Петр Бернгардович, по ее словам, «человек обаятельный, он остроумен и тонок» (Дневник П, 14). К Бунину относился «любовно»; предложил ему возглавить национальную лигу, Иван Алексеевич попросил прислать программу.

По возвращении в Крым Струве прислал из Севастополя 26/13 августа телеграмму Бунину; в письме 1/14 августа он сообщал: «Переговорив с А. В. Кривошеиным, мы решили, что такая сила, как вы, гораздо нужнее сейчас здесь у нас на Юге, чем за границей. Поэтому я послал вам телеграмму о вашем вызове»[742].

Что ответил Бунин, неизвестно. В Крым не поехал. В ноябре армия Врангеля потерпела поражение в сражении за Перекопский

перешеек. По словам Веры Николаевны, чувство такое, будто «теряешь близкого человека» (Дневник II, 18). Вскоре «Правительство Юга России» пало.

Бунин сотрудничал в издательстве «Русская земля», которое было создано в Париже в 1920 году. Оно напечатало его книги «Господин из Сан-Франциско» (1920), «Деревня. — Суходол» (1921), «Чаша жизни» (1922). Он также взял на себя обязательства по редактированию классиков, издаваемых парижским «Объединением земских и городских деятелей». Оно выпустило книги: «Русские писатели», под редакцией академика И. А. Бунина, т. 1. Фонвизин. — Капнист. — Грибоедов; «Русским детям», народные песни, сказки, шутки.

Бунин с первых лет эмиграции, как и до этого, с беспокойством наблюдал за тем, что происходило в России. Он не безмолвствовал, когда писатели — русские или европейские — мирились с большевистским режимом или, подобно Горькому, восхваляли этот режим и советских вождей.

В 1920 году Иван Алексеевич выступил с резко полемической статьей против Горького «Суп из человеческих пальцев. Открытое письмо к редактору газеты „Times“». В ней он приводит текст письма Горького к английскому писателю Герберту Уэллсу. Горький возмущался заметкой какого-то англичанина в газете «Таймс», писавшего, что во время поездки в Россию он в одной из коммунальных столовых в Петербурге ел суп, в котором плавали человеческие пальцы. Горький обращается к Уэллсу: «Мы, русские, все-таки еще не дошли до каннибализма, и я уверен, не дойдем, — а Европа нас не понимает и хочет задушить». Бунин, возражая Горькому, пишет:

«Горьковская Россия ужаснула и опозорила все человечество. Мы, бежавшие из этой прекрасной страны не будучи в силах вынести вида ее крови, грязи, лжи, хамства, низости, не желая бесплодно погибнуть от лап русской черни, подонков русского народа, поднятых на неслыханные злодейства и мерзости соратниками Горького, мы, трижды несчастные, с ужасом принуждены свидетельствовать, что совсем, совсем не так твердо уверены в том, в чем будто бы так уверен Горький». По словам Бунина, ссылающегося на заключение врачей психиатров Пироговского съезда в Харькове, «целым будущим поколениям России грозит маразм и вырождение»[743].

В статье «Несколько слов английскому писателю»[744] Бунин полемизирует с Уэллсом, который рассказывал в еженедельных заметках о своем путешествии в Россию в 1920 году и написал книгу «Россия во мгле» (1920). Уэллс одобрял октябрьский

переворот 1917 года и говорил о будто бы благотворном влиянии власти большевиков на жизнь в России. Бунин писал:

«…А богатейшую в мире страну народа пусть темного, зыбкого, но все же великого, давшего на всех поприщах истинных гениев не меньше Англии, сделали голым погостом…»

Е. Чириков в статье «О Горьком, Уэллсе и честности»[745] поддержал Бунина в его споре с этими писателями. Бунин напечатал о Горьком другие статьи в газете «Общее дело» (№ 89, 24 сентября 1920 года, № 369, 21 июля 1921 года).

Бунин также выступил в защиту калмыков, подвергавшихся репрессиям [746].

О расстреле адмирала А. В. Колчака он с горечью писал: «Настанет время, когда золотыми письменами, на вечную славу и память, будет начертано Его имя в летописи Русской Земли»[747].

Расстрелы, «позор и ужас наших дней» печалили Бунина, как в недавние годы, когда все это было зримо для него каждодневно. На панихиде по генералу Л. Г. Корнилову (13 апреля н. ст. 1921 года), одному из организаторов Добровольческой армии, — которому только измена Керенского помешала ликвидировать власть большевиков в Петербурге, — Бунина «ужасно волновали молитвы, пение, плакал о России». Плакал при пении и на панихиде по Колчаку (25 января/5 февраля 1922 года).

РОССИИ

О, слез невыплаканных яд!
О, тщетной ненависти пламень!
Блажен, кто раздробит о камень
Твоих, Блудница, новых чад,
Рожденных в лютые мгновенья
Твоих утех — и наших мук!
Блажен тебя разящий лук
Господнего святого мщенья!

22. VIII.22. И. А. Бунин

О всяческом приспособленчестве по отношению к новым властям в России Бунин писал бескомпромиссно.

Статью «Записная книжка» 20 июня 1921 года (Общее дело, № 339) Бунин начинает словами: «Опять о Горьком! Ну, что ж, и мы опять…» — Горький жил под Берлином. В Германию приехал летом 1921 года, потом он отправится на Капри. В эмигрантской прессе можно было прочитать, что Горький стал либеральнее, будто бы в чем-то расходится с большевиками. Бунин высветил в этой статье ошибочность таких суждений и беспринципность Горького.

Семнадцатого июля ст. ст. (30-го н. ст.) Иван Алексеевич и Вера Николаевна прибыли в Германию, в Висбаден; поселились в одном доме с Мережковскими. «Мы с Яном разъединены, — писала в дневнике Вера Николаевна. — Он в 7 номере, я в 10. Между нами Мережковские. <…> Обедаем все за одним столом». Между ними часто велись споры о литературе, о России, о Толстом. Гиппиус рассказывала о Блоке, об его личной жизни. Она была хорошо с ним знакома. «Сойтись с Блоком, — по ее словам, — было очень трудно. Говорить с ним надо было намеками»[748], — записала Вера Николаевна беседу с Гиппиус. «Мережковский ставит Блока высоко, — продолжала Вера Николаевна, — за то, что он „ощущал женское начало“». Далее он говорил: «Мы считаем Бога мужским началом. А ранее, во времена Атлантиды, Богом считали женское начало. И вот Блок ощущал это. Он знал тайну. Когда он входил, то я чувствовал за ним Прекрасную Даму».

Ян возразил: «Ну, да, вы это чувствовали, когда видели его. Но я его не видал, а по стихам я не чувствую этого <…> Зинаида Николаевна все сводила разговор на мирный тон. И все добивалась, как Ян относится к Соловьеву и признает ли он его?

— Соловьева признаю, у него есть стройность. Хотя вы сами согласитесь, что у него есть и слабые стихи.

Они согласились. Мы посидели еще немного <…>

Ян пришел ко мне и сказал возмущенно:

— Я хочу судить произведения, а мне суют, что, когда он входит, за ним чувствуется „Прекрасная Дама“ или „Великий инквизитор“. Да это совсем другое и ничего общего с искусством не имеет» [749].

Пятнадцатого сентября н. ст. 1921 года Бунин и Вера Николаевна уехали из Висбадена в Париж.

Бунин узнал из газет 7/20 декабря 1921 года о кончине брата Юлия Алексеевича. Прочитав, пишет Вера Николаевна, «сильно вскрикнул. Стал ходить по комнате». Говорил, что он «вывел его в жизнь», а теперь «вся его жизнь кончилась: ни писать, ни вообще что-либо делать он уже не будет в состоянии» [750]. Сразу похудел. Был растерян.

Последние годы для Ю. А. Бунина были трудные. Он болел; не позднее декабря 1920 года его поместили в Здравницу № 2, близ Смоленского бульвара, 3-й Неопалимовский переулок, дом 5. Он просил Н. Д. Телешова похлопотать перед наркомом здравоохранения Н. А. Семашко, чтобы его оставили здесь бессрочно, и это, по его словам, «буквально спасет» его от смерти

(письмо Телешову от 26 декабря 1920 года). Он не мог уйти на свою квартиру, где «температура ниже нуля, дров нет ни одного полена, да если бы они и были, — пишет он Телешову 23 февраля 1921 года, — то ни пилить, ни рубить» он не может. Затем квартиру «уплотнили» и податься было некуда. 29 апреля 1921 года Ю. А. Бунин сообщал Телешову: «Третьего дня я ушел из „Здравницы“ и переселился в 4-й Дом Инвалидов, находящийся в Теплом переулке в доме № 3»; компания — «один генерал, другой полковник, третий дьякон и проч.; всего в комнате, считая меня, шесть человек <…> Мои сожители очень больной и нелюдимый народ, стонут, кряхтят, бредят и вследствие этого беспокойны и часто мешают заснуть. Во-вторых, и это главное, питание плохое и далеко не достаточное. Хлеба выдают полфунта, масла и иных жиров совсем нет. Сахару нет…»[751]. Зимой холодно.

В 1921 году в Париже вышел сборник рассказов Бунина «Господин из Сан-Франциско». Это издание вызвало многочисленные отклики во французской прессе. Привожу некоторые из них.

«Бунин <…> настоящий русский талант, кровоточащий, неровный и вместе с тем мужественный и большой. Его книга содержит несколько рассказов, которые по силе достойны Достоевского» (Nervie, декабрь 1921 года). «Весь талант Бунина, бесспорно, очень велик, он рисует перед нами картину всего человечества в целом и русского народа в частности — в пессимистической манере» (Aujourd’hui et demain, март 1922 года).

«Господин Бунин, писатель великолепно одаренный, прибавил еще одно имя, мало известное во Франции, к <…> самым большим русским писателям» (Revue de L’Epoque, май 1922 года).

«Очень восхищался Буниным, — пишет Г. Н. Кузнецова, — австрийский поэт и писатель Райнер Мария Рильке. Он даже в свое время написал статью о „Митиной любви“… Помню, И. А. показывал мне ее» (это была не статья, а письмо Рильке, адресованное Л. П. Струве).

Новые произведения, появлявшиеся из года в год, привлекали к Бунину все большее внимание и переводились на иностранные языки.

Газета «Clarté» писала 15 июля 1922 года: «Ив. Бунин… великий поэт и великий романист».

Отзыв «Таймс» («The Times», London, 17 May 1922) привлек особенное внимание Бунина, он сделал выписки и следующим образом пересказал его содержание:

«Изложение с восклицаниями перед» «„*силой, богатством и величием*“ рассказа „Господин из Сан-Франциско“». В конце: «„Bunin is certainly one of the most important of the Russian writers“. — „Бунин, конечно, один из самых замечательных русских писателей“».

По поводу другой статьи, в «The Nation and the Athenaeum» (London, June 1922), Бунин писал:

«Большая статья. Изложение книг „Господина из Сан-Франциско“ и „Деревни“ (первой — по английскому переводу, второй — по переводу французскому). Все пересыпано большими похвалами: „Новая планета на нашем небе!..“, „*Апокалипсическая сила…*“» В конце: «„Bunin has earned a place in the literature of the world“. — „Бунин завоевал себе место во всемирной литературе“».

Ромен Роллан писал журналистке и общественной деятельнице Луизе Круппи 20 мая 1922 года:

«Какой гениальный художник! Но несмотря на все, какое возрождение русской литературы демонстрирует он! Какие новые богатства колорита, всех ощущений!» [752]

Французский поэт и романист Анри де Ренье в литературном образе «La vie littéraire» (Figaro, Paris, 8 janvier) говорит о Бунине: искусство Бунина, «с его глубиной, с его изобразительной силой, искусство таинственное, тонкое и могучее, предстает во всей своей зрелости <…> Конечно, люди не прекрасны и не добры, но разве вокруг них нет красоты? Есть деревья и цветы, небо и свет, текущие воды, плывущие облака; есть времена года: весна — время обновления, осень — время увядания, лето с его полнотой бытия, зима с бесконечными снегами, с судорожными объятиями морозов, с короткими днями и долгими ночами, усыпанными ледяными звездами, с темными, алмазными ночами, с холодом, который представляет собой и живое существо и в то же время аромат; обо всем этом г-н Бунин дает такое представление, дает нам почувствовать это физически. Г-н Бунин глубоко понимает язык вещей, к которому так чутко прислушивается г-н Огюст Каба в своей очаровательной книжке, о которой я только что говорил. У г-на Бунина понимание природы сочетается с проникнутой горьким чувством проницательностью, какою отмечено его знание человека» [753].

Интерес к Бунину писателей, представляющих славянские литературы, был также пристальный и неизменный. Его переводили, о нем писали в Чехословакии, Польше и на Балканах. Польский поэт и писатель Ярослав Ивашкевич находил многое близким себе в творчестве Бунина, созвучным собственным настроениям. Об этом он говорит в предисловии к своему переводу «Суходола». Ивашкевич писал мне 15 декабря 1965 года,

что творчество Бунина «близко» ему «по духу».

Близко оно было также одному из крупнейших писателей в современной болгарской литературе — Константину Константинову. Он писал мне 14 августа 1966 года, что он перевел некоторые стихи Бунина и рассказ «Косцы». «Я всегда считал, что этот автор — такой тонкий и совершенный художник — почти непереводим даже в прозе, и я не смел коснуться его работ, чтобы их не испортить, которые я так люблю и ценю».

Константин Константинов писал о Бунине в своей книге «Путь сквозь годы» (Път през годините, втора част, София, 1962), рассказывая о его пребывании в Болгарии в 1920 году.

Жить постоянно в большом городе было не в натуре Бунина. В Париже он не мог бы писать. Летом и осенью 1922 года он и Вера Николаевна жили в Сен-Клу вблизи города Амбуаз (Шато Нуарэ). Городок, писал Бунин, «знаменит своим замком и тем, что в нем жил четыре года и умер Леонардо да Винчи. На самой окраине его мы сняли с одним товарищем по профессии старинное имение (некогда древний монастырь)». Сняли — с Мережковскими.

О том, что они переселились в Амбуаз (9, rue de Tours, Amboise, Indre et Loire), Бунин сообщал П. Б. Струве 3/16 июля 1922 года. Здесь он, писал Л. Ф. Зуров, живший долгое время в доме Бунина, «вернулся к литературной работе, — начал писать стихи… Он продолжал работать, вернувшись в Париж. Но для большой работы нужна была деревня и одиночество».

Четырнадцатого мая 1923 года Бунины сняли виллу Mont-Fleury[754], которая «стоит высоко над Грассом, в большом саду, где растут пальмы, оливки, хвойные деревья, черешни, смоковницы и т. д. Вид божественный, — писала Вера Николаевна, — на Средиземное море, на Эстерель»; 17 мая переехали на эту дачу. Бунин потом скажет:

«…Я так бесконечно счастлив, что Бог дал мне жить среди этой красоты»[755].

В дневнике записал:

«Ночью с 28 на 29 августа (с 9 на 10 сентября) 1923 г. Проснулся в четыре часа, вышел на балкон — такое божественное великолепие сини неба и крупных звезд, Ориона, Сириуса, что перекрестился на них» [756].

В Грассе церкви, дома — древние; улочки, дворы — совершенно итальянские, на базаре часто слышна итальянская речь.

Жили здесь больше года; Бунин сообщал Б. К. Зайцеву «1 октября собачьего стиля 1924 г.»:

«… С villa Mont-Fleuri нас на днях прут <…>, в понедельник шестого перебираемся к Мережковским (у них вилла до первого ноября). В Париже надеемся быть в самом начале ноября на прежнем месте» — на улице Jaques Offenbach.

В 1924 году поселились на вилле «Бельведер». О «Бельведере» Зуров пишет:

«Он долго искал места для жизни, как птица ищет место для гнезда. И вот высоко, на склоне горы, над Грассом, в виду смягченного далью моря, на старой, укрепленной серыми камнями террасе, он нашел затерянный в старом саду провансальский дом. Здесь он прожил многие годы, здесь он написал книги: „Роза Иерихона“, „Митина любовь“, „Солнечный удар“, „Божье древо“, „Жизнь Арсеньева“» [757].

На «Бельведере» дом глухой стеной был «обращен на север, а окнами — к морю, на юг. Справа внизу город» — Грасс.

Вера Николаевна писала брату Д. Н. Муромцеву 19 сентября 1935 года в Москву, что вилла им «нужна так же, как было нужно Глотово или Капри для Яна. Ведь ты знаешь, что работать он может только в уединении, и когда это уединение нам по вкусу, чтобы было спокойно и весело. Почти все созданное им за эти годы создалось здесь. Одно время мы думали расстаться с этим местом… но я видела, как Ян от этого страдает, ему жаль его простого большого кабинета, очень спокойного, с чудным видом…» [758].

«Жизнь в Грассе, — пишет Кузнецова, — была для Ивана Алексеевича условием писанья, он там отходил от парижской суеты, сосредоточивался, готовился к писанью, как к некоему подвигу, даже режим его менялся, он почти переставал пить вино, мало ел, вообще очищал себя. Весь дом тогда жил ровной рабочей жизнью, все рано вставали, целый день сидели по своим комнатам, работая над чем-ни-будь, вечером ходили гулять и рано ложились <…> На зиму Бунины уезжали в Париж, а виллу „Бельведер“ занимали делившие ее с Буниными Фондаминские (он был одним из редакторов „Современных записок“)» [759].

Кузнецова также писала:

«Вилла „Бельведер“, стоявшая высоко на стене горы, подымавшейся над Грассом, была старым провансальским домом с трещинами в желтых стенах, с зелеными створчатыми ставнями по обе стороны высоких окон. Ставни эти с грохотом и скрипом распахивала по утрам стремительная рука Ивана Алексеевича, и сам он быстро сбегал по лестнице своей легкой, почти юношеской походкой. Площадка сада, куда он выходил утром взглянуть на Грасс внизу, на далекое море, то синим дымом вставшее на горизонте, то пролегавшее на нем чистой бирюзовой струей,

висела высоко над волнами оливковых садов, одевавших гору, и была чем-то похожа на палубу корабля. На сетках проволочной изгороди коврами висели яркие июньские розы, в креслах под пальмой — невысокой, но чудесно-полной со своими круто изгибавшимися, темно-блестящими „вайями“, как любил писать И. А., — было особенно хорошо сидеть по утрам с книгой в ожидании почтальона или лежать с закрытыми глазами, чувствуя горячую руку солнца на своем лице. Но в креслах этих по утрам почти никогда никто не сидел. Жизнь на вилле „Бельведер“ текла по одному и тому же образцу. И. А. приезжал сюда с тем, чтобы, стряхнув с себя усталость и пыль города, постепенно подготовить и подвести себя к писанию. Соловьиное пение, роса в высокой траве, звездочки липких белых цветов, раскрывавшихся по вечерам на верхних пустых террасах сада, наполняя воздух опьяняющим благоуханием, — все это было лишь на миг, лишь на взгляд для живущих на вилле. Надо было рано ложиться, чтобы утром рано встать, бодрым, выспавшимся, полным творческих сил для работы. Все здесь работали: И. А. читал или писал что-то у себя в кабинете — большой угловой комнате в нижнем этаже, В. Н. печатала его рукописи на машинке или тоже писала что-то свое» [760].

Жили на «Бельведере» размеренно, «Иван Алексеевич в определенные часы гонит спать, а днем заниматься, „по камерам“, как он шутливо кричит. Он ничуть не похож здесь на И. А. парижского, не умевшего дня прожить без ресторанов и кафе» [761].

Пустынные сады, террасы вокруг виллы, глубоко внизу синеет долина до самого моря, «на горизонте горы, те дикие Моры, в которых скитался Мопассан» [762]; «лес над нашей виллой, — пишет Кузнецова, — растет по крутизне <…> Есть еще густые чащи, где пахнет горными цветами и хвоей, со скал стекает плющ» [763], кверху надо карабкаться по крутым тропинкам, там «иссохшие источники, опутанные плющом камни и главное теплый, полный запаха горных трав и хвои воздух» [764], цветы. Вся эта первозданная красота по душе Ивану Алексеевичу. Прополотые дорожки, подстриженные кусты не по нем. «Его деревенская натура не терпит никаких ухищрений над природой. Так не любит он фонтанов, парков. Булонского леса» [765].

Ивану Алексеевичу в его вечном скитальчестве хотелось чего-то большего, чем то, что имел он на вилле «Бельведер», принадлежавшей мэру города Грасса. И вот он в один из великолепных дней октября 1927 года отправился с Кузнецовой в Канн, там они «долго ходили по горе: „искали виллу“ — это любимейшее занятие вот уже несколько лет у И. А. Ему все

мерещится какая-то необыкновенная, уютная, деревенская дача с огромным садом, со множеством комнат, со старинной деревянной мебелью и обоями, „высохшими от мистралей“, где-то на высоте, над морем; словом, нечто возможное только в мечтах, так как ко всем этим качествам, быть может и находимым, присоединяется еще одно необыкновенно важное, но совершенно исключающее все вышеупомянутое, — дешевизна. Но все же каждый год, как только приближается время отъезда из Грасса, он начинает ездить по окрестностям и искать, мучимый давней мечтой о своем поместье, о своем доме. С каким наслаждением карабкались мы по каким-то отвесным тропинкам, заглядывали в ворота чужих вилл, обходили их кругом и даже забрались в одну, запертую, необитаемую, с неубранным садом, где плавали в бассейне покинутые золотые рыбки и свешивались с перил крыльца бледные ноябрьские розы. Потом, стоя на высоте, смотрели на закат с небывалыми переходами тонов, с лилово-синими, сиреневыми гелиотроповыми грядами гор, точно волны на прибой, идущими на нас с горизонта, с мирным голубым, гладким, гладким морем, стелющимся нежным дымом до светящейся полосы горизонта. Какая красота, какое томление… И так заходило солнце и при цезарях, и еще раньше, и эти волны гор так же шли на прибой с запада» [766].

Вот как вспоминает о его жизни в Грассе Г. Н. Кузнецова:

«Бунин всю свою жизнь жил жизнью не оседлой, а скитальческой. В России у него не было своего дома, он гостил то у родных в деревне, то жил в Москве — и всегда в гостинице, — то уезжал в странствия по всему миру. Поселившись окончательно во Франции, Бунин там продолжал жить по-прежнему, часть года в Париже, часть на юге, в Провансе, который любил горячей любовью. В городе позволял он себе жить весьма рассеянной жизнью, беспорядочно ел и пил, превращал день в ночь и ночь в день, но стоило ему приехать в деревню, как все менялось. В простом, медленно разрушавшемся провансальском доме на горе над Грассом, бедно обставленном, с трещинами в шероховатых желтых стенах, но с дивным видом с узкой площадки, похожей на палубу океанского парохода, откуда видна была вся окрестность на много километров вокруг, с цепью Эстереля и морем на горизонте, он, вскоре по приезде, начинал готовиться к работе.

Подобно буддийским монахам, йогам, всем вообще людям, идущим на некий духовный подвиг, он приступал к этой жизни, начиная постепенно „очищать“ себя. Старался все более умеренно есть, пить, рано ложился, помногу каждый день ходил, во время же писания, в самые горячие рабочие дни, изгонял со своего

стола даже легкое местное вино и часто ел только к вечеру. Легкий, сухой, напряженный, солнечным июньским утром быстро проходил в кабинет, неся с собой чашечку крепкого черного кофе, которую часто не допивал, погрузившись в работу. По спешному звуку зажигаемой спички в столовой рядом можно было слышать, как он то и дело зажигает папиросу, которую тут же в увлеченье забывает…

Погружался он в то, над чем работал, так глубоко, что бывали случаи, когда, выйдя к завтраку из кабинета и, как лунатик, подойдя к стеклянной двери в сад, за которой шел дождь, он как во сне говорил: „доктор идет“, вместо „дождь“, и все понимали, что он только что писал о докторе, отце его Лики из „Жизни Арсеньева“…

Во время писания к нему можно было смело войти в кабинет, взять что нужно и уйти — он никогда не сердился, может быть, даже не замечал входившего. Думаю, вообще трудно найти среди писателей более легкого, нетребовательного человека, каким он был, когда писал. Можно было дивиться его смирению, когда он начинал с какой-нибудь самой скромной маленькой картинки, сценки, когда он, столь прославленный в своем изобразительном искусстве, подолгу вглядывался в себя, чтобы поточнее выразить то единственное, что надлежало сказать при описании старухи-побирушки „в прямых чулках на сухих ногах“ или „по-вдовьи свернувшейся“ на крыльце собаки…

Для него, как для моряка Бернара, описанного Мопассаном, столь поразившего Бунина, что он дважды возвращался к нему в своих писаниях, не было недостойных, неважных вещей на корабле его искусства. Все должно было быть безупречно, все должно было блестеть последним совершенным блеском…

Работая так сам, он и к другим писателям, особенно к молодым, часто присылавшим ему рукописи, был требователен порой до жестокости. Но происходило это главным образом от страстности его натуры, от непониманья, как можно обращаться так небрежно и неряшливо со своим родным языком. И он учил молодых писателей не только чистоте этого языка, но и уменью видеть веши, смотреть на них, старался развивать их вкус, указывая на все „низкопробное, мелкотравчатое“, что он видел в их писаниях.

И в то же время он был снисходительнее многих в том, что касалось критики его самого, замечаний по поводу ка-кого-нибудь выражения в его рукописи, — выслушивал эти замечания внимательно, и если находил, что верно, исправлял. Был болезненно чувствителен к внешнему виду своей только что перепечатанной рукописи, хотел, чтобы бумага всегда была

чистая, лента в машинке яркая, был неумолимо требователен к знакам препинания, находя их такими же важными, как дыхание в пении. Он сам готовил свои книги к печати и отсылал их в таком виде и с такими точными пометками для печатающих, что казалось, дальше уже и делать над ними нечего…

Он хотел, чтобы все было совершенно» [767].

От «Бельведера» вниз, по каменистым уступам, тропа — к шоссе, идущему в Ниццу. Бунин часто гулял по этой дороге. В жаркие дни ездил купаться на Средиземное море.

Окончательно осев в Грассе, Бунин постоянно чередовал его с Парижем, где обычно проводил зимние месяцы.

В декабре 1922 года в Париже давал спектакли Художественный театр. Бунин встречался с актерами. Взволновал его И. М. Москвин в роли царя Федора Иоанновича в драме А. К. Толстого. Он «даже плакал, конечно, и вся Русь старая, древняя наша сильно разволновала его» (запись В. Н. Буниной в дневнике 18 декабря). После спектакля все актеры, кроме Качалова, приехали к Цетлиным. О. Л. Книппер-Чехова «часто подходила к нам, — пишет Вера Николаевна, — шутила с Яном» (там же). Был и Станиславский. Куприн говорил речь. Потом была встреча в каком-то ресторане. Там были также художники Н. Гончарова и М. Ларионов; Станиславский уговаривал Бунина писать для Художественного театра пьесу.

На следующий день к Буниным пришла Книппер-Чехова, долго сидела с Верой Николаевной, «рассказывала и о России, но очень сдержанно». 19 декабря приходили к Буниным Лужские, «много говорили» о Н. Д. Телешове. 26 декабря «получили билеты на вечер Художественного театра в каком-то частном доме <…> Поднимаясь по лестнице в особняке, мы встретили Качалова. Блестящ, в безукоризненном фраке с шелковой полосой на брюках. Очень любезно, по-актерски, поздоровался с Яном. Мы познакомились. Зала небольшая, набита до отказа. Читают актеры и актрисы. И странно — художественники читают плохо… Хорош был только Москвин».

Двадцатого июня 1922 года Бунин получил развод с первой женой А. Н. Цакни, жившей в Одессе. Венчались Иван Алексеевич и Вера Николаевна 11/24 ноября 1922 года в Париже. «Полутемный пустой храм, редкие, тонкие восковые свечи, красные на цепочках лампады <…> весь чин венчания, красота слов, наконец, пение шаферов (певчих не было) вместе со священником и псаломщиком <…> я чувствовала, — пишет Вера Николаевна, — что совершается *таинство* <…> По окончании венчания все были взволнованы и растроганы. Милый

„папочка“ (А. И. Куприн. — А. Б.) так был рад, что я его еще больше полюбила. Лихошерстов был трогателен, а Ян казался настоящим женихом. Вся служба напоминала нечто древнее, точно все произошло в катакомбах» [768].

Мысль о древности — в тон частых разговоров, что мир утрачивает то, чем издревле жило человечество. «Христианство погибло и язычество восстановилось уже давным-давно, с Возрождения, — говорил Бунин. — И снова мир погибнет — и опять будет Средневековье, ужас, покаяние, отчаяние…» (дневниковая запись 12/25 января 1922 года). Бунин также сказал, что все механизируется — и «какой страшный век» (запись в дневнике 31 марта 1925 года). По его словам, на Европу надвигается с Нового Света «плебейская цивилизация». В наши дни, пребывая в ее кошмаре, приходится только удивляться его прозорливости.

В начале 1920-х годов Берлин стал как бы перевалочным пунктом по пути из Москвы в Париж для русской эмиграции. Тут были, в числе многих других, Андрей Белый (он потом доживал свой век в Москве), Алданов, Шмелев, Б. Зайцев. Белый в спорах, по выражению Алданова, «горел» и блистал эрудицией; отстаивая свои идеи, бросал резко очерченные фразы: «*Тонус* Блока был культ Софии, дева спасет мир, был римский папа, будет римская мама» [769].

Алданов в 1924 году уехал в Париж и поселился, по-видимому в мае, в квартире Бунина, жившего на вилле Mont-Fleuri. Алданов прожил на улице Жака Оффенбаха до ноября.

Перебрался в Париж и И. С. Шмелев. Бунин исхлопотал для него визу, ее отправили дипломатической почтой 6 января 1923 года; а 16 января он с женой Ольгой Александровной был уже в Париже и посетил Буниных. Ради сбора денег был организован вечер Шмелева. Для печатания его книг, — что спасло бы от нужды, — необходимы были отзывы прессы. Бунин просил И. Кесселя написать о Шмелеве. Говорил о нем и с Б. Ф. Шлецером. Он также ездил в январе к издателю Боссару насчет Шмелева.

Шестого июня 1923 года Шмелевы приехали на виллу Mont-Fleuri и жили у Бунина до 5 октября. По соседству жили Мережковские на даче Villa Evelina. «Трудный он человек, — пишет Вера Николаевна о Шмелеве, — или молчит с обиженным видом, или кричит возбужденно о вещах всем известных тоном пророка <…> Он породы Горького, Андреева, а не Яна, даже не Куприна. Ему хочется поучать, воспитывать, поэтому сам он слушать не умеет» [770].

Шмелев вспоминал сына, плакал; его, молодого офицера,

служившего в армии Врангеля, большевики в Крыму расстреляли.

Бунин говорил Мережковским о Врангеле, что он за Врангеля и генерала А. П. Кутепова, возглавлявшего Русский общевоинский союз после смерти Врангеля в 1928 году. Он думает, что «только сильная военная власть может восстановить порядок, усмирить разбушевавшегося скота» [771].

Тридцать первого декабря н. ст. 1923 года приехал в Париж Зайцев с женой Верой Алексеевной и в Новый год посетил Бунина — не видались шесть лет. Зайцев, случалось, жил у Бунина на «Бельведере»; иногда подолгу.

С годами росла популярность Бунина и увеличивался интерес к нему со стороны французской прессы, писателей и политиков. В числе тех, кто внимал его голосу, были писатели с мировым именем: Ромен Роллан, Р. М. Рильке, Джером Джером. Девятого мая 1922 года Бунин встретился с Клодом Фаррером и его женой Роджерс — хвалили они его «ужасно. Сам особенно», — пишет Бунин в дневнике. 5/18 января 1922 года сделал визит к нему бывший президент, в данное время — премьер-министр Франции Пуанкаре. Председатель чехословацкого правительства и будущий президент Бенеш передал через секретаря своего посольства приглашение Бунину переселиться в Тшебову, он там жил бы на иждивении правительства. «Тянул» его в Прагу, как выразился Иван Алексеевич, «неистово» П. Б. Струве. Звали в Прагу и для чтения лекций студентам. От лекций он отказался.

Алданов писал Бунину 4 декабря 1922 года: «…Слава ваша в Европе растет и будет расти с каждым месяцем».

Ромен Роллан выдвинул Бунина на Нобелевскую премию. Р. Роллан сообщал Алданову:

«Cher Monsieur,

Certes, j'admire Ivan Bounine. Je le regarde comme un des plus grands artistes de notre temps.

Je serais tout disposé à appuyer la candidature de M. Bounine au prix Nobel, — *mais non pas de Bounine avec Merejkovsky*… qui a fait de son art un instrument de la haine politigue — ce qui n'est pas le cas de M. Bounine (a moins je n'ignore certains de ces écrits).

J'ajoute que je subordonnerais mon intervention pour M. Bounine á la certitude que Gorki ne désirerait pas que sa candidature fut posée. Car si le nom de Gorki entrait en ligne, c'est pour lui avant tout que je voterais. Et rien ne me plairait tant que de voir, en une meme candidature, associes les deux noms de Bounine et de Gorki, ce serait vraiment la preuve que la politique n'est pas ici en jeu — ce qui n'est ps absolument le cas, permettez-moi de vous le dire, pour la trinité: Bounine, Kouprine, Merejkovsky. Je sais, d'ailleurs, en

quelle estime Gorki tient Bounine; il me l'a récemment écrit, en le jugeant le plus grand talent des lettres russes, á l'heure actuelle».

«Дорогой господин!

Конечно, я восхищаюсь Иваном Буниным. С моей точки зрения, это один из крупнейших художников нашего времени.

Я готов поддержать кандидатуру г. Бунина на Нобелевскую премию, *но не совместную кандидатуру Бунина и Мережковского*.

К этому я должен прибавить, что выступлю за г. Бунина, только если у меня будет уверенность, что Горький не хочет, чтобы была выдвинута его кандидатура. Если был бы выдвинут Горький, то я прежде всего голосовал бы за него.

Я был бы чрезвычайно рад, если бы были выдвинуты кандидатуры Бунина и Горького одновременно: это явилось бы непреложным доказательством того, что в данном случае политика не играла никакой роли — но это вовсе не повод, позвольте мне это сказать, для такой троицы: Бунин, Куприн, Мережковский.

Я знаю, впрочем, с каким уважением относится Горький к Бунину; недавно он мне об этом писал: он считает его самым талантливым из всех современных русских писателей»[772] [773].

Это письмо Р. Роллана Алданов переслал Бунину 18 июня 1922 года. А 10 апреля 1923 года Алданов извещал его, что и Горький выставил свою кандидатуру на премию Нобеля; советовал, для успеха дела, объединить кандидатуру Бунина, Мережковского и Куприна, чтобы их тройная кандидатура была рассмотрена «как русская национальная кандидатура». Бунин относительно объединения с другими писателями писал П. Б. Струве 21 декабря 1922 года, что *коллективная премия не дается*, могут дать *одному* или двум.

О своих шансах Бунин говорит в указанном выше письме к П. Б. Струве:

«Международной толпе я не известен, но ведь не известен ей и испанец Бенавето, получивший премию за 1922 г.».

Премия Горькому! Это возмущало Бунина. Он просил П. Б. Струве переговорить с Карелом Крамаржем, первым министром-президентом Чехословакии (1918–1919), другом России; с ним Струве был знаком еще по России и часто встречался в Париже. Присуждение Нобелевской премии было делом общерусского значения, и Бунин писал в конце 1922 года Петру Бернгардовичу:

«В сентябре, в августе во французских газетах была маленькая кампания о том, что надо Нобелевскую премию 1923 г. присудить представителям русской литературы — Бунину или Мережковскому. А с другой стороны есть твердый слух, что уже

выставлена кандидатура Горького. Дорогой, какая пощечина всей передовой России! Горькому, бывшему официально товарищем председателя петербургского исполкома! <…> Вот я и молю вас — поговорите с Крамаржем — может быть, хоть он защитит Россию, выставит наши кандидатуры <…> Вы скажете, что я не завоевал еще себе в Европе имени. Нет, в литературных кругах меня уже очень превозносят и во Франции, и в Германии, и даже отчасти в Англии (есть уже мои книги по-немецки, по-английски и две книги по-французски)».

Впоследствии Бунин скажет о Горьком: «Вообще, диву даюсь, как это может уже сорок лет длиться легенда, будто бы он писатель-художник». «Клима Самгина» не мог дочитать. «В его „Артамоновых“ — какая-то раскрашенная Русь… Как казанские серые валенки, раскрашенные чем-то красным <…> Но, конечно, по натуре своей это человек чрезвычайно способный» [774]. Е. Д. Кусковой Бунин писал о Горьком 8 апреля 1932 года: «Редкий, почти страшный по своей низости (и силе, неутомимости этой низости) человек!»

Бунин выступал с чтением своих произведений. Эти его вечера были многолюдны. 21 декабря 1923 года в отеле «Мажестик» на вечере Бунина большой зал был переполнен. Он прочел с огромным успехом четыре рассказа: «О дураке Емеле», — который был напечатан в сборнике «Окно», — и неопубликованные произведения: «В ночном море», «Огонь пожирающий», «Несрочная весна», — сообщала газета «Последние новости» (1923, 17 декабря).

Эти вечера и публикация произведений не давали регулярно средств к жизни. Бунин, Мережковские в начале 1924 года обращались с коллективными письмами к Крамаржу и к министру-президенту с просьбой о стипендии. О них, писателях с международной известностью, хлопотал перед чехословацким правительством П. Б. Струве, и дело получило благоприятное решение; он сообщал об этом Бунину 10 февраля.

В июне — сентябре 1924 года Бунин написал «Митину любовь» (опубликована в 1925 году в Париже).

Внешние факты для своей повести он взял из жизни близких ему лиц. «Свидание Мити с Аленкой (и сводничество старосты), — писал Бунин, — почти „списано с натуры“ — приблизительно так произошло „первое падение“ одного моего племянника (Н. А. Пушешникова. — А. Б.). Я отчасти воспользовался его рассказом об этом „падении“ (ничуть, однако, не трагическом)» [775].

Летом 1923 года, когда Бунин писал «Митину любовь», у него

в Грассе гостил, как выразилась Вера Николаевна, «один Митя (Д. А. Шаховской. — А. Б.), сын родовитого помещика, очень молодой, тихий и застенчивый, и вот Иван Алексеевич представил, что такого барчука сбивает староста, чтобы получить бутылку водки и еще что-нибудь» [776]. От него Бунин взял также название имения — Шаховское, — принадлежавшее глотовским помещикам Бахтеяровым. Вера Николаевна сообщает: «Имение Колонтаевка <…> под именем „Шаховское“ воскресло в „Митиной любви“».

Бунин, будучи в Эстонии в 1938 году, говорил Валерии Владимировне Булгариной (урожденной Рокасовской), жене Вячеслава Булгарина, потомка Фаддея Булгарина: «Видели этого проповедника Шаховского — я вот посмотрел на него и подумал: вот он (если бы не пошел в монахи) не пережил бы разочарования в любви». Будто бы это дало ему повод к замыслу «Митиной любви», — писала автору этих строк в 1968 году поэтесса В. В. Шмидт, встречавшаяся с Буниным и Булгариной в Эстонии.

В. Н. Бунина писала автору данной работы 16 февраля 1958 года о «Митиной любви» и об увлечении Бунина В. В. Пащенко:

«Не знаю, хорошо или дурно, что Ивану Алексеевичу пришлось в такую раннюю пору пережить столь сильную драму. Но думаю, что без этой драмы не было бы написано и „Митиной любви“, хотя там ничего нет биографического, кроме страданий от любви —…как и многие его рассказы».

Критик К. И. Зайцев, автор книги «И. А. Бунин. Жизнь и творчество», пишет: «Первая месса пола! Вот слово, которое дает нам ключ к пониманию того, что испытал и чего не перенес Митя. Но не перенес только ли потому, что на пути его оказалась незначительная Катя, не способная понять и оценить силы его, Митиной, любви? Или в самой природе любви, которая им владела, гнездится отрава — пусть сладкая, но тем более губительная, и подлинно обречен был Митя на то, чтобы пасть ее жертвой? В „Митиной любви“ в один узел переплетены две темы — одна универсальная, тема „первой мессы любви“, и другая, более узкая — тема „бедных Азров“, которые, „полюбив, умирают“ [777]. И вся острая прелесть восхитительного бунинского произведения и заключается в неразличимости этих двух существенно разных, но органически воедино слившихся тем» [778].

Анри де Ренье, говоря о «Митиной любви», приравнивал Бунина, за его блестящее мастерство романиста, к лучшим русским писателям прошлого столетия — к Тургеневу и Толстому.

Подобно Толстому и, конечно, Достоевскому Бунин так глубоко охватывал жизнь, во всей ее сложности, и проникал в ее

загадки, что от его произведений — таких, как «Митина любовь», — веет некоей тайной. Поэтому заглавие повести во французском издании, которым подчеркивалась непостижимость «таинства любви», ему представлялось более удачным. «По французски, — говорит Бунин, — я назвал „Митину любовь“ гораздо лучше: „Le sacrement de l’mour“» [779].

Тема повести так захватила Бунина, что он через много лет после ее публикации возвратился к ней. «Когда я писал „Митину любовь“, — сообщал он М. В. Карамзиной в 1938 году, — я делал некоторые заметки — в два, в три слова чаше всего. Теперь я написал по ним эти „Варианты“» (опубликованы в газете «Последние новости», 1938, 23 марта) [780].

Рильке также отмечал, что заглавие «„Le sacrement de l’amour“ передает лучше то, что здесь происходит, чем заглавие „Митина любовь“». По его словам, «Митина любовь была бы скорее неутраченная Катя, счастье, борьба, судьба рядом с ней, и все же в конце концов утрата друг друга, которая была бы с Катей, какова она есть, неизбежна… В этом смысле маленький роман Бунина почти старомодная книга: нас гораздо больше интересует то, что происходит в тех и между теми, кто не теряет себя на такой лад и все-таки должны как-то по-иному, в жизни, потерять себя, ибо не научились любить» [781].

По поводу заглавия повести писала поэтесса М. В. Карамзина: «„Le sacrement de l’amour“ очень красиво звучит по-французски. По-русски это было бы „Таинство любви“.

Но, мне кажется, по-русски нельзя было так назвать. В „Митиной любви“ страшен и неотразим Рок — сила и тема греческой трагедии. В „Вариантах“ (составивших потом рассказ „Апрель“. — А. Б.) эта сила ощущается особенно жутко: там Рок „обстоит“, это „obsession“, одержимость. Митя — жертва, тут не „sacrement“, а „sacrifice à l’amour“ [782].

Мистерия — да, но не таинство. Таинство таит в себе в конечном смысле искупление, чудо благодатное. В смерти Мити — лишь его обреченность страшной безблагодатной любви.

Я так мучительно воспринимаю „Митину любовь“, — какая она жестокая!..Когда я внутренно борюсь с ней, когда я протестую против вашей беспощадности, я всегда думаю: все, все было бы иначе, если бы Митина ужасная, деревянная, безлюбая мать, эта „мама, которая спит после обеда“, была бы нежной, женственной, настороженной. Один штрих, один зов любви благодатной, и, быть может, она победила бы ту, — страшную, — власть» [783].

В развязке повести обнаруживается большое художественное чутье Бунина. «…Будто испугавшись болезненного одухотворения своего бедного героя и томительной, безнадежно-восторженной,

смертельной его любви, — пишет Г. В. Адамович, — он заставил его накануне самоубийства согрешить с деревенской бабой: редкий образец непогрешимого художественного чутья, мастерский поворот в сторону спасительного лона матери природы, чуть ли не в последнюю минуту» [784].

З. Н. Гиппиус неубедительной казалась эта сцена.

Она видела в авторе «Митиной любви» изобразителя лишь «данного», считала, что он, как писал об этой статье Гиппиус Ф. А. Степун, «не осилив в своем романе „преображения действительности“, изобразил ее ухудшенной; написал то, чего не бывает»; Гиппиус, по словам критика, «огрубляет очень сложный, очень тонкий бунинский рисунок». Степун говорит о том, что «Митина любовь» — «не о временном, а о вечном, о борьбе человека с самим собою за себя самого», «проблема Митиного несчастья включена Буниным в трагическую проблематику Человека» [785].

Насколько эта мысль существенна, видно из того, что последнюю фразу Бунин отметил на полях журнала. Отметил он и слова о том, что в «Митиной любви» он впервые изображает «трагедию человеческого духа», и в этом «заключается то совсем новое, что дал нам Бунин своим последним романом, не меняя внешних приемов творчества или, вернее, оставаясь верным своей художественной природе, Бунин подошел к описанию любви и гибели своего Мити существенно иначе, чем подходил к своим темам раньше».

Критик далее пишет: «Нет сомнения, что главное в „Митиной любви“ не *изображение* того, что бывает, но художественно, до конца, слитое с этим изображением *исследование* трагической несбыточности во всех бываниях нашей любви, ее подлинного бытия»; «с невероятною, потрясающею силою раскрыта Буниным „жуткая“, зловещая, враждебная человеку, *дьявольская* стихия пола. Десятая глава „Митиной любви“, в которой Бунин рассказывает, как Митя „поздно вечером, возбужденный сладострастными мечтами о Кате“, слушает „в темной, *враждебно* сторожащей его аллее“ потрясающий душу вой, лай, визг свершающего свою любовь сыча-*дьявола*; как он (Митя) в холодном поту, в мучительном наслаждении ждет возобновления этого предсмертно-истомного вопля, „этого любовного *ужаса*“ — принадлежит, бесспорно, к самым потрясающим и жутким страницам из всего написанного о том несказанном, что именуется полом и над чем так редко одерживает победу любовь.

Но пол не только страшен и зловещ, он, кроме того, а может быть, прежде всего, сладостен, певуч, прекрасен. Он не только зловещий ночной хохот и вопль сыча-дьявола, но и „цветущий

сад“ и томное цоканье соловьев…»

«Бунин годами изображал жестокую, смердящую, исступленную и все же к свету рвущуюся русскую деревню», со страшной силой «разоблачал в „Господине из Сан-Франциско“ <…> бездушную капиталистическую цивилизацию», и теперь он «прорвался в „Митиной любви“ к глубокому метафизическому ощущению трагической природы человека».

«Митина любовь» и другие произведения, вошедшие в книгу того же названия (Париж, 1925), по словам Юлия Айхенвальда, «строгое и серьезное мудрое искусство Бунина» [786].

Вл. Ладыженский писал о «Митиной любви»: «Это, быть может, одно из самых тонких по изображению психологических переживаний произведение Бунина. Это рассказ о неудачной, трагически кончившейся любви чуткого и богато одаренного юноши. Но и вся русская жизнь определенной эпохи и русская природа с ее весной, все то, что, казалось бы, служит фоном рассказа, до такой степени сливается с переживаниями героя, что все вместе сплетается в одну поэму непередаваемой прелести» [787].

В. Кадашев в статье «Трагедия первой любви» [788] сравнивал Митю с героями Шекспира и Вагнера. Бунин на вырезке из газеты к заглавию статьи написал: «При чем тут первая любовь!» Тем самым он подчеркивал универсальность затронутых в повести проблем. А на указанные в статье толки о том, что герой — совсем юный гимназист, Бунин возразил: «А Вертеру сколько лет было? Все герои всех самых знаменитых любовных драм все мальчишки».

Любовь-страсть — вот что захватывает Бунина в «Митиной любви», за которой последовали «Дело корнета Елагина», «Солнечный удар», «Ида» и другие.

Б. К. Зайцев в рецензии на книгу Бунина «Солнечный удар» (Париж, 1927) писал: «„Митина любовь“ относится к числу так называемых „шедевров“, вещей, коими Бог не каждый день благословляет художника» [789]. Теперь он «пишет совсем по-другому» — не как в рассказах о любви «в молодом его творчестве». И в «Митиной любви», и в «Солнечном ударе» — иная манера, другой тон и накал. «„Солнечный удар“, — продолжает Зайцев, — краткое и густое (как всегда у автора) повествование о страсти, о том, что ослепляет, ошеломляет, о выхождении человека из себя… Бунину, видимо, нравится, что есть в мире стихии и силы, властвующие над человеком. Не так, пожалуй, важен человек, как то, что больше его: любовь. Точнее надо сказать: любовь-страсть, и лишь одна интересует сейчас

Бунина» [790].

Другая чрезвычайно сложная, «очень характерная для данной полосы Бунина» вещь — «Дело корнета Елагина». «Это, — говорит Зайцев, — значительная повесть. Женщина написана в ней ярко и сурово. Трагедией вся она овеяна — и некоторым „разоблачением“ человека. „Ида“ — тоже любовная, но иного тона. И очень мрачен „Мордовский сарафан“ <…>

Бунин относится к тем писателям, которые зря не пишут. Если он пишет, значит ему *надо* так, не забава, а необходимость, судьба. И ведь чем более „роковое“ писанье, тем он вообще лучше. Для Бунина, как художника, видимо, темы любви-страсти стали теперь роковыми».

Кирилл Зайцев считает повесть «Дело корнета Елагина» еще более замечательной, чем «Митина любовь». По его мнению, здесь дан мастерский анализ судебного дела — «анализ, сделанный сердцеведом, перед которым, как перед учителем, должны склониться не только прокурор, адвокат и судьи государственного суда, но и эксперты психиатрии» [791].

В. Ф. Ходасевич отметил ту особенность бунинских рассказов о любви — «Митина любовь», «Солнечный удар», «Дело корнета Елагина», что в них предметом наблюдения является «не психология, а иррациональная сторона любви, та ее непостижимая сущность <…> которая настигает, как наваждение, налетает Бог весть откуда и несет героев навстречу судьбе <…> И характерно для Бунина, что такие иррациональные события всегда им показаны в самой реалистической обстановке и в самых реалистических тонах».

Для создания образа директора театральной школы, грубого и самодовольного актера, Бунин использовал «дело» А. И. Адашева, о котором московские и петербургские газеты в 1913 году писали как о герое сенсационных и скандальных событий (Русское слово, 20 ноября; Столичная молва, 22 ноября; Голос Москвы, 23 ноября; День, 24 ноября).

Судебное дело об убийстве в 1890 году в Варшаве корнетом Александром Михайловичем Бартеневым польской артистки Марии Висновской послужило основой для сюжета рассказа «Дело корнета Елагина». Бунин воспользовался речью известного адвоката Ф. Н. Плевако «в защиту Бартенева» и предисловием к ней в книге Ф. Н. Плевако (Речи. Т. 1. М., 1910).

Шестнадцатого февраля 1924 года Бунин произнес речь в Париже в Salle de Geographic (184, Boulevard St-Germain) «Миссия русской эмиграции». Он сказал, что эмигрантов, рассеянных по всему свету, около трех миллионов. Но численность — далеко не все. «Есть еще нечто, что присваивает нам некое назначение. Ибо

это *нечто* заключается в том, что по-истине мы некий грозный знак миру и посильные борцы за вечные, Божественные основы человеческого существования, ныне не только в России, но и всюду пошатнувшиеся» [792].

Речь — в тоне высоком, торжественном. Он призывал мир взглянуть на этот великий исход и осмыслить его значение: «Вот перед тобой миллион из числа лучших русских душ, свидетельствующих, что далеко не вся Россия приемлет власть, низость и злодеяния ее захватчиков <…> Взгляни, мир, и знай, что пишется в твоих летописях одна из самых черных и, быть может, роковых для тебя страниц!»

Слова оказались пророческими.

На этом вечере выступили также А. В. Карташев, И. С. Шмелев, священник Г. Спасский, Д. С. Мережковский, И. Я. Савич, Н. К. Кульман.

Левая эмигрантская пресса, в первую очередь «Последние новости», выступила с резкой критикой произнесенных речей. В Москве газета «Правда» отозвалась статьей от 16 марта 1924 года «Маскарад мертвецов». Так виделись из Кремля русские писатели в зарубежье, множившие славу России.

В 1925 году, как указано выше, состоялось знакомство Бунина с австрийским поэтом Р. М. Рильке. О их встрече пишет французский писатель М. Бетц в своих воспоминаниях (Betz M. Rilke vivant. Paris, 1936. S. 152).

В марте 1925 года Бунин был приглашен английскими литературными кругами на несколько дней в Лондон, чтобы, как он сам говорил, показать его английским писателям и некоторым представителям общества. Его чествовали на заседаниях, банкетах и в частных домах. Большой литературный банкет был организован лондонским P. E. N. Club'ом.

Джером Джером пришел в дом, куда был приглашен Бунин и где собралось, как он говорил, особенно много народа, «пришел только затем, чтобы познакомиться» с Буниным.

«Очень рад, очень рад, — сказал он. — Я теперь, как младенец, по вечерам никуда не выхожу… Но вот разрешил себе маленькое отступление от правил, пришел на минутку — посмотреть, какой вы, пожать вашу руку» [793].

Джером Джером интересовался Россией, русской литературой с давних пор. В 1899 году он приезжал в Петербург, потом написал статью «Русские, какими я их знаю». Она была издана на русском языке в 1906 году под заглавием «Люди будущего». В статье говорилось: «Русский человек — одно из самых очаровательных существ на земном шаре»; «мы свысока называем русских нецивилизованными, но они еще молоды… Мир будет

доволен Россией, когда она приведет себя в порядок».

В Джероме Джероме Бунина восхищал редкий дар писателя-юмориста.

Его всегда влекли люди, наделенные способностью чувствовать и понимать смешное в жизни, — он дружил с Чеховым, Тэффи, любил и ценил Дона Аминадо, Сашу Черного и вовсе не *жаловал* Д. Мережковского и З. Гиппиус, между прочим, за то, что оба они, как писала Тэффи, — ее статьей восхитился Бунин, — «абсолютно не понимали юмор».

Джером Джером и в старости — со «вкусом к жизни, который свойствен очень молодым людям», из тех, кого «жизнь не сумела ограбить», — был близок Бунину, обладавшему даже и в свои более чем шестьдесят лет, как сказал о нем английский критик и драматург Эдуард Гарнет, «душой и жизненным пульсом юноши».

В бунинской смешной и фантастической «Истории с чемоданом» есть что-то от рассказов Джерома Джерома.

Насколько Бунин выделил для себя Джерома Джерома среди писателей, которых встречал и знал за рубежом, можно видеть из того, что по случаю его кончины он написал воспоминания о лондонской встрече [794], а столетнюю годовщину Джерома Джерома отметил публикацией воспоминаний в одной из парижских газет [795].

В январе 1926 года Томас Манн приехал в Париж по приглашению группы французской интеллигенции. Здесь, на литературном завтраке у Льва Шестова, произошла его встреча с Буниным, которую он описал в дневнике своей поездки, озаглавленном «Pariser Rechenschaft» («Парижский отчет»). Он писал:

«Первым, с кем меня познакомили, был Иван Бунин, с которым я уже обменялся письмами, создатель „Господина из Сан-Франциско“, рассказа, который по своей нравственной мощи и строгой пластичности может быть поставлен рядом с некоторыми из наиболее значительных произведений Толстого — с „Поликушкой“, со „Смертью Ивана Ильича“. Этот рассказ переведен уже; кажется, на все языки. Во французском переводе он сохранил полностью свою захватывающую силу, так же, как и „Деревня“ — этот необычайно скорбный роман из крестьянской жизни. Бунин именно таков, каким я его себе представлял: среднего роста, бритый, с резкими чертами лица, он производит впечатление человека скорее замкнутого, чем разговорчивого. Разумеется, он пресытился похвалами „Господину из Сан-Франциско“. Он охотнее услышал бы что-нибудь о „Митиной любви“, и, по правде сказать, мне не нужно было себя принуждать, чтобы выразить восхищение ее проникновенностью,

потому что и в ней сказалась несравненная эпическая традиция и культура его страны» [796].

В 1925 году на деньги богатого нефтепромышленника Абрама Осиповича Гукасова в Париже создавалась газета «Возрождение». П. Б. Струве стал ее главным редактором и предложил Бунину функции редактора литературной части. Иван Алексеевич согласился сотрудничать за 1500 франков в месяц фикса (с 1 июня), «а редакция, — писал Струве 17 мая 1925 года Бунину, — анонсирует его участие в общей форме: „Литературный отдел при ближайшем участии почетного академика И. А. Бунина“» [797].

Бунин привлек к сотрудничеству в газете М. А. Каллаш (М. Курдюмов), И. С. Сургучева, А. В. Амфитеатрова, А. П. Шполянского (Дона Аминадо), И. С. Шмелева.

С первого номера — с 3 июня 1925 года и до весны 1926 года — Бунин публиковал в «Возрождении» «Окаянные дни»; в числе других своих произведений напечатал статью о А. Н. Толстом «Инония и Китеж», имевшую большой успех. Он писал П. Б. Струве 18 октября 1925 года: «Очень рад, что о Толстом нравится. Нравится и тут, на Юге» [798].

Струве был вытеснен А. О. Гукасовым с редакторского поста и заменен в 1927 году сотрудником газеты Ю. Ф. Семеновым. Из солидарности с П. Б. Струве из редакции ушли все видные сотрудники. Бунин послал 21 августа 1927 года «Письмо в редакцию» в «Возрождение» и в «Последние новости»:

«Позвольте заявить, что, ввиду выхода из „Возрождения“ П. Б. Струве, я свою работу в „Возрождении“ тоже оставляю. Ив. Бунин».

Десятого декабря 1927 года П. Б. Струве писал Бунину: «„Возрождение“, конечно, превратилось в торговое заведение, то есть „парламент мнений“, сиречь „свободную трибуну“. Это даже не „смена вех“, а нечто худшее» [799].

Бунин стал сотрудничать в газете П. Н. Милюкова «Последние новости» и в газете П. Б. Струве «Россия», а также в сменившей ее еженедельной газете «Россия и Славянство».

Участие Бунина в монархическом «Возрождении» не означало, что он, подобно П. Б. Струве, придерживался правых взглядов.

«Я и сам за республику. Монархию я жалею, как вообще прежнюю Россию» (запись в дневнике Веры Николаевны 2 мая 1925 года).

Толстой говорил, что искусство иногда восхищает, но не мучает, такой для него была Патти (в рассказе «Альберт»).

Произведения Бунина потрясают напряженным чувством любви к жизни и очарованием красоты. «Неутолима и безмерна моя жажда жизни» [800], — писал он.

Его волновало все прекрасное — цветы, горы, море — «мучило своей прелестью» [801].

Услышав перезвон колоколов, сказал: «И какой благостной защитой над всем, даже над смертью был этот перезвон. И как это есть люди, которые не понимают этого!» [802]

В повседневной жизни он был беспомощен, раздражителен, часто же — горд и нетерпелив. Болел «тревожно, бестолково, суетливо» [803]. Но у него, как у героя «Жизни Арсеньева» Алексея Арсеньева, «нежная, впечатлительная душа» [804].

Вере Николаевне говорил: «…Ты для меня больше <чем жена>, ты для меня родная, и никого в мире нет ближе тебя и не может быть. Это Бог послал мне тебя» (запись в дневнике В. Н. Буниной 21 декабря 1925 года). А еще он сказал жене 23/10 апреля 1927 года — в этот день двадцать лет тому назад они отправились в свадебное путешествие в Палестину: «Спасибо тебе за все. Без тебя я ничего не написал бы. Пропал бы!» Я тоже, пишет Вера Николаевна, благодарила его — за то, что он научил меня «смотреть на мир, развил вкус литературный. Научил читать Евангелие» [805].

Двенадцатого сентября 1926 года на «Бельведер» приехал из Германии С. В. Рахманинов. Он остановился в Каннах. Восемнадцатого Рахманиновы вновь посетили Бунина. А 23-го Иван Алексеевич и Вера Николаевна были на обеде у них; «от всей семьи, — писала Вера Николаевна, — осталось необыкновенно приятное и легкое впечатление. Дочери очаровательные…» [806].

Сергей Васильевич, вспоминая время, когда он еще был совсем неизвестен, рассказывал о Толстом и Чехове. В Ялте он аккомпанировал Шаляпину. В антракте подошел Чехов и сказал, что он будет «большим музыкантом». Он так думал потому, что у Рахманинова во время игры было лицо очень значительное. Эти слова много значили тогда для него. «А музыки Антон Павлович не понимал», — сказал Рахманинов [807].

В 1927 году поселилась у Буниных на «Бельведере» поэтесса Галина Николаевна Кузнецова. О себе и о Буниных она рассказала в «Грасском дневнике»[808].

Иван Алексеевич, пишет А. Седых о творческой атмосфере в доме Бунина, «любил окружать себя молодыми писателями и покровительствовал им. Читали вслух написанное, Бунин

критиковал, — в своем писательском ремесле он был беспощаден, ненавидел лишние слова, всякую напыщенность, искусственно создаваемую „красоту“. Вычеркивал у молодых целые страницы и отдельные фразы, внушал суровое и критическое отношение к написанному» [809].

В доме постоянно бывало много интересных людей. Приезжали из Парижа Зайцевы, Мережковские, Алданов, Адамович, Фондаминский. Начинались ожесточенные споры. «Если Мережковские защищали Достоевского… Бунин мог в бешенстве выбежать из комнаты, хлопнув дверью» [810].

Бунин, как говорила Вера Николаевна, «пустоты в доме не любил» [811]. Б. К. Зайцев в 1928 году гостил на «Бельведере» больше месяца: с 21 июня и до 1 августа. Без Бориса Константиновича, писала Вера Николаевна, стало немного грустно; в нем — некая светлость, религиозность. «Конечно, — говорит она, — наш „Монастырь муз“ ему подходит, есть и устав, есть и удовольствия, и правильный образ жизни, и возможность писать спокойно, и полная душевная свобода» [812].

В 1927–1930 годах Бунин написал краткие рассказы («Слон», «Телячья головка», «Роман горбуна», «Небо над стеной», «Свидание», «Петухи», «Муравский шлях» и многие другие) — в страницу, полстраницы, а иногда в несколько строк. Они вошли в книгу «Божье древо» (Париж, 1931). Некоторым критикам рассказы напоминали «Стихотворения в прозе» Тургенева. Бунин сердился на такого рода оценки. На одной из статей о «Божьем древе» против слова об удивительном сходстве кратких рассказов со «Стихотворениями в прозе» он написал: «Очень глупо!»

То, что писал Бунин в этом жанре, было результатом смелых поисков новых форм предельно лаконичного письма, начало которым положил не Тургенев, а Чехов.

Бунин говорил по поводу фразы из Мопассана:

«Je n'ai rien vu de plus surprenant qu’Antibes debout sur les Alpes au soleil couchant» («Я не видел ничего более захватывающего, чем Антиб на фоне Альп в часы заката»).

«Да, вот еще! <…> Мопассан! Для того, чтобы сказать эти и еще несколько слов о том, что ему было дорого, — а мне упорно кажется, что ему хотелось говорить только об этом, — он должен был выдумывать и подносить читателю целую историю о какой-нибудь неверной жене… Бедные писатели! Как часто для того, чтобы сказать что-нибудь немногое, важное и дорогое им, они принуждены выдумывать целые ненужные истории и незаметно пристраивать где-нибудь это самое дорогое… И до сих пор ни у кого нет смелости писать только несколько нужных строк» [813].

«Какая мощь слова, какое чувство скорби и любви заключены в скупых строках Бунина!» — восклицает один из рецензентов книги «Божье древо». Профессор Софийского университета П. Бицилли писал: «Мне кажется, что сборник „Божье древо“ — самое совершенное из всех творений Бунина и самое показательное. Ни в каком другом нет такого красноречивого лаконизма, такой четкости и тонкости письма, такой творческой свободы, такого поистине царственного господства над материей. Никакое другое не содержит поэтому столько данных для изучения его метода, для понимания того, что лежит в его основе и чем он, в сущности, исчерпывается. Это — то самое, казалось бы, простое, но и самое редкое и ценное качество, которое роднит Бунина с наиболее *правдивыми* русскими писателями, с Пушкиным, Толстым, Чеховым: *честность*, ненависть ко всякой фальши…» [814]

К сказанному следует добавить: и с Лермонтовым, родство с которым он сам сознавал; он говорил: «Вся наша современная проза родилась из лермонтовской „Тамани“».

Есть что-то недосказанное в этих миниатюрах, как бы таинственное — не раскрытая до предела глубина, а вместе с тем — ощущение «внутренней тревоги <…> взволнованная обостренность восприятия». Рассказы эти свидетельствуют о наличии новых приемов письма у Бунина, в них — «некоторая импрессионистическая заостренность выражения, которой в прежнем Бунине как будто не было»; «короткие рассказы Бунина, — развивает свою мысль автор рецензии, — выросли не только из чисто художественной жажды запечатления жизни, но и из глубокого раздумья над ней. В них раскрывается та сторона бунинского дарования, которая влекла его к стиху. Как стихи Бунина, так и короткие рассказы философичнее и метафизичнее его остальной (доарсеньевской) прозы» [815].

Осенью 1928 года сербское правительство пригласило в Белград на съезд русских писателей и журналистов, живших в эмиграции. Приезжали Мережковский, Гиппиус, В. И. Немирович-Данченко, Куприн, Зайцев и Чириков. Как пишет Зайцев, накануне съезда у Бунина побывал глава «Державной комиссии» по устройству съезда Белич. Приехать в Белград Бунин отказался, Зайцев полагает — из-за соперничества с Мережковским. Но такое объяснение представляется некоторым упрощением проблемы, упрощением сложных взаимоотношений этих писателей.

Зайцев пишет, что съезд прошел весьма пышно, сербы принимали очень дружески. Мережковский гордился тем, что получил орден Святого Саввы первой степени с лентой через

плечо.

2 декабря / 19 ноября 1928 года позвонила из Ниццы жена Горького Е. П. Пешкова, просила о встрече. Вера Николаевна приехала к ней в Канн. Она спросила, нельзя ли получить оставшиеся в Москве дневники и письма. Хотела что-нибудь узнать о двух знакомых в Соловках. Екатерина Павловна сказала, что в Соловках теперь хорошо, хвалила Дзержинского, загонявшего людей в лагеря смерти. Вера Николаевна пишет:

«Потом она спрашивала, правда ли, что Ян страшный монархист. Я сказала, нет, ничего страшного. Он примет всякую власть, кроме большевицкой.

Она выразила сожаление, что Ян не в России теперь. Я сказала, что он большевизм не переносит, как я кошек, что в Одессе, где мы ощутили его всей кожей, он чуть не заболел от одного вида большевиков.

Потом она стала расспрашивать, правда ли, что он писал такие злобные статьи?

— Это не злоба. Это пафос. Мы белые и никогда не изменим тем, кто пат в борьбе с большевиками.

— То есть как не изменим?

— Вы ведь от Каляева не отрекались.

— Но Россия выше всего.

— Нет, кое-что есть выше России, — сказала я, когда поезд уже тронулся.

Меня охватило грустное чувство. Может быть, хорошо, что наше свидание длилось только час. Я рада, что видела Екатерину Павловну. Теперь я знаю, что она не переменилась, что по-прежнему она не способна ни на что дурное сознательно, но, „живя в нужнике, ко многому принюхаешься“. <…> В ней самой появилось спокойствие, она пополнела, отчего глаза уменьшились и стали менее красивы. Но лицо молодое. Работает в Красном Кресте даром. Получает от Ал. М. (Горького. — А. Б.) сто рублей на себя и сто рублей на мать — на это и живет. Скупо ей дает Ал. Мак. Голос у нее все такой же приятный. И флюиды от нее приятные, но все же было очень грустно.

Да, она еще сказала, стоя на платформе:

— Я надеялась, что Иван Алексеевич приедет с вами, я тогда скорее почувствовала бы его. Я его больше всех люблю, как писателя.

— Он боялся вас скомпрометировать, а то бы приехал.

— Где лучше остановиться в Париже, где нет русских? Могут быть там неприятности.

— В центре. Пасси — русский центр, — сказала я» [816].

Надеялась, что Иван Алексеевич приедет… А на вечере в Литературном музее в Москве на Якиманке 22 октября 1960 года по случаю 90-летия со дня рождения Бунина Е. П. Пешкова, выступая с воспоминаниями, говорила, что будто бы не захотела встретиться с ним (есть в Литературном музее звукозапись ее речи).

Людям, хранившим в душе Божеские заветы, дико было слушать восхваление Дзержинского и Соловков. Прошлая Россия, без Соловков и Дзержинского, ушла.

— Да, конечно, — говорил Бунин, — ведь все лучшее погибло в войне, обшей и Гражданской.

Иван Алексеевич и Вера Николаевна ощутили душевную боль в праздник Рождества, 7 января 1929 года, на панихиде по великому князю Николаю Николаевичу, напомнившей об ушедшей России. Бунин волновался сильно, «особенно, когда пришли казаки в черкесках и сменили караул — у него ручьем по щеке текли слезы, — пишет Вера Николаевна. — Было чувство, что хороним прежнюю Россию. Да, вот живешь, как будто даже все зажило, а чуть наткнешься на что-нибудь, так оказывается, что рана обнажена, и больно, очень больно» [817].

О великом князе Николае Николаевиче (Младшем), верховном главнокомандующем в 1914–1915 годах, в 1915–1917 годах — главнокомандующем Кавказским фронтом, Бунин пишет в «Жизни Арсеньева» (кн. четвертая, гл. XIX–XXI).

Книгами о России «Кадет» и «Отчизна» привлек внимание Бунина живший в Риге писатель Л. Ф. Зуров. Иван Алексеевич пригласил его к себе на время, пока тот сможет найти работу; исхлопотал ему визу, убеждал не бояться переселения во Францию, писал, что в молодости надо рисковать; послал деньги для оплаты морского пути до Марселя — 620 франков. Двадцать третьего ноября 1929 года Зуров появился неожиданно на «Бельведере» с дарами — с караваем черного хлеба, с клюквой и антоновскими яблоками. В газете «Россия и Славянство» (Париж, 1929, № 7, 2 января) была напечатана уже статья Бунина, открывавшая путь в парижскую прессу молодому писателю — «подлинному, настоящему художественному таланту», много обещающему. Так и остался он жить у Буниных навсегда. Отношения с Иваном Алексеевичем были у него очень сложные, и было много нелегкого.

О себе Бунин писал А. М. Федорову, жившему в Софии, 4 июля 1929 года, что он сидит в Грассе почти круглый год, вот уже

почти семь лет; средства к жизни давали гонорары и помощь чехов и сербов. С января 1929 года чехи прекратили пособие — 380 франков.

Бунин готовил книгу избранных стихов. В 1920-е годы его стихотворения печатались часто в газетах, журналах, в сборниках его произведений: «Начальная любовь» (Прага, 1921), «Чаша жизни» (Париж, 1922), «Роза Иерихона» (Берлин, 1924), «Митина любовь» (Париж, 1925).

Во всем ранее написанном Бунин многое менял для новых изданий. Сокращал и переделывал он также стихи. Кузнецова записала в дневнике 5 декабря 1927 года:

«Иван Алексеевич дал мне пачку своих стихов для того, чтобы я отобрала их для книги, которую он хочет давно издать. Отбирая, невольно изумилась тому, как мало у него любовной лирики и вообще своего, личного в поэзии. За все время четыре-пять стихотворений, в которых одной, двумя строками затронута любовная тема. Спросила об этом. Говорит, что никогда не мог писать о любви, по сдержанности и стыдливости натуры, и по сознанию несоответствия своего и чужого чувства. Даже о таких стихах, как „Свет незакатный“, „Накануне“, „Морфей“, говорит, что они нечто общее, навеянное извне. Я много думала над этим и пришла к заключению, что непопулярность его стихов — в их отвлеченности и скрытности, прятании себя за некой завесой, чего не любит рядовой читатель, ищущий в поэзии прежде всего обнаженья души» [818].

«Избранные стихи» 1900–1925 годов вышли в Париже в мае 1929 года: это событие отмечалось обедом с вином 7 мая.

В стихах, как и в прозе, можно сказать словами самого Бунина — «редкая острота душевного зрения» и своеобразная словесная живопись.

Высокая поэзия Бунина, как пишет Ф. Степун, поражает «пронзительной лиричностью и глубокой философичностью». В его книге, продолжает критик, «предельно напряженное чувство жизни (отсюда — зоркость его глаз <…> жажда жизни и счастья, неутолимость этой жажды» [819].

Степун говорит: «…Почти все его стихи можно в известном смысле рассматривать как углубление сознания поэта чрез воспоминания, то есть чрез перевоплощение в дальнее. Образы дали в поэзии Бунина очень разнообразны»: «даль чужих стран», «дали русской истории», дали «звериного бытия».

Вот он, путешествуя по Востоку, увидел древнюю могилу в скале, в Нубии, на Ниле, представил то очень давнее время, когда человек оставил здесь свой след, и

Тот миг воскрес. И на пять тысяч лет
Умножил жизнь, мне данную судьбою.

(«Могила в скале»)

Перевоплощаясь и проникая сознанием в прошлое, человек становится сопричастным времени, длившемуся тысячелетия, сознает свое единство с другими существами и с миром. «Нет в мире разных душ и времени в нем нет!» — восклицает Бунин («В горах» 12.11.1916).

Поэзия Бунина часто вызывала споры. Ф. А. Степун не находил в его стихах «глубин» и «бездн» символистов. «В стихах Бунина, — писал он, — нет „зауми“, „невнятицы“, нету хаоса, ворожбы и крутеня мистически-эстетической хлыстовщины (очень глубокой темы русского сознания), то есть всего того, что так характерно для Блока и Белого, чем оба они перекликаются не только с Есениным и Пастернаком, но в известном смысле и с Гете второй части „Фауста“» [820].

Точка зрения Степуна понятна: он, по собственному признанию, «любил в искусстве только надлом», жил в известной мере книжными интересами и не знал подлинной России, как не знали ее по-настоящему и символисты, которых он так страстно отстаивал в спорах с Буниным.

— Вы вот пишете всякие «Мысли о России», — говорил И. А., — а между тем совсем не знаете настоящей России, а все только ее «инсценировки» всяких Белых, Блоков и т. д., а это не годится <…>

Потом И. А. доказывал, что Россия Блока с ее «кобылицами, лебедями, платами узорными» есть в конечном счете литература и пошлость.

— Не надо забывать, сколько тут идет от живописи, от всяких «Миров искусства», от того, что писали картины, где земли было вот столько (он показал на три четверти), а неба — одна щель и на нем какая-то лошадь и овин. А России настоящей они не знали, не видели, не чувствовали! [821]

В некой мере не разделял «принципов бунинской поэзии» [822] и В. Ф. Ходасевич, а также отчасти Г. В. Адамович, литературные вкусы которого формировались в акмеистском Цехе поэтов.

Хотя Ходасевича и Адамовича многое отдаляло от Бунина, оба они по достоинству ценили его стихи.

Бунинская поэзия, писал Ходасевич, «как всякая подлинная поэзия <…> порою заставляет позабывать все „школьные“ расхождения и прислушиваться к ней просто. Вот я раскрываю „Избранные стихи“ и читаю»:

Льет без конца. В лесу туман.
Качают елки головою:
«Ах, Боже мой!» — Лес точно пьян,
Пресыщен влагой дождевою.

В сторожке темной у окна
Сидит и ложкой бьет ребенок.
Мать на печи, — все спит она,
В сырых сенях мычит теленок.

В сторожке грусть, мушиный гуд…
— Зачем в лесу звенит овсянка,
Грибы растут, цветы цветут
И травы ярки, как медянка?

Зачем под мерный шум дождя,
Томясь всем миром и сторожкой,
Большеголовое дитя
Долбит о подоконник ложкой?

Мычит теленок, как немой,
И клонят горестные елки
Свои зеленые иголки:
«Ах, Боже мой! Ах, Боже мой!»

«Стихов такой сдержанной силы, такой тонкости и такого вкуса немало у Бунина. Признаюсь, для меня перед такими стихами куда-то в даль отступают все „расхождения“, все теории, и пропадает охота разбираться, в чем прав Бунин и в чем не прав, потому что победителей не судят» [823].

Иным критикам стихи Бунина казались старомодными. Такое впечатление могло возникнуть от сдержанности тона и классической строгости формы в стихах Бунина. «Его описания, сравнения, краски, — говорит П. М. Пильский, — отличаются редкой сдержанностью. Бунин скуп. Иногда это кажется холодом <…> В этой словесной изобразительной скупости образы Бунина приобретают особенную полновесность… В стихах Бунина „светится, трепещет и сияет необычная, прозрачная ясность“, строгий, чистейший свет, „и, как ребенку, после сна дрожит звезда в огне денницы“, — замечательное сравнение: помните — у Толстого „искренность, которая бывает при пробуждении“.

Эта искренность, эта писательская честность Бунина — исключительны. Вот для кого нет и никогда не было искушения

фразы, соблазнов мишуры, обольщений нарядности и звонкозвучия. Вот кто никогда не хотел пускать в глаза даже золотую пыль, кто прожил без лжеромантических прикрас, без костюмов, без грима и феерий. Иные стихи кажутся нарочно опрощенными: так они сторонятся всякого парада, картинности и щегольства. Сравните „Индию“ Бунина с брюсовским „Словно кровь у свежей раны…“, где „в засохших джунглях внемлют тигры поступи людей, и на мертвых ветках дремлют пасти жадных орхидей“, — какая противоположность!

И у бунинской печали нет плащей, его тоска не делает многозначительного лица <…> Настроения, все заключительные строчки Бунина могут вызвать лишь самое святое и потому самое тихое, что есть в нашей душе, — вздох. У поэта и у нас этот вздох вырывается о том, что происходит, встает и пропадает, промелькнув в этом мире, как мы сами, как сон, как та встреча с женщиной, которая „простила — и забыла“, как оборвавшийся вальс, когда „зал плывет, плывет в напевах счастья и тоски“ <… > С радостью припадаешь к этому источнику чистой красоты, боишься от него оторваться, повторяешь по несколько раз отдельные строфы, наполняешься их дальней, тихой напевностью, и в этой музыке открываются прозрачные глубины, стих за стихом выплетает ровную нить, уходящую куда-то назад, далеко, в бесконечную давность, в века истории, чрез бесконечные чреды предков. Слышатся, чуются приказы мертвых, веления рока, человеческая приговоренность отражается в этих поэтических отзвуках, в этом ритмическом звоне грустящих колоколов, вздыхающих откликах, вечной обреченности земного, неутолимой радости дарованного нам срока» [824].

Вера Николаевна говорит, что ошибаются те, кто ставит прозу Бунина выше его стихов; он «ввел жанр, редкие рифмы. Глубины мысли еще больше в стихах. Форма тоже совершенна. Кроме того, он ввел краски и тона в стихи» [825].

Совершенство формы стихов Бунина восхищало Н. А. Тэффи:

«Необычность его художественной власти над нами в его чудесном даре найти всегда именно тот изумруд, который, казалось, сами мы выбрать хотели, но почему-то не могли.

В „Избранных стихах“ Бунина (как и в неизбранных его стихах) всегда, в каждой строфе вы найдете такое слово или такой образ, который восхищает своей необходимостью».

«Мычит теленок, как немой…»

Никто не придумал этого раньше, а как просто и верно!

«Колтунный край древлян…»

Одно это слово «колтунный» — и довольно. Вы видите и знаете и чувствуете этих древлян.

«Большой *соловый* бык».

Или вот стихотворение почти сплошь из драгоценнейших единых слов:

«Сорвался вихрь, промчал из края в край
По рощам пальм *кипящий ливень дымом* —
И снова солнце в блеске нестерпимом
Ударило на зелень мокрых вай.

И туча, *против солнца смоляная*,
Над рощами вздвигалась как стена,
И радуга горит на ней цветная,
Как вход в Эдем, *роскошна* и страшна» [826].

Игорь Северянин посвятил Бунину-поэту замечательное стихотворение, оно вошло в книгу Северянина «Медальоны» (Белград, 1934):

БУНИНУ

В его стихах — веселая капель,
Откосы гор, блестящие слюдою,
И спетая березой молодою
Песнь солнышку. И вешних вод купель.

Прозрачен стих, как северный апрель,
То он бежит проточною водою,
То теплится студеною звездою.
В нем есть какой-то бодрый трезвый хмель.

Уют усадеб в пору листопада.
Благая одиночества отрада.
Ружье. Собака. Серая Ока.

Душа и воздух скованы в кристалле.
Камин. Вино. Перо из мягкой стали.
По отчужденной женщине тоска.

1925 г.

Летом 1927 года, в Грассе, Бунин начал «Жизнь Арсеньева». Работал он много, по выражению Кузнецовой, «убивался над своим „Арсеньевым“» [827]. Бунин и Галина Николаевна, помогавшая переписывать рукопись, говорили о романе «чуть не ежедневно, обсуждая каждую главу, а иногда и некоторые слова и фразы. Иногда, когда он диктует мне, — пишет Кузнецова, — тут же меняем, по обсуждению, то или иное слово. Сейчас он дошел до самого, по его словам, трудного — до юности героя, на которой он предполагал окончить вторую книгу» [828].

Тридцать первого октября Кузнецова уже перепечатывала первую книгу. Девятого ноября «рукопись сброшюрована, проверена, совсем готова для печати, но И. А. по обыкновению ходит и мучается последними сомнениями: посылать или не посылать? Печатать в январской книжке или не печатать? Но, думаю, исход предрешен, — он пошлет, помучив себя еще несколько дней. По складу его характера он не может работать дальше, не „отвязавшись“ от предыдущего <…> И. А. ни о чем, кроме книги, говорить не может и ходит в сомнамбулическом состоянии» [829].

И теперь, при писании этой книги, как бывало не однажды прежде, Бунина одолевали сомнения, казалось, что нельзя выразить и малую долю того, что он чувствовал, вспоминая пережитое, — все как будто было так безнадежно!

Седьмого февраля 1928 года, в Грассе, Бунин и Кузнецова «шли по Ниццкой дороге и говорили о второй части „Жизни Арсеньева“. Пройдя довольно далеко, заметили, что ночь хороша, что лунный дым стоит по всей долине и черными столбами подымаются ввысь кипарисы.

Иван Алексеевич говорил:

— Какой поднос получился! Тут и рябчики, и черная икра, и ананасы, и черный хлеб… Что это я наворотил! А как не писать, например, дальше о следующем лете, после моей зимней влюбленности в Анхен? Оно было тоже, пожалуй, удивительнейшим в моей жизни. Я испытывал чувство влюбленности в Сашу Резвую, дочь соседа помещика, красивую девочку с голубыми „волоокими“ глазами. Я решил не спать по ночам, ходить до утра, писать… Я чуть не погубил себе здоровья, не спал почти полтора месяца, но что это было за время! Под моим окном густо рос, цвел в ту пору жасмин, я выпрыгивал прямо в сад, окно было очень высоко над землей; тень от дома лежала далеко по земле, кричали лягушки, иногда на пруду резко

вскрикивали испуганные утки — ка-ка-ка-кра! — я выходил в низ сада, смотрел за реку, где стоял на горе ее дом… И так до тех пор, пока не просыпалось все, пока не проезжал водовоз с плещущей бочкой… как не написать всего этого! И нельзя, испортишь…

<…> Весь обратный путь мы говорили о романе, о том, как можно было бы писать его кусками, новым приемом, пытаясь изобразить то состояние мысли, в котором сливаются настоящее и прошедшее, и живешь и в том, и в другом одновременно.

Когда подымались по дороге к нашей вилле, между каменными оградами, по белой от луны тропинке, И. А. сказал:

— Запомни этот разговор и напомни мне потом…» [830].

«Арсеньева», еще далеко не доведенного до конца, предлагали по окончании издать отдельной книгой. О третьей книге и М. В. Вишняк, и И. И. Фондаминский, редакторы «Современных записок», где печатался роман, «отозвались восторженно, что, — пишет Кузнецова, — кажется, подняло И. А., почти уже подумывающего о том, чтобы покончить с „Арсеньевым“» [831]. Двадцать второго октября 1928 года Иван Алексеевич говорил Кузнецовой:

«Сегодня весь день напряженно думал… В сотый раз говорю — дальше писать нельзя! Жизнь человеческую написать нельзя! Если бы передохнуть год, два, может быть, и смог бы продолжать… а так… нет. Или в четвертую книгу, схематично, вместить всю остальную жизнь. Первые семнадцать лет — три книги, потом сорок лет — в одной — неравномерно… Знаю. Да что делать?» [832]

Чтение статьи Т. И. Полнера о дневниках С. А. Толстой навело Бунина на разговор о том, что жизнь человеческую можно выразить по-настоящему только в дневниках: «И вообще нет ничего лучше дневника. Как ни описывают Софью Андреевну, в дневнике лучше видно. Тут жизнь, как она есть — всего насовано. Нет ничего лучше дневников — все остальное брехня! Разве можно сказать, что такое жизнь? В ней всего намешано… Вот у меня целые десятилетия, которые вспоминать скучно, а ведь были за это время миллионы каких-то мыслей, интересов, планов» [833].

Тридцать первого июля 1929 года была кончена четвертая книга «Жизни Арсеньева». «Кончив ее, — пишет Кузнецова, — И. А. позвал меня, дал мне прочесть заключительные главы, и потом мы, сидя в саду, разбирали их. Мне кажется, это самое значительное из всего того, что он написал. Как я была счастлива тем, что ему пригодились мои подробные записи о нашем посещении виллы Тенар!» [834] — великого князя Николая Николаевича, смерть которого 6 января 1929 года описывается

Буниным в этой книге «Жизни Арсеньева».

Седьмого мая 1940 года Бунин отметил в дневнике: «„Жизнь Арсеньева“ („Истоки дней“) вся написана в Грассе. Начал 22.VI.27. Кончил 17/30.VII.29». И далее он приводит слова, несомненно выражающие настроение, с которым он писал «Жизнь Арсеньева», — впрочем, как и многое другое:

«„Один из тех, которым нет покоя.

От жажды счастья…“

Кажется, похоже на меня, на всю мою жизнь (даже и доныне)» [835].

Двадцать второго января 1930 года были получены экземпляры отдельного издания «Жизни Арсеньева». Оно состояло из четырех книг. Заключительная часть романа — книга пятая, «Лика», — не была еще написана.

Бунин здесь захватил многое очень широко. С описания народнического кружка в Харькове, в котором молодой Арсеньев «попал в совершенно новый» [836] для него мир, «Жизнь Арсеньева», пишет Кузнецова, «собственно перестает быть романом одной жизни, „интимной“ повестью, и делается картиной жизни России вообще, расширяется до пределов картины национальной. За завтраком И. А. прочел нам эту главу вслух» [837].

Говорили о том, вспоминает Кузнецова свои беседы с Буниным, как может быть принят «Арсеньев» в писательской среде и критикой. Волноваться по этому поводу были основания. Ведь это совершенно необычный по форме автобиографический роман, не похожий ни на одну из художественных автобиографий русской литературы. «Детство Багрова-внука», «Былое и думы», «Детство, отрочество, юность» и другие, менее крупные произведения этого рода, мало имеют точек соприкосновения с «Жизнью Арсеньева» в жанре, тоне, отличаются и в языке.

Для Мережковского, Гиппиус проза Чехова, Бунина — всего лишь натуралистическое искусство. Они не замечали того, что Чехов обновил форму рассказа, а новаторства Бунина не понимали. И в этом отношении они не одиноки. «Мы сами наивны, — пишет Кузнецова, — когда удивляемся, что они не чувствуют высокой красоты „Арсеньева“. Или этот род искусства просто чужд им и оттого никак не воспринимается ими, или даже воспринимается отрицательно» [838].

Один из столпов символизма Мережковский субъективно истолковывал Гоголя и некоторых европейских писателей. Он говорил, защищая Ф. К. Сологуба в споре с Буниным: «Вы можете любить или не любить, но вы должны признавать, что кроме вашего искусства, натуралистического, есть и другой род. В нем

действуют не действительные фигуры, а символы, что может быть даже и выше первого. Для вас „манекены“? Но ведь и Дон-Кихот манекен! А у Ибсена нет ни одного живого лица. А весь Гоголь — такие манекены. Но я не отдам одного такого гоголевского манекена из „Мертвых душ“ за всего вашего Толстого! А Гамлет? Разве живое лицо?» [839]

Отрицательно воспринял «Арсеньева» также писатель И. Ф. Наживин.

В зарубежье, как когда-то в России, Бунин слышал все те же безосновательные обвинения в натурализме, как в 1910-е годы, хотя для этого теперь еще меньше было поводов, так как он писал в иной манере по сравнению с тем, как написаны «Деревня» и «Суходол», «модерновой».

Опасения Бунина были напрасны: «Жизнь Арсеньева» имела большой успех; 17 ноября 1928 года Алданов писал Бунину:

«Помимо тех огромных достоинств, которые можно определить словами, в „Жизни Арсеньева“ есть еще какое-то непонятное очарование, — по-французски другой оттенок слова charme. Об этом в письме не скажешь…» [840]

Он писал:

«Немного можно было бы указать в новейшей русской литературе примеров столь заслуженного успеха. Но лишь теперь, прочтя книгу не в отрывках, а сразу и целиком, мы можем судить по-настоящему о красоте и силе нового произведения И. А. Бунина. Думаю, что „Жизнь Арсеньева“ занимает первое место среди его книг. Этим сказано, какое высокое место она занимает в русской литературе». Это, по его словам, «одна из самых *светлых* книг русской литературы» [841]. Алданов писал Бунину 2 января 1930 года:

«Славы вам больше никакой не может быть нужно — по крайней мере, в русской литературе и жизни. Вы наш первый писатель, и, конечно, у нас такого писателя, как вы, не было со времени кончины Толстого, который „вне конкурса“» [842].

В. В. Вейдле полагал, когда еще роман не был закончен, что «Жизнь Арсеньева» «будет самой исчерпывающей, самой полной — окончательной, в известном смысле слова, — книгой Бунина. Все возможности, как и все границы его искусства будут показаны в ней с еще небывалой глубиной. Каждая фраза, каждое слово „Жизни Арсеньева“ имеют только Бунину нужный и только Буниным достигаемый вес и звук» [843].

Бунин просил Кузнецову записать, что они говорили о рецензии Вейдле на «Жизнь Арсеньева». Кузнецова отметила, что очень правильно то, что сказано в первом абзаце статьи. «Жизнь Арсеньева», писал Вейдле, построена «не столько в виде

воспоминаний, автобиографии или исповеди главного ее героя, сколько как непрекращающаяся хвала всему сущему и прежде всего своему собственному бытию.

Молодость рассказчика представляется ему чем-то таким же непостижимым и прекрасным, как мир, окружающий его <…> непрерывным чудом. „Выйдя на балкон, я каждый раз снова и снова, до недоумения, даже до некоторой муки, дивился на красоту ночи: что же это такое и что же с этим делать!“ Это — основное переживание в книге, в этом в известном смысле — ее своеобразие. И Пруст, — продолжает Вейдле, — на противоположном полюсе искусства, также говорит о мартэнвильской колокольне, как Бунин о красоте ночи, с которой не знает, что делать и как проникнуть в ее глубину. Ни в русской, да и ни в какой другой литературе я не знаю книги, которая так вся целиком бы создалась вокруг этого единственного средоточия, не знаю, с чем сравнить это повествовательное песнопение, этот гимн благодарности молодости, миру и себе…» [844].

Жанр «Жизни Арсеньева» В. Ф. Ходасевич определил как «вымышленную автобиографию» или как «автобиографию вымышленного лица». Язык «Арсеньева» он возводит к Тургеневу, но у Бунина, по его словам, язык «гораздо строже, и вся вода и весь сахар Тургенева здесь отделены и удалены. Не по окраске, но по разнообразию, силе и точности язык „Жизни Арсеньева“ способен, я думаю, выдержать сравнение с языком Толстого и Достоевского. Во всяком случае — это, конечно, один из совершеннейших образцов русской прозы» [845].

По определению Ф. А. Степуна, «новое в „Арсеньеве“ не пластика, а музыка».

Подзаголовок романа «Истоки дней» — «это истоки не только данной жизни данного человека, — пишет П. М. Пильский. — В своей законной и естественной обобщаемости это — истоки вообще человеческих дней, наша связь с отдаленнейшим прошлым, повторяемость событий <…>

Ни у кого больше нет такой страшной уверенности в том, что нить мира непрерывна, что каждое существование является лишь следствием и суммой прошлого, никто так не убежден в неумолимых влияниях таинственной наследственности, как Бунин <…>

Это новое „детство и отрочество“, эта „юность“ рядом с однотемными книгами Аксакова, Горького, даже Толстого кажутся исключительными воспоминаниями, удивляющими глубиной мысли, обостренной памятливостью, художественным артистизмом, редкой литературной культурой. Роман вообще

поразителен. В своей рискованной оригинальности он шел, казалось бы, по опаснейшей дороге, отказавшись от интриги, отбросив фабулу, оставшись романом без сюжета, сосредоточив всю свою силу на неосязаемых явлениях души, ее тихом и скрытом росте, устранив героев, не пожелав ввести ни одного большого события.

С первой же главы озадачивал этот замысел, казалась дерзкой эта решимость сосредоточиться на еле ощутимых процессах детской души, вести роман без происшествий, пренебречь фактами, ничего не подчеркивать, ничего не сгущать, пленять темпом речи, ритмом строк, очаровательной музыкой тонкого мастера, не знающего стараний. В этом романе все живет, движется, говорит на своем таинственном языке, понятном для обостренного, для исключительно чуткого слуха, подаренного немногим <…>

Эта книга прозрачна, именно светла, мудра в своей ясной правдивости. Роман кажется вершиной горы: по ней неторопливо всходил большой человек, отчетливо видевший, живший смело и спокойно» [846].

При всей «блистательной россыпи слов», говорит Пильский, у Бунина «нигде это словесное сверкание не подчеркнуто», напротив, чувствуется «большая сдержанность. Роман подкупает спокойным и уверенным благородством стиля — отражение тоже спокойного и большого ума.

Поражает беллетристическая память Бунина, это обилие схваченных, накопленных, ни в чем не забытых мелочей, штрихов, мимолетных ощущений, проскользнувших и погасших чувствований. Здесь все сияет и все просто <…>

Влечет и интригует размер и масштаб романа, его многотемность, размах плана, но все утеснено в своей сжатости, все властно стиснуто, все строго собрано, спаяно в единую величавую цельность» [847]. Одна из тем — прошлое России. И «как много у Бунина любви к этому прошлому, к России, ее былой мощи, ее единственным видениям, краскам, осеням и веснам, как глубоко он понимает ее, органически чувствуя, и вспоминает в полной отчетливости, в ясности своего знания ее возможностей и силы, недостатков и нелепостей» [848].

Г. В. Адамович писал: «Каждое слово полно прелести <…> В каждом слове — острота, точность, безошибочная меткость» [849].

Адамович сравнивает «Арсеньева» с «Детством Багрова-внука» Аксакова и говорит: «Книга Аксакова есть повесть о былом, о прошлом, отжившем свое время и уступившем место настоящему <…> „Жизнь Арсеньева“ начинается с повествования о том, что было более полувека тому назад; мало того — Бунин заглядывает

и „во мрак времени“ <…> и тем не менее книга его читается не как история, не как спокойное повествование о былом, а как самая современная книга о современности <…> В бунинском необычайно целостном восприятии мира грани времени стираются, и все, что есть и что было, представляется как бы в одном плане» [850].

Рассказ о приезде Арсеньева в незнакомый ему Витебск, пишет Адамович, не просто отличное описание, а «воспроизведение, воскрешение» прошлого, «подобное описание граничит с волшебством.

И вот что следовало бы наконец единодушно признать, вот до чего можно было бы без лишних споров договориться: никто никогда в русской литературе не писал так, как пишет Бунин <…> Я вовсе не собираюсь утверждать, что не было в русской литературе книги равной „Жизни Арсеньева“. Большие произведения, взятые в целом, вообще не поддаются сравнениям и не терпят их. Каждое стоит особняком <…> „Жизнь Арсеньева“ — книга о России, о русских людях, о русской природе, об исчезнувшем русском быте, о русском характере, о всем том безмерно сложном и даже таинственном, что содержит в себе географическое название страны. Но как ни богато повествование этим национальным содержанием, как в этой плоскости ни горестно оно по тону, истинная тема „Арсеньева“ — иная. За Россией у Бунина — весь мир, вся не поддающаяся определению жизнь, с которой Арсеньев чувствует свое родство и связь. „Все во мне и я во всем“, можно было бы повторить знаменитую тютчевскую строку.

Да, русские картины и восхитительны, и заставляют иногда надолго задуматься, — как, например, в начале книги две главы о мещанине Ростовцеве, в семье которого пришлось мальчику Арсеньеву жить, о неискоренимой русской гордости, которой Ростовцев проникнут, гордости столь всем нам знакомой и памятной, принявшей теперь иное обличье, но по существу, конечно, все той же прежней, „исконной“. Да, замечательно и многое другое, оставшееся на поверхности темы, — как незабываемая страница о театре и актерах (стр. 292–293), где каждая черта беспощадно верна и правдива. И все-таки в самой существенной части своей „Жизнь Арсеньева“ говорит о чем-то более важном, глубоком и неизменном. Можно было бы привести много выдержек, которые все были бы между собой схожи, — потому что в каждой запечатлено то же недоумение, то же счастье, та же грусть, не имеющие ни названия, ни повода.

Я вспомнил тютчевскую строку о слиянии души с окружающим ее миром. Вспомню и слезы князя Андрея,

слушающего пение Наташи и не знающего, отчего ему хочется плакать. У Бунина нет разрешения этой вечной человеческой загадки, да разве и может на нее быть ответ, кроме таких слов, как „где-то“, „что-то“, „откуда-то“, „отчего-то“? — Арсеньев, как Андрей, готов иногда расплакаться от томящего его блаженно-безнадежного недоумения перед этим „отчего-то“ и „когда-то“. Он живет в мире, красота, стройность и цельность которого внушают ему восторг и доверие. Неудачи отдельных существований — даже, вероятно, и его собственного, — не могут ничего в его чувствах изменить. „Все добро зело“, склонен он был бы сказать. Но…

Впрочем, здесь лучше оборвать, лучше поставить точку. Невозможно, не впадая в расплывчатую, постыдную болтовню, объяснить смысл и содержание этого „но“, без которого не было бы у людей потребности ни в искусстве, ни в поэзии, ни может быть даже в молитве. „Жизнь Арсеньева“, конечно, — прежде всего поэзия, от случайного и временного уходящая к постоянному и беспредметному, как все, что словом „поэзия“ действительно достойно именоваться» [851].

Отдельные страницы книги Бунина, пишет Адамович, есть «непревзойденный образец словесного мастерства, изобразительности, силы, правды», язык его «волшебный». «Есть, например, в „Жизни Арсеньева“ страница или даже полстраницы, где Бунин рассказывает, как герой его приезжает зимним вечером в захолустный губернский город: этот снег, эта глушь, эти первые слабые звезды, эти молчаливо гуляющие парочки, — все это именно волшебство, иначе не скажешь! Это не описание, а воспроизведение, восстановление. Бунин как будто называет каждое явление окончательным, впервые окончательно найденным, незаменимым именем, и не блеск у него поражает, а соответствие каждого слова предмету и в особенности внутренняя правдивость каждого слова.

Кто у нас так писал? Толстой сам признавал, что ни он, ни Тургенев. Конечно, утверждений категорических в этой области быть не может. Каждый пишет по-своему, и некоторые толстовские страницы тоже ни с какими другими нельзя сравнивать. Но они — в ином духе и роде, к ним не применимо чисто стилистическое мерило… Рядом с бунинскими картинами естественно было бы вспомнить, пожалуй, только Лермонтова, ту его „Тамань“, о которой Бунин никогда не мог говорить без восхищения и волнения» [852].

Последняя, пятая книга «Жизни Арсеньева» написана Буниным в 1933 году и опубликована в журнале «Современные записки» (кн. 52, 53). Отдельно была выпущена издательством

«Петрополис» в 1939 году. В. Н. Муромцева-Бунина писала:

«Иван Алексеевич издал „Лику“ отдельно только потому, что „Жизнь Арсеньева“ была уже издана, но при первой возможности ввел „Лику“ как пятую книгу в свой роман „Жизнь Арсеньева“» [853].

Лика, выдуманная Буниным «на основе только *некоторой сути* пережитого» им в молодости [854], так захватила его, так покорила воображение, что стала для него живым лицом, «постепенно она начала все больше существовать, — говорил он Кузнецовой, — и вот сегодня во сне я видел ее, уже старую женщину, но с остатками какой-то былой кокетливости в одежде и испытал к ней все те чувства, которые должны были бы быть у меня к женщине, с которой сорок лет назад, в юности, у меня была связь. Мы были с ней в каком-то старинном кафе, может быть итальянском, сначала я обращался к ней на вы, а потом перешел на ты. Она сначала немного смущенно улыбалась… А в общем все это оставило у меня такое грустное и приятное впечатление, что я бы охотно увиделся с нею еще раз…»

«Слушая его и глядя на него, — пишет Кузнецова в дневнике 11 февраля 1933 года, — я думала, что и правда относительно существование вещей, лиц и времени. Он так погружен сейчас в восстановление своей юности, что глаза его не видят нас и он часто отвечает на вопросы одним только механическим внешним существом. Он сидит по двенадцать часов в день за своим столом и если не все время пишет, то все время живет где-то там… Глядя на него, я думаю об отшельниках, о мистиках, о йогах — не знаю, как назвать еще — словом, о всех тех, которые живут вызванным ими самими миром» [855].

Отзывы о «Лике» были в том же тоне, как и о предыдущих частях романа, который оценивался как большое событие в русской литературе. Г. В. Адамович в статье о «Лике» пишет: «Бунин принадлежит к художникам <…> толстовски-гетевского склада, и нигде, кажется, это не чувствуется с такой силой, как в „Лике“. История, рассказанная в ней, печальна. Она скорее должна бы настроить на мысли о бренности, о шаткости всего земного, чем вызвать спокойствие и радостную бодрость. Но, независимо от фабулы, порой даже вопреки ей, в книге столько восхищения бытием, признательности за него, какой-то неутолимой жадности к нему, что не поддаться ее духу невозможно. Лика умерла, люди, с которыми встречался юный Арсеньев, исчезли, но „не говори с тоской: их нет, а с благодарностию: были“. Прелесть бунинского творчества, особенно позднего, теперешнего, в том, что оно вовсе не слепо-восторженно, а как будто соединяет восторг с горечью, с

сознанием всего жестокого и страшного, входящего в ткань жизни, и что в его „финальном аккорде“ слышны какие-то дребезжащие, смущающие, очень человеческие отзвуки, не поддающиеся полному преодолению <…>

„Лика“ — повесть о страстном стремлении к любви и о невозможности одной любовью, только любовью, удовлетвориться. В этом смысле книга эта очень мужская, родственная тому, что отражено в размолвке Вронского с Анной Карениной: Вронский ведь любит Анну, а заставляет ее страдать только потому, что для него жизнь не исчерпывается любовью, как хотела бы Анна. У Бунина Арсеньев перед Ликой виноват, пожалуй, больше. Арсеньев эгоистичен и мало внимателен к любящей его женщине, и кое в чем ее обида основательна. Лика не случайно в прощальном письме желает ему быть счастливым „в новой, уже совсем свободной жизни“. Она чувствует, что свобода ему нужна, по меньшей мере, так же, как ее любовь <…>

Арсеньев путешествует по России (нрзб. одно слово. — А. Б.) то, что он видит в своих странствованиях, передано не „хорошо“ или „удачно“; это передано волшебно. Дело не в стиле, не в блестяще подобранных эпитетах, а в каком-то таком погружении в раскрывающийся перед нами мир, которое неожиданно придает безупречному реализму сказочные, призрачные черты. Приезд в Витебск — волшебен, нельзя иначе сказать: волшебны эти молодые евреи, тихо гуляющие по снежным улицам, и дальше костел с сумрачным многоцветным окном. Нелегко было бы объяснить, почему, но, если кто-нибудь скажет, что это „описание“, следовало бы возмутиться, как возмутился Арсеньев на слова Лики!

А страница о Полоцке, с противопоставлением двух его обликов, выдуманного и действительного! Кстати, для меня эта страница была своего рода ключом к одной из сторон бунинского творчества, к его чувству древней Руси. Давно, кажется, еще до войны, напечатал он в одном из своих сборников длинные стихи о князе Всеславе, стихи, поразившие меня чем-то непостижимо русским, без фальши, без коньков и петушков, унылым, широким, восстанавливающим историю, как сон»:

Что ж теперь, дорогами глухими,
Воровскими в Полоцк убежав,
Что теперь, вдали от мира, в схиме,
Вспоминает темный князь Всеслав?

Только звон твой утренний, София,

Только голос Киева! — Долга
Ночь зимою в Полоцке… Другие
Избы в нем, и церкви, и снега…

«Вот снова у него тот же Полоцк, те же избы, снега и церкви, и опять слова звучат так, будто рука в задумчивости перебирает струны. Читаешь в Париже, с трудом отрываясь от властно всех захвативших теперешних тревог и забот, и вдруг ловишь себя на том, что все забыто и остается только „какой-то темный, дикий, зимний день, какой-то бревенчатый Кремль, с деревянными церквами и черными избами, снежные сугробы, истоптанные конными и пешими в (нрзб. одно слово. — А. Б.) и лаптях“. В этой книге нет разделения между „поэзией“ и „правдой“, в ней одно становится другим» [856].

Бунин предполагал написать второй том «Жизни Арсеньева», иногда думал об этом даже с некоторым беспокойством. Седьмого сентября 1940 года он отметил в дневнике: «Нынче проснулся с мыслью, которая со сна показалась ужасной: „Жизнь Арсеньева“ может остаться не конченной! Но тотчас с облегчением подумал, что не только „Евгений Онегин“, но не мало и других вещей Пушкина не кончены…» [857] Все же планы продолжения романа так и остались планами, было сделано лишь несколько набросков [858].

О плане написать продолжение «Жизни Арсеньева» Бунин говорил жене 13 февраля 1929 года:

«Вот молодой человек ездит, все видит, переживает войну, революцию, а затем и большевизм и приходит к тому, что жизнь выше всего, и тянется к небу» [859].

М. А. Алданов вспоминает: «Не раз убеждали его писать второй том, он всегда отказывался: „Я там писал о давно умерших людях, о навсегда конченных делах. В продолжении надо было бы писать в художественной форме о живых, — разве я могу это сделать?“» [860]

В марте 1933 года в Лондоне вышел английский перевод «Жизни Арсеньева» под заглавием «The Well of Days» («Истоки дней»). Перевел Г. П. Струве в сотрудничестве с английским писателем Хэмишем Майлзом (Hamish Miles), известным своими переводами Андре Моруа и других французских прозаиков. Майлз не знал русского языка и должен был отредактировать перевод Струве[861].

Бунин отверг кандидатуру переводчика, американца русского происхождения — Max Farrester Eastman, предложенную

издательством «Hogarth Press», принадлежавшим известной писательнице Вирджинии Вульф (Woolf) и ее мужу Леонарду, — и просил, чтобы перевод сделал Г. П. Струве, который превосходно знал английский язык, так как некоторое время жил в Англии и учился в Оксфордском университете, с 1932 года состоял лектором Школы Славяноведения при Лондонском университете, куда был принят по рекомендации Бунина.

Для английского издания Бунин вставил в первые же строки слова: «Я, Алексей Александрович Арсеньев, родился полвека тому назад…»

Перевод и книга имели успех. Бунин писал 3 апреля 1933 года Г. П. Струве: «Рад, что хвалят перевод — и книгу…» [862]

Блестяще отозвался о романе и о переводе английский критик и драматург Эдуард Гарнет, автор книг о Тургеневе, Толстом и Чехове. Он писал в газете «The Manchester Guardian» в статье «A Russian genius»:

«Бунин такой замечательный художник, что он вызывает в нас картины бесконечно меняющегося миража времен года в Батурино, земли, полей, неба, садов, сначала изображая чувства задумчивого ребенка, а затем юноши, затерянного в загадочном мучительном „любовном счастье жизни“. В шести строках он может дать целый рой образов. Волшебная свежесть и полнота ощущений и чувств юноши смешиваются всюду с особым поэтическим ощущением пейзажа и глубокой страстной восприимчивости. Это потрясающе, что человек шестидесяти трех лет мог заключать в себе сердце и обладать душой и жизненным пульсом юноши; переводчики Глеб Струве и Гэмиш Майлз совершили чудеса, сделав превосходный перевод. Никакой экзамен для них не был более серьезным. Но теперь они должны снова это подтвердить, переводя „Суходол“» [863].

«Арсеньев» вышел также в Италии, Швеции и Норвегии. Бунин вел переговоры о французском издании, которое потом и вышло в свет.

Тут уместно вспомнить прекрасные слова К. Г. Паустовского:

«„Жизнь Арсеньева“ — это одно из замечательнейших явлений мировой литературы. К великому счастью, оно в первую очередь принадлежит литературе русской» [864].

В Париже был С. В. Рахманинов с женой и дочерьми. Девятого мая 1930 года они пригласили Ивана Алексеевича и Веру Николаевну на обед. У Сергея Васильевича Бунины встречались с композитором А. К. Глазуновым, с которым познакомились ранее — 11 сентября 1929 года у художника Сорина. Рахманинов возмущался тем, что в музыке царит модерн. Свой взгляд на

музыку сегодняшнего дня он выразил в интервью газете «The New-York Times» (1932, February 25). «Музыка, — сказал он, — должна оказывать „очищающее действие на умы и сердца“, но современная музыка не делает этого… Музыка не может ограничиваться краской и ритмом, она должна раскрывать глубокие чувства» [865].

Бунины уехали в Грасс. Вскоре прибыли на Ривьеру и Рахманиновы — на неделю. Второго августа 1930 года они явились на «Бельведер». У них был киноаппарат, снимали. В Рахманинове, писала Вера Николаевна, чувствуется «порода» [866], он мил и благостен. Встречались также 3 августа в Канн на берегу моря и 5-го — за завтраком у Алданова. Рахманинов рассказывал о Толстом. Он приезжал к нему с Шаляпиным в 1900 году. Играл Бетховена. По окончании исполнения Толстой хмурился, сурово молчал — ему не понравилось; сказал: «Нехорошо то, что вы играли» [867]. Это обескуражило Рахманинова. Он, вспоминая этот свой визит к Льву Николаевичу, говорил, что музыку Толстой понимал плохо, что в «Крейцеровой сонате», например, нет того, что он в ней находит [868]. Бунин защищал Толстого, говорил, что его нельзя судить «по нашим обычным меркам, что музыку он понимал, если, умирая, мог сказать: „Единственное, чего жаль, — так это музыки!“» [869]

Вновь начались хлопоты о Нобелевской премии Бунину. Принял участие в «акции» в его пользу в 1931–1932 годах славист академик В. А. Францев, также профессор Олаф Иванович Брок. Он писал П. Б. Струве 27 января 1931 года: «Я уже лично предложил Бунина кандидатом».

Переводческая деятельность профессора Лундского университета и поэта Сигурда Васильевича Агрелла и то, что он заботился о соответствующей информации для Шведской Академии наук, во многом способствовали присуждению Нобелевской премии Бунину. Изданию переводов содействовал также профессор русского языка Лундского университета Михаил Федорович Хандомиров. Бунин сообщал профессору Агреллу, что, по его мнению, лучше взять для издания в Швеции и из каких изданий переводить; тексты некоторых рассказов стилистически правил специально для переводчика. В начале 1930-х годов в Швеции было издано собрание сочинений Бунина в шести томах.

Пришло известие о присуждение Бунину Нобелевской премии. В официальном решении Шведской Академии говорится:

«Решением Шведской Академии от 9 ноября 1933 года Нобелевская премия по литературе за этот год присуждена Ивану Бунину за правдивый артистичный талант, с которым он

воссоздал в художественной прозе типичный русский характер»[870] [871].

Это было чрезвычайно важное событие в его жизни. День присуждения премии он назвал «великим» для него днем. Жизнь переменилась — он взволнован, растроган вниманием друзей, прессы. Чуть ли не все французские газеты сообщали о решении Нобелевского комитета, многие из них напечатали биографические сведения о лауреате, интервью с ним. Книги Бунина быстро раскупались и вскоре исчезли из магазинов. С премией кончились материальная неурядица и свирепое безденежье, временами ложившееся на него тяжелым бременем.

Вот как все произошло.

«Девятого ноября 1933 года, — рассказывает со слов Ивана Алексеевича Андрей Седых, — И. А. Бунин сидел на дневном сеансе в кинематографе Грасса. Шла какая-то „веселая глупость“ под названием „Бэби“, и Бунин смотрел с особенным удовольствием, — играла хорошенькая Киса Куприна, дочь Александра Ивановича. Вдруг в темноте загорелся луч ручного фонарика. Л. Ф. Зуров тронул писателя за плечо и сказал:

— Телефон из Стокгольма. Вера Николаевна очень волнуется и просит поскорее прийти домой.

Первое, что подумал Бунин: жаль, так и не узнаю, что стало с Кисой в конце фильма. Отправились домой. По дороге Бунин начал расспрашивать: что, собственно, сказали?

— Непонятное что-то. Премия Нобеля… Ваш муж…

— А дальше?

— А дальше не разобрали.

— Не может быть. Вероятно, еще какое-нибудь слово было. Например, не вышло, очень сожалею…» [872]

Вера Николаевна, пишет Кузнецова, «так дрожала, что ничего не могла понять» [873], встретила пришедших из кино Бунина, Кузнецову и Зурова «красная и до крайности взволнованная»; «потом начались почти непрестанные телефонные звонки из Стокгольма и разных газет. За огромностью расстояния никто ничего не понимал, и говорить и слушать и отвечать на интервью приходилось почти исключительно мне, так как я одна могла хоть что-нибудь улавливать из гудящей трубки. Потом принесли телеграмму от Шведской Академии. Тут уж мы все поверили. Но это было только начало… Весь вечер не умолкали звонки из Парижа, Стокгольма, Ниццы и т. д. Уже все газеты знали и спешили получить интервью». За обедом пили шампанское, Иван Алексеевич «был чрезвычайно нервен, на всех все время сердился, и все вообще бегали и кричали» [874].

Телеграмму в тайне не сохранили, всем все стало известно —

и на rue de Grenelle, в советском посольстве, а оттуда — «энергичный протест», — писал Бунин Б. К. Зайцеву 6 ноября 1933 года [875]. Отношение кремлевских владык к решению Шведской Академии выразила «Литературная газета», напечатавшая статью (1934, 18 января) в недоброжелательном тоне «Бунин, Горький и Шведская Академия»; без подписи, с заметкой от редакции.

На запрос из Стокгольма о гражданстве Бунин ответил, что он «réfugié» — беженец.

Четырнадцатого ноября Бунин отправился в Париж — один: привести в порядок личные дела, встретиться с друзьями. На Лионском вокзале встретили А. Седых, Б. Зайцев и М. Алданов. Остановился Бунин в превосходном отеле «Мажестик» — отвели для него целые апартаменты, а плату взять за эту роскошь отказались, платил Бунин столько, сколько полагалось за небольшой номер. «Это нам честь», — говорил хозяин. Не брали деньги и за обеды в лучших ресторанах, стоившие до тысячи франков, «почести ему большие», он «очень устал, по ночам не спит» [876], а еще предстояли многие чествования и большой банкет, к которому должны приехать из Грасса обитатели «Бельведера».

Русский Париж ликовал при известии о премии русскому писателю, люди обнимались, поздравляли друг друга. Их как бы охватило, по выражению Б. К. Зайцева, «некое полоумие». Нищая эмиграция победила![877] Борис Константинович спешно писал статью «Бунин увенчен» — для «Возрождения», писал в типографии, в два часа ночи; напечатана была 10 ноября.

«Возрождение» чествовало Бунина. Б. К. Зайцев произнес речь о лауреате (опубликована в этой газете 28 ноября 1933 года). Торжества были и в «Последних новостях» П. Н. Милюкова, который, в числе других, поддержал кандидатуру Бунина на премию.

Многолюдное собрание происходило в театре «Champes Elysées» — в театре «Елисейских Полей». Вера Николаевна — в ложе с митрополитом Евлогием. Присутствовали: А. Куприн, Б. Зайцев, П. Милюков, В. Маклаков, М. Алданов, Н. Тэффи, А. Осоргин, В. Ходасевич, Н. Кульман, В. Коков, Поль Буайэ, И. А. Алексинский; получено было около восьмисот приветствий. Об этом вечере писали «Последние новости» (27 ноября) и «Возрождение» (28 ноября). Союз русских писателей и журналистов устроил торжественный вечер лауреату. Бунин взволнован, в редакции газеты «Россия и Славянство» на молебне плакал.

В числе многих поздравительных писем и телеграмм была

получена из Нью-Йорка телеграмма С. В. Рахманинова: «Ivan Bounine, Villa Montlleuri, Grasse; Sincere congratulations from New-York. Rachmaninoff». — «Иван Бунин, вилла Мон-флери, Грасс; Искренние поздравления от господина из Нью-Йорка. Рахманинов».

Поздравили:

А. И. Куприн: «Tu as merité felicitation». («Ты достоин поздравления».)

Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус: «Felicitations cordiales». («Сердечно поздравляем».)

Дон Аминадо (Шполянский): «Embrassons de tout coeur». («Сердечно обнимаю».)

Также прислали телеграммы: Marie Michel Andre Bloch, И. П. Демидов, сотрудник «Последних новостей», внук Вл. Даля; М. А. Алданов, В. Ф. Ходасевич, Г. В. Адамович; из Стокгольма — Chessin; Борис и Н. Лазаревские, Б. К. Зайцев; Тэффи и Jeakstiones: «A la gloire de la litteratur russe salut». («Приветствуем славу русской литературы».)

От Струве (по-русски): «Трижды ура от пятнадцати Струве». М. И. Цветаева поздравление с премией Нобеля адресовала Вере Буниной: «Premier prix Nobel Noblesse perseverance feminine». («Первая Нобелевская премия благородству и постоянству у женщины».)

Читая прессу о нобелевских днях Бунина, кстати будет припомнить сказанные Верой Николаевной слова: без писателей «у эмиграции совсем не было бы никакого оправдания. Если о России говорят, что она велика лишь Толстым, Гоголем да Достоевским с Пушкиным, то что сказать об эмиграции, если отнять у нее писателей?».

Иван Алексеевич и Вера Николаевна сделали визит к Шаляпину, с которым не встречались давно, Вера Николаевна не видела его почти восемнадцать лет; он был, по ее словам, любезен, гостеприимен. Квартира богатая, с редкими вещами.

Посетил Иван Алексеевич и Мережковских. Зинаида Николаевна сказала:

— Ну что, облопались славою?

Дмитрий Сергеевич был угрюм, неразговорчив. Бунин выдержал положенные тридцать минут и удалился.

Ранее, когда только обсуждались в прессе возможные кандидатуры лауреатов, Мережковский предлагал Бунину заключить соглашение, заверив его у нотариуса: кто из них станет нобелевским лауреатом, другому отдаст половину премии. Бунин потом говорил:

— Зачем мне деньги Мережковского?

В Стокгольм отправляются с Буниным Вера Николаевна и Г. Н. Кузнецова — она неофициально, как туристка и fille adoptiv[878]. В качестве литературного секретаря и корреспондента различных газет сопровождал Ивана Алексеевича Андрей Седых (Яков Моисеевич Цвибак) — писатель и журналист, знавший иностранные языки, человек деловой, энергичный. Он «принимает все более командорский вид, — пишет Кузнецова. — Временами у него бывают жесты почти полководца. На Ивана Алексеевича он имеет большое влияние и недаром» [879] — помощь его была неоценима. Андрей Седых говорит в своих воспоминаниях, что он «принимал посетителей, отвечал на письма, давал за Бунина автографы на книгах, устраивал интервью» [880].

Третьего декабря Бунин уехал в Стокгольм. Ближайшие друзья сперва собрались в отеле «Мажестик», оттуда вместе с ним поехали на Северный вокзал — М. А. Алданов, баронесса Л. Врангель, М. Вишняк, В. Ельяшевич, В. А. и Б. К. Зайцевы, Л. Зуров, Б. Лазаревский, Л. Львов, П. Нилус, В. Рудин, М. Федоров, М. С. и М. О. Цетлины и другие.

Шестого декабря в Стокгольме встречали — русская колония и другие. Остановились в семье Нобелей-Олейниковых. Олейников был женат на сестре Нобеля. Квартира великолепная, мебель из красного дерева, всюду цветы; отдельный апартамент Бунина — из трех комнат; служит русская горничная, выписанная из Финляндии. Иван Алексеевич «вел себя как enfant terrible[881] все время, кроме часов на людях, на банкетах и в гостиных, где был очарователен и неотразим, по всеобщему мнению. Дома же болел, и мы все возились с ним» [882], — пишет Кузнецова.

По словам А. Седых, «успех Буниных в Стокгольме был настоящий… Десятки людей говорили мне в Стокгольме, что ни один нобелевский лауреат не пользовался таким личным и заслуженным успехом, как Бунин» [883].

Программа чествования Бунина была обширная, особенно

запомнился секретарю вечер святой Лючии. Бунин вошел в зал «под звуки туша, тысячи людей поднялись с мест и разразились бурей аплодисментов. Бунин двинулся вперед, по проходу, — овация ширилась, росла. Он остановился и начал кланяться ставшими знаменитыми в Стокгольме „бунинскими“ поклонами. Потом выпрямился, поднял руки, приветствуя гремевший, восторженный зал. А навстречу к нему уже шла святая Люция, разгоняющая мрак северной ночи, белокурая красавица с короной из зажженных семи свечей на голове. Дети в белых хитонах несли впереди трогательные бумажные звезды, и оркестр играл Санта Лючию… Но вот, как-то совсем незаметно, наступил и день торжества вручения нобелевской премии, происходящего каждый год десятого декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля» [884].

Кузнецова пишет: «В момент выхода на эстраду Иван Алексеевич был страшно бледен, у него был какой-то трагически-торжественный вид, точно он шел на эшафот или к причастию. Его пепельно-бледное лицо наряду с тремя молодыми (им по тридцать — тридцать пять лет) прочих лауреатов обращало на себя внимание. Дойдя до кафедры, с которой члены Академии должны были читать свои доклады, он низко с подчеркнутым достоинством поклонился <…>

Первые, физики и химики, получили премию весело, просто. За третьего, отсутствующего, получил премию посол. Когда настала очередь Бунина, он встал и пошел со своего места медленно, торжественно, как на сцене» [885].

Эстрада была украшена только шведскими флагами — из-за Бунина.

Лауреатов отвезли в Гранд-отель, откуда они должны будут перейти на банкет, «даваемый Нобелевским комитетом, — пишет в дневнике Бунин, — на котором будет присутствовать кронпринц, многие принцы и принцессы, и перед которым нас и наших близких будут представлять королевской семье, и на котором каждый лауреат должен будет произнести речь.

Мой диплом отличался от других. Во-первых, тем, что папка была не синяя, а светло-коричневая, а во-вторых, что в ней в красках написаны в русском билибинском стиле две картины, — особое внимание со стороны Нобелевского комитета. Никогда, никому этого еще не делалось» [886].

В Гранд-отеле, на банкете, Бунину предстояло в «огромном чопорном зале, перед двором, говорить речь на чужом языке <… > Он говорил, — пишет Кузнецова, — отлично, твердо, с французскими ударениями, с большим сознанием собственного достоинства и временами с какой-то упорной горечью» [887].

Премию Бунин получил, как он сказал корреспонденту газеты

«Матэн», «возможно, что за совокупность моих произведений… Я, однако, думаю, что Шведская академия хотела увенчать мой последний роман „Жизнь Арсеньева“» [888].

Семнадцатого декабря Бунин уехал из Стокгольма.

Значительную сумму из полученной премии Бунин раздал нуждавшимся. Был создан комитет по распределению средств. Иван Алексеевич говорил корреспонденту газеты «Сегодня» П. Пильскому: «…Как только я получил премию, мне пришлось раздать около 120 тысяч франков. Да я вообще с деньгами не умею обращаться. Теперь это особенно трудно. Знаете ли вы, сколько писем я получил с просьбами о вспомоществовании? За самый короткий срок пришло до двух тысяч таких посланий» [889].

Куприн, получив дар от Бунина, писал в 1934 году:

«Милый Иван Алексеевич, Дорогой и старинный друг.

Не знаю, как и выразить мою признательность за твой истинно царский Дар. Обнимаю тебя крепко, целую сердечно. Благодарю тысячу раз. Ты представить себе не можешь, во дни какого свирепого, мрачного безденежья пришли эти чудесные пять тысяч, и как на редкость была кстати твоя братская помощь!

Христос с тобою, будь здоров, счастлив, спокоен духом.

Твой А. Куприн».

В замыслах Бунина было написать книгу воспоминаний. Он сообщал Г. П. Струве 4 июня 1934 года, что предложил фирме George Allen and Unwin в ответ на полученное письмо — вступить в соглашение с ним об издании «книги о себе (автобиографической, воспоминания литературные, политические и т. д.) <…> Если бы эта фирма, — говорит он, — *заказала* мне такую книгу за *хорошие* деньги, я бы сел писать ее, а вы переводили бы» [890].

Фирма ответила, что она «очень заинтересована… предложением написать автобиографию» [891].

«Воспоминания» были изданы (по-русски) в 1950 году в Париже, в издательстве «Возрождение».

В 1934–1936 годах издательство «Петрополис» выпустило в Берлине собрание сочинений Бунина в одиннадцати томах. Для этого издания он основательно правил все ранее написанное, главным образом сокращал, как он это обычно делал, совершенствуя стиль прозы и стихов. Этим изданием подводился итог литературной работы Бунина почти за пятьдесят лет — с 1887 года, с первых рассказов и стихов, появившихся в печати.

В ноябре 1935 года Бунин приезжал в Бельгию. Он писал Н. Я. Рощину 19 ноября из Брюсселя:

«Меня очень чествуют. На вокзале — встреча: представители

русской колонии, журналисты, фотографы (это 16 вечером). После сего (вечером же) — обед в Русском клубе.

Речи, приветствия. 17-го, в пять часов, было мое выступление, — народу пушкой не пробьешь. Читал не плохо! Овации. Нынче (19-го) вечером я у Пушкиных (Николай Александрович, родной внук Александра Сергеевича). Завтра — 20 ноября, (письмо продолжается вырезкой из газеты. — А. Б.)

„20 november, à 12 h. 30, le Cercle de Г Avenue et le Club des Ecrivsins beiges de langue française (Pen Club) reçoivent à déjeuner le Prix Nobel, Ivan Bounine qui à l'issue du repas célèbrera le 25-e anniversaire de la mort de Tolstoi“».[892] («20 ноября в 12 часов 30 минут бельгийские писатели устраивают завтрак в честь нобелевского лауреата Ивана Бунина, который в конце приема отметит 25-ю годовщину со дня смерти Толстого»).

«Завтра же надеюсь быть часов в восемь вечера в Париже», — добавлял он в конце письма.

В 1936 году Бунин по издательским делам отправился сначала в Чехословакию, а потом в Германию. Там он впервые столкнулся с фашистскими порядками. Немцы его арестовали 27 октября в Линдау, куда он приехал по пути в Швейцарию, и очень грубо обошлись с ним: бесцеремонно обыскивали, привели в какую-то камеру и молча срывали с него пальто, пиджак, жилет, разули. «От чувства такого оскорбления, которого я не переживал еще никогда в жизни, от негодования и гнева я был близок не только к обмороку, но и к смерти, от разрыва сердца», — писал он в редакцию газеты «Последние новости» (1936, № 5700, 1 ноября). Было ощущение, по его словам, что находишься в сумасшедшем доме.

Потом вели под конвоем в проливной дождь через весь город; когда привели, вероятно, в арестантский дом, осматривали каждую его вещицу, — точно это был «пойманный убийца», — каждую бумажку, каждое письмо, каждую страницу рукописи и кричали:

— Кто это писал?! Большевик?! Большевик?!

При виде портретов Толстого в книгах плевали и топали ногами:

— А, Толстой, Толстой.

Газета «Последние новости» (1936, № 5702, 3 ноября) сообщала о протесте шведской печати по поводу издевательств над нобелевским лауреатом.

На арест Бунина откликнулся Л. В. Никулин заметкой в «Литературной газете» (1936, № 73, 31 декабря), в которой писал:

«…Свой не узнал своего на германской границе».

Будучи еще в Праге, Бунин извещал Татьяну Львовну Толстую письмом от 22 октября 1936 года, что «надеется дней через пять быть в Риме»[893] и посетит ее. Теперь же Рим отодвигался на ноябрь. Восьмого ноября он писал Татьяне Львовне: «Выезжаю в Рим завтра (понедельник 9-го), должен быть в Риме *послезавтра* (вторник 10-го) вечером <…> Остановлюсь, вероятно, в Hôtel de Russie».

Он побывал у Татьяны Львовны, с которой с давних пор был знаком, вел с нею дружескую переписку, встретился с Вяч. Ивановым и уехал в Париж, по неизвестной причине, раньше, чем предполагал.

В октябре 1936 года приезжал в Париж из Брюсселя А. Н. Толстой. В Бельгии он участвовал в конгрессе защиты мира. В парижском кафе на Монпарнасе случайно (случайно ли?) встретился с Буниным; убеждал его возвратиться в Советский Союз; он сам живет в роскоши, а Бунина встретят с колоколами. Возвратившись в Москву, А. Н. Толстой напечатал статьи, в которых писал, что «Жизнь Арсеньева» и другие произведения последних лет ничего не стоят[894].

В столетие со дня смерти Пушкина, в 1937 году, Бунин участвовал в вечерах и собраниях, посвященных памяти поэта. Он писал в юбилейные дни:

«*Пушкинские торжества*. Страшные дни, страшная годовщина — одно из самых скорбных событий во всей истории России, что дала Его… И сама она, — где она теперь, эта Россия?»

> «Красуйся, град Петров, и стой
> Неколебимо, как Россия…»
> — О, если б узы гробовые
> Хоть на единый миг земной
> Поэт и Царь расторгли ныне.

(Начало стихотворения Бунина «День памяти Петра»)

Эту запись Бунин сделал для С. М. Лифаря (который любезно сообщил ее нам), артиста балета и режиссера в театре Дягилева и Гранд-опера, организовавшего Пушкинскую выставку в Париже.

Лифарь не только знаменитый танцовщик, автор книг по театральному искусству, член-корреспондент Французской Академии изящных искусств, он также известен своим увлечением Пушкиным — собиранием его реликвий, автографов, работами о нем, — в частности, он автор книги «Моя зарубежная Пушкиниана» (Париж, 1966).

О Лифаре, участнике пушкинского юбилея, Бунин говорил с большим восхищением. Они были знакомы раньше, встречались не однажды.

«С Иваном Алексеевичем, — писал Сергей Михайлович Лифарь 6 февраля 1974 года, — я встречался в течение многих, многих лет, проведенных нами здесь, в зарубежье <…> Встречались мы у Мережковских, у Рахманинова, у Прегель (поэтессы. — А. Б.) и часто в парижских „Café“, на Монмартре („Ротонда“, „Флор“, „Два Маго“ etc.), где можно было встретить Бунина с Шаляпиным, Адамовичем, Сазоновой (Юлия Леонидовна Сазонова, литературовед. — А. Б.), Зайцевым. Величали Бунина на парижских „Литературных вечерах“, сегодня испарившихся, в „Русской Консерватории“ (им. Рахманинова). После второй мировой войны я встречался с Иваном Алексеевичем на юге Франции (Côte d’Azur) — Grasse, Antibes, Juan-les-Pin, Cannes <… >

Драгоценно было мое сближение с Иваном Алексеевичем, происшедшее в 1937-м, юбилейном году, когда весь мир праздновал столетнюю годовщину смерти Пушкина.

Благодарственную речь мне от имени Мирового Пушкинского Комитета составил и произнес Бунин (18 апреля 1937 года в Русском ресторане Корнилова. — А. Б.).

Тогда же он вручил мне золотую медаль с изображением Пушкина, присужденную мне за мной устроенную Пушкинскую выставку в Париже».

Сохранилась фотография: Бунин произносит обращенную к Лифарю речь — слово о великом артисте, участнике пушкинских торжеств.

В своей речи Бунин сказал:

«Пушкинский Комитет в лице вашем чествует одного из самых молодых членов, и мы горды сознанием, что именно один из младших участников нашего общего Пушкинского дела оказался достойным быть особо отмеченным в эти дни всемирного Пушкинского прославления. В русском зарубежном поминовении Пушкина вам досталась совсем особая роль, подлинно Пушкинская миссия. И с этой, возложенной на вас миссией вы справились прекрасно и вдохновенно.

Пушкинский Комитет уже имел случай не раз выражать вам свою признательность за ваше ревностное участие во многих его начинаниях. Ибо ни одно из больших парижских прославлений Пушкина в эти последние годы не прошло без того, чтобы ваше имя не украшало Пушкинские артистические программы. На праздниках Пушкинского искусства неизменно торжествует и ваше вдохновенное искусство, искусство замечательного артиста,

творца танца и хореографии. Первый танцовщик и балетмейстер Парижской Оперы, всемирно прославленный и излюбленный всем Парижем, вы, Сергей Михайлович, не забыли своей кровной связи с Россией и с русским народом, и культу величайшего русского гения себя всецело посвятили. В этом Пушкинском служении здесь, вне Русской Земли, перед лицом иностранцев, вы сумели добиться прямо поразительных результатов, побудив многошумный, живущий иными помыслами Париж заинтересоваться великим творчеством Пушкина среди тревог и забот, обуревающих сейчас мир.

Но ваша заслуга, Сергей Михайлович, не только в этом. Пушкинский Комитет не может не отметить и другого вашего бесспорного достижения в области русского Пушкинизма. На вашу долю выпало счастье стать обладателем драгоценных Пушкинских реликвий — писем великого русского поэта, во французских подлинниках, остававшихся неизвестными до того, как они перешли к вам, а вы не оставили их под спудом. Приобретя их, и тем, может быть, спасши их от рассеянья и забвенья, или безвестности еще на долгий срок, вы сделали их общим достоянием. Вы воспроизвели их в фототипическом обличии подлинников в издании „Письма Пушкина к Н. Н. Гончаровой“ подобно тому, как еще до этого ранее общим достоянием стало и Пушкинское предисловие к „Путешествию в Арзрум“, найденное вами в Париже. Этим бережением и умелым воспроизведением Пушкинских страниц вы оказали большую, бесспорную услугу Пушкинизму, русской науке, русской культуре. Ваше юбилейное издание „Евгения Онегина“ явилось новым подарком русской эмиграции.

И, наконец, ваша Пушкинская выставка. Несомненно, что выставка „Пушкин и его эпоха“ явилась совершенно исключительным и блестящим завершением всемирного прославления Пушкинского гения. Только на нашей родине было бы возможно создание того, что возникло здесь в Париже в эти дни по вашей прекрасной инициативе и с вашей жертвенной готовностью служить культу Пушкина. Вы отважились и сумели преодолеть бесчисленные, не только материального свойства, но и, возникавшие все время, всякого рода препятствия, и без какой-либо поддержки со стороны официальных инстанций открыли свою Пушкинскую выставку. Своим вдохновенным примером вы сумели заразить и зажечь сердца и некоторых наших замечательных коллекционеров, хранителей русских художественных сокровищ за границей и просто русских культурных людей, являющихся обладателями той или другой Пушкинской книги или Пушкинской реликвии. В своем

стремлении сделать Пушкинскую выставку достойной Пушкинского гения, вы сумели объединить около себя опытных и преданных Пушкинскому делу сотрудников. Так утвердили вы на некоторое время в самом сердце Парижа настоящий Пушкинский Дом, наш русский Пушкинский музей и смогли тем самым открыть и иностранному миру блистательные страницы русского творчества, русского искусства, русской культуры, осененные гением великого русского поэта.

За это Пушкинский Комитет приветствует вас сегодня, дорогой Сергей Михайлович, и приносит вам благодарность с выражением любви и восхищения вами, одним из творчески вдохновенных своих сочленов. Пушкинский Комитет счастлив, что может сказать все это вам. Он верит и знает, что он не одинок в этом признании ваших заслуг и что эти приветственные слова, обращенные сейчас к вам, вместе с ним повторит и вся русская колония в Париже, все наше культурное русское зарубежье»[895].

О своем согласии быть членом Пушкинского юбилейного мирового комитета Бунин сообщал в письме к Лифарю еще 4 февраля 1935 года: «Нынче ваше письмо, дорогой друг, насчет Пушкинского Комитета. Благодарю за внимание, согласен»[896].

Восьмого февраля 1937 года в Париже вышла однодневная газета «Пушкин», Бунин поместил в ней главу из «Жизни Арсеньева», посвященную Пушкину.

Тридцать первого января Иван Алексеевич выступил на пушкинском вечере, «читал очень хорошо», — пишет Вера Николаевна.

В газете «Последние новости» (1937, № 5798, 7 февраля) сообщалось, что 11 февраля в зале Иена на торжественном собрании в 100-летнюю годовщину смерти Пушкина выступит с речью Бунин. Он должен был также читать произведения Пушкина на литературно-музыкальном вечере, посвященном памяти поэта, 6 марта 1937 года «в частном доме»[897].

В конце апреля Бунин выступил на вечере памяти Евгения Замятина, скончавшегося в Париже 10 марта 1937 года, и прочитал, «со свойственным ему искусством»[898], «Дракона» Е. И. Замятина.

Бунин писал драму, постановка которой ожидалась в театре к открытию сезона 1937/38 года. Газета «Последние новости» (1937, № 5899, 20 мая) писала: «Можно считать почти решенным делом, что будущий сезон в Русском драматическом театре в Париже откроется пьесой И. А. Бунина. Это будет первое драматическое произведение знаменитого писателя».

Пьеса Бунина на сцене не появилась. Из всех попыток

написать драму — в молодые еще годы и позднее — так ничего и не вышло. Когда его просили писать для театра, он напоминал о саркастическом изображении в «Жизни Арсеньева» (кн. V, гл. 8) знаменитых драматургических персонажей и говорил:

«Сцена всегда манила и пугала меня, но я не хочу на старости лет обжигаться огнями рампы <…> Друг мой, — обращался он к своему собеседнику, сотруднику газеты „Сегодня“ (Рига) А. К. Перову, — я думаю, что те, кто просит меня о пьесах, совсем не знают меня как писателя! Ну, какой я драматург, это не моя сфера, мне ближе всего созерцание, а не действие. Начать писать пьесы — это полностью настроить свою лиру на другой лад, полностью переключиться на другие законы жанра, а я этого не хочу, и это не для меня!»[899]

В 1937 году в Париже вышла книга Бунина «Освобождение Толстого».

К Толстому он обращался часто, жил в постоянном восхищении им, нередко писал о нем и спорил страстно с теми, кто, не понимая его глубины и величия, не находил у него мудрости философа и творца, противопоставлял Достоевскому и «декаденствующим», отдавая им предпочтение перед Толстым.

Он говорил, возражая Ф. А. Степуну, что «образное мышление Толстого — это высшая мудрость <…> что философия начинается с удивления и что у Толстого это удивление изумительно передано. Приводил, — пишет Кузнецова, — то место, где Оленин (в „Казаках“. — А. Б.) в лесу чувствует себя слившимся со всем миром, говорил о том, какие бездны тут заложены»[900].

Как писал Г. В. Адамович, Бунин «не допускает никаких бесконтрольных метафизических взлетов, не верит в них, он ценит только то, что как бы проверено землей и земными стихиями <…> Толстой для него максимально духовен <…> Оттого-то он недоумевал и хмурился, читая Достоевского: его герои, самые его темы и положения казались ему слишком беспрепятственно духовны. Им „все позволено“, не в смердяковском смысле, а в ином: любой взлет, любое падение, вне контроля земли и плоти. У Достоевского — сплошной непрерывный полет, и потому — для художника бунинского склада — в замыслах его слабая убедительность. Если порвалась связь, мало ли что можно сочинить, что вообразить, о чем спросить? Если человек слушает только самого себя, мало ли что может ему послышаться? Это как бы вечный упрек Толстого Достоевскому, и в распре этой Бунин полностью на стороне Толстого. Ему кажется прекрасным и глубоко основательным то,

что связь никогда не рвется, что человек остается человеком, не мечтая стать ангелом или демоном, ему уныло и страшно в тех вольных, для него безумных, блужданиях по небесному эфиру, которые соблазнили стольких его современников.

Вражда Бунина ко всем без исключения „декадентам“ именно этим, конечно, и была внушена. Нелегко решить, был ли он в этой вражде вполне прав. Исторически — сомнений быть не может: да, он справедливо негодовал на декадентские крайности, на кривляние и ломание наших доморощенных „жрецов красоты“, на претенциозный вздор, украшавший мнимо-передовые журналы. Время оказалось на его стороне»[901].

Бунин в своей книге захватывающе нарисовал живой облик Толстого, в котором сочетались многие противоположные черты.

О том, что Бунин дает новое ощущение Толстого, писал В. Ф. Ходасевич:

«Книга Бунина есть попытка вновь Толстого увидеть, почувствовать. С этой стороны он удался автору как нельзя более. Из огромной литературы о Толстом Буниным извлечены и необыкновенно убедительно сопоставлены черты наиболее резкие и выразительные. Превосходно сделаны записи интереснейших рассказов о Толстом покойной Е. М. Лопатиной. Но всего лучше, конечно, собственные воспоминания Бунина о его немногих и мимолетных, но со всех точек зрения замечательных встречах с Толстым. По мощной простоте языка, по необыкновенной зоркости, наконец — по внутренней теплой строгости эти страницы, прямо скажу, были бы достойны подписи самого Толстого. Во всей мемуарной литературе о Толстом, конечно, они не имеют себе равных.

„Освобождение Толстого“ есть книга о живом Толстом и книга, пронизанная живым ощущением Толстого. Ради того, чтобы передать это ощущение, она и написана» [902].

Секретарь Толстого Н. Н. Гусев писал: «Книга Бунина представляет совершенно исключительное явление во всей колоссальной литературе о Толстом. Ее основная идея — глубоко справедлива, и Бунину делает честь, что он первый так глубоко осветил самую сокровенную внутреннюю жизнь Льва Толстого» [903].

П. М. Бицилли отмечал, что Бунин писал не на узко бытовые темы — даже в ранних рассказах, — но проникал в сложные проблемы человеческого бытия, и в этом, между прочим, его сходство с Толстым. «Все его вещи, — говорит Бицилли, — и те, что казались когда-то „бытовыми очерками“, и нынешние, подлинные поэмы в прозе — в сущности, вариации на одну, толстовскую, сказал бы я, тему — жизни и смерти <…> Лишнее

доказательство духовного сродства Толстого и Бунина: одинаковая зоркость, непогрешимое чутье всякой фальши, условности, внешней красивости и одинаковая сила ненависти ко всему этому. У обоих это связано с главной темой их раздумий, тем таинственным, невыразимым, что составляет настоящую, неподвластную Смерти, основу жизни, ее суть и ее правду. Толстого эти раздумья привели к руссоистскому культу „простоты“ <…> Бунин в этом требовательнее и, следовательно, метафизически правдивее Толстого» [904].

О влиянии Толстого на Бунина Адамович пишет:

«Бунин сказал:

— Толстой, у которого за всю жизнь, во всех его книгах не было ни одного фальшивого слова!..

В этом смысле он считал себя учеником Толстого <…> О Толстом он неизменно говорил с какой-то дрожью в голосе, совсем особым тоном. Да и писал он о нем иначе, нежели о каком-либо другом человеке <…> В толстовском творчестве Бунину представлялась чертой самой важной, основной, прекрасной и существенной неизменная основательность замысла» [905].

Г. Н. Кузнецова сравнивает «Детство» и «Отрочество» с «Жизнью Арсеньева» и говорит, что у Бунина «„все картинней“, „безумней“, как выразился о себе он сам» [906].

В 1937 году Бунин посетил Югославию. Двенадцатого августа 1937 года П. Б. Струве сообщал Бунину, что бывший русский посланник в этой стране В. Н. Штрандман, с которым Петр Бернгардович был в хороших отношениях, обещал выхлопотать Ивану Алексеевичу визу по телеграфу. П. Б. прибавлял: «Страшно рад, что вы, наконец, собрались в Югославию». Через неделю, пишет Г. П. Струве, П. Б. давал Ивану Алексеевичу справки насчет разных мест на Адриатическом побережье Югославии, где Бунин хотел побывать перед Белградом:

«Спешу ответить на ваши вопросы и запросы.

Пляжи на итальянском берегу (Венеция, Римини) гораздо лучше, чем на югославском. Лицо, очень хорошо знающее югославское побережье, рекомендует вам остановиться близ Дубровника в местности, именуемой Лапад (Lapad). Там есть *русский* пансион Лавцевич (Lavcevich); есть там и более „шикарный“ отель „Загреб“. Дубровник — место достопримечательное во всех отношениях и там стоит пожить. *Макарска* попроще и там тоже много русских.

Сейчас, я думаю, достать даровой железнодорожный билет по Югославии невозможно. Но я постараюсь действовать и в этом

направлении и уведомлю вас о результатах в Дубровнике, где, я полагаю, вы устроитесь недели на три. На основании моего осведомления настойчиво рекомендую вам Лапад».

Но уже через пять дней после этого Бунин был в Белграде, и П. Б. писал ему 24 августа:

«Согласно нашему условию к вам по моей просьбе в семь с половиною часов придет мой приятель Н. З. Рыбинский (сотрудник „Сегодня“ и „Иллюстрированной России“) и повезет вас к нашему общему приятелю Ф. С. Пельтцеру, старому москвичу, где мы в самом тесном кругу приятно проведем вечер и обсудим, что мы, обыватели Белграда, можем сделать для того, чтобы вы как можно лучше использовали свой заезд в Югославию».

В постскриптуме П. Б. писал:

«Все это твердо решено, и Ф. С. Пельтцер, как хозяин, *ждет* нас к себе сегодня вечером» [907].

В Югославию Бунин прибыл из Италии. 19 августа 1937 года он отметил в дневнике: «Венеция. Вчера приехал сюда в пять часов вечера с Rome Express. Еду в Югославию» [908].

Известный публицист Божидар Борко встретился с Буниным в Любляне перед его отъездом из Югославии и опубликовал 31 августа в газете «lutro» («Утро») свою беседу с ним, рассказал о впечатлении, которое Бунин произвел на него.

«У Ивана Бунина, — пишет он, — тонко отточенные черты лица <…> Живые глаза отражают прекрасную душу. Физиономия поэта и пророка. Бунин и как человек не разочаровывает своего читателя. Кажется, что автор „Жизни Арсеньева“ даже на облике своем несет печать умеренности и дворянской традиции».

В беседе, на которой присутствовал также профессор университета доктор Спекторский, Бунин сказал:

«Этим летом меня соблазнила ваша Адриатика, я приехал в Дубровник, откуда меня прогнала, кроме переполненных отелей, плохая погода. По дороге я осмотрел Далмацию, которая впервые раскрыла передо мной свое своеобразие: она красива и оригинальна, хотя совсем не похожа на французскую или итальянскую ривьеру; благодаря своей особенной ноте у нее есть будущее. Интересовали меня такие места на востоке и юге вашей страны, где встречаются Восток и Запад. Здесь мне вспомнился Константинополь, где я был тринадцать раз <…> На славонской равнине я не мог не вспомнить России, вернее Малороссии. Здесь, в Любляне, снова другое: город оставляет приятное впечатление, горы, леса, вся эта альпийская поэзия захватывает чужестранца и рождает в нем какое-то особенное ощущение природы и жизни

<…>

После этого русский маэстро растроганно рассказывал, как хорошо приняли его в Белграде и с какой благодарностью он покидает нашу страну <…> Тепло говорил также о Опленаце, о церкви, которая вобрала в себя часть нашей истории и нашей судьбы.

Потом он вспоминал встречи с белградскими писателями на ужине в Пен-Клубе, изумительный суп и белое шумадийское вино, в котором весь гений этой зеленой страны».

Несколько позднее Бунин говорил Петру Пильскому: «Не так давно был в Югославии, Дубровнике (какая красота!), катался по Адриатическому морю, прекрасно чувствовал себя в этой стране» [909].

Он писал Т. Д. Логиновой-Муравьевой 1 сентября 1937 года: «…Я был в Югославии и в Италии, теперь держу путь домой. Вероятно уеду завтра…» [910]

В 1938 году Бунин намерен был написать, совместно с М. А. Алдановым и при соучастии Татьяны Львовны Толстой, сценарий для фильма о Л. Н. Толстом. Об этом сообщали французские и немецкие газеты в марте 1938 года. «…Это были планы и толки, которые ни к чему не привели (то же самое было с намерением И. А. писать жизнь Лермонтова)» [911], — сообщала Г. Н. Кузнецова 30 марта 1967 года.

В 1938 году Бунин путешествовал по Прибалтике.

В Литву он приехал 21 апреля. Газета «Сегодня» (Рига, 1938, № 111, 22 апреля) в сообщении от 21 апреля писала: «Сегодня вечером в Каунас из Парижа прибыл <…> И. А. Бунин. Для встречи Бунина на литовско-германскую границу в Вирбалис выехали представители каунасской и заграничной печати. Со стороны литовских властей И. А. Бунину было оказано большое внимание, как на границе, так и в Каунасе <…>

В Каунасе И. А. Бунин был на вокзале встречен большим количеством публики, среди которой были представители союза литовских писателей, русских общественных организаций и русской учащейся молодежи. И. А. Бунина приветствовали представитель союза литовских писателей Грушас…» и другие. Поселился он в гостинице «Метрополь».

Академик К. П. Корсакас вспоминает:

«С 21 по 27 апреля 1938 года в Каунасе гостил известный русский писатель Иван Алексеевич Бунин… Он провел у нас два литературных вечера, на которых читал воспоминания о Ф. Шаляпине, Л. Толстом… и кое-что из своей художественной

прозы». Одно выступление состоялось в городском театре 24 апреля.

На Корсакаса произвела большое впечатление личность писателя. «Меня больше всего удивила, — пишет он, — та откровенная враждебность, с которой Бунин говорил о фашистских режимах в тогдашней Европе. Вспомнив о своем недавнем посещении Италии, он с раздражением рассказал о том, как его всюду сопровождали фашистские охранники, которые в конце концов так надоели ему, что он телеграммой пожаловался самому Муссолини…» [912]

В газете «Сегодня» (1938, № 113, 24 апреля) помещена фотография с подписью: «И. А. Бунин среди литовских писателей».

П. М. Пильский после встречи с Буниным писал: «Хорошие дни Бунин провел в Каунасе, — доволен, как его принимали в Литве, рад новым знакомствам, приобретенным там, с удовольствием рассказывает о живописных окрестностях городах…» [913]

Двадцать восьмого апреля Бунин приехал в Ригу. О приезде Бунина в Латвию газета «Сегодня» сообщала 29 апреля:

«Вчера в Ригу приехал нобелевский лауреат академик И. А. Бунин. Встречать его на литовскую границу выехали представители редакции „Сегодня“, которые провели с И. А. Буниным два часа в пути до Риги в сердечной беседе.

На Рижском вокзале берлинский поезд, с которым прибыл И. А. Бунин, был встречен представителями русской общественности, руководящими деятелями, членами труппы Русского театра и русского студенчества <…>

С вокзала И. А. Бунин отправился в гостиницу „Рим“, где будет проживать. Сегодня состоится первое публичное выступление писателя в Русском театре на тему „Мои встречи с современниками“. После этого — чествование И. А. Бунина там же в театре» [914]. На вечере присутствовали художник академик Н. П. Богданов-Вельский, директор Русского театра В. И. Снегирев и другие.

Журналист А. К. Перов вспоминает: Бунин «охотно слушал студенческие песни, даже несколько растрогавшись, когда спели старинную песню „Что ты замолк и сидишь одиноко“. И. А. держал себя непринужденно, явно чувствовал себя в родной и близкой ему стихии, оживленно переговаривался с Богдановым-Бельским и другими, был прост, много улыбался.

На другой день он много ходил по Риге, побывал в соборе и в мастерской Богданова-Бельского, на его квартире. Был ненасытен и жаден в расспросах о Риге, задавал самые неожиданные

вопросы. Интересовало его все: от Петра Первого до Лескова и Боборыкина, когда-то посетивших Ригу <…> от ордена меченосцев до рижских старообрядцев».

На литературном вечере 2 мая Бунин читал рассказы «Сын», «Кавказ», «Про обезьяну» (позднее озаглавлен «Молодость и старость») и «очаровал зал, — писала газета „Сегодня“ 3 мая. — Все было интересно: отчетливая, строгая дикция, спокойствие и внушительность передачи отдельных мест и, конечно, высокие литературные достоинства рассказов, — их плавное течение, захватывающие темы, глубокий смысл, поразительные в своей тонкости эпитеты»; «зал был полон и восхищен».

О своем путешествии Бунин писал Вере Николаевне 30 апреля 1938 года:

«Труднее *этого* заработка — чтениями — кажется, *ничего нет*. Вагоны, отели, встречи, банкеты — и чтения — актерская игра, среди кулис, уходящих к чертовой матери вверх, откуда несет холодным сквозняком…

После чтения был банкет. Множество речей, — *искренно* восторженных и необыкновенных по неумеренности похвал: кажется, вполне убежден, что я „по крайней мере Шекспир…“»

А. К. Перов пишет:

«В последние дни Бунин отдыхал, побывал на Рижском взморье и в Кемери, где его приветствовал директор курорта доктор Либиетис, чрезвычайно тепло принявший писателя в великолепном здании Кемерской гостиницы, ставшей в наше время главным корпусом Кемерского санатория».

«На другой день, — вспоминает А. К. Перов, — после закрытого прощального ужина на квартире издателя „Сегодня“ доктора Б. Ю. Полякова, Бунин уехал в Двинск, а оттуда в Эстонию».

За время непродолжительного общения с Буниным А. К. Перов почувствовал в нем прежде всего «его нравственное и физическое здоровье. В нем не было надрыва, не было позы, не было никаких психопатий, слава не оказала на него дурного влияния, не было в нем издерганности, злобы, мелочности, провалов и взлетов настроений. Ясность в словах и делах характерна для Бунина.

Он был сдержан по воспитанию и культуре, по натуре же легко зажигался и мог реагировать резко и недвусмысленно <…>

Он был, конечно, индивидуалист, но не затворник и, если частенько предпочитал уединение, то только в том случае, когда вокруг себя не видел настоящих собеседников. В обращении с незнакомыми людьми он был полнейшая корректность, но и

некоторая суховатость. Ни о какой фамильярности или скатывании в сторону амикошонства, которое, увы, так часто бывает уделом даже очень интеллигентных русских людей, не было и речи.

Он очень быстро определял интеллектуальный и воспитательный „ранг“ своего собеседника и в каждом случае умел установить между собой и им совершенно точную дистанцию» [915].

В начале мая Бунин посетил Эстонию.

Он приехал в Тарту 5 мая, а не 6-го, как собирался. Л. Ф. Зуров пишет об этом 22 октября 1966 года:

«Иван Алексеевич нам написал из Тарту — Юрьева — Дерпта (письмо от 6.V.1938 г.): „Вчера был на минуту у той поэтессы (В. В. Шмидт. — А. Б.), письмо которой послал вам из Риги, — живет с матерью и братом в таком трущобном доме, что даже не во всякой слободе найти. А работает с утра до вечера и как весела!“»

Девятого мая он выступил с воспоминаниями о Толстом, Чехове, Куприне, Горьком и других. Газета «Сегодня» (№ 130, 11 мая) сообщала, что Бунин «прочел свою лекцию в театре „Вайнемуйне“, собрав много публики. Лекция прошла с большим успехом. В память о городе Тарту писателю был поднесен букет роз и красивый серебряный блокнот. И. А. Бунин пробыл в Тарту пять дней, посвятив это время отдыху после своей поездки по Литве и Латвии».

В Тарту Бунин встретился с поэтессой М. В. Карамзиной, с которой до этого переписывался, человеком очень оригинальным и талантливым [916].

Мария Владимировна Карамзина, племянница командующего Балтийским флотом адмирала Н. О. Эссена, известна своей книгой стихов «Ковчег» (Нарва, 1939). Она жила некоторое время за границей — в Териоках (Финляндия), потом в Праге, в 1926 или 1927 году, как писал ее сын М. В. Карамзин, переселилась в Эстонию.

Десятого мая Бунин отправился в Таллин. В этот день корреспондент газеты «Сегодня» (№ 130, 11 мая) сообщал:

«Сегодня в 7 часов вечера в Таллин прибыл писатель И. А. Бунин. На Балтийском вокзале его встретили многочисленные представители русских организаций, русская учащаяся молодежь, а также представители русской эстонской печати. Писателю были поднесены роскошные букеты цветов. И. А. Бунин был заметно тронут сердечностью оказанной ему встречи. На перроне вокзала его приветствовали встречавшие. И. А. Бунин остановился в гостинице „Золотой Лев“, где завтра

примет представителей печати. Завтра же в зале „Эстония“ состоится его первое публичное выступление на тему „Мои встречи с современниками“. После лекции русская общественность в зале гостиницы „Золотой Лев“ будет чествовать писателя банкетом».

Газеты сообщали, что, «к сожалению, в Петсерский (Печерский. — А. Б.) край из-за недостатка времени в этот раз И. А. попасть не удастся» [917].

Этот факт следует особо подчеркнуть ввиду наличия необоснованных утверждений, будто Бунин приезжал в Покровско-Печерский монастырь и в Изборск. М. В. Карамзина также писала Бунину 17 сентября 1938 года: «Мне жаль, что вы не побывали в Печерах» [918].

Л. Ф. Зуров сообщал 25 января 1967 года: «В Печерский край Иван Алексеевич не поехал. Весна была холодная. Боялся простудить голову. Остался в Тарту (Юрьеве) <…> (Он нам хорошо рассказывал о своем путешествии по весям и градам Прибалтики. Вернулся Иван Алексеевич совершенно больным и разбитым. Раздраженным до крайности. В Прибалтике его хорошо угощали. А пить ему было запрещено.) Многие печеряне побывали на вечерах Ивана Алексеевича, но для этого им пришлось поехать из Печер в Тарту и Таллин».

Из Прибалтики Бунин возвратился в Париж. Но надо было где-то обосноваться на лето, виллу «Бельведер» почему-то нельзя было дальше удерживать за собой. Третьего июля 1938 года из Парижа он уехал. «Больше недели, — писал он М. В. Карамзиной 20 июля 1938 года, — не зная почти ни часа отдыха, скакал по Ривьере, от Ментоны до Марселя, ища нам пристанища на лето, — и ничего не нашел» [919].

Не нашел он дачу и под Парижем. В конце концов Бунины сняли на время квартиру с садиком над Монте-Карло, во французской его части — villa «La Dominante», Beausoleil. Но пришлось здесь жить больше, чем предполагали, — видимо, с начала сентября и до января.

Январь и более половины февраля 1939 года Бунины прожили в Париже главным образом из-за того, что Иван Алексеевич должен был читать корректуру «Лики», выходившей отдельным изданием в Брюсселе. Затем возвратились они в Beausoleil. После бесплодных поисков — при скудных средствах — летнего пристанища Бунин опять снял виллу «Бельведер», куда должен был переселиться 1 мая.

Первого сентября 1939 года началась Вторая мировая война, «радио известило, — вспоминал потом Бунин этот день, — что

немцы ворвались в Польшу и что завтра начнется всеобщая мобилизация во Франции».

Г. Н. Кузнецова и М. А. Степун в этот день выехали в Париж. Третьего сентября была объявлена война между гитлеровской Германией и Францией. В октябре Степун и Галина Николаевна «вернулись в Грасс на виллу „Жаннет“, а не „Бельведер“», — вспоминает Кузнецова, — куда Бунины переселились 27 сентября.

На «Жаннет» прожили они всю войну.

Виллу «Жаннет» спешно сдали англичане, уехавшие в Лондон, по словам Веры Николаевны, дешево, за 12 тысяч в год.

Это была, по выражению Бунина, «чудесная английская вилла, на такой высокой горе, что вид кругом необозримый. Писать до сих пор не могу, — сообщал он М. В. Карамзиной 18 ноября 1939 года, — все читаю или сижу на солнце (очень жарком) в саду. Однообразие, грусть, одиночество» [920].

Л. Ф. Зуров писал мне 4 апреля 1962 года: «Во время войны Бунины поселились на вилле „Jeannette“, построенной высоко на крутом каменистом обрыве, под которым проходит дорога Наполеона, ведущая на Гренобль. Там мы пережили итальянскую и немецкую оккупацию. Голодали <…>

При немцах Иван Алексеевич не напечатал ни строчки.

Ивану Алексеевичу из Швейцарии предлагали сотрудничать в издававшихся в оккупированных землях газетах и журналах, но он отказался. Был прислан потом к нам из города Канн человек. Мы думали, что это очередной гость, но он предложил Ивану Алексеевичу и мне сотрудничать в журналах и газетах. Мы отказались».

Двадцать девятого января 1940 года Бунин отправился в Париж, возвратился в Грасс 16 февраля. По-прежнему все читал, с грустью вспоминая Россию, свою жизнь там, давние годы детства и молодости. Стихи Надсона «Горячо наше солнце безоблачным днем…» воскресили многое в памяти, — «одни из немногих, — пишет он, — которые мне нравились когда-то — семнадцатилетнему — и теперь до чего-то чудесного воскресили всего меня той поры. Называется „В глуши“. Вижу и чувствую эту „глушь“ совершенно так же, как тогда — в той же картине (и теперь такой же поэтической, несмотря на то, что это Надсон)».

Все время он пристально следил за ходом военных событий по газетам и по радиопередачам, во время оккупации — по передачам из Москвы, Лондона и из Швейцарии. Десятого апреля 1940 года он пишет в дневнике: «После завтрака — нынче — открыл радио — ошеломляющая весть: немцы захватили Данию и ворвались в Норвегию…»

Бунин подписал коллективный протест против вторжения, по

приказу Сталина, советских войск в Финляндию, опубликованный в парижской газете «Последние новости» (1939, 31 декабря); свои подписи также поставили З. Гиппиус, Н. Тэффи, Н. Бердяев, Б. Зайцев, М. Алданов, Д. Мережковский, А. Ремизов, С. Рахманинов и В. Сирин.

Последняя поездка Бунина в Париж была в мае 1940 года. Необходимо было уладить дело с квартирой — уехав в Грасс, оставить ее за собой. Общество, которому принадлежал дом на Jacques Offenbach n°l, — Sequanaise — после хлопот Бунина отдало ему квартиру со скидкой пятьдесят процентов с основной цены. В ней поселилось семейство неких Грев за плату 950 франков в месяц. «Если дом устоит, — писала Вера Николаевна, — и случайная бомба в него не упадет, то мы сохраним и наш архив и нашу горе-мебель» [921].

Об архиве Л. Ф. Зубов сообщил в письме 11 октября 1967 года:

«Иван Алексеевич свой архив (во время войны перед отъездом в Грасс) отправил в Тургеневскую библиотеку, часть же архива (наиболее ценную — письма, записные книжки, тетради с заметками, стихи, документы и т. д.) Иван Алексеевич увез в Грасс. Во время налетов авиации мне пришлось сносить эти чемоданы вниз (вилла Жаннет) и прятать их в расположенном над виллой сарайчике (выбитом в каменной скале). Но авиаторы щадили Грасс, бомбардировали только окрестности. Немцы забрали все книги Тургеневской библиотеки, но на большие корзины (сплетенные из ивы с запорами и замками) (девять таких корзин или, как говорил Б. К. Зайцев в одном из писем, чемоданов. — А. Б.) не обратили внимания. После возвращения Буниных в Париж архив был перевезен на rue Jacques Offenbach».

Зуров свой архив — в котором, вероятно, немало записей о Буниных, — отдал на хранение дочери С. В. Рахманинова Т. С. Конюс. Она жила в усадьбе Chaud Joute (Шод Жут), построенной архитектором Владимиром Михайловичем Толстым, внуком Толстого.

Бунин приехал в Париж 9 мая. «Вера была в Париже уже с месяц, встретила меня на Лионском вокзале. Когда ехали с вокзала на квартиру, меня поразило то, что по всему черному небу непрестанно ходили перекрещивающиеся полосы прожекторов — „что-то будет!“ — подумал я. И точно — утром Вера ушла на базар, когда я еще спал, и вернулась домой с „Paris-Midi“: немцы ворвались ночью в Люксембург, Голландию и Бельгию. Отсюда и пошло, покатилось…

Сидели в Париже, потому что молодой Гавронский работал над моими нижними передними зубами. А алерты (воздушная

тревога. — А. Б.) становились все чаще и страшней (хотя не производили на меня почти никакого впечатления). Наконец, уехали — на автомобиле с Жировым, в шесть часов вечера 22 мая. Автомобиль… Бразоля, сына полтавского губернского предводителя дворянства: это ли не изумительно! — того самого, что председательствовал на губернских земских собраниях в Полтаве, когда я служил там библиотекарем в губернской земской управе…

23. VII.40…И в Париже все поражены, не понимают, как могло это случиться (это чудовищное поражение Франции)» [922].

Четырнадцатого июня 1940 года Париж пал. Начался оттуда сплошной исход. «Все друг друга потом разыскивали» [923].

С Жировым, продолжает Бунин дневниковую запись 25 июля 1940 года, «доехали 23 мая до Ментона. Оттуда ночью (в 11/2 ч.) на поезде в Cannes — ехали двенадцать часов (от Макона до Лиона в третьем классе — влезли в темноте — стоя, среди спящих в коридоре солдат, их мешков и т. п.). По приезде домой с неделю мучились, хлопотали, отбивая Маргу (Маргарита Августовна Степун, певица, сестра Ф. А. Степуна, подруга Г. Н. Кузнецовой. — А. Б.) от концентрационного лагеря (у нее немецкий паспорт)».

Для того чтобы не угнали М. А. Степун в концентрационный лагерь, необходимо было убедить власти, что она русская и больная. Хлопотал общественный деятель, адвокат В. А. Маклаков; поручился за нее Бунин.

«10 июня вечером Италия вступила в войну. Не спал, — пишет он, — до часу. В час открыл окно, высунулся — один соловей в пустоте, в неподвижности, в несуществовании никакой жизни. Нигде ни единого огня.

Дальше — неделя тревожных сборов к выезду из Грасса — думали, что, может быть, на несколько месяцев — я убрал все наше жалкое имущество. Боялся ехать — кинуться в море беженцев, куда-то в Вандею, в Пиренеи, куда бежит вся Франция, вшестером (с Буниными, Кузнецовой и М. А. Степун — также Е. Н. Жирова и ее дочь Ольга. — А. Б.), с тридцатью местами багажа… Уехали больше всего из-за Марги — ей в жандармерии приказали уехать из Alpes Maritimes (из Приморских Альп. — А. Б.) „в двадцать четыре часа!“. Помогли и алерты, и мысль, что, возможно, попадешь под итальянцев. (Первый алерт был у нас в воскресенье 2 июня, в девятом часу утра.) 3 июня Марга мне крикнула из своего окна, прослушав радио: „Страшный налет на Париж, сброшено больше тысячи бомб“. 5 июня прочитал в „Ecl<aireur de Nice>“, что убитых в Париже оказалось 254 человека, раненых 652. Утром узнал по радио, что началось

огромное сражение… 6-го был в Ницце… для знакомства с Еленой Александровной Розен-Мейер, родной внучкой Пушкина — крепкая, невысокая женщина, на вид не больше сорока пяти, лицо, его костяк, овал — что-то напоминающее пушкинскую посмертную маску. По дороге в Ниццу — барьеры, баррикады…

Выехали мы… 16 июня, в десять часов утра, на наемном, из Нима, автомобиле (2000 фр. до Нима). Прекрасный день. Завтрак в каком-то городке тотчас за Бриньолем. В Ним приехали на закате, с час ездили по отелям — нигде ни единого места! Потом вокзал… — думали уехать дальше на поезде — невозможно, тьма народу — а как влезть с тридцатью вещами! Ходили в буфет, ели. Полное отчаянье — ночевать на мостовой возле вокзала! Марга и Галя пошли искать такси, чтобы ехать дальше в ночь, — и наткнулись на русского еврея таксиста. Ночевали у него. 17-го выехали опять в такси в Тулузу и дальше, в Монтобан, надеясь там ночевать, а потом опять на Lafrançaise, возле которого ферма Жирова. Думали: в крайнем случае поселимся там, хотя знали, что там ни воды, ни огня, ни постелей. Плата до Lafrançaise — 2300 фр. Сперва широкая дорога в платанах, тень и солнце, веселое утро. Милый городок Люпель. Остановки по дороге военными стражами, проверки документов. Море виноградников, вдали горы. Около часу в каком-то городишке остановка… подошел крестьянин лет пятидесяти и со слезами сказал: „Вы можете ехать назад — армистис!“ (От фр. armistice — перемирие. — А. Б.) Но назад ехать было нельзя, не имея проходного свидетельства. Завтрак под С. Этьен (?). Опять виноградники, виноградная степь. За Нарбоном — Иудея, камни, опять виноградники, ряды кипарисов, насаженных от ветра… Мерзкая Тулуза, огромная, вульгарная, множество польских офицеров… (По всему пути сотни мчащихся в автомобилях беженцев.) В Монтобане — ни единого места. В сумерки — Lafrançaise — тоже. И попали к Грязновым» [924].

Вера Николаевна рассказывает о пребывании в городишке Ляфрансез (на линии Тулуза — Бордо):

«Мы после объявления войны Италией покинули Грасс. Уехали в сторону Монтобана. В Монтобане ничего не нашли, и Ляля (жена А. М. Жирова. — А. Б.) посоветовала ехать в Ляфрансез, где у нее есть знакомые. И мы нагрянули на бедных людей, которые нас всех приютили на одну ночь, а затем все наши дамы перешли в деревенский отель, а мы там и прожили двадцать два дня. <…>

Наше путешествие стоило нам очень дорого и взяло много душевных и физических сил. В Lafrançaise нет никаких удобств. И нужно было выбирать между конюшней и чистым полем! Трудно

было с питанием»[925]. Здесь прожили 22 дня. Возвратились 9 июля — без Е. Н. Жировой и Оли.

Елена Николаевна Жирова, бывшая помещица с Украины, с дочкой Олей прожила у Буниных года три. Она часто бывала у них в Париже с Рощиным, «потом, — писал Иван Алексеевич Вере Зайцевой 17 мая 1943 года, — жила с Олечкой у нас на юге, а потом у мужа на его ферме под Монтобаном. Житье на этой ферме было нищее, ужасное…» [926]. Оле (родилась в 1933 году) Бунин писал письма в стихах, а она называла его Ваней.

На ферме Жировы жили, по словам Веры Николаевны, «пещерно», и им «нечего есть» [927]. Муж Елены Николаевны, Алексей Матвеевич Жиров, шофер, оставил жену с Олей и куда-то уехал, предварительно отдав даром землю на три года какому-то итальянцу. Оля болела, Вера Николаевна беспокоилась о ней, помогала всячески. «Мне удалось устроить ей из Земгора (Земельно-городского союза. — А. Б.) маленькую посылочку, — писала она Т. Д. Логиновой-Муравьевой в июне 1942 года, — а раньше я сама ей уделяла из своих запасов <…> Кроме того, удалось устроить ей 500 франков из Швейцарского детского комитета» [928]. Посылала деньги на доктора, на лекарства. «Одно время Олечка от тяжелой жизни пришла в отчаяние. Сидела или стояла в оцепенении, лишилась сна…» [929]

В Грассе жила художница Т. Д. Логинова-Муравьева, ученица Н. С. Гончаровой, потомок Карамзиных, — ее прапрадед — Федор Михайлович Карамзин, брат писателя и историка Н. М. Карамзина. Она дружила с Буниным и Верой Николаевной. Бунин для Татьяны Дмитриевны — некое чудо природы, его стихия была нераздельна со стихией природы. Она писала автору этих строк 15 января 1967 года: «Иван Алексеевич называл Грасс „пустыней“. Любил и наслаждался он природой и много писал стихов здесь. Но кроме природы — восходов, огненных закатов, ослиных тропинок, заброшенных ферм, с кипарисами и цветущим розовым миндалем — здесь безлюдие — истинная „пустыня“. А без людей Иван Алексеевич ужасно скучал. Поэтому и жили, подолгу гостили и просто жили с ними и в „Бельведере“ и позже на villa „Jeannette“ всякий литературный люд; и среди них Ляля (Е. Н. Жирова. — А. Б.) с дочкой Олечкой, с которой Иван Алексеевич забавлялся и писал ей шуточные стихи, так как и сам он любил смеяться! Как он любил жизнь — не признавал ни старости, ни смерти, до самого конца. Похож он был на могучий дуб, который ушел корнями глубоко в почву и этой подпочвенной водой он и питался, когда все другие растения высыхали. Был сам он частью этой природы, которую он так глубоко понимал, так как жил ею — и был так жаден ко всему, что его окружало.

Природная стихия была и его стихией. Было в нем что-то от природы нераздельное. Вот сижу я за письмом к вам и очень ярко и ясно сверкает облик Ивана Алексеевича. Вот он живой перед глазами, с тончайшей улыбкой, с слегка прищуренным и насмешливым взглядом, с потоком рассказов о прошлом и с такими меткими анализами всех и вся. „Вот одним словом пришпилили!“ — что только диву даешься!»

В напряжении держали Бунина события в мире. В те дни его внимание привлекали «огромные битвы немецких и английских авионов над берегами Англии», жившей под угрозой немецкого вторжения.

Одиннадцатого сентября Бунин записывает: «Слушал Москву в девять с половиною вечера (по-московски в одиннадцать с половиною)».

Двенадцатого сентября: «Вчера в шесть часов вечера Черчилль говорил по радио: немцы всячески приготовились к высадке в Англии — нападение может произойти каждую минуту…»

Двадцать восьмого октября: «Вечером узнали: началась еще одна война — Италия напала на Грецию…»

Восемнадцатого декабря он с удовольствием отметил: «Позавчера московское радио сообщило вечером, что англичане взяли в Африке в плен пятьдесят тысяч итальянцев».

Об отношении Бунина к войне писал Андрей Седых 6 марта 1965 года в ответ на мое письмо:

«Как все мы, бывшие в Свободной Зоне Франции, которая позже тоже была оккупирована немцами (я имею в виду людей, настроенных патриотично, и людей взглядов либеральных), Иван Алексеевич всей душой жаждал победы русского народа и разгрома Германии. Все нацистское и гитлеровское он ненавидел; русских „коллаборантов“ и тайных и даже явных поклонников Гитлера презирал открыто; победам русского оружия радовался бесконечно… Но что мог он сделать у себя, в голодном крошечном Грассе во время войны? Малейший публичный протест привел бы к его немедленному аресту, депортации и верной смерти. Печататься было негде <…> В злополучный день 22 июня всех русских эмигрантов (и меня в числе их) арестовали и посадили в лагерь. Людей старше семидесяти лет не трогали. Не тронули и Ивана Алексеевича».

Л. Ф. Зуров заболел чахоткой, и 1 мая 1940 года его отправили из Парижа в санаторий недалеко от Сен-Этьена.

Шестнадцатого октября 1940 года из санатория он приехал к

Буниным в Грасс.

Трудно было изыскать средства к жизни. Бунин писал Н. Д. Телешову 8 мая 1941 года:

«…Мы сидим в Grasse'e (это возле Cannes), где провели лет семнадцать (чередуя его с Парижем), теперь сидим очень плохо. Был я „богат“ — теперь, волею судеб, вдруг стал ниш, как Иов. Был „знаменит на весь мир“ — теперь никому в мире не нужен, — не до меня миру! В <ера> Н<иколаевна> очень болезненна, чему помогает и то, что мы весьма голодны. Я пока пишу — написал недавно целую книгу новых рассказов („Темные аллеи“. — А. Б.), но куда ее теперь девать? А ты пишешь?

Твой Ив. Бунин. Я сед, сух, худ, но еще ядовит. Очень хочу домой» [930].

Об издании «Темных аллей» Бунин писал в США Андрею Седых 13 июня 1942 года:

«Шлю вам и madame сердечные приветствия и обращаюсь с усердной просьбой: помогите, если можете, издать там у вас по-русски, а может быть, и по-английски, мою новую книгу „Темные аллеи“, рукопись которой вся находится у Марка Александровича (Алданова. — А. Б.). Мне кажется, что, будучи издана в небольшом количестве экземпляров (по-русски), она могла бы разойтись и принести мне некоторую сумму. Прошу помощи в этом деле именно у вас потому, что вы единственный деятельный человек из всех моих тамошних друзей, совсем теперь забывших меня. Был бы ужасно рад, если бы это дело вышло — вы знаете, в какой нужде я… На условия я согласен на всякие»[931].

Андрей Седых, любезно приславший фотокопию этого письма, сообщил следующее:

«Открытка от 13 июня 42 г. была написана вскоре после того, как мы с женой… переехали на жительство в Америку. Бунин жил тогда в Грассе, в так называемой „Свободной Зоне“, откуда можно было писать в. Соединенные Штаты, пока немцы не оккупировали и „Свободную Зону“… С этой открытки начались мои хлопоты с изданием „Темных аллей“, рукопись которых я получил с оказией (Бунин отправил ее Алданову 7 июня 1941 года с пианистом С. Н. Барсуковым, жившим в Канн. — А. Б.). Русское издание я выпустил быстро (в 1943 году. — А. Б.), основал для этого в Нью-Йорке издательство „Новая земля“. С переводом на английский была страшная возня. Не было издателя. Наконец, некий г. Танько, представлявший небольшую американскую издательскую фирму, захотел книгу издать, но предложил за нее аванс только в триста долларов; Иван Алексеевич не соглашался, но в конце концов вынужден был согласиться, — нужда одолела… Шел спор из-за названия книги, — по-английски буквальный перевод слов

„Темные аллеи“ не годился, — это имеет совсем иной смысл, довольно бандитский, а не тот, который имел в виду И. А. Затем выяснилось, что некоторые рассказы содержат фразы чрезмерно „натуралистические“, — четверть века назад в Соединенных Штатах это легко могло подвести под порнографию (в чем многие русские и без того обвиняли Бунина и устно и в печати). И. А. поручил мне и М. А. Алданову, по нашему усмотрению, удалить те места, которые были спорными с точки зрения „общественной морали“. Насколько я помню, мы цензуровали только три-четыре фразы, — И. А. охотно на это согласился.

Это издание „Темных аллей“, к несчастью, никаких дополнительных денег, кроме трехсот долларов, ему не принесло. Книга вышла в конце 47 г.».

В 1942 году, перед отъездом в США, Андрей Седых виделся с Буниным, и Бунин говорил ему:

«Плохо мы живем в Грассе, очень плохо. Ну, картошку мерзлую едим. Или водичку, в которой плавает что-то мерзкое, морковка какая-нибудь. Это называется супом… Живем мы коммуной. Шесть человек. И ни у кого гроша нет за душой, — деньги Нобелевской премии давно уже прожиты. Один вот приехал к нам погостить денька на два… Было это три года тому назад, с тех пор вот и живет, гостит. Да и уходить ему, по правде говоря, некуда: еврей (А. В. Бахрах. — А. Б.). Не могу же я его выставить? Очевидно, нужно терпеть, хотя все это мне, весь нынешний уклад жизни, чрезвычайно противно. Хорошо еще, что живу изолированно, на горе. Да вы знаете, — минут тридцать из города надо на стену лезть. Зато в мире нет другого такого вида: в синей дымке тонут лесные холмы и горы Эстереля, расстилается под ногами море, вечно синее небо… Но холодно, невыносимо холодно. Если бы хотел писать, то и тогда не мог бы: от холода руки не движутся <…> А в общем, дорогой, вот что я вам скажу на прощание: мир погибает. Писать не для чего и не для кого» [932].

Его душа жаждала святынь, он не мог жить без святынь.

«Молился на собор (как каждое утро) — он виден далеко внизу — Божьей Матери и Маленькой Терезе (Божья Матерь над порталом, Тереза в соборе, недалеко от входа, направо)», — записывает в дневнике 20 августа 1940 года.

О Божьей Матери Заступнице он писал в рассказе «Notre-Dame de la Garde» (1925): в вагоне старичок-странник читает то, «что было напечатано на обороте картинки, которую вместе с бумажным цветком раздавали монахини: Litanies de Notre-Dame de la Garde (прошения молитвенные к Божьей Матери Заступнице) <…>

— Notre-Dame de la Garde, Reine et Patronne de Marseille, priez pour nous! (Божья Матерь Заступница, Царица и Покровительница Марселя, моли о нас!)

Reine et Patronne, Царица и Покровительница… Разве не великое счастье обладать чувством, что есть все-таки Кто-то, благостно и бескорыстно царствующий над этим Марселем, над его грешной и корыстной суетой и могущий стать на его защиту в беде, в опасности? И Кто эта Reine?

— Матерь Господа нашего Иисуса, за грехи мира на кресте распятого, высшую скорбь земную приявшая, высшей славы земной и небесной удостоенная! <…>

— Посредница милосердия между небом и нами…

— Надежда наша в жизни и Сопутница в час смертный…

<…>

— Царица земли и небес, молитесь за нас!»

В этих прошениях молитвенных «выражается самое прекрасное, что есть в человеческой душе <…> И нет казни достойной для того, кто посягает хотя бы вот на такие картинки».

Уже было во Франции то же, что и у нас: молодежь, итальянцы и провансальцы «кто в лес, кто по дрова» затягивали в вагоне «Интернационал», а монахинь, продававших картинки, «встретили и проводили уханьем, визгом и мяуканьем. Я вышел, — пишет Бунин, — вслед за ними <…> Солнце пронизывало листья дикого винограда, вьющегося по столбам платформы, делало зелень светлой и праздничной, и небо ярко, невинно и молодо синело меж их гирляндами».

Шестого сентября 1940 года Бунин записывает:

«Пишу и гляжу в солнечный „фонарь“ своей комнаты, на его пять окон, за которыми легкий туман всего того, что с такой красотой и пространностью лежит вокруг под нами, и огромное белесо-солнечное небо. И среди всего этого — мое одинокое, вечно грустное Я». Все его мучило своей прелестью, говорил Бунин Кузнецовой, восхищало великолепными агавами, розами, и он, по его словам, «всю жизнь отстранялся от любви к цветам <…> Ведь я вот просто взгляну на них и уже страдаю: что мне делать с их нежной, прелестной красотой? Что сказать о них? Ничего ведь все равно не выразишь!» [933].

Жить в разоренной и голодной Франции, завоеванной вандалами, для одних стало чрезвычайно трудно, для других — смертельно опасно; и этим надо было уезжать.

Алдановы и Цетлины собирались в Америку. Мария Самойловна Цетлин уговаривала Бунина последовать их примеру. Он не решался, выяснял, как осуществить еще одну эмиграцию и

что его ждет в Новом Свете; 7 августа 1940 года он был с Верой Николаевной в Ницце в американском консульстве. Двадцать седьмого Цетлины и Алданов приезжали к Буниным на обед, ночевали; утром пришел Адамович. Алдановы уехали в США через Лиссабон 28 декабря; уехали и Цетлины. Алданов в письмах из Америки убеждал Бунина: «…Если вы питаетесь одной брюквой и если у Веры Николаевны „летают мухи“, то как же вам оставаться в Грассе?! Подумайте, дорогой друг, пока еще можно думать. *Возможность* уехать вам вдвоем — *есть*. Прежде всего о визе. О ней Александр Федорович (Керенский. — А. Б.) начал хлопотать для вас и Веры Николаевны еще до моего приезда. Затем я на него насел. „Аффидэвиты“ уже для вас получены, — вы понимаете, что для вас их найти легче, чем для кого бы то ни было. Дело уже направлено в Вашингтон, и в самые ближайшие дни Государственный департамент пошлет ниццскому консулу „совет“ выдать вам так называемую „эмерджено-виза“, — такую же, какую получил я (то есть не квотную). Я *почти* не сомневаюсь, что и билеты вам двоим будут высланы бесплатные, — правда, боюсь, билеты третьего класса, как и для меня, но здесь устроят, думаю, и вопрос о доплате. Теперь деньги. Как я вам сообщил, Назаров поместил ваше письмо в „Нью-Йорк таймс“, — это первая газета в Америке. В Толстовский фонд стали быстро поступать для вас пожертвования, все небольшими суммами. Я в последние дни не видел Толстой, но мне сообщили, что уже есть более 400 долларов. Весь вопрос в том, как их вам доставить. Не думайте, что тут проявляется небрежность или невнимание. Тут посылают не частные лица, не могу писать об этом подробнее. Как бы то ни было, этих денег с избытком хватило бы и на месяц-другой во Франции, если вы решите уехать, и на билет до Лиссабона, и на пребывание в Лиссабоне, и на то, чтобы оставить кое-что неуезжающим. Как вы будете жить здесь? Не знаю. Как мы все, — с той разницей, что вам, в отличие от других, никак не дадут „погибнуть от голода“. Вы будете жить так, как вы жили во Франции тринадцать лет до Нобелевской премии <…> Только что я позвонил Александре Львовне. Она мне сказала, что для вас собрано… (отточием обозначаем пропуски в дефектной ксерокопии письма. — А. Б.) долларов, из которых 50 и 150 уже вам переведены по телеграфу… Кроме того, вам послана посылка. Кроме того, по ее словам…два билета для поездки из Лиссабона сюда» [934] (15 апреля 1941 года).

Бунин ответил 6 мая 1941 года:

«Вы пишете: „погибнуть с голоду вам не дадут“. Да, в буквальном смысле слова „погибнуть с голода“, может быть, не дадут. Но от нищеты, всяческого мизера, унижений, вечной

неопределенности? *Месяца два-три* будут помогать, заботиться, а *дальше бросят, забудут* — в этом я твердо уверен. Что же до заработок, то вы сами говорите: „будут случайные и небольшие — чтение, продажа книги, рассказа…“ Но сколько же раз буду я читать? В первый год, один раз… может быть, и во второй еще раз… а дальше конец. И рассказы, книги я не могу печь без конца — главное же, продавать их.

И самое главное: очень уж не молод я, дорогой друг, и Вера Николаевна тоже, *очень больная и слабая* В. Н. Вот даже частность: вы пишете, что „на первое время предоставят нам комнаты в имении, в 45 метрах Нью-Йорка“. А каково в наши годы жить даже „первое время“ где-то у чужих людей, из милости, подлаживаясь к чужой жизни и т. д.! Короче говоря — ни на что сейчас я не могу решиться. Визу иметь на *всякий крайний* случай (который, конечно, вполне возможен) буду рад. И если ее длительность будет *хоть полугодовая, может быть*, мы ею воспользуемся» [935].

В случае приезда Бунина в Америку Александра Львовна Толстая хотела предоставить ему квартиру у нее на ферме, вблизи Нью-Йорка, где находился созданный Толстой фонд Толстого, где Иван Алексеевич мог бы жить сколько угодно и ничего не надо было бы платить.

Когда становилось очень тяжко, Бунин опять возвращался к мысли об отъезде из Грасса; писал Алданову 8 августа 1942 года:

«Да, я очень ошибся, что не поехал. Недели две тому назад послал вам открытку — avion и депешу — просьбу о визах мне и Вере Николаевне. Она так несказанно худа и слаба от язвы в желудке и голода, что твердит, что не доедет. Ну а здесь, что будет с нами осенью и зимою, которые будут гораздо хуже прежних всячески, да еще при том, что я теперь уже ничего ниоткуда не получаю, живу тем, что распродаю последнее, и должен еще заплатить за парижскую квартиру, которую одно время уже описали (вместе с девятью чемоданами моего архива), двенадцать тысяч долг и которую я никак не могу ликвидировать?» [936]

То немногое, что поступало в виде помощи русским писателям от чехов, от сербов, было и до этого слабой опорой, теперь же война и эти связи рушила. Чехословакия в октябре 1938-го — марте 1939 года при попустительстве западных держав была захвачена Германией. Шестого апреля 1941 года на Югославию напали гитлеровские войска, оккупировали и расчленили ее территорию; на сербов рассчитывать сейчас не приходилось.

Бунин пишет Цетлиным 9 сентября 1940 года:

«Горячо вас прошу — попомните обо мне, приехав к Шурочке (Александре Николаевне Прегель, дочери Цетлиных. — А. Б.). Найдите добрых и богатых людей, которые могли бы прислать мне что-нибудь: месяца через два, через три средства мои совершенно иссякнут — и что тогда? Ужели Нобелевскому лауреату погибать?» [937]

Положение осложнялось тем, что впервые за семнадцать лет Бунина обложили налогом: taxes de sejour, пятьдесят франков с лица за шесть человек; а еще надлежало внести налог около шести тысяч за житье в «Jeannette», тысячи две с него лично и около четырех — за хозяйку виллы «Jeannette», живущую в Англии. И хозяева парижской квартиры требовали три с половиной тысячи, угрожая распродажей с торгов его «добришка».

Помощь поступала из фонда Толстого вследствие писем Бунина к Александре Львовне Толстой. Фонд начал посылать зимой 1941 года и обещал продолжать высылать ежемесячно 25 долларов. Бунин надеялся также получить кое-какие гонорары.

Рассказы «Темных аллей» Бунин посылал Б. К. Зайцеву. Он писал Борису Константиновичу 19 ноября 1943 года:

«Без конца шлю тебе свои рассказы — расписался — главным образом для того, повторяю, чтобы поделиться с тобою своими трудами и днями, а еще с мыслью: Бог знает, что будет со мною, пусть будут дубликаты у тебя» [938].

«Он писал свою книгу запоем, — вспоминает А. В. Бахрах [939], — от рассказа к рассказу без перерыва, словно все время торопился, словно боялся не поспеть. Опасался, что военные события воспрепятствуют ее завершению. Бывали целые недели, когда он с раннего утра в буквальном смысле до позднего вечера запирался (неизменно на ключ!) в своей огромной комнате, и оттуда вытащить его не было никаких сил».

«Из своего обиталища, расположенного во втором (собственно, в полуторном, поскольку весьма причудливой была архитектура виллы) этаже он спускался только к скудным и скучным трапезам (как по-иному назвать их?), возвещавшимся с некоторой неуместной торжественностью гонгом и готовившимся попеременно кем-либо из домашних, — продолжает Бахрах. — Эти общие трапезы, как правило, сопровождались проклятиями по адресу „фюрера“ (хорошо еще, что у стен не было ушей!), заседавшего в Виши правительства, некоторых товарищей по писательскому ремеслу, ежели узнавал, что они согласились сотрудничать в изданиях, которые считал неприемлемыми…»

При известии об очередном нападении немцев на мирные города и страны или похвальбе «фюрера», что он завоюет мир и

установит «новый порядок», Бунин ругал Гитлера «идиотом» и называл его сумасшедшим.

И вот настало 22 июня 1941 года. От исхода событий, начавшихся в этот день, зависели судьбы не только народов Советского Союза, но и всего человечества. Бунин особо, с новой страницы дневника записал поразившую его весть и подчеркнул эти строчки красным карандашом:

«22. VI.41, два часа дня. С новой страницы пишу продолжение этого дня — великое событие — *Германия нынче утром объявила войну России* — и финны и румыны уже „вторглись“ в „пределы“ ее.

После завтрака <…> лег продолжать читать письма Флобера (письмо из Рима к матери от 8 апреля 1851 г.), как вдруг крик Зурова: „Иван Алексеевич, Германия объявила войну России!“ Думал, шутит, но то же закричал снизу и Бахрах. Побежал в столовую к радио — да! Взволнованы мы ужасно».

На следующий день Бунин услышал по радио ободряющую весть о военном союзе Англии с Россией и спрашивал: а Турция останется, как писали газеты, только «зрительницей событий»?

Двадцать четвертого он прочитал «первое русское военное сообщение» о сражениях с вторгшимися в СССР гитлеровскими войсками.

Бунин встречался с внучкой А. С. Пушкина, Еленой Александровной (в замужестве — Розен-Мейер), дочерью «Сашки рыжего», генерала Александра Александровича Пушкина, героя войны по освобождению Болгарии от турок (1877–1878), награжденного по высочайшему приказу золотой Георгиевской саблей с надписью «За храбрость» и орденом Святого Владимира четвертой степени.

Бунин записал в дневнике 25 июля 1940 года:

«Шестого <июня> был в Ницце… для знакомства с Еленой Александровной Розен-Мейер, родной внучкой Пушкина».

В этот день он встретился с нею. Вера Николаевна «Лену Пушкину» помнила еще «девочкой-подростком в Трубниковском переулке с гувернанткой». Елена Александровна была человеком умным и образованным, знала в совершенстве английский язык и еще французский, арабский и персидский. А характера, должно быть, была, по словам Буниной, нелегкого. Была в ссоре с братом Николаем Александровичем, жившим в Брюсселе.

Четырнадцатого июня 1941 года по приглашению Бунина Пушкина приезжала к нему в Грасс. По словам Г. Н. Кузнецовой, «Иван Алексеевич был с нею особенно внимателен, много расспрашивал о ее семье, о самом Пушкине, о „бабушке“ Наталье

Николаевне».

Интересоваться Е. А. Пушкиной у Бунина, помимо всего прочего, были особые причины. Как видно из его дневниковых записей, род Пушкина и род Бунина перекрещивались. Мать Елены Александровны, Мария Александровна, — из Буниных; она была двоюродной сестрой дворянина Павлова, а «дед Павлова по матери, — писал Бунин, — моряк, Иван Петрович Бунин, брат Анны Петровны Буниной», известной поэтессы начала девятнадцатого века.

Е. А. Пушкина жила в большой бедности. Бунин, сам в те годы сильно нуждавшийся, собирал для нее деньги. Он писал из Грасса, — письмо без обращения по имени, — несомненно Б. К. Зайцеву 4 июня 1943 года, надеясь раздобыть для нее небольшие средства (фотокопию этого письма прислал С. М. Лифарь):

«Дорогой друг, три года тому назад со мной познакомилась в Ницце очень скромная женщина в очках, небольшого роста, лет под пятьдесят, но на вид моложе (родилась 16 августа 1889 года. — А. Б.), бедно одетая и очень бедно живущая мелким комиссионерством, однако ничуть не жаловавшаяся на свою одинокую и тяжелую судьбу — Елена Александровна фон Розен-Мейер (Rosen-Meyer), на которую мне было даже немножко страшно смотреть, ибо она только по своему покойному мужу, русскому офицеру, стала фон Розен-Мейер, а в девичестве была Пушкина, родная внучка Александра Сергеевича, дочь „Сашки“, генерала Александра Александровича! И вот нынче ее письмо ко мне:

„2 июня 43 г. Clinique Constance, St. Barthelemy, Nice, A. M.

Милый Иван Алексеевич,

На Пасхальной неделе я чувствовала себя не очень хорошо, а во вторник 4 мая вызванный доктор срочно вызвал в девять часов вечера карету скорой помощи и в десять часов меня оперировали… Думали, что я не выживу и сорока восьми часов, но Бог милостив, видно час мой еще не пришел, я медленно поправляюсь. Вот скоро месяц, как я лежу в клинике; недели через полторы меня выпустят на месяц, а потом мне предстоит вторая операция… Я еще очень, очень слаба, пишу вам, а лоб у меня покрыт испариной от усилия. Обращаюсь к вам за дружеским советом и, если возможно, содействием: существует ли еще в Париже Общество Помощи ученым и писателям, которое в такую трудную для меня минуту помогло бы мне, в память дедушки Александра Сергеевича, расплатиться с доктором, с клиникой, прожить, по выходе из нее, месяц в доме для выздоравливающих графини Грабовской (60 франков в день), а

потом иметь возможность заплатить за вторую операцию? Все мои маленькие сбережения истрачены, но как только я встану на ноги, я опять начну работать и обещаюсь выплатить мой долг Обществу по частям. Работы я не боюсь, были бы силы!“

Вот, дорогой мой, какое ужасное и какое трогательное письмо получил я нынче. „Общество“, насколько я знаю, в Париже уже не существует, да если бы оно и существовало, что оно могло бы дать? Грош, а тут ведь не о гроше идет дело. Поэтому горячо прошу тебя обратиться с этим моим письмом к Лифарю, который, надеюсь, поможет Елене Александровне и найдет еще кого-нибудь из лиц состоятельных и понимающих, что ведь это родная внучка Александра Сергеевича. Передай или перешли ему это письмо. Я шлю привет Лифарю и написал бы ему сам, да не знаю, куда ему писать и где он».

Седьмого сентября 1943 года Бунин получил письмо из Ниццы, которым его извещали, что Е. А. Пушкина умерла 14 августа после второй операции.

С нападением фашистской Германии на Советский Союз многое в мире изменилось. Это сразу же почувствовали русские люди за рубежом.

Тридцатого июня 1941 года у Бунина на вилле «Жаннет» появилась полиция. «Опрос насчет нас, трех мужчин, — записал Иван Алексеевич в тот день в дневнике, — кто мы такие, то есть какие именно мы русские. Всем трем арест при полиции на сутки — меня освободили по болезни. Зурова взяли; Бахрах в Cannes, его, верно, там арестовали. Произвели осмотр моей комнаты <…>

Часа в три приехал из Cannes Бахрах, пошел в полицию и должен провести там ночь, как и Зуров. А может быть, еще и день и ночь? На душе гадко до тошноты».

Кузнецова рассказывает об этих событиях:

«Третьего дня утром, услышав звон колокольчика у ворот, выглянула и увидела Рустана — местного комиссара полиции, с каким-то человеком. С ним уже говорил Зуров. Быстро сошла во двор. Оказалось, что он хочет видеть всех живущих в вилле мужчин. Я провела их в салон. Рустан требовал прежде всего Ивана Алексеевича. Когда они с Верой Николаевной сошли, он начал издалека: „Вы белые русские?“ Вера Николаевна ответила: „Мы эмигранты“. Он стал говорить, что получено распоряжение проверить всех русских, то есть пересмотреть их административное положение. Долго не могли понять. В конце концов он должен был сказать, что должен увести всех троих мужчин, живущих в вилле, для проверки их специальной

комиссией. Иван Алексеевич был в халате, страшно бледен, и вдруг совершенно как бы перестал понимать французский язык. Я сказала Руста-ну, что Бунин болен ежедневными кровотечениями и никуда идти не может. Рустан тотчас же приказал записать это бывшему с ним чиновнику и сказал, что он берет это на свою ответственность и оставляет на двадцать четыре часа под домашним арестом. Бахраха не было дома, ему велено было явиться в комиссариат, как только он вернется. Пока Зуров ходил наверх собираться, Рустан стал говорить опять-таки осторожно, издалека, что он должен „бросить взгляд на бюро мсье Бунина“. Иван Алексеевич сначала даже не понял и только после повторного объяснения послал его со мной в кабинет, где тот открыл несколько ящиков и портфелей. Обыск был чисто формальным. Рустану самому было, видимо, не по себе, он говорил, что отлично знает, кто такой Бунин, и вообще отговаривался своей подчиненностью властям и полным незнанием, в чем дело. Как бы то ни было, Зурова они увели, сказав, чтобы ему принесли еду в комиссариат. Когда они уехали, мы долго не могли опомниться, но радио уже сообщало о том, что Франция с сегодняшнего дня порывает дипломатические сношения с Советской Россией. Стало ясно, „мера“ была вызвана этим, несмотря на наше заведомое „эмигрантское“ положение и у многих „белый“ стаж» [940].

Грасс был еще «свободной зоной», и не было тогда тех ужасов, которые творились потом. Особых строгостей еще не ввели.

Через три дня, 3 июля, оба арестованных, Зуров и Бахрах, вернулись из казармы. Все же распоряжения властей, прислуживавших Гитлеру, вселяли в людей немалую тревогу.

Забеспокоился и французский писатель Андре Жид. Четвертого июля 1941 года А. Жид послал письмо Бунину из Кабриза:

«Милостивый государь.

Последние дни я очень беспокоился, думая о вас в связи с недавними административными мерами по отношению к русским. Я слышал, что вас будто бы это не коснулось… но я хочу быть в этом твердо уверен. Во всяком случае, если у вас будут какие-либо неприятности или затруднения, сразу же поставьте меня в известность. Мое восхищение автором „Деревни“, мое уважение и симпатии к нему слишком велики, чтобы я мог оставаться безучастным к вашим невзгодам. Примите уверение в совершенной преданности.

Ваш Андре Жид» [941].

Андре Жид посетил Бунина на «Жаннет» 28 августа 1941

года, а затем — 16 сентября, присутствовал при этом Г. В. Адамович. Иван Алексеевич записал в дневнике 28 августа:

«Был Andre Gide. Очень приятное впечатление. Тонок, умен — и вдруг: Tolstoy-asiatique. В восторге от Пастернака (как от человека) — „это он мне открыл глаза на настоящее положение в России“; восхищается Сологубом».

Впервые они встретились скоро по приезде Бунина в Париж — в 1922 году; в дневнике Бунин отметил 18 марта 1922 года:

«В пять — лекция Жида о Достоевском. Познакомились».

По случаю столетия со дня рождения Достоевского, которое незадолго перед тем торжественно отмечалось во всем мире, А. Жид прочел с 17 февраля по 28 марта десять лекций. Некоторые из них посетил Бунин. Знакомство его с Жидом было мимолетным; в августе 1922 года они встретились вновь на юге Франции в городе Бриньоле, оба они некоторое время здесь жили[942].

Г. В. Адамович в письме 22 мая 1965 года автору данной работы говорит об Андре Жиде:

«В те годы, то есть 20–40 гг., это был едва ли не самый большой авторитет, а Бунина он ценил очень высоко. Правда, выше всего ставил „Деревню“, которую Бунин в старости не любил. О „Темных аллеях“, любимой книге Бунина, Жид отзывался скорей скептически. Когда-то, во время войны, я завтракал у Бунина в Грассе вместе с Жидом. Они явно любовались друг другом, хотя из-за языка им трудно было друг с другом говорить. Бунин все называл Жида „стариком“, так как тот был на несколько месяцев старше его (на год. — А. Б.), и вообще все время шутил. Помню спор из-за Толстого и Достоевского. Жид сказал, что для него „Война и мир“ — скучная книга. Бунин схватил тяжелый разрезной нож и замахнулся на него».

Адамович вспоминал:

«За столом, пока завтракали, разговор шел о последних военных известиях, о положении во Франции, о Гитлере <…>

После завтрака заговорили наконец о литературе. Хозяин и гость явно нравились друг другу, хотя мало имели общего: Бунин — словоохотливый, насмешливый, Жид — сдержанный, вежливо улыбавшийся бунинским шуткам, но отвечавший на них, как на замечания серьезные. По-французски Бунин говорил плохо, Жид по-русски — ни слова.

Толстой и Достоевский: рано или поздно разговор должен был их коснуться, и так оно и произошло. Бунин знал о преклонении Жида перед Достоевским и принялся его поддразнивать. Тот отвечал коротко, уклончиво, неожиданно

переняв бунинский шутливый тон, — вероятно для оправдания своей уклончивости. Бунин произнес имя Толстого, как бы для окончательного уничтожения и посрамления Достоевского. Жид пожал плечами, развел руками, несколько раз повторил „гений, да, великий гений…“ — но признался, что для него „Война и мир“ — книга чудовищно скучная („un monster d'ennui“).

— Что? Что он сказал? — громко переспросил Бунин по-русски и, схватив огромный разрезной нож, с нарочито зверским видом замахнулся им, будто собирался Жида убить.

Жид рассмеялся и долго, долго все трясся от смеха. Потом заметил:

— Я сказал, что думаю действительно. В печати я, конечно, выразился бы иначе, не так откровенно. Но над „Войной и миром“ я засыпаю… А вот позднего Толстого очень люблю. „Смерть Ивана Ильича“, „Воскресение“ — это незабываемо, это удивительно! <…>

Толстой и Достоевский.

Вечная русская тема, да и только ли русская? Не два романиста, а два мира, два отношения к бытию, при общей у обоих глубине и значительности этого отношения. Оттого спор и неразрешим, оттого он в самой сущности своей неисчерпаем.

Когда Андрэ Мальро пишет:

„Толстой в изображении заурядного чиновника перед лицом смерти не менее велик, чем Достоевский в речах Великого Инквизитора…“ — за этим его „не менее“ чувствуются дни и годы к себе, к своему творчеству относящегося раздумья.

Джемс Джойс назвал „величайшим из всех когда-либо написанных рассказов“ — „the greatest story ever written“ — толстовское „Много ли человеку земли нужно“ (в письме к дочери, незадолго до смерти).

Едва ли Бунин эту оценку знал, но вероятно с Джойсом согласился бы, так как считал толстовские народные рассказы самыми совершенными, что русская литература дала. Он называл их „несравненными“, говорил о них с особым восхищением, порой даже со скрытой завистью, вообще-то ему не свойственной»[943].

За арестами русских последовало выселение англичан. Первого июля Бунин записал в дневнике: «Не запомню такой тупой, тяжкой, гадливой тоски, которая меня давит весь день <…> Как нарочно, читаю самые горькие письма Флобера (1870 г., осень и начало 1871 г.).

Страшные бои русских и немцев. Минск еще держится».

Тридцатого июля — «*взят Витебск*. Больно… Как взяли

Витебск? В каком виде? Ничего не знаем!»

Семнадцатого июля. «*Смоленск пал*. Правда ли?»

Не все русские эмигранты, подобно Бунину, с боязнью за участь России следили за ходом войны. Некоторые из «общевоинского союза предложили себя, — записывает Бунин 13 июля 1941 года, — на службу в оккупированные немцами места в России».

Вести с русских фронтов Бунин «вырезывал и собирал» (запись 12 августа 1941 года).

Одиннадцатого октября 1941 года, когда немцы рвались к Москве, Бунин записал:

«Самые страшные для России дни, идут страшные бои — немцы бросили, кажется, все свои силы».

События грандиозных масштабов потрясали мир.

Седьмого декабря 1941 года Бунин услышал по радио: «Японцы напали на Америку»; 12-го «Гитлер и Муссолини объявили войну Америке». Гитлер нагло похвалялся, что установит «новую Европу *на тысячи лет*» (запись Бунина в дневнике 11 ноября).

Пятого декабря 1941 года Бунин с надеждой и радостью отметил: «Русские бьют немцев на юге»; «в России 35 градусов мороза (по Цельсию). Русские атакуют и здорово бьют» (запись 8 декабря). В жестоких боях той зимы очищены были от чужеземных захватчиков родные места, где бывал и жил в молодости Бунин и где находятся дорогие могилы.

«Русские взяли назад Ефремов, Ливны и еще что-то. В Ефремове были немцы! Непостижимо! И какой теперь этот Ефремов, где был дом брата Евгения, где похоронен и он, и Настя, и *наша мать*!» (запись 13 декабря 1941 года).

Двадцать третьего декабря Бунин пишет в дневнике: «В Африке не плохо, японцы бьют англичан, русские — немцев. Немцы все отступают, теряя очень много людьми и военным материалом. 19-го Гитлер сместил главнокомандующего на русском фронте маршала von Brauchitsch и взял на себя все верховное командование».

Это — результат поражения немцев под Москвой, к началу января отступивших под ударами наших войск на сто, а местами на двести пятьдесят километров.

Двадцать восьмого декабря 1941 года приходят известия о дальнейшем преследовании отступающих немцев: русские, пишет Бунин, «взяли Калугу и Белев». В новом году — 26 февраля доходит до обитателей «Жаннеты» слух, на следующий день подтвердившийся, что «русские нанесли большое поражение немцам, погибла <…> их 16-я армия».

Свое положение в это время Бунин выразительно определил краткой фразой (в дневнике 28 ноября 1941 года): «Очень холодно в доме и очень голодно».

Тридцатого декабря он пишет:

«Пальцы в трещинах, от холода, ни искупаться, ни вымыть ног, тошнотворные супы из белой репы… Нынче записал на бумажке: „сжечь“. Сжечь меня, когда умру. Как это ни страшно, ни гадко, все лучше, чем гнить в могиле».

Но Вера Николаевна упросила Ивана Алексеевича, и он переменил завещание — согласился, чтобы его тело в цинковом гробу было поставлено в склеп: по словам Веры Николаевны, «он все боялся, что змея заползет ему в череп».

О своих «приказаниях», как его хоронить, Бунин говорит в письме Алданову «в ночь с 5 на 6 декабря 1950»:

«У святого Иоанна Златоуста сказано удивительно:

„Длинное море — мои бессонные ночи“.

Вот и у меня так. И нехорошее мешается с хорошими и горькими воспоминаниями, — с непоправимым! — с мерзкими записями, приказаниями, что делать со мной, когда я умру, — тотчас навеки закрыть мне лицо, дабы никто не видел больше его смертного ужаса, безобразия, не читать надо мной псалтирь, не класть мне на лоб этот несказанно страшный „Венчик“, — упростить, упростить все! — не заваливать мой гроб землей в могиле, а сделать в ней „накатник“ из бревен» [944].

Мысли о том, что «дни на исходе», становились все как-то неотступнее, и «некий страшный срок» казался не столь отдаленным. «Каждое утро просыпаюсь, — пишет он 28 декабря 1941 года, — с чем-то вроде горькой тоски, конченности (для меня) всего. „Чего еще ждать мне. Господи?“ Дни мои на исходе. Если б знать, что еще хоть десять лет впереди! Но какие же будут эти годы? Всяческое бессилие, возможная смерть всех близких, одиночество ужасающее… На случай внезапной смерти неохотно, вяло привожу в некоторый порядок свои записи, напечатанное в разное время… И все с мыслью: а зачем все это? Буду забыт почти тотчас после смерти».

Но тут он ошибся: интерес к нему на его родине огромный.

В декабре 1941 года умер Д. С. Мережковский, Бунин услышал об этом на следующий день, 10 декабря, по швейцарскому радио; послал открытку З. Н. Гиппиус. В дневнике записал 14 декабря:

«Много думаю о Мережковском» [945].

Пятнадцатого опять заносит в дневник:

По ночам ветерок не коснется чела,
На балконе свеча не мерцает.
И меж белых гардин темно-синяя мгла
Тихо первой звезды ожидает…

«Это стихи молодого Мережковского, очень мне понравившиеся когда-то, — мне, мальчику! Боже мой, Боже мой, и его нет, и я старик!» [946]

Мережковский и Бунин спорили, расходились. Бунин мог говорить о нем резкости и тяготел к нему. В нем было что-то захватывающее. Говорить, что Бунин «ненавидел» символистов, как иногда пишут критики, не только плоско, но и ошибочно. Вернее всего, проницательнее сказал о Мережковском Адамович:

«Мережковский был и остался для меня загадкой. Должен сказать правду: писатель он, по-моему, был слабый, — исключительная скудость словаря, исключительное однообразие стилистических приемов, — а мыслитель почти никакой. Но в нем было „что-то“, чего не было ни в ком другом: какое-то дребезжание, далекий потусторонний отзвук, а отзвук чего — не знаю… Она, Зинаида Николаевна <Гиппиус>, была человеком обыкновенным, даровитым, очень умным (с глазу на глаз умнее, чем в статьях), но по всему составу своему именно — обыкновенным, таким же, как все мы. А он — нет.

С ним наедине всегда было „не по себе“, и не я один это чувствовал. Разговор обрывался: перед тобой был человек, с прирожденно-диковинным оттенком в мыслях и чувствах, весь будто выхолощенный, немножко „марсианин“. Было при этом в нем и что-то мелко житейское, расчетливое, вплоть до откровенного низкопоклонства перед всеми „сильными мира сего“, — но было и что-то нездешнее. И была особая одаренность, трудно поддающаяся определению.

Оратора такого я никогда не слышал — и, конечно, никогда не услышу. Невозможны никакие сомнения: „арфа Серафима!“ У Блока есть в дневнике запись о том, что после какой-то речи Мережковского ему хотелось поцеловать его руку — „потому, что он царь над всеми Адриановыми“. У меня не раз бывало то же чувство, и над всеми нашими нео-Адриановыми, на любом эмигрантском собрании, он царем был всегда.

И стихи он читал так, как никто никогда их не читал, и до сих пор у меня в памяти звучит его голос, будто что-то действительно свое, ему одному понятное, он уловил в лермонтовских строках:

И долго на свете томилась она…

Какой-то частицей своего существа он должно быть в самом деле „томился на свете“.

А в книгах нет почти ничего» [947].

Двенадцатого мая 1942 года Бунин пишет: «„На всякий случай“ занимался пересмотром того, что должно и не должно войти в будущее „полное“ (более или менее) собрание моих писаний, писал распоряжения. Мучительно! Сколько ерунды и как небрежно напечатал я когда-то! Все из-за нужды» [948]. А иногда говорил: «А ведь это хорошо написано».

Работу над своими книгами и архивом он продолжал до самой кончины.

Бунин прятал у себя людей, подвергавшихся фашистским преследованиям. Он спас от карателей пианиста Александра Борисовича Либермана и его жену.

Вера Николаевна в письме к М. С. Цетлин, посланном в январе 1942 года, говорит о них как о новых приятных знакомых, людях «очаровательных»; с ними Бунины встречали Новый год (по ст. ст.). Она также сообщала Т. Д. Логиновой-Муравьевой 22 января 1942 года: «…Просидели до двух часов, ведя очень интересные разговоры, и чего-чего мы не касались. Много говорили о музыке, литературе. Либерман умный и тонкий человек <…> Я, кажется, после родного дома никогда приятнее не встречала Нового года. И, не сглазить, с этих пор и дома хорошая атмосфера» [949].

«Да, мы хорошо знали Ивана Алексеевича и Веру Николаевну, — писал А. Б. Либерман 23 июня 1964 года. — Во время войны они жили в Grasse, а мы недалеко от Grasse — в Cannes, на юге Франции. Иван Алексеевич часто бывал в Cannes и заходил к нам, чтобы потолковать о событиях дня.

Как сейчас помню жаркий летний день в августе 1942 года. Подпольная французская организация оповестила нас, что этой ночью будут аресты иностранных евреев (впоследствии и французские евреи не избежали той же участи). Мы сейчас же принялись за упаковку небольших чемоданов, чтоб скрыться „в подполье“. Как раз в этот момент зашел Иван Алексеевич. С удивлением спросил, в чем дело, и, когда мы ему объяснили, стал настаивать на том, чтобы мы немедленно поселились в его вилле. Мы сначала отказывались, не желая подвергать его риску, но он сказал, что не уйдет, пока мы не дадим ему слова, что вечером мы будем у него.

Так мы и сделали — и провели у него несколько тревожных дней. Это как раз было время борьбы за Сталинград, и мы с трепетом слушали английское радио, совершенно забывая о нашей собственной судьбе…

Пробыв около недели в доме Бунина, мы вернулись к себе в Cannes. В это время Иван Алексеевич был стопроцентным русским патриотом, думая только о спасении Родины от нашествия варваров».

Последние годы А. Б. Либерман жил в США в городе Berkley, California. Из его писем можно узнать кое-что интересное о Иване Алексеевиче. Вот он благодарит за «Козьму Пруткова», с моим комментарием, и пишет: «Большое спасибо! (хотя Иван Алексеевич уверял, что выражение „большое спасибо“ неправильно, ибо „спасибо“ происходит от „спаси Бог“)» (письмо 6 октября 1964 года). Прислав вырезку из «Нового журнала» «Переписки с ребенком» Бунина (стихи), Александр Борисович пишет о нем: «В этой „Переписке с ребенком“ он упоминает о голодном времени во Франции во время войны. Он с этим никак примириться не мог и целыми днями „охотился“ за всем съестным и был счастлив, как ребенок, когда ему удавалось раздобыть какую-либо колбасу, кусок сыра и т. п.» (письмо 8 сентября 1964 года).

Подтверждением слов Веры Николаевны о Либерманах, как о людях «очаровательных», служат его письма, его готовность помочь в литературной работе, когда так трудно было иметь научные контакты с зарубежьем. «Если вам, — писал он 28 мая 1965 года, — что-либо нужно, не задумывайтесь ни на минуту просить меня об этом — будет для меня большим удовольствием услужить вам».

Зуров писал 29 июля 1965 года:

«Во время войны у Буниных спасался парижский литератор Александр Васильевич Бахрах. Он явился в Грасс после отступления французской армии. Всю войну провел у Буниных. В самые опасные времена Вера Николаевна его крестила (в маленькой церкви, находившейся в Канн-ла-Бокка), а я для Александра Васильевича достал необходимые документы у священника каннской церкви Соболева. Во время пребывания в Грассе французских эсэсов, которые явились с русского фронта, Бахрах был на улице арестован ими, отведен в штаб, но выданная Соболевым бумага его спасла».

Прожил Бахрах у Буниных четыре года, а 23 сентября 1944 года уехал в Париж навсегда.

Он написал книгу «Бунин в халате»[950].

До издания книги Бахрах написал, по моей просьбе, воспоминания о Бунине для 84-го тома «Литературного наследства», прислал мне дубликат рукописи. По цензурным условиям воспоминания напечатаны не были.

В книге Бахрах пишет о Бунине необъективно. Я спросил художницу Александру Николаевну Прегель, которая знала Бунина, чем, по ее мнению, это можно объяснить. Она ответила, что спросила о Бахрахе Цвибаков; Яков Моисеевич и его жена — артистка Евгения Иосифовна жили на юге Франции в 1940–1942 годах и часто встречались с Буниными, потом переписывались. Евгения Иосифовна сказала Александре Николаевне: «Бунины его сначала скрывали, а затем получили для него бумаги от священника <…> Бунин его очень не любил и с трудом переносил» (письмо 26 марта 1979 года).

О книге «Бунин в халате» А. Н. Прегель пишет: «Я начала ее читать, но, правду сказать, она мне была не по душе, и я ее бросила. Не хочу портить того образа Бунина, который у меня остался от моих личных впечатлений о нем» (письмо 10 января 1980 года).

Андрей Седых отозвался о Бахрахе, как о «человеке весьма сером и ничем не замечательном» (письмо 20 мая 1965 года); он опубликовал в «Мостах» письма к нему Марины Цветаевой. «Я прочел и ахнул, — пишет А. Седых, — Марина на расстоянии в него влюбилась и придумала какой-то необыкновенный роман, — что-то вроде переписки Чайковского с фон Мекк. По-моему, они никогда не встречались, или встречи были очень мимолетные. Она жила в Праге, а он в Берлине. Но какие интересные и блестящие письма она ему писала <…> Я Марину немного знал. Но до переписки у нас дело не дошло. Объединяла нас любовь к Мандельштаму и Волошину» (письмо 20 мая 1965 года).

А. Седых также писал о Бахрахе: «Бунин его недолюбливал, но фактически во время немецкой оккупации спас ему жизнь, укрыв у себя с немалым личным риском».

О книге «Бунин в халате» А. Седых напечатал весьма одобрительную рецензию «Новое о Бунине» [951].

Уже минуло Ивану Алексеевичу семьдесят лет, пройдены многие дороги жизни. Двадцать третьего ноября 1941 года он отметил в дневнике:

«…Переписывал итинерарий [952] своей жизни и заметки к продолжению „Арсеньева“».

«Арсеньев» — пути давних лет. Теперь — «все вспоминается почему-то и вся моя несчастная история с Г<алиной>: было ужасно жаль ее и Маргариту Степун, ее подругу, „за их

несчастную жизнь“» [953].

Галина Николаевна Кузнецова жила в доме Бунина с 1927 года, иногда уезжая на два-три месяца; первый раз посетила «Бельведер» в 1926 году. Она писала автору этих строк 8 ноября 1971 года:

«Родилась я в Киеве 10 декабря (27 ноября ст. ст.) 1900 года. Там же окончила гимназию в 1918 г.» — Первую женскую гимназию Плетневой. В романе «Пролог» точно описано ее детство. Оставила Россию в 1920 году, осенью, по-видимому, в ноябре. Через Константинополь уехала в Прагу. «Литературная моя деятельность, — продолжает она в цитированном выше письме, — началась, собственно, в Праге, где я была студенткой Французского Института (первые стихи были напечатаны в „Студенческих годах“, 1922). Из Праги я переехала в Париж, где познакомилась с И. А. Буниным и начала уже постоянно печататься в местных газетах и периодических изданиях, главным образом в „Современных записках“. В их издательстве вышли последовательно мои книги „Утро“ (1930), „Пролог“ (1933), сборник стихов „Оливковый сад“ (1937), перевод романа Ф. Мориака „Genitrix“ („Волчица“) в издательстве „Русские записки“ (1938). В 1967 г. вышла моя книга „Грасский дневник“, записи (не полные), сделанные в годы моей жизни в доме Буниных»[954].

Андрей Седых с поездки в Стокгольм в 1933 году подружился с Кузнецовой. Он писал: «Была она на редкость тонким, чутким человеком, очень застенчивой…» Бунин, по его словам, почувствовал в ней «настоящий талант и большую душевную тонкость». В Грассе под влиянием Бунина она «духовно и творчески оформилась».

В рассказе «Натали» (1941) в некотором смысле отобразилось то, что пережил сам Бунин: его увлечение Галиной Кузнецовой, хотя «свою жену Веру Николаевну, — пишет Андрей Седых, — он любил настоящей, даже какой-то суеверной любовью».

Вера Николаевна записала в дневнике 13 октября 1929 года:

«Идя на вокзал, я вдруг поняла, что не имею права мешать Яну любить, кого он хочет, раз любовь его имеет источник в Боге…» [955]

О Бунине и Кузнецовой иногда пишут разного рода выдумки.

В мемуарах Одоевцевой, писала Т. Д. Логинова-Муравьева, многое не очень достоверно, о Кузнецовой тоже, «совсем вразрез с письмами Веры Николаевны» (письмо 31 мая 1969 года); «из ее описаний прогулка в Антиб кажется невероятной. Бунин был слишком болен, судя по письмам Веры Николаевны. Также ни с кем не говорил он никогда о Г. Кузнецовой, даже намеками»

(письмо 1 ноября 1968 года).

Кузнецова покинула Буниных 1 апреля 1942 года. Она и М. А. Степун жили некоторое время в Каннах, иногда наведывались к ним, присылали поздравительные открытки. «Причин моего отъезда было много, — писала Галина Николаевна 6 ноября 1969 года, — а в частности были и чисто личные. Разумеется, отъезд мой на некоторое время создал атмосферу болезненного разрыва с Иваном Алексеевичем, что и ему и мне было нелегко. Однако связь с бунинским домом не была до конца разорвана: впоследствии завязалась переписка, частью и деловая…»

Вера Николаевна сообщала Т. Д. Логиновой-Муравьевой, что Кузнецова и М. А. Степун, покинув «Жаннету», «живут в Каннах в снятой маленькой квартирке, состоящей из двух комнат… Квартирка над бывшим гаражом, стоящим в саду. Поэзия да и только! Это — сказка, и из „Тысячи и одной ночи“: нашлась щедрая и добрая душа, которая дает им возможность хорошо жить. Марга прирабатывает около тысячи. Кроме этого, она помогает „встать ей на ноги“, и в будущую субботу она дает в Грассе концерт — Шуберт и Мусоргский <…> Видаемся с ними очень редко» [956].

Через год, 6 апреля 1943 года, Кузнецова и М. Степун прислали из Марселя письмо Вере Николаевне: «Покидаем Францию…» Уехали они к брату Марги — Ф. А. Степуну в Германию.

В 1949 году Кузнецова и М. А. Степун уплыли в Америку. «Барышни наши уже в Новом Свете, — писала Вера Николаевна Т. Д. Логиновой-Муравьевой 23 января 1950 года. — Живут под Нью-Йорком, пока зарабатывают как femme de menage[957] и живущими и приходящими. Галя напечатала свой рассказ в той же газете, что и Ян. Пишут, привыкают медленно к новой жизни» [958].

В будущем году их жизнь наладилась. «Галя и Марга хорошо устроились в Нью-Йорке, — говорит Вера Николаевна в письме к Т. Д. Логиновой-Муравьевой 15 августа 1951 года. — У них квартира в четыре комнаты, телефон, радио. У Гали машинка, благодаря которой она зарабатывает в ожидании постоянного места. Марга служит корректором в ООН.

Мне писали знакомые, что Галя похорошела, а Марга стала элегантной. „Пожар способствовал…“ С нами они в живой переписке» [959].

Сама Галина Николаевна пишет: «…В 52-м, 53-м годах (по желанию И. А.) мне и М. А. Степун была поручена корректура его книг, издававшихся в Нью-Йорке, в Чеховском издательстве

(„Жизнь Арсеньева“, „Митина любовь“ и др.). Обе мы вели с ним по этому поводу оживленную переписку <…> До самой смерти И. А. мы обе переписывались с В. Н. и с И. А. Всякий оттенок горечи исчез из его писем, некоторые из них были трогательно-сердечны. Вера Николаевна писала мне, что последнее письмо, которое он получил и прочел, было от меня» (письмо 6 ноября 1969 года).

Бунин просил сотрудницу издательства имени Чехова в Нью-Йорке В. А. Александрову пригласить Кузнецову на постоянную работу. Четвертого января 1952 года он писал ей, что то, что читает корректуру «Жизни Арсеньева» Галина Николаевна, «большая радость» для него. «Надеюсь, кроме того, что (тоже, к большой моей радости) вы вообще устроите Г. Н. в вашем издательстве постоянным корректором, а может быть, и помощницей вам в чтении (и приеме или неприеме) некоторых рукописей или книг, поступающих в ваше издательство: ведь Галина Николаевна — редкость по своим литературным вкусам, по литературной образованности вообще и по своим собственным литературным талантам в прозе и в стихах (которые, кстати сказать, так высоко ценил такой поэт, как покойный Вячеслав Иванов): она уже давно эти таланты не проявляет, но в этом виновато то ужасное, что пережила она во время войны и после войны, но, надеюсь, еще проявит! Надеюсь и на то, что в конце концов вы увидите, что во всей русской Америке вы не найдете подобной ей для сотрудничества с вами» [960].

Вяч. Иванов писал Бунину из Рима о сборнике стихов Кузнецовой «Оливковый сад» 26 декабря 1937 года; письмо это, по словам Бунина, «имеет общий интерес», этот отзыв «так характерен для него, как поэта»:

«Книжка, присланная вами на просмотр, — весьма талантливая книжка, немало в ней настоящей поэзии и настоящего чувства формы. Вышла она из вашей школы: отсюда этот определенный рисунок, этот красочный хроматизм, эта склонность говорить о душевном языком пейзажа. Но, помимо живописи, есть в книжке и то главное, что в особенном смысле делает стихи стихами, а именно: звуковая форма. Вот два случайных примера, на удачу:

Я распахнула ставни —
Где неба блеск недавний?
Какой нежданный вид!
Весь сад летучим снегом,
Безмолвным мягким бегом
Куда-то вниз скользит.

Что так светло и странно
Вдруг вспыхнуло во мне?
А сад летит в окне
Неслышно и туманно…

Это „светло и странно“ — о звуковой волне.

Опять на взгорьях тонкая трава.
В пустых аллеях теплый ветер веет
И мраморной богини голова
Над чащами, где парк и синева,
Узлом высоких кос своих белеет.
И я гляжу на этот синий дым,
На гладкие колонны темных буков,
На темный луг, легко сходящий к нам,
И за волненьем сладостным моим —
Рождение мучительное звуков.

И везде почти так: сначала зрительное впечатление, тотчас затем „душа стесняется лирическим волненьем, трепещет и звучит“. Лучшею пробой звуковой формы является, быть может, белый стих, — и он поэтессе хорошо удается:

…что-то грустно
Мне в это лето. Сердце ли стало старше,
Душа ль трезвее от суровых мыслей,
Но сумрачней, спокойней и мудрей
Смотрю на мир, сияющий, прекрасный,
Бессмысленный, как песня соловья.

Вторая часть сборника лучше первой; хороши провансальские описания. Но не по душе мне дружба поэтессы с этой „парвеню“ на Парнасе, которая именуется „Ассонанс“. Всякая приблизительность противна строгой технике, и ассонансами позволительно пользоваться — умело и осторожно — только в том случае, когда они представляют собою особенную музыкальную ценность; ибо порою они могут звучать пленительно — отзвучием неопределенным и заглушенным, как „шум волны, плеснувшей в берег дальний“. И мне нравятся такие строки поэтессы»:

Покидаю наш край счастливый.

Наших гор серебряный гребень,
Голубое стекло залива,
Эти мачты на светлом небе.
Ты один возвратишься в гавань,
Взглянешь: в море маяк сургучный…
О, моя единая слава!
Где ты веешь, мой ветер звучный?

В письме 6 ноября 1969 года Кузнецова говорит:

«В Америке я прожила десять лет. В 55-м году поступила в ООН, где и прослужила в Издательском отделе корректором семь лет. В 59-м году наш русский отдел, в уменьшенном составе (В. Андреева, М. А. Степун и меня) перевели в Женеву».

Писал Бунин Кузнецовой как очень близкому и дорогому человеку и в свои последние дни.

«Dame aimee, mon or[961], — говорит он в письме 17 июня 1952 года, — получил твое письмо (от шестого июня) с тем, что говорил обо мне Назаров. Письмо твое чудесное, спасибо! Vis heureuse[962]. Чудесное потому, что ты напоминаешь мне о розах, ящерицах… Где уж мне теперь писать! (Я и сейчас пишу в постели.) Но напиши, напиши ты (и просто, просто, без всяких Рильке). Да, я был бы очень рад этому!» [963]

Свои последние годы Кузнецова доживала в Мюнхене. Скончалась она 8 февраля 1976 года. Т. Д. Логинова-Муравьева, в ответ на мое письмо, сообщала 8 апреля 1976 года из Парижа:

«О смерти милой Галины Кузнецовой я узнала еще в Грассе. Письмо мое последнее к ней вернулось из Мюнхена с извещением о том, что она тихо уснула навеки. Извещала меня ее подруга немка Ирэна. Я тотчас сообщила об этом в редакцию парижской газеты, где появилось траурное объявление, но статей и некролога еще не было. Сейчас так много уходит в лучший мир людей нашего поколения, которое останется в истории культуры русской, как „неприспособленных идеалистов“. От чего умерла, как умерла Галина Кузнецова? Я написала по-немецки (говорю по-немецки с детства) Ирэне и просила ее сообщить мне все подробности».

Татьяна Дмитриевна приводит выдержки из ее письма от 25 февраля в переводе. Ирэна сообщила: Галина Николаевна «страдала печенью и сердцем». Жила одна в квартире. Ей предлагали поселиться, где были бы люди и могли бы за ней ухаживать, но она предпочитала не иметь жильцов. «Она медленно стала уходить из жизни. Когда я увидела Галину на Рождестве, ее апатия ко всему поразила меня. Она не хотела

больше видеть никого из друзей, не хотела, чтобы справлялись о ней по телефону». Медсестра приносила ей необходимое. В то воскресенье 8 февраля случайно эта медсестра проходила по улице вечером. Хотела зайти, посмотреть, что делает Галина. «Но света в ее окнах не было, хотя шторы не были опущены, а на улице было уже темно… Один молодой человек пролез через кухонное окно в квартиру. Галина лежала без движенья на ее кушетке». Смерть наступила незадолго перед тем, как ее нашли. «Я очень любила Галину. Она была одной из самых благородных и значительных натур, которых мне дано было встретить <…> Мы похоронили ее на том же кладбище, где лежат Федор Степун, его жена Наталия и сестра Марга. Проводили ее еще немногие друзья <…> Что касается ее архива, то все передано будет наследникам — оказывается, у нее есть сестра Виктория в Аргентине».

Архив Кузнецовой приобрел коллекционер профессор Рене Герра, живущий в Париже.

* * *

Зуров писал 4 апреля 1962 года:

«Во время оккупации немцы привезли в Грасс советских военнопленных, заставили их рубить лес и работать на хлебопекарнях. Это были солдаты, носившие еще советскую форму (потом им немцы выдали американские комбинезоны защитного цвета), их доставили прямо из Гатчины. Их охраняли военные полицейские с собаками. Вначале их не отпускали с работ, но потом немцы разрешили им прогуливаться и вне лагеря, так как пленные французского языка не знали и бежать из Грасса не могли. Вот эти солдаты (из Ленинграда, Москвы, Донецкого бассейна, Белоруссии, Украины) бывали у нас. В столовой Иван Алексеевич с жадностью слушал их рассказы. Они делились с нами черным хлебом, пели, слушали радио. Все они после освобождения Грасса уехали в Марсель к советскому полковнику Пастухову. Вернулись в СССР. Найдите этих людей. Они вам многое расскажут…

Было ли опасно? Да. В трехстах пятидесяти метрах от нашей виллы (в санатории „Гелиос“) помещался немецкий штаб, который охраняли автоматчики, вооруженные ручными фанатами. Об этом периоде я вам потом расскажу».

«Это… был штаб, — писал мне Зуров 16 апреля 1965 года, — немецкого транспорта… Русские шоферы из этого штаба были на вилле Jeannette два-три раза. Это одного из них Иван Алексеевич спросил: „Родину защищаете?“ А тот ответил горестно и печально: „Перед родиной мы виноваты“».

Вера Николаевна писала Д. Л. Тальникову в Москву 10 мая 1959 года (продолжая письмо, начатое 20 марта) [964]:

«Пленные у нас не прятались. Они бывали только у нас по воскресеньям, пели, плясали, — талантливый подобрался народ! Приносили вина, коньяку, — они все почти были пекарями и наживались, продавая французам хлеб. С нас денег не брали. Боготворили Зурова. И все были очень настроены патриотично, даже те немногие, которые работали шоферами в немецком штабе, — он находился против нашей виллы. Мы с утра слушали пение о Москве… „Москва любимая“ и т. д.».

Бунин писал 23 ноября 1944 года Б. К. Зайцеву:

«Когда Бог даст нам свидеться, расскажу о пленных — их у нас бывало в гостях немало (еще при немцах). Некоторые в некоторых отношениях были настолько очаровательны, что мы каждый раз целовались с ними как с родными, да они и сами

говорили нам с Верой: „Папаша, мамаша, никогда вас не забудем. Вы нам родные!“ А очаровательней всех был один татарин — такое благородство во всем, такое высокое почтение к возрасту, к чести, к порядку, ко всему Божескому, — там Коран истинно вошел в плоть и кровь. А некоторые другие, при всем своем милом, все-таки поражали: подумайте — о Христе, например, настолько смутное представление, что того и гляди (и без всякого интереса) спросят: а кто собственно был этот Христос? Кое-чего мы с Верой старались не касаться <…> Они немало плясали, пели — „Москва, любимая, непобедимая“, о том, как „японец попзеть у границы родной…“ и т. д. Большинство при бегстве немцев разбежалось» [965]. Они бывали «часто все лето».

Девятого сентября 1944 года пятнадцать человек наших солдат увезли на грузовике в Кастеляну; проезжая мимо «Жаннеты», они забежали к Буниным. Зуров вынес им три бутылки вина. «Когда я подбежала, — говорит Вера Николаевна, — они уже были опять на грузовике — оживленные, взволнованные. Я их перекрестила. Уехали они в штаб партизанов-коммунистов» [966].

Творческая работа давала большую радость; Бунин писал: «Да и сам на себя дивлюсь — как все это выдумалось — ну, хоть в „Натали“. И кажется, что уж больше не смогу так выдумывать и писать». В «Натали», как почти во всех других его рассказах, «*все от слова до слова выдумано*» (запись в дневнике 20 сентября 1942 года).

«Прошелся в одиннадцатом часу по обычной дороге — к плато Наполеон, — пишет Бунин 24 сентября. — Моя черная тень впереди. Страшные мысли — вдруг останусь один. Куда деваться? Как жить? Самоубийство?

Потом стал думать об этой кухарке на постоялом дворе. Все вообразил со страшной живостью».

Этот взволновавший его вымысел воплотился в рассказе «На постоялом дворе», законченном 27 ноября 1942 года.

Двенадцатого ноября 1942 года он записывает:

«…Роковая весть: немцы занимают наше побережье. Ницца занята вчера днем, Cannes — поздно вечером — итальянцами. В Grasse вошло нынче вечером две тысячи итальянцев».

Настроение Бунина было грустное, «в жизни мне, — пишет он, — в сущности, не осталось *ничего*!».

Вера Николаевна теряла силы, была очень болезненна. Иван Алексеевич писал Вере Шмидт 15 декабря 1943 года, что Вера Николаевна «стала так бледна и худа, что смотреть страшно, я так слаб, что задыхаюсь, взойдя на лестницу: пещерный

сплошной голод, зимой — нестерпимый холод, жестокая нищета (все остатки того, что было у меня, блокированы за границей, со всеми моими издателями я разобщен, заработков — никаких) и дикое одиночество: вот уже три года, даже пошел четвертый, сидим безвыездно в Grasse'е — куда же теперь выедешь! Написал я за это время все же целую новую книгу рассказов, пишу и сейчас понемногу — и все только для ящиков письменного стола!» [967].

По словам Бунина, немецкое гестапо «долго разыскивало» [968] его.

Бунин продолжал следить за ходом войны. Он записывает 1 февраля 1943 года: «Паулюс, произведенный вчера Гитлером в маршалы, сдался в Царицыне, с ним еще семнадцать генералов. Царицын почти полностью свободен. Погибло в нем будто бы тысяч триста <…>

2.11. Вторник. Сдались последние. Царицын свободен вполне.

8.11. Понедельник. Взяли русские Курск, идут на Белгород».

Приходили вести о смерти друзей: 28 марта 1943 года радио сообщило о кончине Рахманинова. Вера Николаевна записала 29-го: «…Все застилает смерть Рахманинова. В „Эклерер де Нис“ есть уже сообщение „Великий композитор…“. Не дожил он до конца (войны. — А. Б.), до свиданья с Таней (дочерью Т. С. Конюс. — А. Б.), до возможности вернуться на родину…»

Бунин и сам «часто думал о возвращении домой. Доживу ли? — пишет он в дневнике 2 апреля. — И что там встречу?» В следующем году он возвращается к этой мысли: «Почти каждое утро, как только откроешь глаза, какая-то грусть — бесцельность, конченность всего (для меня). Просмотрел свои заметки о прежней России. Все думаю: если бы дожить, попасть в Россию! А зачем? Старость уцелевших (и женщин, с которыми когда-то), кладбище всего, чем жил когда-то».

Вера Николаевна характеризовала душевное состояние Ивана Алексеевича как «грустное, но скорее спокойное. Живем мы, — пишет она, — очень уединенно, редко кто теперь поднимается к нам на нашу гору. Иногда мы спускаемся к морю в разные места, тогда узнаем что-нибудь из хроники тех мест, теперь нам запрещено ночевать не дома, а с одиннадцати часов вечера мы не можем выходить. Ездить на автобусах очень трудно от тесноты…»

Каков Бунин был в свои семьдесят три года, видно по его письмам и дневникам: как и до перехода в старость, вовсе не смирившийся в нужде и в невзгодах, при всех своих недомоганиях — полный душевных сил и творческой энергии, влюбленный в радости земного существования, захваченный творчеством. И он, восхищенный лунной ночью с туманом и соловьями, восклицал: «Господи, продли мои силы для моей одинокой, бедной жизни в

этой красоте и в работе!»

«„Quand nous sommes seuls longtemps nous peuplons le vide de fantômes“[969], — выдумываю рассказики больше всего поэтому» [970].

Война все длилась. Шел уже 1944 год. В Грассе время от времени бывала воздушная тревога, слышалась орудийная стрельба. Иногда бомбы падали близко, и было страшно.

Ночью, когда Бунин выходил из дому, чтобы бросить в почтовый ящик письмо, немецкие солдаты внезапно ослепляли его резким светом электрического фонаря. Жили на вилле «Жаннет» как поднадзорные — окруженные «ржавыми колючками и минами, черными вывесками с белыми черепами на деревьях».

Пятнадцатого февраля Бунин отметил: «Немцами взяты у нас две комнаты наверху. Нынче первый день *полной* немецкой оккупации Alpes Maritimes».

Не только были взяты комнаты для двух немецких шоферов — грозились совсем выселить. Приходил какой-то чиновник, предупредил, чтоб были готовы к тому, что могут потребовать оставить виллу за три часа. Иван Алексеевич, падая от усталости, целую неделю без отдыха по двенадцать часов в день собирал все необходимое для отъезда, «набивал чемоданы» — объявили, «что всех нас, иностранцев, отсюда вон! — сообщал он Б. К. Зайцеву 6 марта 1944 года. — Пишу всюду просьбы, мольбы, — хоть отсрочьте немного наше изгнание!.. Живем в тревожном ожидании» [971]. Префект разрешил только одному Ивану Алексеевичу остаться до нового распоряжения.

Уезжать — неизвестно куда. Ежели в Париж, то необходимо было получить немецкое разрешение. Все же в случае выселения надеялись попасть в столицу «и поселиться где-нибудь в деревне, — писала Вера Николаевна Т. Д. Логиновой-Муравьевой 12 марта 1944 года. — У нас уже есть приглашение <…> Часть вещей мы уже отправили на нашу квартиру» [972]. Весь март продолжали сидеть на чемоданах.

Со временем опасность изгнания миновала. Немцам стало не до эвакуации. Союзники громили их все напористей. Раздавался «непрестанный тяжкий грохот рвущихся бомб по всему побережью в сторону Ниццы»; пожар в Cannes, «пишу, все время бегая к окнам» [973]. Жили все так же «скучно, тюремно — ни поехать, ни пойти нельзя никуда».

Было здесь много русских солдат, вероятно, власовцев, «идешь и слышишь то там, то здесь русскую речь, говорят все очень хорошо, неиспорченным русским языком. Все подтянуты. Вид здоровый» [974].

«С изгнанием немцев начались аресты; в мэрии „стригут,

оболванивают женщин, работавших с немцами“; перед воротами толпа, потом, видел Зуров, вели „женщин в одних штанах и нагрудниках“, били по голове винтовкой <…> будто бы за то, что путались с немцами. Слава Богу, — пишет Вера Николаевна, — американские власти запретили публичное издевательство» [975].

Пришло известие из Парижа 29 октября 1944 года: Е. Н. Жирову «схватили, остригли, посадили в тюрьму», она работала счетоводом у немцев, так как положение ее было безвыходное; «в кармане, — пишет Вера Николаевна, — ни гроша, муж пропал, содержательница пансиона ей написала, что если к 15 июня не будет внесено за Олечку 1500 франков, она берет ей билет до Парижа и отправляет к матери» [976]. Б. К. Зайцев и оба Бунины хлопотали за Елену Николаевну, и в декабре ее отпустили.

Четвертого июня Бунин записал в дневнике: «Взят Рим!» — а 6-го англичане и американцы высадились в Нормандии, чего ждал Бунин давно.

Двадцать шестого июня Бунин пишет в дневнике: «Началось русское наступление».

Первого июля: «Нынче весь день буйное веселье немцев в „Гелиосе“ (на вилле по соседству с Буниным. — А. Б.). Немцы в Грассе! И почему-то во всем этом — Я!»

События стремительно развивались.

Двадцать третьего июля: «Взят Псков. Освобождена уже *вся* Россия! Совершено истинно гигантское дело!»

Двадцать седьмого июля: «Взяты Белосток, Станислав, Львов, Двинск, Шавли и Режица».

Пятнадцатого августа: «Спал с перерывами, тревожно — все гудели авионы. С седьмого часа утра началось ужасающее буханье за Эстерелем, длившееся до полдня и после. В первом часу радио: началась высадка союзников возле Фрежюса. Неописуемое волнение!

18. VIII.44. Пятница. Взяли La Napoul (возле Cannes). Все время можно различить в море шесть больших судов. То и дело глухой грохот орудий».

Двадцать пятого августа: «День 23-го был удивительный: радио в два часа восторженно орало, что пятьдесят тысяч партизан вместе с населением Парижа *взяли Париж*.

Вечером немцы <начали> взрывать что-то свое (снаряды?) в Грассе, потом на холмах против Жоржа начались взрывы в мелком лесу — треск, пальба, взлеты бенгальских огней — и продолжались часа полтора. Сумерки были сумрачные, мы долго, долго смотрели на это страшное и великолепное зрелище с

замиранием сердца <…> Ясно, что немцы бегут из Грасса!

На рассвете 24-го вошли в Грасс американцы. Необыкновенное утро! Свобода после стольких лет каторги!

Днем ходил в город — ликование неописуемое. Множество американцев.

Взяты Cannes.

Нынче опять ходил в город. Толпа, везде пьют (уже все, что угодно), пляски, музыка — видел в „Эстерели“ нечто отчаянное — наши девчонки с американскими солдатами (все больше летчики).

В Париже опять были битвы, — наконец, совсем освобожден. Туда прибыл де Голль.

Румыния сдалась и объявила войну Германии. Антонеску арестован.

Болгария просит мира.

„Федя“ (русский военнопленный, который приходил к Буниным. — А. Б.) бежал от немцев за двое суток до прихода американцев, все время лежал в кустах, недалеко от пекарни, где он работал».

Тридцатого августа Бунин узнал, что взята Ницца. «Говорят, Ницца сошла с ума от радости, тонет в шампанском».

Бунин сказал, что, «если бы немцы заняли Москву и Петербург и мне предложили бы туда ехать, дав самые лучшие условия, — я отказался бы. Я не мог бы видеть Москву под владычеством немцев, видеть, как они там командуют. Я могу многое ненавидеть и в России, и в русском народе, но и многое любить, чтить ее святость. Но чтобы иностранцы там командовали — нет, этого не потерпел бы!» [977].

Ему, не терпевшему беспринципность, претило перекрашивание многих эмигрантов в красный цвет; их пугало непредсказуемое будущее, когда советские войска двигались по Европе. Стали записываться в «Союз друзей Советского Отечества» — «Union des Amis de la Patrie Soviétigue». Записался и Зуров, стал одним из важных членов и организаторов в ниццком и каннском «Союзе…». Бунин пишет:

«В Ницце образовался „Union des Patriotes Russes“ под председательством Ивана Яковлевича Германа — он прежде жил в Meudon, имел *контору* по найму вилл и квартир… Позавчера я получил от него приглашение этого союза принять участие „в торжественном празднованье 27-летнего юбилея октябрьской революции“, выступить с речью среди прочих ораторов. Я ответил, что ни приехать, ни выступить не могу, будучи совершенно чужд политической деятельности. Обойдутся и без

меня: ораторов будет и без того много, будет петь русский хор — советский гимн и хоровые песни „из Советской России“ — и т. д. В Cannes тоже будет празднование этого юбилея» [978].

Бунин сказал, «до чего несчастна русская эмиграция! Чего только не пережила! И вот опять — чуть не все, видимо, в ужасе — спешат страховаться — валом валят записываться в „патриоты“, в „Союз друзей Советского Отечества…“» [979].

В Париже на вечере в пользу русских военнопленных выступал в Плейель (зал Шопена) Б. К. Зайцев; прямо перед глазами по всему первому ряду — советские офицеры, парижская военная миссия; в глубине зала — «более скромные михрютки, — писал Борис Константинович Бунину 28 декабря 1944 года. — Здесь очень сейчас ими увлекаются» [980].

То, что многие стали «красней красного», Бунин объяснял не только страхом или холопством, но и стадностью.

Теперь активизировались те из эмигрантов, кто работал на большевистскую пропаганду, на НКВД, сотрудничал в прессе, существовавшей на советские деньги.

Н. Я. Рощин (Капитан) (псевдоним, настоящая фамилия Федоров; другой псевдоним Р. Днепров) выступил со статьей «Церковь и война» в «Русском патриоте». Сотрудники этой газеты, по словам Бунина, обдали грязью «эмиграцию, в которой питались двадцать пять лет, стали говорить о священнослужителях с полной похабностью („оголтелые митрополиты“)» (слова Рощина. — А. Б.) и т. п. [981].

После войны обнаружилось, что Рощин был советским агентом; как писал Глеб Струве, он был выслан в СССР французской полицией и приехал в Москву [982], сотрудничал в советских газетах и в «Вестнике Московской Патриархии»: кормился у «оголтелых митрополитов»[983].

Новый 1945 год — новые ожидания, новые надежды. «Сохрани, Господи», — записывает Бунин в дневнике 1 января. Иван Алексеевич по вечерам топит в своем кабинете. Вера Николаевна переписывает на машинке некоторые рассказы; а он, как обычно, правит некоторые слова. И его самого очень трогает «Холодная осень», наводит на грустные размышления: «Да, „великая октябрьская“, Белая армия, эмиграция… Как уже далеко все! И сколько было надежд! Эмиграция, новая жизнь — и, как ни странно, еще *молодость* была! В сущности, удивительно счастливые были дни. И вот уже далекие и никому не нужные» [984].

Все перечитывал Пушкина; и всю свою долгую жизнь, с отрочества, «не мог примириться с его дикой гибелью!». Бранил

И. С. Шмелева за спесь, за самомнение, за то, что был груб в разговоре об избрании академиков в 1909 году, говорил, будто Бунин «подложил ему свинью» в Академии; ничего не менял и тот факт, что Бунин вытащил его из Берлина и приютил на вилле Montfleuri.

Оставаться далее в Грассе было невозможно: заработков здесь не было, да и угнетало одиночество; говорить о литературе, об искусстве — о том, чем собственно Иван Алексеевич и Вера Николаевна жили, — не с кем было; и не дай бог заболеть, говорила Вера Николаевна, «ни докторов, которым можно верить, ни лекарств» [985]. Теперь в мыслях — отъезд в Париж, но не зимой и не ранней весной, когда в квартире будет холодно и сыро. Дождаться же спокойно тепла на юге не дает хозяйка «Жаннеты», требует освободить виллу к 1 апреля. Позднее она прислала телеграмму — позволила остаться до конца апреля. В Париже с бунинской квартиры жильцы не хотели съезжать к 1 мая, как условились с ними. Еще в декабре 1944 года Бунины вселили в нее Елену Жирову как «de la famile»[986]. В дальнейшем с трудом с помощью друзей квартиросъемщиков выселили. Приближались дни отъезда в Париж — навсегда. О прожитых в Грассе годах Вера Николаевна писала Д. Л. Тальникову:

«Иван Алексеевич в Грассе был сравнительно здоров и бодр. Легко поднимался в гору. Начал болеть воспалением легких уже в конце 1945 года в Париже, а домой, то есть в нашу парижскую квартиру, мы вернулись 1 мая 1945 г. И до декабря он был здоров, а ему уже в октябре минуло 75 лет… Острых заболеваний в Грассе у него не было. Один раз был обморок, но это, вероятно, от недоедания. Но тогда все почти недоедали» [987].

Переламывалась их жизнь. Что нашли в Париже, где еще недавно были битвы? Русская пресса разгромлена немцами; а русской эмиграции, сказал Бунин, нет, кто уехал — Алданов и другие — не вернутся.

И как все изменились. Встретились на вечере Г. В. Адамовича, зал был полон; «постарели, посерели, — писала Вера Николаевна М. С. Цетлин, — настоящих молодых лиц не было <…> Но мы, вернее многие, те, что провели лихие годы на юге, испытали новые чувства: трудно передаваемую радость свидания: спаслись! уцелели! И грусть непередаваемую, что многих из тех, кто всегда бывал на подобных „Встречах“ — вечер был устроен под флагом „Встреч“, — уже нет с нами» [988].

Быт парижской квартиры в дни послевоенной разрухи был нелегким, и это сказывалось на здоровье Бунина. Теперь главной заботой было чем и как топить. С юга получили две печки; в подвале лежали палки на «растопку». Получали по карточкам

«несколько сот килограммов угля» и на Ивана Алексеевича четыреста кило дров. В комнате Веры Николаевны печки не было, и свое одеяло она отдала Яну, надеясь на свою меховую шубу; «буду как медведь, — пишет она в указанном выше письме, — лежать и сосать лапу… Ян очень волнуется и что-то предпринимает». Здоровье Веры Николаевны *стало* хуже: ослабело сердце, «общая слабость, бледность и худоба ужасные…» [989].

Кабинет Бунина был и его спальней. Там стояли «простой стол, железная кровать, прикрытая зеленым солдатским грубым одеялом, два стула и старое продавленное кресло», — писал А. Седых 19 сентября 1966 года.

Много радости давало общение с друзьями; в их кругу Бунин преображался, блистал остроумием, уморительно изображал в лицах тех, о ком что-либо рассказывал, — был тот Бунин, какого Станиславский и Немирович-Данченко приглашали в труппу Художественного театра. В один из дней ноября у профессора В. Б. Ельяшевича — Зайцевы, архимандрит Киприан (К. Э. Керн), Таганцев. Было весело. Иван Алексеевич «смешил всех до слез в буквальном смысле этого слова» [990].

Деньги как-то добывались. Более тридцати тысяч франков дал вечер Бунина 9 июля 1945 года, он прошел успешно. Изредка получались гонорары за рассказы, за переводы, потом выйдут книги. Случайные заработки бывали у Веры Николаевны: сейчас она давала уроки русского языка одному ученому французу; к ней приходили ученики на уроки — готовились к экзамену по русскому языку. Иногда для денег «стучала на машинке».

Приходили посылки с продуктами из США, в частности от М. С. Цетлин, М. А. Алданова, Н. И. Кульман, ПЕН-клуба, деньги от Александры Львовны Толстой из фонда Толстого. В посылках Вера Николаевна иногда получала что-нибудь из одежды.

Приходилось терять одного за другим тех, кто вошел в жизнь Бунина. Скончались Мережковский, Бальмонт. Девятого сентября 1945 года взволновала весть о смерти З. Н. Гиппиус. Вера Николаевна поторопилась на квартиру Зинаиды Николаевны; «поклонилась ей до земли, поцеловала руку <…> Пришел священник, отец Липеровский. Через минуту опять звонок, и я увидела белое пальто — дождевик Яна. Я немного испугалась. Он всегда боялся покойников, никогда не ходил ни на панихиды, ни на отпевания. Он вошел, очень бледный, приблизился к сомье, на котором она лежала, постоял минуту, вышел в столовую, сел в кресло, закрыл лицо левой рукой и заплакал. Когда началась панихида, он вошел в салон <…> Ян усердно молился, вставал

на колени. По окончании подошел к покойнице, поклонился ей земно и приложился к руке. Он был бледен и очень подтянут» [991].

Радио из Москвы сообщило 24 февраля 1945 года о смерти А. Н. Толстого.

Бунин, на пороге его 75-летия, обдумывал планы радикального изменения своей жизни. Алданов звал в Америку.

«*Чем же мы там будем жить*: совершенно не представляю себе! — писал он в ответ 28 мая 1945 года из Парижа. — Подаяниями? Но какими? Очевидно, совершенно нищенскими, а нищенство для нас, при нашей слабости, больше уже не под силу. А главное — сколько времени будут длиться эти подаяния? Месяца два, три? А дальше что? Но и тут ждет нас тоже нищенское, мучительное, тревожное существование. Так что, как ни кинь, остается одно: домой. Этого, как слышно, очень хотят и сулят золотые горы во всех смыслах. Но как на это решиться? Подожду, подумаю… Хотя, повторяю, что же делать иначе?

Здесь, как вы, верно, уже знаете, стали выходить „Русские новости“ (еженедельно). Я дал в первый номер рассказ. Газета приличная. И вообще — ничего не поделаешь…» [992]

Алданов сожалел о разлуке с Буниным в случае его отъезда в Москву. «Марья Самойловна (Цетлин. — А. Б.), — писал он Бунину 30 мая 1945 года, — чуть не заплакала, когда я сегодня ей прочел ваше письмо. Она только восклицала: „Это безумие!“, „Боже мой!“» [993]

Осенью 1945 года по указанию из Москвы Бунин был приглашен в советское посольство в Париже. Старший советник посольства А. А. Гузовский известил, что господин посол желает с ним познакомиться; была прислана машина, и Иван Алексеевич поехал. Бывший посол СССР во Франции А. Е. Богомолов рассказал автору этой работы о своей встрече и беседе с Буниным. Он пригласил Ивана Алексеевича к себе на завтрак:

«Бунин пришел. В оживленной беседе с ним, касавшейся как политических, так и других вопросов, я спросил Ивана Алексеевича, как он относится к Советскому Союзу и предполагает ли он вернуться в СССР. И. А. ответил, что к Советскому Союзу, разгромившему гитлеровцев, он относится с большой симпатией и благодарит за любезное приглашение вернуться в СССР. И. А. очень одобрительно отозвался о факте возвращения Куприна на родину и о том, как его приняли в Москве. Что касается себя самого, И. А. заметил, что он подумает относительно перспективы возвращения в СССР, добавив, что он больше всего беспокоится о том, сколько времени ему понадобится на то, чтобы изучить так Советский Союз, чтобы

слияние с советской тематикой и советскими писателями было бы для него органичным» [994].

Визит Бунина вызвал в определенных кругах русской эмиграции в США раздражение. Об этом сообщал Бунину Алданов в письме 5 января 1946 года.

Когда вышла моя книга, писатели-эмигранты рассказ Богомолова о визите Бунина сочли не совсем верным. Бунин говорил друзьям о своем посещении посольства тоже по-другому. Он писал Алданову, что вел с послом «в течение получаса совершенно не политическую беседу — только светскую — и откланялся, после чего заболел уже основательно, слег — и все имел слухи, будто я потому был в посольстве, что собирался в Россию» [995]. Это был единственный визит в посольство. Н. Н. Берберова придумала, будто он бывал у посла несколько раз. А придумала она это — и еще иное несуразное — оттого, что Бунин непочтительно отзывался о ней, «мыслившей *очень* по-немецки» — как и некоторые другие писатели — во время гитлеровского нашествия; она в письмах предлагала ему издать свои книги в оккупированном Киеве. Бунин написал на нее ядовитую эпиграмму, послал Цвибаку, а тот дал читать другим.

Н. Я. Рощин — Капитан, как именовал Бунин в письмах этого бывшего капитана белой армии, даже солгал, будто Бунин побывал в Москве. На деле только предлагали ему полет в Москву на две недели, но Иван Алексеевич не думал о такой поездке, которая, несомненно, стала бы для него ловушкой. Вера Николаевна пишет в дневнике: «…Капитан дал интервью, где сказал, что Ян едет в СССР, как и Волконские и другие представители аристократии. Почему он все врет? Трудно понять <…> Я очень рада, что Рощина больше здесь нет. Рада, что он не виделся с Яном перед отъездом, а то наплел бы невесть что» [996].

По словам Бунина, его визиту «придано до смешного большое значение: был приглашен, отказаться не мог, поехал, никаких целей не преследуя, вернулся через час домой — и все… *Ехать „домой“ не собирался и не собираюсь*» [997].

Относительно отъезда в Москву были только раздумья Бунина, которыми он в письмах делился с Алдановым. Он писал Марку Александровичу: «…Я сделал то, что, не знаю, как бы другой сделал — истинно, в самые последние годы, а может быть дни своей жизни, нищий, старый, отказался от большого богатства, от всяческих больших „возможностей“ и т. д. и т. д.» [998]. Богатство и большие возможности обещал советский консул и старший советник посольства, если бы поехал, был бы миллионер, имел бы дачи, автомобили и т. д.[999] В газете «Русские новости» (1946, № 82, 6 декабря) опубликовано «Письмо

в редакцию» И. А. Бунина:

«Весьма прошу редакцию „Русских новостей“ дать место моему заявлению, что появившееся в некоторых французских газетах сообщение о моем отъезде в Россию лишено оснований».

А из СССР подавали сигналы, что очень хотели бы его приезда. Эльза Триоле, побывав в Москве, куда она часто ездила, пригласила его 26 апреля. Бунин познакомился с ней и с французским писателем-коммунистом, ее мужем, Арагоном. Распространялись слухи — «Литературной газетой» и другими, — будто в России издадут Полное собрание сочинений Бунина. Также была телеграмма из Москвы, подписанная М. Я. Аплетиным, критиком, заместителем председателя иностранной комиссии Союза писателей, на имя Триоле. В этой телеграмме содержалась просьба «прислать „немедля“, — извещал Бунин Алданова 26 декабря 1945 года, — сборник моих последних рассказов; я тогда отправился к Борису Даниловичу Михайлову, заведующему здесь „бюро прессы“ по назначению Москвы, и попросил его запросить Москву, зачем и кому именно нужны мои рассказы (которые я все-таки уже продал для издания О. Г. Зелюку, кстати сказать); недели через три пришел ответ из Москвы — там желают *издать* эти мои рассказы (только для России) и еще что-нибудь из моих последних книг (что привело Полонских в *искренний* восторг), и я попросил Бахраха отвезти Михайлову рукопись моих рассказов (три четверти их), „Освобождение Толстого“ и „Жизнь Арсеньева“, а также письмо к Телешову: вот, мол, посылаю, по желанию Москвы, кое-что из моих последних писаний „для осведомления“, не будучи вовсе уверен, что это может быть интересно для вас, ибо „я для вас человек уже ‘исторический’, могу быть интересен разве только с этой точки зрения или с точки зрения искусства“» [1000].

Была и вторая телеграмма Аплетина с просьбой о произведениях Бунина.

Из открытки Н. Д. Телешова 11 ноября 1945 года Бунин узнал, что его книга «листов 25 печатается в Государственном Издательстве Художественной Литературы». Тринадцатого января 1946 года он писал Телешову: «…Может быть, еще есть время что-нибудь исправить в этом поистине ужасном для меня деле с изданием 25 листов моих произведений: пишу нынче о нем и непосредственно Государственному Издательству, и тебе, в надежде, что ты лично поговоришь с кем-нибудь в Издательстве и как-нибудь поможешь мне. Я называю это дело ужасным для меня потому, что издание, о котором идет речь, есть, очевидно, *изборник* из всего того, что написано мною за всю мою жизнь, нечто самое существенное из труда и достояния всей моей жизни

— и избрано без всякого моего участия в том (не говоря уже об отсутствии моего согласия на такое издание и о том, что оно лишит меня возможности переиздавать собрание моих сочинений на русском языке во Франции или в какой-либо другой стране, то есть единственного источника существования в нашей с Верой Николаевной старости и близкой полной инвалидности моей: дорогой мой, ведь мне 76-й год идет!). Я горячо протестую против того, что уже давно издано в Москве несколько моих книг (и в большом количестве экземпляров) без всякого гонорара мне за них (имею в виду „Песнь о Гайавате“, „Митину любовь“, — было, кажется, и еще что-то), — *особенно же горячо* протестую против этого последнего издания, того, о котором ты мне сообщил: тут я уже прямо в отчаянии и *прежде всего* потому, что тут поступлено со мной (который, прости за нескромность, заслужил в литературном мире всех культурных стран довольно видное имя) как бы уже с несуществующим в живых и полной собственностью Москвы во всех смыслах: как же можно было, предпринимая издание этого *изборника*, не обратиться ко мне, хотя бы за моими советами насчет него, — за моими пожеланиями вводить или не вводить в него то или другое, за моими указаниями, какие именно тексты моих произведений я считаю окончательными, годными для переиздания! Ты сам писатель, в Государственном Издательстве ведают делом люди тоже литературные — и ты и они легко должны понять, какое великое значение имеет для такого изборника не только выбор материала, но еще и тексты, тексты! <…> В конце концов вот моя горячая просьба: если возможно, не печатать совсем этот *изборник*, пощадить меня; если уже начат его набор, — разобрать его; если же все-таки продолжится это поистине жестокое по отношению ко мне дело, то по крайней мере осведомить меня о содержании изборника, о текстах, кои взяты для него, — и вообще войти в подробное сношение и согласие со мной по поводу него.

Эти письма (тебе и Государственному Издательству) я посылаю при любезном содействии Посольства СССР во Франции. Дабы ускорить наши сношения, может быть, и вы найдете возможным немедленно ответить мне тем же дипломатическим путем <…>

Существует всемирное содружество писателей — P. E. N. Club, коего я член. Если эти письма останутся втуне, я обращусь за защитой к нему» [1001].

Выяснять пожелания Бунина насчёт выбора его произведений и текста их не стали и посланные в адрес Союза писателей рассказы и книги не напечатали, а передали Телешову, как просил Бунин, удостоверившись в безнадежности дела с изданием

его книг в Москве. Относительно «изборника» пришла Бунину телеграмма из Москвы: «Согласно вашему желанию Государственное Издательство Художественной Литературы приостановило подготовку издания ваших произведений».

Богомолов был человеком большой культуры. Его умом и культурой восхищался Шарль де Голль, писал о нем с большим уважением в «Военных мемуарах». Это была крупная личность, и его встреча с Буниным могла быть вовсе не рутинным исполнением поручения своего правительства. Диктор французских передач на московском радио Ольга Майндорф, внучка секретаря русского посла в Дании М. Ф. Майндорфа, рассказывала редактору немецких передач на радио Лидии Иосифовне Давыдовой, племяннице М. К. Куприной-Иорданской, что посол Богомолов очень тепло отнесся к их семейству. Вышло так, что они возвратились в Советский Союз после смерти Сталина, в 1955 году. Это спасло их от участи, постигшей многих репатриантов, ехавших эшелонами в СССР и отправленных в Сибирь, где они погибали.

Союзники в войне Великобритания и США заключили в Ялте 4–11 февраля 1945 года соглашение с СССР. В соответствии с тайным протоколом этого соглашения насильно было репатриировано в Советский Союз более двух миллионов человек из Европы, Америки и даже из Африки. Эта массовая выдача эмигрантов различных поколений и бывших пленных происходила активно с 12 мая 1945 года и до конца августа 1946 года. Их отдали на расправу Сталину. Об этом писали Солженицын в книге «Архипелаг Гулаг» и граф Николай Дмитриевич Толстой-Милославский, потомок Льва Николаевича Толстого, в своей книге «Жертвы Ялты», изданной в Лондоне по-английски в 1978 году; в Москве напечатана в переводе с английского в 1996 году.

О насильственном выдворении русских из Франции Бунин говорит в предисловии к книге А. Седых «Звездочеты с Босфора», цитируя при этом его рассказ «Миссис Катя Джексон» — о «русской девушке, неожиданно ставшей англичанкой, о том, что она пережила в немецком плену, а после плена — перед грозившем ей, как и многим, многим другим, возвращением в Россию, во избежание чего многие из этих многих „запирались в своих бараках, куда за ними приезжали на грузовиках красноармейцы, пели „Со святыми упокой“, перерезывали себе вены или лезли в петлю“» [1002].

Приближалось 75-летие Бунина. Он, «с полным отчаянием»,

писал Алданову 17 августа 1?45 года о своей нищете и спрашивал: «нельзя ли под эту милую годовщину» собрать для него в Америке хотя бы некоторую сумму? Алданов и его друзья, «посовещавшись», решили для сбора денег обратиться к нью-йоркскому Комитету нобелевских лауреатов и устроить юбилейный вечер.

А творчество его продолжало изумлять современников — рассказами из цикла «Темные аллеи»: «Второй кофейник», «Дубки», «Речной трактир», «Пароход „Саратов“», «Месть», «Мадрид» и совершенно удивительный «Чистый понедельник». Они печатались в Нью-Йорке в 1945 году в журналах «Новоселье» и «Новый журнал». А в Париже в этом году были опубликованы «Холодная осень», «Ворон», «Качели», «В одной знакомой улице». Он говорил:

«…Еще пишу не хуже прежнего, несмотря на крайнюю физическую слабость, для которой есть причины и помимо лет, всякому понятные, — даже никакому Томасу Манну не понять до конца того, что пережил я и физически и морально!» [1003]

Двадцать пятого октября Бунин получил поздравительную телеграмму из Нью-Йорка, подписанную Алдановым, а также бывшим председателем правления «Последних новостей» А. И. Коноваловым, социалистом Б. И. Николаевским, одним из лидеров эсеров В. М. Зензиновым. В парижской газете «Русские новости» 9 ноября были напечатаны редакционная статья «И. А. Бунин. К его 75-летию», статьи Адамовича «Поклон Бунину» и Бахраха «Четыре года с Буниным», также интервью Бунина, в котором он сказал, что все лучшее написал в эмиграции. Писали о юбилее Бунина Алданов и А. Седых в русской прессе в Нью-Йорке.

В 12-м номере «Нового журнала» в статье «Юбилей Бунина» сказано: «…Все сходятся в том, что он гордость и украшение русской литературы. Его юбилей — ее большой праздник» [1004]. Рассказ «Речной трактир», писал Бунину Алданов 26 декабря 1945 года, «всех приводит в восторг, даже ваших нынешних политических недругов: у нас ведь есть читатели всех взглядов» [1005]. Алданов потом скажет Бунину: «…Немного есть в русской классической литературе писателей, равных вам по силе. А по знанию того, о чем вы пишете, и вообще нет равных: конечно, язык „Записок охотника“ и чеховских „Мужиков“ не так хорош, как ваш народный язык» [1006].

«В честь старости» Бунина (и художника А. Бенуа) вышел в 1946 году «Русский сборник»; в нем напечатаны рассказ «Зойка и Валерия», статья Адамовича о Бунине, рассказы Тэффи, Ремизова, воспоминания Бенуа, посмертно стихи Гиппиус и Цветаевой,

также произведения других авторов. В еженедельнике «Cavalcade» в 1946 году напечатаны в переводе на французский язык рассказы, вошедшие в сборник «Темные аллеи», «Ворон», 20 июня и «Поздний час», 10 октября [1007].

В Нью-Йорке в юбилейные дни издан рассказ «Речной трактир» в художественном оформлении М. В. Добужинского — одна тысяча нумерованных экземпляров. Вера Николаевна, послав экземпляр (№ 355) автору этих строк, писала 26 января 1960 года о Бунине и об атмосфере у них в доме в те дни:

«Издание это было по подписке. Одна из организаторш была М. С. Цетлин, вероятно и М. А. Алданов. Оно дало нам возможность прожить некоторое время. Помню, когда кто-то принес довольно большую сумму, Иван Алексеевич лежал с высокой температурой в воспалении легкого. Это было на Рождестве. У нас была детская елка. Мы хотели отменить, но Иван Алексеевич настоял, чтобы она была. С нами жили Олечка Жирова и ее мать. Дети, узнав, что Иван Алексеевич болен, были очень тихи. Пели святочные песенки в полголоса. А Иван Алексеевич был в жару, ему было трудно написать расписку. Это было в 1946 году 7 января. Тогда у нас в квартире жило пять человек. М. С. Цетлин в шутку называла ее „ночлежкой“. Вот вам крохотный кусочек из „Бесед с памятью“».

Через месяц от воспаления Бунин поправился. Все же полного выздоровления не было. А в квартире стоял холод. Дни его болезни прошли для Веры Николаевны в изнурительных заботах. «У нас ведь топится только комната, где живет Ян, то есть столовая, а в остальных бывало очень прохладно <…>, — писала она М. С. Цетлин 8 февраля 1946 года. — Я больше двадцати дней не раздевалась, спала около Яна, на той же постели. Приходилось иногда раз пять в ночь подыматься. Теперь уже сплю у себя, и ночью меня он не тревожит. Доктор Казас нашел, что болезнь Ивана Алексеевича „от расстройства всего организма“. Ян очень исхудал, ноги — палочки. Стараюсь доставать все, что можно. Но что это стоит! Не успеваю менять „пятитысячники“».

Двадцать первого июня 1946 года был опубликован в Париже в специальном выпуске «Союза советских патриотов» указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1946 года о восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих во Франции. Тридцатого июня перед эмигрантами выступил с речью А. Е. Богомолов. На этом собрании были Зуров, Тэффи, Н. В. Кодрянская. Зуров потом

рассказывал Буниным, что приходилось вставать двадцать раз; от всего собрания послали приветствие советским властям. Зуров писал автору этой работы 12 августа 1966 года:

«Иван Алексеевич не присутствовал на вечере в зале (театральном (Iéna), где советский посол А. Е. Богомолов торжественно (после долгой речи) вручал б. эмигрантам советские паспорта)». Бунин, разумеется, советский паспорт не брал, Вера Николаевна в одной из статей впоследствии опровергала лживые слухи на этот счет.

Многие были взволнованы, кто-то хотел уехать, другие с ними спорили, у кого-то происходил даже разлад в семье между сторонниками и противниками репатриации. Активизировались советские агенты, впоследствии разоблаченные сотрудники НКВД — ГПУ — враги Бунина: Николай Яковлевич Рощин (о нем сказано выше); Антонин Петрович Ладинский, после войны — «советский патриот», выслан из Франции в 1948 году, вернулся в СССР в 1955 году; Владимир Сосинский, Алексей Эйснер[1008]; Лев Дмитриевич Любимов, в 1940-е годы — «советский патриот», в 1948 году выслан из Франции, приехал в Москву в 1957 году; Василий Васильевич Сухомлин был разоблачен как многолетний советский агент, уехал в СССР[1009].

Эти журналисты, а также Дмитрий Михайлович Одинец, редактор газеты «Советский патриот», вернувшийся в СССР, из тех, о ком Бунин сказал, что они «по своим убеждениям, или по обязанностям, то и дело и всячески хулят, порочат в своей печати эмигрантов» [1010].

За Буниным велась слежка, это видно из материалов МИД СССР, ксерокопии которых предоставил нам артист кино Д. Е. Черниговский. Делались официальные запросы из Москвы посольским работникам о его настроениях и о том, что он пишет, печатает; в ответ шли донесения, пускались в ход фальшивки с жалкой попыткой подделать его почерк. А. А. Гузовский, приславший машину, чтобы отвезти Бунина к Богомолову, как видно из его письма заведующему первым европейским отделом Народного комиссариата иностранных дел СССР С. П. Козыреву, обыкновенный шпион. Омерзительно прикасаться к переписке 1945–1946 годов таких чинов, как председатель правления ВОКСа (Всероссийского общества культурных связей с заграницей) В. Кеменов и заместитель народного комиссара иностранных дел СССР В. Г. Деканозов, читать их просьбы сообщить «сведения», «характеристику», вранье о том, будто Бунин заявлял о желании приехать в СССР.

После ухода из жизни Бунина не оставили в покое его вдову Веру Николаевну. Об этом с некой даже гордостью рассказал

бывший дипломат-шпион в «Воспоминаниях советского разведчика», напечатанных в «Литературной России» [1011], его высмеял Л. Лазарев в «Литературной газете» [1012].

Власть, обладавшая мощным репрессивным аппаратом, способным проникать и в зарубежье, не знала, как справиться с писателем, — как его приручить или запугать, — обладавшим во всех цивилизованных странах огромным авторитетом. Уехать в советский «рай» он не захотел, тогда пытались, с помощью своих агентов, оболгать его, показать миру таким, каким хотелось Москве видеть его: идейно порвавшим с эмиграцией.

Д. М. Одинец, публикуя интервью Бунина В. Курилову, оболгал его и исказил некоторые слова, сказанные в частной беседе. Бунин сообщал Алданову 1 июня 1946 года, какое письмо он отправил в газету Одинца:

«Письмо в редакцию „Советского патриота“.

Позвольте заявить в ближайшем номере вашей газеты мой протест по поводу интервью со мной, напечатанного в „Советском патриоте“ от 28 июня. Я твердо и при свидетелях заявил г-у В. Курилову, автору этого интервью, что даю ему право опубликовать только *одну* мою фразу, выражающую только одно — мою скромную мысль о значительности для русской эмиграции указа 14 июня. Несмотря на это, в „Советском патриоте“ напечатано было нечто совершенно иное: описание моего то якобы „скорбного“, то якобы „взволнованного“ лица и целый набор восторженных фраз, *которых я и не думал произносить*, — вплоть до заключительной фразы всего этого интервью, резко исказившего выдуманными за меня словами даже тот *частный* и краткий разговор, на который я был вызван моим собеседником. Ив. Бунин, 30 июня 1946 г.» [1013] Письмо-протест было опубликовано 5 июля. Редактор «Советского патриота» прибавил слова: «Многоуважаемый господин редактор» и «С почтением».

Иные авторы в наши дни пишут, ссылаясь на «интервью» «Советскому патриоту» и на тот факт, что Бунин посетил советское посольство, будто он в 1940-е годы «полевел», а «эмигранты отвернулись от него» [1014]. Размолвка Бунина с Б. К. Зайцевым и М. С. Цетлин, — чему Бунин повода не давал, — затмила таким авторам истинную картину жизни русской эмиграции. Адамович пишет: «Должен без колебаний, во имя истины, сказать, что за все мои встречи с Буниным в последние пятнадцать лет его жизни я не слышал от него ни единого слова, которое могло бы навести на мысль, что его политические взгляды изменились» [1015].

В Париже Бунин «не раз дружески виделся» с

К. М. Симоновым. Московские власти послали его уговаривать Бунина вернуться «домой». Вера Николаевна записала в дневнике 11 августа 1946 года:

«Вечером приезжал Симонов, приглашать на завтра на его вечер <…> Понравился своей искренностью, почти детскостью <…> Он уже в Верховном Совете, выбран от Смоленщины.

Симоновское благополучие меня пугает. Самое большое, станет хорошим беллетристом. Он неверующий <…> Когда он рассказывал, что он имеет, какие возможности в смысле секретарей, стенографисток, то я думала о наших писателях и старших и младших. У Зайцева нет машинки, у Зурова — минимума для нормальной жизни, у Яна — возможности поехать, полечить бронхи. И все же для творчества это, может быть, нужно. Симонов ничем не интересуется. Весь полон собой. Человек он хороший, поэтому это не возмущает, а лишь огорчает. Я очень довольна, что провела с ним час. Это самые сильные защитники режима. Они им довольны, как таковым, нужно не изменить его, а улучшить. Ему нет времени думать о тех, кого гонят. Ему слишком хорошо» [1016].

Был у Буниных, по выражению Веры Николаевны, «московский ужин» — «водка, селедка, килька, икра, семга, масло, белый и черный хлеб». Симонов сказал им, что, по его просьбе, это все доставлено было самолетом из Москвы. Андрей Седых пишет — получено из распределителя советского посольства. Были у них Адамович и Тэффи. Симонов пришел с женой, артисткой Валентиной Серовой.

В воспоминаниях «Об Иване Алексеевиче Бунине» [1017] Симонов во многом не точен. Твардовский отказался напечатать эту статью в «Новом мире». Вот наиболее существенные уточнения Зурова, писавшего 12 августа 1966 года:

«Познакомили К. Симонова с Иваном Алексеевичем Буниным на литературном вечере Константина Симонова в зале Шопена (Плейель. Вход с рю Дарю). После этого вечера (Константин Симонов читал свои стихи и рассказы) парижские литераторы и поэты (Иван Алексеевич и Вера Николаевна Бунины, Надежда Александровна Тэффи, Георгий Викторович Адамович, французская писательница Банин, Антонин Петрович Ладинский и другие) встретились с К. Симоновым (и его женой) у Дюпона (кафе-ресторан, вход с авеню Ваграм, находится недалеко от рю Дарю и зала Плейель)» [1018].

Адамович вспоминал: «Бунин обратился к Симонову „с изысканной, слегка манерной, чуть ли не вызывающе-старорежимной вежливостью“… едва мы сели за стол:

— Простите великодушно, не имею удовольствия знать ваше

отчество… Как позволите величать вас по батюшке? <…>

В начале обеда атмосфера была напряженная. Бунин как будто „закусил удила“, что с ним бывало нередко, порой без всяких причин. Он притворился простачком, несмышленышем и стал задавать Симонову малоуместные вопросы, на которые тот отвечал коротко, отрывисто, по-военному: „Не могу знать“.

— Константин Михайлович, скажите, пожалуйста… вот был такой писатель, Бабель… кое-что я его читал, человек, бесспорно, талантливый… отчего о нем давно ничего не слышно? Где он теперь?

— Не могу знать.

— А еще другой писатель, Пильняк… ну, этот мне совсем не нравился, но ведь имя тоже известное, а теперь его нигде не видно… Что с ним? Может быть, болен?

— Не могу знать.

— Или Мейерхольд… Гремел, гремел, даже, кажется, „Гамлета“ перевернул наизнанку… а теперь о нем никто и не вспоминает… Отчего?

— Не могу знать.

Длилось это несколько минут. Бунин перебирал одно за другим имена людей, трагическая судьба которых была всем известна. Симонов сидел бледный, наклонив голову. Пантелеймонов растерянно молчал. Тэффи, с недоумением глядя на Бунина, хмурилась. Но женщина это была умная и быстро исправила положение: рассказала что-то уморительно смешное, Бунин расхохотался, подобрел, поцеловал ей ручку, к тому же на столе появилось множество всяких закусок, хозяйка принесла водку шведскую, польскую, русскую, у Тэффи через полчаса оказалась в руках гитара — и обед кончился в полнейшем благодушии.

Знаю со слов Бунина, что через несколько дней он встретился с Симоновым в кафе и провел с ним с глазу на глаз часа два или даже больше. Беседа произвела на Ивана Алексеевича отличное впечатление: он особенно оценил в советском госте его редкий такт. Говорили они, вероятно, не только о литературе, должны были коснуться и политики» [1019].

Тридцатого июня 1946 года Бунин подписал контракт на издание «Темных аллей» в Англии. В декабре 1946 года «Темные аллеи» вышли в Париже по-русски. Сборник состоит из тридцати восьми рассказов. Позднее в это издание Бунин внес рукописные исправления и написал: «В конце этой книги (следуя хронологии) надо прибавить „Весной, в Иудее“ и „Ночлег“. Текст этих рассказов взять из моих сборников (этих же заглавий), изданных

„Чеховским издательством“ в Нью-Йорке».

Двадцать девятого декабря был банкет в честь Бунина по поводу «Темных аллей» — завтрак в низке консерватории; устроил поэт С. К. Маковский, председатель «Объединения писателей и поэтов». Пришли Б. Зайцев, Н. Тэффи, Н. Берберова, профессор уголовного права П. А. Михайлов, А. Бенуа с дочерью, Михаил Струве, Вера Зайцева и Бержанский. Было, по словам Веры Николаевны, вкусно, весело, под конец танцевали.

Бунин говорил, что Боккаччо писал «Декамерон» — книгу о любви — во время чумы, а он «Темные аллеи» во время войны.

Рассказы эти, писал Бунин Н. А. Тэффи 19 мая 1944 года, «совершенно дикие по своему несоответствию особенно тем последним дням, что дошли до нас, но, может быть, вполне законные по тому, видно, вечному, что бывает в чуму и во все семь казней египетских, о чем говорил Тот, ни с кем в мире не сравнимый, у которого я бы поцеловал александрийский сапог с усеченным носком…» [1020].

Сравнением «Темных аллей» с «Пиром во время чумы» подчеркнута общность пушкинской «маленькой трагедии» на вечную тему любви и смерти — и рассказов Бунина.

В. Н. Муромцева-Бунина писала, что рассказы «Темных аллей» отчасти появились потому, что «хотелось уйти во время войны в другой мир, где не льется кровь, где не сжигают живьем и так далее» [1021].

«Темные аллеи» — рассказы на темы общечеловеческие, вечные — о жизни и смерти, о любви, — и о красоте России, ее природы и истории. В те страшные дни войны он утверждал веру в человека.

Некоторые читатели и критики отнеслись к этим рассказам сдержанно, даже холодно, упрекали Бунина в «натуралистичности» описаний. «Содержание их вовсе не фривольное, а трагическое… — писал он Н. А. Тэффи 23 февраля 1944 года. — Вся эта книга называется по первому рассказу — „Темные аллеи“, — в котором „героиня“ напоминает своему первому возлюбленному, как когда-то он все читал ей стихи про „темные аллеи“ („Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи“) — и все рассказы этой книги только о любви, о ее „темных“ и чаще всего очень мрачных и жестоких аллеях» [1022].

Лучшим из рассказов сборника, по свидетельству В. Н. Муромцевой-Буниной, Иван Алексеевич считал «Чистый понедельник».

«…Почти все, — писала она автору этих строк 23 мая 1958 года, — что в этой книге — трагизм любви». По ее словам, Бунин считал, что в «Темных аллеях» «каждый рассказ написан „своим

ритмом“, в своем ключе», а про «Чистый понедельник» он написал на обрывке бумаги в одну из своих бессонных ночей, цитирую по памяти: «Благодарю Бога, что он дал мне возможность написать „Чистый понедельник“» [1023].

Она также писала, что Бунин «считал эту книгу самой совершенной по мастерству».

В рецензии на «Темные аллеи» в лондонском «Таймс»[1024] говорится: «Последний том его (Бунина. — А. Б.) рассказов достоин восхищения. Бунин в состоянии вызвать к жизни целые ушедшие миры; как основные моменты, так и житейские детали прошлого он дает с такой остротой и мастерством, что порой окружающая жизнь кажется, в сравнении с им описываемым, ужасающе невыразительной, бледной. Доминирующий лейтмотив почти всех этих рассказов — печаль, сожаление, что жизнь уходит, подобно отливу, печаль, что остаешься один на опустелом берегу, сожаление, что человеку отпущена всего одна жизнь, и затем следует смерть. История пожилого русского эмигранта, встречающего в Париже очаровательную русскую женщину — „В Париже“ — великолепный образчик того, как автор умеет внести благородство, широту видения и непреходящую значимость в то, что иначе бы выглядело всего лишь обыкновенной любовной историей».

1947 год начался для Бунина с болезней и с заботы о поездке на юг, в Русский Дом, на поправку — на курорт Juan-les-Pins на Лазурном Берегу. Директором этого пансионата был Роговский. Бунин говорил в письме Алданову о Роговском, что жизнь его «распутно „карамазовская“ <…> Кое в чем просто гадок» [1025].

Вера Николаевна жертвенно служила Яну, не могла отлучиться от дома, никого почти не видела, мало кто к ней заглядывал; «институт „гости“ или „в гости“ почти не существует у меня. Получаю письма от Гали» (Кузнецовой), — сообщала она М. С. Цетлин 26 января 1947 года и писала:

«Пользуюсь визитом очередной красавицы у Яна, пишу вам. Замучена я сверх сил. Почти месяц, как Ян болен. Спим на прошлогодний манер под красным пледом. Было три доктора: Серов, Зёрнов и Вербов. Все успокаивают, но меня начинает пугать его состояние. Особенно ночной кашель, отчего я и должна проводить ночи в его комнате, — нужно иной раз бежать в кухню и подогревать что-нибудь. Жара нет. Но он очень ослабел от потери крови. Чуть ли не шесть недель она не останавливается. Кроме того и печень не в порядке, и он на строгой диете, которую он покорно переносит. От поездки на юг он не отказался, а соблазнил и Тэффи, которая тоже решила там отдохнуть. Но

точного срока отъезда не назначено. Во всяком случае это будет не раньше февраля, а я думаю, что не раньше двадцатых чисел февраля. Сейчас здесь морозы „крещенские“. В моей комнате по утрам лед на окне. В кухню войти приятно, — настоящий ледник. На юге тоже выпал снег.

<…> Никого почти не вижу. Наталья Владимировна <Кодранская> была у нас на католическое Рождество, а затем пропала без вести <…>

Был сегодня Роговский. Назначили пока отъезд Яна между 6 и 9 февраля. Роговский тоже хочет ехать в том же поезде. Бог даст к тому времени потеплеет» [1026].

Письмо Веры Николаевны — подтверждение слов Бунина, которые ей он говорил, что без нее он «пропал бы». Он писал Марии Самойловне 8 апреля 1947 года:

«…Вера, едва живая от бессонных ночей со мной, которые она проводила в Париже, замученная горем за меня и даже недоеданием — ведь она так лишила себя всего, лишь бы мне купить какую-нибудь печенку (которая стоит нам в Париже 600 франков кило!)» [1027].

Прошел январь, почти три недели февраля — болезни Ивана Алексеевича, мечтавшего о южном курорте, — потеря сил после гриппа, малокровие — не побеждены; Вера Николаевна по-прежнему жила в тревоге за него. В письме к Марии Самойловне 19 февраля 1947 года она говорит:

«…У Яна оказалось после анализа крови всего 3 000 000 красных шариков, а нужно их у мужчин четыре с половиной миллиона или даже пять! Вы представляете, в каком мы положении. Дело в том, что у него больше чем два месяца было кровотечение, и он обезкровил, как это было двадцать шесть лет тому назад. Теперь у нас у всех одна задача уговорить его сделать укол. Врачи уверяют, что они безболезненны и безопасны. И все склоняются к тому, что его довольно тяжелое состояние (сердца, общей слабости) зависит именно от очень сильного малокровия, с которым придется бороться очень энергично, чтобы не случилось непоправимого. Он до сих пор в постели и так слаб, что пройти по комнате — целое дело. Большое упущение было сделано, что анализ произведен был так поздно. Всех врачей и нас путал его кашель, который и до сих пор продолжается и имеет характер коклюшечного, есть мнение, что и кашель отчасти зависит от ослабления всего его организма. Одно время думали, что дело в сердце, так как пульс порой бывает очень слабый и частый, после анализа врачи говорят, что это тоже от сильнейшей анемии. А сердце, к счастью (это единственное утешение), в хорошем состоянии. И, если он согласится на уколы, то силы будут

восстановлены довольно быстро. Но необходимо усиленное питание. И раньше во время его болезни его питание стоило дорого, — вы, вероятно, от Ангелиночки знаете, какие теперь цены, а последнюю неделю (анализ был получен в прошлую пятницу) его питание и отопление мне иной раз в день обходилось 2000 фр., а самое малое 500 франков. Его необходимо кормить, например, телячьей печенкой, кило которой стоит 600 фр. Ему всегда холодно, порой он дрожит и приходится топить, и на одну лишь растопку идут бешеные деньги. Словом, то, что я получила от Шуры (дочери Марии Самойловны, художницы. — А. Б.), уменьшилось вдвое. Чтобы его не расстраивать, я скрываю от него наше финансовое положение. Конечно, в вышеупомянутые суммы входят и лекарства и оплата врачей. Ко всему аппетита у него никакого, приходится умолять его, чтобы он что-нибудь съел. Впрочем, вы, вероятно, знаете, что это такое.

Роговский все еще здесь. Он ждал выздоровления И. А., чтобы его сопровождать. Врачи думают, что после уколов ему будет можно скоро ехать в Жуан-ле-Пэн, где, конечно, Беляев его поставит на ноги. Конечно, уколы тоже влетят в копеечку. Но ничего не поделаешь. Пришел черный день, — нужно все сделать, чтобы предотвратить непоправимое.

О себе могу сказать, что я устала очень. Ведь с первого апреля этого года я проводила до последних дней ночи с ним. Он кашлял так, что приходилось раза по три в ночь вставать и давать ему что-нибудь теплое. Последние три ночи я сплю в своей ледяной комнате, не раздеваясь, так как если позовет, то нужно как можно скорее к нему добежать и дать пить или посмотреть, не погасла ли печка… Наша фама перестала ходить, что очень трудно, приходится самой стирать, так как наша милая старенькая мадемуазель Имбер уже на тяжелую работу не годна, но все же она помогает и приходит почти ежедневно. Помогает и мать Ляли, и Любченко, и Феничка. Сегодня я с двумя последними перетащила все оставшиеся дрова и весь уголь в нашу квартиру.

Тэффи тоже заболела, у нее что-то с сердцем, какие-то шумы. Ее уложили на три дня в постель, запретили двигаться, и она, бедная, лежит одна в холоде.

Трудно достать билеты на юг. Ведь нужны спальные места. Иначе ни она, ни И. А. не доедут. Больше месяца уже хлопочут и все никак не получат. Теперь надеются на средину марта…

Сегодня пришла посылка от милой Татьяны Сергеевны Конюс, и как она кстати. Кое-что отдала И. А., как мед, чернослив, изюм. Жаль, не было кофе, здесь выдали только за декабрь…» [1028]

Числа 22 марта Бунин отбыл в «Дом Отдыха», в Жуан-ле-Пэн. Поехал один, поездка с Верой Николаевной была не по средствам. Тэффи и Роговский отправились раньше. Добыть билет Бунину удалось только на верхнюю полку, куда, при его слабости, влезать было нельзя; он волновался. Надеялись, что кто-нибудь уступит место внизу. По платформе идти к дальнему вагону ему было трудно. Ведь он не только болел, но последнюю неделю еще и лишился сна: так как недостаточно было красных кровяных шариков, он боялся, что может быть рак. Сердце и легкие Беляев и Айтов находили в порядке.

Провожали Ивана Алексеевича Жировы, Михайлов, Н. Ф. Любченко, Бахрах, Адамович; Зуров был на службе — работал сторожем по охране американского имущества. В купе оказался пожилой человек, Бунин «весело поздоровался, и они оба стали шутить», — пишет Вера Николаевна Марии Самойловне 29 марта 1947 года. Это был А. О. Гукасов, он уступил нижнюю полку.

В Антибах Ивана Алексеевича встретили на такси Беляев и Ставров. В «Доме Отдыха» кухня Бунину понравилась: за особую плату ему готовили отдельно. Вера Николаевна послала апельсины. «Не знаю, — продолжает она цитированное выше письмо, — как все же он там себя чувствует. Тэффи обещала подымать его дух. Ставрова, которая с мужем уже живет там второй месяц, надеюсь, исполняет для него маленькие поручения, они дружат. Беляев ежедневно его осматривает, а его подруга жизни, по слухам, замечательная женщина, очень хорошая хозяйка, заведующий хозяйством и всеми тикетами[1029] бывший моряк <Николай Иванович> Протасов, по матери Бунин, очень нравится Яну, так что окружение приятное <…> Но, конечно, я живу в тревоге. Успокоюсь, когда узнаю, что шарики прибавляются. Врачи уверяют, что у него очень хороший организм, но все же очень страшно».

Почти три недели курорта не улучшили здоровья; письма жене — с жалобами на «не очень сносное» питание, на дороговизну «прикупок»; «слаб и умом и волей и физически *очень*, — сообщал он ей. — Думаю, что напрасно поехал — никакого пока улучшения и ночью одиноко и страшно и тревожно за тебя <…> Все это не исключает того, что обо мне очень заботятся — и доктор и Шиловская (подруга его жизни) и заведующий хозяйством Протасов <…> И тревога: деньги тают — и что дальше, откуда взять?.. Очень заботливы обо мне Ставровы — все прикупки делают они» [1030].

В Русском Доме Бунин не оставлял литературных дел. Вел

переписку с А. Седых об издании своих книг. Спрашивал его, не устроит ли «Освобождение Толстого» у какого-нибудь американского издателя. Отправил ему эту книгу по-русски и по-французски. «*Если* она покажется скучна американскому грубому читателю *целиком*, — писал он 15 апреля 1947 года, — то можно сделать купюры — *останется много забавного даже и для него*. Во всяком случае *просмотрите книгу*» [1031].

В письме А. Седых 18 марта 1949 года он повторил эту просьбу. Книга эта, по его словам, «заключает в себе, помимо всего прочего, столько интересных (даже для самого рядового читателя) *рассказов* о Толстом! Ведь посмотрите, как расхвалил ее мой заочный друг, совершенно необыкновенный человек Леонид Галич! (на днях приславший мне по авиону свою статью „Бунин о Толстом“); ведь сам Andre Gide написал мне, прочитав ее по-французски, что наконец-то увидел он, благодаря мне, „живого Толстого“»! [1032]

Близился срок отъезда из Русского Дома. Бунин приобрел билет на поезд в Париж на 1 июня: в купе первого класса одноместное — ему «трудно ехать с кем-нибудь даже вдвоем» [1033].

В июле — августе стояла, говорил он, дикая жара. Иван Алексеевич из парижской квартиры выходил мало. Много читал, «много возился со своим архивом» [1034] — готовил для передачи Русскому Архиву, который создавался в Америке. Вера Николаевна печалилась из-за того, что не удалось устроить Ивана Алексеевича «куда-нибудь в зелень: где хорошо, так „капитала не хватает“, а где по карману — „там убожество, а убожество он, как вы знаете, — писала она Т. Д. Логиновой-Муравьевой 20 августа 1947 года, — не переносит, лучше нищета!“ [1035]. Так никуда на лето и не уехали, чтобы переждать жару: Иван Алексеевич „не „взошел““ на дорогой пансион, а в средний его не манило» [1036].

О пансионе, на который «не взошел», Бунин рассказывает в письме Алданову 1 августа 1947 года:

«Вчера заехали за мной и Верой Николаевной Конюсы (Татьяна Сергеевна, дочь Рахманинова, и ее муж) и повезли нас смотреть пансион в Marli-le Roi, уговаривая меня пожить там хоть полмесяца, и какое это было наслаждение — дышать загородным воздухом и лететь в их совершенно изумительном автомобиле! Великое дело, дорогой друг, богатство! Пансион, как вы хорошо знаете, прекрасный, только надо платить 700 фр. в день (без вина и пятичасового чая, конечно), что для меня „немножко дорого“. Я вежливо ухмылялся, когда Конюсы уговаривали меня как можно скорее переехать в этот пансион и идиотски бормотал, что

подумаю, подумаю <…>

В заключение должен вам признаться, что это я предал на расстрел генерала Краснова. А вывел меня на чистую воду какой-то „уважаемый И. К. Окулич“. Все это напечатано в какой-то… русской американской газете (печатающейся по старой орфографии), — в „Письме в редакцию“ Глеба Струве, каковое письмо привожу целиком и слово в слово, только с моими подчеркиваниями некоторых слов и фраз:

„Письмо в редакцию

М. Г. г. Редактор! В номере вашей газеты от 19 с. м. напечатана статья *уважаемого* И. К. Окулича, в которой он, как о факте, говорит о поездке И. А. Бунина, после войны, в СССР и о возвращении его оттуда, почему-то при этом сопоставляя этот факт с судьбой выданного Москве американцами и расстрелянного большевиками генерала П. Н. Краснова, который, как известно, во время войны стоял на откровенно про-германской позиции.

Не вдаваясь в оценку по существу этого сопоставления, я считаю своим долгом внести поправку в статью И. К. Окулича, очевидно *добросовестно* введенного кем-то в заблуждение. И. А. Бунин в Советскую Россию не ездил и, насколько мне известно, ездить не собирается, хотя попытки соблазнить его поехать туда и делались.

Можно так или иначе *морально*-политически оценивать некоторые действия И. А. Бунина *после освобождения Франции*, но нельзя взваливать на человека *обвинение в поступке, которого он не совершал.* Глеб Струве“.

Как видите, это нечто такое, — и статья Окулича и письмо Струве, — чему просто имени нет. Кто такой этот Окулич? Несомненно, что или чудовищный мерзавец или кретин. Но вот Струве называет его „уважаемый“, „не вдается в оценку по существу“ того, в чем обвинил меня Окулич, говорит о каких-то моих „*аморальных действиях*“ — и последними словами своего „Письма в редакцию“ разъясняет некоторую неясность начала этого письма, — уточняет, что Окулич твердо обвиняет меня в предательстве на смерть Краснова: иначе он не написал бы этих слов: „нельзя взваливать на человека обвинения в поступке, которого он не совершал“. <…> Я написал бешеное письмо Алексею Струве — для передачи того, что я сказал в этом письме, Глебу» [1037].

Газета, напечатавшая статью какого-то Иосифа Окулича, бывшего чиновника — дореволюционного времени — правых взглядов, провинциального газетчика, — «Русская жизнь». Бунин написал «бешеное письмо» Алексею Струве для передачи того, что

он сказал в этом письме, его брату, адреса которого не знал, позднее послал открытку Глебу Струве. Алексей Петрович не обиделся за брата; они были знакомы с 1919 года и дружили, Алексей Петрович был книжник-библиограф, Бунин называл его «Букинистом», так как он собирал и продавал старые русские книги «в рабочем порядке… жил в русской книге», — писал он автору этих строк 10 января 1969 года. Глеб Петрович, судя по тому, что он писал о Бунине, и по его письмам, относился к Бунину уважительно и с должным почтением.

Эту, по выражению Ивана Алексеевича, «маленькую историю» с И. К. Окуличем, — из-за чего он так огорчился, — он скоро забыл. Трудно было найти человека менее злопамятного, чем он.

Бунин предлагал А. Седых для «Нового русского слова» заметки (не политические), надеясь, что будут платить хоть что-нибудь небольшое, не считаясь с его «вселенской славой»; «заметки» — воспоминания о современниках. В послевоенные годы (1946–1953) он написал также многие рассказы, они, как и «заметки», публиковались в периодических изданиях. Часть из них вошла в книгу «Темные аллеи», а некоторые — из тех, что при жизни Бунина не были напечатаны, — согласно его «Литературному завещанию», должны быть включены в будущее собрание его сочинений. Всей прозы этих лет хватило бы на отдельную книгу; и еще вышли «Воспоминания»; а смерть застала его за работой над книгой о Чехове. Для будущих изданий Бунин в данное время основательно проредактировал тексты всего собрания сочинений, изданного в 1934–1936 годы издательством «Петрополис». В 1950-е годы он издал в новой редакции «Жизнь Арсеньева», а также три сборника рассказов (один, «Петлистые уши», вышел посмертно, его корректуру он успел прочитать).

И как нелепо выглядит утверждение, что Бунин, «больной, полунищий», в эти годы был «лишен возможности работать» (цитированная выше статья в газете «Литературная Россия», 1990, № 10, 9 марта). Болезни не всегда одолевали. А что касается его беспокойства о средствах к жизни, то, хотя были моменты отчаянного положения, следует все же помнить слова Веры Николаевны, что у Ивана Алексеевича был страх нищеты, а потом — расточительство. К тому же, по своей большой страстности, он иногда мог и кое-что в письмах преувеличивать.

Бунин жил жизнью творческой до конца дней своих. «В измученном Иване Алексеевиче жил его прежний творческий дух, — писала Т. Д. Логинова-Муравьева. — Любил он по-прежнему общение с друзьями». Письма, в которых он нередко говорит о воспалениях, астме и прочих невеселых вещах,

проникнуты юмором, от них веет жизнелюбием; к тому же, что было ему ненавистно, он был беспощаден, писал без всяких компромиссов о воспоминаниях Горького о Толстом, «лживость, топорность, брехня которых достойна рваных ноздрей и каторги», — говорит он в письме Адамовичу 15 июля 1947 года. Свою мысль он развивает в письме, посланном Адамовичу на следующий день:

«Об одной брехне Горького на Толстого, будто Толстой сказал про Чехова, что он, Чехов, „скромный, тихий, точно барышня, и ходит, как барышня“ я уже писал вам. Почему это брехня? Потому, что, во-первых, Горький всегда вкладывал в уста Толстого совершенно не свойственный Толстому язык, вложил и тут, а во-вторых, потому, что такой „проницательный“ человек, как Толстой, никак не мог не видеть, что Чехов, ходивший именно как сын своего сурового отца-лавочника, высокий, широкоплечий, и на людях всегда бывший несколько суровым, сугубо сдержанным, ничуть не был похож на барышню (и кстати сказать, никогда не „робел“). Это я вам уже писал. Теперь прибавлю, почему именно нужна была Горькому эта брехня, как и многие, многие другие брехни его: потому, что он всегда действовал в этих случаях очень расчетливо, — много раз противопоставлял свою силу, свой нахрап, свой „челкашизм“ выдуманной им, Горьким, „тихости“, бессильной „грусти“ своего соперника, Чехова, раз даже сказал про него приблизительно так (пустив на свои глаза актерскую слезу, на которую он был такой мастер): „Глядишь иногда на Чехова — и подумаешь: *взять бы тебя*, несчастного, *на руки* и унести куда-нибудь подальше от всей пошлости, окружающей тебя“. Видите, мол, каков Чехов — и каков я, могущий *взять его на руки*! Вовсе недаром кому-то писал Горький, например, в 1913 году про Чехова и про меня (то, что вы цитируете в вашем фельетоне): „Очень рекомендую вниманию вашему Чехова и Бунина. Оба с изумительной силой чувствовали значение *обыденного* и прекрасно изображали его“. Видите, как опять ловко: так хвалит нас, что кому же придет в голову, что он роет нам с Чеховым некоторую яму: Чехов и Бунин, мол, годны только на „чувствование обыденного“, в то время, как он, Горький, „сокол“, „буревестник“ и т. д. (Ловкость вроде той, которой так часто пользовалась в своих похвалах и Гиппиус; например, в таком роде: Бунин *прекрасное неподвижное* озеро.) Ради прославления, утверждения своего челкашеского „романтизма“ Горький соврал, будто Толстой раз сказал ему нечто в таком роде: „Вы, конечно, не можете мне нравиться, потому, что вы — романтик“» [1038].

В письме Адамовичу 29 декабря 1949 года Бунин шутит:

«Пишу, находясь в большой грусти. Прочел в последней „тетради“ „Возрождения“ несколько ужасных для меня строк поэта Георгия Иванова: „С тем, что Блок одно из поразительнейших явлений русской поэзии за все время ее существования, уже *никто не спорит*, а те, кто спорит, не в счет. Для них, по выражению З. Гиппиус, *дверь поэзии закрыта навсегда*…“ [1039]

Строки эти, конечно, довольно странны: раз „никто не спорит“, откуда же взялись „те, кто спорит“? Но это „не в счет“. „В счет“ мое ужасное положение: Иванов и Гиппиус „навсегда закрыли дверь поэзии“ для меня, несчастного спорщика!

И еще так говорит поэт Иванов: „С появлением символистов *унылый огород* реалистической литературы вдруг расцвел, как какой-то фантастический сад…“ Тут опять оказался я в дураках: никак не думал, что была „*унылым огородом*“ та литература, в которой *при появлении* в ней символистов были „Вечерние огни“ Фета, стихи Вл. Соловьева, Лесков, Гаршин, Чехов, „Смерть Ивана Ильича“, „Крейцерова соната“, „Хозяин и работник“, „Воскресение“ Толстого» [1040].

Бунин удивлял знавших его тем, что «задор никогда его не покидал» [1041]. После него «осталось множество экспромтов и стихов „на случай“, остроумных и злых или нарочито наивных» [1042]. Ему, видимо, не понравился роман художника и писателя С. И. Шершуна «Долголиков», который похвалил Г. В. Адамович, и Бунин пишет Георгию Викторовичу 4 ноября 1947 года:

«Не раз обижали вы меня в моей молодости („Все луна светит и все гуляет Бунин-Арсеньев по саду…“) и не раз хотелось мне —

Монпарнасом погулять,
Девок взором пострелять,
Руку в юбках их потешить,
Шершуна с Пегаса спешить
И башку с широких плеч
Адамовичу отсечь.

а меж тем не мешает мне все это любить вас…» [1043]

Многое ему было дано, чтобы покорять людей. В живом общении Бунин пленял своей духовной мощью — свойство гениальных натур. Были в нем неувядавшая жизненная сила, гармоничная — и благостная и вызывающая, — и царственность, то, что так поразило его и Алданова в тяжело больном Шаляпине, посетивших Федора Ивановича на исходе дней его.

«Бунин презирал кощунство, — вспоминает С. Ю. Прегель, —

но вместе с тем в нем жила языческая любовь к природе, к чувственному миру, к земле, в которую он ни за какие блага не хотел лечь» [1044]. И отстранялся от старости, считал ее чем-то противоестественным. «Ему была невыносима мысль, что Андре Жид во фраке едет на свою премьеру в „Комеди Франсез“, а он, Бунин, в халате, с трудом и неохотой добирается до столовой, где его ждут посетители» [1045]. На людях он преображался.

Вот 1947 год. «Вечер Бунина. На эстраде Иван Алексеевич. Ему холодно, он зябко потирает руки. Тут, оказывается, холоднее, чем в нетопленом зале. Но голос его начинает крепнуть, молодеть. Он читает стихи, что когда-то читал в Москве:

Синий ворон от падали
Алый клюв поднимал и глядел.
А другие косились и прядали,
А кустарник шумел, шелестел.

Синий ворон пьет глазки до донушка,
Собирает по косточкам дань.
Сторона ли моя, ты, сторонушка,
Вековая моя глухомань!

Что с того, что завтра он начнет, надрываясь, кашлять, задыхаться. Кто-то побежит в аптеку, а Вера Николаевна, с глазами красными от бессонной ночи, будет согревать воду для грелки… Сегодня это прежний Бунин. Тот, что ездил к Чехову в Ялту, а в Москве коротал с ним долгие вечера; тот, что сходил с ума от юношеской неразделенной любви» [1046].

Вечер этот состоялся 26 октября 1947 года в помещении Русского музыкального общества, читал Бунин свои литературные воспоминания. Он просил Бахраха поместить в газете «рекламу» и написал ее сам; когда Бахрах пришел, вручил ему рукопись автоинтервью, озаглавленного «У И. А. Бунина»:

«Мы застали И. А. в его кабинете за письменном столом, в халате, в очках, с пером в руке…

— Bonjour, maître[1047]. Маленькое интервью… в связи с вашим вечером 26 октября… Но мы, кажется, помешали, — вы пишете? Простите, пожалуйста…

И. А. притворяется сердитым:

— Метр, метр! Сам Анатоль Франс сердится на это слово: „Maître de quoi?“[1048] И когда меня называют метром, мне хочется сказать плохой каламбур: „Я уже так стар и будто бы так знаменит, что пора меня называть „километром“. Но к делу. О чем вы хотите беседовать со мной?

— Прежде всего о том, как вы поживаете, как ваше здоровье, чем порадуете нас на вечере, что сейчас пишете?..

— Как поживаю! Горе только рака красит, говорит пословица. Знаете ли вы чьи-то чудные стихи:

Какое самообладание
У лошадей простого звания,
Не обращающих внимания
На трудности существования!

Но где ж мне взять самообладания? Я лошадь не совсем простого звания, а главное, довольно старая, и потому трудности существования, которых, как вы знаете, у многих немало, а у меня особенно, переношу с некоторым отвращением и даже обидой: по моим летам и по тому, сколько я пахал на литературной „ниве“, мог бы жить немного лучше. И уже давно не пишу ничего, кроме просьб господину сборщику налогов о рассрочке их для меня. Я и прежде почти ничего не писал в Париже, уезжал для этого на юг, а теперь куда и на какие средства поедешь? Вот и сижу в этой квартире, в тесноте и уже если не в холоде, то в довольно неприятной прохладе.

— А можно узнать, что именно вы будете читать на своем вечере?

— Точно никогда не знаю чуть не до последней минуты. Выбор чтения на эстраде — дело трудное. Читая с эстрады даже что-нибудь прекрасное, но не „ударное“, знаешь, что через четверть часа тебя уже не слушают, начинают думать о чем-нибудь своем, смотреть на твои ботинки под столом…“» [1049]

Бунин читал многое из того, что выходило в Москве. Восхищался К. Г. Паустовским и поэмой А. Т. Твардовского «Василий Теркин». Десятого сентября 1947 года он писал Н. Д. Телешову: «Дорогой Николай Дмитриевич, я только что прочитал книгу А. Твардовского („Василий Теркин“) и не могу удержаться — прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом, — это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова! Возможно, что он останется автором только одной такой книги, начнет повторяться, писать хуже, но даже и это можно будет простить ему за „Теркина“» [1050].

Вот что писал Л. Ф. Зуров 8 июля 1960 года о чтении Буниным «Василия Теркина»:

«В тот год Иван Алексеевич был болен, лежал в постели. Медленно терял силы, но голова его была на редкость ясна. Обычно я брал на просмотр новые повести, романы и сборники стихов в „Доме книги“. Мы были бедны. Покупать не могли. В „Доме книги“ я увидел книгу Твардовского. Попросил ее одолжить на несколько дней. Начал читать ее в магазине, потом читал ее на бульваре Сен Жермен. Читал и в метро. Был в полном восхищении (а солдатскую жизнь я знаю). Вернувшись домой, я передал книгу Ивану Алексеевичу.

— Что это с вами? — спросил он. — Отчего вы пришли в необыкновенный восторг?

— Прочтите, Иван Алексеевич.

— Ерунда, — недоверчиво сказал он, махнув рукой.

Он устал от литературной тенденциозности и фальши; раскрывая книгу, обычно махал рукой:

— Посмотрю.

Через десять минут он позвал меня к себе и, приподнявшись, держа книгу в руках, воскликнул:

— Да что же это такое! Настоящие стихи!

Он читал отрывки вслух и говорил:

— А здесь как сказано. Поэт! Настоящий поэт!

Иван Алексеевич был изумлен, обрадован, повеселел. Ему не терпелось, он хотел делать пометки, подчеркивать, но этого делать было нельзя — книгу я должен был через несколько дней возвратить.

— Молодец! Ведь это труднейшее дело, не так-то просто писать солдатским языком.

Он восхищался отдельными местами, читал, перечитывал. И мы с ним говорили о стихах Твардовского. Иван Алексеевич прекрасно знал народный язык, а я знал солдатскую жизнь.

— Настоящая поэзия, такая удача бывает редко. Какие переходы. Талантлив. Подлинный солдатский говор. А для поэта это самое трудное.

При соприкосновении с подлинным талантом Иван Алексеевич по-особенному радовался. Он обрадовался стихам Твардовского (а ведь сколько он прочитал за свою жизнь поддельных, головных и мертвых стихов. Он устал и от идущего по давно проторенным дорожкам изысканного стихоплетства).

— Не оценят, не поймут, — говорил он.

— Удивительная книга, а наши поэты ее не почувствуют, не поймут. Не поймут. В чем прелесть книги Твардовского. Да и откуда им знать? Разве они переживали что-либо подобное! Ведь они ни народа, ни солдатской речи не слышат. У них ослиное ухо. О русской жизни не знают и знать не хотят, замкнуты в своем мире, питаются друг другом и сами собою.

— Вот вы услышите, скажут: ну, что такое Твардовский. Да это частушка, нечто вроде солдатского раешника. А ведь его книга — настоящая поэзия и редкая удача! Эти стихи останутся. Меня обмануть нельзя.

И он читал лежа, смеялся, удивлялся легкости, предельной выразительности солдатского языка. Даже Вере Николаевне не дал этой книжки. После этого он написал Твардовскому. Книгу, которую прочел Иван Алексеевич, мне пришлось отвезти обратно».

Твардовский хотел послать письмо Бунину и книгу, запретил А. Фадеев, возглавлявший тогда Союз писателей, он был еще и членом ЦК, куда Александр Трифонович обратился за разрешением; хотел поблагодарить великого классика за отзыв о «Теркине».

Теперь все помнят: Бунин сказал: «…Фадеев, который,

кажется, не меньший мерзавец, чем Жданов».

Пятнадцатого сентября 1947 года Бунин писал К. Г. Паустовскому:

«Дорогой собрат, я прочел ваш рассказ „Корчма на Брагинке“ и хочу вам сказать о той редкой радости, которую испытал я: если исключить последнюю фразу этого рассказа („под занавес“), он принадлежит к наилучшим рассказам русской литературы» [1051].

А вот что сказал Бунин о жившей в Париже писательнице Ум-эль-Банин, с которой обменивался письмами:

«…Как грубо и пошло все у Банин. И какая ненависть ко всему русскому. И где она видела таких русских? И какое невежество!» [1052]

У нас, в России, теперь принимают на веру то, что она писала о Бунине, с большой готовностью, и печатают интервью с нею, ее переписку, зачарованные шутливыми обращениями, — как любил Бунин это делать в последние годы в письмах разным лицам, — к Банин он иногда обращался: «черная роза небесных садов Аллаха» или «черная газель». Алексей Струве писал, что Банин знала Бунина «с конца Второй мировой войны по его кончину. Лично я не знаком <…>, знал ее французскую книгу воспоминаний о детстве, юности в Баку „Кавказские дни“, вышедшую у Жюллиара лет пятнадцать тому назад. А вот на днях напал на более позднюю ее книгу, 1959 года, ее дневник за годы 1952–1956, озаглавленный „J’ai choisi l’opium“[1053]. И в ней есть не лишенный интереса пассаж о Бунине в связи с его кончиной, от дня его погребения». Из пассажа следует, что «Бунин увлекался ею (возможно, что это преувеличение, „амплификация“)…» (письмо 18 марта 1969 года).

Андрей Седых напечатал в «Новом русском слове» (Нью-Йорк, 1979, 10 июля) статью под выразительным заглавием «Литературная людоедка». Начинается статья так: «Знакомо ли вам имя Ум-эль-Банин Ассадулаевой? Я лично услышал об этой французской писательнице впервые, прочтя в журнале „Время и мы“ ее мемуарную повесть, эффектно озаглавленную „Последний поединок Ивана Бунина“. Французская эта рукопись, по-видимому, пролежала не мало лет, не находя издателя <…>

Она родилась в 1905 году в Баку, в мусульманской семье. Через два года после Октябрьской революции семье удалось выбраться за границу. Поселились в Париже, где Ум-эль-Банин решила стать писательницей и выпустила ряд книг, больших лавров ей не стяжавших. Русский язык и русскую литературу она знает, но Россию люто ненавидит, всячески подчеркивает, что она — азербайджанка по рождению, француженка по паспорту. „Я не

считала русский язык родным: он был нам навязан завоевателями“. Но главное: „Творчество Бунина никогда меня не трогало… меня же куда больше интересовало предназначение человека, нежели любовные переживания какого-либо Мити“ <… > Якобы сам Бунин в припадке гнева так отозвался о наружности этой восточной „газели“:

„У вашего носа была бы благородная форма, если бы не это утолщение внизу, оно все портит; а ноздри — большие и черные, как у лошади. Это прискорбно для вас. Продолжим: рот у вас безобразный — губы тонкие, злые. Глаза: большие и черные. Гм, да… У лошади, которую я снова должен вспомнить, у лошади, повторяю, глаза тоже большие и черные — и не то чтоб очень умные. К тому же вы сами рассказывали мне, что на Кавказе даже у собак красивые глаза. А ваши слишком близко сидят. И что за взгляд у вас! Сама жестокость!“

Для тех, кто знал Бунина и его манеру разговаривать с женщинами, сразу становится ясно, что вся эта тирада придумана. Бунин был отлично воспитан, изысканно вежлив в обращении с дамами и никогда не позволил бы сравнивать ее глаза не то с лошадиными, не то с собачьими. И каждый, даже самый неопытный мужчина отлично знает, что после такого оскорбления ему укажут на дверь — женщины подобных „комплиментов“ не прощают и не забывают».

Во время спора или ссоры Бунин, утверждает Банин, «не говорил, а орал»… Бунин, — продолжает А. Седых, — «никогда не „орал“, как элегантно выражается мемуаристка, у него был негромкий, приятный голос, и за долгие годы дружбы я не слышал, чтобы он его повышал». А. Седых отмечает «образец бульварного стиля этой писательницы» и далее цитирует ее слова о том, что Бунин «пожирал» содержимое посылок, которые ему присылали друзья из Америки; он «лакал» водку. «Ничего более вульгарного и постыдного по отношению к большому русскому писателю я отродясь не читал». В заключение А. Седых пишет:

«Есть в этой книге что-то глубоко аморальное. Чего стоит настойчивость „ласковой газели“, которая уговаривала Бунина принять приглашение Симонова и поехать в Москву — хотя бы на время — и… взять ее с собой секретаршей. И дальше ремарка, достойная не писательницы, а куртизанки: „Если Париж стоил обедни, то путешествие в Россию стоило уступок“. И я прибавила: „Если вы возьмете меня с собой, я буду у ваших ног, я стану вашей рабой“. Такова была цена этой „любви“».

Бунин, к счастью, не соблазнился ни на уговоры Симонова, ни на мольбы «ласковой газели». Неоднократные попытки уговорить Бунина на роковую для него поездку в Москву вообще

ставят вопрос о подлинных и весьма подозрительных целях, которые преследовала в этом деле Ум-эль-Банин.

Свой последний поединок Бунин не проиграл. Проиграла его далеко не такая уж «ласковая газель», оказавшаяся настоящей «литературной людоедкой». Бунин спрашивал ее в одном из писем:

«…Откуда вы взяли, что я не признаю на свете ничего, кроме русского, что я упоен только им, этим русским, — я, который так много лет провел в скитаниях по множеству чужеземных стран и немало писал о них с восторгом? Откуда вы взяли, что я ненавижу французов, хотя вы и представить себе не можете, как невнимательны, как небрежны были они к истинно огромному, историческому и трагическому явлению русской эмиграции, как почти никто из них, даже наиболее просвещенные, не проявили ни малейшего желания сблизиться, общаться с нами, несмотря на то, что в среде эмигрантов, оказавшихся во Франции, был чуть ли не весь цвет русской общественности, русской мысли, русского искусства во всех его, как говорится, „отраслях“» [1054].

Банин ставила в пример Бунину выходцев из России, ассимилировавшихся с французами: Льва Шестова, Тарасова, Эльзу Триоле. Он ответил:

«И не думайте, что я писал вам потому, что лично был обижен кем-либо из французов, — сам Пуанкарэ прислал мне любезнейшее письмо однажды, когда я послал ему одну из своих книг, — и я имею множество просто восторженных писем и от некоторых весьма знаменитых французских писателей (R. Rolland, A. Gide, Roger Martin du Gard, Reni Ghil, Claude Farrère, Carco и т. д.) — они, конечно, никогда не думали, что „зерно европеизма“, данное мне, меньше такого же „зерна“ в Шестове… в Тарасове, в Триоле и т. д.» [1055]

К именам названных французских писателей следует прибавить имя Франсуа Мориака. Упомянутый в письме Лев Тарасов писал по-французски, печатался под псевдонимом Труайя.

Все русские эмигранты жили обособленно. У них были свои газеты, журналы, свой театр (С. П. Дягилева, где блистал С. М. Лифарь), салоны, — организованные З. Гиппиус литературные «воскресения» и литературно-философское общество «Зеленая лампа», салон у М. С. Цетлин, литературный салон у А. М. Элькан, где бывали Иван и Вера Бунины, — С. К. Маковский у нее делал доклады (напечатаны в его книге «Портреты современников»), — литературные «четверги» на квартире у Буниных; в музыкальном мире царствовали Шаляпин и Рахманинов, приезжавший из Америки. Их искусство

объединяло русский Париж, без которого Франция была бы духовно намного беднее.

Франция, писал Андре Жид о Бунине, «гордилась» тем, что она предоставила ему убежище; по случаю юбилея А. Жид приветствовал его от имени Франции.

В «Дни Бунина», в 1973 году, в 50-летие с того времени, как он поселился в Грассе, мэр города Herve de Fontmichel при открытии мемориальной доски, писал 6 февраля 1974 года С. М. Лифарь, «почтил… достойно Ивана Алексеевича, его поэтический литературный дар, его сроднение с французской нацией и культурой. С гордостью приобщил он Бунина к грасским гражданам, любившего эту свою вторую родину!».

Толстой сказал о Гайдне и Шопене: им свойственно «самоотречение артистическое», «смирение, неверие в себя. Это прямо определяет величину». Толстой также сказал: «Смирение — условие совершенства, пример — Пушкин» [1056].

Бунин, подобно Пушкину, был смиренен в творчестве. И теперь — который раз! — его посетило «неверие в себя», тревожила ум беспокойная мысль, что он «откупался». Он писал Алданову 2 сентября 1947 года:

«Будущий критик удивится, прочтя мое письмо к вам, почему Бунин „точно огорчался от вопроса, писано ли им хоть что-нибудь с натуры?“ Удивится не удивится, но это так: огорчаюсь. В молодости я очень огорчался слабости своей *выдумывать* темы рассказов, писал больше из того, что видел, или же был так лиричен, что часто начинал какой-нибудь рассказ, а дальше не знал, во что именно включить свою лирику, — сюжет не мог выдумать или выдумывал плохенький… А потом случилось нечто удивительное: воображение у меня стало развиваться „не по дням, а по часам“, как говорится, выдумка стала необыкновенно легка, — один Бог знает, откуда она бралась, когда я брался за перо, очень, очень часто еще совсем не зная, что выйдет из начатого рассказа, чем он кончится (а он очень часто кончался совершенно неожиданно для меня самого, каким-нибудь ловким выстрелом, какого я и не чаял): как же мне после этого, после такой моей радости и гордости, не огорчаться, когда все думают, что я пишу с такой реальностью и убедительностью только потому, что обладаю „необыкновенной памятью“, что я все пишу „с натуры“, то, что со мною самим было, или то, что я знал, видел! *Всякая* „натура“ входит в меня, конечно, всю жизнь и очень сильно, но ведь одно дело сидеть и описывать то дерево, что у меня перед окном, — или заносить в записную книжку кое-что об этом дереве, — и совсем другое дело писать „Игната“, сидя на

Капри: неужели вы думаете, что для того, чтобы написать зимнюю ночь, в которую Игнат шел с вокзала в свое село, в Извалы, я вынимал записные книжки? Разумеется, я иногда кое-что записывал в свои дневники и погоду, и пейзажи, и людей, и народный и всяческий другой язык, но ведь так мало, так редко и пользовался этим и того меньше и реже. Разумеется, как было не записать что-нибудь *иногда*! Мужик, например, говорит: „А Бог ее знает, как эта Москва *веществует*, мы ее не знаем!“ — *подобное* нельзя было не записать или не запомнить. И еще: я совсем не говорю, что у меня нет рассказов „с натуры“ — несколько *есть, есть*, — вот, например, сейчас вспомнил рассказ „Древний человек“ и еще кое-что подобное. Но большинство — сплошная выдумка… <…>

А чем я живу теперь „в высшем смысле слова“ — об этом очень трудно говорить. Больше всего, кажется, чувствами и мыслями о том, чему как-то ни за что не верится, что кажется чудовищно-неправдоподобным, изумительным, невозможным, а между тем дьявольски непреложным, — о том, что я живу, как какой-нибудь тот, к которому вот-вот войдут в 4 часа 45 минут утра и скажут: „Мужайтесь, час ваш настал…“

Очень благодарю вас, дорогой мой, за добрые слова о „Жизни Арсеньева“, но, право, я, кажется, „откупался“ навсегда» [1057].

Бунин также сказал (в том же письме):

«Поражен „Деревней“ — совсем было возненавидел ее (и сто лет не перечитывал) — теперь вдруг увидал, что она на редкость сильна, жестока, своеобразна».

На зиму Бунин уехал на юг. В письме Е. Л. Таубер 7 сентября 1947 года он сообщает: «…Надеюсь быть в ноябре в Juan-les-Pins». Уехал вдвоем с Верой Николаевной. Отдых в пансионе был отравлен «житейскими дрязгами» (слова Бунина).

А началось все с письма Б. К. Зайцева, посланного Бунину в конце 1947 года: «Дорогой Иван, только что получил письмо от Марии Самойловны <Цетлин> — она просит переслать тебе ее письмо, что и исполняю» [1058].

Письму М. С. Цетлин предшествовали события, приведшие к разрыву с нею и с Б. К. Зайцевым. Бунин вышел из «Союза писателей и журналистов» — сложил с себя обязанности почетного члена его. Ушел Зуров. Ушла Вера Николаевна, она против политики, а «„Союз…“ стал на путь политики» [1059].

Бунин ответил Марии Самойловне 1 января 1948 года; он писал, что поражен тем, что свое письмо она предала гласности, переслала его незапечатанным через Зайцевых, «а в Америке, как мы узнали это нынче, разослали его копию <…> Вы мне пишете

что-то фантастическое: „Вы ушли в официальном порядке из Союза *с теми, кто взяли советские паспорта*“. Что за нелепость! Как вы знаете, в ноябре прошлого года Союз исключил из своей среды членов, взявших советские паспорта, и многие другие члены Союза тотчас напечатали коллективное письмо о своем выходе из него. И вот представитель этих членов явился ко мне и предложил мне присоединиться к их заявлению, а я присоединиться твердо отказался, сказавши, что отказываюсь как раз потому, что *считаю неестественным соединение в Союзе эмигрантов и советских подданных* <…> Недели через две после того я тоже вышел из Союза, но единолично и, как явствует из предыдущего, в силу других своих соображений, а каких именно, ясно видно из весьма краткого письма моего, что послал я для доклада Союзу на имя генерального секретаря его:

„Уже много лет не принимая по разным причинам никакого участия в деятельности Союза, я вынужден (исключительно в силу этого обстоятельства) сложить с себя звание почетного члена его и вообще выйти из его состава“.

Письмо это было напечатано через некоторое время в парижской „Русской мысли“, но слух о нем распространился раньше, и в „Русских новостях“ тотчас появилась заметка о моем уходе, голословность которой, верно, и заставила вас истолковать мой уход столь превратно. И все же вы поступили со мной, повторяю, уж слишком поспешно и опрометчиво. Теперь вы, думаю, уже прочли в „Русской мысли“ письмо мое в Союз и раскаиваетесь в своей поспешности, обратив внимание на мои слова в нем: *„исключительно в силу этого обстоятельства*“. Почему я не ушел из Союза уже давным-давно? Да просто потому, что жизнь его текла прежде незаметно, мирно. Но вот начались какие-то бурные заседания его, какие-то распри, изменения устава, после чего начался уже его распад, превращение в кучку сотрудников „Русский мысли“, среди которых блистает чуть не в каждом номере Шмелев, участник парижских молебнов о даровании победы Гитлеру… Мне вообще теперь не до Союзов и всяких политиканств, я всегда был чужд всему подобному, а теперь особенно: я давно тяжко болен, — вот и сейчас едва пишу вам, — я стар, ниш и всегда удручен этим и морально и физически, помощи не вижу ни откуда почти никакой, похоронен буду, вероятно, при всей своей „славе“, на общественный счет по третьему разряду… Вы пишете, что „чувствуете“ мой „крестный путь“. Он действительно „крестный“. Я отверг все московские золотые горы, которые предлагали мне, взял десятилетний эмигрантский паспорт — и вот вдруг: „Вы с теми, кто взяли советские паспорта… Я порываю с вами всякие сношения…“

Спасибо. Ваш Ив. Бунин» [1060].

Двенадцатого января 1948 года Бунин писал Тэффи:

«Дорогая, милая моя, шлю вам копию моего письма М. С. <Цетлин>. Послал ей это письмо 1-го января, 7-го получил депешу: „Merci pour lettres (ибо и Вера написала). Explications svivent. Salutation. Marie Zetlint“»[1061].

В письме 2 февраля 1948 года к Тэффи Бунин говорит, что он довольно безразлично отнесся «к дикому письму М. С-ны, но, начавши получать сведения о том, как будто осыпали меня благодеяниями из Америки и как я теперь погибну, лишившись их из-за своего „поступка, все-таки понятого всеми не так, как ты его объясняешь“, по выражению Зайцева в недавнем письме ко мне, поистине взбесился. Прибавьте к этому, что ведь не одна Вера Алексеевна <Зайцева> оплакивала „бедного Ивана“, но и некоторые другие, — например, Ельяшевич, сказавший Михайлову, что „*теперь американская акция в пользу Бунина рухнула*, долларовая помощь прекратилась…“. Вы только подумайте: „акция“, „рухнула“! Слова-то какие! И как несчастен я буду теперь, старый дурак, полетевший в столь гибельную яму из-за своего „поступка“! А ведь сколько долларов загребал еще столь недавно! На сколько больше всех сожрал чечевицы и гороху!

На днях получил письмо от Карповича, умное, благородное, сердечное, мягко, но твердо осуждающее выходку М. С-ны. Очень просит дать что-нибудь „Новому журналу“. Но как же я могу продолжать сотрудничать в нем? Ведь все-таки он как бы ее журнал, а она, обещавшая мне телеграммой от 7 января прислать какие-то „explications“ в ответ на мой ответ на ее письмо, ни слова не прислала и по сию пору» [1062].

Позднее М. С. Цетлин прислала свои объяснения, но это создавшуюся ситуацию не изменило. Бунин отказался от сотрудничества в «Новом журнале»; из солидарности с ним так же поступил и Алданов, поддержавший Бунина в его споре с М. С. Цетлин. Не позднее июня 1951 года М. С. Цетлин больше не была издательницей и секретаршей «Нового журнала». Секретарем был приглашен Роман Гуль — литературный критик, публицист, впоследствии редактор этого журнала и автор воспоминаний «Я унес Россию» (три тома). Бунин сообщил, по-видимому, в августе 1951 года редактору «Нового журнала» М. М. Карповичу, историку, что он и Алданов возвращаются в этот журнал [1063].

Андрей Седых (Я. М. Цвибак) тоже заступился за Бунина. Иван Алексеевич писал Тэффи 3 февраля 1948 года: «Только что отправил вам, дорогой друг, большое вчерашнее письмо, как получил письмо от Яши Цвибака. Пишет, что, узнав о письме М.

С. ко мне, пошел к ней и „очень решительно осуждал ее“. И дальше: „Получив ваше письмо, я вторично говорил с ней и опять ее упрекал. Она оправдывалась, — не знала, дескать, что вы больны; послала письмо в адрес Зайцевых, так как считала, что вы уехали и что Зайцевы перешлют. Надеялась, что Зайцевы, зная подлинное ваше состояние, не перешлют письма, а они переслали — и т. д. Все это ужасно наивно и по-бабьи. Но я видел, что ей ужасно неприятно, что она жалеет и отправила вам телеграмму и напишет письмо, которым все исправит… Мне казалось, что Берберова была ее информатором и косвенно, *своей нелепой и клеветнической информацией* явилась виновницей ее разрыва с вами. *Не хочу повторять, что Берберова ей писала о вас, — выходило так, что Бунин за свои поступки не отвечает*…“

Каково, дорогая моя? И что я сделал этой с…. Берберовой? За что она так отплачивает мне? За то, что я долго защищал ее в гитлеровские времена, когда ее все ниццские евреи ругательски ругали за ее гитлеризм, — говорил, что не могу ее осуждать до тех пор, пока не узнаю что-нибудь точно?» [1064]

Тэффи в письме к М. С. Цетлин «замолвила» за Бунина «доброе словечко».

Бунин поместил в газете «Новое русское слово» в Нью-Йорке 30 декабря 1948 года «Письмо в редакцию» — объяснил, что вышел из «Союза…» в силу того, что ему «не хотелось оставаться почетным членом Союза, превратившегося в союз кучки сотрудников парижской газеты „Русская мысль“, некоторые из коих были к тому же в свое время большими поклонниками Гитлера. Естественно было поэтому сугубое раздражение против меня, как человека с именем, со стороны этой кучки, тотчас пустившей слух, будто я своим выходом из Союза хотел „поддержать советских подданных“, поневоле покинувших Союз, а иные, во главе с Б. К. Зайцевым, председательствующим в Союзе и принимающим ближайшее участие в „Русской мысли“, послали сообщение такого рода даже в Нью-Йорк, в „Новый журнал“».

В. Ф. Зеелер, бывший градоначальник Ростова-на-Дону, профессиональный адвокат, во время этих газетных споров — генеральный секретарь «Союза…», ответил Бунину «Открытым письмом», в тоне весьма некорректном, — с прямотой гоголевского Городничего, — унижающем его самого, обвинил Ивана Алексеевича во «лжи».

Из-за грубого тона ответ Зеелера «Новое русское слово» не напечатало, и Бунин пошутил в письме к Тэффи 11 марта 1949 года: «Чтобы утешить его, хочу предложить ему свою помощь, — чтобы он еще при жизни мог продать свой скелет в зоологический музей, в отдел ископаемых, в Нью-Йорке».

В Русском Доме Бунин написал 17 марта 1948 года предисловие к сборнику рассказов Андрея Седых «Звездочеты с Босфора» и отослал в этот день в Нью-Йорк. В книгах этого веселого, находчивого журналиста и писателя привлекали «юмор, живость, уменье схватывать на лету все, что попадет в поле его наблюдений, мгновенно пользоваться схваченным». В «Звездочетах», по словам Бунина, неподдельная простота и свобода, с которой А. Седых передает свои впечатления о Константинополе.

Многое сближало А. Седых с Буниным за долгие годы их общения, в частности — поездка в Стокгольм за Нобелевской премией, забота А. Седых об изыскании материальной поддержки Бунину; определенную роль при этом играло также литературное творчество автора «Звездочетов», для которого Иван Алексеевич нашел такие веские и радующие слова.

Преданными друзьями Бунина в эти нелегкие и во многом беспокойные для него годы были Алданов и Адамович, с последним, правда, нередко были расхождения во взглядах на литера гуру. Но Ивану Алексеевичу с ними было интересно говорить о литературе.

А уж к кому он больше всего тянулся, к кому спешил с самыми задушевными словами и в горе и в радости, так это к Тэффи, пленявшей умом, талантливостью и душевной теплотой.

Тэффи с гитарой среди друзей, на радио — это всегда радость. Она сама сочиняла песенки. В один из военных дней все обитатели «Жаннеты» «висели» на Radio-Paris, но был треск, гром, «все же, — писал Иван Алексеевич Тэффи 9 августа 1943 года, — поздравляю вас с новым званием — композиторским!». Он дивился ее письмам, ее литературному творчеству, тому, как она всю жизнь, как соловей, пела, «совершенно не замечая того, рассыпая блеск! (Вот хоть это: „Ave, Caesar, morituri…“[1065]) <… > Клянусь Богом, всегда, всегда дивился вам — никогда за всю жизнь не встречал подобной вам! И какое это истинное счастье, что Бог дал мне знать вас!» [1066]. Бунин был обеспокоен ее здоровьем, боялся писать ей письма — «боялся касаться этого, чтобы, — писал ей 2 февраля 1948 года, — не волновать вас, чтобы не брякнуть что-нибудь тупое, неуклюжее, жалкое. А уж на то, что вы хотели бы „в жизни“ видеть еще восход солнца, слушать увертюру „Лоэнгрина“ и „поговорить с Б<униным>“, что бы я мог сказать? Как выразиться?» [1067].

Обращения в письмах к ней — трогательные и шутливые: «Милая сестрица, дорогой друг…», «Милая, дорогая сестрица Аленушка…». Подписывался: «Ваш верный друг и раб Ив. Бунин»,

«Ваш несчастный старик Бунин».

Он и сам болел этим летом, как он говорит — чуть не умер от воспаления в легком; пролежал в постели почти месяц.

В октябре он дал интервью газете «Русские новости» (1948, № 176, 17 октября), озаглавленное: «У И. А. Бунина». Текст его он написал сам. Интервью было приурочено к литературному вечеру Бунина 23 октября в Русском музыкальном обществе. Оно начинается так:

«И. А. был, как всегда, приветлив и на вопрос, как он себя чувствует теперь, после тяжкой болезни, перенесенной им в конце лета, ответил бодро:

— Ничего теперь, слава Богу, поправился. А то совсем было помирал и очень досадовал, думал: сколько еще интересного будет впереди, — конгрессы, забастовки, войны, — а ты помрешь и ничего не будешь знать, потому что в Сен-Женевьев-де-Буа всегда все мирно, спокойно, радио нет, соседи-покойники не разговорчивы… Теперь, как видите, опять затеял вечер. Давно ли, кажется, был мой вечер прошлогодний, а вот уже опять октябрь и с ним опять день моего рождения! Невольно вспомнишь мудрую строчку поэтессы Присмановой: „Как быстро время воду возит!“

— Вы, И. А., будете читать свои литературные воспоминания?

— Да, кое-что автобиографическое. Ведь 23 октября — день моего рождения, вот я и решил угостить всех тех, кого приглашаю на вечер, за невозможность приветствовать их шампанским, отрывочными рассказами о своей писательской жизни. Чем богат, тем и рад, как говорится. А ведь все мое богатство состоит теперь только в воспоминаниях, — вот-вот исполнится целых пятнадцать лет с того времени, как получил я Нобелевскую премию, которую, конечно, успел уже прожить, что, по-моему, довольно естественно. Хотя многие и дивятся и негодуют на такую мою расточительность. „Подумайте, ухлопал в каких-нибудь пятнадцать лет чуть ли не миллион!“ — говорят они, забывая, что ведь я, так сказать, потомственный мот, будучи родом из дворян, которые, как известно, все промотали свои „Вишневые сады“, — не промотал один только „Дядя Ваня“, за что и обещано было ему „небо в алмазах“…

— А к какому периоду вашей писательской жизни, И. А., относятся воспоминания, которыми вы хотите поделиться с вашими будущими слушателями?

— О, ко всем периодам! Начиная с моей мирной юности и кончая теми годами, когда „буревестник, черной молнии подобный“, зареял уже не над „седой пучиной моря“, а над Невой и Москвой-рекой. Наша судьба вообще уже давно была связана с

птицами. Вспомните-ка, в самом деле, каким страшным успехом пользовались у нас „Соколы и Вороны“, альбатросы, кречеты, „Синяя Птица“, „Умирающий Лебедь“, „Дикая Утка“, „Чайка“! Вообще я о многом буду говорить, между прочим, и о пьесах Чехова, и о Художественном театре. О чем еще? Этого я вам пока не скажу»…

Бахрах «в своей газете» бесцеремонно исказил бунинский текст. Вписанные им строки мы не воспроизводим. Бунин писал Дону Аминадо (Аминаду Петровичу Шполянскому) 16 октября 1948 года:

«Аминад Петрович, дорогой и милый, во вчерашнем номере „Русских новостей“ — статейка: „У И. А. Бунина“. Там первые двенадцать строк принадлежат Бахраху — брехня полная. Дальше идет написанное мною — кончая словами во второй колонке: „Этого я вам не скажу“. Но там перед вашим именем Бахрах вставил в мой текст гнусность: „один из нынешних мудрецов наших“. Я этого не мог сказать и *не говорил*» [1068].

В этом году пришлось пережить Бунину нападки на него в прессе, за которые он грозился третейским судом.

С. В. Яблоновский (псевдоним, настоящая фамилия Потресов) анонимно напечатал пасквиль на Бунина в газете «Русская мысль» 10 ноября: «Маленький фельетон», с подзаголовком «Ему, Великому» [1069]. В этом непристойном фельетоне высмеивался Бунин — автор воспоминаний, которые он читал на литературном вечере 23 октября. Восьмого декабря Яблоновский напечатал в «Русской мысли» другую статью, признался, что это он написал фельетон и обвинял Бунина в том, что он будто бы «перескочил» к большевикам; этот, как выразился Бунин, «паскудный „пес потрессучий“» пал уже до того, «что в последнем своем „памфлете“ вовсе не спроста, — писал он Зайцеву, — привел мои стихи о Петре и о „граде Петра“: *хотел, разумеется, напомнить местному НКВД, кто я такой*»; унизился до доноса. «И вот к этакому-то мерзавцу послан был кто-то из „Русской мысли“ специально — с заданием облить меня грязью, чудовищной пошлостью, клеветой, брехней! Ведь всем известно, что он сидит дома, уже давно не выходит никуда (и потому даже и тут солгал: „удостоившийся присутствовать“ — как подписался он под своим „Маленьким фельетоном“)» [1070]. Яблоновский в течение двух лет был на содержании своей жены, находившейся на официальной службе по канцелярской части в газете «Советский патриот», следовательно, получавшей жалованье от советского посольства.

Напечатал статью о перемене Буниным политических взглядов в том же роде, как писал Яблоновский, другой

сотрудник «Русской мысли», сообщал Бунин А. Седых 19 декабря 1948 года, «темный прохвост Лазаревский, про которого уже давно ходят здесь слухи насчет его делишек с немцами во время оккупации…» [1071]. Взволнованный «подлостью „Русской мысли“», Бунин послал в «Новое русское слово» «Письмо в редакцию», оно было напечатано 28 декабря 1948 года.

Бунину необходима был поездка в Русский Дом для поправления здоровья. А денег не было, и он написал отчаянное письмо А. Седых 5 декабря 1948 года:

«…Решаюсь наконец сказать вам вот еще что: я стал очень слаб, задыхаюсь от эмфиземы легких, летом чуть не умер (*буквально*) от воспаления легких, два месяца пролежал в постели, разорился совершенно на докторов, потом на бесполезное лечение эмфиземы (ингаляцией), которое мне стоило 24 тысячи — и т. д. Второго января должен уехать с В. Н. опять на зиму в Juan-les-Pins, чтобы не свалиться опять от парижского климата и холода в квартире… Короче сказать: мне пошел 79-й год и *я так нищ*, что совершенно не знаю, чем и как буду существовать. И вот, от совершенного отчаяния, прошу вас — сделайте, ради Бога, что-нибудь для меня — попросите, например, Кусевицкого и добрых людей, знакомых его, помочь мне хоть немного.

Возможно, что просьба моя глупа и безнадежна — тогда сожгите это мое позорное письмо» [1072].

Известный русский дирижер и музыкальный деятель, президент Общества американо-советской дружбы в годы войны, Сергей Александрович Кусевицкий, по словам А. Седых, «немедленно и очень щедро отозвался на эту просьбу».

По поводу сбора денег для Бунина А. Седых сообщал 13 марта 1965 года: «Письмо от 5–12–48 даст вам очень точное представление о степени нужды, в которой жил И. А., и о его моральных страданиях, связанных с необходимостью обращаться за помощью к состоятельным людям. В среднем в месяц я высылал ему 100 долларов. Деньги эти я добывал тем, что продавал некоторым моим знакомым книги И. А. по 25 долларов за экз.; позже он присылал мне на отдельных листках автографы для этих людей, и я вклеивал их в книги» [1073].

Написал он о своей «гнусной, нищей старости в минуту горького отчаянья» и теперь, говорит в письме к А. Седых 19 декабря 1948 года, «очень раскаиваюсь — тем более, что вижу, особенно по нынешнему письму ко мне Марка Александровича, что во всем Нью-Йорке трудно найти среди архимиллионеров больше двух человек, способных дать сто долларов. *И говорю вам истинно от всего сердца: не просите ради Бога ничего ни у кого*

больше» [1074].

Бунин написал «Автобиографические заметки» и отправил 5 декабря 1948 года с уплывшим в Америку П. А. Михайловым Андрею Седых для «Нового русского слова» (напечатаны 26, 27 и 28 декабря 1948 года).

Он взял билеты на 2 января 1949 года для поездки в Русский Дом вместе с Верой Николаевной. Об отъезде на Лазурный Берег писал Зуров автору данной работы 12 августа 1966 года:

«Иван Алексеевич уехал на юг в ужасном состоянии. Я Ивана Алексеевича и Веру Николаевну провожал. Иван Алексеевич задыхался. После двух-трех шагов останавливался и садился на раскладной стул, который я для него накануне купил. Я вел Ивана Алексеевича под руку. От такси до железнодорожного контроля мы шли — с частыми передышками и остановками — десять минут. Иван Алексеевич после болезни страшно исхудал. Был невероятно бледен (после потери крови). До вагона мы его с трудом довели. Он шел открыв рот, дыхания не хватало (астма и склероз легких). У вагона мы увидели Г. В. Адамовича и А. В. Бахраха».

Пробыть на Ривьере Иван Алексеевич и Вера Николаевна надеялись до мая, но задержались «в благодатном краю» (слова В. Н.). «Мы должны прибыть в Париж в воскресенье 15 мая», — сообщал Иван Алексеевич Зурову 15 апреля 1949 года.

«Автобиографические заметки» вызвали некоторые неодобрительные отзывы. Бунин благодарил А. Седых в письме 20 января 1949 года за защиту от «клянущих» его за то, что не расплакался в них «насчет Блока, Есенина (о которых еще и слуху не было в ту пору, о которой я говорил в своих „Заметках“, *которые, кстати сказать, ничуть не есть история русской литературы*) и за то еще, что старик Бунин позволил себе иметь свое собственное мнение о „поэтическом“ таланте величайшего холуя русской „поэзии“ Маяковского при всей его холуйской небездарности.

Вскоре я пошлю в „Новое русское слово“ свои заметки об Алешке Толстом, — в них скажу еще несколько слов о Маяковском в свою защиту. Я напомню (очень спокойно), как он называл звезды не иначе как „*плевочками*“, как он описывал свое путешествие по Кавказу: „*помочился* в Терек, *поплевал* в Арагву…“ и что он „пел“ об Америке» [1075].

Во Франции было голодно, печататься негде было, и Иван Алексеевич стал подумывать об Америке. А. Седых его отговаривал, в Новом Свете ему бы не понравилось, переезд на другой континент с его здоровьем был бы ему не по силам.

Радовал успех литературных воспоминаний. «Ведь из-за

них, — писал Бунин А. Седых 5 апреля 1949 года, — вашу газету рвали у газетчиков с дракой!» [1076] Написал он еще «зернистую вещь — „Третий Толстой“ — об Алешке Толстом — с большими хвалами его таланту писательскому — и с меньшими — таланту житейскому» [1077].

В 150-летнюю годовщину со дня рождения Пушкина Бунин произнес краткую речь 21 июня 1949 года. Он сказал:

«…До самых священных недр своих поколеблена Россия. Не поколеблено одно: наша твердая вера, что Россия, породившая Пушкина, все же не может погибнуть, измениться в вечных основах своих и что воистину не одолеют ее до конца Силы Адовы».

Бунин отказался участвовать в Пушкинском комитете, написал об этом Адамовичу; в комитете участвовал Лифарь. Бунину, по его здоровью, не до комитетов было. А на людях, по словам Веры Николаевны, он «оживляется. Бывает блестящ» [1078].

Летом 1949 года приезжал в Париж А. Седых; перед возвращением в Америку заходил к Бунину 23 августа и сказал, что исхлопотал ему у владельца фирмы «Этам» С. С. Атрана «пенсию» 10 тысяч франков в месяц начиная с сентября, которую Бунин получал до 1951 года, до смерти С. С. Атрана.

Новый, 1950 год не «встречали». Вера Николаевна была у всенощной. Ей теперь трудно стало отлучаться от дома, Иван Алексеевич нередко не мог оставаться один — усилилась астма. «Телефона нет», — записывает Вера Николаевна в дневнике 23 января 1950 года; разрешение на телефон получили через год: 25/12 января 1951 года.

Его книги все распроданы, надо искать экземпляры для перевода на иностранные языки. Шли переговоры о печатании «Жизни Арсеньева» на немецком языке в Австрии. Он готовил русское издание «Воспоминаний», исправлял, дополнял рукопись в апреле 1950 года и продал эту книгу английскому издателю Леману за 106 тысяч франков; издатель Caiman Levy вместе с литературным агентом Бунина Гофманом сократили ее, автор возмущался, потом махнул на это рукой. Издали и французы, и американцы; главные нью-йоркские газеты, по словам Ивана Алексеевича, «хвалили» книгу.

В русской прессе в Америке выступил Георгий Александров со статьей «Памяти Есенина» (Новое русское слово. Нью-Йорк, 1950, 27 октября), защищал Есенина от суждений Бунина о нем в его «Воспоминаниях», необъективных, порочащих поэта, которого читала и пела вся «советская Русь», что, по словам Бунина, еще не является доказательством поэтической ценности Есенина. «Мало ли что пели когда-то в России и задолго до большевиков, и при

них; вся мещанская Россия чуть не со слезами пела многие годы „Чудный месяц плывет над рекою“, вся „передовая“, левая — „Есть на Волге утес“ — стихотворение одно из самых глупых во всей мировой поэзии <…> Поэтические достоинства стихов про этот утес столь же не велики, как и стихов „Из-за острова на стрежень“ и „Солнце всходит и заходит“, тоже петых „всей“ Россией. Сходила с ума когда-то „вся“ Россия и от Надсона, Бальмонта… А что сталось с ними теперь? <…>

Память, которую оставил по себе Есенин как человек, далеко не светла. И то, что есть теперь люди, которые называют ее светлой, — великий позор нашего времени» [1079].

По-русски «Воспоминания» вышли в издательстве «Возрождение» в Париже в начале сентября 1950 года, к юбилею Бунина. Девятого сентября прислали экземпляры автору, и он читал.

С бесцеремонностью людей, далеких от литературы и чуждых нормам литературной этики, отозвалась о «Воспоминаниях» П. Степанова в «Возрождении» (1951, тетрадь 14, март — апрель), которое редактировал ее муж С. П. Мельгунов. Бунин ответил на эти нападки заметкой «Милые выдумки» в «Новом русском слове» (Нью-Йорк, 1951, 13 мая). Статейка П. Степановой, пишет Бунин, начинается так: «Они (эти „Воспоминания“) написаны, конечно, с большим мастерством и читаются с огромным интересом», но, продолжает он, «в большой просак попала госпожа П. Степанова, благодаря той на редкость злобной запальчивости, с которой (совершенно непостижимо, почему и зачем?) ей взбрело в голову кинуться на меня: не только в пух и прах разнести мои литературные воспоминания, оклеветать их, — я будто бы ни единого доброго слова не сказал ни об одном из писателей, современных мне, — я, который с такой сердечностью и даже с восторгом помянул Гаршина, Короленко, Чехова, Эртеля, Куприна (времени расцвета его таланта), — но и унизиться до позорной выдумки политической» — о том, что Бунин будто бы «вхож» в советское посольство.

В 16-й тетради «Возрождения» Степанова-Мельгунова поместила несколько слов о Бунине — возражения на его «Милые выдумки» в том же роде, как она писала раньше. Мельгунов и его жена, писал Бунин Алданову, «все еще подло, дико лгут, будто я „вел переговоры“ на счет возвращения моего в Россию с высшими чинами большевиков в Париже. Нет, я *никогда* не вел. Мне предлагали самым бесстыдным образом золотые горы за это возвращение, но я их послал к черту категорически» [1080]. Бунин намерен был советоваться с В. А. Маклаковым — общественным деятелем и адвокатом, — как привлечь ее и ее мужа к суду.

Он писал в статье «К моим „Воспоминаниям“», что его чернили уже несколько лет. «В. Зеелер выдумал и напечатал в „Русской мысли“ с год тому назад (9 марта 1951 года. — А. Б.) нечто довольно удивительное обо мне и о Чехове: я будто бы в самом гнусном виде изобразил когда-то Чехова (будто бы идущего под зонтом и со свечой в руке в отхожее место) и напечатал эти гнусности в „Современных записках“. Я, конечно, ничего подобного никогда не изображал и не печатал, но нелепая ложь Зеелера была и есть вполне законна в том потоке лжи, которой целых три года, при безмолвном соучастии Зайцева, старалась опозорить меня „Русская мысль“, начав со лжи о том, будто я совершил „сальто-мортале“ к большевикам. А потом клеветать на меня в том же роде усердно принялась госпожа Степанова „в тетрадях“ „Возрождения“ <…> В конце концов я уж готов был „покаяться“ перед Зеелером и Степановой и просить их о „высшей мере наказания“ для меня, но тут меня спас шестой выпуск новой „советской“ энциклопедии, где сказано, что я одержим совершенно бешеной ненавистью к советскому союзу» (так в автографе — с малых букв. — А. К)[1081]. Бунин назвал Зеелера «Гориллой» в письме к Вейнбауму (20 марта 1951 года).

О «Воспоминаниях» Алданов писал Бунину 9 октября 1950 года:

«…Впечатление чрезвычайно сильное. Книга бесстрашная — и страшная. Написана она с огромной силой» [1082].

Бунин писал в 1925 году: «И не знаменательно ли, что нынешнему падению России, социальному, политическому и всякому прочему, не только сопутствует, но задолго предшествовал упадок ее литературы, когда всякое непотребство стало называться дерзанием, а глупость и истеричность — священным безумием…»

Адамович в статье «Бунин — обличитель» говорит о его «стойкости в сопротивлении надвигавшемуся помрачению литературы и искусства» [1083].

Иван Алексеевич подарил «Воспоминания» княгине Шаховской, надписав: «Дорогая Зинаида Алексеевна, когда Ваше Сиятельство будете писать свои воспоминания, не браните нас так, как я тут бранюсь. Иван Бунин. 27. 10. 1950».

В конце августа и в начале сентября 1950 года Бунин лежал в клинике. Решился он отдать себя в руки врачей только после долгих уговоров. Болезни он переносил с большим терпением, но к решительным средствам — к переливанию крови, к операции — относился с недоверием и страхом.

Сейчас необходима была операция предстательной железы,

для чего следовало, пишет Вера Николаевна 1 сентября 1950 года, «готовить несколько дней. Это мучительно, приходится делать уколы морфия. Временами Ян страдает нестерпимо». Его отвезли «в госпиталь к католикам» 28 августа; ухаживали монахи.

Оперировал профессор Дюфур 4 сентября. Доктор В. М. Зёрнов, лечивший Бунина, писал 5 октября 1977 года из Швейцарии:

«Ивану Алексеевичу делал операцию доктор Andre Dufour, крупный парижский уролог, родившийся в Петербурге, его отец был преподавателем французского языка в одном из петербургских учебных заведений, и доктор Дюфур прекрасно говорил по-русски».

Боли были нестерпимые, но Иван Алексеевич, по словам жены, проявил присутствие духа. Операция много стоила. Вера Николаевна заняла у Кодрянских тридцать тысяч франков. Долг — сто тысяч.

Бунин вернулся домой 20 сентября слабый и худой, по выражению Веры Николаевны, «как голодающий индус <…> Мы надеемся, — пишет она 2 октября 1950 года Т. Д. Логиновой-Муравьевой, — что Князь окрепнет ко дню своего восьмидесятилетия, которое будет ровно через три недели, то есть 23 октября» [1084].

Бунин не любил отмечать дни рождения, с наступлением знаменательной даты делал вид, что этот день как все другие — самый обычный. Он говорил: вот и еще год миновал. А теперь еще здоровье недостаточно окрепло, и он не мог бы присутствовать на публичном чествовании. Отмечали 80-летний юбилей на дому.

От французов, сообщает Н. В. Кодрянская, был создан комитет: «Comité pour célebrer le quatrevingtième anniversaire de l'écrivain Ivan Bounine»[1085] [1086].

В Америке романистка Пэрл Бак «согласилась возглавить Комитет по чествованию И. А., но из этого ничего не вышло, — пишет А. Седых. — Не было ни публичного чествования, ни денег» [1087]. Иван Алексеевич хотя и огорчился этим, шутил: «… Мое 80-летие вышло просто замечательно! Визгу много, а щетины — на грош! — как говорили на ярмарках про свиней самой низкой породы <…> Если бы я не продал в Америку и тут, Calman-Levy, мои „Воспоминания“, пришлось бы Вере Николаевне на улице милостынку просить» [1088].

В «праздник своей старости», как выразился Бунин в одном из писем, 23 октября 1950 года Иван Алексеевич сидел в кресле, в халате, выслушивая поздравления депутаций, друзей или просто знакомых — народу перебывало за день человек двести. Снимали фильмы, которые находятся сейчас в Сан-Франциско — у Юрия

Викторовича Мельтева.

Ю. В. Мельтев писал мне 12 сентября 1970 года о Бунине тех дней: «…Юбиляр был очень слаб после недавно перенесенной операции и от приступов астмы; первое, что видели посетители, был большой плакат с указанием, что рукопожатия запрещены врачом».

Бунин получил множество поздравительных писем и телеграмм: юбилей был отмечен статьями в русской и французской прессе.

Алданов напечатал статью «Ivan Bunin Revisites»[1089] в «The New-York Times» (Novembew 26, 1950). Он писал: «Будучи подлинным творцом, Бунин не искал легких путей; он всегда шел по линии наибольшего сопротивления <…> Бунин ненавидит публичность, шумиху… Он удивительно правдив, даже шокирующе жесток в описании русских крестьян».

Франсуа Мориак прислал письмо 16 октября 1950 года:

«Mon cher et illustre Confrére, II sais que vos amis vont bien-tot fêter votre 80-éme anniversaire.

Je tiens à vous exprimer à cette occasion et l'admiration que j'éprouve pour votre oeuvre et la simpathie que in inspirent votre personne et le destin si dur qu'a été le votre.

Permettez-moi de vous serrer très affectueusement les mains de tout coeur votre

François Mauriac» [1090].

«Мой дорогой и знаменитый Собрат. Я знаю, что ваши друзья собираются скоро праздновать ваше восьмидесятилетие.

По этому случаю я хочу выразить и свое восхищение, которое я испытываю от вашего творчества, и симпатию, которую мне внушает ваша личность и столь жестокая судьба, какой была ваша.

Разрешите сердечно пожать вам руку. Всем сердцем ваш Франсуа Мориак».

Андре Жид говорит в письме, напечатанном в газете «Фигаро» (1950, № 1904, 23 октября), что на пороге 80-летия Бунина он обращается к нему «от имени Франции», приветствует и обнимает его, «как своего собрата»; он проникнут глубокой симпатией к его творчеству, «которым… восхищался задолго до того, как смог, — пишет А. Жид, — с вами встретиться, и наконец к вам лично, когда наши дороги пересеклись».

Когда он встретился с Буниным в Грассе, то не чувствовал себя чужим; «в атмосфере немножко богемной, немножко экзальтированной, но глубоко человечной, — говорит он, — которая вас окружала, я сейчас же почувствовал себя почти как у себя дома потому, что этой атмосферой проникнуто большинство

произведений русской литературы, которая с давних пор была мне близка. И до чего же неотразимо ваше влияние: когда я смотрел из окон вашей виллы в Грассе, меня отчасти удивляло, что передо мной пейзаж французского юга, а не русская степь, не туман, не снег и не белые березовые рощи. Ваш внутренний мир господствовал и торжествовал над внешним миром; он-то и был подлинной реальностью. Вокруг вас я ощущал ту необычайную силу влечения, которая укрепляет братские узы человека с человеком вопреки границам, вопреки различиям общественным и вопреки условностям. Даже вопреки интеллектуальным расхождениям. Как прекрасно я вас понимал! В ходе нашей беседы мы обнаруживали, что мы ни в чем друг с другом не согласны, абсолютно ни в чем, — и это было очаровательно. Наши литературные вкусы, наши пристрастия, наши суждения резко расходились, как в том, что мы одобряли, так и в том, что мы осуждали. Но главным для меня было то, что во всех ваших словах я слышал правдивость и убежденность, — никакого насилия над собой, никакой подделки, никакого подлаживания. Невозможно было себе представить этику и эстетику, литературный рай и литературный ад более далекими от моего, чем ваш. Но ваши позиции были незыблемы и непоколебимы. А это и есть самое главное, ибо в искусстве великие художники велики каждый по-своему. Когда я слушаю ваши рассказы, я забываю обо всем: вот что важно. Я не знаю писателей, у которых внешний мир находился бы в более тесном соприкосновении с другим миром, с миром внутренним, чем у вас, у которых ощущения были бы более точны и незаменимы, слова более естественны и в то же время неожиданны. Вы с одинаковой уверенностью изображаете нищету и убожество, с одной стороны, и благополучие, с другой, отдавая все же некоторое предпочтение самым обездоленным людям на свете. И какой неожиданный ракурс: кажется, что полотно разрывается и оттуда смотрит на нас полнейшая безнадежность. Я убежден, что именно в этом мы особенно отличаемся друг от друга! Но дело не в похвалах» [1091] (перевод Н. М. Любимова).

Вышел посвященный Бунину выпуск иллюстрированного журнала «Дело» (1950, декабрь, № 1).

В Нью-Йорке 25 марта 1951 года состоялся вечер Ивана Алексеевича. По словам Алданова, он прошел превосходно. Зал на 470 мест был переполнен. Все говорили в восторженных выражениях: Вейнбаум — о «Воспоминаниях», Алданов — о Бунине в общем смысле, Тартак — о его стихах, Вера Александрова — о прозе. С большим успехом читали его произведения артист Зельцкий — рассказ «Ночлег», артистка

Лариса Гатова стихи — читала «просто и хорошо». Были на вечере Г. Н. Кузнецова и М. А. Степун. Галина Николаевна прислала Ивану Алексеевичу описание вечера, состоявшегося «по случаю, — писал Бунин Алданову 31 марта 1951 года, — очень скверному для меня, моей старости…» [1092]; он благодарил Алданова за «Слово о Бунине», оно было напечатано в «Новом русском слове». В эту газету 4 апреля 1951 года Бунин послал «Письмо в редакцию», благодарил Фонд помощи писателям и ученым, почтивший его устройством этого вечера, и Вейнбаума лично за возглавление его и за речь, которой он его открыл, и всех говоривших о его писаниях и читавших некоторые из них. «Весьма тронут я и А. Т. Гречаниновым, — писал Бунин, — присоединившимся к этому приветствию: мой низкий благодарный поклон ему» [1093]. От участников вечера была послана Бунину приветственная телеграмма.

Он сказал, что «*классически кончает* ту славную литературу, *которую начал* вместе с Карамзиным Жуковский, а говоря точнее — Бунин, родной, но незаконный сын Афанасия Ивановича Бунина и только по этой незаконности получивший фамилию „Жуковский“ от своего крестного отца…» [1094].

Бунин также писал в свои истинно последние дни:

«…Я с полным правом и, надеюсь, навсегда занял одно из первых мест не только в русской, но и во всемирной литературе…» [1095]

А писал он это деятелям Издательства имени Чехова, которые не торопились с печатанием его книг; он же, больной, очень нуждался в деньгах; печатали то «Двенадцать стульев», то «Подстриженными глазами» или бесконечные антологии. Из его книг в этом, 1952 году, после мучительных взаимных объяснений о старом и новом правописании, вышла «Жизнь Арсеньева», в 1953-м — сборники «Весной, в Иудее. — Роза Иерихона», «Митина любовь. — Солнечный удар». Он их составил, правил тексты, и все три были прочитаны им в корректурах. Читали корректуры также Г. Н. Кузнецова и М. А. Степун. Бунин составил и прочитал верстку сборника рассказов «Петлистые уши», вышел он посмертно (1954 год). Его тексты он также исправил для этого издания. В горькую минуту Бунин писал об Издательстве имени Чехова: «С каким восторгом я проклял бы его, если бы кто-нибудь другой спас мои последние дни!» [1096] Издательством руководил Н. Р. Вреден, но редко в нем бывал; «фактической руководительницей его была американка Лилиэн Диллон Планте, женщина умная и дельная, но очень мало знавшая русскую литературу и зарубежных русских писателей. Бунин, в ее глазах, был одним из тех писателей, которые добивались издания своих

произведений» [1097].

Бунин самый большой русский писатель двадцатого века, русский гений, является символом связи с Россией Пушкина, Толстого, Достоевского; он не прошел мимо того взлета, которым отмечен в литературе и искусстве век двадцатый, — мимо русского и европейского модернизма. В оценках его творчества все сводить к тому, что — это реализм, большое заблуждение. Бунин говорит в письме 23 августа 1951 года к романисту Л. Д. Ржевскому:

«…Рецензия ваша на мои „Воспоминания“ в общем очень плоха <…> „…естественно, — пишете вы, — что реалист Бунин не приемлет символизма Блока“! <…> Называть меня реалистом значит или не знать меня как художника, или ничего не понимать в моих крайне разнообразных писаниях в прозе и стихах <…> „Реалист Бунин“ очень и очень приемлет многое, многое в подлинной символической мировой литературе» [1098].

«Священнослужитель слова», Бунин не мог мириться со всяческим посягательством на нормы русского языка, на его основы и не терпел новую орфографию, которую ввели большевики в первые годы своего владычества; называл новое правописание «похабным безобразием» (в письме Ржевскому). В Академии наук была создана комиссия по реформе правописания, она работу не закончила, и новые правила были введены министром народного просвещения Мануйловым. Участником этих работ в Академии наук был профессор Н. К. Кульман, впоследствии эмигрировавший. Он напечатал статью «О русском правописании» в журнале «Русская мысль» (Прага, 1923, кн. 6–8). Бунин считал этот труд ценным и послал журнальный оттиск Ржевскому. Он писал Ржевскому, что «Второе отделение» Академии, в которое Бунин был избран, участия в работе по орфографии не принимало. «Не пой красавица при мне / Ты песен Грузии печальной. / Напоминают мни ОНИ!!! (вместо „оне“)… „Война и мир“ — так и не узнаешь на взгляд, что это за „мир“ — вселенная или мирная жизнь», — писал Бунин Ржевскому.

Эта «новая» орфография, по словам Бунина, очень больное его место, «иногда просто сводит меня с ума своей нелепостью, низостью, угодливостью черни, — писал он Алданову 12 декабря 1951 года, — и тем, что ведь ни одна страна в Европе не оскорбляла, не унижала так свой язык, как это сделал самый подлый и зверский СССР — с благословения <…> проф. Мануйлова…» [1099].

Бунин не мог выносить некоторую искусственность языка под

старину у А. М. Ремизова. Он также воспринимал как что-то, стоящее за пределами логики, такое словосочетание у Ремизова, как название его книги «Подстриженными глазами». «Это *патологически мерзко*!» [1100] — восклицал он. Бунин говорил в письме Ржевскому (29 сентября 1952 года), что он имени Ремизова не мог выносить в печати. Ремизов с красным паспортом, да еще на приеме у Молотова в советском посольстве, — это порождало у Бунина бескомпромиссную отчужденность от него, хотя не всегда он был так нетерпим: были и встречи; 10 марта 1946 года посетил его вместе с Адамовичем и Пантелеймоновым.

Несносен был для него «дикий развратный „Дар“» В. В. Набокова. Набоков вызывал неприязнь Бунина и тем, что не был правдив в воспоминании об одной из встреч с ним. Иван Алексеевич писал Алданову 10 ноября 1951 года: «А вчера пришел к нам Михайлов, принес развратную книжку Набокова с царской короной на обложке над его фамилией, в которой есть дикая брехня про меня — будто я затащил его в какой-то ресторан, чтобы поговорить с ним „по душам“ — очень на меня это похоже!» [1101]

Также необъективно обрисована личность Бунина комментатором выборки из его дневников «Устами Буниных»[1102]. Доктор В. М. Зёрнов писал автору этих строк 18 августа 1982 года:

«Милица Грин выпустила в свет дневники, не предназначенные для публикации <…> Образ же Ивана Алексеевича представлен в невыгодном свете. Как вы понимаете, не пропущено ни одного места, где упоминается, что и сколько он выпил, и может создаться впечатление, что Иван Алексеевич был настоящим пьяницей, тогда как это абсолютно неверно». В письме 5 октября 1977 года Зёрнов говорит о Бунине: «…Когда я его знал, он выпивал вино по маленькому стаканчику и любил хорошее вино, но в очень небольшом количестве».

И еще одна большая несправедливость мрачной тенью нависает над Буниным: судьба его архива.

М. Э. Грин сообщала, будто бы «Алданов усиленно уговаривал Бунина продать архив в Колумбийский университет, но Бунин отказался» [1103]. Однако письма Бунина убеждают, что все было не так.

В Нью-Йорке создавался при помощи Колумбийского университета Русский Архив. Об этом извещал Бунина Алданов 26 марта 1951 года; по руководству им намечался комитет в составе: Бунин, В. А. Маклаков, бывший посол Б. А. Бахметев,

социалист (бывший меньшевик) Б. И. Николаевский (выслан из России в начале 1920-х годов, умер в 1966 году), историк М. М. Карпович, А. Л. Толстая и Алданов. (Переписка Бунина с Алдановым находится в Колумбийском университете.) Бунин согласился на участие в работе комитета.

Русский Архив потом слился с Архивом Колумбийского университета. Алданов уведомлял Бунина 26 марта 1951 года: «По освобождении России Колумбийский университет обязуется отдать его в Москву». Он также писал Бунину 7 ноября 1951 года, что «директором состоит американский профессор Мозли <…> Мозли согласен на перевозку Архива в Москву в случае освобождения России».

Бунин в течение последних лет, когда позволяло время, готовил свой архив для передачи Колумбийскому университету; часть из наиболее интересных документов его архива он передал года за два до войны «в Государственный Архив» в Праге и «все это, — писал он Алданову в ночь с 29 на 30 июня 1951 года, — слопала Москва, так что теперь мой „архив“ весьма беден. Надеюсь в начале осени послать Борису Ивановичу <Николаевскому> эту бедность».

Разбирала архив Ивана Алексеевича и Вера Николаевна, ей помогала Т. И. Алексинская. Делали они эту работу в декабре 1952 года и в январе 1953 года.

В Архиве Колумбийского университета есть «Краткое резюме описи личного архива И. А. Бунина» — пятьдесят три папки документов: рукописи стихов и прозы, отзывы прессы эмигрантской и иностранной, пометки Бунина на полях газет и журналов, портреты Бунина и альбом с фотографиями, книги Бунина на иностранных языках, книги русские с исправлениями для изданий, письма писателей и других лиц — и прочие материалы.

В настоящее время заведующая Архивом Колумбийского университета госпожа Ellen Scaruffi говорит, что обозначенные в «Кратком резюме…» материалы у них в каталоге не значатся. Ежели действительно их в Колумбийском университете нет, то Бунины не успели отправить вслед за описью архив Ивана Алексеевича из-за его болезни и последовавшей затем кончины. Из всех документальных материалов, касающихся архива Бунина, ясно видно, что его воля состояла в том, что его архив должен был до поры до времени храниться в Колумбийском университете, а затем надлежало перевезти его в Москву. Все, что противоречит воле нобелевского лауреата, несправедливо и противозаконно, какие бы «завещания» ни были, если они на самом деле были. Архив Бунина — национальное достояние

России, и он должен быть в России.

Зуров, у которого архив Буниных остался после их смерти, — мои переговоры с ним о приобретении этих материалов были блокированы советскими властями, — страдал иногда психическим расстройством, три раза по этому поводу его помещали в клинику, в частности, отправили 20 июля 1953 года. Зуров, которому являлись кошмары и его усиленно лечили, не был у Ивана Алексеевича при его кончине, вернулся на квартиру Буниных 12 декабря 1953 года.

Если есть какой-нибудь документ, узаконивающий права собственности Зурова на архивы Ивана Алексеевича и Веры Николаевны, то это могло быть сделано против воли Веры Николаевны, которая никак не могла бы поступить против воли Ивана Алексеевича.

О необходимости передать архив Колумбийскому университету писал не только Бунин. Вера Николаевна сообщала И. В. Кодрянскому — доктору, мужу писательницы Н. В. Кодрянской, — 17 сентября 1952 года, что Иван Алексеевич, завершив работу над своими книгами для Чеховского издательства в Нью-Йорке, «немного успокоился, хотя теперь нужно кончать с отсылкой архива» [1104].

Отношения Веры Николаевны и Зурова были очень сложные. Она всячески опекала его, помогала. «Вера Николаевна спасла Зурова, и он это знал», — писала автору данной работы Т. Д. Логинова-Муравьева 17 июня 1979 года. Имея в 1953 году большие долги, она заняла еще немалые деньги, чтобы платить за него хорошей, но дорогой частной клинике: 100 тысяч в месяц. Для нее бывали из-за него очень нелегкие дни; и она искала защиту у доктора и друга семьи В. М. Зёрнова. Он писал автору этих строк 23 апреля 1979 года:

«Ведь Зуров по-настоящему терроризировал Веру Николаевну уже после смерти Ивана Алексеевича. Мне как-то не хотелось проникать в их отношения, но раза два-три Вера Николаевна мне на него жаловалась и показывала синяки от его побоев, прося поговорить с ним о его поведении. Когда же я стал очень осторожно говорить ему, что он должен с заботой относиться к Вере Николаевне, то Леонид Федорович с негодованием заметил: она должна обо мне заботиться, а она мне мешает работать своей болтовней по телефону; когда я выхожу утром, она не спрашивает, как я спал; к ней постоянно приходят разные люди и отрывают меня от моей литературной работы. А в общем-то Зуров ничего не писал и даже ничего не читал последнее время, а существовал на средства Буниных».

По затронутым здесь проблемам нами напечатана статья

«Архив Бунина должен быть в России» в «Литературной газете» (1997, № 6, 12 февраля).

На изменение России к лучшему, когда можно было бы проще уладить дела с архивом, пока не было надежды, даже после смерти Сталина. Бунин это понимал:

«Вот наконец издох скот и зверь, обожравшийся кровью человеческой, а лучше ли будет при этом животном, каком-то Маленкове и Берии? Сперва, вероятно, будут некоторое время обманывать кое-какими послаблениями, улучшениями», — писал он Алданову 10 марта 1953 года.

Будь избавление от тирании — другими были бы и последние дни Бунина — осветились бы радостью.

Он все работал: писал новую книгу, о чем сообщал Вейнбауму 19 января 1953 года:

«…Хочу начать писать к 1954 году (пятидесятилетие со времени смерти) небольшую биографию (вместе со своими личными воспоминаниями) Чехова, с которым был столь близок, — книжку для издания на русском и на иностранных языках» [1105].

Здоровье ухудшалось. Вера Николаевна записала в дневнике 1 февраля 1952 года: «Ян очень ослабел, задыхается. Сегодня утром плакал, что не успел сделать, что надо» [1106].

Приближался последний для Ивана Алексеевича год — 1953-й. Он поражался мыслью, что «через некоторое очень малое время» его не будет, и судьбы «всего, всего» будут ему неизвестны. Это не страх смерти в житейском смысле слова. Бунину были чужды те, кто в страхе смерти цеплялся за жизнь, как толстовский Иван Ильич. Писатель противопоставил ему в рассказе «Худая трава» крестьянина Аверкия, который в свои последние дни не испытывает страха смерти: он живет воспоминаниями о счастье жизни и любви, возвышавшей его душу.

Бунин говорил о своем сходстве с Аверкием. Он развивает идею о мудрости жизни, — как эта идея выразилась в «Худой траве», — в рассказе о Петрарке «Прекраснейшая солнца». Лаура говорит: «…Не плачь обо мне, ибо дни мои через смерть стали вечны; в горнем свете навсегда раскрылись мои вежды, что, казалось, навсегда смежились на смертном моем ложе». Печальная повесть о Франческо и донне Лауре, дарующая людям просветление духа, — в отраду и назидание:

«…Смерть для души высокой есть лишь исход из темницы <…> она устрашает лишь тех, кои все счастье свое полагают в бедном земном мире» [1107].

Четвертого июля 1953 года Бунин, по словам жены, «чудесно прочитал Лермонтова „Выхожу один я на дорогу“, восхищаясь многими строками»; сказал: «И после таких поэтов — Есенин, Маяковский и т. д.» [1108].

Адамович вспоминает: «Помню его сначала в кресле, облаченного в теплый, широкий халат, еще веселого, говорливого, старающегося быть таким, как прежде, — хотя с первого взгляда было ясно и с каждым днем становилось яснее, что он уже далеко не тот и таким, как прежде, никогда не будет. Помню последний год или полтора: войдешь к нему, Иван Алексеевич лежит в постели, мертвенно бледный, как-то неестественно прямой, с закрытыми глазами, ничего не слыша, — пока Вера Николаевна нарочито громким, бодрым голосом не назовет имя гостя.

— Ян, к тебе такой-то… Ты что, спишь?

Бунин слабо поднимал руку, силился улыбнуться.

— А, это вы… садитесь, пожалуйста. Спасибо, что не забываете.

Было бы с моей стороны нелепо утверждать, что он радовался именно моим посещениям. Но, по-видимому, — и об этом мне не раз говорила Вера Николаевна, — я принадлежал к числу тех людей, разговор с которыми отвлекал его от тяжелых предсмертных мыслей. Боялся ли он смерти? Если до некоторой степени и боялся, — в чем я не уверен, — то страх этот был в его сознании заслонен другим чувством: острой тоской, глубокой скорбью об исчезновении жизни. К жизни он был страстно привязан, не мог примириться с мыслью, что ей настал конец. Никогда я с ним об этом, конечно, не говорил».

Бунин знал, что умирает, «представлял себе, — и даже иногда изображал, — как будет лежать в гробу, каков он будет в своем „смертном безобразии“ (его подлинные слова)» [1109].

Доктор В. М. Зёрнов пишет, что Иван Алексеевич «страдал эмфиземой и склерозом легких и прогрессивным ослаблением сердечной деятельности <…> Но, несмотря на свои болезни, на слабость, Иван Алексеевич до последних дней своей жизни сохранил свой острый ум, память, резкость и меткость суждений» [1110].

Оставались недолгие дни. Земной круг пройден со славой, достойно. В стихах писал за три месяца до кончины:

ВЕНКИ

Был праздник в честь мою, и был увенчан я
Венком лавровым, остролистым:
Он мне студил чело, холодный, как змея,

В чертоге знойном, золотистом.

Жду нового венка — и помню, что сплетен
Из мирта темного он будет:
В чертоге гробовом, где вечный мрак и сон,
Он навсегда чело мое остудит[1111].

<1953>

Восьмого ноября 1953 года Бунин скончался. Вера Николаевна писала А. Седых 13 ноября 1953 года:

«Дорогой Яшенька,

Спасибо за письмо, за сочувствие, за статью, которая всем, кто читал ее, понравилась, спасибо за присылку вырезок. Не напечатаете ли вы от моего имени благодарность всем учреждениям, напечатавшим свое сочувствие моему вечному горю. Я очень тронута и от всего сердца благодарю. Кстати скажу, что все, с кем в эти тяжелые дни я общалась, проявили такую любовь и заботу ко мне, что я до гроба донесу восхищенную к ним благодарность. Каждый делал, что мог, и все лучшее в своей душе проявлял ко мне. Вообще атмосфера всех этих пяти дней была необыкновенно легкая. Не удивляйтесь, я думаю потому, что все было насыщено одним чувством скорбной любви, я чувствовала, что все в горе, а не только жалеют меня и сочувствуют мне. Трогала меня и та любовь, которая относилась к Яну, как к человеку и писателю, а главное, та простота, которая всеми чувствовалась, никакой не было фальши. Ко мне приходили и небогатые люди, приносили деньги, моя помощница, в которой Иван Алексеевич души не чаял, принесла мне пятьдесят тысяч, — она копит на памятник своему мужу, я уже не говорю о том, что кто только не убирал комнаты, не подметал полы, не стряпал, я, понятно, была не в состоянии что-либо делать. И, несмотря на горе, в моей душе останется навсегда чувство несказанной радости от того, что я увидала от людей.

А теперь сообщу вам и „читателям“ о последнем месяце жизни дорогого ушедшего.

В середине октября он заболел воспалением левого легкого. Конечно, пенисиллин и все прочее, и температура скоро стала нормальной, но после этого он все никак не мог поправиться, — очень был слаб и совсем не покидал постели. Доктор Зёрнов ездил через день, а во время болезни ежедневно. В конце октября был консилиум с доктором Бенсодом, И. А. боялся рака, тот его успокоил, и последний раз Ян вышел в столовую. После был сделан анализ крови у доктора Болотова, который меня очень

испугал — 50 процентов гемоглобина и 2 600 000 красных шариков. От переливания крови он отказался категорически: „Не хочу чужой крови…“ Стали энергично лечить. Но тут опять беда: не принимает лекарств и ест очень мало. Доктор Зёрнов ездил ежедневно, делал впрыскивания эпатроля и камфары, уговаривал есть и принимать лекарства. И последнюю неделю он более или менее их принимал, но ел мало, хотя все готовилось, что он любил. Голова его была прежняя…

В последнюю субботу, как всегда утром, был Зёрнов, впрыснул камфару и эпатроль и сказал, что он говорил с профессором Мукеном, который согласился приехать в понедельник без четверти девять. Проф. Мукен большая знаменитость, и три раза он приезжал уже к И. А., в прежние годы, когда он тяжело заболевал.

Это была суббота, день, когда я отлучалась из дома на три часа, уезжая в клинику к Л. Ф. Зурову. Обычно дома оставалась Л. А. Махина, наш друг и помощница, но на этот раз я попросила А. В. Бахраха прийти к нам в мое отсутствие и посидеть или с Яном, или рядом в столовой, если он его не примет, и в случае надобности позвонить Зёрнову. Из клиники я по телефону справлялась, как чувствует себя И. А. Л. А. Махина сказала, что Бахрах у него, но прибавила: „Возвращайтесь скорей…“ Я поднялась в комнату Л. Ф. и сообщила, что должна уже покинуть его, так как Л. А. советует торопиться. Он взволновался и стал говорить, чтобы я скорей ехала. К слову сказать, он поправляется, и я надеюсь, что через несколько недель он будет дома.

Вернувшись, я не застала Бахраха, — у него было какое-то дело в 5 ч. И. А. сидел. Я помогла ему лечь. Спросила, завтракал ли он? Оказалось, немного не доел телячьей печенки с пюре. Скоро он попросил, чтобы я позвонила Зёрнову и попросила его приехать опять, он должен был приехать на другой день утром. Я сосчитала пульс — около ста и как ниточка. Позвонила Зёрнову, он обещал приехать. Дала камфары. Уговаривала пообедать, но от еды, даже от груши, он отказался.

В субботу всегда приходит к нам кто-нибудь из друзей. На этот раз была только Н. И. Кульман, но Ян не мог ее принять, — задыхался. Около девяти часов приехал В. М., впрыснул в вену, боюсь, что не совсем правильно назову лекарство, кажется, джебаин. Уговаривал покушать, сказал, что завтра в половине девятого утра приедет. У лифта он мне сказал, что пульс очень слабый, дыхание плохое. Около десяти часов мы остались вдвоем. Он попросил меня почитать письма Чехова, мы вторично прочитывали их, и он говорил, что нужно отметить. Во всех биографиях пишется, что день рождения Чехова 17 января,

написано это и в копии метрического свидетельства Чехова, которое есть в архиве Ивана Алексеевича, и он хотел начать свою книгу как раз с разговора о крестных его с Чеховым, и он переписал это метрическое свидетельство. Я же помнила, что где-то читала, что Антон Павлович родился 16 января, а 17 января его день ангела. Но И. А. недоверчиво относился к этому, забыв о письме к Марье Павловне, я тоже забыла, где об этом я прочла. И неожиданно дошла до письма от 16 января 1899, Ялта… „Сегодня день моего рождения: 39 лет. Завтра именины; здешние мои знакомые барыни и барышни (которых зовут антоновками) пришлют и принесут подарки…“ „Вот видишь, я права, а не биографы и историки литературы“, — улыбнувшись, сказала я. „Пожалуйста, отметь это и подчеркни, и заложи страницу, — это очень важно“. Затем я еще прочла несколько страниц, дочитала до письма к В. Н. Ладыженскому 4 февраля 1899 года. И Ян сказал: „Ну довольно: устал“. — „Ты хочешь, чтобы я с тобой легла?“ — „Да“… Я пошла раздеваться, накинула легкий халатик. — Он стал звонить. „Что ты так долго“. Но ведь нужно и умыться, и кой-что было сделать в кухне. Затем, это было 12 ч., я, вытянувшись в струнку, легла на его узкое ложе. Руки его были холодные, я стала их согревать, и мы скоро заснули. Вдруг я почувствовала, что он приподнялся, я спросила, что с ним. „Задыхаюсь“, „нет пульса… Дай солюкамфр“. Я встала и накапала двадцать капель… „Ты спал?“ — „Мало. Дремал“… „Мне очень нехорошо“. И он все отхаркивался. „Дай я спущу ноги“. Я помогла ему. Он сел на кровать. И через минуту я увидала, что его голова склоняется на его руку. Глаза закрыты, рот открыт. Я говорю ему — „возьми меня за шею и приподнимись, и я помогу тебе лечь“, но он молчит и недвижим… Конечно, в этот момент он ушел от меня… Но я этого не поняла и стала умолять, настаивать, чтобы он взял меня за шею. Попробовала его приподнять, он оказался тяжелым. И в этот момент я не поняла, что его уже нет. Думала, обморок. Я ведь первый раз в жизни присутствовала при смерти. Кинулась к телефону, перенесла его в кабинет. Телефон оказался мертвым. Тогда я побежала на седьмой этаж к нашему близкому знакомому, который живет в комнате для прислуги. Стучу и громким шепотом умоляю: „Николай Иванович, кажется, Иван Алексеевич умирает…“ Он вышел в халате и сказал, что сейчас придет. Я опрометью кинулась к себе. Ян был в той же позе. Взяла телефон, не реагирует… В это время вошел Н. И. Введенский, и мы подняли и положили Ивана Алексеевича на постель. Но и тут мне еще не приходило в голову, что все кончено. Я кинулась к Б. С. Нилус[1112], которая живет напротив нас. Мне было очень неприятно беспокоить ее, так как она сама нездорова, но я все же

позвонила. Она сейчас же проснулась, и я кинулась к телефону, но телефон не работал. Я уже хотела просить Введенского, чтобы он сходил в аптеку, ближайшая открыта всю ночь. Но телефон вдруг очнулся, и я позвонила: „Владимир Михайлович, вы необходимы!“ — „Сейчас приеду“. Живет он далеко. Нужно было одеться, дойти до гаража, взять машину. В это время пришла Б. С. Нилус: и мы стали греть его холодные руки и ноги. У меня уже почти не было надежды, но Б. С. все повторяла: „Он теплый, спина, живот, только руки, руки холодные…“ Вскипятили воду и клали мешки к конечностям. Дверь входная была открыта. Мы как раз вышли в столовую, и я увидала входящего бледного, с испуганными глазами Зёрнова. Он прошел прямо к И. А. Я осталась, не знаю почему, стоять в столовой. Через минуту он вышел к нам: „Все кончено…“ Я пошла к постели. „А вы прикладывали зеркало?..“ — „Не стоит…“

Мы вышли в столовую, сели вокруг стола. Это были очень жуткие минуты. Я сказала: „Дайте мне собраться с силами“, — и мы минуты три молчали. Я вспомнила слова Яна, когда он говорил мне о своей смерти: „Главное, ты не растеривайся, помни, где мое завещание, как меня хоронить…“ Он хотел, чтобы его сожгли, но сделал мне уступку. И, собрав все свои силы, я сказала: „Что же нам теперь делать?“ Было три часа ночи. Зёрнов сказал, что он может закостенеть, и предложил его одеть. И мы принялись за работу. Я, конечно, меньше делала, чем Вл. Мих. и Берта Соломоновна[1113]. Я обтерла его одеколоном. Затем стали обряжать его. Все самое новое. Пришлось открывать черный „нобелевский“ сундук, где хранились его костюмы.

Я прочла его завещание: чтобы лицо его было закрыто, „никто не должен видеть моего смертного безобразия“, никаких фотографий, никаких масок ни с лица, ни с руки; цинковый гроб (он все боялся, что змея заползет ему в череп) и поставить в склеп. И, слава Богу, все было, как он хотел, за исключением того, что служба была торжественная, но о ней ниже. Мы вытащили его диван в столовую, поставили на место моего, покрыли белой простыней, и когда переложили тело, уже одетое, на эту его постель, то, скрестив руки, я вложила деревянный маленький крестик в руку и закрыла его лицо. Кроме нас трех, видело его еще трое, когда его положили в гроб. Последние дни лицо его было прекрасным. Я неоднократно прощалась с ним и была счастлива, что из-за праздника его оставили лишний день дома. Панихиды бывали ежедневно в половине седьмого вечера. Народу перебывало много. С каждым днем цветов было все больше и больше. В воскресенье посланы были телеграммы и письма, вам, Алданову, Адамовичу, моим близким друзьям. В этот день я спала

один час: уезжая, Зёрнов мне что-то впрыснул в руку. Когда я осталась одна, у меня был припадок печени, что мешало мне заснуть. С восьми часов я стала звонить по телефону. Первым позвонила Струве[1114], так как у них уже был опыт с похоронами. И младший сын Алексея Петровича быстро ко мне приехал и очень помог. Позвонила Полонским[1115] и еще кому-то, Михайлову, Конюс[1116] взяла на себя Б. С.

И начался приход друзей. Повторяю, что каждый делал, что мог. Все приносили деньги, конечно, у кого они имелись, и к вечеру у меня было пятьдесят тысяч, когда скончался И. А., у нас осталось всего восемь тысяч франков. Затем на первой панихиде, которую служили владыка Сильвестр, отец Антоний и отец Димитрий, народу было меньше, чем на следующих. Больше всего было в понедельник. Я ездила с П. А. Михайловым на кладбище, где купила для нас на вечные времена могилу, будет сделан склеп, пока гроб с телом стоит во временном склепе.

В воскресенье я попросила доктора сообщить Лёне (Л. Ф. Зурову. — А. Б.) о нашем горе. В понедельник Л. Ф. позвонил сам мне по телефону и выражал желание приехать проститься с И. А., доктора разрешали, но сказали, что тогда придется прервать лечение, а оно принесло большую пользу. И я стала умолять его, чтобы он не приезжал: „Все равно лица его вы не увидите, а я все вам расскажу, как у нас, и вы, при вашем воображении, представите“… Говорили мы по телефону около часа, и, слава Богу, удалось его уговорить. Беспокоился он и обо мне. И я на следующий день в час обернулась, съездила к нему. Он в сильном горе и заботе обо мне. Доктора ему не сразу сказали, а сказали, что И. А. очень плохо, когда же он через два часа просил разрешения позвонить по телефону, то ему сообщили и о кончине. Он ведь ежедневно читает „Фигаро“, а потому скрыть от него было невозможно. Вчера я его опять навестила, привезла все ленты, письма, телеграммы, Вашу статью и другие. И мне в клинике сказали, что сообщение о смерти — был для него шок. Вероятно, через недели две-три его выпишут, и он вернется домой. Он почти здоров, у меня явилась твердая уверенность, что он кончит скоро „Зимний Дворец“. Сейчас он занят своими литературными делами.

Во вторник было положение во гроб. В четверг похороны. Половина девятого приехали за гробом. Мы в немногочисленном числе его сопровождали. Приехала моя племянница, родная внучка С. А. Муромцева, накануне, она служит на севере Франции. В этот день было двадцать лет со дня смерти моего брата, и мне удалось отслужить по нем панихиду. И. А. его любил больше всех из моей семьи. Потом мы пошли погреться в кафе,

напротив, выпили кофе. А затем вернулись в церковь. Служили владыка Сильвестр, отец Григорий Ломако, отец Александр Чекан, отец Антоний Карпенко и отец Димитрий Василькиоти. Все было очень торжественно при полном освещении. Хор пел необыкновенно хорошо. Все говорят, что такого отпевания никогда еще не было и по какому-то особенному настроению, и по сосредоточенности, и по сдержанному горю, хотя многие плакали. Увы, я плакать не могу, подступают слезы, глаза делаются влажными, и все. На шаляпинских похоронах народу было больше, но, может быть, и от этого не было такой торжественности и красоты. Много народу ко мне подошло, вероятно, прощание взяло около получаса. Затем гроб вынесли на руках. Говорят, что были фотографы, но я не видала. Со мной везли гроб самые близкие: моя племянница, наша Олечка, которая зовет И. А. „Ваней“, ее мать Л. А. Махина, Н. Ф. Любченко, М. А. Каллаш, Т. Ф. Ляшетицкая, Т. И. Алексинская. Мои родные, жена Шестова и ее дочь Баранова с мужем ехали в своей машине, был и большой автобус переполненный и собственные машины.

Много было жерб[1117]: от Марка Александровича, огромный из крезантэм, необыкновенно красивых, а Иван Бунин де Марк Алданов (по-французски)[1118], из белых тоже огромный из „Возрождения“ „последнему славному“… от Имки[1119], от лондонского Пэн Клуба эмигрантов, от „друзей“ Крест из цветов — это те, кто под председательством В. А. Маклакова решили сделать похороны на „общественный счет“… потом от „Объединения писателей“ из сиреневых крезантэм, большой жерб от Конюс, тоже очень красивый, а затем много букетов самых разнообразных цветов. Это тоже было против „его воли“, но я не обнародовала, сказала только Барановым, когда они принесли большой букет цветов. Жерб от Павловских, — они в Швейцарии.

День был чудесный, и когда мы ехали уже мимо лесов, то все вспоминалось: „Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный…“ — и меня как-то успокаивало, что это осенью в такой солнечный день, какой он особенно любил.

На кладбище нас встретил отец Александр Ергин и хор кладбищенский, очень хороший. Могила еще не начата. Поставили во временный склеп, то есть все, как он хотел. Отслужили литию. Разложили цветы. Ленты все дома. Пошли к нашей могиле. Она вблизи Тэффи и других друзей и знакомых. На могилу Тэффи положили цветы от Ивана Алексеевича.

Возвращалась я с Конюс на их машине. По дороге мы купили кое-что для еды, так как близкие друзья должны были приехать, чтобы провести этот первый вечер без него со мной. Все

принялись за работу, вымели пол, накрыли стол, стряпали в кухне, и когда все было готово, то стали говорить о нем. Л. С. Врангель[1120], знавшая его за много лет до меня, рассказывала, что его тогда звали все его приятельницы: М. К. Куприна, С. М. Ростовцева — „Ваничкой Буниным, что он был элегантен, очень живой и веселый“, что „отец ее его очень любил (С. Я. Елпатьевский) и предсказывал славу“. Пришел и А. М. Михельсон, и Струве, были Жировы, М. А. Каллаш, чета Любченко, одна болгарка Дора, Н. И. Кульман, Каминские, Болотов. Струве читал вслух его стихи. Настроение было печально-радостное, пишу радостное потому, что опять царствовала любовь к нему и чувствовалось общее горе. Я не упомянула о Л. А. Махиной и Б. С. Нилус. Часам к десяти все разошлись, и я осталась одна…

Вот вкратце, наспех настрочила я вам. Возьмите для себя, что нужно, а это письмо *обязательно* дайте прочесть *Гале, Марге[1121], Кодрянским полностью*, так как они всех знают, и им будет интересно.

Во время писания меня то и дело отрывали, то телефон, то визитеры.

Сегодня у меня болит голова, хотя я спала больше, чем предыдущие ночи.

Леня просил вам передать дружеский привет, сказать, что ваша статья ему понравилась, он очень тронут и благодарит тоже газету за то отношение, которое она проявила к нашей утрате. Он попросил поклониться и Марку Ефимовичу[1122], от меня тоже передайте самые сердечные слова.

Простите за описки, за некоторые неточности, я ведь очень устала.

Храни Вас Бог. Поцелуйте Женичку[1123].

Ваша Вера Бунина.

Еще раз спасибо за все.

Болотов мне сказал, что одно легкое уже не работало, а что во втором плохо рассасывался фокус, судит по анализу крови. Кому-то Ян сказал: „Душа с телом расстается“. Я все приставала к нему, когда он стонал, что он чувствует, он не объяснял. Я говорила: „Ведь ты умеешь это делать, отчего молчишь?“ Не хотел меня пугать»[1124].

Похоронен Бунин на русском кладбище Sainte Geneviève des Bois[1125], в семидесяти километрах от Парижа. На могиле — каменный крест. Зуров сообщил в письме 29 июля 1965 года: «Такие кресты стоят на местах боев с тевтонскими и ливонскими рыцарями. Такой крест поставлен и на могиле Ивана Алексеевича, так как он очень полюбил каменный крест, стоящий

на Труворовом городище (вблизи Николы Городищенской церкви). Я из Изборска послал Ивану Алексеевичу открытку… с этим крестом. Художник <Александр> Бенуа нарисовал этот крест, по желанию Веры Николаевны, для мастера каменных дел, который сделал по этому рисунку крест Ивана Алексеевича».

Вера Николаевна считала, что это лучший крест на всем кладбище, «в нем Русью пахнет», писала она А. Седых 15 апреля 1957 года.

Бунин был перезахоронен из временного склепа. Зуров писал 11 августа 1967 года:

«Тридцатого января <1954 г.>, на восходе солнца, перенесли тело Ивана Алексеевича из временного склепа в постоянный. Временный склеп находился недалеко от кладбищенских ворот. В нем стоял, дожидаясь погребения (среди других гробов), гроб Ивана Алексеевича. Вера Николаевна после смерти мужа купила на кладбище место для могилы и попросила бюро похоронных процессий соорудить склеп для двух гробов.

Мы с Верой Николаевной выехали в это морозное утро из спящего еще Парижа с Конюсами в Сен-Женевьев-де-Буа. Поля были под снегом. Во время панихиды перед поднятием гроба солнце выходило из-за леса. Снег розовел. Служба была строгая, напоминающая фронтовые погребения. Бенуа построил там псковскую церковь с звонницей. Когда гроб понесли к могиле, перезванивали маленькие колокола. А гроб был за сургучными печатями. Вместе с хором пел, стоя на костылях, князь Галицын (князь Галицын писал свою фамилию „Галицын“), женатый на двоюродной племяннице Ивана Алексеевича. Она родилась в соседней усадьбе и знала Ивана Алексеевича еще юношей (Маргарита Валентиновна Голицына, ныне покойная; умер и князь). Их имение находилось против Батурина („Жизнь Арсеньева“) (Озерки. — А. Б.).

Мороз был жестокий. Нам подали на лопате землю, она смерзлась комками. Провожало Ивана Алексеевича к могиле всего одиннадцать человек: кладбищенский священник, Вера Николаевна, Татьяна Сергеевна Конюс, Борис Юльевич Конюс, князь Галицын с женой, Л. Ф. Зуров, четыре певчих. На кладбище находился полицейский комиссар, а гроб несли четыре служащих из бюро похоронных процессий. Привезла нас на кладбище (Веру Николаевну и меня) Татьяна Сергеевна Конюс. С нею был муж, но управляла автомобилем она, так как ее Сергей Васильевич <Рахманинов> научил великолепно править машиной. Галицыны приехали на своем стареньком автомобиле. Князь шоферствовал в те времена. Работал в Красном Кресте, обслуживал старческий дом.

Утро было суровое, на дорогах гололедица, надо было встать в шесть часов утра (таковы французские правила: тело переносят всегда утром до девяти часов в присутствии полицейской власти). Вера Николаевна очень страдала. Это погребение она перенесла тяжелее торжественного отпевания Ивана Алексеевича на рю Дарю».

В том же склепе, где в цинковом гробу похоронен Бунин, погребена и Вера Николаевна в 1961 году.

Поэт Дон Аминадо сказал о И. А. Бунине, вспоминая день, когда его не стало:

— Великая гора был Царь Иван![1126]

Возвратившись из Сен-Женевьев-де-Буа — места вечного упокоения того, кто так страстно любил жизнь и столь вдохновенно писал о ее радостях, — читали стихи, написанные им еще в начале века:

Ты мысль, ты сон. Сквозь дымную метель
Бегут кресты — раскинутые руки.
Я слушаю задумчивую ель —
Певучий звон… Все — только мысль и звуки!

То, что лежит в могиле, разве ты?
Разлуками, печалью был отмечен
Твой трудный путь. Теперь их нет. Кресты
Хранят лишь прах. Теперь ты мысль. Ты вечен.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Алексей Николаевич Бунин, отец писателя.

Людмила Александровна Бунина, мать писателя.

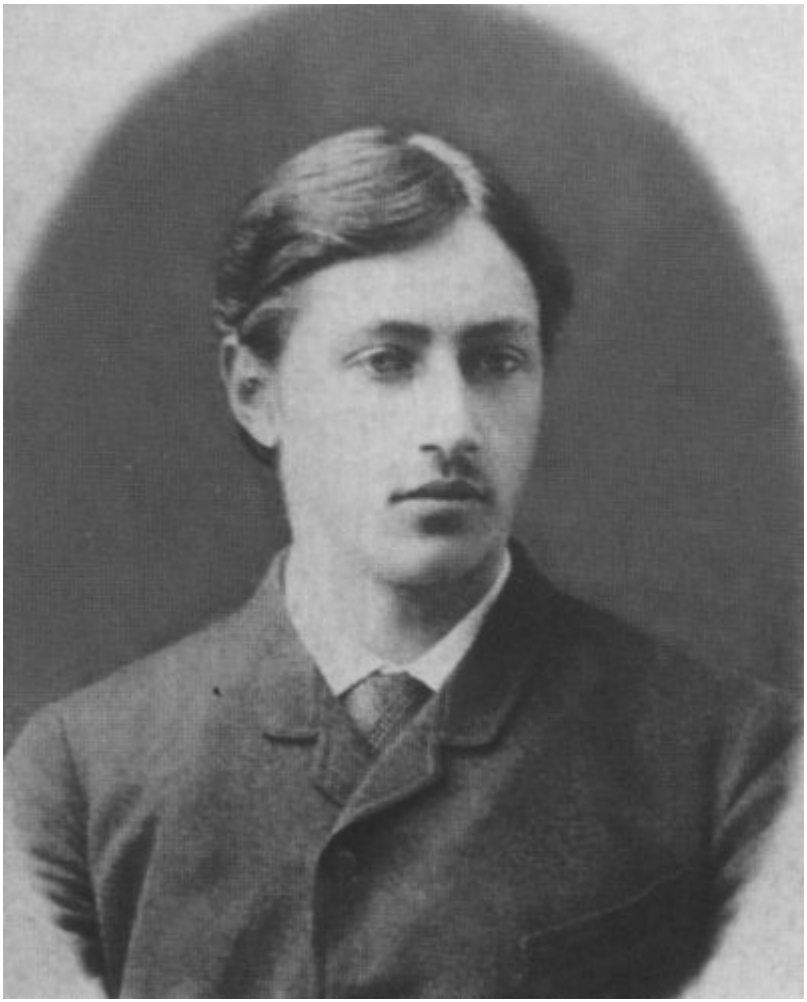
Дом, где родился Бунин. Воронеж.

Юлий Алексеевич Бунин, брат писателя.

Мария Алексеевна Бунина, сестра писателя.

Герб рода Буниных.

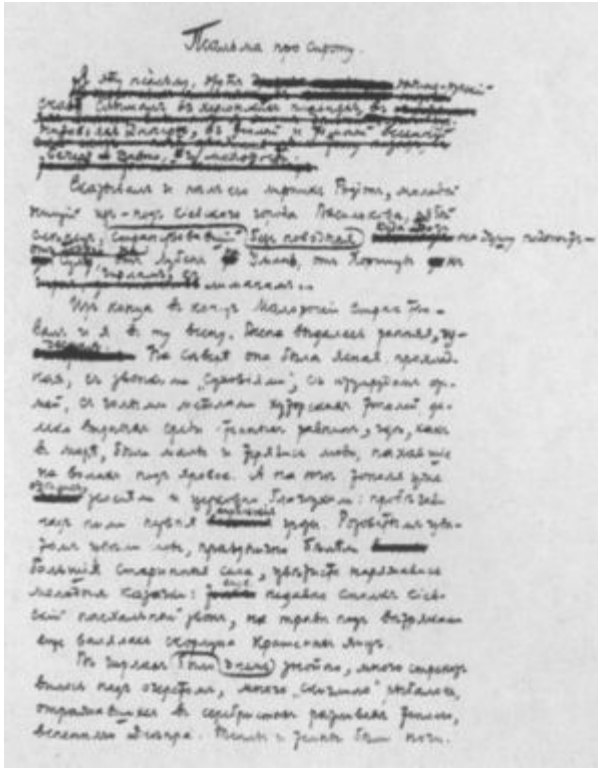
Ю. А. Бунин, М. А. Бунина; стоят: Е. А. Бунин и его жена Настасья Карловна.



И. А. Бунин. 1887 г.

Мужская гимназия. Елец.

И. А. Бунин и В. В. Пащенко. 1892 г.



Украинская народная песня «Псальма про сироту», записанная Буниным. Он цитирует ее в рассказе «Лирник Родион».

С. Н. Пушешникова, двоюродная сестра И. А. Бунина. 1870-е

Дом Пушешниковой в селе Глотове Елецкого уезда Орловской губернии.

А. Н. Цакни, первая жена Бунина. 1898 г.

Сын Бунина Николай, родившийся от брака с А. Н. Цакни.

Дом, в котором была квартира семейства Цакни и где жил Бунин после женитьбы на Анне Николаевне в 1898 г. Одесса.

В. Н. Бунина. 1907 г.

И. А. Бунин и В. Н. Муромцева-Бунина. Фотографию Бунин надписал: «Весна 1907 г. Первое путешествие в Сирию, Палестину».

Личные вещи Бунина: карта Восточной Азии, путеводители, кожаный бумажник, пробковая шляпа, янтарные и кипарисовые четки — были привезены им из путешествий по Востоку. Орел. Литературно-мемориальный музей И. А. Бунина.

А. П. Чехов. Фотография с дарственной надписью: «Милому Ивану Алексеевичу Бунину от коллеги. Антон Чехов. 1901. II. 19».

Участники литературно-музыкальных «сред». Слева направо: сидят Л. Андреев, Ф. Шаляпин, И. Бунин, Н. Телешов, Е. Чириков; стоят С. Скиталец, М. Горький.

Ф. И. Шаляпин. Фотография с надписью: «Милый Ваня! Мой Бог свободен от цензуры и я ликую! Бунину. Тебя любящий Федор Шаляпин. 30/X 902».

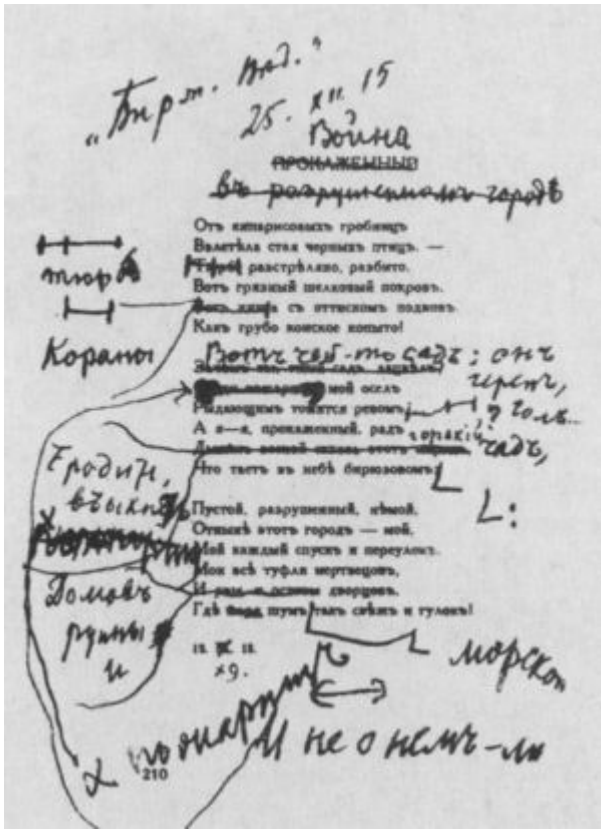
Гостиница «Лоскутная» в Москве, где нередко останавливался Бунин.

Дом на Поварской улице в Москве, где в квартире у родителей Веры Николаевны жил Бунин в 1917–1918 гг. и писал «Окаянные дни».

И. А. Бунин на Цейлоне. Март 1911 г.

Жестяная коробка с табаком, курительная бумага, мундштук, трубка И. А. Бунина.

Орел. Литературно-мемориальный музей И. А. Бунина.



Стихотворение И. А. Бунина «Война» с его правкой. 1915 г.

Большая Московская гостиница. Здесь жили А. Чехов, Ф. Шаляпин, И. Бунин. Здание не сохранилось.

И. А. Бунин. Около 1910 г.

И. А. Бунин. 1930-е гг.

Грасс. Вилла «Бельведер», где Бунин жил в 1923–1939 гг. и написал почти все свои произведения в эмиграции.

И. А. Бунин и Г. Н. Кузнецова. Надпись на фото Кузнецовой: «Первый раз в Грассе. 1926 г.».

В. Н. Бунина. На обороте надпись Бунина: «В. Н. Бунина, начало 1927 г. Париж».

И. А. Бунин. 1930-е гг.

И. А. Бунин. Париж, 1925 г.

И. А. Бунин в грасском саду. 1930–1931 гг.

Слева направо: И. А. Бунин, Г. Н. Кузнецова, В. Н. Бунина, Л. Ф. Зуров. Надпись на фотографии Веры Николаевны: «После завтрака за кофе 17 сент. 1934». Париж.

М. С. Цетлин. Портрет работы В. Серова. 1910 г.

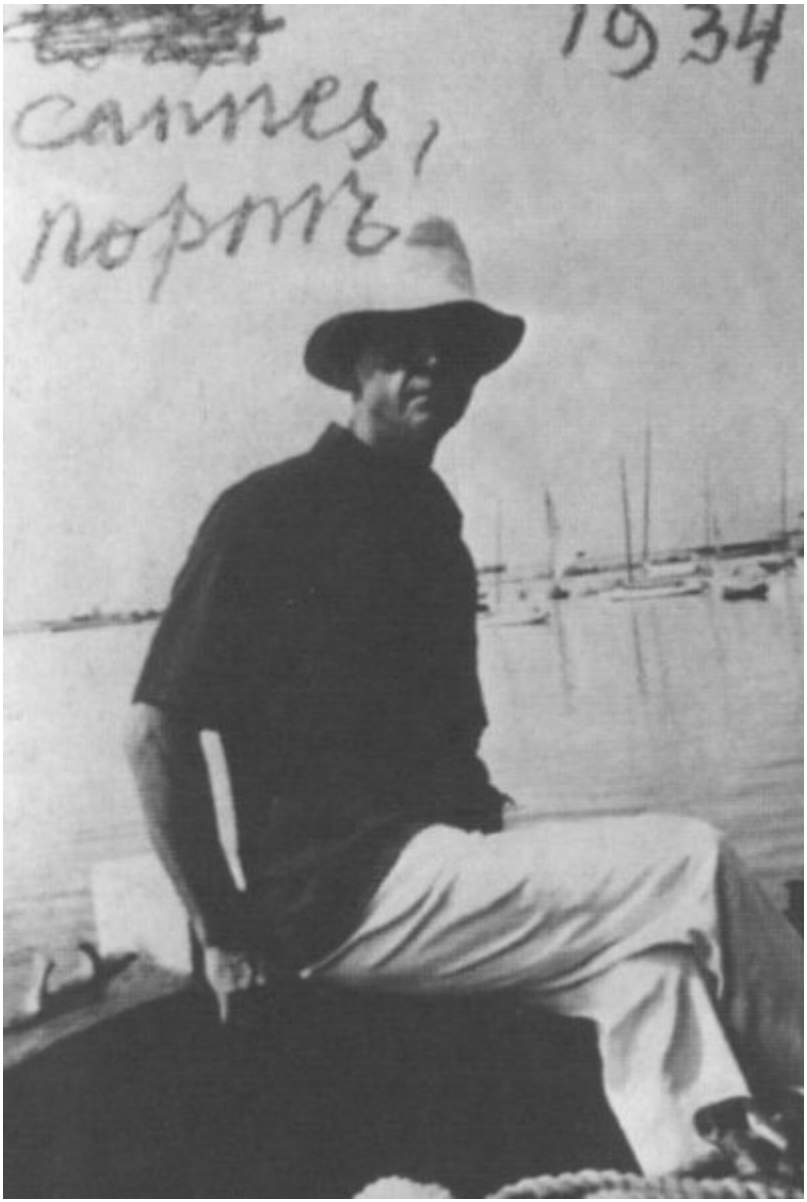
Дом на улице Оффенбаха в Париже, где Бунины жили с 1920 по 1953 г.

Фотография с надписью Г. Н. Кузнецовой: «Бунин и Алданов в Ницце, 1928 (или 1929 г.)».

Книги И. А. Бунина, изданные в эмиграции.

Г. Н. Кузнецова, И. А. Бунин, В. Н. Бунина. Грасс, август 1927 г.

Г. Н. Кузнецова. Париж, 1934 г.



И. А. Бунин. Надпись Ивана Алексеевича: «Cannes, порт, 1934».

З. Н. Гиппиус.

Д. С. Мережковский.

Грасс. Вилла «Жаннет». Здесь Бунины жили с 1939 по 1945 г.

Л. Н. Толстой. Портрет работы Л. Л. Толстого. Париж, 1933 г.

И. А. Бунин (в центре) на вокзале в Стокгольме. 1933 г.

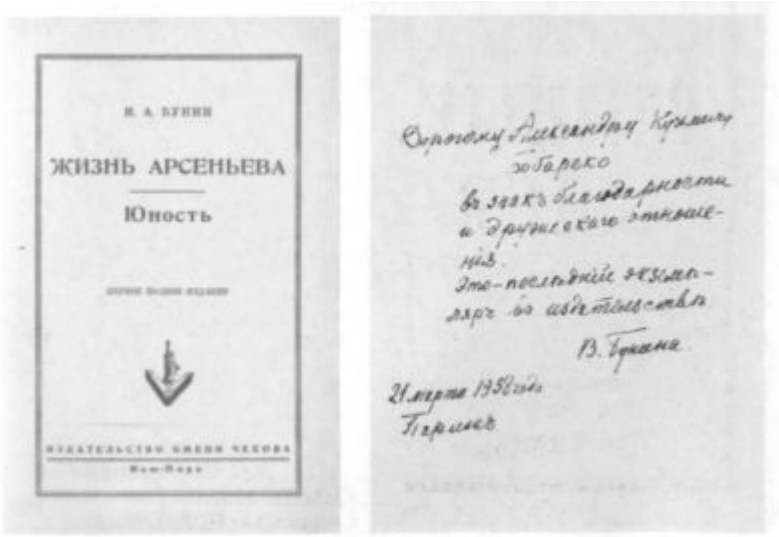
Король Швеции Густав V вручает Бунину диплом нобелевского лауреата и золотую медаль. Стокгольм, 1933 г.

Слева направо: Г. Н. Кузнецова, И. Троцкий, В. Н. Бунина, А. Седых, И. А. Бунин, «Лючия». Стокгольм, 1933 г.

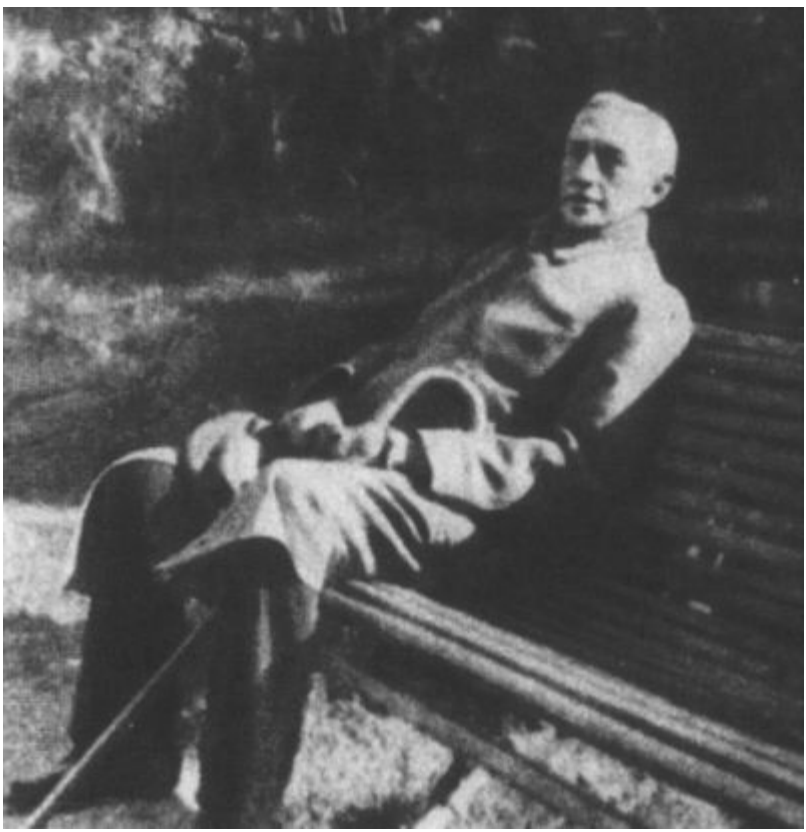
Церемония вручения Нобелевской премии. И. А. Бунин в первом ряду крайний справа. Стокгольм, 1933 г.

Серебряные поднос и солонка, преподнесенные И. А. Бунину с хлебом-солью русскими в Стокгольме. Орел. Литературно-мемориальный музей И. А. Бунина.

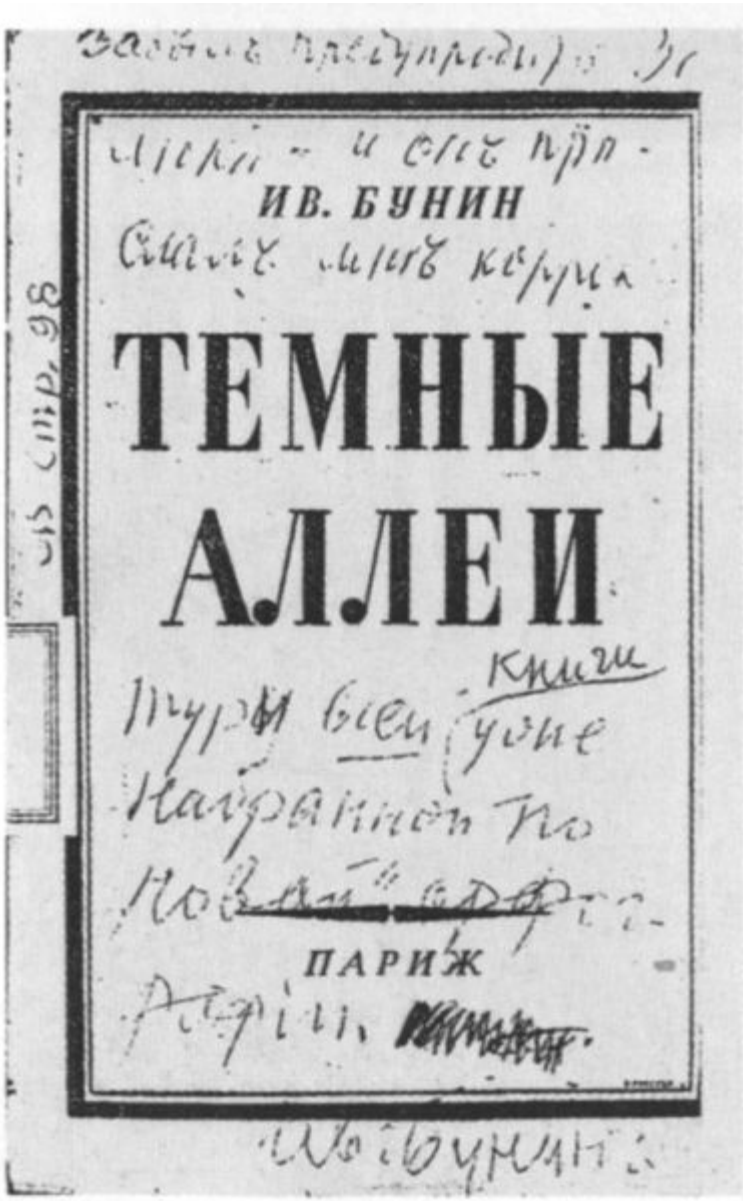
Письменный стол и кресло И. А. Бунина из его парижского кабинета. Орел. Литературно-мемориальный музей И. А. Бунина.



Дарственная надпись В. Н. Буниной А. К. Бабореко на книге Бунина «Жизнь Арсеньева».

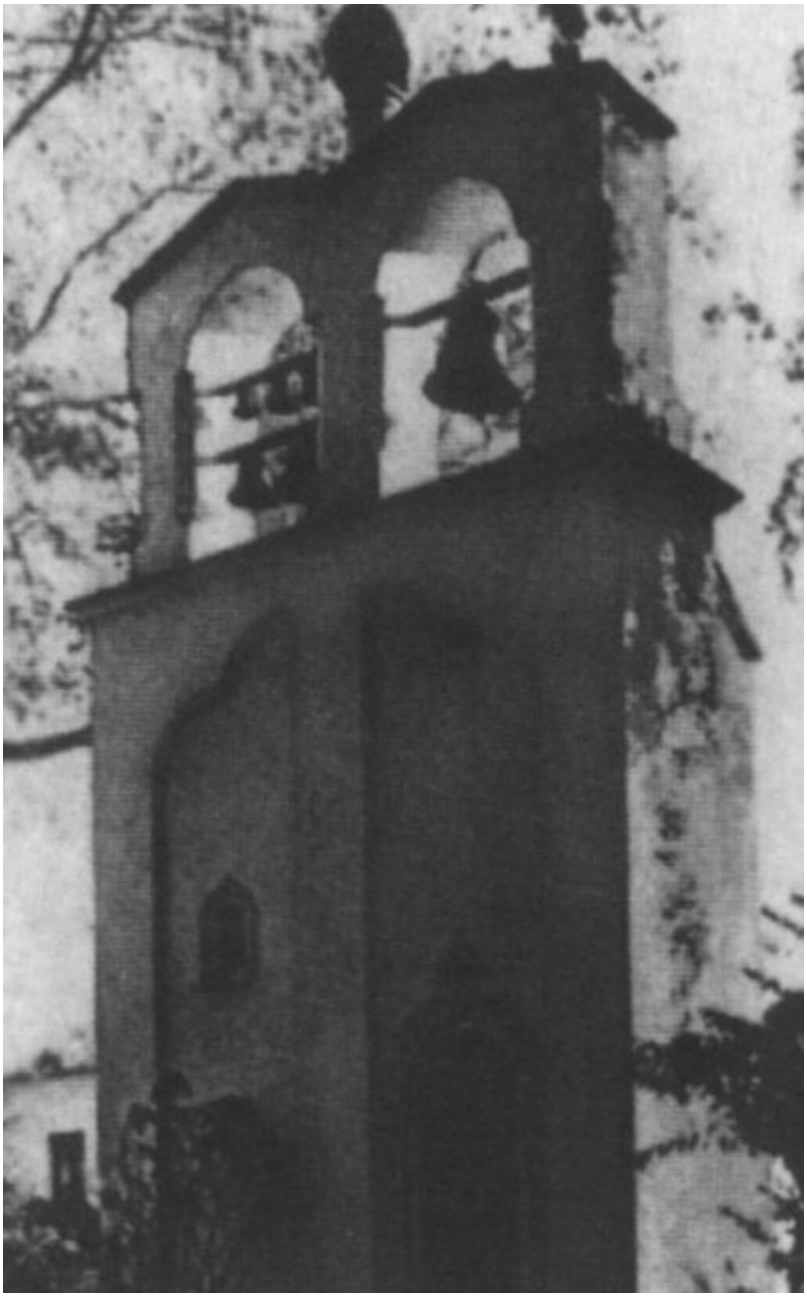


И. А. Бунин. Париж, 1948 г.



«Темные аллеи» с надписью И. А. Бунина.

Могила И. А. Бунина на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем.



Часовня на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, сооруженная по проекту Александра Бенуа.

И. А. Бунин. Париж, 5 июля 1948 г.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Бунин — Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М.: Художественная литература, 1965–1967.

В большой семье — В большой семье. Проза, стихи, литературная критика. Смоленское книжное издательство, 1960.

Весна пришла — Весна пришла. Проза, стихи, литературная критика. Смоленское книжное издательство, 1959.

Время — Время. Проза, поэзия, литературная критика. Смоленское книжное издательство, 1962.

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации.

Горьковские чтения — Горьковские чтения 1958–1959. М.: Изд-во АН СССР, 1961.

Грасский дневник — Кузнецова Г. Грасский дневник. Рассказы. Оливковый сад. М.: Московский рабочий, 1995.

Дневник — Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы / Под ред. М. Грин: В 3 т. Т. I. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1972; т. II, 1981; т. Ill, 1982.

Жизнь Бунина — Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. 1870–1906. Беседы с памятью. М.: Советский писатель, 1989.

ИМЛИ — Институт мировой литературы Российской Академии наук им. А. М. Горького.

ИРЛИ — Институт русской литературы Российской Академии наук (Пушкинский Дом).

ЛН — Литературное наследство. Бунин. Т. 84. Кн. 1, 2. М.: Наука, 1973.

Литературный Смоленск — Литературный Смоленск. Альманах. Кн. XV. Смоленское книжное издательство, 1956.

Музей Тургенева — Государственный музей И. С. Тургенева в Орле.

На родной земле — На родной земле. Литературно-художественный сборник. Орловское книжное издательство, 1958.

Письма Буниных — Письма Буниных к художнице Т. Логиновой-Муравьевой (1936–1961). YMCA-Press, 1982.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства.

РГБ — Российская государственная библиотека.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА И. А. БУНИНА

1870, 10 октября — родился в Воронеже, в семье мелкопоместного дворянина Алексея Николаевича Бунина и Людмилы Александровны, урожденной княгини Чубаровой. Детство прошло «в одном из небольших родовых поместий», на хуторе Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии.

1881 — поступил в гимназию г. Ельца.

1885 — живет в елецкой деревне Озерки, учится под руководством брата Юлия. Пишет первые стихи.

1887 — в майском номере петербургского журнала «Родина» опубликовано первое стихотворение.

1889 — поездка к брагу Юлию в Харьков. Получил приглашение сотрудничать в «Орловском вестнике», газете «общественной жизни, литературы, политики и торговли». Знакомство и начало романа с Варварой Пащенко. Поездка в Крым.

1891 — в типографии «Орловского вестника» выходит первая книга «Стихотворения 1887–1891 гг.». Стихотворение «Не пугай меня грозою» из этого сборника включалось Буниным во многие последующие издания.

1892 — переехал вместе с В. Пащенко в Полтаву. Служит в управе, «от влюбленности в Толстого, как художника», сближается с толстовцами.

1894 — путешествует по Днепру. В Москве встречается с Толстым. Путешествует по Малороссии с братом Юлием. Арест за незаконную торговлю толстовской литературой издательства «Посредник». После смерти Александра III освободился по амнистии. Разрыв с Пащенко.

1898 — выходит в свет сборник стихов «Под открытым небом». Встреча с А. Н. Цакни и женитьба на ней.

1900— рождение сына Николая. Разрыв с А. Н. Цакни.

1904 — сборник стихов «Листопад» и перевод «Песни о Гайавате» отмечены Пушкинской премией. Смерть А. П. Чехова, которая «потрясла» его «необыкновенно».

1905 — смерть сына Коли. Вернулся из Петербурга в Москву, где пережил «вооруженное восстание», как тогда называли декабрьские дни в Москве.

1906 — знакомство с Верой Муромцевой.

1907 — путешествие вместе с Верой Николаевной в Египет, Сирию и Палестину, с которого началась их совместная жизнь.

1909 — присуждение второй Пушкинской премии. Избрание почетным академиком. Работал над повестью «Деревня».

1910 — «Деревня» напечатана в журнале «Современный мир». Путешествие по Франции, Алжиру. Поездка на Капри к А. М. Горькому, потом в Египет и на Цейлон. Смерть Л. Н. Толстого.

1914 — путешествие по Волге. Работал над собранием сочинений, «тонул» в корректуре.

1915 — сотрудничество с журналом «Летописи», выходившим при участии А. М. Горького. В издательстве Маркса выходит собрание сочинений в шести томах.

1918 — отъезд из Москвы в Одессу. Встречается с М. Волошиным, В. Катаевым, О. Л. Книппер-Чеховой и другими.

1920 — отплытие из Одессы на пароходе «Спарта». Через Турцию и Болгарию приехали в Париж. Поселились на улице Жака Оффенбаха.

1923 — живет во Франции на вилле «Мон Флери», недалеко от Грасса, потом на вилле «Бельведер», затем на вилле «Жаннет».

1927— пишет краткие рассказы, впоследствии вошедшие в книгу «Божье древо», работает над романом «Жизнь Арсеньева». На вилле «Бельведер» поселяется молодая поэтесса Г. Н. Кузнецова.

1933 — написана и опубликована в журнале «Современные записки» последняя, пятая книга «Жизни Арсеньева». В Лондоне выходит английский перевод этого романа. Шведская Академия присуждает Бунину Нобелевскую премию года по литературе. Вручение премии.

1937— в Париже вышла книга Бунина «Освобождение Толстого». Поездка в Югославию. Путешествие по Прибалтике.

1945 — приглашен на беседу в советское посольство в Париже. В расчете на возвращение Бунина на родину, в СССР начинается подготовка к изданию его произведений. Писатель вернуться отказался, издание не состоялось.

1946 — первое полное издание книги рассказов Бунина «Темные аллеи» выходит в Париже на русском языке. Знакомство с К. Симоновым — «не раз дружески виделся». Подписал контракт на издание «Темных аллей» в Англии.

1947— сплошные болезни. Поездка в Жуан-ле-Пэн в «Дом Отдыха» на лечение. Выходит из Союза русских писателей и журналистов.

1948 — напечатаны в «Русском слове» «Автобиографические заметки», вызвавшие неодобрительные отзывы.

1950 — издание в Париже на русском языке книги «Воспоминания», где он давал резкие оценки многим писателям.

1953, 8 ноября — скончался Иван Алексеевич Бунин.

1954 — прах Бунина из временного склепа был перенесен и захоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Бунин И. А. Собр. соч. Берлин: Петрополис, 1936.

Бунин И. А. Собр. соч. Т. 1–9. М., 1965–1967.

Бунин И. А. Собр. соч. В 8 т. М., 1993–1996.

Бунин И. Освобождение Толстого. Париж, 1937.

Бунин И. А. Воспоминания. Париж, 1950.

Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955.

Андреева М. Ф. Переписка, воспоминания, статьи. М., 1961.

Афанасьев В. И. А. Бунин. Очерк творчества. М., 1966.

Бабореко А. К. И. А. Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917). М., 1967.

Бахрах А. Бунин в халате. По памяти, по записям. Bagville, 1979.

Берберова Н. Курсив мой. Автобиография. М., 1996.

Брюсов В. Дневники. 1891–1910. М., 1927.

Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1979.

Горький М. Собр. соч. В 30 т. М., 1954.

Зайцев Б. Мои современники. London, 1988.

Лидин Вл. Друзья мои — книги. М., 1962.

Лифарь С. Моя зарубежная Пушкиниана. Париж, 1966.

Кузнецова Г. Грасский дневник. М., 1995.

Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М., 1989.

Седых А. Далекие, близкие. Нью-Йорк, 1962.

Устами Буниных. Т. 1–3. Дневники. Fr/M. 1977–1982.

Ходасевич В. Белый коридор. Воспоминания. Нью-Йорк, 1982.

notes

Примечания

1

Письма И. А. Бунина к М. А. Алданову печатаются по публикациям проф. А. Звеерса в «Новом журнале» (Нью-Йорк) и по фотокопиям с подлинников из Архива Колумбийского университета, США, за которые приносим благодарность проф. К. И. Каллауру.

Письма В. Н. Муромцевой-Буниной к М. С. Цетлин печатаются по фотокопиям с автографов, полученным от художницы А. Н. Прегель, дочери М. С. Цетлин.

Письма И. А. Бунина к Н. А. Тэффи — по фотокопиям с автографов, полученным из Архива Колумбийского университета.

См. также газ. «Сегодня» (Рига. 1938. № 113. 24 апреля).

2

Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 373, архив А. А. Коринфского, № 3.

3

Бунин. Собр. соч. Т. 1–9. М., 1965–1967. Т. 9. С. 267.

Вопросы литературы. 1979. № 1. С. 314.

5

Индивидуальность писателя и литературно-общественный процесс. Воронеж, 1978. С. 120–121.

6

Здесь и далее пунктуация, орфография и стиль полностью сохранены. — Ред.

7

Жизнь Бунина. С. 67–68.

8

Бунин. Собр. соч. Т. 1–9. М., 1965–1967. Т. 9. С. 254.

9

Там же. Т. 6. С. 286.

10

Музей Тургенева. № 3392, оф.

11

Письмо В. Н. Муромцевой-Буниной — автору настоящей работы от 22 апреля 1958 года.

12

Жизнь Бунина. С. 31.

Литературный Смоленск. С. 275–276.

14

Бунин. Собр. соч. Т. 1–9. М., 1965–1967. Т. 9. С. 256.

15

Государственный архив Орловской области, ф. 534, арх. № 130, л. 65–65 об. Опубликовано в моей статье «Гимназическое годы И. А. Бунина» // Орловская правда. 1958. № 117. 17 июня.

16

«Автобиографический конспект И. А. Бунина с 1881 года по 1907 год» (копия на пишущей машинке), полученный от В. Н. Муромцевой-Буниной, к которому она написала свои примечания.

17

Бунин И. А. Собр. соч. Т. 1. Берлин: Петрополис, 1936. С. 28.

18

Государственный архив Орловской области, ф. 534, арх. № 162, л. 77.

19

Музей Тургенева.

20

На родной земле. С. 273.

21

Музей Тургенева. Письмо Евгения Алексеевича к Ю. А. Бунину от 2 июня 1885 года.

22

Последние новости. Париж, 1929. № 3153. 9 ноября.

23

Примеч. В. Н. Муромцевой-Буниной.

24

Дуня, падчерица Отто Карловича Туббе, винокура помещиков Бахтеяровых в Глотове, вышла замуж за сына Вукола Иванова, Александра, в будущем послужившего Бунину прототипом для рассказа «Я все молчу». Он в молодости играл роль мрачного человека, никем не понятого, делал вид, что он что-то знает, и это его слова: «Прах моей могилы все узнает» и «я все молчу» (Жизнь Бунина. С. 46).

25

Е. А. Бунин женился на падчерице О. К. Туббе — Настасье Карловне Гольдман (род. в декабре 1865 года), сестре Дуни.

Примеч. И. А. Бунина.

27

Жизнь Бунина. С. 58–60. Заметки хранятся в РГАЛИ, ф. 44, оп. 3, ед. хр. 13. — В 1938 году, будучи в Эстонии (в Таллине), Бунин встретился с Эмилией. «Иван Алексеевич взволнованно рассказывал мне об этой встрече», — пишет В. Н. Муромцева-Бунина (там же, с. 78).

Там же. С. 61.

29

См. о нем мою публикацию архивных материалов в сб. «Весна пришла». С. 210–212.

30

Государственный архив Орловской области, ф. 534, арх. № 185, л. 17–18.

31

Жизнь Бунина. С. 47.

32

Бунин И. А. Собр. соч. Т. 1. Берлин: Петрополис, 1936. С. 16.

33

Жизнь Бунина. С. 87.

Там же. С. 88.

35

Жизнь Бунина. С. 87.

Там же. С. 62–63.

37

Неопубликованный автограф хранится в Музее Тургенева, № Б-963 оф.

Сегодня. Рига. 1933. № 311. 10 ноября.

39

Музей Тургенева.

Там же. № 967.

41

РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18, л. 7.

42

Там же. Л. 11–12 об.

43

Там же. Л. 20–21 об.

Жизнь Бунина. С. 94, 96.

Там же. С. 98.

На родной земле. С. 274–276.

47

Дом этот не сохранился. На его месте построен многоэтажный жилой дом — ул. Гуртьева, дом 6.

48

Дневник Н. А. Пушешникова / В большой семье. С. 241.

49

РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18, л. 32–32 об.

50

Новый мир. 1956. № 10. С. 199. — Ответ Чехова Бунину см.: Чехов А. П. Полн. собр. соч.: Письма. Т. 4. М.: Наука, 1976. С. 171–172.

Белоконский И. П. В годы бесправия. М., 1930. С. 39.

Всходы. 1898. № 21.

53

Жизнь Бунина. С. 109–110.

54

Она готовится в «настоящие» актрисы. Мать у нее тоже была актрисой, а отец прежде держал оперу в Харькове. Прожился и стал уже специально заниматься докторством. (Примеч. И. А. Бунина.)

55

Вот тоже милая и умная девушка! (Примеч. И. А. Бунина.)

На родной земле. С. 281–285.

57

Подтверждением этой даты может служить письмо матери Варвары Владимировны — Варвары Петровны Пащенко. 11 января 1894 года она писала: «Тебе минуло 24 года» (РГАЛИ, ф. 2321, оп. 1, ед. хр. 51, л. 20).

58

Государственный архив Орловской области, ф. 531, арх. № 51, л. 98.

Там же. Арх. № 55, л. 26.

Литературный Смоленск. С. 293.

61

Музей Тургенева. № 2775 оф.

Литературный Смоленск. С. 278.

63

Весна пришла. С. 219–220. Заметки Бунина (без подписи) «Новые течения» о газете «Московские ведомости» напечатаны в «Орловском вестнике» (1891. № 139. 29 мая).

Там же. С. 220–221.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, № 12.

Музей Тургенева. — Часть писем М. А. Буниной к родным хранится в РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 23.

67

Там же. Ед. хр. 18, л. 55–55 об.

Новый журнал. Нью-Йорк, 1965. Кн. 80. С. 125.

69

Отзывы об этом сборнике напечатаны: Артист. 1892. № 20. Автор — И. И. Иванов; Наблюдатель. 1892. Кн. 3; Мир Божий. 1892. Кн. 3. Библиоф. листок; Север. 1892. № 9. 1 марта; Всемирная иллюстрация. 1892. № 1218. 23 мая; Орловский вестник. 1892. № 118. 6 мая и № 137. 28 мая.

Литературный Смоленск. С. 284.

71

Весна пришла. С. 222.

72

РГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 18, л. 79–80.

Музей Тургенева. № 3408.

Там же. № 3397.

Там же. № 2868.

Там же.

Там же. № 2874.

РГБ, ф. 218 765.1.

79

Бунин. Т. 9. С. 261.

80

Там же.

81

РГБ, ф. 429.3.8.

Бунин И. А. Воспоминания. Париж, 1950. С. 67, 283.

83

Бунин. Т. 9. С. 261.

Яснополянский сборник. Тула, 1960. С. 130.

85

На родной земле. С. 279.

Бунин. Т. 9. С. 261.

Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого, 1891–1910. М.: Гослитиздат, 1960. С. 121.

88

Бунин. Т. 9. С. 261.

Яснополянский сборник. С. 132.

Грасский дневник. С. 75.

Вопросы литературы. 1965. № 3. С. 253–256.

О Бунине и Толстом см. также: Письма Бунина Толстому // Новый мир. 1956. № 10; Бабореко А. К. Бунин о Толстом // Яснополянский сборник. Тула, 1960; высказывания Бунина о Толстом в дневниковых записях Н. А. Пушешникова — в статье Бабореко А. К. «И. А. Бунин на Капри» // Сб. В большой семье. Смоленск, 1960; Бабореко А. К. И. А. Бунин о Толстом (по его письмам и воспоминаниям современников) // Сб. Проблемы реализма. Вологда, 1979; письмо Толстого Бунину // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 67. С. 48; интервью Бунина, заметки и статьи в газетах // Одесские новости. 1910. № 8294. 15(28) декабря; Московская газета. 1912. № 217. 22 октября; Южное слово. Одесса, 1919. № 66. 7 ноября; Сегодня. Рига, 1930. № 317; Последние новости. Париж. 1931. № 3791. 9 августа; Иллюстрированная Россия. Париж, 1936. № 32. 1 августа; Последние новости. 1937. № 5840. 21 марта; № 5847. 28 марта; № 5861. 11 апреля; № 5926. 16 июня.

93

Русские новости. Париж, 1945. № 26. 9 ноября.

Мосты. Мюнхен, 1966. № 12. С. 273–275.

ЛН. Кн. 1. С. 670.

Жизнь Бунина. С. 139.

Там же. С. 140.

Там же. С. 141.

99

Письмо В. Н. Муромцевой-Буниной — А. К. Бабореко 30 марта 1957 года.

100

Музей Тургенева.

101

На родной земле. С. 302. — См. также письма Бунина в сб. «Весна пришла». С. 223–230.

<Записи> // Бунин. Т. 9. С. 352.

103

Последние новости. 1928. 16 июня. — Заметка, вызвавшая возражения Бунина, напечатана в газ. «Дни» (Париж, 1928. № 1445. 10 июня).

104

Новое русское слово. Нью-Йорк, 1933. 28 ноября.

105

Время. Белград, 1933. № 4273. 27 ноября.

106

Письмо В. Н. Муромцевой-Буниной от 30 марта 1957 года — А. К. Бабореко.

107

Речь идет о работе В. Н. Муромцевой-Буниной над книгой «Жизнь Бунина».

108

Письмо В. Н. Буниной — А. Седых 22 мая 1957 года. Йельск. ун-т.

109

То же: 15 апреля 1957 года. О Пащенко как прототипе Лики в «Жизни Арсеньева» впервые было сделано сообщение по неопубликованным письмам Бунина, в статьях автора данной работы: Выдающийся русский писатель // Орловская правда. 1955. № 208. 22 октября; Юношеский роман И. А. Бунина // Литературный Смоленск. Альманах № 15. Смоленск, 1956; здесь же опубликованы письма Бунина к В. В. Пащенко. Письма к ней напечатаны в: Новый мир. 1956. № 10; а также в сборниках: На родной земле. Орел, 1956; там же, 1958; Весна пришла. Смоленск, 1959.

110

Дневник. Т. III. С. 81.

111

ЛН. Кн. 1. С. 680–681.

112

Музей Тургенева. № 3017.

113

Там же.

<Записи> // Бунин. Т. 9. С. 363.

115

Весна пришла. С. 229. — Юлиус Липперт — автор книги «История культуры» (русск. изд. 1894).

116

<Записи> // Бунин. Т. 9. С. 345.

117

В большой семье. С. 241.

118

Грасский дневник. С. 225–226.

119

Там же. С. 262.

120

Бунин. Т. 9. С. 352.

121

Весна пришла. С. 231.

122

<Записи> // Бунин. Т. 9. С. 362–363.

123

Весна пришла. С. 231.

124

Бунин Ив. По Днепру // Полтавские губернские ведомости. 1895. № 142. 5 июля.

125

Весна пришла. С. 231.

126

См. об этом статью: Бабореко А. К. Бунин и Эртель // Русская литература. 1961. № 4. С. 150–151.

127

О выступлении на вечере Бунин рассказал в «Автобиографических заметках» 1927 года // Бунин И. А. Собр. соч. Т. 1. Берлин: Петрополис, 1936. С. 41–44.

См.: Жизнь Бунина. С. 152.

129

Брюсов В. Дневники. 1891–1910. М., 1927. С. 23.

130

Бунин И. А. Автобиографические заметки 1927 года // Собр. соч. И. А. Бунина. Т. 1. Берлин: Петрополис, 1936. С. 51.

131

Лидин Вл. Друзья мои — книги. М., 1962. С. 113–114. Текст письма приводится по автографу, хранящемуся в архиве В. Г. Лидина.

132

Жизнь Бунина. С. 155.

133

Там же. С. 156–158.

134

РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18, л. 95–96 об.

Русская литература. 1963. № 2. С. 180.

136

Там же.

137

РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18, л. 109 об.

Русская литература. 1963. № 2. С. 180.

139

См. дневник Е. М. Лопатиной / ИРЛИ, р. 1, оп. 15, № 137.

140

РГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 9.

141

Там же. Л. 11. — Отзыв о сборнике «На край света и другие рассказы» (СПб., 1897) был помещен в газ. «Сибирь» (1897. № 17. 7 февраля).

142

РГАЛИ, ф. 66, оп. I, ед. хр. 534, л. 9. — Рецензии напечатаны: Русское богатство. 1897. № 2; Мир Божий. 1897. № 2.

143

РГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 221, л. 12.

144

РГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 96 об.

145

Жизнь Бунина. С. 162.

146

Там же.

147

РГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 12–12 об.

148

Жизнь Бунина. С. 162–163.

149

Там же. С. 163.

150

Дату их знакомства сообщает В. Н. Муромцева-Бунина в письме к автору этих строк 27 июля 1957 года.

151

Бунин. Т. 9. С. 395.

152

РГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 13–13 об. Ю. А. Бунин уволился из Полтавского земства 1 августа 1897 года и вскоре переехал в Москву.

153

РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18,л. 116 об.

154

РГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 221, л. 21.

155

Белоусов И. А. Литературная среда. Воспоминания. 1880–1928. М., 1928. С. 107, 109.

156

Вестник Ленинградского университета. 1959. № 14. С. 69–70.

157

ИРЛИ, р. 1, оп. 15, № 137. — Роман К. Ельцовой (псевдоним Е. М. Лопатиной) «В чужом гнезде» опубликован в «Новом слове» (1896, декабрь; 1897, январь — июль); отдельным изданием вышел в Петербурге в 1899 году.

158

Музей Тургенева.

159

ИРЛИ, р. 1, оп. 15, № 137.

160

Грасский дневник. С. 217–218. — Дом, где жила Лопатина, находится на углу Гагаринского и Хрущевского переулков.

161

Жизнь Бунина. С. 170.

162

РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18, л. 135.

163

Свадьба состоялась 14 октября 1898 г. М. А. Бунина вышла замуж за помощника машиниста Иосифа Адамовича Ласкаржевского. Бунин на свадьбе не был. Ей шел двадцать пятый год, жених был на два года моложе.

Там же. Л. 137–138.

165

Муромцева-Бунина В. Н. Беседы с памятью. Гл. «Новая жизнь»; цитирую по рукописи, полученной мной от Веры Николаевны.

Жизнь Бунина. С. 176–177.

167

ЛН. Кн. 2. С. 430.

Там же. С. 432.

169

Этот клуб находился на Греческой улице (ныне — ул. Либкнехта, дом 50) — там теперь Одесский государственный театр музыкальной комедии.

170

Находилась на углу Гаванной улицы (ныне — ул. Халтурина) и Ланжероновской (теперь — ул. Ласточкина).

171

РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 26–29 об. Анна Николаевна Цакни родилась в 1879 году, умерла в Одессе 13 декабря 1963 года.

Жизнь Бунина. С. 180.

173

РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18, л. 139.

Жизнь Бунина. С. 172.

175

Грасский дневник. С. 243–244. — Беба — брат Анны Николаевны — Павел Николаевич Цакни, родившийся в Париже и получивший кличку Беба от своей русской няни, слышавшей, как французы называют детей («bébé»); впоследствии — адвокат и мировой судья в Одессе. Во время Второй мировой войны Бунин встретил его в Ницце; работал он библиотекарем церкви за жалкую зарплату и жил в ужасающей нищете; просил о материальной помощи Бунина, который сам голодал.

176

РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18, л. 141.

177

Там же. Л. 144 об. — 145 об.

Там же. Л. 150 об.

179

Запись Бунина в дневнике; сообщена Л. Ф. Зуровым письмом от 7 августа 1964 года.

180

Музей Тургенева. № 2885.

181

Там же. № 3401.

182

Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 28. М.: Гослитиздат, 1954. С. 68.

183

РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 8–8 об.

184

Автобиографические заметки 1927 года // Бунин И. А. Собр. соч. Т. 1. Берлин: Петрополис, 1936. С. 60–61.

185

Бунин И. А. Воспоминания. Париж, 1950. С. 122.

Там же. С. 127.

187

Музей Тургенева. № 2793.

188

И. А. Бунин. Письма к В. С. Миролюбову (1899–1904) // Литературный архив. Т. 5. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 129.

189

В большой семье. С. 247.

Там же. С. 248.

191

Там же.

192

Грасский дневник. С. 93–94. — Слова «ночь лимоном и лавром пахнет» — цитата из «Каменного гостя», сцена 2-я.

193

Там же. С. 242.

Проблемы реализма. Вологда, 1979. С. 177.

195

См.: Бунин И. А. Собр. соч.: В 8 т. М.: Моск. рабочий, 1993. Т. 1. С. 284–285.

ЛН. Кн. 1. С. 445.

197

Там же. С. 493.

Музей Тургенева. № 2794.

199

Письмо без даты // Музей Тургенева. № 2786.

Письмо без даты // Там же. № 2860.

201

Брюсов В. Дневники. М., 1927. С. 80.

202

Музей Тургенева. № 2781.

203

Сообщено Л. Ф. Зуровым в письме ко мне 7 августа 1964 года.

Брюсов В. Дневники. М., 1927. С. 83.

205

Об этих знакомствах и встречах см. письмо Бунина — Юлию Алексеевичу // Русская литература. 1963. № 2. С. 181.

206

См. статью Бабореко А. К. Знакомство Бунина с Рахманиновым // Вопросы литературы. 1964. № 5. С. 251; и заметку того же автора: Бунин о музыке и живописи // Там же. 1981. № 7. См. также о Бунине и Рахманинове в издании: Рахманинов С. Литературное наследие. Т. 1–3. М.: Советский композитор, 1978–1980.

207

РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 65.

208

Письмо А. М. Федорову от 1 августа 1900 года. — РГАЛИ, ф. 519, оп. 2, ед. хр. 2, л. 3.

209

Музей Тургенева.

210

Запись Бунина на книге А. А. Волкова «Русская литература…», на которой он сделал множество пометок. Хранится у автора этих строк.

211

Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер (Т. 1. М., 1934. С. 202). В библиотеке Музея Художественного театра сохранилась книга: Бунин Ив. Стихотворения. 1903–1906. СПб.: Знание, 1906, с надписью: «Ольге Леонардовне Чеховой — Ив. Бунин, ее верный раб и поклонник, 20 окт. 06».

212

РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 75.

213

В письмах, написанных из-за границы, Бунин пользовался и старым и новым стилем одновременно.

214

Это путешествие описано в письме Бунина к Юлию Алексеевичу от 18 ноября н. ст. 1900 года (см.: Новый мир. 1956. № 10. С. 207–209).

215

ЛН. Кн. 1. С. 451.

216

РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 95.

Там же. Л. 83.

218

См. письма Бунина — Брюсову 15 и 18 декабря // ЛН. Кн. 1. С. 453–454.

219

А. П. Чехов. Сборник статей и материалов. Симферополь, 1962. С. 93.

220

Одесские новости. 1902. 28 декабря.

221

Бунин И. Освобождение Толстого. Париж, 1937. С. 89.

Там же. С. 91.

223

Чехова М. П. Письма к брату А. П. Чехову. М., 1954. С. 165.

Бунин И. А. О Чехове. Нью-Йорк, 1955. С. 66–67.

225

РГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 133, л. 19.

Бунин И. А. Воспоминания. Париж, 1950. С. 13.

ЛН. Т. 68. 1960. С. 398.

228

Там же.

229

О Чехове. Сборник воспоминаний. М., 1910. С. 285.

230

РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 191, л. 97.

231

РГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 27.

ЛН. Т. 68. М., 1960. С. 396.

233

ЛН. Кн. 1. С. 524.

ЛН. Т. 68. М., 1960. С. 398. — О дружбе Бунина с Чеховым и о датах их встреч см. там же мою статью «Чехов и Бунин». Переписка с М. П. Чеховой опубликована в сборнике «Время» (Смоленск, 1962).

235

РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 109а.

236

Грасский дневник. С. 244.

237

РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 111. Статья И. А. Бунина о Жуковском неизвестна.

Там же. Л. 112–113.

239

См. письмо Бунина — Чехову за июнь 1901 года // ЛН. Т. 68. М., 1960. С. 412.

240

Бунин сообщал В. Я. Брюсову 1 сентября 1901 года из Одессы, что уезжает в Ялту «завтра» // ЛН. Кн. 1. С. 461.

241

Архив А. М. Горького. Т. 4. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 41–42.

242

Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер. Т. 2. М., 1936. С. 72.

243

Чехов А. П. Полн. собр. соч. Письма. Т. 10. М.: Наука, 1981. С. 169.

Журнал для всех. 1902. № 2.

245

См.: Жизнь Бунина. С. 207.

Там же. С. 85.

247

Там же. С. 210.

Брюсов В. Дневники. М., 1927. С. 123.

249

См.: Бунин И. А. Автобиографические заметки 1927 года // Собр. соч. И. А. Бунина. Т. 1. Берлин: Петрополис, 1936. С. 62–63.

Вопросы литературы. 1969. № 5. С. 249–250.

251

Жизнь Бунина. С. 211.

252

Чехов А. П. Полн. собр. соч. Письма. Т. 11. М.: Наука, 1982. С. 111. — О пребывании Бунина и Найденова в Одессе и о их выступлениях на литературных вечерах см.: Одесские новости. 1902. 28 и 29 декабря; 1903. 11 и 17 января.

253

Жизнь Бунина. С. 215–216. — У Брунса — в доме Вагнера на Дерибасовской.

Одесские новости. 1903. № 5899. 26 февраля.

255

Жизнь Бунина. С. 219.

Жизнь Бунина. С. 219–222.

257

Там же. С. 222–223. — Тезкире или тезкира — буквально — памятка, жанр средневековой антологии, где приводились образцы стихов и краткое жизнеописание поэта.

258

РГАЛИ, ф. 1117, оп. 1, ед. хр. 36, л. 9–9 об.

259

Южная мысль. Одесса. 1913. № 565. 14 июля.

Архив Горького. Т. IV. М., 1954. С. 138.

261

Пятнадцатое присуждение премий имени А. С. Пушкина 1903 года. Отчет и рецензии I–IX. СПб., 1904. С. 7.

262

РГБ, ф. 356.13.27. — Верстка неизданной переписки О. Л. Книппер и А. П. Чехова. С. 488, 490.

263

РГБ, ф. 331.59.79.

Бунин И. А. О Чехове. С. 96.

265

Чехов А. П. Полн. собр. соч. Т. 20. М.: Гослитиздат, 1951. С. 268.

Телешов Н. Д. Записки писателя. М., 1948. С. 86.

267

Бунин отметил в дневнике: «24 декабря 1903 года мы с Найденовым уехали в Ниццу».

ЛН. Кн. 1. С. 557.

Время. С. 97. — Дату путешествия Бунина по Дагестану установила Э. Денисова // Советский Дагестан. Махачкала, 1971. № 2. С. 68–71.

ЛН. Т. 68. М., 1960. С. 401. — Бунин написал о Чехове стихотворение «Художнику» (1908).

Бунин И. А. О Чехове. С. 232.

Горьковские чтения. С. 29.

Русское слово. 1914. № 151. 2 июля.

ЛН. Кн. 2. С. 268.

Бунин И. А. О Чехове. С. 114.

Там же. С. 133.

277

Музей Тургенева. № 3214.

Музей Тургенева.

279

РГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 221, л. 45.

Жизнь Бунина. С. 240–242.

281

Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 28. М., 1954. С. 366.

282

Русская литература. 1963. № 2. С. 182. — «Сапсан» — стихотворение Бунина.

283

Жизнь Бунина. С. 242–243.

284

РГАЛИ, ф. 519, оп. 2, ед. хр. 2, л. 15–15 об.

285

Время. С. 98.

Музей Тургенева. № 8918.

Бунин И. А. О Чехове. С. 207–208.

Жизнь Бунина. С. 244–245.

Там же. С. 245–248.

290

Музей Тургенева. № 8904.

291

Жизнь Бунина. С. 248–254.

Время. С. 98–99.

293

РГБ, ф. 331.87.52.

Там же.

295

Время. С. 99.

Там же.

297

Там же.

РГБ, ф. 331.87.52.

Время. С. 101–102.

300

РГБ, ф. 331.87.52.

301

Музей Тургенева.

302

Музей Тургенева. № 3383.

303

Жизнь Бунина. С. 267.

Там же. С. 258.

305

Там же. С. 259.

Музей Тургенева. № 3216.

307

ЛН. Кн. 2. С. 170. — «Беседы с памятью» полностью даны в кн. «Жизнь Бунина».

Там же. С. 177–178.

309

Там же. С. 179.

310

Вера Николаевна писала 17 марта 1960 года: «Шаферами были Куприн и еще один друг… Это было 24/11 ноября 1922 года… А в мэрии были в начале июля 1922 года».

311

Музей Тургенева. № 3216.

312

Цитирую по рукописи, полученной от Н. В. Кодрянской; см. также мою статью: В. Н. Муромцева-Бунина // Подъем. Воронеж, 1977. № 1.

313

23 апреля н. ст. 1936 года Бунин записал в дневнике: «Когда-то в этот день — 10 апреля 1907 г. уехал с Верой в Палестину, соединил с нею свою жизнь».

314

Грасский дневник. С. 265.

315

Цитирую по рукописи, любезно присланной В. Н. Муромцевой-Буниной. В дальнейшем цитаты из ее воспоминаний без ссылок на источник приводятся по этой рукописи, озаглавленной «Новая жизнь».

316

Музей Тургенева. № 3216.

317

Там же. № 2881.

318

РГБ, ф. 331. 87. 53.

319

ЛН. Кн. 1. С. 560.

320

Весна пришла. С. 212.

321

Там же. С. 234–235.

322

Бунин имеет в виду «Jérusalem» (1895) Пьера Лоти — описание его путешествия к святым местам.

323

Бунин. Т. 4. С. 279.

324

В. Н. Муромцева-Бунина пишет: «Ян долго стоял перед „Страшным судом“ Васнецова».

325

ЛН. Кн. 1. С. 561.

Жизнь Бунина. С. 366, 372, 386.

327

Первые впечатления от Васильевского.

328

Глотово.

329

Первые впечатления от Васильевского. — Дом не сохранился. На его месте построен другой, в котором школьники деревни Глотово устроили музей И. А. Бунина.

Там же.

331

Там же.

332

Будни в Васильевском. — Имеется в виду стихотворение без заглавия, начинается: «Рыжими иголками…» (30.V1.1916). Колонтаевка изображена под названием «Шаховское» в «Митиной любви».

333

Глотово.

Там же.

335

Там же. — Эта сцена изображена в рассказе Бунина «Я все молчу».

336

Там же.

337

Жизнь Бунина. С. 379.

ЛН. Кн. 1. С. 562.

339

Блок А. Собр. соч. Т. 5. М.: Гослитиздат, 1962. С. 141.

340

РГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. 534, л. 38 об.

341

Будни в Васильевском.

342

Будни в Васильевском.

Глотово. — Речь идет о июле месяце.

344

Будни в Васильевском.

345

В воспоминаниях В. Н. Муромцевой-Буниной «Беседы с памятью» говорится, что 8 сентября Бунин был уже в Москве: в этот день Телешов пригласил его к себе на дачу.

10 сентября Бунин уехал в Петербург, в Москву возвратился 17-го.

347

ЛН. Кн. 2. С. 184–185.

Русская литература. 1979. № 2. С. 142–143.

349

РГАЛИ, ф. 519, оп. 2, ед. хр. 2, л. 20. — Куприн продал «Суламифь» издательству «Шиповник» и в то же время пообещал ее Бунину для первого сборника «Земля», взяв с него 1600 рублей.

ЛН. Кн. 2. С. 191.

Там же. С. 194–195.

Там же. С. 195.

Там же. С. 196.

РГАЛИ, ф. 519, оп. 2, ед. хр. 2, л. 21.

355

ЛН. Кн. 2. С. 197. — Имеется в виду часть вторая, гл. 9 «Анны Карениной».

356

Письмо Бунина — Белоусову отправлено из Москвы 22 января 1908 года.

357

Музей Тургенева. № 3100.

Цитирую по фотокопии с автографа.

359

ЛН. Кн. 2. С. 199–200. — Письмо Нилуса Бунину цитирую по фотокопии с автографа.

360

Фотокопия с автографа.

361

Фотокопия с автографа.

ЛН. Кн. 2. С. 200.

363

Музей Тургенева. № 8921.

РГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 40.

365

ЛН. Кн. 2. С. 202.

РГАЛИ, ф. 519, оп. 2, ед. хр. 2, л. 23.

Государственный музей Л. Н. Толстого.

ЛН. Кн. 2. С. 203.

369

Письмо П. А. Нилуса — И. А. Бунину 4 октября 1908 года. — РГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 168, л. 66.

370

Письмо П. А. Нилуса — И. А. Бунину 7 октября 1908 года. — Там же. Л. 68.

ЛН. Кн. 2. С. 203.

372

Фотокопия с автографа.

ЛН. Кн. 1. С. 571.

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, № 60.

375

ИРЛИ, ф. 520, № 56, л. 1–2.

Лебедь. Журнал литературы и искусства. 1908. № 3. С. 37, 41.

377

РГАЛИ. ф. 1074, оп. 2, ед. хр. 4, л. 1.

ЛН. Кн. 2. С. 203.

379

Фотокопия с автографа.

ЛН. Кн. 2. С. 204.

Там же. С. 204–206.

Там же. С. 207

383

РГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 126, л. 5.

ЛН. Кн. 2. С. 208–209. — Описание Капри дано в рассказе Бунина «Остров сирен».

385

Музей Тургенева.

Архив А. М. Горького. Письма Е. П. Пешковой. М., 1966. С. 64.

387

ЛН. Кн. 2. С. 209.

Там же. С. 209–212.

389

РГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 126, л. 6–7.

390

Весна пришла. С. 212. — Гёте приехал в Палермо 2 апреля (20 марта) 1787 года (см.: Гёте И. В. Собр. соч. Т. 11. М., 1935. С. 246. На этом основании и датируется приезд в Палермо Бунина).

391

ЛН. Кн. 1. С. 578.

392

Музей Тургенева. № 8906.

393

ЛН. Кн. 2. С. 217–218.

РГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 126, л. 9.

395

Жизнь Бунина. С. 444.

396

РГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 126, л. 10.

397

Музей Тургенева.

398

Жизнь Бунина. С. 451, —См. переписку Бунина с А. Е. Грузинским по поводу написания кантаты к открытию памятника Гоголю: Время. С. 104.

399

Горьковские чтения. С. 40.

Русская литература. 1963. № 2. С. 183.

401

Письмо Бунина Горькому 26 августа 1909 года // Горьковские чтения. С. 41.

Русская литература. 1963. № 2. С. 183.

403

Музей Тургенева.

Бунин. Т. 9. С. 259–260.

405

Письмо Бунина — А. Е. Грузинскому 14 июня 1909 года. — РГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 126, л. 11.

РГАЛИ, ф. 519, оп. 2, ед. хр. 2, л. 24.

407

Письмо Бунина — Горькому 26 августа 1909 года // Горьковские чтения. С. 41.

Жизнь Бунина. С. 458–459.

409

Там же. С. 459.

Там же.

Горьковские чтения. С. 44–45.

412

Музей Тургенева.

413

ЛН. Кн. 1. С. 589.

Там же. С. 590.

415

РГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 340, л. 3. — О присуждении премии см.: Восемнадцатое присуждение премии имени А. С. Пушкина 1909 года. Отчет и рецензии 1-VIII. СПб., 1911. С. 17. О том, что Пушкинскую премию Бунин «получил три раза», он говорит в письме 15 января 1923 года к проф. С. Агреллу; см. также: Живые слова. Вып. 1. М., 1910.

416

РГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 133, л. 37.

417

Там же. Л. 38. — В письме Бунина к Куприну от 22 мая (Русская литература. 1963. № 2. С. 182–183) речь идет о разделе между ними Пушкинской премии. Однако неясно, откуда они могли это знать, так как официальное решение состоялось лишь в октябре. В. Н. Муромцева-Бунина писала 27 июля 1957 года: «В 1909 году Иван Алексеевич был выбран академиком… Может быть, премию делили в начале того года, но я этого не помню… Может быть, Куприн писал до обсуждения окончательного со слов Батюшкова? Буду вам благодарна, если вы разрешите этот вопрос. Вообще у Ивана Алексеевича было три золотых медали из Академии, значит, он трижды получал премии».

418

Исторический вестник. 1909. Т. 118. № 12. С. 1197. — О взаимоотношениях Бунина и Телешова см. письма Бунина Телешову в журнале «Исторический архив» (М.: Изд-во АН СССР, 1962. № 2); их переписку — в ЛН. Кн. 1.

419

Там же.

420

РГАЛИ, ф. 519, оп. 2, ед. хр. 2, л. 24А-24а об.

421

РГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 342, л. 1.

Там же, ед. хр. 168, л. 96.

423

Жизнь Бунина. С. 465.

Фотокопия с автографа.

425

Письмо автору настоящей работы от 18 ноября 1957 года.

426

РГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 168, л. 110. — Письмо 2 декабря 1909 года.

427

Там же, ед. хр. 133, л. 11.

Русская литература. 1963. № 2. С. 177.

429

Там же.

430

Бунин. Т. 9. С. 401.

Там же. С. 394, 396–397.

Там же. С. 398.

433

РГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 171.

434

Бунин. Т. 9. С. 434.

Там же. С. 435.

Грасский дневник. С. 174.

См.: Бунин Иван. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. М., 1990.

РГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 165, л. 1.

439

Бунин И. А. О Чехове. С. 103.

Русские новости. Париж, 1959. № 731. 5 июня. — О чеховском утре и выступлении Бунина см.: Речь. 1910. № 17. 18 января; Новое время. 1910. № 12 160. 18 января.

441

Итоги юбилея // В кн.: О Чехове. Воспоминания и статьи. М., 1910. С. 336–337.

442

Жизнь Бунина. С. 467–481. «1910 год». — Здесь и далее привожу цитаты из этих воспоминаний Веры Николаевны о 1910 годе. М. А. Чехов стал всемирно известным актером и режиссером. С 1928 года жил в Америке.

443

Одесский листок. 1910. № 66. 21 марта.

444

Известия книжных магазинов т-ва М. О. Вольф… 1913. № 1. С. 27–28.

445

Там же. № 5. С. 135.

446

Музей Тургенева. № 3251.

447

Фотокопия с автографа.

448

Время. С. 104. — Газ. «Утро России» (1910. № 79, 46. 13 января) сообщала: «Академик Ив. Ал. Бунин написал новую большую повесть под заглавием „Деревня“».

449

Последние новости. Париж, 1930. № 3221. 16 января.

450

Музей Тургенева. № 8927.

451

РГАЛИ, ф. 1074, оп. 1, ед. хр. 3, л. 1.

452

Музей Тургенева. № Б. 3216 оф.

453

Время. С. 105.

454

Архив А. М. Горького. Письма к Е. П. Пешковой. М., 1966. С. 92.

455

РГАЛИ, ф. 1074, оп. 1, ед. хр. 3, л. 3.

Горьковские чтения. С. 47.

457

Время. С. 105.

Там же.

459

Там же.

Музей Тургенева. № 1285.

461

ИРЛИ, ф. 428, оп. 1, № 20.

М. Горький. Материалы и исследования. Т. 2. М., 1936. С. 419.

463

Горьковские чтения. С. 48.

Музей Тургенева. № 2959.

465

РГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 322, л. 5.

Музей Тургенева. № 1285.

467

Время. С. 106.

468

Письмо Бунина — Юлию Алексеевичу от 6 сентября 1910 года. — Музей Тургенева. № 2809.

469

Горьковские чтения. С. 48.

470

Письмо Бунина — Юлию Алексеевичу от 21 ноября 1910 года. — Музей Тургенева. № 2852.

Горьковские чтения. С. 51–52.

Бунин И. Освобождение Толстого. Париж, 1937. С. 40.

473

РГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 168, л. 129.

Там же. Л. 128.

475

См.: Бунин И. А. Собр. соч. Т. 2. М., 1965. С. 403–404.

Горьковские чтения. С. 52–53.

477

Музей Тургенева. № Б. 2906 оф.

Одесские новости. 1910. № 8294. 15/28 декабря.

См. там же. № 8295. 16/29 декабря.

Горьковские чтения. С. 55–56.

481

Музей Тургенева.

482

РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 20, л. 5.

483

Там же. Л. 2.

484

Письмо В. Н. Муромцевой-Буниной автору настоящей работы от 15 мая 1957 года.

485

РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 20, л. 8.

477
[477] Там же. Л. 7.

Там же. Л. 9.

РГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 52.

489

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, № 33.

См.: Бунин И. А. Собр. соч. Т. 5. М., 1996. С. 423. — В дальнейшем путевой дневник Бунина «Воды многие» цитируется по этому изданию.

491

РГБ, ф. 259.11.88.

492

Время. С. 102.

Подъем. Воронеж, 1980. № 1. С. 135.

Там же.

Там же. С. 135–136.

РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 20, л. 17.

497

Письмо В. Н. Муромцевой-Буниной 3 апреля 1958 года.

Горьковские чтения. С. 59.

499

Голос Москвы. 1912. № 245. 24 октября.

ЛН. Кн. 2. С. 433.

501

Голос Москвы. 1912. № 245. 24 октября.

502

Горьковские чтения. С. 60. — О страхах мужицких бунтов и о поместьях Бунина писал А. В. Амфитеатров. Он сравнивал «Деревню» с повестью черносотенца И. А. Родионова «Наше преступление». Бунин, по его мнению, народ «видит теми же глазами, как г. Родионов». У Бунина, пишет критик, «городской, господский перепуг его пред новым мужиком едва ли не глубже еще, чем в книге г. Родионова» (Современник. 1911. Кн. 2). Писатель В. Муйжель (статья «На господском положении» // Живое слово. 1911. № 9. 2 мая; № 10. 9 мая; № 11. 16 мая) также сравнивал «Деревню» с повестью Родионова и писал: «Из окна вагона-ресторана скорого поезда так же, как из просторного помещичьего тарантаса… видел автор деревню с ее пьяными, больными, купающимися, возвращающимися с базара мужиками… Он не был в деревне». На подобные суждения Бунин возражал, говоря, что он «полжизни провел в деревне; в детстве товарищами его были крестьянские дети» (см.: Бунин. Т. 3. С. 482).

503

Переписку Бунина с М. П. Чеховой по этому поводу цитирую по «Литературному наследству» (Т. 68. С. 403–404).

504

3 мая 1911 года Бунин писал М. П. Чеховой: «В деревню едем на днях: Измалково, Орловской губ.» (Время. С. 103).

505

Музей Тургенева. № 1284.

506

Там же. № 3383.

507

РГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 53.

508

Музей Тургенева.

509

Московская весть. 1911. № 3. 12 сентября.

Горьковские чтения. С. 92.

511

Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 358 / Труды по русской и славянской филологии, XXIV. Литературоведение // Тарту, 1975. С. 355–371.

Грасский дневник. С. 273.

513

В. Н. Муромцева-Бунина писала в дневнике 27 октября 1925 года: «Я… считаю Яна поэтом, а не беллетристом в собственном смысле этого слова. И нахожу, что и в прозаических произведениях он поэт. Считаю его стихи выше прозы»; он, продолжает Веры Николаевна, «ввел жанр, редкие рифмы. А глубины мысли еще больше в стихах. Форма тоже совершенна. Кроме того, он ввел краски и тона в стихи» (Дневник. Т. 2. С. 151).

Дневник. Т. I. С. 99–100.

Там же. С. 105–106.

Вопросы литературы. 1960. № 6. С. 254–255.

517

Дневник. Т. 1. С. 109.

Там же. С. 109–110.

519

ЛН. Кн. 2. С. 376.

511
[511] Дневник. Т. 1. С. 110–111.

521

Там же. С. 113.

522

РГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 55.

523

Вопросы литературы. 1960. № 6. С. 254.

Московская весть. 1911. № 3. 12 сентября.

525

РГАЛИ, ф. 24, оп. 1, ед. хр. 14, л. 4.

526

В большой семье. С. 239.

Там же. С. 240.

528

Дневник Н. А. Пушешникова. — Музей Тургенева.

529

В большой семье. С. 241.

530

«Стоит Матерь Скорбящая», «День гнева» (лат.) — начало католических песнопений. Музыку на «Stabat Mater» написали многие видные композиторы: упоминаемый Буниным итальянский композитор XVI в. Джованни Палестрина, затем — А. Скарлатти, Перголези, Гайдн, Россини, Дворжак.

531

Там же.

Там же.

Там же. С. 241–242.

Там же. С. 242.

535

На родной земле. С. 307.

536

В большой семье. С. 242.

537

Копия письма Бунина, сделанная Н. А. Пушешниковым. — Музей Тургенева. В «Шиповник» дать «Суходол» Бунин опоздал.

538

Музей Тургенева. № 1283. — Бунин готовил к изданию книгу: Бунин Ив. Перевал и другие рассказы 1892–1902. 4-е изд., испр. и доп. М., 1912.

539

РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 20, л. 24, письмо Ю. А. Бунину 18 ноября (1 декабря) 1911 года.

Музей Тургенева.

541

Архив А. М. Горького. Письма к Е. П. Пешковой. М., 1966. С. 129.

542

Музей Тургенева. № 2864. — Бунин редактировал Диккенса, по-видимому, в переводе Н. А. Пушешникова.

543

Музей Тургенева. № 2864.

Архив А. М. Горького. Письма к Е. П. Пешковой. М., 1966. С. 131.

545

РГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 169, л. 19.

546

В большой семье. С. 243.

547

РГАЛИ, ф. 24, оп. 1, ед. хр. 14, л. 23.

548

Письмо Ю. А. Бунину за январь 1913 года. — Музей Тургенева. № 2854.

549

Музей Тургенева. № 2824.

Там же. — Журнал, о котором идет речь, — «Заветы».

551

Там же. № 2833.

552

В большой семье. С. 242.

553

Наш современник. 1965. № 7. С. 103–104.

Архив А. М. Горького. Т. 7. М.,1959. С. 103.

555

В большой семье. С. 246–247.

Там же. 247.

Там же. С. 247–248.

Там же. С. 248.

559

Там же. С. 249.

Там же. С. 250.

561

ЛН. Кн. 2. С. 608.

562

Музей Тургенева. № 2864. — Письмо без даты, не позднее 3 марта 1912 года.

563

Газ. «Южная мысль» (1912. № 151) 1 марта сообщала: «Вчера прибыл в Одессу из Италии известный писатель академик Ив. Ал. Бунин».

Музей Тургенева. № 2827.

565

См. письмо Бунина — А. Е. Грузинскому от 11 апреля 1912 года. — РГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 126, л. 18.

566

Музей Тургенева. № 3232.

567

Музей Тургенева. № 2959. — См.: Новое время. 1912. № 12 928. 9 марта.

Дневник. Т. 1. С. 120, 123–124.

569

Запись в дневнике 23 декабря 1918 года (5 января 1919 года).

570

ЛН. Кн. 1. С. 641–642. — А. В. Амфитеатров писал: у Бунина «народной идеи» нет, «а идеи народной нет потому, что нет в сердце г. Бунина другой первобытной и пламенной силы: любви», «Бунин — один из всех их (Горького, Куприна и Андреева. — А. Б.)…как образец ровной, виртуозной силы, он головою выше всех названных». Но у него — «нет любви» (Одесские новости. 1912. № 8724. 19 мая).

571

Московская газета. 1912. № 191. 21 мая. Статья «Писатели и критики».

572

Цитата приводится по вырезке из газеты, датированной Буниным: «Весна 1912 года». — Музей Тургенева.

573

Дневник. Т. I. С. 124–127.

ЛН. Кн. 1. С. 399.

Публикацию этих записей Бунина см.: ЛН. Кн. 1. С. 399–418.

Подъем. Воронеж, 1979. № 1. С. 121.

577

Опубликовано в ЛН. Кн. I. С. 406–411.

Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М.: Гослитиздат, 1962. С. 346.

579

Музей Тургенева. № 3231.

580

Письмо 4 июля 1912 года // Русская литература. 1979. № 2. С. 149.

581

РГБ, ф. 387.9.48.

Горьковские чтения. С. 66.

Неман. Минск, 1980. № 6. С. 153.

Бунин. Т. 6. С. 40.

585

Автограф хранится в РГБ, опубликовано: Неман. Минск, 1980. № 6. С. 153.

Подъем. Воронеж, 1979. № 1. С. 119.

ЛН. Кн. I. С. 652.

588

Бунин. Т. 9. С. 455. Статья «Думая о Пушкине»; См.: Собр. соч. Т. 7. М., 1993–1996.

589

Русская литература. 1979. № 2. С. 150.

590

РГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 64.

591

День. 1912. № 27. 28 октября.

Горьковские чтения. С. 69.

593

Русское слово. 1912. № 250. 30 октября.

Музей Тургенева. № Б-968 оф.

595

Телеграммы Шаляпина и Москвина хранятся там же.

Театр. 1961. № 5. С. 134.

Курортная газета. Ялта, 1960. № 214. 29 октября.

Русская литература. 1979. № 2. С. 151.

599

Одесские новости. 1913. № 8919. 11 января. — О юбилее Бунина см. также: Исторический вестник. 1912. Декабрь.

Рампа и жизнь. 1912. № 44.

601

Музей Тургенева.

602

Там же. № 3238.

603

Там же.

604

В большой семье. С. 250.

605

Там же. С. 242.

606

РГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 126, л. 19.

607

Музей Тургенева. № 3238.

608

Там же. № 3204.

609

За семь дней. 1913. № 39.

610

В большой семье. С. 250. — См. здесь подробные сведения о их встрече.

611

Музей Тургенева.

612

Дневник. Т. 1. С. 149–150.

613

Альманах библиофила. Вып. 12. М., 1982. С. 83.

614

Фотокопия с автографа.

615

Бунин. Т. 9. С. 392.

616

В большой семье. С. 251.

617

Музей Тургенева. № 7415.

618

Там же. № 3233.

619

Горький М. Материалы и исследования. Т. 1. Л.; 1934. С. 329.

620

Музей Тургенева. № 3227.

621

В большой семье. С. 252.

622

Там же.

623

РГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 126, л. 19 об.

624

В большой семье. С. 252.

625

Музей Тургенева. № 2959.

Там же.

Горьковские чтения. С. 72–73.

Грасский дневник. С. 229–231.

629

РГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 36.

630

Там же, ед. хр. 37.

631

Музей Тургенева. № 3383.

632

РГАЛИ, ф. 44, оп. 3, ед. хр. 14, л. 12. — Опубликованы в кн.: Бунин. Т. 9 — с большими искажениями текста.

633

Эти слова Бунина записала Вера Николаевна в дневнике 4 июля 1953 года.

634

См.: Богач Г. Источник «Песни о годе» И. А. Бунина // Кодры. Кишинев, 1960. № 4.

635

РГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 72–73.

Максимов А. Г. Юбилейная лермонтовская литература 1914 года. Пг. 1915. С. 6.

637

В письме от 22 октября 1966 года Л. Ф. Зуров сообщает: «Нашел в архиве материалы о М. Ю. Лермонтове, которые Вера Николаевна подготовляла для Ивана Алексеевича.

1) Конспект. Автограф Веры Николаевны. Одна большая страница. („Рождение, родители, бабушка. Дед. Переезд из Москвы в Тарханы…“)

2) Сшитая тетрадь. 23 страницы печатного текста. (Печатала Вера Николаевна.)

„Михаил Юрьевич Лермонтов Детство

В ночь с 2 на 3 октября 1814 года в одной из квартир дома Толя…“ (Заканчивается тетрадь 1829 годом. Этими материалами Иван Алексеевич, к сожалению, не воспользовался, так как к работе он охладел)».

Книга Щеголева с пометками Бунина хранится, по свидетельству А. В. Бахраха, у частного лица, проживающего в Австралии.

Новый журнал. Нью-Йорк, 1953. Кн. 35. С. 133.

639

ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, № 65.

640

Андреева М. Ф. Переписка, воспоминания, статьи. М., 1961. С. 218–219.

641

См.: Полн. собр. соч. И. А. Бунина. Т. 6. Пг., 1915. С. 314–319. В кн.: Бунин. Т. 9, ошибочно напечатан газетный отчет об этом выступлении Бунина вместо авторского текста речи.

642

Русское слово. 1913. № 231. 8 октября.

643

Одесский листок. 1913. № 238. 10 октября.

Музей Тургенева. — Цитирую по газетной вырезке.

645

Голос Москвы. 1913. № 236. 13/26 октября.

Там же. № 237. 15/28 октября.

647

Музей Тургенева. — Газетная вырезка, помеченная Буниным 1913 годом.

Звезда. 1964. № И. С. 175–176.

649

Бунин. Т. 9. С. 239.

См.: Телешов Н. Д. Записки писателя. М., 1953. С. 32.

651

ЛН. Кн. 1. С. 346.

Белый А. Начало века. М.; Л., 1933. С. 387.

653

Там же. С. 108.

Цитирую по тексту, любезно присланному художницей А. Н. Прегель.

655

Рампа и жизнь. 1913. № 44. 3 ноября.

См. фотографию в журн. «Искры» (1913. № 43. 3 ноября).

657

А. А. Измайлов писал о рассказе «Иоанн Рыдалец», что здесь не вымысел, «это — жизнь, это правда. Так не сочинить» (Биржевые ведомости. 1913. № 13 582. 6 июня). На вырезке из газеты к этим словам Бунин написал: «А именно весь „Иоанн“ сочинен мною от слова до слова» (Музей Тургенева). В письме (4 октября, без указания года) к Измайлову Бунин говорит: «„Иоанн“ весь выдуман. А вы целый фельетон построили на контрасте выдумки и были» (ИРЛИ, ф. 115, оп. 3, № 47).

Современный мир. 1913. № 11. С. 278.

659

ИРЛИ, ф. 528, оп. 1, № 153.

660

Музей Тургенева. № 3204.

661

Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 29. М., 1955. С. 315.

Наш современник. 1965. № 7. С. 103.

663

Фотокопия с автографа.

См. статью: Бабореко А. Неизвестные рукописи И. А. Бунина // Орловская правда. 1961. 1 июля.

665

Орловская правда. 1957. № 5. 8 января.

666

Бунин. Т. 5. С. 482.

667

Время. Берлин, 1921. 22 августа. — Отметим некоторые отзывы русской критики на рассказ «Братья»: журн. «Живое слово» (1914. № 17. С. 270–271); газеты «Россия» (1914. № 2592. 29 апреля); «Речь» (1914. № 107. 21 апреля); «Голос Москвы» (1915. № 1. 1 января); «Сибирь» (Иркутск. 1914. № 114. 23 мая); «Волжское слово» (Самара, 1914. № 1990. 31 мая).

668

В русском переводе опубликовано: Новости литературы. Берлин, 1922. 1 августа. С. 48. — Рассказ «Соотечественник» Бунин написал, по его признанию, «вспоминая Цейлон и некоторые черты тамошнего русского консула» (ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 3, ед. хр. 14).

669

Музей Тургенева.

670

РГБ, ф. 360.1.16.

671

Горьковские чтения. С. 75.

672

Архив А. М. Горького. Письма к Е. П. Пешковой. М., 1966. С. 164.

ЛН. Кн. 1. С. 652.

674

Русское слово. 1914. № 223. 28 сентября (11 ноября). Автограф хранится в РГБ, ф. 429.1.10.

675

ЛН. Кн. I. С. 654.

Там же. С. 655.

Курортная газета. Ялта, 1960. № 214. 29 октября.

Современный мир. 1915. № 2.

679

РГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 45, л. 4.

Там же. Л. 2–3.

681

Возрождение. Париж, 1925. № 153. 2 ноября. Перевод, присланный В. Н. Муромцевой-Буниной, хранится в РГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 143, л. 2–3.

682

Бунин. Т. 9. С. 369.

683

Эти сведения установил П. Блюм: Наука и жизнь. 1970. № 9. С. 60–63.

684

РГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 169, л. 61–61 об. Дата — рукой Бунина.

685

Фотокопия с автографа. См. также: Вопросы литературы. 1981. № 7. С. 303–305.

Музей музыкальной культуры, ф. 18, инв. № 1448.

687

Письмо Бунина — Рахманинову 5 января 1933 года, Грасс. — Там же, инв. № 1427.

Литературный Смоленск, 1956. С. 284.

689

Фотокопия с автографа.

690

РГБ, ф. 487.35.11.

691

На родной земле. С. 289.

692

Дневник. Т. 111. С. 39.

693

Там же. С. 45.

694

Письмо Нилуса Бунину о самоубийстве Куровского опубликовано в журн. «Русская литература» (1979. № 2. С. 151).

695

Фотокопия с автографа.

Русская литература. 1979. № 2. С. 152.

697

Русская литература. 1974. № 1. С. 174.

698

РГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 242, л. 1–2.

699

Русское слово. 1915. № 289. 9 декабря.

Дневник. Т. 1. С. 148–149.

701

ЛН. Кн. 1. С. 656.

702

Музей Тургенева.

703

Дневник. Т. 1. С. 150–151.

Там же. С. 155. — Барыба — персонаж повести Е. Замятина «Уездное».

705

Цитирую по газетной вырезке, хранящейся в Музее Тургенева.

ЛН. Кн. 1. С. 657.

Музей Тургенева.

Музей Тургенева. № 2751.

709

Гранки сборника «Слово», № 7, М., 1917, где он был напечатан, набраны 31 декабря 1916 года.

См.: Афанасьев В. И. А. Бунин. Очерк творчества. М., 1966. С. 249.

711

Музей Тургенева.

712

РГБ, ф. 356.1.9.

713

Летопись жизни и творчества А. М. Горького. Вып. 3. М., 1959. С. 27.

714

Музей Тургенева. № 8965. — В письме упоминается книга «Лариш Мария. При дворе Габсбургов» (Пер. с англ. М. А. Андреевой-Маевской. М., 1914). — И. М. Зданевич — поэт-футурист и критик. «Бродячая собака» находилась в Петрограде на Михайловской улице, дом 5; помещение расписал художник Судейкин, герб нарисовал М. В. Добужинский. О вечере в честь финнов см. также: Бунин И. А. Собр. соч. Т. 10. Берлин: Петрополис, 1935. С. 113–114.

Бунин И. А. Воспоминания. Париж, 1950. С. 129.

716

Там же. Воспоминания Бунина о Горьком см.: Иллюстрированная Россия. Париж, 1936. № 28. Июнь, июль; Nouvelle Litteraire, 1936. Июнь, июль.

717

РГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 20, л. 50.

Русская литература. 1979. № 2. С. 153.

719

Здесь и далее — цитаты из дневника И. А. Бунина 1917–1918 годов; автограф хранится в РГБ. В дальнейшем указываются только месяц и число к дневникам 1917 года. Некоторые записи точно не датированы. Этот дневник принадлежал Марии Федотовне Муромцевой, вдове Павла Николаевича Муромцева, врача, брата В. Н. Муромцевой-Буниной, и был похищен во время войны вместе с другими рукописями Бунина, оставшимися в Москве. Об этом рассказала мне Мария Федотовна. Рукописи разбрелись по рукам, и Смирнову-Сокольскому удалось приобрести автографы дневника.

Русская литература. 1979. № 2. С. 153–154.

721

РГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 126, л. 20 об.

722

РГБ, ф. 356.1.9.

723

Дневник Н. А. Пушешникова.

Там же.

725

Музей Тургенева.

726

РГБ, ф. 356.2.10.

727

В автографе ошибочно указан дом 22. Жили в квартире 2.

728

Улица Стрелецкая, дом 26, квартира 11.

729

РГБ, ф. 356.1.9.

730

РГБ, ф. 331.99.22.

Звезда. 1964. № И. С. 174, 176.

732

См. в кн.: col1_1S. Дневники (1914–1919). Письма… М.; СПб.: АЛепеит-Феникс, 1994. С. 102.

733

Там же.

Там же. С. 79.

Там же. С. 366.

Пегов — художник.

Бунин И. А. Воспоминания. Париж, 1950. С. 226.

738

Газ. «Литературенъ гласъ» (София. 1933. № 210. 26 нояб.).

739

Корректура писем Бунина Баяну Пеневу, РГАЛИ. Опубликованы по-французски Иваном Сарандевым в журнале «Obzor. Revue Bulgare de litterature et d'arts» (1969. № 2. С. 93–99); подлинники этих писем находятся в архиве Болгарской Академии наук (фонд Б. Пенева, № 2052 и 2053); их текст был набран для «Литературного наследства» (т. 84), но напечатаны они не были.

Бунин И. А. Воспоминания. Париж, 1950. С. 252.

Там же. С. 253.

742

Из истории русской зарубежной литературы. Переписка И. А. Бунина и П. Б. Струве (1920–1943) // Записки русской академической группы в США. Т. II. Нью-Йорк, 1968. С. 64.

743

Свободные мысли. Париж, 1920. № 2. 27 сентября; статья датирована: «Париж, 25 сентября 1920 г.».

Общее дело. Париж, 1920. № 132. 24 ноября; № 133. 25 ноября.

Там же. № 156. 18 декабря.

Бунин И. А. Записная книжка // Там же. № 135. 27 ноября.

Бунин И. А. Его вечной памяти // Там же. 1921. № 207. 7 февраля.

Дневник. Т. II. С. 52.

749

Там же. С. 54.

Там же. С. 69.

751

Письма Ю. А. Бунина — Н. Д. Телешову хранятся в ИМЛИ.

ЛН. Кн. 2. С. 375.

Там же. С. 378.

Бунин писал: Mont-Fleury и Mont-Fleuri.

755

Дневник. Т. II. С. 127.

Там же. С. 118.

Последние новости. Париж, 1933. № 4621. 16 ноября.

Исторический архив. 1962. № 2. С. 156.

759

Письмо автору данной работы 21 сентября 1965 года.

Грасский дневник. С. 314–315.

Там же. С. 23.

Там же. С. 19.

Там же. С. 21.

Там же.

Там же. С. 105.

Там же. С. 44.

Рукопись этой заметки прислала Г. Н. Кузнецова.

Дневник. Т. II. С. 98–99.

769

Новый журнал. Нью-Йорк, 1965. Кн. 80. С. 262–263; письмо Алданова — Бунину.

770

Дневник. Т. II. С. 114–115.

Там же. С. 113.

Перевод с французского Н. М. Любимова.

Новый журнал. Нью-Йорк, 1965. Кн. 80. С. 267.

Россия и Славянство. Париж, 1930. 5 апреля.

Русская литература. 1961. № 4. С. 153.

Новый мир. 1969. № 3. С. 215.

777

Слова из стихотворения Гейне «Азра».

778

Зайцев К.И. И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Берлин: Парабола, <1934>. С. 190–191.

779

ЛН. Кн. 1. С. 668.

Там же.

781

Письмо Рильке — Льву Петровичу Струве // Русская мысль. Париж, 1927. Кн. 1. С. 54–55.

782

Жертва во имя любви (фр.).

783

ЛН. Кн. 1. С. 668.

Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1955. С. 98.

785

Степун Ф. Литературные заметки. И. А. Бунин. (По поводу «Митиной любви») // Современные записки. Париж, 1926. Т. XXVII. С. 333, 337, 338, 344.

Сегодня. Рига, 1926. № 18. 23 января.

Перезвоны. Рига, 1926. Вырезка из журнала. РГАЛИ.

788

РГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 145.

Современные записки. Париж, 1927. Кн. 30. С. 551.

Там же.

791

Зайцев К. И. И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Берлин: Парабола, <1934>. С. 191–192.

792

Руль. Берлин. 1924. № 1013. 3 апреля.

Вопросы литературы. 1979. № 1. С. 313.

Там же; см. то же: Сегодня. Рига, 1927. 26 июня.

795

Последние новости. Париж, 1929. 9 сентября.

ЛН. Кн. 2. С. 379–380.

Струве Г. Переписка И. А. Бунина и П. Б. Струве (1920–1943) // Записки русской академической группы в США. Т. II. Нью-Йорк, 1968. С. 71.

Там же. С. 81.

Там же. С. 91.

800

Рассказ Бунина «Ночь» // Бунин И. А. Собр. соч.: В 8 т. М.: Московский рабочий. Т. 5. С. 408.

801

Грасский дневник. С. 50.

802

Там же. С. 95.

803

Там же. С. 220.

804

Грасский дневник. С. 32.

805

Дневник. Т. II. С. 167.

Там же. С. 162.

807

Там же.

См.: Вашингтон, 1967; переиздан издательством «Московский рабочий» в 1995 г.

809

Седых А. Памяти Галины Кузнецовой // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1976. 14 февраля.

810

Там же.

811

Письмо В. Н. Буниной 4 октября 1934 года — брату Дмитрию Николаевичу Муромцеву.

812

Дневник. Т. II. С. 145.

813

Цитирую по вырезке из газеты, присланной Г. Н. Кузнецовой.

814

Числа. Кн. 5. С. 223.

815

Вырезка из газеты. РГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 148.

816

Дневник. Т. II. С. 187–188.

817

Там же. С. 194.

818

Грасский дневник. С. 49.

819

Современные записки. Париж, 1929. Кн. 39. С. 528.

Современные записки. Париж, 1929. Кн. 39. С. 532.

821

Грасский дневник. С. 216.

822

Возрождение. Париж, 1929. Вырезка из газеты. РГАЛИ.

823

Там же.

824

Сегодня. Рига, 1929. 25 июня.

825

Дневник. Т. II. С. 151.

826

Иллюстрированная Россия. 1929. № 216; то же: Подъем. Воронеж, 1978. № 3. С. 134.

827

Грасский дневник. С. 48.

Там же. С. 43. Запись 27 октября 1927 года.

829

Там же. С. 45.

830

Вопросы литературы и фольклора. Воронеж, 1972. С. 187. Печатается по рукописи, любезно присланной Г. Н. Кузнецовой.

831

Грасский дневник. С. 82.

Там же. С. 83.

833

Там же. С. 96.

Там же. С. 119.

835

Дневник. Т. III. С. 48.

836

Грасский дневник. С. 116.

837

Там же.

Там же. С. 120.

839

Там же.

Новый журнал. Нью-Йорк, 1965. Кн. 80. С. 280.

Современные записки. Париж, 1930. Кн. 42. С. 523.

Новый журнал. 1965. Кн. 80. С. 280.

843

Цитирую по газетной вырезке: РГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 146.

844

Вырезка из газеты «Возрождение». Париж. РГАЛИ.

845

Возрождение. Париж, 1933. 22 июня.

846

Сегодня. Рига, 1930. 21 февраля.

847

Цитирую по газетной вырезке: РГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 146.

848

Там же.

849

Вырезка из газеты: РГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 146.

850

Вырезка из журнала: РГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 146.

851

Вырезка из газеты: РГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 146. Статьи Г. В. Адамовича см. также в книге: Адамович Г. Одиночество и свобода. Литературно-критические статьи. СПб.: Logos, 1993.

852

Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. С. 614–615.

853

Бунин И. А. Повести, рассказы, воспоминания. М., 1961. С. 614–615.

ЛН. Кн. I. С. 680.

855

Грасский дневник. С. 265–266.

856

Цитирую по газетной вырезке, датированной Буниным: «4 мая 1939 г.». — РГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 158.

857

Дневник. Т. III. С. 68.

См.: Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. С. 353–359.

859

Дневник. Т. II. С. 198.

Весна пришла. Смоленск, 1959. С. 209.

861

См. об этом: Струве Г. Из переписки с И. А. Буниным // «Annali», sezione slava, XI. Napoli. S. 20.

Там же. С. 19.

863

Английский текст, с которого дан здесь перевод, см. там же, S. 20.

864

Паустовский К. Иван Бунин // В кн.: Бунин И. А. Повести, рассказы, воспоминания. М., 1961. С. 14.

865

См.: Рахманинов С. Литературное наследие. Т. 1. М., 1978. С. 113–114, 495.

866

Дневник. Т. II. С. 226.

867

Грасский дневник. С. 158.

Там же. С. 159.

869

Там же.

Перевод с французского Н. М. Любимова.

Les Prix Nobel an 1933. Stockholm, 1935. S. 6–7.

Седых А. Далекие, близкие. Нью-Йорк, 1962. С. 189.

873

Грасский дневник. С. 281.

Там же — эта и другие, приведенные в данном абзаце цитаты.

Новый журнал. Нью-Йорк, 1979. Кн. 134. С. 180.

Грасский дневник. С. 285.

877

Зайцев Б. К. Повесть о Вере // Русская мысль. Париж, 1967. 19 января.

Приемная дочь (фр.).

879

Грасский дневник. С. 286.

Седых А. Далекие, близкие. Нью-Йорк, 1962. С. 190.

881

Капризный ребенок (фр.).

882

Грасский дневник. С. 298.

883

Седых А. Далекие, близкие. Нью-Йорк, 1962. С. 197.

Там же. С. 197–198.

885

Грасский дневник. С. 291–292.

886

Дневник. Т. II. С. 298.

887

Грасский дневник. С. 292.

888

Последние новости. Париж, 1933. № 4617. 12 ноября.

889

Сегодня. Рига, 1938. 29 апреля. № 118.

«Annali», sezione slava, XI. Napoli, 1968. S. 27.

891

Там же.

892

РГАЛИ, ф. 2204, оп. 1, ед. хр. 148, л. II.

893

Автографы писем Бунина к Т. Л. Толстой хранятся в Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве.

894

См. статью Бунина «Третий Толстой» и наше предисловие к книге: Бунин И. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. М.: Советский писатель, 1990. С. 13.

Лифарь С. Моя зарубежная Пушкиниана. Париж, 1966.

896

Текст письма любезно сообщил С. М. Лифарь; подлинник — в архиве Лифаря.

897

Последние новости. Париж, 1937. № 5823. 4 марта.

898

Там же. № 5879. 29 апреля.

899

Цитирую по вырезке из газеты, любезно присланной из Канн княгиней М. И. Воронцовой-Дашковой. Дата беседы Бунина с А. К. Перовым — 1938 год.

900

Грасский дневник. С. 268.

901

Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. С. 96–97. Также см. издание: СПб., 1993. С. 54–55.

902

Возрождение. Париж. 1937. 1 октября.

903

Цитирую по рукописи, один из экземпляров которой находится у автора этой работы.

904

Вырезка из журнала «Современные записки». Париж. РГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 143.

905

Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. С. 94–95.

906

Грасский дневник. С. 58.

907

Записки русской академической группы США. Т. II. Нью-Йорк, 1968. С. 97–98.

908

Письма Буниных. С. 20.

909

Сегодня. Рига, 1938. № 118. 29 апреля.

910

Дневник. Т. III. С. 24.

911

См. также нашу заметку «Иван Бунин о кино» и письмо Бунина журналисту А. Г. Блоку// Подъем. Воронеж, 1977. № 1. С. 133–134.

Советская Литва. Вильнюс, 1963. Кн. 9. С. 63, 71.

913

Пильский П. В вагоне с Буниным // Сегодня. Рига, 1938. № 118. 29 апреля.

Пильский П. Приезд И. А. Бунина в Ригу // Там же.

915

Перов А. К. Бунин в Риге. — Вырезка из газеты, присланная княгиней М. И. Воронцовой-Дашковой. См. то же: Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 358 // Труды по русской и славянской филологии, XXIV. Литературоведение. Тарту, 1975.

916

О М. В. Карамзиной см. нашу статью в ЛН. Кн. I. С. 663–664. Здесь же напечатаны воспоминания В. В. Шмидт о Бунине «Встречи в Тарту». Воспоминания Ю. Д. Шумакова «Иван Бунин в Тарту» (Москва. 1964. № 11) в Эстонии оспариваются как не вполне достоверные: см. указанные выше Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 358. С. 355.

917

Русский вестник. Таллин, 1938. № 87. 11 мая.

ЛН. Кн. 1. С. 673.

919

ЛН. Кн. I. С. 669.

920

Там же. С. 685.

921

Письма Буниных. С. 54.

922

Дневник. Т. III. С. 52–53.

923

Там же.

924

Там же. Т. III. С. 53–55. — Дмитрий Алексеевич Грязное — бывший директор Ярославской большой мануфактуры; он учился в Парижском Политехническом институте, затем в Тулузском университете; занимался продажей лабораторного оборудования; в Ляфрансез купил небольшой дом, в этом доме остановился Бунин (см.: Сердюк В. История одной поездки Бунина // Литературная Россия. 1979. № 1. 5 января).

925

ЛН. Кн. I. С. 687.

Новый журнал. Нью-Йорк, 1979. Кн. 136. С. 134.

927

Письма Буниных. С. 53.

Там же. С. 51.

929

Там же. С. 124.

Исторический архив. 1962. № 2. С. 160.

931

Из частной коллекции Андрея Седых. Библиотека редких манускриптов Йельского университета. Нью-Хейвен, Коннектикут, США.

932

Седых А. Далекие, близкие. Нью-Йорк, 1962. С. 210.

933

Дневник. Кн. III. С. 67.

Архив Колумбийского университета.

935

Новый журнал. Нью-Йорк. Кн. 150. С. 165.

Там же. С. 168.

937

Письма Буниных к М. С. Цетлин цитирую по ксерокопии, полученной от ее дочери, художницы А. Н. Прегель.

Новый журнал. Нью-Йорк, 1979. Кн. 137. С. 126.

939

Воспоминания Бахраха цитирую по рукописи, полученной от автора: дубликат текста, отправленного в ЛН.

940

Грасский дневник. С. 306–307.

941

Дневник. Т. III. С. 212.

942

О лекциях и о встречах с Буниным Жид пишет в дневнике: Gide A. Le journal Paris, 1952. C. 107–109, 114.

943

Новый журнал. Нью-Йорк, 1961. Кн. 66. С. 86–88. См. также нашу статью: Бунин и Андре Жид // Орловский комсомолец. 1974. № 145. 25 июля.

Архив Колумбийского университета.

945

Дневник. Т. III. С. 122.

Там же.

947

Адамович Г. Table Talk // Новый журнал. Нью-Йорк, 1961. Кн. 64. С. 106–107.

948

Дневник. Т. III. С. 135.

949

Письма Буниных. С. 48.

950

Бахрах А. Бунин в халате. По памяти, по записям. Товарищество зарубежных писателей. США, 1979. (Рецензии: Андреев Ник. Бунин в халате Александра Бахраха // Русская мысль. Париж, 1979. № 3282. 15 нояб.; Струве Г. Новая книга о Бунине. Там же.)

951

Новое русское слово. Нью-Йорк. Дата ксерокопии не обозначена.

952

От itinéraire — путевой, дорожный: путевые заметки (фр.).

953

Дневник. Т. III. С. 120.

См. также: Кузнецова Г. Грасский дневник. Рассказы. Оливковый сад. М.: Московский рабочий, 1995.

955

Там же. Т. II. С. 210.

956

Письма Буниных. С. 50.

957

Приходящая домашняя работница (фр.).

Там же. С. 124.

959

Там же. С. 128.

Архив Колумбийского университета.

961

Дорогая, золотая моя (фр.).

962

Будь счастлива (фр.).

963

Ксерокопия с автографа, полученная от Кузнецовой.

Автограф письма находится у автора этой работы.

965

Новый журнал. Нью-Йорк, 1980. Кн. 136. С. 160.

966

Дневник. Т. III. С. 172.

967

Автограф письма — в РГБ; опубликовано в книге автора данной работы: И. А. Бунин. Материалы для биографии. М., 1967. С. 235.

Исторический архив. 1962. № 2. С. 160.

969

Долгое одиночество населяет пустоту жизни призраками (фр.).

970

Письмо Бунина — Б. К. Зайцеву 14 июля 1944 года // Новый журнал. Нью-Йорк, 1979. Кн. 137. С. 140.

Новый журнал. Нью-Йорк, 1979. Кн. 137. С. 133.

972

Письма Буниных. С. 65.

973

Новый журнал. Нью-Йорк, 1979. Кн. 137. С. 136–137.

Письма Буниных. С. 69–70.

975

Дневник. Т. III. С. 169–170.

Там же. С. 173.

Там же. С. 170–171.

978

Письмо Б. К. Зайцеву 26 октября 1944 года // Новый журнал. Нью-Йорк, 1980. Кн. 138. С. 155–156.

Там же. С. 161.

980

Новый журнал. Нью-Йорк, 1980. № 140. С. 163.

981

Там же. Кн. 138. С. 158.

982

Записки русской академической группы в США. Т. II. Нью-Йорк, 1968. С. 83.

983

О нем см. также наш комментарий к «Грасскому дневнику» Галины Кузнецовой (М.: Московский рабочий, 1995. С. 387, 388).

984

Дневник. Т. III. С. 174–175.

985

Письма Буниных. С. 102.

986

Член семьи (фр.).

987

Автограф письма — у автора настоящей работы.

988

Письмо датировано: «28.X. 1945 — 1 ноября/13 декабря 1945». Ксерокопия получена от А. Н. Прегель.

989

Там же.

990

Там же.

991

Дневник. Т. III. С. 179.

992

Архив Колумбийского университета.

993

Там же.

994

Запись в дневнике автора этих строк.

995

Письмо Бунина — Алданову 26 декабря 1945 года // Новый журнал. Нью-Йорк, 1983. Кн. 150. С. 190.

996

Дневник. Т. III. С. 184.

997

Письмо Бунина — Алданову 23 января 1946 года // Новый журнал. Нью-Йорк, 1983. Кн. 152. С. 155.

998

Письмо Бунина — Алданову 5 июля 1946 года // Там же. С. 170.

999

Об этом сообщал Бунин в письме А. Седых 18 августа 1947 года / Архив Колумбийского университета.

1000

Письмо Бунина — Алданову 26 декабря 1945 года // Новый журнал. Нью-Йорк, 1983. Кн. 150. С. 189.

1001

Исторический архив. 1962. № 2. С. 162–163.

1002

Рукопись: «17. 3. 1948». Архив Колумбийского университета.

1003

Письмо Бунина — Алданову 4 сентября 1945 года / Архив Колумбийского университета.

1004

Новый журнал. Нью-Йорк, 1983. Кн. 152. С. 164 / Коммент. А. Звеерса.

1005

Там же. Кн. 150. С. 188.

1006

Там же. Кн. 152. С. 179. Письмо Алданова — Бунину 22 августа 1947 года.

1007

Там же. С. 166.

1008

Книжное обозрение. 1991. № 6. 8 февр.

1009

Новый журнал. Кн. 150. С. 182.

1010

Письмо Бунина — М. С. Цетлин I января 1948 года (ЛН. Кн. 2. С. 403).

1011

Литературная Россия. 1990. № 42. 19 октября.

1012

Литературная газета. 1990. № 48. 28 ноября.

1013

Новый мир. 1990. № 1. С. 267–268.

1014

Михайлов О. Неизвестный Бунин // Литературная Россия. 1990. № 10. 9 марта.

1015

Знамя. 1988. № 4. С. 186.

1016

Дневник. Т. III. С. 182–183.

1017

Литературная Россия. 1966. № 30. 22 июля.

1018

Письмо Зурова — автору данной работы 12 августа 1966 года.

1019

Знамя. 1988. № 4. С. 187–188.

Подъем. Воронеж, 1978. № 3. С. 130.

1021

Новый мир. 1969. № 3. С. 218.

Подъем. Воронеж, 1977. № 1. С. 135.

1023

Новый мир. 1969. № 3. С. 24.

1024

The Times Literary Supplement, 2466, 1949, May, 293.

1025

Новый журнал. 1983. Кн. 153. С. 140.

1026

Ксерокопия с рукописи, полученной от А. Н. Прегель.

1027

Там же.

1028

Там же.

1029

От фр. le ticket — талон; здесь имеется в виду продовольственный талон.

1030

Цитирует В. Н. Бунина в письме к М. С. Цетлин за апрель 1947 года.

1031

Ксерокопия с автографа / Архив Колумбийского университета.

1032

Там же.

1033

Новый журнал. Нью-Йорк, 1983. Кн. 152. С. 173.

1034

Письма Буниных. С. 106.

1035

Там же.

1036

Там же. С. 108.

1037

Архив Колумбийского университета.

1038

Письма Бунина — Г. В. Адамовичу цитирую по ксерокопиям с автографов. — РГБ, ф. 429.4.2. Опубликованы А. Звеерсом в «Новом журнале» (Нью-Йорк, 1973. Кн. 110).

1039

Там же.

1040

Там же.

1041

Прегель С. Ю. Из воспоминаний о Бунине. ЛН. Кн. II. С. 355.

1042

Там же.

1043

РГБ, ф. 429.4.2.

1044

ЛН. Кн. 2. С. 353.

1045

Там же. С. 352.

Там же. С. 354–355.

1047

Добрый день, метр! (фр.)

1048

Метр чего? (фр.)

1049

Наука и жизнь. 1976. № 128. С. 127.

1050

Исторический архив. 1962. № 2. С. 166–167. О Твардовском см. также с. 158–159.

1051

Паустовский К. Г. Собр. соч. Т. 3. М., 1957. С. 789.

1052

Дневник. Т. III. С. 185–186.

1053

«Я выбираю опиум» (фр.).

1054

Литературная газета. 1989. № 30. 26 июля.

1055

Там же.

1056

ЛН. Т. 90. У Толстого. 1904–1910. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. Кн. II. М., 1979. С. 505, 595; Кн. III. С. 150.

1057

Архив Колумбийского университета.

1058

Новый журнал. Нью-Йорк, 1980. Кн. 140. С. 174.

1059

Письма Буниных. С. 112.

1060

Копия письма Бунина к М. С. Цетлин, посланная Тэффи / Архив Колумбийского университета; ксерокс.

1061

Спасибо за письмо <…> Объяснения посылаю. Привет. Мария Цетлин (фр.).

1062

Там же.

1063

Новый журнал. Нью-Йорк, 1984. Кн. 155. С. 138.

1064

Архив Колумбийского университета.

1065

«Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть…» Приветствуют тебя> (лат.) — обращение римских гладиаторов к императору перед боем. (Прим. авт.)

1066

Там же.

1067

Там же.

1068

РГБ, ф. 429.4.11. — Эта «статейка» напечатана в «Альманахе библиофила» (Вып. XI. М.: Книга, 1981. С. 262–264), но не оговорены искажения текста.

1069

См. воспоминания В. М. Зёрнова: ЛН. Кн. II. С. 358–362.

1070

Письмо Бунина — Б. К. Зайцеву за 1948 год / Архив Колумбийского университета.

1071

Архив Колумбийского университета.

1072

Из частной коллекции Андрея Седых. Библиотека редких манускриптов Йельского университета. Нью-Хейвен, Коннектикут, США.

1073

Письмо А. Седых автору этой работы.

Архив Колумбийского университета.

1075

Архив Колумбийского университета.

1076

Там же.

1077

Ксерокопия письма Бунина прислана А. Седых автору данной работы.

1078

Дневник. Т. III. С. 193.

1079

Бунин И. Мы не позволим // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1950; перепечатано: Столица. М., 1993. № 37. С. 60–61.

1080

Архив Колумбийского университета.

1081

Новое русское слово. Нью-Йорк, 1953. 17 мая.

1082

Новый журнал. Нью-Йорк, 1965. Кн. 81. С. 142.

1083

Русская мысль. Париж, 1970. № 2813. 22 октября.

1084

Письма Буниных. С. 127.

1085

Комитет по празднованию восьмидесятилетия писателя Ивана Бунина (фр.). — А. В. Бахрах в воспоминаниях «Бунин в халате» почему-то преуменьшал значение этого комитета.

1086

ЛН. Кн. II. С. 347.

1087

Письмо А. Седых 13 марта 1965 года — автору данной работы.

1088

Письмо Бунина — А. Седых 15 января 1951 года. Из частной коллекции А. Седых. Библиотека редких манускриптов Йельского университета. Нью-Хейвен, Коннектикут, США.

«Возвращение к Ивану Бунину» (англ.).

1090

Там же.

1091

Французский текст письма А. Жида перепечатан: ЛН. Кн. II.С. 384–386.

1092

Новый журнал. Нью-Йорк, 1984. Кн. 154. С. 104.

1093

Новый журнал. Нью-Йорк, 1979. Кн. 133. С. 181; публикация Алексиса Раннита, Йельский университет.

1094

Письмо Бунина — Н. Р. Вредену 9 сентября 1951 года, в котором он сообщил копию его письма В. А. Александровой / Архив Колумбийского университета.

1095

Письмо Бунина — Т. Г. Терентьевой 3 декабря 1952 года / Архив Колумбийского университета.

1096

Письмо Бунина — Алданову 19 сентября 1951 года / Архив Колумбийского университета.

1097

Вейнбаум М. И. А. Бунин и Чеховское издательство // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1966. 9 апреля.

1098

Ржевский Л. В Париже у Бунина. (К 25-летию со дня смерти) / Ксерокс газетной публикации за 1978 год; ссылки на эту статью даны в альманахе «Кольцо А» (М., 1993–1994. С. 250).

1099

Архив Колумбийского университета.

1100

Новый журнал. Нью-Йорк, 1984. Кн. 155. С. 143.

1101

Архив Колумбийского университета.

1102

Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы / Под ред. М. Грин. В 3 т. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1972–1982 (см. предисловие к первому тому).

1103

Новый журнал. Нью-Йорк, 1965. Кн. 81. С. 143–144.

1104

Автограф письма хранится в РГБ.

1105

Новый журнал. Нью-Йорк, 1979. Кн. 133. С. 187.

1106

Дневник. Т. III. С. 204.

1107

Там же. С. 208.

1108

Там же.

1109

Знамя. 1988. № 4. С. 188–189.

1110

ЛН. Кн. II. С. 360–361.

1111

Это стихотворение мы ошибочно датировали 1950 г. в первом томе (М.: Московский рабочий, 1993. С. 432). Дата указана в автографе В. Н. Буниной, ксерокопия которого недавно получена от профессора С. П. Крыжицкого (США).

1112

Б. С. Нилус — вдова художника П. А. Нилуса. Супруги были большими друзьями Буниных, жили с ними в одном доме на rue Jacgues Offenbach. (Прим. А. Седых.)

Нилус. (Прим. Л. Седых.)

1114

Это не Глеб Петрович Струве, а его младший брат Алексей Петрович (сыновья Петра Бернгардовича Струве).

1115

Я. Б. Полонский был женат на сестре Алданова.

1116

Т. С. Конюс — покойная теперь дочь С. В. Рахманинова. (Прим. А. Седых.)

1117

Венков (фр.).

1118

От фр. à Ivan Bounine de Mark Aldanoff — Ивану Бунину от Марка Алданова.

1119

Издательство «YMCA-Press».

1120

Дочь С. Елпатьевского. (Прим. А. Седых.)

1121

Г. Н. Кузнецова и М. А. Степун.

М. Е. Вейнбаум.

1123

Евгения Иосифовна Липовская — жена Андрея Седых.

1124

Ксерокопия письма, полученная от А. Седых.

1125

Сен-Женевьев-де-Буа (фр.).

1126

Слова из трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович», действие V (у А. К. Толстого: «Высокая гора / Был царь Иван»).